Ирма Кудрова

Марина Цветаева: беззаконная комета

Биография

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ирма Кудрова – известный специалист по творчеству Марины Цветаевой, автор многих работ, в которых по крупицам восстанавливается биография поэта.

Новая редакция книги-биографии поэта, именем которой зачарованы читатели во всем мире. Ее стихи и поэмы, автобиографическая проза, да и сама жизнь и судьба, отмечены высоким трагизмом.

И. Кудрова рассматривает «случай» Цветаевой, используя множество сведений и неизвестных доселе фактов биографии, почерпнутых из разных архивов и личных встреч с современниками Марины Цветаевой; психологически и исторически точно рисует ее портрет – великого поэта, прошедшего свой «путь комет».

Текст сопровождается большим количеством фотографий и уникальных документов.

- Ирма Кудрова
  - ○
  - ○ Часть I
    - ■
    - ■ Глава 1
    - ■ Глава 2
    - ■ Глава 3
    - ■ Глава 4
    - ■ Глава 5
    - ■ Глава 6
    - ■ Глава 7
    - ■ Глава 8
    - ■ Глава 9
    - ■ Глава 10
    - ■ Глава 11
    - ■ Глава 12
    - ■ Глава 13
    - ■ Глава 14
    - ■ Глава 15
    - ■ Глава 16
    - ■ Глава 17
    - ■ Глава 18
    - ■ Глава 19
    - ■ Глава 20
    - ■ Глава 21

- Глава 22
- Глава 23
- Глава 24
- Глава 25
- Глава 26
- Глава 27

- Часть II
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
- Часть III
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
- Приложения
  - 1. Протоколы допросов М. Цветаевой в префектуре Парижа (1937 год)
  - 2. Марина Цветаева ‹Письмо И. В. Сталину›
  - 3. На полях этой книги
- Основные даты жизни и творчества Марины Цветаевой
- Послесловие

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58

- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72

Ирма Кудрова
Марина Цветаева: беззаконная комета

Автор и издательство благодарят за предоставленные фотоматериалы Дом-музей Марины Цветаевой

В книге также использованы фото из личного архива автора, и фото М. С. и И. М. Наппельбаум (Агентство ФТМ, Лтд)

© Кудрова И. В.
© ООО «Издательство АСТ»,2016

* * *

Часть I
Молодая Цветаева

Поэт – издалека заводит речь.
Поэта – далеко заводит речь.
Планетами, приметами, окольных
Притч рытвинами… Между *да* и *нет*
Он, даже размахнувшись с колокольни,
Крюк выморочит… Ибо путь комет –
Поэтов путь. Развеянные звенья
Причинности – вот связь его! Кверх лбом –
Отчаятесь! Поэтовы затменья
Не предугаданы календарем.
Он тот, кто смешивает карты,
Обманывает вес и счет,
Он тот, кто *спрашивает* с парты,
Кто Канта на́голову бьет,
Кто в каменном гробу Бастилий
Как дерево в своей красе.
Тот, чьи следы – всегда простыли,
Тот поезд, на который все
Опаздывают…
– ибо путь комет
Поэтов путь: жжя, а не согревая,
Рвя, а не взращивая – взрыв и взлом –
Твоя стезя, гривастая кривая,
Не предугадана календарем!

8 апреля 1923

Глава 1
Мать

«Ты дал мне детство лучше сказки…»

Так написала Марина Цветаева в день своего семнадцатилетия в стихотворении «Молитва». Почти что сказкой предстают ее детские годы и в воспоминаниях Анастасии Цветаевой, младшей сестры. Но в живой жизни сказок нет: горечь всегда так недалека от радостей, что едва изумишься удаче, а уже на пороге беда. И если потом оглянешься – что вспомнится раньше? Чего там было больше – боли или радостей? А это уж как посмотреть.

Есть такие рисунки-тесты: на листе только белое и черное, и каждое – сплошным пятном. Бросишь первый взгляд: белый профиль прекрасной дамы. А вглядишься, сощурив глаза, – да и вовсе не дама! – черным пятном отчетливо проступают очертания разрушенного замка…

1

Две сестрички растут-подрастают в Трехпрудном переулке старой Москвы – в одноэтажном, с мезонином, деревянном доме, окрашенном коричневой краской; обитатели дома называют его «шоколадным».

Тополь растет перед входом в зеленый двор. В углу двора виден колодец, возле него суетятся утки; дворник возится с голубями. А вон там горничная с экономкой – они вытащили из дома старые кованые сундуки, перетряхивают барские наряды, укладывают зимние вещи.

Из окон дома слышны звуки рояля; нудные гаммы разыгрываются явно детскими руками. Потом наступает недолгая тишина, внезапно прорываемая бурей шопеновского этюда. Ну, это уж за роялем не дети – такая энергия звука, такая страсть в каждом аккорде!

Вскоре хлопает полосатая парадная дверь, и две девочки в легких пальтишках и матросских беретах выходят на прогулку, сопровождаемые бонной. Их маршрут привычен: по тихому переулку они направляются к Никитским воротам, потом поворачивают налево по Тверскому бульвару Туда, где вдали черной застывшей фигурой виднеется памятник с вечно наклоненной головой. Иногда они поворачивают к Патриаршим

прудам. Изредка их обгоняет пролетка, за чьим-то забором громко раскудахтались куры, запах борща и жареных пирожков вдруг пахнёт из открывшейся двери трактира. Шарманщик на перекрестке крутит свою шарманку.

Но вот все звуки заглушает колокольный звон. Звонят сразу во всех церквах, справа и слева, они тут на каждом шагу.

Дом Цветаевых в Трехпрудном переулке, 8. Макет В. Кудрявцева

Полдень в Москве. Весна. 1902 год. Скоро Пасха. А значит, недалеко и до лета. Девочкам осталось немножко потерпеть – и в Тарусу! В рай ее просторов, зеленых холмов и спусков, серебрящейся под солнцем Оки, ночных побегов через окно, когда все заснут на даче; в рай костров, разожженных на поляне, и страшных историй, рассказываемых при отблесках огня в плотно обступившем мраке. А лазанье по деревьям! Нарядные праздники у Добротворских… А сочные красные ягоды в лукошках, которые приносят загадочные молодухи-хлыстовки!

Да, впереди лето. Только никто в «шоколадном доме» еще не знает, что едва оно окончится – и жизнь семьи сделает крутой поворот. Врачи обнаружат у жены профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева чахотку и предпишут ей немедленную перемену климата. И тогда прощайте, Москва и Подмосковье! Уже на рождественских каникулах вместо саней и снежных баталий в Тарусе девочки увидят Италию…

Пока же старшей из девочек – домашние ее зовут то Мусей, то Марусей – еще нет десяти лет. Румяная большелобая толстушка не слишком улыбчива, и прислуга побаивается ее гневных вспышек. Может и башмаком запустить, и ногой оттолкнуть, не раздумывая. Семилетняя Ася обожает старшую

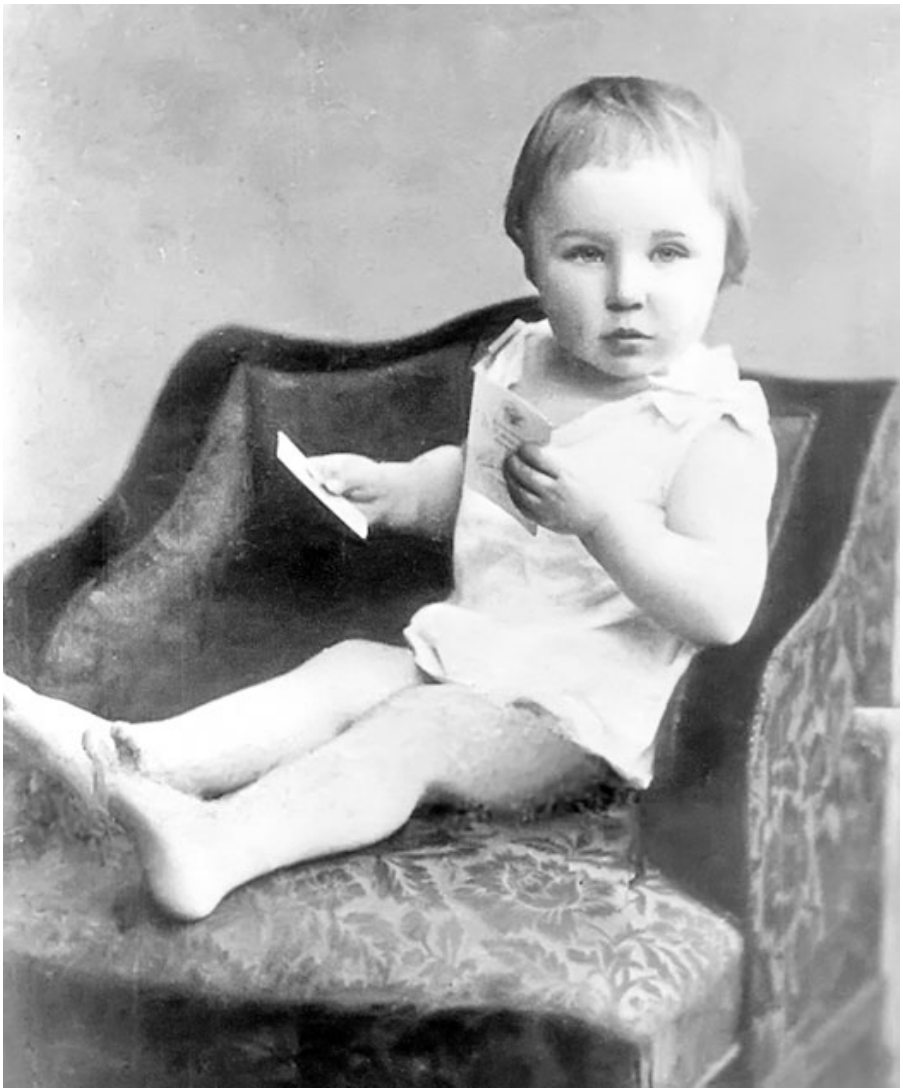
сестру и старается подражать ей во всем.

Как всегда на прогулке, младшая болтает без умолку. Но старшая сегодня молчалива. В очередной раз ей досталось от матери – и обида острой болью захлестывает самолюбивое сердечко. Боль тем сильнее, что строгую, вспыльчивую и не слишком-то ласковую мать обе девочки боготворят. Боль и обида вспыхивают не впервые, но привыкнуть к ним Муся не может. Не сможет и забыть.

Об этих своих детских горестях спустя три десятка лет она расскажет в автобиографической прозе.

«Круглый стол. Семейный крут. На синем сервизном блюде воскресные пирожки от Бартельса. По одному на каждого.

– Дети! Берите же!



Марина. Около 1894 г.

Хочу безе и беру эклер. Смущенная ясно-зрящим взглядом матери, опускаю глаза и совсем проваливаю их, при:

Ты лети, мой конь ретивый
Чрез моря и чрез луга,
И потряхивая гривой,
Отнеси меня туда!

– Куда – туда? – Смеются: мать (торжествующе: не выйдет из меня поэта!), отец (добродушно), репетитор брата, студент-уралец (го-го-го!), смеется на два года старший брат (вслед за

репетитором) и на два года младшая сестра (вслед за матерью); не смеется только старшая сестра, семнадцатилетняя институтка Валерия – в пику мачехе (моей матери). А я – я, красная, как пион, оглушенная и ослепленная ударившей и забившейся в висках кровью, сквозь закипающие, еще не проливающиеся слезы – сначала молчу, потом – ору:

– Туда – далёко! Туда – туда! И очень стыдно воровать мою тетрадку и потом смеяться!»

В сказках у доброго отца часто злая жена, откуда и проистекают все беды детей. Нет, тут было не так. Отец в этой семье был замечательный – мягкий, добродушный умница и неутомимый труженик, и мать – разносторонне талантливая поклонница благородных королей и героев. И вот ведь – смеются! О, какая ранящая сила у такого смеха! Как глубоко в сердце зеленоглазой Муси входит это лезвие пренебрежения. Куда гуманнее было бы выпороть дитя ремнем, по старинке. Но ведь не за что. И старшие это, конечно, понимают. Понимают – но весело смеются над самой сокровенной тайной застенчивой девочки. Милым, добрым, умным взрослым не приходит в голову, как непереносима ее боль: все чувства у этого ребенка с рождения предельно, почти болезненно обострены. Это беда, с которой всегда трудно жить, но в ней же – и почва, и зерно, из которого прорастут в будущем ни с чем не сравнимые плоды.

Редкий родитель угадывает судьбу своих детей. Ни отцу, ни матери просто не приходит в голову, что вот этой неуклюжей румяной Мусе судьба уготовила будущее блистательного поэта… Впрочем, не совсем так.

Мария Александровна Цветаева

Девочке было всего четыре года, когда Мария Александровна записывает в своем дневнике 5 марта 1903 года: «Маруся растет и развивается не по дням, а по часам. Она повторяет почти все слова, которые слышит, и у нее такая потребность говорить, что она по целым дням болтает всякий вздор, из которого ничего понять нельзя; но говорит она с такой серьезной миной, с таким сосредоточенным взглядом, и то в форме вопроса (причем обижается, когда ей не отвечают), то в форме возражения, а иногда делает серьезные замечания на своем специальном жаргоне…»

Это будущий поэт в полтора года. Позже – Марине уже четыре года – Мария Александровна делает другую дневниковую запись: «Старшая все ходит вокруг и бубнит рифмы. Может быть, моя Маруся будет поэтом?»

Записала и забыла. И бумагу дочери давала только нотную,

так что строчки и рифмы Муся царапает каракулями на случайно найденных бумажных клочках. А все дело в том, что сама Мария Александровна одержима музыкой. Незаурядная музыкантша, она мечтает вырастить из старшей дочери пианистку – и посадит ее за рояль «злотворно рано» – девочке еще не исполнилось тогда и пяти лет.

Оттуда и этот эпизод за завтраком: отучить от глупостей!

У Муси обнаружились незаурядные музыкальные способности – в отличие от ее младшей сестры Аси. Полный сильный удар и, как считают, «удивительно одушевленное туше». Мария Александровна этому радуется, но хвалить не спешит. В пять лет девочка почти берет октаву. «Надо только “чу-уточку дотянуться!” – говорит она дочери, – голосом вытягивая недостающее расстояние, и, чтобы я не возомнила: – Впрочем, у нее и ноги такие!»

И к этому Муся уже привыкла: после каждой вырвавшейся похвалы мать холодно прибавляет: «Впрочем, ты тут ни при чем. Слух – от Бога!» Она попрекает дочь и «Слепым музыкантом» Короленко, и трехлетним Моцартом, и четырехлетней собой, которую было не оттащить от рояля.

Иван Владимирович Цветаев

Дважды в день Муся взбирается на мученический табурет перед роялем. Ее все жалеют, кроме матери: жалеет отец, гувернантка, нянька, даже дворник Антон, приносящий в залу дрова, чтобы топить кафельную печку. Девочка играет старательно – для матери. Для ее радости и из страха. И ведь не только зимой! И летом, когда жара, когда все на воле и идут купаться, или гулять «на пеньки», или в Тарусу на почту…

Метроном с его вылезающим стальным пальцем внушал ей страх своим неостановимым механическим щелканьем. Девочка его ненавидит и боится до сердцебиения. Он представляется ей гробом, в котором живет смерть.

Фантазии ее неисчислимы.

Рубчатая ножка табурета, на котором она сидит за роялем и на котором можно до одурения закрутиться, – точь-в-точь ощипанная индюшачья шея. Раскрытая клавиатура рояля вдруг

предстает ей огромным ртом до ушей – с огромными зубами. Этот рояль – просто зубоскал, думает маленькая Марина, он-то и есть настоящий зубоскал, а вовсе не репетитор брата Андрея, хотя мать зовет его так за вечное хохотанье. По клавишам, не сдвигаясь с места, можно раскатиться, как по лестнице; белые при нажиме – всегда веселые, а черные – сразу грустные. В левой части клавиатуры живет гром, в правой – мелкие букашки. Ноты долго мешали Мусе свободно играть, но стали друзьями, как только однажды она вообразила их воробышками на ветках – каждый на своей, – и оттуда они спрыгивают на клавиши, каждый на свою. А когда Муся перестает играть, ноты возвращаются на ветки и там спят, как птицы, и тоже, как птицы, во сне никогда не падают.

Слово «бемоль» кажется ей лиловым, прохладным и немножко граненым, а знак «бекар» пуст, как пустой дурак; скрипичный ключ она выводит на бумаге с чувством, будто сажает лебедя на телеграфные провода, а басовый – похожий на ухо с двумя проколотыми дырками – презирает…

Марина за роялем

Многие годы она не сможет справиться с отвращением к собственной игре. Это не было отвращением к музыке, потому что под пальцами ее слишком долго рождалось что-то, что она музыкой назвать не могла. Музыка – это когда мать садилась за рояль. Слушать ее всегда было радостью. Но играть самой… В тысячу раз интереснее просто смотреться в черную крышку рояля;

удостоверившись, что никто не видит, Муся дышит на нее, как на оконное стекло, и отпечатывает на матовой поверхности крышки свой нос и рот…

У нее множество запретных наслаждений. Так оно и бывает, когда слишком многое запрещено, а этот дом полон запретами. Украдкой она заучивает тексты романсов, которые любит петь старшая сводная сестра Валерия. Тоненькие тетрадки романсов (тексты в них всегда нежно-любовные) лежат совсем рядом с роялем, на нотной этажерке. Выученные строчки потом, забывшись, она иногда бубнит при матери.

– Что это ты опять говоришь? – грозно спрашивала Мария Александровна. – Повтори-ка, повтори! Что это за глупости – «в сердце радость и гроза»? Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не смела читать Лёриных нот!

Но чтение не нот, а именно текстов, особенно поэтических, – настоящая страсть маленькой Муси, в четыре года уже справившейся с буквами. «Муся перебила брата в искусстве чтения и любознательности, – сообщает довольный отец своему другу И. В. Помяловскому. – Сама, без учителя, она, словно колокольчик, прозванивает вслух свои книжечки, читая их безграмотной няне Настасьи Ивановны. Последняя (речь идет о маленькой Асе. – И. К.) наук не признает никаких и любит стишки только, сочиненные Абрикосовым для оберток шоколада». Разрешенные книжки Мусе скучны, зато есть другие, они манят одним тем, что детям их – нельзя. И это запретное опять связано с сестрой Лёрой: в ее комнате, обитой красным штофом, стоит заветный шкаф. Запретный шкаф. И в нем большой сине-лиловый том с золотой надписью вкось – «Собрание сочинений А. С. Пушкина». Этого толстого Пушкина Муся читает, уткнувшись носом в книгу, почти в темноте, пугливо прислушиваясь – не идет ли кто-нибудь. Читает сначала «Цыган», потом, позже, уже все подряд, включая «Онегина» и «Капитанскую дочку».

В ее взрослой памяти прочно угнездится уверенность в том, что главное, чем и заразил ее Пушкин, – была любовь. «Цыгане» про любовь, «Онегин», «Капитанская дочка» и стихотворение «Прощай, свободная стихия!» – всё о ней и про нее, как и в романсах Лёры. Любовь – было слово, ее заворожившее. «Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь – любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это – любовь. Я думала – у всех так, всегда – так».

Так возникают страшные тайны маленькой Марины – тайны красной комнаты, синего тома, грудной ямки.

«Под влиянием непрерывного воровского чтения,

естественно, обогащался и словарь.

– Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюренбергская или крестнина парижская?

– Парижская.

– Почему?

– Потому что у нее глаза страстные.

Мать, угрожающе:

– Что-о-о?

Я – спохватываясь:

– Я хотела сказать: страшные.

Мать, еще более угрожающе:

– То-то же!»

Шести лет вместе с матерью Муся присутствует на рождественском концерте в музыкальной школе Зограф-Плаксиной.

«– Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? – мать, по окончании.

– Татьяна и Онегин.

– Что? Не “Русалка”, где мельница, и князь, и леший? Не “Рогнеда”?

– Татьяна и Онегин.

– Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла? Ну, что ты там могла понять?

Молчу.

Мать, торжествующе:

– Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

– Татьяна и Онегин.

– Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу.) Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять: – Татьяна и Онегин! Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось “Татьяна и Онегин”, все бы предпочли “Русалку”, потому что – сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!»

Но на что же мать так сердилась?

Шестилетняя девочка говорила чистую правду. В этой сцене, где на скамейке в саду объяснялись Онегин с Татьяной, в этой обреченно и смиренно молчащей Татьяне она просто узнала, угадала тот самый жар в грудной ямке, который был ее собственной тайной.

В доме рассказывали, что двух лет от роду Муся уже была влюблена в черноглазого студента-репетитора Айналова. Но

другие ее влюбленности, о которых уже она сама хорошо помнила, были много страннее: например, в куклу, выставленную в витрине большого магазина. Или в актрису из «Виндзорских проказниц». Или в пушистого кота, неожиданно приблудившегося, несколько дней подряд гревшегося под лучами солнышка на подоконнике – и вдруг исчезнувшего навсегда. Жар в грудной ямке был один и тот же!

Воодушевившись «Онегиным», Муся написала первое свое любовное письмо – как Татьяна! Адресатом был гувернер брата. Преданная Ася согласилась быть посыльным. И вот – очередная тупая серьезность взрослых! – письмо возвратили автору с подчеркнутыми красным карандашом ошибками! Кто был глупее в этом диалоге?

Много лет спустя она попыталась восстановить в памяти – кого первого, самого первого в самом первом детстве и до-детстве любила. Увы, ей пришлось отказаться от намерения, увидев себя «в неучтимом положении любившего отродясь и до-родясь…».

Она вспоминала себя четырехлетней неуклюжей девочкой, часами в молчании простаивавшей возле гимназиста Сережи Иловайского, когда он на даче заступом рыл лестницу в крутом боку горы. Как было не влюбиться в Сережу! Единственного, кто со вниманием и сердечностью относился к стихам этой девочки-неулыбы.

И почти такой же жар в грудной ямке – она это отлично помнила всю жизнь – сжигал ее и тогда, когда долговязая Августа Ивановна, бонна, грозилась уехать навсегда в Ригу. Или еще – когда убирали в сундук розово-газовых нафталинных кукол и Муся знала, что больше никогда их не увидит. А еще она запомнила боль, которая чуть не разорвала ей сердце, когда нянька вздумала безжалостно подшутить над ее тайной привязанностью к «Мышатому». Так девочка звала про себя странного большого кукольного дога, сидевшего на кровати в комнате Валерии. В один прекрасный день он вдруг исчез! То было страшное горе. И его еще надо было скрыть от тайно наблюдавших за Мусей не слишком добрых глаз.

Жгло в грудной ямке всякий раз нестерпимо.

Спустя годы и годы она расскажет об этом в своей автобиографической прозе. Здесь нет ничего присочиненного: все повороты ее судьбы, как и экстатическая поэзия, прославившая ее имя, подтвердят, что то было природное свойство натуры.

Так она растет, окруженная своими тайнами, отъединенная ими ото всех других. Пыхтя, сшивает из нотной бумаги тетрадочку, чтобы записывать туда стихи. Делает кляксу – и, тяжело вздохнув, вырывает лист и трудится снова. Думает ли она

о том, чтобы стать поэтом, выводя свои каракули?

Наверняка нет. Она просто упрямо пробивается к неясному свету вдали; делает то, чего не делать не может. Зачарованная с младенческих лет волшебством поэтической речи, она пытается на языке этого волшебства записать нечто, после чего – она сызмалу это знает – на душе становится легче.

Ты лети, мой конь ретивый,
Отнеси меня туда!

Очень довольные собой взрослые довели Мусю до слез, но знать бы им, догадаться бы, допустить на минуту, что тот самый конь пройдет через все поэтические тетради Марины Цветаевой! Крылатый конь, летящий по-над башнями, по-над горами… – и в стихах, и в поэмах. «Отнеси меня туда!» Так ведь именно что – туда! Ей и потом трудно было точнее назвать адрес («Поверх закисей, Поверх ржавостей… В завтра путь держу, – В край без праотцев»).

То была сильнейшая тяга – туда, не знаю куда, преданность тому, не знаю кому, сродни той тяге, какую безотчетно ощущает младенец, тянущийся к материнской груди.

2

Но постоянно держать все свои тайны внутри тяжело. И когда уж совсем невмочь, Муся взывает к младшей сестре:

«– Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Совсем немножко помечтаем!

– Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.

– Ася! Я тебе дам то, Сергей-Семёныча, яичко.

– Ты его треснула.

– Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.

– Тогда давай. Только очень скоро давай – помечтаем, потому что я хочу рисовать».

К семи годам Марина пристрастилась к картам, быстро усвоила их гадальное значение и еще быстрее создала свою мифологию. Пиковый туз был любовь, а не удар, как все говорят, он же был черт, и, что самое главное, – это был он. И еще другой был он – пиковый валет. При этом страсть тайны всегда оказывалась для нее сильнее страсти любви. Никто не должен был о ней даже догадываться! Странным образом Марине доставляет особенное удовольствие подставлять партнерам своего любимца: ну, берите же, берите, вытаскивайте! Не в том

дело, чтобы он был у меня в руках, – в другом! «Никогда, может быть, он так не чувствовал меня своей, как когда я его так хитростно и блистательно – сдавала». Так вспоминала позже Цветаева свои странные детские страсти.

В той насыщенной и нелегкой жизни были и сладкие часы, когда мать читала детям вслух книжки, ею самой выбранные. Часы эти назывались почему-то «курлык». Приткнувшись к матери, Ася, Муся и еще Андрюша – сводный брат, на два года старше Марины, – замирая от счастья, слушали материнский голос.

Правда, после чтения Мария Александровна почти всегда устраивает что-то вроде экзамена.

Цветаева вспоминала: вот в одной из сказок приходит некто в погребок или в пещеру, «а Зеленый уж там, и сидит он и карты тасует».

– Кто такой Зеленый? – спрашивает мать. – Ну, кто всегда ходит в зеленом, в охотничьем?

«– Охотник, – равнодушно сказал Андрюша.

– Гм… – и намеренно минуя меня, уже и так же рвущуюся с места, как слово с уст.

– Ну, а ты, Ася?

– Охотник, который ворует гусей, лисиц и зайцев, – быстро срезюмировала ее любимица, все младенчество кормившаяся плагиатами.

– Значит – не знаете? Но зачем же я вам тогда читаю?

– Мама! – в отчаянии прохрипела я, видя, что она уже закрывает книгу с самым непреклонным из своих лиц. – Я – знаю!

– Ну? – уже без всякой страсти спросила мать, однако закладывая правой рукой захлопывание книги.

– Зеленый, это – der Teufel![1]

– Ха-ха-ха! – захохотал Андрюша, внезапно распрямляясь и сразу нигде не умещаясь.

– Хи-хи-хи! – угодливо залилась за ним Ася.

– Нечего смеяться, она права, – сухо остановила мать. – Но почему же der Teufel, а не… И почему это всегда ты все знаешь, когда я всем читаю?!»

Мать торопилась, словно предчувствуя свою раннюю смерть, втолковать детям главное. И, торопясь, «с первой до последней минуты давала – даже давила! – не давая улечься, умяться (нам – успокоиться), заливала и забивала с верхом, уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость».

«Давала – даже давила»…

И. В. Цветаев с семьей в Тарусе на даче Песочная

Если бы Бог дал Марии Александровне долгий век, она могла бы удостовериться: уроки ее не прошли даром. В воспитании любви дочерей к «невесомостям» она преуспела вполне. До конца дней своих Марина и Ася – каждая на свой лад! – прожили с ощущением этой живой опоры – под ногами? или над головой? в груди! – той опоры, какую воздвигли усилия их суровой и странной матери.

Летом, в блаженной Тарусе, Муся оттаивает сердцем, когда приходят к Песочной даче молодухи-хлыстовки с лукошками, полными ягод. Своим маленьким обиженным сердечком она безошибочно чувствует, что странные эти Кирилловны (как их тут называют) выделяют ее среди других детей дома. Они любят ее! Когда не видит мать, одна из Кирилловн неторопливо сует в Мусин рот сочную землянику – ягоду за ягодой… «Откуда она

знала, что мать не позволяет есть – так, до обеду, помногу сразу, вообще – жадничать? Оттуда же, откуда и мы, – мать нам словами никогда ничего не запрещала. Глазами – всё».

«А меня хлыстовки больше любят! – с этой мыслью (вспоминала Цветаева) я, обиженная, засыпала. – Асю больше любит мама, Августа Ивановна, няня (папа по доброте «больше любил» – всех), а меня зато – дедушка и хлыстовки!»

Однажды Кирилловны приглашают цветаевскую семью к себе на сенокос. И – «о, удивление, изумление (мать не выносила семейных прогулок, вообще ничего – скопом, особенно же своих детей – на людях), о, полное потрясение, нас – взяли. Настоял, конечно, отец.

– Эту будет тошнить, – возражала поверх моей заранее виноватой головы мать, – непременно растрясет на лошадях и будет тошнить. Ее всегда тошнит, везде тошнит, совершенно не понимаю, в кого она…

– Ну, стошнит… – кротко соглашается отец, – стошнит, и вся беда… (И, явно уже думая о другом:) стошнит – и чудесно. (И, спохватываясь:) А может быть, и нет – на свежем воздухе…

Семья Цветаевых во дворе дома в Трехпрудном переулке. В первом ряду: Валерия, Марина, Мария Александровна, Анастасия, Андрей Цветаевы. Во втором ряду справа – Иван Владимирович Цветаев

– Причем тут свежий воздух? – горячится мать, заранее оскорбленная дорожным зрелищем. – Что вагон – что воз – что

лодка – что ландо, на рессорах и без рессор, на пароме, на ascenseur'e[2], – всегда тошнит, везде тошнит, а еще морской назвали!

– Меня пешком не тошнит, – робко-запальчиво вставляю я, расхрабрившись от присутствия отца.

– Посадим лицом к лошадям, возьмем мятных лепешек, – уговаривает отец, – платье, наконец, на смену…»

Когда эта девочка вырастет, совсем вырастет, и ее имя внесут в литературную энциклопедию (за два года до гибели), ей предложат написать автобиографию. Она соглашается. Берет перо в руки. И вот – среди самых важных ее самохарактеристик: «Я у своей матери старшая дочь, но любимая – не я. Мною она гордится, вторую – любит. Ранняя обида на недостаточность любви».

С этой болью она проживет всю свою жизнь – так глубока была рана. Тем более глубока, что с первых дней существования сама Марина любит мать самозабвенно, восхищенно.

И было чем восхищаться! Мария Александровна в избытке наделена талантами. Она незаурядная пианистка, не сделавшая артистической карьеры лишь потому, что этого не разрешил ее не в меру строгий отец. Она играет и на гитаре, прекрасно поет, пишет картины и немного стихи, знает несколько языков. И ревностно помогает мужу в его трудах по созданию в Москве нового музея. Труженица она не менее страстная, чем ее муж Иван Владимирович Цветаев – профессор Московского университета, вечно увлеченный каким-нибудь крайне важным для всех делом.

И. В. Цветаев

С дочерью Мариной

Страсть одного, умноженная на страсть другой… Как же было не появиться от этого союза поэту, страсти которого все будут называть чрезмерными!

И все же одного таланта Марии Александровне недоставало: педагогического. Она слишком сурова.

Спартанский уклад в доме, дисциплина, послушание, настоящий культ труда… Но чего совсем нет в обиходе – легкости, праздничности, радости! Мария Александровна бескомпромиссна и вспыльчива. Дети не имеют в этом доме права на просьбу – никогда, ни на какую!

При первой жене Ивана Владимировича, красавице Варваре

Дмитриевне, в Трехпрудном устраивались приемы, приходило множество гостей, звенел смех. Теперь здесь чаще всего бывают деловые посетители, сразу проходящие в кабинет Ивана Владимировича. Ревнивая к памяти покойной своей предшественницы, Мария Александровна решительно переиначивает все прежде заведенные порядки, не щадя чувств подросшей падчерицы. Но что ж удивляться: суровостью она только повторяет своего собственного отца!

Мягкий Иван Владимирович уговаривает супругу хоть изредка пойти вместе с ним навестить старика Иловайского, первого его тестя. В глазах Марии Александровны это пустая трата времени.

– Ты уже целый месяц не была, пятая пятница, пойми же: обида! – пересиль себя, голубка, – нужно… – увещевает Иван Владимирович.

«– Значит, опять засесть в угловой и целый вечер проиграть в винт!

– Что делать, голубка, людей не переделаешь, а обижать не надо… – вздыхал отец, сам глубоко равнодушный ко всякому столу, кроме письменного».

В глазах Марии Александровны всякая игра презренна, только одна прекрасна: на рояле.

И музыкой дом звенит с утра до ночи! Старательно разучивает заданные пьесы Муся, бездарно тыкает пальцами в клавиши Ася, поет романсы Валерия, долгими часами бурно и страстно играет мать. Отца от этого ежедневного звукового наводнения счастливо спасает полное отсутствие слуха – он умудряется и при открытой в его кабинет двери не слышать ровным счетом ничего.

Валерия Цветаева со своим дедом Д. И. Иловайским

Позже, после смерти матери, девочки нашли ее дневники – целых девять тетрадей, написанных по-французски. И тут дочери впервые узнали о трагической истории ранней любви Марии Александровны. Счастливой взаимной любви, решительно оборванной ее отцом. Прочли девочки и строки, из которых поняли глубокую душевную драму матери: она чувствовала, что Иван Владимирович продолжал любить умершую первую жену. Мария Александровна ревновала и страдала.

С тех дней в сердцах сестер воцарился настоящий культ матери. Тогда-то и были написаны Маринины стихи о сказочном детстве, вошедшие в первую ее поэтическую книгу…

Проза взрослой Цветаевой с ее ранними стихами спорит. Восхищение матерью крепко сплетено там с другим чувством, горьким, от которого Марине так и не удалось до конца отрешиться.

3

В воспоминаниях, которые написала в старости Анастасия Цветаева, – неисчислимое множество имен, эпизодов, дат. С первых же строк книги очевидно, что прошлым автор захвачен, как наваждением, и почти задушен подробностями, которые с готовностью преподносит ему щедрая память. Жаль упустить что бы то ни было; всякое воспоминание – радость. Попробуйте подсчитать, сколько раз тут встретятся слова «счастье», «блаженство», «упоение», – собьетесь со счета. Все – счастье в далекой стране детства, ото всего – счастье. Счастье бежать по деревянной лестнице вниз, в залу, где стоит елка, счастье найти давно утерянный мяч, счастье ожидания, блаженство встречи, упоительный запах старых вещей в сенях, радость весеннего неба… Разве тут дело в причинах?

Старшую сестру детское прошлое не завораживает. Воскрешая его в своей прозе тридцатых годов, она, кажется, ни разу не поддалась искушению воссоздать сладкие мгновения легких детских радостей. Она вспоминала увлеченно – и все же не теряя руля, сама себя останавливая, если вдруг «заносило». Внешний мир выписан тут всегда немногими, круто положенными мазками; он интересен автору не сам по себе, а отраженным в детском сознании. Скрытые от посторонних глаз драмы и радости детской души, эта вселенная, поместившаяся в груди ребенка, – вот что в фокусе внимания старшей Цветаевой. Жизнь в Трехпрудном видится ей уже как бы со стороны; сорокалетняя Марина занята, кажется, больше другого разглядыванием себя в той девочке, которая тайком читала «Цыган» в комнате Валерии, а в июльскую жару на тарусском балконе переписывала стихи в самодельную тетрадку. Что выросло из этого случая? А вот из этой почки? Из этой встречи? Отбирая частности из житейского калейдоскопа, она всякий раз стремится протянуть все, какие возможно, ниточки из прошлого в настоящий день…

В прозе «Дом у Старого Пимена» Цветаева неожиданно отмечает родственные черты, странным образом сближавшие ее мать с отцом первой жены Цветаева Иловайским. «Они чем-то отдаленно походили, – сказано здесь. – Моя мать больше годилась бы ему в дочери, чем его собственная». И тут же – характеристика педантичного труженика Иловайского в его отношениях с детьми: «…очевидность его очей была одна: его родительская власть и непогрешимость ее декретов».

И в трехпрудном доме материнская власть была того же рода.

В этом доме были картины, книги, музыка, мраморные бюсты

богов, культ труженичества. Не было только простоты и сердечной близости между детьми и родителями. «Будь моя мать так же проста со мной, как другие матери с другими детьми…» – вздох Цветаевой в прозе «Мой Пушкин». Это вздох сердечной отверженности, пережитой слишком рано. Вот почему словно два разных детства прошли в одно время, в одном доме, у одних родителей: одно – наполненное безусловным счастьем и другое – слишком сильно приправленное горечью…

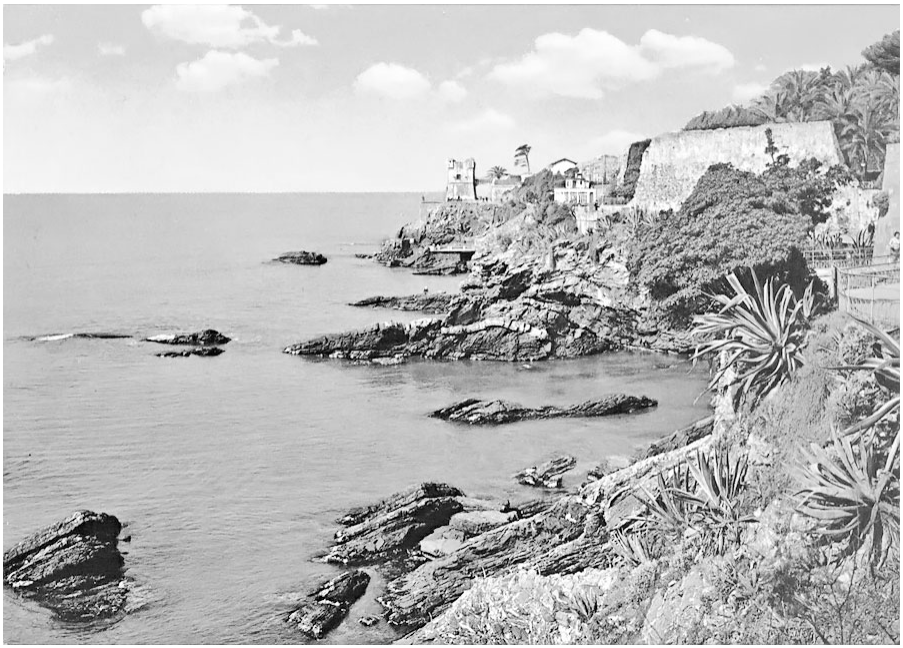
Анастасия Цветаева настойчиво педалирует в воспоминаниях на внутреннем сходстве ее с Мариной. Общего в самом деле у них было немало – по преимуществу в сфере эмоциональной. Валерия Цветаева отмечала, впрочем, что Ася тоже с детства «обладала блестящей памятью, быстротой мысли и впоследствии обращавшим на себя внимание даром слова». Но какое причудливое переплетение родственного с инородным – и в характере, и самом типе личности! Марина вспыльчива, Ася мягка; Марина замкнута, Асе всегда хочется разделить радость и горе с другими. Старшую раздражает быт, Ася его не замечает. С ранних лет для Марины мучение держать в руках что-либо, кроме пера; у младшей в руках все спорится: она умеет и выпиливать, и переплетать книги, и прошить шов, и уложить чемодан… Вот наступает праздник елки: младшая радостно прыгает вокруг рождественских сюрпризов; Марина сидит, уткнувшись в подаренную книгу, не видя и не слыша ничего вокруг. Разница в возрасте? Конечно. Но не только.

Любила мать старшую или мало любила – разговор пустой; в делах сердечных ни у кого нет права решительно утверждать такое. И Пушкина – в детстве толстого и неуклюжего – мать не слишком баловала любовью, весь жар сердца отдавая младшему брату будущего поэта. Банальная, кажется, ситуация: страдания старшего ребенка, обделенного нежностью, когда появляется на свет младший. Но вдруг это благо для будущего художника? Нет ли тут какой-нибудь жестокой закономерности? Дитя, с ранних лет изнеженное родительской любовью, выросшее в безоблачной атмосфере, – вырастает ли творцом? – Вопрос.

Но всю жизнь Марине будет не хватать любви и ласки; у совсем уже взрослой Цветаевой не раз вырвется странная просьба: чтобы ее просто погладили по голове… Что это, как не жест материнской нежности?!

Три года – с осени 1902-го до лета 1905-го – маленькая Марина с сестрой и матерью провела сначала в Италии – в местечке Нерви под Генуей, затем в Швейцарии, в Лозанне, во французском пансионе сестер Лаказ, затем в Германии – в Шварцвальде (Фрейбург, немецкий пансион сестер Бринк).

Ася и Марина со своими друзьями. Нерви, 1903 г.



Нерви

В Нерви десятилетняя Марина начала вести свой дневник. Это означало, что потребность пера – как разговора с собой и осознанного существования – уже определилась. Одна из гимназических подружек будет вспоминать потом, что Марина приносила ей на чтение не меньше пяти толстых клеенчатых тетрадей и детские эти записи поразили читавшую странной зрелостью.

В Нерви среди знакомых матери неожиданно оказались веселые и обаятельные русские эмигранты-революционеры. У них были героические биографии; некоторые из них бежали с каторги. Они отвергали привычный уклад жизни, говорили об угнетенном народе, за освобождение которого многие уже пали жертвой, пели незнакомые песни, полные благородного гнева. Знакомство это имело последствия, о которых мы еще вспомним. Но уже тогда десятилетняя Марина написала революционные стихи, и они настолько понравились ее взрослым друзьям, что они тогда же сумели опубликовать их в каком-то эмигрантском издании!

Эти эмигранты поразили впечатлительных сестричек своими язвительными насмешками над религией и верующими людьми. Однако прошло совсем немного времени, и в католическом пансионе Лозанны эти насмешки были забыты. Там Марина уже стоит на коленях за полночь, молясь перед Мадонной. Она сама себе дает обеты, устанавливает строжайшие правила, так что ее

письма даже пугают мать в Нерви: что они там – совсем в монашек превратились?..

Ася и Марина с А. И. Доброхотовой

Ася и Марина с Владимиром Кобылянским

Фрейбург

В пансионе сестер Лаказ Марина пишет стихи по-французски. В одном из писем лета 1903 года Иван Владимирович сообщает А. А. Иловайской: «За Марусю даже страшно: говорит, как взрослый француз, изящным, прямо литературным языком ‹…› пишет по-французски правильнее и литературнее пяти– и шестиклассников в гимназиях. Экие дарования Господь ей дал, и на что они ей! После они могут принести ей больше вреда, чем пользы».

После швейцарского немецкий пансион во Фрейбурге показался почти тюрьмой. Девочки надолго запомнят и обязательный, очень полезный и смертельно им надоевший ревеневый кисель, и свою заброшенность в строгом обездушенном распорядке пансионной жизни. Но главным событием внутренней жизни Марины стало здесь переживание тяжелейшего известия, о котором она узнала из письма отца. Она расскажет об этом позже в «Доме у Старого Пимена». Сестры узнали о том, что в России чахотка унесла юные жизни Нади и Сережи Иловайских. И Марина, и Ася любили их с необычайной нежностью.

Силу потрясения, пережитого Мариной, невозможно было бы вообразить, если бы она сама потом его не описала. Страстное желание овладело ею тогда: увидеть Надю! Увидеть хотя бы раз! В последний раз!

Девочка свято верила, что умершие «являются» иногда тем, кто их зовет и любит. И вот задыхающаяся от горя Маруся разыскивает Надю во всех закоулках пансиона, тщетно ждет ее в

темной музыкальной комнате, видит во сне; наконец начинает мечтать о собственной смерти – ради встречи в ином мире. «Умереть, чтобы увидеть Надю!» – так это называлось… Ибо острота горя разрывает ей сердце. Впрочем, и Мария Александровна верила в «явления» умерших, и Райнер Мария Рильке признавался в сходных переживаниях…

Ни одно впечатление не проходит для Марины бесследно.

Надя Иловайская

В Россию семья возвращается только в 1905 году; врачи советуют Марии Александровне не ехать сразу на север – сначала пожить в Крыму. И вот в Ялте, где мать с дочерьми проводит несколько месяцев, еще одно потрясение настигает Марину – расстрел мятежного лейтенанта Шмидта.

Она и теперь сочувствует революционерам, потихоньку от матери бегает на революционные сходки ялтинской молодежи. Что знала она о лейтенанте, кроме того, что он – герой? Почти ничего. Но и этого достаточно! Культ благородного героя пройдет через всю ее жизнь.

В горе Марина замолкает, окаменевает и много дней подряд избегает решительно всех.

Мария Александровна умерла в 1906 году, едва успев доехать до любимой Тарусы.

Глава 2
Понтик

1

В ближайшие месяцы после смерти матери своенравие четырнадцатилетней Марины выходит из берегов. С энергией и упорством она начинает выстраивать собственную жизнь без оглядки на чьи бы то ни было авторитеты. Словно пар из-под плотно закрытой крышки, вырывается вдруг фонтан подавленной воли; он выплескивается буйным потоком, с водоворотами и мусором молодого эгоизма, вольного и своенравного «я так хочу!». Мать справлялась с такими порывами простым поднятием брови – теперь Марине никто не указ.

Бедный Иван Владимирович! Здоровье его пошатнулось за последние годы, а после смерти Марии Александровны он слег и долго болел. Он и раньше не вмешивался в воспитание детей, целиком передоверив это жене, – теперь, убитый горем, он совершенно беспомощен перед своеволием своих младших. Между тем авторитет отца низвергается в первую очередь – он ближе всего!

С ним заодно ниспровергнут и авторитет домашнего уклада. В доме появилась немка-экономка Елизавета Карловна; она старательна и хозяйственна, порядок налажен, но девочкам нелегко привыкнуть к переменам, которые появились, и они бунтуют. На помощь отец призывает из Ялты знакомую учительницу Бахтурову, «Мартысю», о которой еще недавно сестры вспоминали с восторгом и тоской. Но когда та приезжает, выясняется, что прежняя близость куда-то исчезла. Контакт пропал, и бедная горбунья спустя несколько месяцев вынуждена уехать восвояси.

В ближайшие четыре года Марина сменяет три гимназии.

В каждой она держится особняком, не сливаясь с классом. Соклассницы запомнили ее независимой, резкой, эксцентричной, насмешливой. Но близкие подруги – они все же появлялись – отметят совсем иные черты: незащищенность, ласковость, доверчивость. Марина вся состоит из таких крайностей: безудержность бурного оживления и нелюдимая закаменелость; то резкость – то нежность…

На уроках ее можно и не заметить: сидит себе тихо на последней парте, читает или что-то пишет. Другое – на перемене.

Тут иногда она ошеломляет гимназисток: вдруг появляется около какой-нибудь группки беседующих и приводит всех в замешательство странным вопросом, неожиданной репликой или цитатой.

Гимназия фон Дервиз в Москве

Гимназия Алферовой в Москве

Реакции ее непредсказуемы, но сама их внезапность органична. Много лет спустя Цветаева признается, что мать

Волошина, например, мила ей более всего тем, что по-немецки зовется das Einfall и что сама Марина переводит как своенравную игру жизненных сил. Но это – и ее собственное врожденное свойство! Другим оно кажется нарочитым, на самом деле его исток – природа…

Коса, с которой она приехала из Италии, отрезана, теперь у Марины мальчишеская стрижка с челкой. Жесты тоже мальчишеские, странно-угловатые. Но походка легкая, неслышная, летящая. И прелестный жемчужно-розовый цвет лица.

Свободу и независимость от принятых правил и мнений она проявляет когда и как вздумается. В седьмом классе однажды она появилась с волосами, выкрашенными в соломенный цвет, и с голубой ленточкой в прическе. Соученицы поначитаннее решили, что это в честь «Золота в лазури» – только что вышедшего сборника стихов Андрея Белого. Пройдет время, и Марина сделает шаг еще более решительный: обреет голову и наденет черный чепец.

Она никогда не интересуется тем, «что задано», но с гимназической программой, в общем, справляется. Правда, ей ненавистны точные науки, сложны ее отношения с математикой и физикой, а химия интересна лишь постольку, поскольку в опытах смеси получают иногда красивый цвет.

Классные дамы избегают делать ей замечания, а учителя не слишком часто вызывают отвечать урок. Это мудро: спокойнее игнорировать ученицу, способную ответить дерзостью. Но когда однажды учитель истории задает ей какой-то конкретный вопрос о Французской революции, Марина встает и отвечает – пространно и без запинки, с постепенно возрастающим увлечением, совсем не по учебнику и не так, как излагал тему на уроках сам учитель. Она рассказывает подробно и конкретно – имена, события, эпизоды… В полной тишине ее завороженно слушает весь класс, а вместе с ним историк-учитель. И только звонок на перемену оборвет блестящий монолог.

Гимназия Брюхоненко в Москве

Уроки она часто пропускает. Выходит из дому в положенное время – и, тихонько вернувшись, пробирается на чердак. Там холодно, неуютно, но Марина читает взятую из дому книгу и терпеливо ждет, когда уйдет на службу отец. Потом возвращается в свою комнатку и всласть отдается любимым занятиям – пишет или читает.

Читает она запойно.

Книги в материнском шкафу и в шкафу старшей сестры давно прочитаны. Теперь она увлечена новинками литературы, русскими и иностранными, особенно поэзией. Гимназистки с ней часто советуются – что читать, – и Марина охотно дает

рекомендации, а то и приносит книги из дома. Одной она советует прочесть Сельму Лагерлёф, другой – свежие сборники «Знания» и свой любимый роман Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов», кому-то – стихи революционного поэта Евгения Тарасова.

Из гимназии в гимназию за ней тянется шлейф репутации дерзкой и вольномыслящей ученицы. Однажды кто-то подслушал громкие голоса, доносившиеся из кабинета директора, – туда была вызвана Цветаева. Слышно было, как в ответ на выговор она громко и дерзко отвечала:

– Не пытайтесь меня уговорить! Горбатого могила исправит! Хотите исключить – исключайте! Пойду в другую гимназию – ничего не потеряю. Уже привыкла кочевать. Это даже интересно – новые лица…

Весной 1909 года класс выезжает на пасхальные каникулы в Крым. И тут подруги замечают в Марине новые черты. Оказывается, у нее прорва энергии и совершенно спартанские привычки. Никакой изнеженности! Она мало спит и мало ест, не боится холода, никогда не кутается, любит ветер и быструю ходьбу. При переездах она всегда садится на козлы, рядом с возницей, и превосходно выглядит там – в легкой одежде, с бусами из ракушек на шее, с развевающимися волосами…

Она сама выбирает себе подруг. На перемене внезапно подойдет к прогуливающимся по зале, возьмет под руку гимназистку, которая ее заинтересовала, и предложит: «Походим вместе!» А то и прямее: «Давайте дружить!» Обычно она выбирает кого-нибудь из старших классов: из-за пропущенных за границей двух лет соклассницы Марины младше ее, с ними ей неинтересно.

Она настойчиво отыскивает тех, кто не похож на других. И легко обманывается, избирая объект восхищения: она слишком доверчива к первому впечатлению, слишком легко предполагает в человеке прекрасные качества. Выбирает по случайной обмолвке, по выражению глаз, но больше всего – по любви к стихам. Страсть к поэзии всю жизнь будет играть в ее глазах роль лакмусовой бумажки: не может быть, чтобы человек, носящий эту страсть в себе, не был прекрасен!

Однажды на перемене Марина раздумчиво начинает:

– Был тихий вечер, вечер бала…

– Был тихий вальс… – неожиданно подхватывает чей-то голос рядом.

– Радугина! – радостно восклицает Марина. – Вы знаете стихи Виктора Гофмана? Как хорошо!

Такой диалог – это уже начало дружбы. Очаровываясь и разочаровываясь, Марина жадно ищет родственную душу, и

нетерпеливая надежда у нее неизменно опережает трезвую оценку. Младшая сестра привычно подтрунивает над очередными восторгами старшей:

– Давай на пари – разочаруешься! Месяца не пройдет!

И раз за разом Ася пари выигрывает.

Но светловолосая Валя Генерозова с лучистыми серыми глазами надолго удержала привязанность Марины. Она действительно отличалась от других: любила уединяться на переменах, хорошо пела романсы и знала наизусть множество стихов. Валя была пансионеркой – в будние дни жила в гимназическом интернате, бывая дома лишь по субботам и воскресеньям. Не из-за нее ли и Марина решила перейти в интернат? Они писали друг другу письма, а поздними вечерами в дортуаре, когда все засыпали, тихонько беседовали до зари. Это именно Валя завоевала такое доверие подруги, что Марина стала приносить ей из дому свои дневники. Те самые, что были начаты еще в Нерви.

Однако родные Вали не позволили девочкам сблизиться домами: помешала бунтарская репутация Марины.

2

Еще одна гимназическая подруга Марины, Соня Юркевич, признавалась много лет спустя, что она была заворожена очарованием этой странной ученицы. И однажды пришла в ее дом в Трехпрудном переулке из любопытства – ей захотелось посмотреть на «гнездо этой необычной и яркой птицы».

Соню изумил дом Цветаевых. Вернее, царящая в нем атмосфера. В ее собственной семье не было ничего похожего!

Тут все были странно разобщены – взрослые и дети. Для обитателей не существовало, кажется, никаких общих правил; потаенность и даже некая вражда висели в воздухе; никакой легкости в отношениях друг с другом. Особенно изумило Соню пренебрежение, с каким сестры Цветаевы относились к отцу. Они позволяли себе ехидничать относительно его политических пристрастий – прямо за обедом, и при гостье! Марина задавала тон, младшая, Ася, во всем ей подражала, наперегонки своевольничая и дерзя.

Это, однако, не помешало Соне привести Марину в свой родительский дом, так отличавшийся от цветаевского.

То был дом известного в Москве географа и педагога И. В. Юркевича, славившийся гостеприимством. Соня знакомит Марину со своими старшими братьями – Владимиром, Сергеем и

Петром. Красивые доброжелательные студенты, они очень любят гостей, с удовольствием готовы обсуждать все подряд и не менее охотно – веселиться.

Марина попросту зачарована.

Ближайшим летом Соня предложила подруге приехать к ним на несколько дней в Орловку – родовое имение в Тульской губернии. И Марина радостно соглашается.

Эти несколько дней в Орловке она потом долго будет вспоминать. И молодежь, и старшие, вместе и порознь, спорили, музицировали, слушали граммофон, читали книги. А еще она ездила с Петром верхом на лошадях. Обычно застенчивая среди незнакомых людей, Марина сама удивлялась той легкости, с которой она окунулась в эту атмосферу доброты, веселого доброжелательства и непринужденного общения.

Вернувшись в Тарусу, на свою Песочную дачу, она загрустила. Слишком ощутимой после Орловки показалась ей здесь разреженность воздуха! Тут были свои радости, но…

Петр Юркевич

Ей предстояли осенние экзамены из-за очередной смены гимназии; Марина готовилась перейти в гимназию Брюхоненко. И

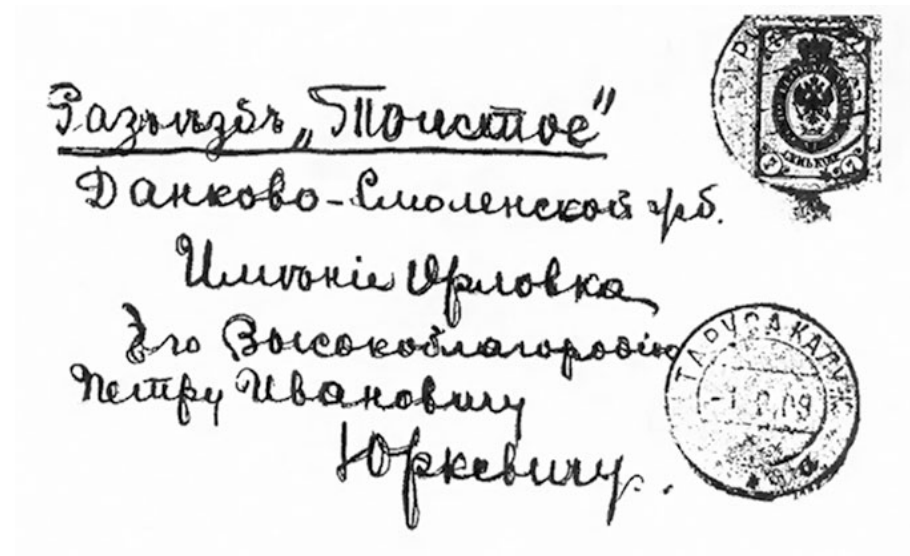
потому в августе ей приходится сидеть на своем балкончике и с отвращением зубрить алгебру и химию. Правда, вид с ее балкончика замечательный – сквозь березовые листья внизу видна широкая Ока, поблескивающая под солнцем.

После полудня Марина гуляет среди полей поспевающей ржи. Но теперь чем прекраснее мир вокруг, тем острее ощущает она горечь в собственном сердце. Даже прелесть тарусских холмов, долин и перелесков не способна утешить ее надолго, хотя каждое облачко здесь ей в праздник и влюблена она буквально в каждый поворот дороги. У нее настоящий дар: наслаждаться красками заката, холодным светом луны, просторными далями…

Она рада, что может рассказать об этом своему старшему умному другу Перед отъездом из Орловки они договорились с Петром Юркевичем о переписке.

– О чем же мне писать вам? – спросил Петр, прощаясь.

– Обо всем, что придет в голову! – уверенно отвечала Марина.



Конверт письма Марины Цветаевой Петру Юркевичу

И в тридцать, и в сорок лет она будет повторять то же самое: писать письма друзьям надо не обдумывая и не выстраивая их – как получится и о чем в тот момент захочется. Только то и дорого, что «срывается» с языка! Она доверяет спонтанным чувствам, будто уже начиталась современных философов; похоже, что – как говорила в свое время мать Марины – это «витало в воздухе». В письмах, как потом и в стихах, она буквально «ловит на перо» едва родившееся движение чувства и мысли – еще не устоявшихся, не оформившихся, – именно таким она особенно

верит, они неподдельны. Потому-то ее письма и не идут ни в какое сравнение с гладкими письмами большинства ее корреспондентов – разве что Пастернак пишет так же безоглядно. Соединенные с редкостной искренностью, почти со страстью к душевному самообнажению, письма Марины – верный проводник к глубинным истокам ее чувств и поступков. Лишь время от времени она пытается взнуздать собственную откровенность, догадываясь, что собеседник может оказаться к ней неготовым. «Написала я Вам, кажется, много лишнего, – замечает она в одном из писем этого лета, – но горе мое в том, что я всегда пересолю – не умею остановиться вовремя»…

Все чувства ее прирожденно гипертрофированны, и не составляет исключения мучительное переживание одиночества. Благодаря письмам к Петру Юркевичу мы знаем об этом с ее собственных слов. «Это мучение и страдание ежеминутное и ежечасное», – признается она Петру. Оно отступает только тогда, когда Марина читает хорошую книгу, пишет стихи, письмо или беседует с дорогим ей человеком. Временами она боится этой боли настолько, что готова пить вино, бежать куда угодно или броситься на грудь первому встречному.

«Бродила я меж желтой рожью, – пишет она своему новому другу, – садилось солнце – и край неба был огненно-красный, переходящий в золотой. Приближающаяся темнота, бледный месяц, голубоватая даль – все это настраивало к грусти. Я думала над тем, почему люди так одиноки. Ведь это ужас, подумайте, это проклятие. И ведь никогда люди, даже самые-самые близкие, не могут знать, что происходит в душе друг у друга…»

Острейшая хандра длится у нее иногда несколько дней подряд, не отпуская. Переживание заброшенности, потерянности, оставленности… Даже в любимой Тарусе. Рай вокруг – и чуть ли не ад внутри!

Но эта девочка не просто хандрит, ее мысль бьется вокруг извечных вопросов бытия. Зачем, ради чего жить? Где, в чем цель? К чему это ежедневное бессмысленное прокручивание суеты? «Унизительно жить, не зная зачем», – пишет она своему другу.

А может быть, выход – в той мечте, о которой она впервые услышала в Нерви? Бацилла революционной романтики не стерлась в ее памяти годами разлуки с теми необыкновенными людьми. Мечта о революции все еще греет ее сердце!

Но в России революционная буря уже утихла. Осенью 1908 года Марина видела вокруг усталых, разочарованных людей, давно растративших боевой порох. Однажды ей попадается в руки «Дух времени» Вербицкой – книга, в которой описаны знаменитые

похороны революционера Николая Баумана в октябре 1905 года в Москве. Она жадно глотает страницу за страницей, потом отбрасывает книгу и садится за письмо к Понтику. (Она называет его в письмах Понтиком. И поясняет: «несостоявшимся пойнтером». Ассоциация не слишком внятная, но ей необходима шутка и даже ирония – они прикрывают застенчивость; не так-то легко говорить о сокровенном с человеком, которого знаешь без году неделю!)

«Мысль, что все это прошло, что молодость пройдет без этого, не дает мне покоя, – пишет она. – Можно жить без очень многого: без любви, без семьи, без “теплого уголка”!.. Но как примириться с мыслью, что революции не будет?..» «Если бы началось, стала бы я хандрить! От одной мысли крылья вырастают!..»

Революция в ее глазах – противоположность бессмыслице буден. Только героическое не дает душе покрыться плесенью, скукожиться, отмереть… И в одном из писем она напишет нечто совсем чудовищное (если забыть о ее возрасте): «Неужели эти улицы никогда не потеряют своего мирного вида? Неужели эти стекла не зазвенят под камнями?.. Вот передо мной какие-то статуи… Как охотно вышвырнула бы я их за окно, с каким восторгом следила бы, как горит наш милый старый дом!.. Только бы началось…»

(И десяти лет не пройдет – начнется. Правда, то, что начнется, уже не захочется назвать революцией…)

Но пока она спорит с Петром о целях борьбы. И тут они категорически расходятся во мнениях. Борьба за «счастье других»? Марина протестует. Революция отнюдь не средство наполнения голодных желудков – и марксисты тут совсем ни при чем. «Умереть за… русскую конституцию? Ха-ха-ха! На кой она мне черт, конституция, когда мне хочется Прометеева огня!» Не за народ пошла бы она на революционный подвиг, не за большинство, которое «тупо, глупо и всегда неправо». Скорее уж за меньшинство, которое всегда гонимо большинством! Вот ее мечта: «Говорить, не боясь преград, идти смело, никому не отдавая отчета – куда и зачем, влечь за собой толпу…» Идти против… «Против чего? – спросите вы. Против язычества во времена первых христиан, против католичества, когда оно сделалось господствующей религией и опошлилось в лице его жадных, развратных, низких служителей, против республики за Наполеона, против Наполеона за республику, против капитализма во имя социализма… против социализма, когда он будет проведен в жизнь, против, против, против!»

Но есть и за в тех же ее письмах Понтику. Вот такое: «Вдруг исчезла бы Москва – с синематографами, конками, гостиницами,

экипажами, четвергами, субботами, всей этой суетней и вместо нее – Кавказ, монастырь, где томилась Тамара, скалы, орлиные гнезда, аулы, вершины Казбека и Эльбруса… Изведать хоть раз чувство одинокого творчества там, наверху, забыть о Москве, не знать о митингах, кадетах и эсдеках, холере и синематографах…»

То есть при всех ее «революционных» страстях самое лучшее там – в вышине, где орлиные скалы! (Именно так много лет спустя она назовет свой цикл стихов, посвященных Волошину: «Ici-haut» – «Там, в вышине»… Необыкновенно рано она знает о себе главные вещи. Ей едва исполнилось шестнадцать, когда она пишет эти строки.)

Петр Юркевич старше Марины на три года. Он темноволос и курчав, не только хорош собой, но еще умен и способен к искренности. Они продолжают видеться осенью и зимой в Москве. И вскоре Марина убеждает себя: она влюблена!

Удостоверившись, недолго думая, доверяя порыву, она внезапно признается в этом Понтику в один из его приходов в трехпрудный дом.

Что и как именно тогда было сказано, что произошло – неизвестно, очевидно только, что при желании все можно было свести к легкой шутке.

«Милый, славный Понтик! – пишет Марина уже на следующий день после инцидента. – Не сердитесь, все равно этим ничего не достигнете. Нужно было чем-нибудь выразить то чувство, названия которого я не знаю, – если вышло по-ребячески и глупо – изменять теперь поздно. Обещать ничего не обещаю, совсем не вижу, почему я должна обещать. Скажу одно: такие поступки не повторяются. Сейчас вечер. В комнатах ясный сумрак. Небо желто-розовое, светлое, звонят колокола. В такие вечера я никак не могу найти себе места. ‹…› Любовь, дружба ли – не все ли равно? Дело не в названии. Господи, Понтик, как много в жизни такого, чего нельзя выразить словами! Слишком мало на земле слов. Крепко жму Вам руку. Не сердитесь за вчерашний порыв… Ну, друзья, что ли? Ваша МЦ».

Со стороны Юркевича сохранилось лишь одно письмо – и это как раз ответ на только что приведенное.

Петр явно растерян. Он отвечает совсем как Онегин на письмо Татьяны, – преисполненный уважения и даже нежности, но… В письме его замечательнее всего характеристика пятнадцатилетней Марины:

«Марина, Вы с вашим самолюбием пошли на риск первого признания, для меня совершенно неожиданного, возможность которого не приходила мне и в голову… Что я вам отвечу? Что я вас не люблю? Это будет неверно. Чем же я жил эти месяцы, как

не Вами, не Вашими письмами, не известиями о Вас? Но и сказать: да, Марина, люблю… Не думаю, что имел бы на это право. Люблю как милую славную девушку, словесный и письменный обмен с которой так возвышает мне душу, дает пищу уму и чувству…» И так далее и так далее. И в конце: «Любящий Вас, преклоняющийся перед Вашей сложной, почти гениальной натурой и от души желающий Вам возможного счастья на земле. – Ваш П. Ю.»

Через восемь лет Понтик захочет воскресить прежнюю дружбу, но из этого уже ничего не получится. Кораблик уплыл по воле волн…

Последнее письмо, которое он получит от Марины – это уже 1916 год, – свободное, легкое. Там тоже о любви, – но это прощание, нечто вроде: «но я другому отдана…»

Петр Юркевич станет медиком и достигнет многого в своей профессии. Проживет долго и доживет до оглушительной славы Марины Цветаевой в шестидесятые годы.

Письма своей юной подруги он тщательно сохранит.

Глава 3
Бонапартизм

В октябре 1908 года Марине исполнилось шестнадцать. Спустя еще шестнадцать лет, отвечая на вопросы анкеты русской эмигрантской газеты «Дни», она отметила в графе «постепенность душевных событий» резкую смену своих увлечений и пристрастий как раз в 1908 году: «…разрыв с идейностью, любовь к Саре Бернар, “Орленок”, взрыв бонапартизма…»

«Разрыв с идейностью» означал конец ее революционных иллюзий. Юная Цветаева, такая норовистая и независимая с окружающими ее людьми, в отношении к духовной атмосфере времени обнаруживала чуткость тончайшего барометра. Как раз к осени 1908 года революционные настроения в России исчерпали себя.

И итоги и уроки революции 1905 года уже поддавались анализу и обозрению.

Они прорисовали кризисное состояние русской общественной жизни. В журналистике и литературе все большее место стали занимать темы и герои, которых не знали прежде русские читатели. Рахметовых и Инсаровых сменили ныне личности, чувствующие себя абсолютно свободными от долга перед обществом. Они уже не верили в возможность переустройства социальной жизни на началах справедливости. Этот мрачный вывод дался многим ценой не просто утраты дорогих иллюзий, но ценой отчаяния.

«Переоценка ценностей» – лозунг, провозглашенный Фридрихом Ницше еще в прошлом веке, – оказался на повестке дня. Он выглядел теперь подкрепленным итогами революционных потрясений, споры утратили прежнюю умозрительность. Портрет Ницше висит на стене в помещении символистского издательства «Скорпион». Другое издательство называется «Заратустра» – как бы в напоминание о знаменитой работе философа. Андрей Белый читает о Ницше публичные лекции. Автор трактата «По ту сторону добра и зла» необычайно популярен в эти годы: для России он выступает символом «раскрепощения личности», уставшей от служения гражданскому долгу.

Но что есть истинная свобода личности? Где кончается бунт против мещанских норм жизни и начинается отрицание нравственного чувства вообще?

Внимание литераторов чаще привлечено теперь к изнанке человеческой натуры, к психологии измены, предательства,

отступничества – и в социальном, и в сугубо личном поведении человека. И тут сколько авторов, сколько героев – столько и решений; русские «доморощенные ницшеанцы» (так их называет критика) порой слишком похожи на потерянных людей, судорожно ищущих новые духовные основания для жизни.

Впервые в русском обществе открыто, горячо и бесстыдно обсуждаются «проблемы пола». Раскрепощение женщины упорно толкуется как защита ее права на «свободную любовь». Повесть Арцыбашева «Санин», впервые увидевшая свет в 1907 году, еще и в 1908-м, и в 1909-м продолжает вызывать открытые дискуссии, собиравшие толпы слушателей и участников. На театральных подмостках – его же драма «Закон дикаря» с тем же пафосом, в Петербурге театр Яворской ставит скандальную пьесу Ан. Каменского «Завтра», где героиня мечется между жестоким выбором: то ли отдаться кавалеру со скуки, то ли утопиться…

Прочитав «Санина», бедный Иван Владимирович Цветаев пришел в смятение и ужас; ему казалось, что своевольная, бунтующая по любому поводу Марина может наделать глупостей: вступить, например, в гражданский брак с каким-нибудь гимназистом. Неуклюже, намеками он пытался поговорить об этом с дочерью – и всякий раз предельно раздражал ее.

«Санинщину» Марина всей душой презирала; эта зараза просто не могла к ней прилипнуть.

Между тем в стране еще продолжались послереволюционные репрессии. Лев Толстой писал в Ясной Поляне «Не могу молчать!», Короленко на страницах «Русского богатства» публиковал гневные статьи. «Рассказ о семи повешенных» и «Иуда Искариот» Леонида Андреева вызвали настоящую бурю откликов в печати – так горячи были темы.

В недрах русской интеллигенции вызревала философия «Вех». Ставший впоследствии знаменитым, сборник выйдет из печати ранней весной 1909 года и объединит статьи виднейших русских мыслителей. В критике он вызовет бурный взрыв негодования, но – знаменательно! – в ближайшие же месяцы издание придется повторить несколько раз, так быстро оно раскупалось.

Даже споривши сходились между собой в том, что в сборнике много нужной, хотя и горькой, правды, умных и ценных мыслей, сказанных вовремя и с благородным мужеством.

«“Вехи” можно бранить и нужно бранить, но необходимо прочесть», – писали газеты, и сходились в этой позиции почти все. Идеи, до тех пор разрозненно звучавшие в столичных гостиных, в статьях сборника получили смелую и талантливую разработку. Главный пафос состоял в развенчании «доктринерства, направленства, нетерпимости» русской интеллигенции, упорно

провозглашавшей во второй половине XIX века приоритет общества перед личностью.

Позже Марина дружески сблизилась с виднейшими авторами «Вех» – Николаем Бердяевым и Михаилом Гершензоном.

Но что это за «взрыв бонапартизма», о котором вспомнила Цветаева, отвечая на вопрос анкеты?

Все началось с того, что прошедшей весной она впервые прочла по-французски пьесу Эдмона Ростана «Орленок» – о несчастном сыне Наполеона Бонапарта, восхитилась и решила перевести ее на русский язык. То был упорный многомесячный труд, подогреваемый не столько литературными целями, сколько влюбленностью в судьбу и личность юного герцога. Пожар увлечения горит в Марине всегда, не разбирая границ.

Уже год спустя, случайно услышав в книжном магазине пренебрежительные слова Валерия Брюсова, сказанные в адрес Ростана, она, едва вернувшись домой, пишет знаменитому мэтру письмо, и в нем – главный вопрос: «Неужели вы видите в нем только блестящего фразера, зная его бесконечное благородство, его любовь к подвигу и чистоте?»

Марина прочитывает о Наполеоне и его сыне горы книг, просматривает все альбомы, которые может достать.

(Мне довелось держать в руках толстый фолиант из ее личной библиотеки. Мелким шрифтом на французском языке – помнится, книга без картинок и даже виньеток! – в ней была изложена история боевых походов наполеоновской армии. Можно бы, кажется, на месте юной девушки, которой должны быть скучны подробности такого рода, только пролистать обстоятельный опус – и отложить в сторону. Но ничего похожего. Книга – вся! – испещрена карандашными пометами, сделанными характерным, рано определившимся цветаевским почерком. Все прочитано! Со скрупулезностью настоящего исследователя!..)

Сын Наполеона герцог Рейхштадтский («Орленок»). Портрет работы Т. Лоренса. 1820 г.

Прославленной французской актрисе Саре Бернар в ее последний приезд в Россию было уже шестьдесят четыре года. Рецензенты русских газет с большей или меньшей деликатностью писали о закате ее актерских возможностей, горевали об утрате некогда «чарующего» голоса, отмечали усталость актрисы и отсутствие творческого подъема на многих спектаклях. И публика проявляла сдержанность в приеме, но некоторый ажиотаж вокруг спектаклей все же был.

Наиболее восторженно принимала знаменитую актрису молодежь. Особенно проявилось это на последних спектаклях. «Орленок» шел в Москве в последний раз 27 декабря 1908 года. На следующий день давали спектакль «Дама с камелиями», а после него Сара Бернар уезжала прямо на вокзал. «Овации молодежи сопровождали великую артистку до выхода ее на подъезд, – писал рецензент «Московских ведомостей». – При громких криках толпы, тронутая приемом, Сара Бернар сказала: “Какая чудная молодежь, как я счастлива находиться в центре

России, в Москве, великой столице, которую я посетила впервые еще в годы моей юности…”»

По мнению рецензента газеты «Речь», в этот приезд Сара сыграла Орленка иначе, чем прежде, – «не в барабанном стиле, а мягко и лирично». Рецензент находил даже, что спектакль прозвучал глубже и значительнее, чем сама ростановская пьеса.

Такого «Орленка» и такую Сару Бернар впервые и увидела пылкая и сострадательная московская гимназистка. Жалость к юному обреченному принцу соединилась с болевым сочувствием к закату звезды романтического театра – не желающей сдаваться годам актрисе.

«Бонапартизм» юной Цветаевой в эту зиму обнаруживал себя именно в таких одеждах.

Перевод «Орленка» она закончила весной 1909 года. Дала на прочтение двоим-троим близким людям. Перевод был горячо одобрен читавшими. И вскоре… уничтожен автором! Только потому, что Марина узнала: перевод уже существует, она не первая! Увы, цветаевского варианта «Орленка» уже никто не прочтет…

К гастролям Сары Бернар в России относится эпизод, о котором глухо и противоречиво рассказывала в старости Анастасия Цветаева. И не только рассказывала – записала в одном из изданий своих мемуаров.

Эпизод крайне значимый: о попытке самоубийства юной Марины. Анастасия Цветаева соотносила этот эпизод с гастролями театра Сары Бернар; будто бы именно на спектакле «Орленок» Марина попыталась застрелиться. Пистолет дал осечку. Вскоре после того, приехав в Тарусу на каникулы, она намекнула о происшедшем младшей сестре. Анастасия Цветаева называла при этом 1910 год. Но тут память ее дает явный сбой. Такая дата не стыкуется с гастролями Сары Бернар; последний раз актриса приезжала в Россию именно в 1908 году. Пасхальные каникулы тоже придется заменить на рождественские – и тогда все становится вполне вероятным.

Мотив? Он мог быть романтическим жестом в духе времени: как дань любви к бедному герцогу – на спектакле, ему посвященном! Особую конкретность рассказу Анастасии Ивановны придавало упоминание о предсмертной записке Марины – ее будто бы нашли в цветаевских бумагах весной 1922 года…

Увлечение Сарой Бернар было простым продолжением все того же увлечения «Орленком». Не пройдет и года, как юная Марина убедит отца отпустить ее в Париж – учиться на летних курсах «Альянс франсез»; солидная фирма уже тогда имела свои

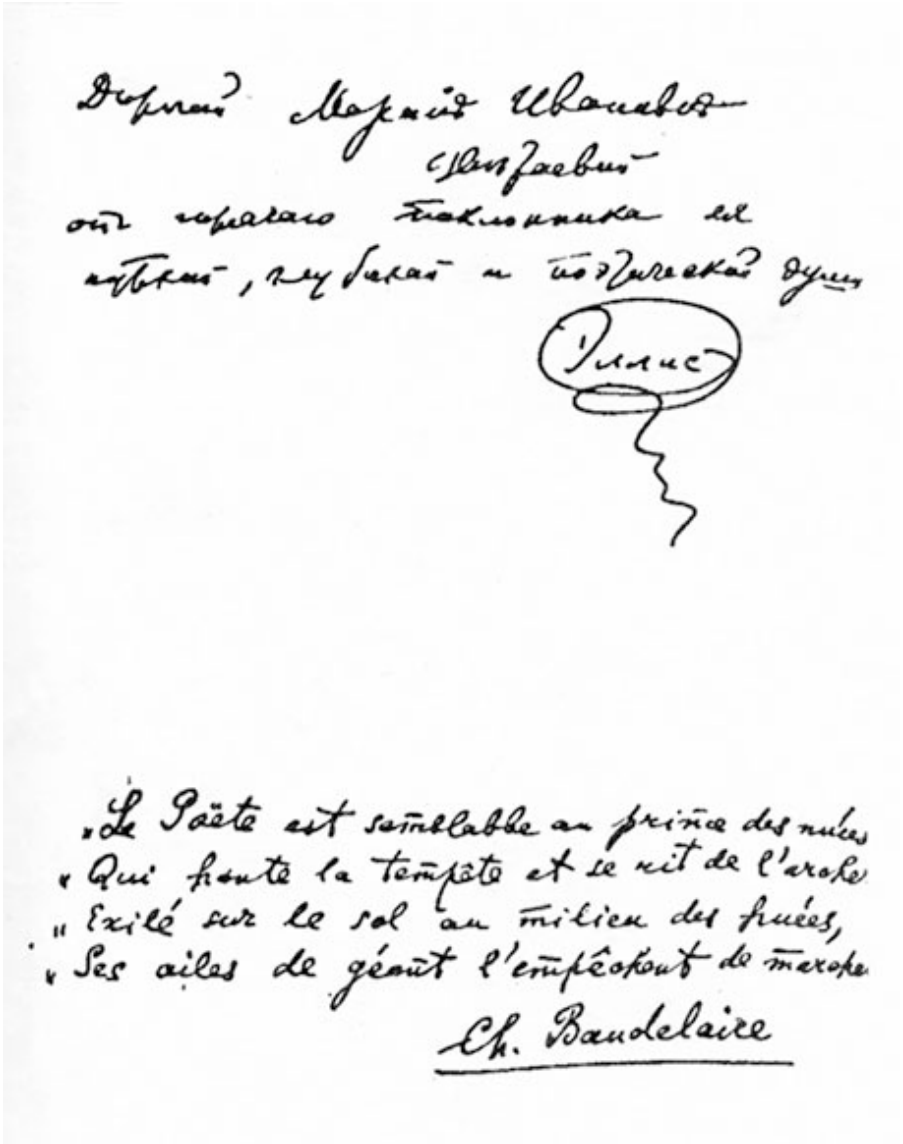
отделения во всех европейских странах. Но истинной причиной поездки была жажда снова увидеть на сцене Сару Бернар. А кроме того, то была возможность скупать по всему Парижу портреты Наполеона и его несчастного сына, как и книги о том и о другом… «Ни одна из жен Наполеона, ни родная мать его сына, быть может, не оплакали их обоих с такой страстной горечью, как Марина в шестнадцать лет!» – так скажет об этом в своих воспоминаниях Анастасия Цветаева.

Глава 4
Чародей

1

В том же 1908 году в жизни Марины появляется новый друг, первый литератор на ее пути – Лев Львович Кобылинский.

Этому предшествовало появление в директорском кабинете Ивана Владимировича Цветаева высокой красивой дамы лет тридцати. Дама представилась зубным врачом и предложила бесплатно обслуживать всех служащих музея – за одно то, чтобы ей было разрешено брать на дом книги из Румянцевской библиотеки. Обычные библиотеки, пояснила она, ее не удовлетворяют, между тем как чтение – ее самая большая радость. Так состоялось знакомство Цветаева с Лидией Александровной Тамбурер.



Дарственная надпись Эллиса М. Цветаевой

Тамбурер оказалась женщиной не без странностей, зато необыкновенно сердечной. Вскоре она всей душой привязалась к младшим дочерям Цветаева, которых он привел в ее зубоврачебный кабинет. А с Мариной вспыхнула настоящая дружба; почти двадцать лет разницы в возрасте не помешали их взаимной привязанности. Тамбурер с радостью дарила Марине сердечное тепло, которого той всегда не хватало. Но она сделала и большее: подарила друга.

Это был человек, встреча с которым стала для Марины событием. Эллис – литературный псевдоним Кобылинского,

внебрачного сына известного педагога Поливанова, в гимназии которого учились многие известные люди, в их числе поэты Брюсов и Белый. Эллис успешно окончил Московский университет, где занимался отнюдь не филологией, а экономическими науками. Страстно увлеченный учением Карла Маркса, он вел кружок по изучению «Капитала» и в одном из литературных домов читал рефераты о прибавочной стоимости. Нов 1903 году о нем говорят уже как о бывшем марксисте: к этому времени он увлекся поэзией Бодлера и европейских символистов. В ответ на предложение университетского профессора политэкономии Озерова остаться при кафедре Лев Львович заявил, что все экономические премудрости, полученные в университете, – хлам, не стоящий и одной строки Бодлера.

События революции 1905 года втянули его, как и множество русских образованных людей, в свою орбиту. Он устраивает вечера в пользу нелегальных боевых организаций, собирает для них средства, дает приют преследуемым революционерам. За ним организована слежка; в доме, где он живет, делают обыски. И в конце концов Эллис арестован и посажен в Бутырки.

«К какой партии вы принадлежите?» – спрашивают его здесь. И он отвечает: «К декадентской!»

Так его и записывают.

Эллис (Л. Л. Кобылинский)

Постепенно Эллис становится активистом этой «партии», быстро набирающей силу в послереволюционные годы. В это время газетные фельетонисты нехотя сменяют недавние издевательские интонации по отношению к декадентам на более спокойные.

Эллис – в первых рядах яростных и даже фанатичных проповедников символистского движения. Чуть ли не в каждом номере «Весов» – главного журнала русских символистов – он ожесточенно воюет с разного рода «уклонами»; по его мнению, выйдя из тени, символизм сразу оказался затоплен «волнами всевозможного хулиганства и идейного шулерства». «Бесплодно полемизировать со всей этой саранчой», – пишет он в одной из своих статей, однако сам яростно полемизирует и клеймит «всех этих сверхиндивидуалистов» и «мистических хулиганов».

Сама стилистика статей Эллиса выдает его неистовый темперамент: курсивы, восклицания, разрядки! Совсем как в прозе и письмах взрослой Марины: беспрерывное бурление чувств, сомнений, мыслей, каждая из которых абсолютно неотменяема. «Здесь и проклятье, и осанна!» – скажет позже

Марина о своем друге в поэме «Чародей». А в 1910 году – то есть вскоре после сближения с сестрами Цветаевыми – выйдет в свет объемистый труд Эллиса «Русские символисты». Тут и история движения, и обстоятельные характеристики-портреты «старших символистов», и все это сделано активнейшим участником движения!

Но своих соратников Эллис при этом не слишком радовал; в тогдашней периодике трудно найти добрый отклик на его статьи, переводы или стихи. Его переводы Верхарна Александра Блока возмущали; статьи Эллиса в «Весах» он даже назвал уничижительно «нервным мистицизмом», который следует лечить бромом.

ШАРЛЬ БОДЛЭРЪ.

МОЕ ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ.

ПЕРЕВОДЪ ЭЛИСЪ.

КНИГОИЗ - ТВО
„ДИЛЕТАНТЪ"
МОСКВА, 1907.

Титульный лист книги Ш. Бодлера, переведенной Эллисом

С Андреем Белым Льва Львовича связывала личная дружба; они шли рука об руку еще со времен кружка «Аргонавты» (1902–1903). Именно Эллис был тем человеком, который привез в 1907 году в Шахматово Александру Блоку вызов на дуэль от Андрея Белого. Но и последний не слишком добр в оценках литературного творчества друга. «Все талантливое в себе отдавал он кончику языка, бездарное – кончику пера», – зло напишет

Белый в мемуарах.

(К счастью, то, что сходило «с кончика пера», можно сегодня перечитать. Ах, как всегда максималистски требовательны современники! И среди стихов, и среди переводов Эллиса есть очень даже талантливые вещи. Что же касается статей, то можно не разделять их пафоса, осудить их запальчивую резкость, однако они уж никак не пустозвонны.)

Но любопытно: более чем сдержанно оценивая литературную работу Эллиса, и Андрей Белый, и Федор Степун, и Н. Валентинов в один голос называют его незаурядным человеком. Марина Цветаева будет еще щедрее. Почти двадцать лет спустя она скажет о своем первом друге-поэте: «… один из самых страстных символистов, разбросанный поэт, гениальный человек…»

Этот-то человек и стал другом Марины у ее литературной колыбели. Первая мысль о том, чтобы собрать воедино и издать собственные стихи, родилась у нее как раз в связи с Эллисом…

2

Сначала 1909 года возникают служебные неприятности у Ивана Владимировича Цветаева.

В гравюрном отделении Румянцевского музея обнаружилось крупное хищение. Сенат назначил ревизию, министр просвещения Шварц, давний недоброжелатель Цветаева, счел время удобным для сведения старых счетов. Разбирательство, потребовавшее от Ивана Владимировича оскорбительных для него объяснений, затянулось почти на два года. Сколько сил, здоровья, энергии ушло на противостояние немолодого уже профессора травле со стороны министра! Цветаеву долго еще казалось, что инцидент имеет локальный характер и скоро будет исчерпан. Не подозревая о готовящихся новых кознях, Цветаев уехал на археологическую конференцию в Каир и предполагал пробыть там месяца два.

На дворе стоял март 1909 года. Весенние вольные дни без отцовского присмотра укрепляют новую дружбу, подаренную Лидией Тамбурер сестричкам Цветаевым.

У Эллиса много друзей, тьма знакомых, его знают все, и он знает всех. И все же он бездомен, а неподдельная радость, с какой его каждый раз встречают юные дочери уважаемого профессора, греет его одинокое сердце. Он приходит по знакомому адресу все чаще и чаще. «Семь раз в течение недели такой звонок!» – сказано в поэме «Чародей», и, скорее всего, это чистая правда.

Каждый приход Эллиса в «шоколадный дом» – празднество для младших Цветаевых. Он завораживает рассказами, читает

стихи – свои, Брюсова, Бодлера, – рассказывает о славном рыцаре Грааля. Рассказчиком он был удивительным. «Однажды, – вспоминал Белый, – он с такой потрясающей яркостью изобразил мне жизнь мифической Атлантиды, что меня взяла оторопь…»

Наверняка он говорил с сестрами и о том, что его страстно волновало в эти месяцы: о спорах в символистских кругах. Исподволь он причащал их к идеям и языку русской литературной современности. О возрастной разнице Лев Львович при этом забывал. Свидетельство тому – упоминание в цветаевской поэме темы, всерьез беспокоившей их друга в те годы: темы раздвоенности человеческой натуры между добром и злом, постоянной борьбы человека с дьяволом. Эллис писал об этом статьи в «Весах» и, по свидетельству Валентинова, настойчиво говорил в те годы с друзьями. «Я между дьяволом и Богом / Разорван весь!» – восклицает и герой цветаевской поэмы.

Его внешность не обходит вниманием ни один из мемуаристов. Валентинов подчеркивает остро-зеленые глаза на белом мраморном лице, ярко-красные «вампирные» губы, неестественно черную бородку. В мемуарах Андрея Белого лицо Эллиса – белое, как гипсовая маска, с узкими прорезями фосфорических глаз. «Такое лицо могло бы принадлежать Савонароле, Равашолю или же… провокатору, если не самому “великому Инквизитору”. Сюртук – некогда великолепный, покрой изыскан. Кобылинский выглядел бы в нем настоящим франтом, если бы не явная поношенность…»

Дендизм Эллиса был программным – вослед Бодлеру, Уайльду, Барбе д’Оревильи, но поддерживать его было нелегко: Лев Львович был вопиюще беден. Его заработки в журналах были тощими, и, кроме того, он ими совершенно не умел распорядиться. Ел кое-как и где придется, а манжеты и манишку к старому сюртуку изысканного покроя ему приходилось стирать ежедневно: смены не было. Рассорившись с матерью и братом, он жил в комнатке меблированной гостиницы «Дон», неподалеку от Смоленского рынка. Цветаева описала потом эту комнатку в эссе «Пленный дух». Здесь всегда были опущены плотные шторы и горели две свечи, освещая бюст Данте. Встречались тут самые разные люди – от революционеров-нелегалов до Николая Бердяева. Беседы нередко продолжались ночи напролет; проголодавшись, шли перекусить и доспорить в ближайшую чайную для извозчиков, открывавшуюся около пяти утра.

Своего бытового неустройства Эллис не замечал. Всегда одержимый очередной идеей или очередным кумиром, он сомнамбулически зачитывал каждого, кто ему попадался под руку, текстами Данте, Бодлера или (позже) Рудольфа Штейнера.

Он существовал вне быта; мир духа был для него несравненно более реален, чем видимый и осязаемый. В эти годы он увлечен (как и многие) еще и оккультизмом, а кроме того, набрасывал план книги «Тайна и таинство сна».

Знакомые черты. Такой выросла и Марина.

Влияние? Несомненно. Но лично ли Льва Львовича? Скорее атмосферы времени, которая входила вместе с ним в трехпрудный дом.

С Эллисом сюда вошел XX век; до того здесь царили Греция, Италия, музей, создаваемый отцом, музыка и немецкий романтизм, обожаемые матерью. Правда, Марина читала в гимназические годы и новейшую литературу, но Эллис был сама эта литература, ее живое воплощение!

Однако не только литература.

«Он никогда не был тем, чем казался себе и нам, – писал Белый, – … лишь поздней открылось в нем подлинное амплуа: передразнивать интонации, ужимки, жесты, смешные стороны своими показами карикатур на Андреева, Брюсова, Иванова, профессора химии Каблукова, профессора Хвостова, он укладывал в лоск и стариков и молодежь… он был великим артистом, а стал – плохим переводчиком, бездарным поэтом и посредственным публицистом… Он проспал свою роль – открыть новую эру мимического искусства…»

Несправедливо. Эллис обладал больше чем мимическим даром, ибо мимы бессловесны. Эллис же был еще и импровизатор, и талантливейший литературный пародист! Федор Степун вспоминал, что живые портреты Эллиса никогда не были скучно-натуралистическими подражаниями. Остроумнейшие его шаржи в большинстве случаев и разоблачали, и казнили имитируемых людей. Исступленный ненавистник духа благообразно-буржуазной пошлости, он вкладывал в уста своих жертв блестящие саморазоблачающие тексты, превращавшие их в карикатуры… Мало того. Непонятной чарой Лев Львович вовлекал в свое действо всех, в том числе зрителей, решительно к тому не расположенных. Сеанс имитации действовал на присутствующих еще и гипнотически!

Цветаевская поэма «Чародей» дает великолепно емкий и яркий портрет: Эллис здесь не только фантазер, но и живой человек – вспыльчивый, переменчивый, экзальтированный:

Жерло заговорившей Этны –
Его заговоривший рот.
Ответный вихрь и смерч, ответный
Водоворот.

Здесь и проклятья, и осанна,
Здесь всё сжигает и горит.
О всем, что в мире несказанно,
Он говорит.

Нас – нам казалось – насмерть раня
Кинжалами зеленых глаз,
Змеей взвиваясь на диване!..
О, сколько раз

С шипеньем раздраженной кобры
Он клял вселенную и нас, –
И снова становился добрый…
Почти на час…

Цветаев вернулся из Каира раньше, чем предполагалось, из-за очередных неприятностей в Румянцевском музее.

И приходы Эллиса в «шоколадный дом» теперь уже не так часты: отношение Ивана Владимировича ко Льву Львовичу двойственно. Андрей Белый утверждает в мемуарах, что профессору с самого начала казалась опасной дружба дочерей с этим «декадентом». А кроме того, присовокупляет мемуарист, Иван Владимирович был в то время влюблен в особу, отдававшую предпочтение Эллису. Не была ли то Лидия Александровна Тамбурер? Этого мы уже не узнаем. Но справедливости ради надо сказать, что и без того Цветаеву трудно было радоваться такому гостю. Чего стоила одна манера «декадента» не помнить ни времени, ни приличий: он запросто мог засидеться (и засиживался!) до утра, чистосердечно забыв, где он и кто рядом с ним…

3

Однако настоящий скандал разразился позже.

В самый разгар лета 1909 года с Эллисом случилась беда. Он был «пойман с поличным» – как писали московские газеты – в момент, когда вырезал страницы из книг в зале Румянцевской читальни! На вопрос – зачем он это делал, Лев Львович простодушно отвечал, что пишет книгу и экономит время: вместо того чтобы переписывать, вырезает нужные ему цитаты.

Этот его ответ был опубликован в одной из газет – без

пояснения, что вырезки-то Эллис, по его собственному твердому убеждению, делал не из библиотечных, а из своих книг! Ибо ему было разрешено приносить с собой в библиотеку портфель с книгами. Легко предположить, что то была чистая правда, и преступник даже не предполагал, что совершает преступление. Во всяком случае, в этом был уверен Андрей Белый, отрицавший саму возможность злонамеренности со стороны Льва Львовича.

Во всей этой истории Цветаев как директор Румянцевского музея вел себя совсем не так агрессивно, как об этом повествует в своих мемуарах Белый. Последний приписывает Ивану Владимировичу враждебность, продиктованную дружбой Эллиса с его дочерьми. Но это всего лишь предположение. Другое дело, что вся эта история была в высшей степени некстати для Цветаева на фоне продолжавшихся бесконечных ревизий в музее. Администрация музея не намеревалась доводить конфликт с Эллисом до публичного разбирательства. Но в конце концов вынуждена была это сделать, подстегнутая ядовитой заметкой в «Московских ведомостях» некоего газетчика, скрывшегося за псевдонимом.

В результате август и сентябрь стали для Льва Львовича временем глубочайшего отчаяния. Никто не хотел его слушать. Все друзья оказались вне города (время было самое дачное), и Эллис увидел себя покинутым в труднейшую минуту своей жизни. «Я погибаю», «…мои переживания удлиняются до астрологических и геральдических схем. Это ужасно», – пишет он в эти недели Эмилию Метнеру.

На 28 сентября 1909 года было назначено судебное разбирательство.

Эллис дисциплинированно явился в камеру Александровского участка к мировому судье Халютину в сопровождении своего поверенного. Но со стороны обвинителя не пришел никто. И судье ничего не оставалось, как дело прекратить.

Только две газеты – «Русское слово» и «Голос Москвы» – сочли нужным сообщить читателям о том, что Эллис возместил ущерб за испорченные книги и принес извинения администрации музея.

Летом этого года Марина была в Париже и до поры до времени ничего не знала о туче, собравшейся над головой ее старшего друга.

Она нашла себе жилье, разумеется, на улице Бонапарта; посещала лекции по старофранцузской литературе, писала стихи и очень грустила.

Париж показался ей прозаичнее, чем она его себе

представляла. Такое будет повторяться с ней раз за разом; неуемная фантазия, мощное воображение, всё всегда опережающие, снимают сливки со всех ее реальных радостей. Ей и здесь грустно и одиноко.

Шумны вечерние бульвары,
Последний луч зари угас,
Везде, везде всё пары, пары,
Дрожанье губ и дерзость глаз…

Впрочем, грусть на этот раз имеет оправдание. Этой осенью Марине исполнится семнадцать, и то был естественный бунт юной души, добровольно заточившей себя в книжный монастырь…

О беде, нависшей над Эллисом, она узнала из письма Аси. Вознегодовав на преследователей, Марина тут же написала старшему другу горячее письмо. «Вас не смеют судить, и если бы Вы раскрали V, музея, то все равно они не смеют вас судить!» – пишет Марина Эллису. И собирается немедленно возвращаться в Россию, чтобы защитить Льва Львовича. «Если с Вами что-нибудь сделают, я застрелюсь!» – эти строки из ее письма Эллис в ближайшие дни перескажет Андрею Белому, признаваясь, что тронули они его «до невыразимости».

Париж. Улица Бонапарта

А в декабре того же года Лев Львович прислал в Трехпрудный к Марине своего ближайшего друга, двадцатишестилетнего Владимира Оттоновича Нилендера. Сестры Цветаевы уже встречали его раньше в доме Виноградовых, а может быть, и в «Доне», где он жил рядом с Эллисом.

Нилендеру была поручена деликатная миссия: сделать Марине от имени Льва Львовича предложение руки и сердца.

В тот вечер Владимир Оттонович засиделся у сестер сверх

всяких приличий. Как-то сам собой продолжался и продолжался нескончаемый разговор – и про бедного Эллиса с трудом вспомнили…

И нежданно-негаданно вспыхнула влюбленность – между Мариной и Нилендером. Ее последствия, как мы увидим, оставят заметный след в истории русской литературы.

Предложение Эллиса было отклонено, и можно только гадать, было ли вручено адресату стихотворение, написанное Мариной по свежим следам неожиданного события. Она назвала его «Ошибкой»:

Когда снежинку, что легко летает,
Как звездочка упавшая скользя,
Берешь рукой – она слезинкой тает,
И возвратить воздушность ей нельзя.

Когда пленясь прозрачностью медузы,
Ее коснемся мы капризом рук,
Она, как пленник, заключенный в узы,
Вдруг побледнеет и погибнет вдруг.

Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах
Видать не грезу, а земную быль –
Где их наряд? От них на наших пальцах
Одна зарей раскрашенная пыль!

Оставь полет снежинкам с мотыльками
И не губи медузу на песках!
Нельзя мечту свою хватать руками,
Нельзя мечту свою держать в руках!

Нельзя тому, что было грустью зыбкой,
Сказать: «Будь страсть! Горя безумствуй, рдей!»
Твоя любовь была такой ошибкой, –
Но без любви мы гибнем, Чародей!

4

Но и в 1910-м Марина и Лев Львович еще продолжали встречаться. Неугомонный Эллис стал директором-основателем нового символистского книгоиздательства «Мусагет». К этому времени прекратил свое существование журнал «Золотое руно»,

из редакции «Весов» выделилась группа младшего поколения – она и стала во главе «Мусагета». Эллис вошел в «триумвират консулов» издательства вместе с Андреем Белым и Эмилием Карловичем Метнером. С осени 1909 года триумвират заседал почти ежедневно вкупе с несколькими энтузиастами; среди них был и Владимир Оттонович Нилендер, специалист по античной литературе и классическим языкам. «Мусагет» официально открылся весной 1910 года на Пречистенке, 31, на втором этаже кирпичного флигеля дома, напротив памятника Гоголю (появившегося здесь год назад). И стал центром и средоточием русского символизма на его последнем этапе. Сплотившиеся тут «младшие символисты», по словам Федора Степуна, разрабатывали программу издательства, «исключительную по своему культурному уровню и по бюджетной нежизнеспособности».

Здание на Пречистенском бульваре, в котором размещалось книгоиздательство «Мусагет»

В противовес «Весам», ориентировавшимся больше на французскую поэзию и культуру, «Мусагет» был задуман по преимуществу германофильским. Над редакторским креслом Метнера висел портрет Гёте, мрачно смотрел со стены Рудольф Штейнер. Но в салоне можно было видеть портреты и Тютчева, и Пушкина. Из вечера в вечер тут чаевничал и обсуждал жгучие проблемы кружок молодых поэтов, писателей и философов.

Просуществовал «Мусагет» всего четыре года (1910–1914), но

книг успел издать много. Среди авторов были, прежде всего, немецкие философы, мистики и романтики – Яков Бёме, Экхарт, Новалис, Шлегель, Агриппа Неттесгеймский. А также античные авторы, и среди них – Гераклит Эфесский в переводе Нилендера.

Эта тоненькая книжка сохранилась в личной библиотеке Цветаевой – вся испещренная ее пометами.

На базе издательства вышел в 1912 году и первый номер журнала «Труды и дни». К редактированию исторического сектора привлечен был Вячеслав Иванов, Метнер вел постоянный раздел журнала – «Вагнериана».

Но «Мусагет» был не только издательством. Он проводил публичные вечера, здесь читались почти академические курсы по истории и теории символизма. Андрей Белый играл ведущую роль, на его выступления собиралось неизменно много публики. Кроме всего, он открыл здесь для молодежи «Ритмический кружок». Эллис читал курс о Бодлере, Борис Садовской – о Фете, Нилендер вел семинарий по орфическим гимнам, свой семинарий имели философ Федор Степун…

Эмилий Карлович Метнер молодых недолюбливал, и вскоре Эллис объединил вокруг себя кружок молодых поэтов и философов, дав ему название «Молодой Мусагет». Сначала кружок собирался на Пречистенке, затем встречи перенесли в студию скульптора Константина Федоровича Крахта.

В этой студии бывала и Марина – хотя никаких подробностей об этом до нас не дошло. Здесь же бывал и молодой Борис Пастернак. Но то ли они посещали Крахта в разные дни, то ли не успели разглядеть и выделить друг друга, но их собственные воспоминания тех ранних встреч не зафиксировали.

В очерке «Пленный дух» Цветаева, упоминая «Мусагет», больше говорит об очаровательной и надменной Асе Тургеневой, чем о том, что же там происходило. Книгоиздательство предполагало напечатать книгу стихов Марины; Ася бралась выполнить для нее обложку – она была гравером и уже оформила книгу стихов Эллиса «Stigmata».

«На лекциях Мусагета, – вспоминала Цветаева, – честно говоря, я ничего не слушала, потому что ничего не понимала, а может быть, и не понимала потому, что не слушала, вся занятая неуловимо вскользнувшей Асей, влетающим Белым, недвижным Штейнером, черным оком царящим со стены, гримасой его бодлеровского рта. Только слышала: гносеология и гностики, значения которых не понимала и, отвращенная носовым звучанием которых, никогда не спросила…» «В Мусагете я, как Ася Тургенева, никогда ничего не говорила, только она от превосходства – своего над всеми, я – всех над собой. Она – от

торжествующей, я от непрерывно ранимой гордости…»

И все же они успели подружиться и оценить друг друга, так что Цветаева смогла потом написать о «простоте любви, сменившей во мне веревку – удавку – влюбленности». По маршруту свадебного путешествия Аси и Белого – спустя всего полтора года – отправится в свое свадебное путешествие и Марина.

В конце 1911 года Эллис навсегда уехал из России. В следующем году он еще присылал «Мюнхенские письма» в «Труды и дни». Некоторое время был фанатичным слушателем и приверженцем антропософского движения Рудольфа Штейнера, но в 1913-м отошел от него. Написал труд о мистическом значении святого Грааля, мечтал привести Россию в лоно католицизма. Создал книги о Жуковском и о Пушкине. Продолжал писать стихи. На шесть лет пережил Марину. Умер в Швейцарии в Локарно-Монти в 1947 году.

Среди книг Цветаевой сохранилась одна с дарственной надписью Льва Львовича; это переведенная им с французского прозаическая книга Бодлера «Мое обнаженное сердце». Надпись гласит: «Дорогой Марине Ивановне от горячего поклонника ее чуткой, глубокой и поэтической души. Эллис».

Глава 5
«Взамен любовного признания…»

Первую свою поэтическую книгу «Вечерний альбом» Марина выпустила в свет по причинам внелитературным; как сама она говорила позже – «взамен любовного признания человеку, с которым иначе объясниться я не могла».

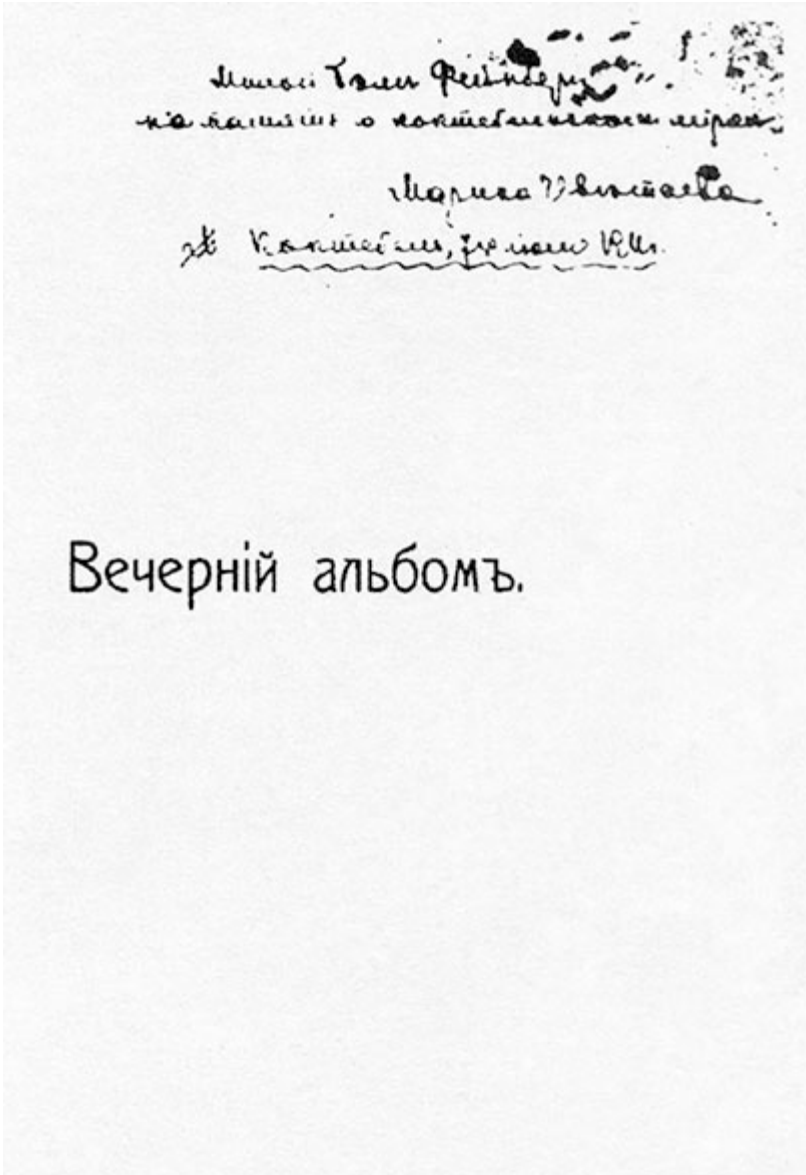
Внезапно вспыхнувшее чувство к Владимиру Оттоновичу Нилендеру осложнилось уже в начале наступившего 1910 года непонятной размолвкой, за которую Марина сама себя корит в нескольких стихотворениях «Вечернего альбома». Не сестричка ли, тут же влюбившаяся во Владимира Оттоновича, сыграла роль своеобразной разлучницы? Но если даже и так, кто рискнет утверждать, худо ли, хорошо ли то было для Марины? Чуть ли не полтора года затем она живет под гнетом любви и разрыва – и нет обстоятельств благодатнее для того, кто рожден поэтом!

В свою первую книгу она включила стихи, написанные ею по крайней мере за последние три года; и «Вечерний альбом» получился пухлым – в нем более ста стихотворений!

Книга вышла в свет ровно к годовщине той знаменательной встречи с Нилендером в Трехпрудном. И названа была так потому, что сестры подарили тогда своему другу кожаный альбом точно с таким названием. Последнее стихотворение раздела «Любовь» – из редких здесь, точно датированных: 4–9 января 1910 года – завершается строками: «Не было, нет и не будет замены, / Мальчик мой, счастье мое!»

В ту пору издание книги было делом простейшим. Марине хватило на тираж в 500 экземпляров тех денег, которые она получала от отца как «карманные», типографию же нашла рядом, в Леонтьевском переулке. Ни с кем не советуясь, никого не беспокоя просьбой о предисловии, ни единого стихотворения не послав предварительно для дебюта (как это и до сего дня принято у пишущей братии) в газету, журнал или альманах, гимназистка восьмого класса – ей едва исполнилось восемнадцать – вступает в литературную жизнь.

На дворе – начало зимы 1911 года. Поэтических сборников печаталось тогда великое множество. И все же первая книга никому еще не известной Марины Цветаевой сразу получила критические отклики.



Первая книга Марины Цветаевой. 1910 г.

Первым был отклик Максимилиана Волошина, появившийся 11 декабря на страницах газеты «Утро России». «Это очень юная и неопытная книга – “Вечерний альбом”, – писал критик. – Многие стихи, если их раскрыть случайно, посреди книги, могут вызвать улыбку Ее надо читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности…» Автор статьи отмечал ряд характерных черт таланта неизвестной поэтессы, и в частности владение «импрессионистической способностью закреплять

текущий миг», а также удивительную открытость и искренность интонаций. Это тем более ценно, писал Волошин, что книга принесена «из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы верно передавать наблюдение и чувство…».

Статья Волошина называлась «Женская поэзия». Автор сравнивал Цветаеву с современными ей поэтессами – Зинаидой Гиппиус, Поликсеной Соловьевой, Аделаидой Герцык, Черубиной де Габриак, Любовью Столицей… (Анна Ахматова издаст свою первую книгу спустя почти два года.) Доброжелательно отзываясь о других, критик писал, однако, что «ни у одной из них эта женская, эта девичья интимность не достигала той наивности и искренности, как у Марины Цветаевой».

Проницательнейшее наблюдение! Оно останется верным для характеристики цветаевского таланта (в любом жанре!) и позже.

Но уже тогда как раз это понравилось не всем. Валерий Брюсов, который тоже одобрительно отозвался о первой книге неизвестной Цветаевой, был все-таки этой интимностью шокирован. «Минутами становится неловко, – писал Брюсов в «Русской мысли», – словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние…» Николай Гумилев в «Аполлоне» тоже отметил «смелую (иногда чрезмерно) интимность» книги, добавив, правда, что автором ее «инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии», и потому «Вечерний альбом» – «не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов».

Максимилиан Волошин

Только Волошин принимал «дневниковую распахнутость» юной Цветаевой с безоговорочной благодарностью.

Даже объем цветаевского сборника (иначе говоря, отсутствие строгой отобранности стихов!) в его глазах оказывался плюсом, ибо позволял достовернее увидеть живое девичье шестнадцати– и семнадцатилетие. Тут сказывался в Волошине не столько критик, сколько человек, всю жизнь относившийся с острым интересом к тайне человеческой личности; малейшие ростки ее самобытности были ему захватывающе интересны.

Восхититься «Вечерним альбомом» сегодняшнему читателю мешает больше всего то, что он почти не узнаёт тут Цветаеву. Элегичность многих стихотворений, сентиментальность, обилие слов с уменьшительными суффиксами, все эти «деточки», «спаленки», «глазки» представляются теперь совершенно невозможными. Но юная Марина еще только нащупывала свои собственные слова и интонации.

Вражда мечты и реальности, мотивы усталого разочарования, недоверие к жизни – общие места… Но в этой полудетской книге было другое – оно-то и подкупало современников. В лучших стихах сила искреннего чувства решительно прорывала пелену «литературности».

Читатель сталкивался в «Вечернем альбоме» с необычным сочетанием детскости и рано определившейся душевной зрелости; с миром человека, который немало знал уже о себе

самом, успел многое перечувствовать и передумать. Собственный опыт, такой еще короткий, вовсе не казался автору незначительным, а оглядка на него – преждевременной. И вот, более трети всех стихотворений сборника – это стихи-воспоминания! Марина упоенно воскрешала в любовно выписанных подробностях «лазурный берег детства», уходивший с каждым днем все дальше, обнаруживала вкус к конкретностям ежедневной жизни – той поры, когда еще жива была ее мать, детских игр, чтения вслух любимых книжек, первых дружб и расхождений…

Это обстоятельство побудило еще одного рецензента цветаевской книги – Мариэтту Шагинян – сравнить обаяние стихов юной Цветаевой с обаянием чужих писем, дневников и записок…

«Купила “Вечерний альбом” и с умилением читала все подряд, испытывая свежесть весны», – сообщала Волошину его приятельница, вскоре подружившаяся с Мариной, поэтесса Аделаида Герцык.

Реакции характерны: психологическая подлинность более другого завоевала читателей, ощутивших в книге дыхание ранней юности…

Вслед за Сент-Бёвом Цветаева считала, что всякий лирик уже в раннем периоде творчества непременно являет себя в какой-нибудь строфе, «которая могла бы стать эпиграфом ко всему его творчеству, формулой всей его жизни».

В «Вечернем альбоме» на такую роль подходит «Молитва» – стихотворение, написанное Мариной 26 сентября 1909 года, в день, когда ей исполнилось семнадцать лет:

Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас, в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.

Ты мудрый, Ты не скажешь строго:
– «Терпи, еще не кончен срок».
Ты сам мне подал – слишком много!
Я жажду сразу – всех дорог!

Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень…
Чтоб был легендой – день вчерашний,
Чтоб был безумьем – каждый день!

Люблю и крест, и шелк, и каски,
Моя душа мгновений след…
Ты дал мне детство – лучше сказки
И дай мне смерть – в семнадцать лет!

Какой мощный родник желаний и воли бьет в этих двадцати строках! Какая сила – яростная, сокрушающая, как бурлящий поток горной реки, срывающийся с уступов! И эта максималистская концовка: все или ничего! Юная Цветаева как бы повторяла вслед за Блоком: «Жить стоит, только предъявляя безмерные требования к жизни: всё или ничего».

Обратим внимание: тема ухода из жизни не однажды возникает в первой поэтической книге Цветаевой. В разделе «Только тени» немало стихов, посвященных людям, рано ушедшим; есть здесь даже стихи о детях-самоубийцах. И тема эта не только останется в цветаевском творчестве надолго, но со временем станет важнейшим лейтмотивом ее поэзии…

Вопрос об истоке этой особенности непрост.

Похоже, что прирожденный душевный максимализм юной поэтессы сомкнулся с атмосферой времени, когда ей довелось сделать свои первые шаги в литературе. Устрашающая волна самоубийств поднялась в России в 1909 году – и не спадала вплоть до 1914 года. «Эпидемия самоубийств» – называлась передовая статья в газете «Голос Москвы» 17 марта 1910 года; «Игра со смертью» – статья в «Утре России» 3 ноября 1911-го. Два подвала в предновогодней петербургской газете «Речь» занял Корней Чуковский, свои размышления он озаглавил «Самоубийцы»; философ Лев Лопатин в статье «Игра со смертью» писал и о «позёрских самоубийствах». Федор Сологуб, отвечая на анкету «Биржевых ведомостей» в апреле 1912 года, призывал «не бояться самоубийств, ибо они являются клапаном, дающим выход слабости»; Валерий Брюсов публиковал «Оду самоубийце»…

На этом фоне становится очевиднее, сколь многое «слилось и спелось» в «Молитве» Марины; и отнести ее пафос исключительно к «требовательному возрасту» было бы несправедливо.

Это стихотворение – важный ключ к дальнейшему. Позже цветаевская поэтика сильно изменится. Волевые энергичные интонации все увереннее будут вытеснять сентиментально

расслабленные. Год от году поэтический замес становится все более крутым, отвердевает… – и в неуследимый момент глина превращается в фарфор.

Но этот прекрасный фарфор мог получиться только из этого замеса – и ни из какого другого!

Итак, вступление Марины Цветаевой в литературу, если по традиции исчислять таковое с момента выхода из печати первой книги, датируется концом 1910 года. Это почти середина того десятилетия, которое одни назвали позорным, другие кровавым, третьи испепеляющим, четвертые «серебряным веком» и, наконец, русским Ренессансом. Почти одновременно с Цветаевой – кто немного раньше, кто позже – в русской поэзии появилась блестящая плеяда новых имен, известных ныне всем, кому небезразлично русское слово. Это имена Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича…

Глава 6
Волошин

1

Вскоре после появления статьи в «Утре России» Волошин пришел в Трехпрудный переулок – незваным гостем, знакомиться. В этом приходе проявилась редкая цельность этого человека, который не считал возможным «отделять книгу от автора ее, слово – от голоса, идею – от формы того лба, в котором возникла она, поэта – от жизни…».

В цветаевской прозе «Живое о живом»:

«Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе вьющейся недлинной бороды. Вкрадчивый голос:

– Можно мне видеть Марину Цветаеву?

– Я!

– А я – Макс Волошин. К вам можно?

– Очень!»

Он принес с собой статью, о которой до тех пор Цветаева ничего не знала. Их первая встреча продолжалась более пяти часов подряд. Так было положено начало одной из самых значительных дружб, которыми судьба наградила обоих.

К моменту встречи Волошин чуть не вдвое старше Марины: ей – девятнадцать, ему – тридцать три. За плечами старшего – насыщенно и пестро прожитая жизнь: участие в студенческих беспорядках, ссылки, путешествия по странам Европы, споры в парижских кафе, множество знакомств и дружб с русскими и французскими художниками, литераторами, учеными – и известность как автора ярких парадоксальных статей о литературе и искусстве. Волошин регулярно печатается в виднейших изданиях, но первая книжечка его стихов – а он еще и поэт! – выйдет только весной того же 1910 года, когда они встретились с Мариной.

Чуть ли не ежегодно, вплоть до середины 1916 года, Максимилиан Александрович кочует из России во Францию и обратно, перемежая Париж, Петербург, Москву и Коктебель, пустынное местечко на восточном побережье Крыма, где у него свой дом.

В русских литературных кругах отношение к Волошину неустойчиво.

Когда в 1903 году его впервые «открывали» в Петербурге и Москве, «русского парижанина» окружала почти всеобщая влюбленность. Он покорял мастерством блестящего рассказчика, фейерверком парадоксов, умением слушать и талантом примирять спорящих. Андрей Белый был восхищен его способностью быть своим в самых разных кругах; Блоку в его петербургской квартире на Галерной Максимилиан Александрович читает Катулла, изумляя хозяина дома превосходным знанием языков и мировой поэзии…

Но Волошин был слишком нестандартной личностью, чтобы удержать надолго всеобщую влюбленность. Со временем его склонность к парадоксам, сама широта его увлечений и интересов начнут многих раздражать. Это в Англии умели восхищаться парадоксами Оскара Уайльда и Бернарда Шоу – в России всякая непохожесть быстро вызывает подозрение: да не юродивый ли? Людям, нестандартно чувствующим и думающим, испокон веков тут неуютно. И к Волошину начинает прилипать репутация оригинала во что бы то ни стало. Когда же он осмелится (уже в 1913 году) поддержать молодых художников-футуристов, его попросту перестанут печатать в России.

Публицист и драматург Амфитеатров, раздраженный одной из статей Волошина, публикует в газете «Речь» в 1908 году грубый фельетон, где выставляет критика типичным представителем парижской богемы. Еще один фельетон – популярного журналиста Власа Дорошевича – был назван попросту «Декадент». Не удержался и Саша Черный, припечатав критика прозвищем Вакс Калошин.

Но и среди людей, близких Максимилиану Александровичу, нет понимания. Умная и наблюдательная Евгения Герцык, в числе друзей которой были Бердяев и Шестов, находила странной «эстетическую прожорливость» своего друга; ей казалось, что он с одинаковой жадностью глотает несовместимое, не ища синтеза и смысла. Синтез и смысл оставим на совести Герцык. Но вот его интересы и авторитеты, которые позже перечислил сам Волошин, вспоминая себя в эти годы: Ницше, Владимир Соловьев («Три разговора»), Штейнер, теософия, буддизм, католичество, оккультизм, Реми де Гурмон и другие французские поэты и теоретики… Было чему изумиться.

Маргарита Сабашникова, еще не разведенная тогда жена Волошина, чьи слова ранили его больше, чем чьи бы то ни было, тоже упрекала за частую смену любимых идей и теорий:

– Ах, Макс, ты все путаешь, путаешь…

– Но ведь только из путаницы и может выступить смысл! –

убежденно возражал ей Максимилиан Александрович.

Ни одна самая замечательная эстетическая, философская или религиозная система не могла удовлетворить его – хотя бы по причине своей завершенности. До конца своих дней он был настежь открыт живому опыту и новым истинам. Его уши и глаза были отверсты для любого слова и любой краски в мире; ничто он не торопился отвергать с порога, не расчувствовав как следует… Антидогматизм был, может быть, его единственным принципом. «Нет ничего более чуждого моему сознанию, чем догматика, – писал он в статье «Откровения детских игр». – Я люблю свои и чужие фантазии. Я люблю из чужих мыслей ткать свои узоры, но это всегда произвольно. Мне нужен произвол».

Спустя годы и годы Илья Оренбург писал о Волошине – с симпатией, но как же снисходительно! Он отдавал должное разносторонности интересов и превосходной фантазии Максимилиана Александровича, своеобразию его человеческого облика, удивлялся мужеству, проявленному в годы Гражданской войны. Но Оренбург был человеком слишком иного замеса, чтобы оценить достоинства старшего друга. Он видел его лишь с внешней стороны – и воспринимал как талантливого эклектика, не слишком разборчивого пропагандиста чужих идей. Он понять не мог, как сочетались с волошинским жизнелюбием, с неуемной его страстью к розыгрышам и всевозможным мистификациям, с этой опасной широтой интересов (от древнекитайской поэзии до проблем ионизации газов!) – глубина, определенность и обдуманность отношения к миру.

Еще как сочетались!

2

Эту зиму Марина, как всегда, много читает, продолжает писать стихи. Но мгла одиночества и любовной травмы, с которыми она прожила весь прошлый год, начинает рассеиваться. И причиной тому – крепнущая дружба с Волошиным. Ко времени их встречи у Марины уже слишком накопилось состояние мучительной неудовлетворенности изоляцией от мира, в которую она сама себя поместила. В той замкнутости, которая сложилась в детстве и отрочестве, ей уже трудно было дышать. Эллис и Нилендер были первыми «взрослыми», кто вошел в комнатку Марины из живой жизни. Эллис и выводил ее из этой комнатки, набитой книгами, рукописями и портретами обоих Бонапартов, – в «Общество свободной эстетики», на собрания «Мусагета». Нилендер пробудил любовь, на которую сердце Марины горячо

откликнулось. Но теперь были уже потеряны и Нилендер, и Эллис – она снова осталась наедине со своими книгами и тенями, и они уже не радовали ее как прежде.

«Можно тени любить, но живут ли тенями / Восемнадцати лет на земле?» – так сказано в ее стихах осени 1910 года.

Тут-то и явился Волошин. Живой, энергичный, восхищенный, не собирающийся ни влюбиться, ни жениться, но предлагающий дружбу и открывающий мир русских литературных собраний, куда Марина уже делала первые робкие шаги. Теперь это происходит на новых началах. Не как знакомую гимназисточку ведет Волошин Марину на Новинский бульвар в дом Алексея Толстого, только что переселившегося из Петербурга в Москву, а как автора талантливой книжки, как поэта! И как своего друга – на началах равноправия.

Литературные знакомства Цветаевой быстро ширятся. Она будет вспоминать потом, уже после смерти Максимилиана Александровича, что он обладал, среди других, еще одним редким качеством: не только сам был «коробейником друзей», но страстно любил сводить, знакомить, «дарить» своих друзей друг другу…

Зимой 1910–1911 годов Москву сотрясают студенческие волнения, связанные с истязаниями политических заключенных. Одновременно открывается выставка художников «Мира искусства» на Большой Дмитровке. А на театральных подмостках с огромным успехом идут пьесы Ибсена, восславляющие сильную личность, готовую бунтовать против всего мира… Но достоверно мы знаем лишь о том, что читает в эту зиму Марина и что она думает о прочитанном, потому что именно этой теме посвящены сохранившиеся ее письма Волошину.

Тема литературных пристрастий не могла не возникнуть между этими двумя книгочеями в первом же разговоре, воспроизведенном позже в очерке «Живое о живом»:

«– А Франси Жамма вы никогда не читали? А Клоделя вы…

В ответ самоутверждаюсь, то есть утверждаю свою любовь к совсем не Франси Жамму и Клоделю, а – к Ростану, к Ростану, к Ростану. ‹…›

– А Анри де Ренье вы не читали – “La double maitresse”?[3] А Стефана Малларме вы не…»

Этот разговор они оживленно продолжают и в переписке, хотя оба пока в Москве. Но – увы! – в марте в квартире Марины ставят телефон. И он отберет у нас множество неповторимых живых подробностей этой зимы.

Гурзуф

В начале апреля 1911 года Марина решает бросить гимназию; восьмой класс считался уже необязательным. И уезжает в Гурзуф.

А Волошин отбывает в свой Коктебель. И вот наше везение: снова возникают письма!

В Гурзуфе она снимает комнату в доме, который стоит над самым морем, на головокружительной высоте. Прямо со скалы можно спуститься к побережью, преодолевая страх: нога скользит, с трудом нащупывая опору; подбадривают только строки переиначенного Бальмонта, и Марина цитирует их Волошину: «Я видела море, сказала она, что дальше – не все ли равно?..»

Но море – чужое, холодное; где та радость, какую она тщетно ждет от него, уже в третий раз оказываясь в Крыму?

Весна в тот год выдалась прохладная. Купаться было еще рано, и все же крымская весна прекрасна. Цветет абрикосовое дерево, светит мягкое солнце, можно загорать, лежа на скале, которую все называют здесь генуэзской крепостью, смотреть вдаль, читать книги – и писать стихи. Настоящих собеседников нет: составляют общество две скучные дамы и не менее скучный господин – соседи по дому, и Марина сбегает от них при каждом удобном случае.

Позже она вспоминала эти гурзуфские дни как «месяц чудесного одиночества». Но послушаем ее тогдашний голос.

В письмах, отправленных из Гурзуфа Волошину, грустных письмах, – весь букет девичьего восемнадцатилетия: весна, море,

музыка, книги – и чувство неприкаянности, от которого она не может избавиться. «Мучаюсь и не нахожу себе места…» – признаётся Марина своему старшему другу. Ей кажется, что книги, среди которых она привыкла жить, разрушили в ней способность к живой радости: «…много читавший не может быть счастлив!» – утверждает она решительно. И ждет от Волошина подтверждения. Концовка одного из писем почти жалобная: «Только не будьте мудрецом, отвечая, – если ответите! Мудрость ведь тоже из книг, а мне нужно человеческого, не книжного ответа…»

Это новость. Книжная мудрость у Марины теперь уже под сомнением…

Месяц в Гурзуфе проходит быстро. Утром 5 мая Марина усаживается с вещами на скрипучую арбу. Переезд в Коктебель занял почти целый день.

Глава 7
Коктебель

1

Она впервые видит Восточный Крым.

Ничего общего с Ялтой, Алупкой, Гурзуфом! Почти нет зелени. Рыжие мощные складки земли будто враз застыли на месте посреди бега к морю. Даже прекрасные полотна Богаевского и акварели Волошина редко передают этот дух захватывающего воздушного простора над величественной сморщенностью земного покрова…

И вот – Коктебель.

Острое двузубье Сюрю-Кая, зеленая округлость Святой горы, маленькая татарская деревушка у их подножья. Полукружье залива замыкают с запада голые громады Карадага, а с востока – мягкие очертания зеленовато-рыжих холмистых складок. В центре полукружия, у самого синего моря – дом. В те годы он стоял одиноко посреди пустынного берега – деревянный, двухэтажный, облепленный террасами. Неузнаваемый Волошин бежит навстречу Марине.

Он в сандалиях на босу ногу, в длинной полотняной рубашке-хитоне, с полынным веночком на курчавой голове. А вот и мать Волошина – Елена Оттобальдовна: отброшенные назад стриженые седые волосы, орлиный профиль, белый длинный кафтан и синие по щиколотку шаровары… Уже через день ощущение странности этих нарядов исчезло, так органичны они были здесь, на древней киммерийской земле, в обрамлении этого неба, этого моря и скал. Чувство было скорее другое – его опишет Цветаева много лет спустя: «Не знаю почему – и знаю почему – сухость земли, стая не то диких, не то домашних собак, лиловое море прямо перед домом, сильный запах жареного барана, – этот Макс, эта мать – чувство, что входишь в Одиссею». То есть в любимый с детства мир мифов и героев.

Этот Коктебель 1911 года – с мая по июль, всего-то два месяца! – станет для Марины Цветаевой праздником, лицом к которому она будет стоять всю свою оставшуюся жизнь, вглядываясь в подробности и так и не наглядевшись вдоволь, сколько бы ни припоминала. Она расскажет об этом в своей прозе; новые детали добавит сестра Анастасия в мемуарах. Но сколько бы их ни было, целого нам не слепить: волшебство

счастья не раскладывается на составные.

К началу мая дом Волошина уже был полон дачниками-друзьями. За самую скромную плату мать Волошина сдавала комнатки в доме и пристройках; делом сына было созвать сюда не случайных, а милых сердцу людей. Впервые такая компания собралась здесь за два года перед тем, летом 1909 года: тогда здесь жили Николай Гумилев, Елизавета Дмитриева, молодой Алексей Толстой с художницей Софьей Дымшиц… Нынче гостили художники Кандауров и Богаевский и трое Эфронов – две сестры и брат, дети давней знакомой Волошина Елизаветы Петровны Дурново-Эфрон.

Коктебель. Вид на Карадаг. Фото Г. Астафьевой

Удивительная атмосфера царила в волошинском доме. Кажется, всеобщим чувством здесь была радость, беспричинная радость, от которой блестели глаза, легко вспыхивал смех, а мир и море казались синее и прекраснее. Что было причиной? Само ли крымское лето или ни на кого не похожий хозяин дома, которого здесь все звали просто Макс, – трудно было определить, но Марина увидела себя словно на другой планете. Какой контраст с бытом и укладом их дома в Трехпрудном переулке! С его спартанским аскетизмом, подчиненностью ежедневного ритма суровому, хотя и любимому труженичеству, с одиночеством всех – порознь – в своих комнатах, за письменными столами или роялем. Она ощутила этот контраст уже во второй раз – первый

был, когда она ездила к Юркевичам в Орловку.

В Коктебеле тоже много трудились – сидели за столами или мольбертами, писали стихи, прозу и картины, читали, но праздник, радость, дружелюбная совместность были неизменным светильником всякого уединения. Юмор здесь ценился чуть ли не превыше всего; незнакомого человека могли сразу принять в компанию, едва он проявлял талант к сочинению веселых гимнов или иронических элегий.

Внешние события двух месяцев, проведенных Мариной в Коктебеле, состояли из прогулок в горы: в одиночку и вдвоем с Максом, и еще вдвоем с Сережей Эфроном, и вшестером, и вдесятером. А еще были ближние и дальние пешие путешествия вдоль берега – в дальние бухты. И поездки по морю: турки-контрабандисты на веслах и несравненный гид – Макс, завораживающий своими рассказами о Киммерии и Одиссее, об амазонках и таинственном гроте в недалекой бухте. Грот получался уже совсем не грот, а вход в Аид… И были поездки посуху – на можаре в Старый Крым – слушать пение Олимпиады Сербиновой, старой приятельницы Волошина.

Посещали и Феодосию, где у Волошина со времен детства множество друзей. И все участвовали в неистощимых волошинских выдумках и розыгрышах… Разумеется, и купались, и часами лежали на берегу, перебирая восхитительные округлые прибрежные камешки; этой «каменной болезнью» тут заболевали все без исключения…

Дом Волошиных. Коктебель. Начало 1900-х гг.

Каждый год 16 мая весело отмечался день рождения Волошина. Незадолго до торжественного дня к дому прибивали фанерный ящик, и все опускали туда свои стихи и рисунки – в том числе и сам Максимилиан Александрович. А в самый день устраивались театрализованные представления, розыгрыши, игры. Коронным номером Волошина был вдохновенно исполняемый им танец «полет бабочки». Поздним вечером, а то и ночь напролет читали стихи на одной из террас или на крыше волошинского дома. Тогда наступали часы полного счастья. Крупные, низкие, яркие южные звезды висели прямо над их головами…

Но, может быть, не осталось бы в памяти Марины это лето самым светлым пятном в жизни, если бы оно исчерпывалось калейдоскопом внешних впечатлений. Не в том было дело.

Не только в том.

В юной Марине стремительно разрастался процесс благодетельного высвобождения от былой и уже привычной замкнутости. Она распрямлялась от тоски, граничившей с неврастенией, от гнетущих размышлений, доставлявших вполне реальные страдания.

Бабочка выпрастывалась из кокона – к живой жизни.

И когда младшая сестра спустя три недели тоже приехала в Коктебель, она не могла прийти в себя от изумления: «Это – Марина?..» Загорелая, счастливая, легкая, будто вся пронизанная светом, в шароварах, со светлыми, пушистыми, чуть вьющимися волосами, Марина смеялась. Куда подевались ее колючесть, настороженность, отстраненность, постоянная готовность к обороне ото всего мира!

Театрализованные игры в Коктебеле. Слева – Максимилиан Волошин

Еще недавно «я» и «мир» противостояли в ней друг другу – в Коктебеле в какой-то неуследимый момент они слились. Будто кто-то повернул фокусное кольцо бинокля, и только что казавшиеся враждебными очертания мира вдруг прояснились – и оказались прекрасными. Еще в Гурзуфе было то же море перед ее глазами, те же небо и горы, и солнце над головой, но не было места самой себе в мироздании! Теперь она будто ощутила себя камешком, вставшим на свое единственное место в прекрасной мозаике мира. Мир разом обрел цвет, запах, глубину, высоту – воплотился.

2

Тут не было одного-единственного Пигмалиона. Он был в трех ипостасях: Коктебеля, Волошина – и высокого юноши, прекрасного, как принц, с глазами цвета моря. Его имя было – Сергей Эфрон.

Любовь вспыхнула по классическому канону – с первого взгляда. Это уже потом их встреча плотно обросла мифами – в цветаевских стихах, прозе и письмах.

Вариант из «Истории одного посвящения»:

«1911 г. Я после кори стриженая. Лежу на берегу рою, рядом роет Волошин Макс.

– Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.

– Марина! (вкрадчивый голос Макса) – влюбленные, как тебе, может быть, уже известно, – глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом)… булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень!

– Макс! Я от всего умнею! Даже от любви!

На террасе волошинского дома. Слева – Марина Цветаева, Лиля Эфрон, в центре – Сергей Эфрон, справа – Владимир Соколов, Вера Эфрон, Елена Оттобальдовна Волошина, стоит Владимир Рогозинский. 1913 г.

А с камешком – сбылось, ибо С. Я. Эфрон, за которого я, дождавшись его восемнадцатилетия, через полгода вышла замуж, чуть ли не в первый день знакомства отрыл и вручил мне – величайшая редкость! – генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной».

Еще штрих к началу – в письме Марины Сергею, написанном уже в 1921 году: «Вы сидели рядом с Лилей в белой рубашке. Я, взглянув, обмерла: “Ну можно ли быть таким прекрасным?”» И в том же письме (написанном уже спустя десять лет после встречи!) она добавляла: «Сереженька, умру ли я завтра или до 70 лет проживу – все равно – я знаю, как знала уже тогда в первую минуту: – Навек…»

«Он весь был – навстречу, – пишет о Сергее Эфроне в своих «Воспоминаниях» Анастасия, – раскрытые руки, весь, к каждому благожелательство, дружба, сияющие добротой и вниманием глаза, вхождение в душу…»

На террасе волошинского дома. Слева С. Эфрон и М. Цветаева, в глубине – Волошин

Сережа – сын народоволки, народоволка же происходила из богатой и знатной семьи отставного гвардейца николаевских времен Дурново. И мальчик вырос в старинном барском особняке Москвы, в одном из тихих переулков Арбата. Он еще и теперь помнил залу с колоннами и хорами, стеклянную галерею, зимний сад, диванную, портретную и мезонин, соединенный с низом крутой деревянной лесенкой – такой же, как в гораздо более скромном трехпрудном доме Марины. Пять лет Сергей учился в престижной частной гимназии Поливанова, но потом трагические события, разразившиеся в семье, привели к продаже дома, и Сергей переехал в Петербург к своей старшей замужней сестре Анне. Еще в гимназии он начал страдать от бесконечной череды прилипавших к нему болезней; в 1910-м обнаружился еще туберкулез. И начались его скитания по санаториям.

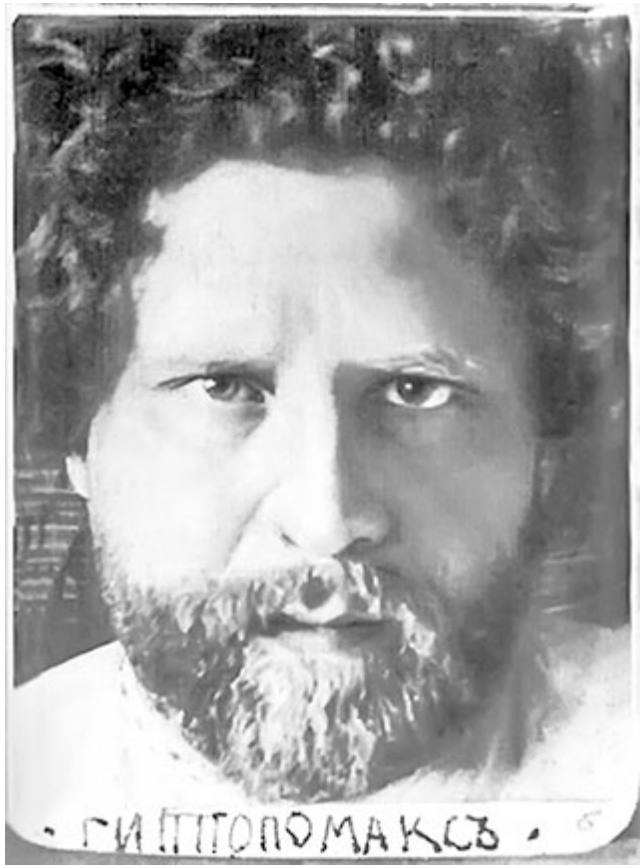
С. Эфрон (в кресле слева), М. Цветаева, В. Соколов. На втором плане К. Субботина (?), В. Эфрон, Л. Фейнберг

Елена Оттобальдовна Волошина (Пра), Марина и Ася в волошинском доме. 1911 г.

Сергей был ровно на год младше Марины; он даже не закончил гимназию…

В этом году (и еще в 1913-м) в Коктебеле увлекались фотографированием. К счастью, многие фотографии уцелели. Их

скверное качество все же не лишает нас возможности взглянуть на тогдашних обитателей волошинского дома. Вот на одном из снимков мы видим как бы сцену из жизни древней Киммерии: некто, похожий чуть ли не на Зевса (это, конечно, Волошин), воздев руку, вещает нечто непререкаемое, и ему благоговейно внимают юные гурии в шароварах и туниках, с венками на головах; а вот вся компания сидит на террасе за длинным деревянным столом вокруг самовара, большой уютной семьей. Волошина здесь нет, – возможно, именно он и фотографирует, – и место хозяйки у самовара занимает мать Максимилиана Александровича Елена Оттобальдовна (Пра, как все зовут ее с этого года, что означает сокращенное «праматерь»), На другой фотографии – сестры Эфрон, Вера и Лиля, Сергей, Пра и Марина. Они сидят в кабинете Волошина, среди его книг. А вот и отдельно Марина – с раскрытой на коленях книгой, в том же кабинете. Округлое девичье лицо, какая-то милая незащищенность взгляда, короткие волосы, которые на снимках постоянно получаются темными, хотя были светло-русыми. Еще один снимок: опять терраса, наполненная постояльцами дома; в центре стоит Марина, а на переднем плане, опершись о притолоку, стоит Сергей Эфрон – похоже, что тут запечатлено чтение стихов Мариной. А вот и снова – Сережа и Марина. Первый выглядит здесь старше своих лет, Марину же сильно уродует пенсне. Других их совместных фотографий того времени нет, но на групповых они всегда рядом. Вот Сережа в шезлонге, под голову подложена подушка, он устало откинулся на нее (нездоров!), а рядом верным стражем в «матросской» блузке – Марина. Тут же сестры Эфрон, Владимир Соколов (в будущем актер Камерного театра).



Максимилиан Волошин. 1911 г.

С Максимилианом Александровичем отношения в Коктебеле утратили остатки «светскости», которая все-таки сковывала Марину в Москве. Макс стал дорогим другом, которому можно было доверить все. Но и доверять было не надо, потому что он все сам угадывал с полуслова – и без слов. От него исходило постоянное тепло не просто сердечного внимания, но восхищения – и как раз тем самым, чем она сама в себе больше всего дорожила.

Марина откровенно нежится в лучах волошинского неистощимого дружелюбия и жизнерадостности – и исподволь наблюдает за старшим другом; именно здесь она открывает его для себя по-настоящему. Его душевную уникальность, бесконечную мягкость, доброту, неисчерпаемость знаний – и потрясающую способность превращать будни в праздники.

В мастерской Волошина. 1911 г.

«Чем я тебе отплачу? – озабоченно писала она Максимилиану Александровичу, едва покинув Коктебель. – Это лето было лучшим из всех моих взрослых лет, и им я обязана тебе».

Кто мог знать, что лучшим это лето оказалось из всех лет, прожитых Цветаевой; она не раз потом говорила об этом. И отплатила щедро – написав через двадцать с лишним лет блестящую литературную эпитафию умершему другу: очерк «Живое о живом».

Сережа с трудом переносил коктебельскую жару. Оттого-то в

начале июля они и уехали с Мариной – в уфимские степи, лечить болезнь кумысом и сливками. Едут по рекомендации знающих людей. Приют находят в Усень-Ивановском заводе Белебеевского уезда, в маленькой деревушке; там они снимают то ли домик, то ли комнатки в доме.

Письма, идущие отсюда в Коктебель, наполнены – иначе не скажешь – радостным щебетанием. С трудом Марина останавливает себя, чтобы сообщить хоть какие-то конкретности их быта. Быт упрощен до предела. Известно только, что Марина спит на какой-то раскладушке, угрожающей прорваться и уронить ее на пол при малейшем повороте. И – знаменательно, что о книгах и чтении сообщается в последнюю очередь: не это заполняет сейчас жизнь молодой пары. Хотя именно здесь оба замышляют несколько важных вещей: уход из гимназий – и творческие свершения. Не в этой ли деревушке Сергей начнет писать свою первую книгу «Детство», где даст неповторимый портрет своей избранницы в главе «Волшебница»? А Марина – не тут ли начинает составлять второй поэтический сборник «Волшебный фонарь»?

Марина и Сергей

Может быть, именно в эти дни созревает и решение соединить свои жизни навсегда? И отправиться затем в свадебное путешествие?

Ждут нас пыльные дороги,
Шалаши на час…
Милый, милый, мы – как боги:
Целый мир для нас!

В уфимской деревне написаны эти строки или уже позднее, не столь важно. Главное другое: резко изменившийся тонус,

захлеб счастья, порыв души навстречу жизни, к миру, который чуть не в одночасье утратил свою былую враждебность.

Они пробыли здесь почти весь август.

Глава 8
Сивцев Вражек

1

В это время Иван Владимирович Цветаев – за границей по делам музея, брат Андрей путешествует, старшая сестра Валерия тоже в отъезде. И, вернувшись в Москву, влюбленные поселяются в трехпрудном доме! Марина уступает Сергею свою комнатку с «наполеоновскими» обоями, а сама переезжает вниз, в бывшую девичью.

Уже вернулась домой и Ася. Вечерами к ней приходит светловолосый красавец Борис Трухачев, с которым она познакомилась еще прошлой зимой на катке.

Две влюбленные парочки образуют веселую компанию. Они устраивают себе волшебный месяц. Марина вспоминала: «Сколько сладких пирожных! – все время сладкие пирожные! – и сколько стихов – все время стихи! – и сколько любви: наша влюбленная дружба с Асей (“неразлучные”) – и наша – навеки – любовь с Сережей, и Асина шутливая нежность с Сережей, и моя – настороже – галантность с Борисом, и увлеченность – несмотря на разительную разницу – друг другом Сережи и Бориса – и каток… – и вечера в темном папином кабинете с бюстом Зевса и страшными рассказами – и папа заграницей! – и мы одни вчетвером… сумасбродство, веселье, магия, молодость – шоколад, стихи…» Неудержимый хохот заполняет вечерами весь дом.

С опаской (а Сергей и с тихим ужасом) ждут они возвращения Ивана Владимировича. Он приезжает из Германии 7 октября. Но накануне молодежь еще успевает устроить последнее вольное празднество. «Мы праздновали зараз четыре рождения, – сообщает Марина в письме Волошину, – наши с Сережей, Асино, бывшее 14-го сентября, и заодно Борино будущее, в феврале… и вспоминали нашего незаменимого медведюшку…»

Но это письмо отправлено уже не в Коктебель, а в Париж. Одна из московских газет предложила Волошину стать ее постоянным корреспондентом во Франции – и Максимилиан Александрович, не колеблясь, принимает предложение. Кроме журналистики, у него нет иных средств к существованию, и Париж он любит с давних пор.

Следом за сыном собиралась ехать во Францию через Москву и Пра. Однако обстоятельства заставили ее изменить намерение.

В ожидании возвращения Ивана Владимировича Марина и Сережа не бездействовали: они подготовили рубежи для совместного существования. Уже снята квартира неподалеку от Трехпрудного переулка, на улице с чисто московским названием: Сивцев Вражек; на шестом этаже только что отстроенного дома – квартира, в которой четыре большие светлые комнаты с итальянскими окнами. Увы! От мечты жить вдвоем им пришлось сразу отказаться: тяжело заболела старшая сестра Сергея Лиля. И вот принято вынужденное решение: в новой квартире будут жить, кроме юной пары, обе сестры Эфрон. «Не знаю, что выйдет из этого совместного житья, ведь Лиля все еще считает Сережу за маленького», – пишет в Париж Максу огорченная Марина. И настаивает: «Я сама очень смотрю за его здоровьем, но когда будут следить еще Лиля с Верой, согласись – дело становится сложнее…»

Неожиданный приезд в Москву матери Волошина смягчает ситуацию. Пра решает остаться в Москве. Сестры Эфрон так нежны к ней, уставшей от одинокой жизни, что их предложение жить всем вместе одной семьей обольщает Елену Оттобальдовну. В квартире на Сивцевом Вражке ей выделяют комнату. Пра покупает кресло, кровать, стол – и оседает в Москве на всю зиму. Благодаря этому замечательному обстоятельству нам известно множество подробностей жизни «обормотника». (Так вскоре прозвал их квартиру № 11 молодой прозаик Алексей Толстой, поселившийся двумя этажами ниже. По другим сведениям, прозвище «обормоты» придумал не Толстой, а Волошин.)

Пра регулярно пишет письма сыну в Париж и красочно описывает в них все, что происходит вокруг нее…

Тут, правда, есть нюанс. Письма Елены Оттобальдовны не совсем объективны, когда речь идет в них о Марине (особенно в первые месяцы!). Долгое время Пра смотрит на молодую пару встревоженными и пристрастными глазами сестер Эфрон. А те, как и положено в таких случаях, не на шутку обеспокоены судьбой младшего брата. Они убеждены, что Марина эгоистична, не способна заботиться о больном юноше так, как надо, ужасаются режиму их жизни. «Я боюсь, что вся жизнь Сергея будет исковеркана», – пишет Лиля Эфрон Волошину. «Мне очень жаль Сережу, – вторит ей Пра, – выбился он из колеи, гимназию бросил, ничем не занимается, Марине, думаю, он скоро прискучит, и бросит она игру с ним в любовь, а ему уж не подняться на ноги свои…» И опять – в конце октября: «Марина бьет баклуши вместе с Сергеем, и оба живут точно посторонние жильцы в доме… Пропадет мальчишка ни за понюх табаку…»

(Не знаем мы, ох не знаем, когда и о чем нам стоит тревожиться! Все вздохи и страхи сестер и Пра так не по адресу… Было в этом браке роковое, – и еще какое! – но совсем не там, где это видят близкие и любящие. Кто и из-за кого пропадет в этом союзе? Кто из двоих оказался страшнее наказан? Кто был виновнее? И была ли вина?.. Нам не видны нити судьбы. Но канул бы ни за понюх табаку в Лету Сережа Эфрон, если бы не встреча на берегу моря со светловолосой девушкой, помешавшей ему в тот год спокойно окончить гимназию…)

2

Итак, Марина и Сережа бьют баклуши, пропадают целыми днями неизвестно где, ведут себя почти как посторонние жильцы в доме… Бьют баклуши… Но уже 27 октября этого 1911 года Марина отвезла в типографию рукопись второй своей поэтической книги «Волшебный фонарь». И примерно в то же время отдаст в печать первое свое произведение Сергей Эфрон; его «Детство» выйдет одновременно со второй книгой Марины. Конечно, они в упор не видят никого в эти недели, даже когда сталкиваются нос к носу, – что тут странного? И уж совсем невозможно для них увлечься занятиями, которые поглощают теперь все время обитателей «обормотника»: те покупают коврики, картинки, безделушки и всякие красивые тряпочки, любовно обживая новое жилье…

Книга «Детство» обнаружила несомненные литературные данные Сергея Эфрона – вполне профессиональную выстроенность сюжета, легкий, естественный диалог; тут оказались смешаны быль и фантазии, и теперь уже трудно сказать, в каком именно соотношении. Но самое интересное в книге – глава, названная «Волшебница». Это несомненный портрет Марины, сделанный влюбленным в нее женихом. По правде сказать, портрет странный – и, пожалуй, даже не слишком обаятельный. «Волшебница» Мара – странная девушка. Она фантазерка и сказочница, почти не спит ночью; непрерывно курит. Утром она вялая, серая, не любит общаться ни с кем, никогда не завтракает, пьет только черный кофе. Во время обеда обычно стоит – и поясняет, что нет ничего хуже сытого состояния человека. Вечерами же оживляется и способна всех восхитить своими выдумками и рассказами.

Сергей Эфрон и Марина Цветаева. Москва. Ноябрь 1911 г.

Вот в доме, где гостит Мара, семья усаживается за дневной чай.

«– Вам, Мара, какого? Крепкого, среднего или слабого?

– Черного, как кофе.

– Ведь это очень вредно…

– Страшно действует на нервы, отравляет весь организм, лишает сна, – скороговоркой продолжала Мара.

– Зачем же вы его пьете?

– Мне необходим подъем, только в волнении я настоящая. ‹…›

– Вы, кажется, горячий противник гигиены?

– Люди, слишком занятые своим здоровьем, мне противны. Слишком здоровое тело всегда в ущерб духу. Изречение “в здоровом теле – здоровая душа” вполне верно, – потому я и не хочу здорового тела.

Папа отодвинул чашку.

– Так здоровая душа, по-вашему…

– Груба, глуха и слепа. Возьмите одного и того же человека здоровым и больным. Какие миры открыты ему, больному!..»

И несколькими строками ниже:

«– Я хочу дать вам верное понятие о себе. Если бы я сейчас замолчала, вы бы сочли меня за рисующуюся, самовлюбленную

девчонку Я не такова, потому продолжаю. Мы говорили о главном, что я ценю в себе. Это главное, пожалуй, можно назвать воображением. Мне многое не дано: я не умею доказывать, не умею жить, но воображение никогда мне не изменяло и не изменит…»

(Уже в преклонные свои годы Анастасия Цветаева, рассказывая о сестре, утверждала: портрет, созданный юным Сергеем Эфроном в его первом литературном произведении, был на редкость похож на оригинал!)

Сергей и Марина. Ноябрь 1911 г.

Повесть Эфрона, напечатанную в журнале «Аполлон» в 1912 году, самым доброжелательнейшим образом приветствовал сам Михаил Кузмин, назвав ее «свежей и приятной книгой», искренней и правдивой, отмеченной «естественной грацией» и «тонкой наблюдательностью».

Ровно год спустя после выхода в свет «Вечернего альбома» Марина пишет Волошину в Париж: «Дорогой Макс, у меня большое окно с видом на Кремль. Вечером я ложусь на подоконник и смотрю на огни домов и темные силуэты башен. Наша квартира начала жить. Моя комната темная, тяжелая, нелепая и милая. Большой книжный шкаф, большой письменный стол, большой диван – все увесистое и громоздкое. На полу глобус и никогда не покидающие меня сундук и саквояжи. Я не очень верю в свое долгое пребывание здесь – очень хочется путешествовать! Со многим, что мне раньше казалось слишком трудным, невозможным для меня, я справилась и со многим еще буду справляться! Мне надо быть очень сильной и верить в себя, иначе совсем невозможно жить! Странно, Макс, почувствовать себя внезапно совсем самостоятельной. Для меня это сюрприз – мне всегда казалось, что кто-то другой будет устраивать мою жизнь.

Теперь же я во всем буду поступать, как в печатании сборника. Пойду и сделаю. Ты меня одобряешь? Потом я еще думала, что глупо быть счастливой, даже неприлично! Глупо и неприлично так думать – вот мое сегодня…»

А 3 ноября «дорогому медведюшке» уже послано приглашение на свадьбу и предложение быть шафером. «Слушай мою историю, – пишет Марина в том же письме, – если бы Дракконочка (Л. А. Тамбурер. – И. К.) не сделалась зубным врачом… я бы не познакомилась с ней, не узнала бы Эллиса, через него не узнала бы Н‹иленде›ра, не напечатала бы из-за него сборника, не познакомилась бы… с тобой, не приехала бы в Коктебель, не встретилась бы с Сережей, – следовательно, не венчалась бы в январе 1912 г.» И далее: «Разговор с папой кончился мирно, несмотря на очень бурное начало, – пишет Марина. – Бурное – с его стороны, я вела себя очень хорошо и спокойно.

– Я знаю, что в наше время принято никого не слушаться… (В наше время! Бедный папа!)… Ты даже со мной не посоветовалась. Пришла и – “выхожу замуж!”

– Но, папа, как же я могла с тобой советоваться? Ты бы непременно стал мне отсоветовать.

Он, сначала:

– На свадьбе твоей я, конечно, не буду. Нет, нет, нет.

А после:

– Ну, а когда же вы думаете венчаться?

Разговор в духе всех веков!»

Пра сообщила о помолвке сыну с не слишком доброжелательной обмолвкой: «Марина женится на Сереже». И в следующем письме тональность та же: «Марина, по объявлении себя невестой, стала милее, разговорчивее, дружелюбнее…»

Жених и невеста обдумывают маршрут своего свадебного путешествия, когда от Макса приходит странное письмо. «Только что, – сообщает Пра сыну, – вошла в мою комнату Марина и прочла нам (мне, Лиле, Вере) часть твоего письма к ней. Чтение аккомпанировалось нашим дружным хохотом». Но Марина чувствовала себя оскорбленной.

Позже она рассказала об этом единственном своем разминовении с Волошиным: «В ответ на мое извещение о свадьбе с Сережей Эфроном Макс прислал мне из Парижа вместо одобрения или, по крайней мере, ободрения – самые настоящие соболезнования, полагая нас обоих слишком настоящими для такой лживой формы общей жизни, как брак. Я, новообращенная жена, вскипела: либо признавай меня всю, со всем, что я делаю и сделаю (и не то еще сделаю!), – либо…»

Ближайшей почтой в Париж ушло разгневанное письмо невесты: «Есть области, где шутка неуместна, и вещи, о которых нужно говорить с уважением или совсем молчать за отсутствием этого чувства вообще. Спасибо за урок!»

Но с Максом нелегко было поссориться – он просто не давал своего согласия на ссору. Вскоре пришел его ответ, «любящий, бесконечно отрешенный, непоколебимо-уверенный, кончавшийся словами: “Итак, до свидания! – до следующего перекрестка!..”». Примиренные, растроганные, на вершине своего счастья легко забывающие обиды, Марина и Сергей шлют своему медведюшке фотографию, отпечатанную в форме открытки, с надписью: «Вот Сережа и Марина, люби их вместе или по отдельности, только непременно люби, и непременно обоих…»

3

Тем временем 3 ноября в «Обществе свободной эстетики», которым руководил Валерий Брюсов, состоялось первое публичное выступление поэтессы Марины Цветаевой с чтением своих стихов.

На вечере, собравшем почти двести слушателей, выступало восемнадцать поэтов. Среди них были сам Брюсов, Владислав

Ходасевич, Борис Садовской, Надежда Львова. Марина читала стихи вместе с сестрой, в унисон, «дуэтом», голоса у них были удивительно схожими (эта странная форма чтения удержится в их практике надолго). Успех был безусловный. В открыточке, написанной Максуна следующий день, Сергей откровенно хвастался: «Их вызывали на бис. Из всех восемнадцати поэтов, читавших свои стихотворения, они пользовались наибольшим успехом…»

На этом же вечере читал свои переводы из современной русской поэзии молодой француз Жан Шюзвиль. Он тогда жил в России и вел обзоры русской поэзии для журнала «Мерюор де Франс». С Мариной они встречались и у преподавательницы гимназии Брюхоненко, где училась Цветаева, – там тоже читали стихи. Много лет спустя они встретятся в Париже, и Жан страшно огорчит Марину. Вспоминая давние годы, он признался ей: «Я так Вас боялся: Вы были так умны, так умны, что я испугался. Вы так мало были похожи на тот идеальный образ девушки, который есть у каждого молодого человека…» Слышать это было больно.

Вскоре Марина и Сережа провожали на Брестском вокзале Асю Цветаеву и Лилю Эфрон. Они уезжали за границу.

Отъезд увенчал успехом обдуманную дипломатию хитроумных сестричек. Младшей отъезд был необходим, дабы не обнаружилось раньше времени ее интересное положение, – притом что брак с Борисом Трухачевым оставался весьма проблематичным: решительно возражала мать Бориса. А для старшей сестры облегчением стал отъезд Лили: напряженная атмосфера в Сивцевом Вражке немного разряжалась.

Ивану Владимировичу сказано было, что у Аси не в порядке легкие, требуется срочное лечение за границей. А Лиля вроде бы Асю сопровождала. На самом деле пути обеих почти сразу разошлись, ибо часом позже с того же вокзала следом за Асей ехал Борис Трухачев! Вскоре молодая пара воссоединилась и путешествовала далее вместе. А Лиля укатила в Германию – слушать лекции Рудольфа Штейнера.

Прощание с домом в Трехпрудном переулке. Ася, Сергей, Марина. Ноябрь 1911 г.

Так кончался 1911 год, наступал 1912-й. Встретили его в «обормотнике» весело. «Пили шампанское, – отчитывается Пра перед сыном, – и вино у нас не по усам текло, айв рот попадало. А рождественская елка наша при зажигании ее в первый же вечер сразу вспыхнула вся, пришлось ее заливать, а она стала чадить, заволокло дымом все обормотское гнездо, но не помешало веселью обормотов и их гостей…»

Минуло меньше года с тех пор, как Марина вышла из своего девичьего терема. Хлебнула всей грудью воздуха живой жизни, узнала радость преданной дружбы и взаимной любви. Увидела себя вполне пригодной к ощущению счастья, а так уж в том сомневалась! Теперь она пишет Волошину: «Наслаждаться – университетом, когда есть Италия, Испания, море, весна, золотые поля…» Она знает, кому жалуется! Не Волошин ли, сам неутомимый путешественник, и заразил ее этим неодолимым желанием – ехать, смотреть, вбирать в себя новые впечатления?..

Свадьба состоялась 27 января. К церемонии Волошин приехать не успел (а может быть, и не захотел); он появился в Москве только в середине февраля. Но молодые дождались его, подарили свои вышедшие из печати книги – и только тогда

уехали в свадебное путешествие. Оно продолжалось почти два месяца, по сказочному маршруту: Париж, Вена, Милан, Генуя, Неаполь, Палермо, Сиракузы, Рим, а на обратном пути – Шварцвальд…

Анастасия в Коктебеле

В Париже они встретили Асю – уже одну! Она успела поссориться с Борисом, и тот уехал обратно в Россию.

Теперь втроем они бродят по городу, посещая святые для них места. Приходят на могилу родителей Сережи и его младшего брата и убирают ее цветами; навещают могилу художницы Марии Башкирцевой: ее знаменитый дневник оставил в сердцах обеих сестер неизгладимый след. Взбираются, конечно, на Эйфелеву башню; посещают улочку Бонапарта, на которой жила в 1909 году Марина.

Им весело.

Сережа шутит без умолку, и, как ни пытается Ася помнить о

своей «разбитой судьбе» и сохранять вид элегантной печальной дамы, ей это плохо удается. И, разумеется, все вместе идут в театр – смотреть Сару Бернар в «Орленке». «Сара с трудом ходит по сцене (с костылем). Голос старческий, походка дряблая – и все-таки прекрасно!» – сообщает Сергей сестре Вере в Москву.

Затем молодые едут в Италию, а Ася возвращается в Россию.

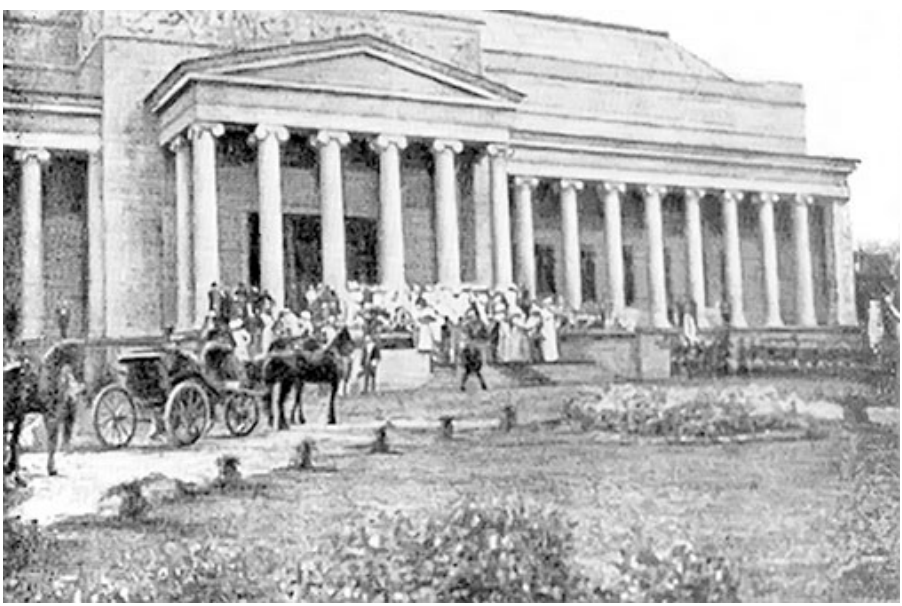
Генуя, Милан, Неаполь – и, наконец, Палермо! Здесь они живут в отеле на четвертом этаже – «у самого неба!» – пишет Марина Волошину. Максу они пишут оба, потому что Сицилия сразу воскрешает в их памяти Коктебель – те же горы, та же полынь с ее горьким запахом. Но рокочущая Этна их пугает, тем более что они посетили разрушенную не так уж давно Мессину…

Глава 9
Открытие музея. Семейное

1

Молодые вернулись в Москву к Троице, незадолго до самого праздничного дня жизни Ивана Владимировича Цветаева.

Музыка и музей – это было то, что безраздельно царило в трехпрудном доме с тех пор, как дочери Марии Александровны стали осознавать себя. «Музей был наш младший брат, – шутила потом Марина, – он рос вместе с нами…» Пытаясь проследить, когда именно родилась у отца мечта о русском музее античной скульптуры – тогда ли, когда в глухих Талицах Шуйского уезда за лучиной сын сельского священника изучал латынь и греческий, или тогда, когда, откомандированный Киевским университетом, он впервые вступил ногой на римский камень («Вот бы другие – такие же, как он (босоногие и лучинные), могли глазами взглянуть!»), – Цветаева утверждала: то была мечта, «с отцом сорожденная».



Музей изящных искусств имени Александра III

Подруга юности Андрея Цветаева А. Н. Жернакова-Николаева вспоминала: «Иван Владимирович был человеком, всецело

преданным своему делу. Человек он был мягкой, нежной души, иногда совершенно наивный. Я помню, как однажды он рассказывал о совете, который он дал императору Николаю II. Было это на одной из аудиенций, которые охотно давал ему государь, прекрасно относившийся к профессору Цветаеву. Иван Владимирович поведал государю, какие милые и приветливые бывают студенты, когда осматривают музеи и картинные галереи. Иван Владимирович кончил свою речь словами: “Ваше Величество! Надо основывать больше музеев и галерей, тогда не будет студенческих беспорядков…”»

Ближайшим помощником Цветаева в осуществлении грандиозного замысла была его жена Мария Александровна. Она вела всю его иностранную переписку, а потом, в бытность за границей, едва ей становилось лучше со здоровьем, ездила по поручению мужа по старым городкам Германии, «выбирая и направляя, торопя и горяча, добиваясь и сбавок и улыбок». После смерти матери всю немецкую переписку отца взяла на себя Марина. А дед ее со стороны матери, умирая, оставил на музей часть своего состояния…

Иван Владимирович Цветаев в парадном мундире. 1912 г.

Детское воспоминание Марины: «Папа и мама уехали на Урал за мрамором для музея. Малолетняя Ася – бонне: “Августа Ивановна, а что такое музей?” – “Это такой дом, где будут разный рыб и змей, засушенный”. – “Зачем?” – “Чтоб студент мог учить”. ‹…› Пишем папе и маме письма, пишу – я, неграмотная Ася рисует музеи и Уралы, на каждом Урале – по музею. “А вот еще Урал, а

вот еще Урал, а вот еще Урал”, – и, заведя от рвения язык почти за край щеки: “А вот еще музей, а вот еще музей, а вот еще музей…”»

Наконец любимое детище Ивана Владимировича, великий человеческий подвиг ученого и, словами дочери, «четырнадцатилетний бессеребряный труд» – Музей изящных искусств имени императора Александра III, – был торжественно открыт. Это произошло 31 мая 1912 года.

В те дни Москва была украшена флагами и щедро иллюминирована: праздновали столетие победы над Наполеоном в войне 1812 года. К этому присоединились и торжества, посвященные памяти Александра III. Музей еще в колыбели получил имя только что умершего тогда царя – так завещала первая жертвовательница на музей, сама умиравшая в те дни.

Открытие Музея изящных искусств 31 мая 1912 г. На переднем плане – Ю. С. Нечаев-Мальцев, И. В. Цветаев, за ним Р. И. Клейн

27 мая, в два часа дня, звон всех московских колоколов оповестил жителей города о вступлении царского поезда на территорию Москвы: из Петербурга прибыла царская семья.

30 мая был торжественно открыт памятник Александру III работы Опекушина. И на следующий день состоялось открытие музея.

Стояла теплая прекрасная погода; жара умерялась легким ветром с Москвы-реки. Утром этого дня газеты объявили о высочайших наградах, пожалованных архитектору Клейну, главному строителю Рербергу и обер-гофмейстеру Нечаеву-Мальцеву– «за ведение работ и сбор пожертвований на музей». Отдельно сообщалось о назначении заслуженного профессора Московского университета Цветаева почетным опекуном музея.

Ивану Владимировичу уже шестьдесят шесть лет, он ссутулился, здоровье его ослабло. Скромный, привыкший к естественному для него самоограничению во всех личных потребностях, он принужден был теперь сшить себе к торжественному дню парадный мундир, сверкавший золотым шитьем.

И. В. Цветаев с дочерью Анастасией

– Ну зачем мне, старому человеку, золото? – сокрушался Цветаев, с ужасом прикидывая, во что это шитье обойдется. – Семьсот рублей потратить на себя! Стыд и позор!

– Так это же не на себя, а для музея, папа! – уговаривает отца Марина. – Чтобы почтить твой музей. Твой новый музей – твоим новым мундиром. Мраморный музей – золотым мундиром.

И Иван Владимирович – со вздохом:

– Разве что для музея…

То был для него великий день.

Торжественный хор воспитанников и воспитанниц средних учебных заведений Москвы исполнил кантату и гимн. Дирижировал хором сам Ипполитов-Иванов, директор Московской консерватории. В три часа дня прибыл кортеж с высочайшими гостями.

Марина и Ася наблюдали за церемонией с гордостью и любопытством. Между тем им было совсем нелегко отстоять долгий молебен: до родов Аси оставалось всего два с половиной месяца, до родов Марины – немногим больше.

И. В. Цветаев с сыном Андреем

«Старики, старики, старики. Ордена, ордена, ордена. Ни лба без рытвин, ни груди без звезды. ‹…› Мнится, что сегодня вся старость России притекла сюда на поклон вечной юности Греции. Живой урок истории и философии: вот что время делает с людьми, вот что – с богами И еще одно разительное противоречие: между новизной здания – и бесконечной ветхостью зрителя, между нетронутостью полов и бесконечной изношенностью идущих по ним ног…» Это уже взрослая Цветаева описывает тот памятный торжественный день.

Дед Марины и Аси Цветаевых А. Д. Мейн с женой С. Д. Мейн (Тьо)

А смешливый Сережа Эфрон, спустя всего неделю, гордо и весело писал о церемонии в письме к сестре Вере. О том, как важно он сам выглядел, облаченный во фрак (взятый напрокат) и цилиндр (позаимствованный у самого Ивана Владимировича). Он держался так непринужденно, что его поместили между графом Витте и обер-прокурором и обращались к нему не иначе как «Ваше превосходительство». Чуть не час он простоял во время молебна в двух шагах от государя. Удивился его неимператорской внешности – малому росту, моложавости, добрым светлым глазам. Но большинство приглашенных составляли разваливающиеся сановные старики. Когда, во время пения «Вечной памяти» Александру III, они опустились на колени, «половина после этого не могла встать, – пишет Сергей сестре. –

Мне самому пришлось поднимать одного старца-сенатора, который оглашал всю залу своими стонами».

Уже через год Ивана Владимировича Цветаева не станет. В некрологе, написанном его учеником В. В. Розановым, сказано было о «малоречистом, с тягучим медленным словом, к тому же не всегда внятным, сильно сутуловатом, неповоротливом профессоре, который, казалось, олицетворял собою русскую пассивность, русскую медленность, русскую неподвижность. Он вечно “тащился” и никогда не шел…» Но «совершенно обратно своей наружности, – продолжал Розанов, – он являл внутри себя неутомимую деятельность, несокрушимую энергию и настойчивость, необозримые знания самого трудного и утонченного характера. Он был великим украшением университета и города…»

2

Вскоре после торжеств Марина повезла мужа в Тарусу – хотела, чтобы Сережа увидел любимейшие места ее детства и юности. Увы, Песочная уже была продана, брат Андрей прозевал торги!

Они остановились у Тьо – так привыкли дети Цветаевы звать бывшую экономку умершего уже деда Марины по матери; Александр Данилович Мейн выписал ее в свое время из Швейцарии как бонну для дочери и обвенчался с ней незадолго до своей кончины.

В деревянном одноэтажном, но просторном домике, окруженном старым липовым садом, старая сухонькая Тьо приняла молодых с нежностью и даже восторгом, а Сережу и с невиданным почтением. Он шутил, что она его принимает за английского лорда, скрывающего свое происхождение, и, чтобы сделать ему приятное, все время усердно хвалит Англию.

Дом сверкает чистотой, ковры, дорогие сервизы, вся мебель – в чистейших полотняных чехлах с оборками, с оборками же и платье Тьо. Часы в деревянном футляре занимали весь угол комнаты чуть не до потолка и играли каждые четверть часа как оркестр…

Ритм ежедневной жизни здесь сохранил прочную умиротворенность, какой давно уже не было в городе. По утрам тетушка выходила на террасу – в белом чепчике с лентами и в длинном белом капоте с вышивками и оборками. Сыпала в кормушку крупу, и белые голуби тут же слетались к ней,

садились на плечи и на руки.

Молодые сидят за завтраком и обедом часа по два, выслушивая обстоятельно-неторопливые воспоминания Тьо. Прислуга в белой наколке подает к столу подогретые тарелки, после обеда полагается шампанское, после каждого приема пищи нужно непременно полоскать рот. Аккуратность – девиз дома; недаром старшая сестра Марины Лёра вспоминала повторявшуюся воркотню добрейшей тетушки: «Ох эти русские коекакишны!»

Но вечерами, дождавшись момента, когда Тьо и прислуга отойдут ко сну, молодые вылезают через окно в сад и бегут на реку, к лодкам. В светлые ночи они гребут по лунной дорожке, всматриваясь в темные берега; иногда проводят ночь, зарываясь в копну сена, и уже под утро росистыми лугами возвращаются домой…

В сентябре 1912 года у молодой четы родилась дочь, названная по настоянию матери Ариадной. Сергей очень хотел назвать девочку именем попроще, но Марина решительно воспротивилась и не слушала никаких возражений.

Крестины дочери отложили до возвращения из Коктебеля Елены Оттобальдовны – родители только ее желали видеть крестной матерью. Но Пра приехала в Москву лишь в декабре. По случаю крестин она заменила шаровары юбкой. «Но шитый золотом белый кафтан остался, осталась и великолепная, напоминающая Гёте, орлиная голова. Мой отец был явно смущен, – вспоминала Цветаева. – Пра – как всегда – сияла решимостью, я – как всегда – безумно боялась предстоящего торжества и благословляла небо за то, что матери на крестинах не присутствуют. Священник говорил потом Вере:

– Мать по лестницам бегает, волоса короткие, – как мальчик, а крестная мать и вовсе мужчина…»

После крестин Алю уложили в розовый атласный конверт – тот самый, в каком в свое время носили и Марину.

Через несколько дней Эфроны устраивали первую в своей совместной жизни елку. На празднике были Иван Владимирович – то было его последнее Рождество…

3

Стихи пишутся, но как-то не слишком интенсивно. Поэтический дар Цветаевой обычно пробуждается от тоски и боли, а не от радости и благополучия, – такова уж его природа.

Между тем в художественном климате предвоенной России «расцветают все цветы». В Петербурге рождается новый журнал «Гиперборей», в котором напечатаны стихи Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Городецкого. Вскоре выйдет первая книга Анны Ахматовой «Вечер»; стихи здесь будут предварены предисловием петербургского мэтра Михаила Кузмина. В самом начале 1913 года появится номер недавно возникшего петербургского журнала «Аполлон» со статьями Гумилева и Городецкого. Провозглашено новое направление в искусстве – акмеизм; в число его приверженцев запишут имена Ахматовой, Мандельштама, Гумилева и других; молодой петербургский ученый Виктор Жирмунский назовет их позже «преодолевшими символизм».

В Москве же появляются сборники «Пощечина общественному вкусу» и «Садок судей» со стихами Маяковского, Хлебникова, Бурлюка, Крученых – это заявляют о себе футуристы. Они публично появляются с позолоченными носами или с разрисованными щеками в пиджаках малинового цвета, в черных котелках, а то и в бархатном плаще с серебряными позументами. Высокий, худой, красивый Маяковский всюду появляется в своей лимонно-желтой кофте и красной феске. На поэтических вечерах футуристы ругают Пушкина и публику и способны выплеснуть чай из своих стаканов в первые ряды зала.

Марина Цветаева. 1912 г.

Стихи Крученых и Хлебникова в отдельном издании иллюстрируют Ларионов и Гончарова; футуристы в поэзии смыкаются с художниками «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста».

Игорь Северянин собирает огромную аудиторию в «Обществе свободной эстетики»; завывающим баритоном он читает стихи, особенно выделяя почему-то носовые звуки, и держит в руках лилию на длинном стебле. Сначала его встречает оглушительный смех, но уже через час его слушают в безмолвном восторге.

Шумные дискуссии возникают вокруг нового явления в сфере живописи – кубизма, и все чаще такие дискуссии перерастают во взаимные обличения представителей старого и нового искусства. Еще один шумный сюжет возникает вокруг репинской картины

«Иван Грозный и сын его Иван»: полубезумный художник Балашов в Третьяковской галерее набросился на картину с воплем: «Довольно крови!» – и изрезал ее ножом. В противовес дружному хору негодующих в защиту Балашова неожиданно выступил Волошин. Сначала в газетной статье в «Утре России», а затем в большой аудитории Политехнического музея он пытался обратить внимание возмущенной публики на то, что в самой репинской картине присутствовали «саморазрушительные силы», спровоцировавшие припадок Балашова. Волошин говорил о проблеме ужасного в искусстве, о разнице между реализмом и натурализмом. Как и следовало ожидать, никто не услышал аргументации – и теперь уже вокруг самого Максимилиана Александровича вспыхивает скандал. Безбожно перевирая сказанное Волошиным, пресса поливает его грязью, и ни одна газета не принимает собственных его пояснений…

В эти тяжелые дни Марина и Сергей протягивают своему «медведюшке» руку помощи. Они предлагают ему собрать воедино все, что относится к столь бурно обсуждающейся теме, и издают это отдельной брошюрой в своем домашнем «издательстве» «Оле-Лукойе»! Издательства как такового, вообще говоря, не существовало; год назад молодожены придумали его, чтобы самим издать Маринин «Волшебный фонарь» и Сережину книгу «Детство». Брошюру Волошина назвали спокойно – «О Репине».

Коктебель. Е. О. Волошина, М. А. Волошин, Сергей, Аля, Марина

Еще один живой эпизод этой зимы – выступление Цветаевой на «Курсах драмы» Софьи Халютиной. Марина приходит туда в сопровождении мужа, одетая в необыкновенное платье коричнево-золотистого старинного шелка с широкой пышной юбкой до полу и старинным корсажем. Это, видимо, то самое платье, в котором мы видим Марину на фотоснимках 1911 года рядом с Сергеем – из материнских сундуков. Выглядит она в этом наряде как настоящая принцесса – так, по крайней мере, воспринимают ее восхищенные курсистки Халютиной. Золотистое платье, золотая шапка тонких волос, легкий застенчивый румянец…

– Какая очаровательная смелость – прийти в таком платье в общество! – перешептываются курсистки меж собой. – Это явное презрение к моде, это отвращение к нашему обезьянству. Мы все как одна в узких юбках с разрезом – потому что вся Москва в таких ходит! Разве мы осмелимся надеть то, что носили двести лет назад? А она вот – наперекор всем! – взяла и надела.

Легко, как горная козочка (так вспоминала Мария Гринева), Цветаева поднялась на сцену. «Нас сразу поразила ее манера читать стихи, совсем незнакомая, непохожая на то, как нас учили. Обаятельная, интимная, музыкальная, ритмическая ее манера

читать пленила нас. В перерыве начались горячие споры, одни были в восторге, другие доказывали, что так читать можно только дома, наедине…»

Прошла зима, и весной 1913 года семья Эфрон укатила в Крым. Лето в Коктебеле снова оказалось для них божественно счастливым. Долгие походы в горы, ночные костры, восходы солнца… «Ах, вчера было чудно! – пишет Марина в начале июня в одном из писем. – Огромная желтая луна над морем, прямо посреди залива, и под ней длинная полоса грозно-летящих облаков.

Луна то исчезала, то вспыхивала в отверстии облака, то сквозила слегка, то сразу поднималась.

Казалось, все летит: и луна, и облака, и Юпитер.

– Все небо летело… Сегодня… мы взобрались на острую, колючую скалу и сидели, свесив ноги. Были огромные, бешеные волны…»

Старый Крым. На переднем плане Цветаева и Волошин

В это лето, среди других стихотворений, она написала блистательное, ставшее теперь хрестоматийным:

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти –
Нечитанным стихам!

Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Марине еще нет и двадцати одного года. Какая, однако, спокойная, ясная уверенность в своем даре, в будущем признании! Это ее своего рода классический «Памятник»: я сделал, что мог, и это пребудет…

Под стихотворением точная дата: 13 мая 1913 года.

Точная датировка стихотворений – годом, месяцем и числом – станет теперь характерной особенностью цветаевской лирики. Эта особенность, как и хронологическое расположение стихов в сборниках, которые она будет составлять, говорит об осознанной установке на ту самую «дневниковость» ее поэзии, какую отметил еще Волошин в рецензии на «Вечерний альбом».

Владимир Соколов, Вера, Лиля, Сергей Эфроны, Марина Цветаева, Майя Кювилье

Рукопись сборника, объединившего стихотворения 1913–1915 годов, Цветаева назовет позже «Юношескими стихами» – хотя ей

уже более двадцати. Но что верно, то верно: здесь скорее слышен голос юности, едва вступающей во «взрослую» жизнь, только еще осваивающейся в этой нелегкой для нее ситуации. Каждый шаг юного человека дается ему непросто – слишком резок контраст между реальностью и привычными фантазиями! Одно стихотворение за другим воплощает конфликты адаптации: неуютная жизнь полна обид и непредсказуемо острых углов.

Идите же! – Мой голос нем
И тщетны все слова.
Я знаю, что ни перед кем
Не буду я права…

В мировой литературе эти обиды и коллизии описаны не однажды, во всем разнообразии их вариантов. Но там они почти всегда воссозданы по памяти! С оборотом назад и неизбежным процеживанием и отбором подробностей. У юной же Цветаевой – как бы «репортаж с места действия», и ведется он с простодушием человека, не допускающего даже мысли о том, что его признания могут прозвучать для взрослого уха петушиным выкриком. Цветаевские стихи 1912–1915 годов – это импульсивные, эмоциональные, динамичные монологи; упреки сменяются в них обличениями, горделивый вызов – дерзостью, озорство – грустью, кокетство – торжественной декларацией…

Что видят они? – Пальто
На юношеской фигуре.
Никто не узнал, никто,
Что полы его, как буря.

Остер, как мои лета,
Мой шаг молодой и четкий.
И вся моя правота
Вот в этой моей походке.
……
Как птицы полночной крик,
Пронзителен бег летучий.
Я чувствую: в этот миг
Мой лоб рассекает – тучи!

Майя Кювилье и Марина Цветаева с Алей. Коктебель, 1913 г.

На фотографиях, сделанных в Коктебеле в это лето, – новые лица. Среди них Майя Кювилье (впоследствии жена Ромена Роллана). Она тоже пишет стихи, и эти стихи нравятся Марине. Обе взбалмошные и предельно своенравные, они нашли, что очень похожи друг на друга, одинаково подстриглись – «под пажей», подружились, сфотографировались в профиль, глядя друг на друга, и даже написали совместный цикл «Короли и пажи».

Задор, шутка, розыгрыш, примеривание к себе разных масок, усмешка над собой и еще – невероятная самоуверенность появляются в цветаевских стихах 1913–1914 годов. Ох как похоже

это на желтую кофту молодого Маяковского и цветочки, какие рисует на собственном лице художница Наталья Гончарова! Волошин сразу отметил новые ноты в теперешней Марине и назвал их детской болезнью собственного величия. Он-то понимал: пройдет! Со временем и прошло, но оставило свои следы. А еще – укрепило присущее Марине с раннего детства чувство независимости от чужих пересудов. «Пусть говорят, что им угодно! Не снисхожу до людских толков!» – девиз этот она с удовольствием прочтет уже во Франции вырезанным над входом в простой рыбацкий домик («Laissez dire!») – и не раз повторит потом, что охотно вставила бы его в свой герб…

Но, несомненно, то была и дань времени. В начале XX века появлялись все новые и новые «измы» в искусстве, но при всех «измах» живуче сохранялся идеал сильной и самодостаточной личности, выявляющей себя безо всяких ограничений. «Никогда еще не проповедовалось верховенство личности с таким воодушевлением, как в наши дни, – писал Вячеслав Иванов в 1915 году, – никогда так ревниво не отстаивались права на глубочайшее и утонченнейшее самоутверждение»; «индивидуализм еще не исчерпал своего пафоса…». Сильная, независимая личность стояла в центре пьес Ибсена и прозы Уайльда, ее голос звучал в поэзии молодого Брюсова и в лирике Зинаиды Гиппиус. Брюсов называет свою книгу «Me eum esse» («Это я»), Маяковский повторит то же, выпуская свой первый сборник («Я!») и озаглавливая пьесу («Владимир Маяковский»), а позже и проставляя знаменитый эпиграф: «Себе любимому». Популярность обретает строка: «Я – гений Игорь Северянин!»

Вот он – я; делаю, что мне нравится, и заранее презираю толпу и всех, кто готов меня осудить!

«Принято было задирать нос, ходить гоголем и нахальничать, – вспоминал много лет спустя Борис Пастернак в «Людях и положениях», – и, как мне это ни претило, я против воли тянулся за всеми, чтобы не упасть во мнении товарищей».

4

В середине августа Марина одна отправилась из Коктебеля в Москву, – надо было сдать новым съемщикам дом, который они с Сергеем купили год назад в Замоскворечье.

И как раз в эти дни, 27 августа ночью, в трехпрудный дом привезли внезапно заболевшего Ивана Владимировича. С тяжелейшим сердечным приступом он едва перенес тряскую дорогу из-под Клина, где в имении своих друзей проводил лето. В эти последние дни его жизни чудесным стечением обстоятельств в Москве и под Москвой оказались все четверо его детей – Валерия, Андрей, Марина, Ася.

Е. О. Волошина и Марина

Иван Владимирович был плох, но храбрился, уверяя, что врачи всегда все раздувают; превозмогая себя, задыхающимся голосом ласково разговаривал с детьми: в кои веки они все были сейчас рядом! И не бунтующие и своенравные, а кроткие, заботливые, искренне встревоженные. «Самый последний год, – утешая себя, вспоминала потом Цветаева, – он чувствовал нашу любовь, раньше очень страдал от нас, совсем не зная, что с нами делать».

О чем он думал теперь, глядя на Марину, столько раз огорчавшую его дерзкой строптивостью, но с ранних лет радовавшую умом и начитанностью? Ей не было еще и одиннадцати, когда отец разглядел незаурядную ее одаренность. В 1903 году, когда вместе с женой он приехал в Лозанну, где девочки обучались в пансионе, он писал А. А. Коврайской: «За Марусю даже страшно: говорит, как взрослый француз, изящным, прямо литературным языком… пишет по-русски правильнее и литературнее пяти– и шестиклассников в гимназиях… Экие дарования Господь ей дал!..»

Впрочем, как раз поэтические успехи дочери не слишком его радовали; сохранилась надпись Марины на «Волшебном фонаре»: «Милому папе, хотя он и забраковал эту книгу».

(И снова скажу – о слепоте нашей, о неспособности увидеть хоть что-то реальное за пеленой предстоящих лет. Ибо затмит славу отца его строптивая дочь; настолько затмит, что имя Ивана

Цветаева вспомнят по-настоящему уже из-за всемирной славы, какая придет – посмертно! – к его дочери. Только тогда потомки отдадут должное великому подвигу человека, незаурядность которого еще найдет своего достойного певца.)

Бледный, осунувшийся Иван Владимирович пытался расспрашивать детей об их жизненных проблемах, строил планы… В какой-то момент Марина начала что-то рассказывать ему о феодальных замках.

– Теперь прошел век феодальных замков, – настал век людей труда! – возразил ей отец.

Он ни разу не заговорил о возможности смерти – так что дети считали потом: он не предчувствовал близости конца. И потому умер без священника, хотя был верующим человеком.

Марина и Андрей присутствовали во время тяжкой его агонии; 30 августа 1913 года Цветаев скончался около четырех часов дня в беспамятстве. Ему было 66 лет.

К счастью, он дожил до осуществления своей главной мечты: Музей изящных искусств был не только открыт, но сразу стал пользоваться огромной популярностью. Посетители «валили тысячами», как сообщал один из современников; за первые же два месяца существования распроданы были двенадцать тысяч путеводителей. «Честь и слава Цветаеву, – писал И. Е. Репин. – Как собрано, что собрано! И все это так размещено, так преподнесено!» Еще один современник вспоминал, как уже в 1913 году в одном немногочисленном собрании Иван Владимирович, «шепотком, немножко стесняясь», прочел строки Баратынского:

Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном все земное!

И признался, что так он теперь ощущает самого себя: «Я совершил все, что мог!» Но, освободившись, он мечтал вернуться к делам научным, и тут тоже замыслы его были велики…

Панихиду отслужили в трехпрудном доме и в университетской церкви; похоронили рядом с женой на Ваганьковском кладбище.

Глава 10
Феодосия

1

Так сложилось, что и на зиму Марина и Сергей с маленькой Алей остались в Крыму, переехав из Коктебеля в Феодосию. Врачи рекомендовали это Эфрону для укрепления его легких, а кроме того, молодой отец семейства надеялся здесь завершить наконец свою затянувшуюся гимназическую биографию – сдать экстерном все необходимые экзамены.

Маленький старинный городок на берегу моря был по-домашнему уютен. Уютен и экзотичен. Развалины старого генуэзского замка, иностранные корабли в порту, лавочки с восточными товарами, мусульмане, бродящие по городу в пестрых халатах и чалмах. Запах дрока, море, синее небо… И молодость, счастливая Маринина молодость, последний ее безоблачный год!

Марина Цветаева и Сергей Эфрон. Феодосия, 1914 г.

Дом друзей Волошина Редлихов, где поселилась молодая семья, стоит на холме, высоко над морем. Он вытянулся вдоль Аннинской улицы. Комнаты здесь с низкими потолками, вокруг дома небольшой сад. Благоухающие розы катят прямо в широко раскрытые двери комнат волны теплого сладкого аромата. С холма видно поблескивающее на солнце море. Совсем неподалеку, под горкой, на Бульварной улице, поселилась и Ася с маленьким сыном Андрюшей, родившимся на две недели раньше Ариадны, и няней. Увы, у младшей сестры семейная жизнь не

сложилась: пышно отпраздновав свадьбу весной 1912 года, молодые не нашли счастья в этом союзе – и к осени 1913 года уже расстались.

Волошин ввел Цветаевых в знакомые дома – а знакома ему была, что называется, «вся Феодосия»: здесь он вырос. И очень скоро у сестер и Сергея появляется масса новых друзей. Вместе и порознь они бывают на окраине Феодосии у родственницы Айвазовского, напоминавшей Асе императрицу Елизавету. Гостеприимная хозяйка, она охотно собирает «людей искусства» и устраивает приемы, что называется, на широкую ногу. В правом крыле того же дома живет внук Айвазовского, добрейший Петр Николаевич Лампси – ну него они бывают, и у художника Богаевского на улице Дуранте, где встречается весь цвет Крыма и обеих столиц, и в скромном доме давней приятельницы Макса, строгой и категоричной Александры Михайловны Петровой.

Марину часто просят прочесть стихи. Преодолевая застенчивость, с мгновенно вспыхивающим румянцем и потупленным взором, она соглашается. И читает – сначала тихо, потом все более и более крепнущим голосом.

Феодосия. Дом семьи Редлих, в котором жили Сергей, Марина и Аля в 1913–1914 гг.

Марина с Асей, благодаря волошинским связям, получают немало приглашений и официального порядка: выступить и в Военном собрании, и в зале Азовского банка, и в правлении Еврейского общества пособия бедным. Они обычно читают и тут вдвоем, «в унисон», как называет это Анастасия, уверявшая, что голоса их звучали неразличимо. Некоторым эта манера кажется претенциозной и раздражает, но таких немного. Отзывы в прессе

чаще всего сентиментальны: «По-прежнему трогательны были стихи, прочитанные сестрами в унисон, – пишет корреспондент газеты «Жизнь Феодосии», – они, как и в прошлый раз, обвеяли нас солнечной лаской… еще раз согрели одичавшие души… Спасибо милым сестрам!» В «Крымском слове»: «Я здесь второй год (писал некий автор, скрывшийся за псевдонимом “Н. Ав-в”) и помню лишь один вечер, когда публики было еще больше… Конец третьего отделения превратился в нечто невообразимое. Рукоплескания, крики “браво” сливались в один сплошной гул… Каждое из прочитанных сестрами стихотворений покрывалось неумолчными аплодисментами…»

На улице сестер уже узнают, приказчики, стоящие у дверей лавок, шутят с ними – все приветливы. Похоже, что в городке в эту последнюю мирную зиму русской жизни царят доброжелательность и сердечность…

Марина Цветаева. 1914 г.

На приемы и выступления Марина всякий раз надевает красивые платья и с удовольствием заказывает новые портнихе. Коктебельскому приятелю она пишет: «Господи, к чему эти унылые английские кофточки, когда так мало жить!.. Прекрасно – прекрасно одеваться вообще, а особенно – где-нибудь на необитаемом острове, – только для себя!» Она обожает сверкающие кольца, браслеты, носит аметистовое ожерелье,

подаренное ей Асей на свадьбу, гранатовую брошь цвета темного вина… Ей двадцать один этой осенью, но выглядит она еще моложе, и когда в незнакомой зале объявляет очередное стихотворение: «Посвящается моей дочери», – изумленный вздох проносится по рядам.

(Как грустно теперь перечитывать эти стихи – несбывшиеся пророчества счастливой матери своему ребенку! Она ворожила и колдовала своей большеглазой Ариадне, пытаясь разглядеть ее будущее, но из всех возможных бед увидела только где-то подрастающего «вероломного Тезея»! И слава богу. Не только голодное детство, но даже двойной арест, долгий лагерь и ссылку стойкая и жизнелюбивая Ариадна сумеет снести, ни на йоту не упав духом. Заранее и издалека – зачем и знать о страшном?..)

Семья в Феодосии

Марина буквально купается в материнских чувствах. Ее записная книжка щедро фиксирует первые слова и первые фразы маленькой Али; мать в восторге от ее способностей – и от ее красоты. «Ты будешь красавицей, будешь звездою, ты уже сейчас красавица и звезда, – записывает Марина. – Ты уже сейчас умна и очаровательна до умопомрачения. Я в тебя верю, как в свой лучший стих!» В самом деле, увидев девочку, люди останавливаются на улице – так она хороша со своими

огромными (отцовскими) голубыми глазами. Однако при всей заливающей ее нежности молодая мать строга и неотступна как воспитатель: ежедневно девочку обтирают холодной морской водой, и шпинат, вызывающий ее отвращение, Аля должна съесть, каких бы мук ей это ни стоило. В доме заведен порядок: отец и мать разговаривают с крошкой, которой еще нет двух лет, как с большой: сюсюканья здесь не терпят. И крохотная Аля уже с удовольствием и даже страстью учит стихи, – слава богу, пока еще детские.

2

Наезжая в Феодосию из Коктебеля, Волошин всякий раз бывает в доме на Аннинской улице – его одинокому сердцу дорога ласка, которую он неизменно находит у своих молодых друзей; а они рады ему в любой день и час.

Прошедшее лето оказалось для Максимилиана Александровича тяжелым. Общительный и сердечный, он всегда летом отдавал себя на растерзание дорогим друзьям, совершенно не оставлявшим ему времени для работы и размышлений. Нынче же это еще тяжело усугубилось настойчивой влюбленностью Майи, не отходившей от Макса ни на шаг. Он терпел, улыбался, утешал, боялся обидеть – и измучился беспредельно. К концу лета, к разъезду гостей, он чувствовал в душе полную омертвелость, от которой уже не надеялся избавиться. «Я быть устал среди людей…» – строка стихотворения, написанного им как раз в эти месяцы…

Аля Эфрон. Москва, 1914–1915 гг.

Эти осень и зиму Волошин почти безвыездно проводит в своем Коктебеле. После того как он осмелился вступиться за безумного Балашова, столичные газеты и журналы закрыли перед ним свои двери. Самым скверным было то обстоятельство, что журналистская и критическая работа была главным источником существования Максимилиана Александровича. Но зато теперь, когда его уже не раздирали заказы на мелкие подёнки, он может наконец подготовить к изданию книгу своих статей. При феноменальном его неинтересе к славе, известности, репутации он никогда бы не собрался сделать это, несмотря на все упреки друзей. Но теперь он упорно работает, не отвлекаясь и радуясь своему уединению. Не было бы счастья…

Но, приезжая в Феодосию, Волошин неукоснительно навещает сестер. И они засиживаются вместе допоздна. Только Сергею часто приходится отъединяться: экзамены замучили его.

Теплая ночь, низкие южные звезды…

С наслаждением поедая синий изюм и любимую фруктовую колбасу с орехами, сестры заводят со своим старшим другом модные в этом году разговоры о бренности, о безнадежности всего на свете, об ужасе старости, о смерти… Особенно увлечена этими мрачными темами Анастасия.

Она запишет в своем дневнике один из таких разговоров, честно ручаясь за дословную достоверность лишь собственных фраз. Подслушаем их разговор.

– Как ты думаешь, Макс, возможно ли самоубийство спокойное, без всякого аффекта? – спрашивает Ася.

– Конечно, возможно, – отвечает Волошин, – правда, в нем нет смысла. Ведь можно убить свое тело, но дух будет продолжать мучиться теми же муками – для духа смерти нет. Уничтожить свой дух, впрочем, можно – через зло, и тогда это будет уже уничтожение во всех мирах…

– А если я и не хочу никакой трубы архангела, никакого воскресения? И делаю то, что могу, то есть уничтожаю себя? Это просто мой бунт!

– Бунт, – успокоительно говорит мудрый Макс, – самое сыновнее чувство. Бунт идет из глубины веков, и непокорные вместе с Творцом творят мир. Бунт, Ася, может быть, ближе к Богу, чем вера…

– Макс, – снова пристает Ася, – а это нормально – так все переживать, как я переживаю?

– Но каждый человек, Ася, чем-нибудь да ненормален. А кроме того, нужное дело в мире только и делают люди не совсем нормальные…

Новый 1914 год они встретили все вместе – и эта встреча так прекрасно была описана позже Цветаевой, что не обойтись без цитирования.

День 31 декабря выдался ветреным и снежным, Сергей совсем недавно перенес операцию аппендицита – но ничто их не остановило! Если бы не возница Адам, вспоминала позже Цветаева, «знавший и возивший Макса еще в дни его безбородости и половинного веса», никто бы не поехал из Феодосии в Коктебель на лошадях в такую погоду «Метель мела, забивала глаза и забивалась не только под кожаный фартук, но и под собственную нашу кожу, даже фартуком не ощущаемую. Норд-ост, ударив в грудь, вылетал между лопаток, ни тела, ни дороги, никакой достоверности не было: было поприще норд-оста. Нет, одна достоверность была: достоверная снеговая стена спины Адама, с появлявшейся временами черно-белой бородой: – Что, панычи, живы? ‹…›

Не вывалил норд-ост, не выдал Адам. Дом. Огонь. Макс.
– Сережа! Ася! Марина! Это – невозможно. Это – невероятно.
– Макс! А разве ты забыл:

Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко видеть: чудо – есть!»

Они приехали с массой провизии и подарками от феодосийских друзей Волошина. И так увлеклись пиршеством и разговорами, что чуть было не спалили дом. Из-за неисправности печки пол под ней начал тлеть, а когда схватились, оказалось, что уже сгорели балки, и только глиняный накат под ними задержал пламя.

Макс призвал на помощь дворника Василия. Три часа ушло на взламывание половиц, выгребание углей и заливание огня. Потом Василий ушел, рассказав на прощание Максимилиану Александровичу, что накануне они с женой видели одинаковый сон: красную корову в саду. Что предвещает пожар. И что, если в первый день нового года был огонь, значит, весь год будем гореть…

Вспомнилось ли им это пророчество ближайшим летом? Наступал ведь не какой-нибудь год – 1914-й…

В цветаевском очерке «Живое о живом» нет никакого Василия, нет ни взламывания половиц, ни прочего мусора бытовых подробностей. Марина, Сережа и Ася там бегают с ведрами к морю и обратно, но пожар потух, пишет Цветаева, даже не от воды, а от заклятий Макса, «вставшего и с поднятой – воздетой рукой что-то неслышно и раздельно говорящего в огонь. ‹…› Ничего не сгорело: ни любимые картины Богаевского, ни чудеса со всех сторон света, ни египтянка Таиах, не завилась от пламени ни одна страничка тысячетомной библиотеки. Мир, восстановленный любовью и волей одного человека, уцелел весь… Что наши ведра? Пожар был остановлен – словом…»

В Феодосии Марина напишет свою первую поэму – «Чародей». Ее герой – Эллис, ее ритмы уверенны и заразительны, рифмы свежи, юмор и нежность сплетаются в неразделимое целое.

«Я не знаю женщины, талантливее себя к стихам», – записывает Марина по завершении поэмы. И тут же делает существенную поправку: «Нужно было бы сказать – человека». Еще далее: «Я смело могу сказать, что могла бы писать и писала бы, как Пушкин, если бы не отсутствие плана, группировки, – просто полное неимение драматических способностей… Возьми я вместо Эллиса какого-нибудь исторического героя, вместо дома в Трехпрудном – какой-нибудь терем или дворец, вместо нас с

Асей – какую-нибудь Марину Мнишек или Шарлотту Кордэ – и вышла бы вещь, признанная гениальной и прогремевшая бы на всю Россию… “Второй Пушкин” или “первый поэт-женщина” – вот чего я заслуживаю и, может быть, дождусь и при жизни.

Меньшего не надо, меньшее плывет мимо, не задевая ничего».

Так пишет в своей записной книжке Марина Цветаева 4 мая 1914 года.

Ей двадцать один год.

Глава 11
Ася

1

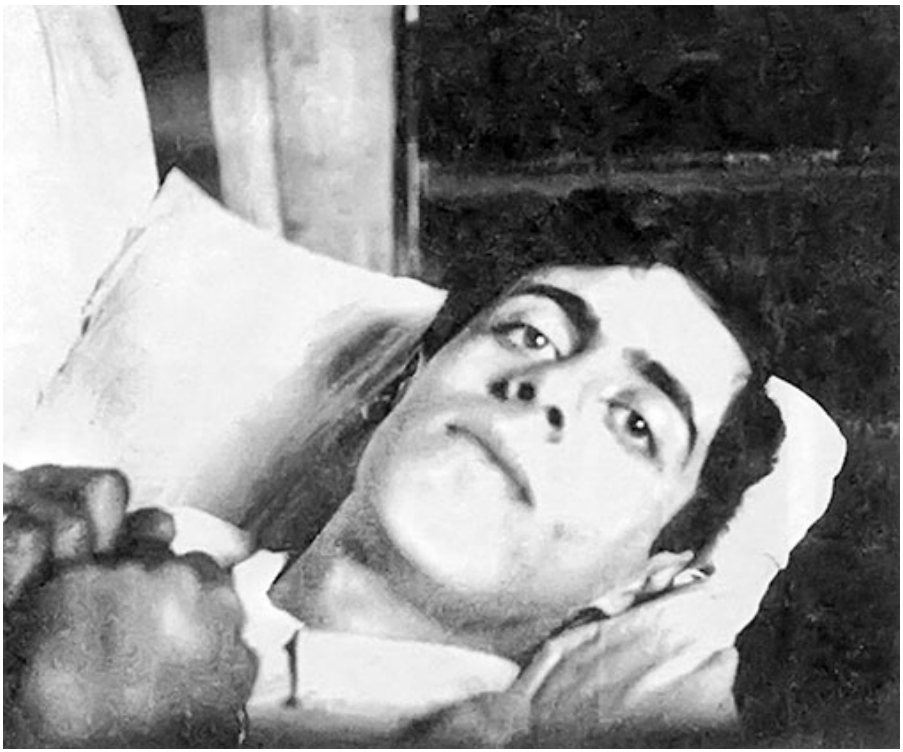
Весной 1914 года в руки Анастасии попалось «Уединенное» Василия Розанова. Она прочла книгу с восторгом, тут же написала письмо автору – и получила от него ответ! «Настя, кто ты? Откуда такой глубокий тон в 19 лет?» – От этих строк в письме старого литератора юная голова просто не могла не закружиться! Тем более что Розанов прислали второе письмо, в котором сообщал, что считает себя учеником ее отца.

Анастасия и Марина Цветаевы. 1905 г.

Теперь и Марина сочла себя вправе написать Василию Васильевичу. Она рассказала ему и об отце и о матери, о последних днях и часах Ивана Владимировича, о себе, о своем муже, о своих стихах – бесценное письмо, ибо от тех давних времен таких обстоятельных цветаевских писем сохранилось не много. Но, может быть, самое замечательное здесь – тональность:

счастливый щебет юного существа, уверенного в доброжелательности всего мира. Вот отрывки: «Сейчас так радостно, такое солнце, такой холодный ветер. Я бежала по широкой дороге сада, мимо тоненьких акаций, ветер трепал мои короткие волосы, я чувствовала себя такой легкой, такой свободной… Сережу я люблю бесконечно и навеки. Дочку свою обожаю… Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем… За три – или почти три – года совместной жизни – ни одной тени сомнения друг в друге…»

И снова о муже: «Он блестяще одарен, умен, благороден. Душой, манерами, лицом – весь в мать. А мать его была красавицей и героиней…»

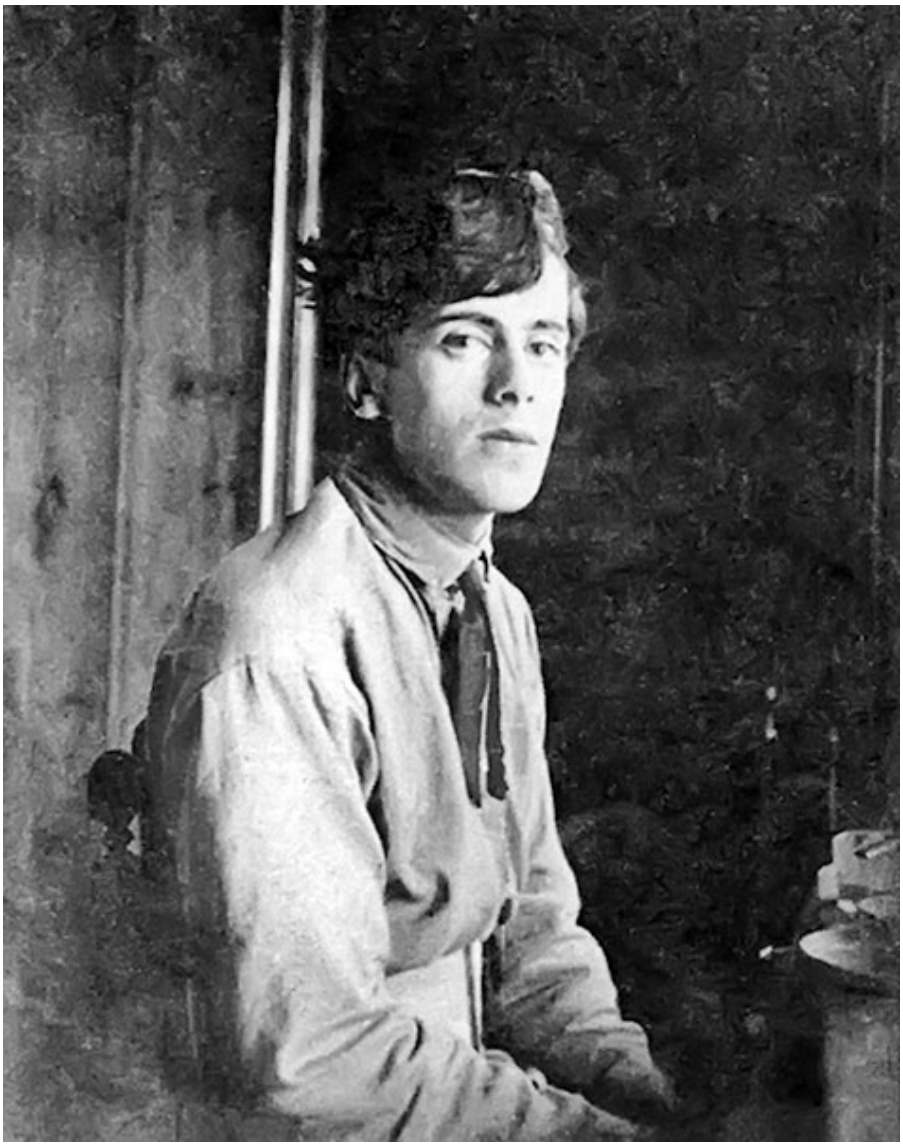


Сергей Эфрон в феодосийской больнице. 1914 г.

В третьем письме тому же адресату она даже решается просить его о заступничестве перед директором феодосийской гимназии, в которой Сергей будет весной сдавать последние свои экзамены. Директор боготворит Розанова, пишет Марина, и вот если бы он получил в подарок «Уединенное»… да словечко, замолвленное за Сережу…

Увы, теперь уже нельзя узнать достоверно, исполнил ли писатель неожиданную просьбу своей юной корреспондентки…

Зато достоверно известно, что еще осенью 1913 года директор получил письмо от Дмитрия Владимировича Цветаева! И эффект был тот самый. Правда, Эфрон готовился к экзаменам на совесть. И все же тему сочинения ему сказали накануне и задачки по тригонометрии он знал заранее! Но все равно он страшно волновался и не верил до последней минуты, что выдержит.



Сергей Эфрон. Феодосия. 1914 (?) г.

Выдержал! Причем единственным среди всех феодосийцев, сдававших экзамены экстерном!

Марина влюбленно описывает в дневнике внешность мужа:

«Красавец. Громадный рост; стройная, хрупкая фигура; руки со старинной гравюры; длинное, узкое, ярко-бледное лицо, на котором горят и сияют огромные глаза… и зеленые, и серые, и синие… Лицо единственное и незабвенное под волной темных, с темно-золотым отливом, пышных густых волос. Я не сказала о крутом, высоком, ослепительно-белом лбе, в котором сосредоточились весь ум и все благородство мира, как в глазах – вся грусть. А этот голос – глубокий, мягкий, нежный, этот голос, сразу покоряющий всех. А смех его – такой светлый, детский, неотразимый… А жесты принца!»

Пятого мая они отмечают трехлетие своей встречи. В туже записную книжку жены Сергей вписывает: «Где бы Вы ни были, я всегда буду с Вами, и этот четвертый год, как те три. Все, что Вы делаете, прекрасно…»

Анастасия и Марина Цветаевы. 1911 г.

Решительная и самоуверенная младшая Цветаева, получив ободряющий ответ Розанова, решает сама писать философское

сочинение. Ее очередной поклонник приносит ей произведения Шестова и Ницше – и вот Анастасия решает «дописать» ницшевское «Так говорил Заратустра». Она создаст еще две или три части – не больше и не меньше! Она будет первой женщиной-философом – на зависть и удивление всем. Почему бы и нет? Старшая сестра будет первым поэтом России, а она… Асе еще нет и двадцати, энергии – через край, сам Розанов находит в ее суждениях «глубину»…

А страсть писания сидит в ней с давних пор. С двенадцати лет Ася строчит свой дневник и буквально одержима этим занятием: пишет в ресторане, в ожидании, пока официант принесет ей заказанное блюдо, пытается записывать что-то в тетрадку даже в лодке, захлестываемой разбушевавшимся морем, – в пяти минутах от реальной возможности пойти на дно (записанными, правда, оказываются только два слова: «холодно» и «мокро»), И упоенно читает свои дневники – всем, кто подвернется!

Марина подогревает ее страсть, и вот Ася уже мечтает: «Издам – и прогремит мое имя, как гремело имя Башкирцевой, только крепче и горше!» Ей очень нужна слава, ей совершенно необходимо, чтобы весь мир восхищался ею.

Она настойчива и упорна; решила – сделала, и в апреле 1915 года выйдут-таки из печати ее «Королевские размышления»!

Марина и Анастасия Цветаевы. Феодосия, 1914 г.

«Размышления» претендовали на произведение философского жанра в современном вкусе. Ницше и Шестов, Достоевский, Ибсен и Кант участвуют в чисто эмоционально организованном тексте, но главный стержень «Размышлений» отчетлив, искренен и прост: ощущение глубокого неблагополучия, «заброшенности» (так назовут это позже экзистенциалисты) одинокого человека в

мире – и бесцельный, бесполезный бунт, протест.

Все в тексте вертится вокруг вопроса о вере. Автор разделяет взгляды Ивана Карамазова и любит тургеневского Базарова; не верит в Бога и в загробную жизнь и убеждена в полнейшей бессмыслице земного существования. Она постоянно твердит о летящем в пустоте земном «шарике». Под ногами всегда – «бездна», и она-то определяет всю неприкаянность частного существования. (Заметим мимоходом: словечко «бездна» явно запоздало. Оно было модным лет десять назад – тогда без него не обходились ни в одном приличном «читающем» доме.) И вот вывод: утешения ждать неоткуда, все мгновения жизни равноценны, а потому не надо принимать всерьез ничего в этом глупо устроенном мире. При этом и бунт глуп! – считает Анастасия. «Не надо никаких изменений… Какую плохую услугу вы оказали бы собственной душе, если б захотели упразднить из мира все его тяжести!.. Не надо! К ненавидящему вас простирайте руки! Оскорбившему – улыбайтесь влюбленно! Живите пламенней! Дышите глубже! Будьте как птицы небесные!..

Я люблю красоту. Безобразия не допускает моя строгая и изысканная душа».

В 1916 году появилась вторая книга Аси – «Дым, дым, дым…». Она еще более уязвимая. Но в литературной продукции тех лет, в разливанном море «ниспровергателей мещанской морали» десятых годов XX века и самолюбование, и стилевое дурновкусие были нормой. Анастасия, слава богу, не тщилась создавать «художественную» литературу. Она представляла читателю исповедальную прозу, убежденная в великой ценности личности вообще – и собственной в частности.

Значимость личности, как и исповедальность в творчестве, были знамением времени. В статье 1916 года «О современной литературе», опубликованной в «Биржевых ведомостях», Михаил Гершензон писал: «Переворот, произведенный “декадентами”, “символистами”, заключался именно… в принципиальном провозглашении личной свободы художника… Ярмо снято – иди куда хочешь. А свобода – хоть и приятная, но трудная вещь… Литература готовых общественных идей запрещена и не принимается, нет, дай чистое золото твоего духа, твоей интуиции!.. Оттого успех Игоря Северянина так симптоматичен для наших дней. У него “внутри” делаются сущие пустяки, шалости, но он рассказывает о них непринужденно и откровенно, и нельзя не простить молодежи эту жадность на исповедание сердца, хоть и легкого, но все же сердца, а не морализующего ума».

Юная Анастасия упоена собственной откровенностью, ее

девиз: «Я ничего не прячу, ничего не приукрашиваю, каким бы это вам ни показалось». И похоже, она искренна, а ее нарциссизм и эгоцентризм в простодушном выявлении по-своему любопытны. «Я – та женщина, которую ждало много поколений мужчин, – пишет юная Ася Цветаева. – Я создана, чтобы быть прекрасной, чтобы всех губить и самой погибнуть…»

Другое дело, что, когда принцип «ничего не скрываю» берет на вооружение человек – скажем мягко – не слишком большого масштаба, страницы оказываются заполненными илом подробностей, любопытных разве что дотошному психологу или даже психиатру. Замечательно, однако, что автор обеих книг фиксирует не только восторги, но и возражения, и иронию собеседников по отношению к ее собственным писаниям!

Книги Анастасии невозможно оценить однозначно. Они интересны более всего как документ времени; любопытны тем, что автор, как губка, впитал все модные в ту пору темы и разговоры, всё, что бурлило в водовороте русской жизни в канун Первой мировой войны, – во всяком случае, если судить об этом по газетно-журнальной периодике. Впитал – и, не умея переварить, выплеснул в слова, фразы, сумбурно-простодушные восклицания и вопрошания. Но и впитал не всё – политика и социальные темы Асю ни с какой стороны не интересовали.

Нечувствительность к стилевой окраске письменной речи привела к тому, что чудовищный нарциссизм и эгоцентризм автора производят в обеих книгах раздражающее, а зачастую и комичное впечатление; сегодня прочесть от начала до конца обе книги можно лишь при крайней необходимости.

Любимейшее слово автора обеих книг – «безнадежность».

2

С этим словом Анастасия, кажется, не расстается. Но мы найдем его и в стихах старшей сестры в эти месяцы. Несмотря на то что переживала она счастливейшее время своей жизни…

Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.

Захлебываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли

Две тоненьких моих руки.

Иду вдоль генуэзских стен,
Встречая ветра поцелуи,
И платья шелковые струи
Колеблются вокруг колен.

И скромен ободок кольца,
И трогательно мал и жалок
Букет из маленьких фиалок
Почти у самого лица.

Иду вдоль крепостных валов,
В тоске вечерней и весенней.
И вечер удлиняет тени,
И безнадежность ищет слов.

Модная «безнадежность» здесь так смягчена нежной любовью к себе самой и к прелести предвечернего часа, что кажется скорее сочувственной данью настроениям сестры! Хотя в одном из писем тому же Розанову и Марина признается: «Я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни. Отсюда – безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы – молиться и покоряться. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить».

Это признание любят цитировать исследователи и биографы Цветаевой, не обозначая его хронологических рамок. Они забывают сказать, что в «испепеляющие годы» реакции чуть ли не вся Россия заболела атеизмом. Но атеистический нигилизм Марины испарится уже в 1916 году…

Забегая вперед, скажем о реакции окружения младшей Цветаевой на ее «писательство». Елена Оттобальдовна Волошина прочла подаренную ей первую книгу Анастасии с нескрываемым раздражением. «Она всех считает круглыми дураками, только себя гениальной!» – пишет Пра сыну. Давняя феодосийская приятельница Макса А. М. Петрова жалуется ему же: «Ну, осрамила, ну, скомпрометировала!» – в связи с тем, что на экземпляре, ей подаренном, Ася вывела: «В память наших бесед»… Но вот в воспоминаниях Евгении Герцык, дружившей с Шестовым и Бердяевым, автор «Королевских размышлений» спокойно назван «молодым философом». И неизменно мягкий и жаждущий смягчить все отношения близких ему людей Волошин сообщает матери, что Бердяев и сестры Герцык находят книгу

Анастасии… талантливой!

На одном из приемов в доме Жуковских-Герцыков Льва Шестова знакомят с Асей. Евгения Герцык подводит молодую женщину к пожилому бородатому человеку с печальными глазами и говорит ему о только что законченной ею книге.

– Асе очень важно, чтобы вы ее прочли, Лев Исаакович…

Шестов попросил прислать ему рукопись.

Анастасия не медлила. Не прошло и трех дней, как философ позвонил ей по телефону и сказал, что сам приедет к Асе с рукописью. «С забившимся сердцем я вспомнила, – пишет в поздних своих «Воспоминаниях» Анастасия Цветаева (не догадываясь и в старости, как претенциозно это звучит!), – как заспешил к Достоевскому Григорович, прочтя его “Бедных людей”»…

Разговора с Шестовым ее память не сохранила. Запомнилось лишь, что пятидесятилетний философ был очень доброжелателен, терпеливо говорил с ней, но, среди прочего, сказал все-таки, что книгу вернее было бы назвать иначе: «Размышления королевского пажа». Тем не менее он предложил свою помощь в виде рекомендательного письма в любой толстый журнал! Анастасия отказалась:

– Спасибо. Я хотела бы войти в литературу самостоятельно…

Зачем, в самом деле, рекомендательные письма, если издать книгу – при некоторых средствах – проще простого!

И вот в начале 1915 года Ася уже ездит к цензору выправлять слишком резкие выражения на темы «божественности». «Не допустит наш батюшка, – увещевал ее цензор, – книгу могут арестовать!» В конце концов он дал разрешение на издание, но, не скрывая, горевал «о такой умонаправленности дочери Ивана Владимировича».

Вернувшись из Крыма в Москву осенью 1914 года, младшая Цветаева записалась на лекции по древней и новой философии в только что открывшийся Университет Шанявского.

3

Сезон 1914 года в Коктебеле открыли приехавшие из Москвы в первых числах апреля Елена Оттобальдовна и Майя. Вскоре из Феодосии к ним присоединилась младшая Цветаева с сыном Андрюшей. Тихие дни Максимилиана Александровича на этом закончились; работать над книгой ему теперь почти не удавалось. «Майя собирается рыдать мне в жилет по 12 часов», – жалуется он в одном из писем. Правда, влюбленность Майи теперь

переадресована другому лицу, но все равно – чей еще жилет так удобен для излияний?

На Пасху пешком приходят из Феодосии Марина с Сережей, потом компания направится на лошадях в Баран-Эли к художнику Латри, а забрав его, вернется обратно… «Словом, – пишет бедный Максимилиан Александрович, – кипение жизни июньское, несмотря на начало апреля…»

И он задумывает побег, о котором до поры до времени никому не говорит. Он хочет в середине лета удрать ото всех в Дорнах. То есть в Швейцарию, к Штейнеру и штейнерианцам, среди которых и его бывшая жена Маргарита Сабашникова и Андрей Белый с Асей Тургеневой. Волошину хочется вблизи почувствовать и понять эту антропософскую чару, под которую подпало столько замечательных русских людей. Правда, денег на поездку у него нет, и только теплится надежда, что поможет мать.

Начатая книга о Сурикове не сдвигается с места, акварели не доставляют радости, Майя не дает проходу со своими причитаниями… И все чаще Макс взрывается по пустякам – особенно в разговорах с матерью, которая тоже в это лето крайне раздражена. Она не может понять «бездельничанья» сына и выговаривает ему при всех: взрослый человек, он обязан думать о заработке, их средства слишком скромны, чтобы позволять себе барскую лень! Макс отмалчивается и сдерживается из последних сил. Он понимает, что матери нелегко справляться с домашними хлопотами…

А съезд дачников продолжается – уезжают одни, приезжают другие. Приезжают художники Фальк, Кандауров с женой, Юлия Оболенская; приезжает веселый и общительный немец – Форрегер фон Грейфентурн, превосходно пародирующий Северянина и готовый часами слушать стихи Марины Цветаевой…

Она тоже уже здесь – муж привез ее вместе с маленькой Алей и нянькой, а сам уехал в Москву сдавать экзамены в университет. Приезжает и Алексей Толстой с Софьей Дымшиц. Их все зовут здесь Артамошкой и Епифашкой, – впрочем, тут все имеют озорные прозвища.

Однажды фантазер и весельчак Толстой тащит всех вечером на берег моря. Глядя на солнце, опускающееся за зубцы Сюрю-Кая, он торжественно и зловеще пророчит:

– Представим себе, что мы – последние люди на Земле. Сейчас наступит конец света. Еще немного, и вы увидите последний восход луны… А потом наступит вечная мгла… Вечная ночь…

В тон этим мрачным провозвестиям кто-то читает Феогнида:

Лучше всего человеку вовсе на свет не родиться
И никогда не видать зоркого солнца лучей…

Наконец в один из июньских дней происходит взрыв. Пришел податный инспектор, Волошин неумело вел с ним какие-то переговоры. С его уходом Пра не выдержала и осыпала сына упреками. Волошин стоял молча, но без всякого видимого раскаяния, скрестив руки на груди. Когда Елена Оттобальдовна умолкла, он сказал ей о своем намерении уехать в Швейцарию.

– Незачем ехать! – отрезала Пра с негодованием. – И не дам тебе никаких денег, не жди!

Она и еще сказала что-то сгоряча о деньгах, чуть ли не о нахлебничестве сына, – так что и год и полтора года спустя Волошин будет отказываться принимать от матери помощь, даже на возвращение в Россию, как ни молит его потом об этом в письмах гордая, мучающаяся и бесконечно одинокая Елена Оттобальдовна.

Максимилиан Александрович быстро собирается в дорогу. Он хочет проститься по-доброму говорит, что будет писать, пытается поцеловать мать на прощание, но у несчастной Пра так разрывается сердце, что она кричит, почти отталкивая сына:

– Не хочу! Ничего мне не нужно – ни поцелуев твоих, ни писем! И не пиши мне!

Так они и расстались – как оказалось, на два года.

Недели через две уехали из Коктебеля и сестры Цветаевы с детьми. И тоже не спокойно, – не такое это было лето! – а после шумной и оскорбительной ссоры с племянником Алексея Толстого. При Волошине такого никогда не могло бы произойти, но теперь все шло по другим законам.

Марина помогает сестре устроиться с сыном неподалеку от Коктебеля – в Отузах – и уезжает с дочерью и няней в Москву.

Начало войны они встретили с Асей порознь…

Глава 12
Театральный «обормотник»

1

С началом Первой мировой войны, считал Бердяев, окончательно завершился век XIX и начался XX. Тот самый, который в предсказаниях средневекового астролога Агриппы Неттесгеймского обозначен был страшным знаком владычества Офиеля: людей, сведущих в чернокнижии, охватывал ужас в ожидании неотвратимой череды бед. Пророчество, увы, исполнилось…

Осенью 1914 года Сергей – уже студент филологического факультета Московского университета.

Дом в Борисоглебском переулке. Цветаева жила здесь с осени 1914 г. по май 1922 г.

Молодая семья живет теперь в квартире на втором этаже дома № 6 по Борисоглебскому переулку. Эта странная квартира очень понравилась Марине своей ни на что не похожей, чисто московской планировкой. Она была как бы трехъярусной, с неожиданными поворотами и лесенками. В столовой, находившейся внизу, в потолке было квадратное окно, а на самом верху квартиры находилась комната, из которой можно было

выйти прямо на крышу, чем в теплую погоду охотно пользовались друзья молодой семьи.

Неподалеку, на Малой Молчановке, 8, в доме с двумя львами по обе стороны тяжелой парадной двери, оказался и «обормотник», уже в третий раз сменивший адрес. Он сохранил прежний костяк своих жильцов (сестры Эфрон и Елена Оттобальдовна) и широкий круг друзей.

Сергей и Марина заходят сюда чуть не каждый день. Здесь любят слушать, как она читает свои стихи. Но, кроме того, она замечательно рассказывает о своей маленькой дочери, воспроизводя смешные и трогательные их беседы и споры. Это оказалось настолько заразительным, что на какое-то время все увлеклись подслушиванием детских разговоров и весело пересказывали их потом за вечерним столом.

Естественно, друзья «обормотника» – это друзья и Марины с Сережей. Между тем содружество расширяется. В одной из комнат поселяется молодой профессор истории искусств Борис Грифцов; к тому времени он уже автор получившей признание работы «Три мыслителя» – о Бердяеве, Шестове и Розанове. Следом за Вячеславом Ивановым и Алексеем Толстым Бердяев и Шестов перебрались в эти годы из Петербурга в Москву. И с обитателями «обормотника» у всех у них – в той или иной степени – самые теплые дружеские связи.

Цветаева с дочерью Ариадной. 1916 г.

В общий крут «обормотов» вливаются и молодые актеры открывшегося Камерного театра А. Я. Таирова, и художники – Фальк, Бруни, Лентулов, Сарьян, Добужинский, Кругликова, Ларионов, Гончарова… Квартирка совсем небольшая, но гости не переводятся. «Маленькая комнатка при кухне, – вспоминала Мария Кузнецова, – это наша столовая и гостиная, куда вечером, постепенно, один за другим, собирались мы после работы. Кто-нибудь из друзей уже ждал нас тут. Наши друзья приводили с собой своих друзей, и каким-то чудом мы все усаживались за одним узким, длинным столом. С одной стороны – вдоль стола – служил диваном огромный сундук… С другой – стулья, табуретка

и старое уютное кресло для нашей любимой Пра. На столе всегда стояло огромное блюдо с винегретом. Раздавались новые звонки, приходили старые и новые друзья, и чаще всех приходили Марина с Сережей. Бывали у нас поэты, актеры, музыканты, художники. Всегда не хватало стульев. Мы бежали за ними в свои комнаты, боясь пропустить чью-нибудь интересную новость или остроумную шутку. Володя Соколов, тоже актер Камерного театра… своим неисчерпаемым юмором доводил всех до упаду, до изнеможенья ‹…› Пра в своем уютном кресле, покуривая тонкую папиросу, слушая, улыбалась, а часто, услышав удачную остроту, тоже громко, по-молодому хохотала, откинув назад седую голову, подстриженную в скобку. Я помню, как меня охватил однажды ужас от бессилия, от полной невозможности остановить свой смех…

В этом же доме, на шестом этаже, снимал квартиру Алексей Толстой. Он приходил всегда “на минутку”, быстро заражался общим весельем, начинал каламбурить, всегда по-своему озоровать, забывая, зачем пришел. И вдруг спохватывался: “А ну вас! Меня работа ждет!” И тут же убегал. Звали мы его Алехан…»

Есть, впрочем, у этого сообщества и недоброжелатели; иначе, наверное, и не бывает. Писательница Хин-Гольдовская, мать Михаила Фельдштейна (в недалеком будущем ставшего мужем Веры Эфрон), записывает в эти годы в своем дневнике: «В Обормотнике выбросили за борт все “условности”, то есть всякий порядок – всякую дисциплину. Но, как и во всякой коммуне, там создался свой устав – в корне фальшивый и карикатурный. Взаимные восторги красотой, свободой и “лирической насыщенностью” каждого момента. Все любуются друг другом, собой, все на “ты”…»

Молодежь, заполнявшая «обормотник», души не чаяла в своей Пра, наперебой посвящая ее в свои радости и конфликты, в том числе, конечно, и любовные. Недаром же и жилетка Макса постоянно была увлажнена слезами признаний и излияний – не от матери ли он унаследовал это притяжение доверия? С неизменной нежностью и пониманием Елена Оттобальдовна принимает исповеди, пытаясь сгладить недоразумения, страдания, измены. Одна Майя с ее неиссякаемой чередой бурных влюбленностей чего стоит! Соперничать с ней может только Алехан. Он то женится, то расходится с художницей Соней Дымшиц, то категорически решает предпочесть всем балерину Маргариту Кандаурову то, чуть не плача, признается Пра, вызвав ее среди ночи в коридор, что лучше Туей Крандиевской, чужой жены, никого нет и не может быть на свете…

2

Открытие на Тверском бульваре Камерного театра, преобразованного Таировым из «синтетического» Свободного театра, состоялось 12 декабря 1914 года и стало событием в культурной жизни Москвы. «В наши дни, – писал Николай Евреинов в книге «Театр для себя», вышедшей в 1915 году, – театр занял исключительное положение среди других видов искусств».

Рождению Камерного театра энергично способствовали литераторы. Брюсов помог молодой студии получить субсидию от Литературно-художественного кружка, Бальмонт перевел специально для открытия театрального сезона древнюю индийскую «Сакунталу», горячо поддержали Таирова Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Балтрушайтис, Сологуб. «Московская газета» 27 октября 1914 года писала о Камерном: «Театр изгнал из репертуара серые будни, его репертуар говорит о высоких стремлениях и борениях, зовет к бодрости, вере и активности, что особенно ценно в переживаемые дни…» Охотно работали для театра художники – Павел Кузнецов, Судейкин, Гончарова; «… здесь они могли пробовать то, что им не было позволено на маститых сценах», – писала в своих воспоминаниях Алиса Коонен, бессменная прима Камерного театра. Театральная жизнь кипит в диспутах, чествованиях, обсуждениях – они всегда проходят необычайно оживленно.

Наталья Гончарова. 1920-е гг.

Алиса Коонен. 1913 г.

В первом же спектакле получила роль и Вера Эфрон…

Увлечение «обормотов» театром оказалось стойким. Через год, в декабре 1915-го, и Сергею Эфрону дадут возможность проверить в Камерном театре свои актерские способности. Актерские данные у него были безусловно, но подвела смешливость: однажды на сцене он в самый неподходящий момент расхохотался и чуть было не сорвал спектакль. На том его театральная карьера и закончилась… И все же он успел сыграть там несколько маленьких ролей: в спектаклях «Духов день в Толедо» и «Сирано де Бержерак».

Несколько забегая вперед, воспользуемся воспоминаниями Николая Еленева. Они приоткрывают занавес над одним прелестным вечером театральной Москвы военных лет.

Александр Яковлевич Таиров время от времени устраивал закрытые вечера для друзей театра. В 1916 году в спектакле «Сирано де Бержерак» в театральную труппу вошел знаменитый драматический актер Мариус Мариусович Петипа, сын еще более знаменитого балетмейстера, и очередная вечеринка была устроена в его честь. Семидесятилетний Петипа, подтянутый и

ироничный, держался великолепно и скороговоркой рассыпал остроты направо и налево. Артисты и приглашенные друзья театра сидели на сцене за столиками, а внизу зиял пустотой неосвещенный зал – настоящая пещера ночи. Царила легкая веселая беседа, шутки, флирт, еле ощутимый аромат духов наполнял воздух…

Александр Таиров. 1913 г.

Молодую Марину Цветаеву – ей в ту пору еще не исполнилось и двадцати четырех лет – окружали мужчины в черных смокингах. Среди них был и ее муж, Сергей Эфрон; у молодых супругов здесь немало друзей среди актеров…

Облик Марины напомнил тогда Николаю Еленеву пажа на ватиканской фреске: русые легкие волосы коротко подстрижены в скобку, четкие очертания тонкого носа, на лице печать одухотворенности.

И вот – торжественные речи-поздравления уже произнесены, и хозяин празднества, облаченный в визитку, подходит к столику Цветаевой. Он о чем-то перешептывается с ней. А затем громко требует внимания гостей.

Он объявляет, что Марина Цветаева хочет прочесть экспромт, написанный в честь Мариуса Мариусовича.

Шум голосов сразу стихает. Таиров занимает место за

столиком Петипа и отчеканивает:

– Марина Ивановна, мы вас слушаем!

Весело, задорно поднимается из-за стола Цветаева. Взглянув на Петипа и тряхнув пушистой головой, ровным, слегка насмешливым голосом она читает стихи. Обращаясь к герою вечера на «ты», она бросает ему горделиво-игривый вызов и предлагает ему – рыцарю чести и шпаги – свое сердце и жизнь. Но ее сердце не служит прихоти! Ему нужен встречный обет: дар за дар, верность за верность – и смерть за вероломство!

Марина Цветаева. Портрет работы М. Нахман, 1913 г.

То был сонет, в котором слились воедино мастерство, точный расчет и жаркое чувство. Поэтические архаизмы стихотворения отсылали слушателей к эпохе Людовика XIV – и к роли Сирано, только что столь блестяще сыгранной чествуемым мастером.

«Никогда, ни раньше, ни позже, я не слышал столь откровенной эротики, – вспоминал Еленев. – Но удивительно было то, что эротическая тема была студена, целомудренна, лишена какого бы то ни было соблазна или чувственности… едва уловимый оттенок иронии сознательно, с расчетом, уничтожал его любовный смысл.

Счастливая, юношески гордая, Марина торжествовала. Тешили ли ее аплодисменты? Ни в коем случае. Она, можно быть уверенным, их не слышала. Позже, в беженстве, встречаясь с Цветаевой в течение нескольких лет чуть ли не ежедневно, я убедился, что единственной страстью… у Марины была любовь к слову и его тайне… она не ждала ни мзды славы, ни мзды почета или материальной награды. Божьей милостью творец, самый бескорыстный художник – такова была Марина…»

Петипа принял вызов. Встав с места и отвесив глубокий учтивый поклон, он отвечал… тоже в стихах! Он посвящал своей даме шпагу – шпагу Сирано – и заверял ее в вечной преданности – в счастье и в беде. Поддерживая игривую ноту шутки, позируя и явно любуясь собой, актер вдохновенно играл в изысканно маскарадной тональности.

Было ли все это хорошо подготовленной режиссурой Таирова – или и в самом деле экспромтом? Присутствующие могли об этом только догадываться…

В записной книжке Цветаевой в 1920 году – запись: «Умер Петипа! – Хочется плакать. Любила. – Умер от сыпного тифа, где-то в Армавире, один. – О, Господи!»

3

Между тем шла война.

Патриотический энтузиазм, охвативший русское общество в первые ее месяцы, отражен во множестве мемуаров. Уличные манифестации, митинги, пение «Боже, царя храни!» возникали всюду, где только появлялась к тому возможность. Выкрики «Ура русской армии!» неслись по адресу чуть ли не каждого проходящего по улице запасного солдатика… Если кто-то и не разделял общего одушевления, отдававшего истерией, вслух не высказывался – слишком было некстати…

Марина Цветаева. Бюст работы Н. Крандиевской, 1913 г.

Спустя всего несколько дней после объявления Германией войны в московском Литературно-художественном кружке торжественно чествовали Валерия Брюсова, уезжавшего на фронт в качестве корреспондента «Русских ведомостей».

– Забудьте обо мне, – скромно говорил мэтр русского модернизма в благоговейно притихший зал, – я еду простым чернорабочим… Славянство призвано ныне отстаивать гуманные начала, культуру, свободу народов…

Следом за Брюсовым корреспондентом тех же «Русских ведомостей» отправился на театр военных действий и Алексей Толстой. И уже с августа в газете начали регулярно появляться

патриотические статьи того и другого. Не прошло и месяца после начала войны, а Брюсов, подытоживая события, которые, вообще говоря, в такой итог не укладывались, уверенно сообщал читателю, что военная мощь Германии подорвана и осталось сделать всего несколько усилий, чтобы ее добить. В оптимизме Брюсов не одинок. В октябре 1914 года Федор Сологуб тоже убежденно пророчествует:

Прежде чем весна откроет
Ложе влажное долин,
Будет нашими войсками
Взят заносчивый Берлин!

Но и не перед публикой, а в частном письме Леонид Андреев признается: «Настроение чудесное, – истинно воскрес, как Лазарь… Подъем действительно огромный, высокий и небывалый: все горды тем, что – русские…»

Изредка звучат, правда, и другие голоса. «Война – это начало конца или, вернее, начало всех концов…» – дальновидно оценивает происходящее Дмитрий Мережковский в газете «Русское слово». Предостерегает от опасностей шовинистического угара и Николай Бердяев, уничижительно отзываясь о разговорах про «возрождение русского духа».

1 декабря 1914 года Марина пишет в стихотворении «Германии»:

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам.
Ну, как же я тебя оставлю.
Ну, как же я тебя предам?

И где возьму благоразумье:
«За око – око, кровь – за кровь», –
Германия – мое безумье!
Германия – моя любовь!

Ну, как же я тебя отвергну
Мой столь гонимый Vaterland[4],
Где всё еще по Кёнигсбергу
Проходит узколицый Кант…

Идут военные действия, но, по Цветаевой, это всего лишь царские и кайзеровские счеты друг с другом. Для Марины

Германия остается страной Гёте и Канта, Фауста и Лорелей. Горячность ее признаний в немалой степени подогрета проклятиями, которые она слышит со всех сторон. Страстей толпы она сторонится; всю жизнь они будут ей подозрительны – если звучат слишком единодушно. Даже в детстве, в сказке о волке и ягненке, она больше жалела волка, потому что ягненка жалели все…

Как изменилась ее интонация! Как отлично она владеет ритмом, энергетикой поэтической речи! Ни следа расслабленной сентиментальности, портившей многие стихи «Вечернего альбома».

Сергей Эфрон в санитарном поезде. 1915 г.

Но пафос стихотворения осудило все ближайшее цветаевское окружение. Елена Оттобальдовна радостно переживает оптимистические военные прогнозы, восторгается деловитостью и энергичностью Алехана (то есть Алексея Толстого), прощая ему все его легкомыслие за то, что он не только пишет свои военные корреспонденции, но и принимает участие в формировании

санитарных поездов, курсирующих по Варшавской дороге.

Только через год, зимой 1915–1916 годов, когда от патриотического безумия осени 1914-го не останется и следа, Марина сможет прочесть «Германии» публично – в одном из литературных домов Петербурга. И прочесть уже с триумфом! Но это случится позже, а тогда из друзей Марины не осудил бы «Германии» только Волошин.

Сергей Эфрон – медбрат в санитарном поезде. 1915 г.

Буквально накануне начала военных действий, летом 1914 года, он пересек российскую границу. Некоторое время жил в Швейцарии, в Дорнахе, ставшем центром антропософов, собравшихся вокруг Рудольфа Штейнера; потом уехал во Францию, в Париж. Максимилиан Александрович и Марина далеко друг от друга, но их реакция на события войны во всяком случае родственна. «Я совсем не верю ни в освободительный, ни в очистительный смысл войны, – писал Волошин матери, – просто несколько осьминогов (промышленности) силятся пожрать друг друга… Идут на войну и мученики, и святые. Но для того, чтобы стать желудочным соком в пищеварении осьминога… Французы и англичане не лучше немцев». Он подготовит целый сборник

антивоенных стихов «Anno mundi ardentis, 1915», но ни в редакции «Аполлона», ни в редакции «Русской мысли» не найдет поддержки и в ближайшие месяцы не сможет опубликовать в России ни одного антивоенного стихотворения. Грустной оказалась и судьба его книги великолепных статей о литературе и искусстве «Лики творчества». Она вышла в неудачнейшее время – в самый канун войны; естественно, что на фоне развернувшихся событий книга прошла почти незамеченной; откликнулась только одна газета.

«Я неуютен в литературе», – с горечью констатировал Волошин.

При всем своем увлечении театром Вера Эфрон вместе с ближайшими подругами считает велением времени оставить актерские амбиции до лучших времен. Она отправляется на курсы медицинских сестер, работает в московских лазаретах и вскоре начинает хлопоты об устройстве на работу в санитарный поезд, который курсирует между Белостоком и Москвой, эвакуируя раненых.

Хлопоты увенчиваются успехом. Теперь она приезжает в «обормотник» лишь на недолгую побывку между рейсами поезда – в смазных сапогах и кожаной куртке. Она заведует хозяйственной частью поезда, бодра и полна энергии.

Глядя на сестру, Сергей Эфрон мучится совестью и жаждет разделить ее участь. Однако он уже учится в университете. И все же уйдет в санитарный поезд братом милосердия в марте 1915-го, вместе с Асей Жуковской, с которой он давно дружен. Марина провожала мужа на вокзале.

Работа в санитарном поезде займет несколько месяцев. Временами Сергей испытывает от нее подъем, временами – бесконечную усталость, но чаще всего терзается, считая, что место его – среди солдат и офицеров, а не среди всех этих «дармоедов», как он называет своих коллег, братьев милосердия. «Я знаю прекрасно, что буду бесстрашным офицером, что не буду совсем бояться смерти», – пишет он 14 июня 1915 года в письме к сестре Лиле.

Но к концу июля того же года Эфрон оставляет службу в поезде. Как и его сестра Вера.

Глава 13
Подруга

1

Еще с октября 1914 года в жизнь Марины властно вошла необычная женщина, решительно непохожая на всех других, раньше и позже ей встречавшихся. То была яркая и самобытная Софья Парнок, выросшая со временем в первоклассного поэта (наибольшее признание получили ее сборники «Лоза» и «Вполголоса»). Встреча с ней потрясла воображение Марины. Познакомившийся с Софьей Яковлевной позже в Крыму Волошин именно ей поручил вести свои литературные дела в Москве, а кроме того, прекрасно написал о ее поэтическом таланте в статье «Голоса поэтов».

Тридцатилетняя Софья Парнок не скрывала своей принадлежности к «меньшинству» (как говорят нынче). Но, скорее всего, к моменту знакомства Марина о том не знала; в пользу этого предположения свидетельствует второе стихотворение из созданного в 1914–1915 годах поэтического цикла. Обратим внимание на характерную подробность: в 1920 году при подготовке к первой публикации цикл был назван автором «Ошибка» – и только в 1940 году переименован в спокойное «Подруга».

Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? – Чья победа? –
Кто побежден?

Всё передумываю снова,
Всем перемучиваюсь вновь.
В том, для чего не знаю слова,
Была ль любовь?

Кто был охотник? – Кто – добыча?
Всё дьявольски-наоборот!
Что понял, длительно мурлыча,
Сибирский кот?

В том поединке своеволий

Кто, в чьей руке был только мяч?
Чье сердце – Ваше ли, мое ли
Летело вскачь?

И все-таки – что ж это было?
Чего так хочется и жаль?
– Так и не знаю: победила ль?
Побеждена ль?

Первоначальное смущение, бесхитростно отраженное в стихотворении, было преодолено; Марина приняла подругу такой, какой она оказалась. Спустя несколько лет в цветаевском дневнике появляется запись: «О притяжении однородных полов. Мой случай не в счет, ибо я люблю души, не считаясь с полом, уступая ему, чтобы не мешал». И там же – ироническое: «Другие продаются за деньги, я – за душу!»

Безоглядная щедрость ее сердца справилась с шоком. «Пол-жизни? – Всю тебе! / По-локоть? – Вот она!»

Тем более что потрясение оказалось взаимным. В сонете самой Парно к читаем:

Гляжу на пепел и огонь кудрей,
На руки, королевских рук щедрей, –
И красок нету на моей палитре!

Ты, проходящая к своей судьбе!
Где всходит солнце, равное тебе?
Где Гёте твой и где твой Лже-Димитрий?

Существенный блик бросает на саму возможность этой любви атмосфера предвоенной России.

Не случайно часть российской интеллигенции восприняла начало военных действий осенью 1914 года как «очищающую бурю». Понятие греховного в начале 1910-х годов крайне ослаблено, его границы – смещены. То было время, когда, по характеристике Федора Степуна, девицы скрывали свою невинность, а замужние дамы – верность мужьям. Когда «этика, ради индивидуализма, испытывала с опасностью для жизни крайние пределы своей растяжимости». Автор этого утверждения – Вячеслав Иванов. Строка Ахматовой «Все мы бражники здесь, блудницы…» датирована 1913 годом. Но и осенью 1914-го еще не отзвучали недавние громкие споры вокруг «святой плоти» и «дионисийски-оргиастической стихии» – и в

спорах участвовали самые авторитетные фигуры русского художественного Олимпа. Широчайшую популярность имели романы Нагродской и Вербицкой с их излюбленной героиней – раскрепощенной женщиной, которая пренебрегает всеми условностями, стремится к независимости и не желает связывать себя брачными узами. Стилистика этих романов сегодня годилась бы разве что для газетного фельетона, но в те годы не только курсистки ими зачитывались! Вот почему разразившаяся война видными деятелями русской культуры чуть ли не приветствуется. По мнению Алексея Толстого, она «сыграет роль второго крещения Руси». На «возрождение русского духа» с началом военных действий уповал и Василий Розанов. «И пусть из огненной купели / Преображенным выйдет мир!» – такие строки публиковал в журнале «Русская мысль» Валерий Брюсов…

Софья Парнок. 1912 г.

После того как в 1983 году в Соединенных Штатах Америки

появилась книга, посвященная этому эпизоду цветаевской биографии («Незакатные оны дни» С. В. Поляковой), более десятка доброхотов по обе стороны океана бросились на тему с энтузиазмом, характеризующим и их авторов, и нынешнее время, столь охочее до «клубнички». Дело усугубилось почти нескрываемой неприязнью Поляковой к Марине Цветаевой. Автор книги не погнушался натяжками, умолчаниями, сомнительной аргументацией, проложив дорогу невероятному изобилию домыслов. Новых фактов ни у кого не нашлось, им и неоткуда было появиться, но теперь уже, кроме Парнок, называют еще и еще женские имена; клубок по сей день продолжает раскручиваться – на потребу всем, кто рад случаю вытащить на свет божий недавно запретную тему.

2

Отношения подруг растянулись почти на полтора года. Марина, тем не менее, не ушла из семьи: Сергей оставался для нее человеком, с которым она не просто считалась, но ощущала себя сердечно связанной на всю жизнь. Попервоначалу Эфрон шутил, что охотно вызвал бы Парнок на дуэль за ее отношение к Марине, не будь она женщиной. Позже шутить он уже перестал.

Цикл «Ошибка» добросовестнее любых комментаторов свидетельствует о том, насколько непростым было для Цветаевой происходящее; помимо восхищения, ее не оставляло ни на минуту сострадание к «трагической леди», как названа была Софья Парнок в первом же стихотворении цикла.

Софья Парнок

Резкий кризис отношений обозначен в цветаевских стихах конца апреля – начала мая 1915 года. Читатель найдет здесь немало открыто бунтующих строк: «Зачем тебе, зачем / Моя душа спартанского ребенка?!», «Этот рот до поцелуя / Твоего – был юн!», «Но твоя душа мне встала / Поперек души!» и даже: «Счастлив, кто тебя не встретил / На своем пути!» Наконец, прямой взрыв в стихотворении:

Вспомяните: всех голов мне дороже
Волосок один с моей головы.
И идите себе! – Вы тоже,
И Вы тоже, и Вы…

Разлюбите меня, – все разлюбите!
Стерегите не меня поутру!
Чтоб могла я спокойно выйти
Постоять на ветру.

Однако окончен был цикл, но еще несколько месяцев теплилась сердечная привязанность…

Первой Марина никогда не уходит. Окончательный разрыв между подругами произойдет только после их совместной поездки в Петроград зимой 1915–1916 годов – и по инициативе Парнок. Вспоминая об этом позже, Цветаева назовет переживания тех дней своей первой жизненной катастрофой. Еще до того, летом, в письме кЛиле Эфрон Марина признавалась: «Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то – через день (Эфрон в эти месяцы еще в санитарном поезде. – И. К.), он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце – вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь. Соня – меня очень любит, и я ее люблю – и это вечно, и от нее я не смогу уйти. Разорванность от дней, которые надо делить, сердце всё совмещает».

Замечательный штрих: в дни кризиса в отношениях между подругами, весной 1915 года, той же Лиле Сергей пишет письмо. Он просит сестру проследить за устройством дочери Али в Коктебеле, помочь Марине найти хорошую няню, потому что сама Марина, как он пишет, «в этом ничего не понимает». И здесь же: «Для Марины, я это знаю очень хорошо, Аля единственная настоящая радость… Только будь с Мариной поосторожней – она совсем больна сейчас…»

Он заботлив и нежен несмотря ни на что…

Переписка Цветаевой и Парнок не сохранилась; совсем мало подробностей оставили записи самой Марины об этой дружбе-любви. Вот почему о таком важном эпизоде биографии Цветаевой не удается рассказать обстоятельнее. Но не существует никаких серьезных оснований считать отношение Марины к Парнок после их разрыва озлобленным, как это утверждала Полякова, и об этом свидетельствует цветаевское стихотворение 1916 года «В оны дни

ты мне была как мать…» с такими нежными строками: «Не смущать тебя пришла, прощай, / Только платья поцелую край…»

Цветаевой придется еще не однажды расставаться с любимыми, но это расставание выделяется среди других. Цветаева не разочаровалась в Парнок так, как чаще всего она разочаровывалась в любовных отношениях с мужчинами, когда вдруг отчетливо ощущала их «потолок», «стену». Она не усомнилась ни в способности к любви, ни в человеческих достоинствах подруги. В случае с Парнок было иное, а может быть, и целый букет иного… В записных книжках Марины немало отрывочных строк «на тему». Вот один из примеров: «…не люблю женской любви, здесь преступлены какие-то пределы, – Сафо – да – но это затеряно в веках и Сафо – одна. Нет, пусть лучше – исступленная дружба, обожествление души друг друга – и у каждой по любовнику».

3

В начале тридцатых годов Цветаева написала «Письмо к Амазонке», адресованное писательнице Натали Клиффорд Барни, американке, жившей долгие годы в Париже. «Письмо» осталось тогда неопубликованным, хотя предназначалось, видимо, для печати. Внешне оно было откликом на книгу Барни «Мысли амазонки». Но более реальным поводом создания «Письма» можно считать известие о смерти Софьи Парнок, умершей в России в 1932 году.

Письмо предоставляет возможность узнать, что называется из первых рук, мысли Цветаевой о любви двух женщин друг к другу – хотя и это нелегко из-за цветаевской не слишком прозрачной стилистики.

Читатель найдет здесь дифирамбы дарам, отпущенным природой женщине: таланту любви, нежной и глубокой натуре, редкостно способной к пониманию другого человека…

Что происходит с той, которая вдруг «сбивается с пути»? – размышляет здесь Цветаева. Ее ответ: «это сети души». «Попадая в объятия старшей подруги, она попадает не в сети природы, не в сети возлюбленной, которую слишком часто считают обольстительницей, охотницей, хищницей и даже вампиром, тогда как почти всегда она – лишь горестное и благородное существо…» Настоящая трагедия такой связи заключена, по Цветаевой, прежде всего в том, что она исключает рождение ребенка.

Ребенок! Это самая неожиданная тема в «Письме»,

центральная тема, в очередной раз обнаруживающая в Цветаевой сильнейшее материнское начало, которое всегда присутствует в ее любовном чувстве – как и в ее любовных стихах! Поначалу кажется, что тут она говорит не о себе – ведь уже существовала на свете ее горячо любимая Аля-Ариадна! Но Цветаева говорит не о ребенке вообще, а о ребенке от любимого человека. «Маленькая ты» или «маленький ты» – вот, утверждает она, сильнейшая тоска любящего сердца…

Прочтем еще несколько строк из этого позднего комментария к дружбе-любви 1915 года. Младшая подруга расстается со старшей, которую отныне она будет называть «ошибкой молодости». «Неблагодарная, как все, кто больше не любит, несправедливая, как все, кто продолжает любить», младшая уходит вовсе не потому, что боится людской молвы; «что бы люди ни сказали, они всегда скажут дурное, что бы ни видели – увидят дурное». И не потому, что Бог осудит: «до плотской любви, – пишет Цветаева, – ему вообще нет дела ‹…› нет дела до всех этих напастей, он может разве что излечить нас от них». Ни церковь, ни государство, «благословляющие убийство тысяч людей», тут также не имеют права на суждение.

Одно имеет право, по Цветаевой: Природа. «Природа говорит: нет. Запрещая нам это, она защищает себя».

Приведем последнюю цитату из этого удивительного «Письма». Теперь речь идет о той, что вернулась к мужчине. «Если мужчина умен, – пишет Цветаева, – он не обнимет ее сразу же, он подождет – прежде чем обнять, – пока другая не уйдет – окончательно».

Ирина – вторая дочь Цветаевой и Эфрона – родилась в апреле 1917 года.

Глава 14
Поездка в Петроград. Мандельштам

1

Поездка в Петроград по приглашению Сакера и Чацкиной, издателей журнала «Северные записки», имела немало радостных сторон. На литературных вечерах (об одном из которых позже Цветаева рассказала в прозе «Нездешний вечер») она встречалась с Кузминым, Мандельштамом, Есениным, Георгием Адамовичем, Рюриком Ивневым, Оцупом, подружилась с семьей Каннегисер – и с заметным успехом читала свои стихи последнего года. Слушателями были теперь уже не простодушно-доброжелательные феодосийцы, а искушенная, забалованная отличной поэзией петербургская литературная публика. Впервые Марина так остро ощущает свою «московскость», – в частности, и свой московский говор, на который все обращают такое внимание, что ей хочется нарочно усиливать его особенности.

Анна Ахматова

Увы, на этих встречах был не «весь Петербург» – здесь не было Блока и Ахматовой. Ахматова была в отъезде, Блок редко посещал публичные вечера. Между тем Марина чувствует, что ее постоянно сравнивают с всеобщей любимицей, львицей и гордостью – Анной Ахматовой. «Всем своим существом чую напряженное – неизбежное – при каждой моей строке – сравнивание нас (а в ком и – стравливание)… Но если некоторые ахматовские ревнители меня против меня слушают, то я-то читаю не против Ахматовой, а – к Ахматовой… И если я в данную минуту хочу явить собой Москву – лучше нельзя, то не для того, чтобы Петербург – победить, а для того, чтобы эту Москву – Петербургу – подарить, Ахматовой эту Москву в себе, в своей любви, подарить, перед Ахматовой – преклонить…»

Михаил Кузмин

Георгий Адамович. Фото М. С. Наппельбаума

Сергей Есенин

Так возникает дух соперничества двух поэтесс – вовсе не у них самих, а среди поклонников и ценителей. Впрочем, в ту пору вопроса – кто лучше – всерьез и стоять не могло. Ахматова в литературных и читательских кругах уже завоевала прочное признание и любовь, хотя ее первый поэтический сборник «Вечер» появился годом позже первого цветаевского. Изящная книжечка содержала всего сорок шесть тщательно отобранных стихотворений; стихи предваряло вступительное слово Михаила Кузмина; книжку читатели уже ждали – почти треть стихотворений была ранее опубликована на страницах периодических журналов. Вращавшаяся в избранном литературном кругу Ахматова, жена поэта Николая Гумилева, ко времени выхода в свет первой своей книги стихов – уже среди основателей нового литературного направления, назвавшего себя «акмеизмом». А в марте 1914-года появился и второй ее поэтический сборник – «Четки». Критические отклики на него были неоднозначны; отмечая «настоящий поэтический талант» Ахматовой, рецензенты выражали вместе с тем надежду, что

поэтесса в дальнейшем развитии не останется «в душном и чадном» кругу камерности, а выйдет «на широкий жизненный простор» (Иванов-Разумник). Однако именно «Четки» принесли их автору всероссийскую известность. С 1914 по 1923 год они выдержали четырнадцать изданий!

Что до Марины Цветаевой, то во мнении литературных ценителей она только-только вставала на ноги. Стихи она пишет непрерывно, но кто же это знает и кто их читает? В журналах она не публикуется; правда, в начале 1912 года (на месяц раньше первой книги Ахматовой) вышел в свет уже второй ее сборник – «Волшебный фонарь». Но в нем снова больше ста стихотворений (то есть нет отбора!), и многие стихи там – из гимназического запаса…

Лишь незадолго до приезда в Петроград, по настоянию Софьи Парнок, Цветаева отдала-таки в журнал «Северные записки» несколько своих стихотворений.

Леонид Каннегисер

Такая ситуация сохранится до самого отъезда Марины за границу весной 1922 года: окруженная восхищением и легендами Ахматова – и Цветаева, затерянная где-то в Москве…

Вернувшись из Петрограда, Марина создаст целый цикл стихов, посвященных своей талантливой современнице. Она назовет ее здесь с присущей ей щедростью и «Царскосельской Музой», и «Музой плача», и даже «Анной всея Руси». А спустя пять

лет проставит посвящение Ахматовой на поэме, которой очень дорожит, – «На Красном Коне». И при каждом удобном случае будет пересылать петербургской сопернице письма, стихи и подарки, – получая в ответ почти небрежные записочки.

Увидятся они только через четверть века – совсем в другой жизни…

2

С Осипом Мандельштамом Цветаева впервые встретилась в Коктебеле прошлым летом. То была совсем мимолетная встреча: «Я шла к морю, он с моря. В калитке волошинского сада – разминулись…» Теперь, в Петрограде 1916 года, Осип Эмильевич разглядел Марину, услышал – и влюбился не на шутку. Увы, и в этом случае нет достоверных источников, из которых мы могли бы узнать подробности их романа. Между тем этот короткий роман оставил след в творчестве обоих: одиннадцать стихотворений Цветаевой (Марина неизменно щедра) и три Мандельштама. Эти три, в сравнении с цветаевскими, будто замороженные, «игровые»; впрочем, это связано было с особенностями манделыптамовской поэзии. Надежда Мандельштам в своих мемуарах настаивает на том, что под влиянием Марины (с ее «сногсшибательным своенравием», как там сказано) изменился поэтический голо с Мандельштама, его стилистика, и вообще «дикая и яркая» Марина, «подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала» Осипа Эмильевича, «расковала в нем его жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви». Бог весть, так ли это; Надежда Мандельштам – крайне субъективный автор…

Мандельштам был в прекрасной поре своей жизни. В январе 1916 года ему исполнилось двадцать пять лет. В портрете, воссозданном позже младшей Цветаевой, он походил тогда на Пушкина: бачки, бритое худое лицо, очаровательная улыбка, слабость всего тела, какая-то детская ласковость и в холодном голосе – мягкие интонации…

Первый его поэтический сборник «Камень» вышел три года назад, но совсем недавно появилось его расширенное издание. Тщательно составленный «Камень» опять-таки несравним по зрелости с пухлой полудетской первой книгой Цветаевой. Ученических интонаций у Осипа Эмильевича, кажется, вообще никогда не было – сдержанность, собранность присущи ему с первых же шагов в литературе.

Осип Мандельштам

Другое дело – в повседневном быту: тут ребяческое и нелепое зачастую выходило на первый план. Зато он горделиво держался на солидных литературных сборищах: с закинутой назад головой, весь самодостаточный и неприступный. «У Мандельштама глаза всегда опущены, – вспоминала Цветаева много лет спустя, – робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетний Андрюша – ему: “Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?..”»

Может быть, они вместе и уехали из Петрограда в Москву, кто знает? Доказательств тому нет. Семнадцатого января рукой Марины по-французски надписана в Петрограде книжка, подаренная Лулу, сестре Леонида Каннегисера. Надпись более

чем знаменательна; это строчки из Мюссе, и вот их перевод: «После того, как уже любил, надо любить еще, надо любить, не переставая, после того, как уже любил…»

А 25 января Осип Эмильевич уже возникает в письме Елены Оттобальдовны Волошиной, которое она пишет сыну – из Москвы в Париж: «Пришли Магда, Юлия, затем Марина, Сережа и Мандельштам… Он до изнеможения декламировал, болтал, смеялся… Я опять заснула в 4-м часу ночи…»

Через день-другой, сообщает та же Пра, все молодые были на очередном поэтическом вечере в доме у Вячеслава Иванова на Зубовском бульваре. Окончательно перебравшийся из Петербурга в Москву, мэтр и здесь время от времени устраивал нечто вроде поэтических турниров, происходивших некогда в северной столице на знаменитой его «башне» у Таврического сада. Гостями, кроме поэтов, обычно здесь бывали Гершензон, Бердяев, о. Сергий Булгаков, Шестов…

В доме Жуковских. В глубине – Н. А. Бердяев. У притолоки – Марина Цветаева. На переднем плане: И. Быстренина, А. К. Герцык с сыном, Л. Ю. Бердяева, Е. К. Герцык. 1915 г.

Сведения об одном из таких вечеров, февральском, 1915 года, касаются Марины. В тот раз вечер состоялся в доме Жуковских в Кречетниковском переулке, – в связи с тем, что несколько недель там провел со сломанной ногой Николай Бердяев и друзья развлекали его как могли. Председательствовал Гершензон, но главным экзаменатором и судьей выступал Вячеслав Иванов,

постаревший и потускневший, но не утративший высоких амбиций. Приглашенные молодые поэты, среди которых были и Марина, и Софья Парнок, читали свои стихи. После выступления каждого Вячеслав – так это описано в очередном письме Пра сыну – «изрекал свое суждение-приговор, принимавшиеся всеми молча, без протеста». Суждения были безапелляционно строгими.

Осмелилась вступить в спор с прославленным мэтром только Марина.

Видимо, отзыв Иванова на ее стихи был кисловатым. Выслушав, Марина тут же решительно и надменно возразила.

Ее совершенно не удивляет, сказала она, что ее стихи непонятны Вячеславу, – совершенно также, как и ей непонятна его поэзия. При этом ей абсолютно безразлично, нравятся Вячеславу Иванову ее стихи или нет. Вот если бы Блок не принял и не понял духа ее поэзии – это не было бы ей безразлично! И даже было бы больно и огорчительно. «Вячеслав, – продолжает свой отчет сыну Елена Оттобальдовна, – по обыкновению ломался, говорил двусмысленные слова и больше всех хвалил Верховского, называя его мэтр impeccable[5]…»

О. Мандельштам, К. Чуковский, Б. Лившиц, Ю. Анненков. 1914 г.

Но то было почти год назад. Теперь, в 1916-м, сама Пра на

вечере не присутствовала, однако со слов Майи Кювилье все же сообщала сыну любопытные подробности. Молодые поэты в массе своей были «непривлекательны по манере держать себя», но между ними «выделялся гордой, полной достоинства осанкой – Мандельштам». Его стихи удостоились похвалы Иванова. Жалко, добавляет Елена Оттобальдовна, что перед тем Майя «не видела его у нас в “обормотнике”, когда он от декламации с гордым видом переходил к глупой болтовне, прерываемой неудержимым смехом до слез, так что закрывал лицо, вытирал глаза, опять болтал, опять смеялся, присаживаясь на корточки то передо мной, то перед Мариной, пока весь не выдохся от усталости и не полупростерся на плечах у Сережи…»

С февраля по июнь 1916 года Мандельштам курсирует между Петроградом и Москвой, находя себе разные оправдания. У него даже возникает идея обосноваться в Москве, для чего его друг, ученый-химик С. П. Каблуков, пишет, по просьбе поэта, письма: Вячеславу Иванову – с просьбой рекомендовать Мандельштама в сотрудники «Русской мысли», некоему Сегалову – с просьбой устроить Осипа Эмильевича переводчиком в университетскую библиотеку. В дневнике Каблукова отмечена почти комическая подробность: Осип Эмильевич советуется, нельзя ли ему спастись от «эротического безумия» принятием православия?..

А Цветаева назовет потом эти месяцы – с этими внезапными «наездами» и «отъездами» – «своими» и «чудесными».

Уже в тридцатые годы, в очерке «История одного посвящения», Цветаева вспоминала, как в дни приездов Осипа она «дарила ему Москву»: «Из рук моих – нерукотворный град / Прими, мой странный, мой прекрасный брат». В этом «дарении» она была виртуозом; всё знала: историю города, все адреса и легенды, и чуть ли не все стихи, о Москве написанные.

Их отношения не стали для Марины бедой – это видно прежде всего по ее поэтическим текстам. Наиболее бурный всплеск творчества – с середины марта: за месяц Марина напишет двадцать три стихотворения (они связаны, правда, не только с Мандельштамом)!

Стихи, обращенные к Осипу, неизменно радостны, приподняты, жизнелюбивы, в них нет ни малейшей примеси трагического, скорее уж примесь нежного утешения:

Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих верст.

Я знаю, наш дар – неравен,
Мой голос впервые – тих.
Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

В следующих строфах стихотворения неожиданно звучит пророчество:

На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не щурясь, –
Юный ли взгляд мой тяжел?

Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед…
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих лет.

«На страшный полет крещу Вас…» – сказано в этих стихах. А в стихах Мандельштама: «Не веря воскресенья чуду, / На кладбище гуляли мы…» Это важные знаки. Верили или не верили они в чудо воскресения, но на темы «божественные», похоже, говорили. К 1916 году Цветаева выздоравливает от атеизма, подтверждение тому – в ее поэзии этого года. В частности, в одном из стихотворений, обращенных к Анне Ахматовой:

Ты, в грозовой выси́
Обретенный вновь!
Ты! – Безымянный!
Донеси любовь мою
Златоустой Анне – всея Руси!

По возвращении из Петрограда был создан превосходный цикл «Стихи о Москве». Он рожден и триумфом в Петрограде, и прогулками по городу с Мандельштамом. В этих стихах нет Москвы исторической; это, прежде всего, «колокольное семихолмие», город с плывущим над ним звоном бесчисленных церквей. И, кроме того, Москва – как «огромный странноприимный дом», где «зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле», – нечто родное и живое, что можно и обнять, и прижать к сердцу…

Конец романа с Осипом Эмильевичем был таким же внезапным, как и его начало. Летом, едва приехав к Марине в подмосковный Александров, Мандельштам вдруг сорвался оттуда и умчался в Коктебель – «где обрывается Россия над морем черным и глухим»…

3

Многоликость молодой цветаевской лирики поражает. Похоже, ее автор был одушевлен стремлением воплотить в слове чуть не каждый порыв сердца, – даже если этот порыв – прихоть дня и минуты и назавтра от него не останется и следа. Без особых деклараций поэт вводил в русскую поэзию многоликую жизнь человеческой души – с ее противоречиями, непредсказуемостью, хаосом. Отказываясь от морализаторского фильтра, не заботясь о границах дозволенного, Цветаева давала сказаться всем голосам, которые в себе слышала, – всем! – а не только тем, за которые, говоря ее собственными словами, она согласилась бы умереть в семь часов утра. Наше сердце исполнено «несообразностями», писал в свое время философ Блез Паскаль, в любви к которому Цветаева не раз признавалась, наша сокровенная жизнь многомерна. Эту многомерность читатель и находит в молодых цветаевских стихах, то содрогающихся от сердечных бурь, то затихающих в созерцательном размышлении, то вздымающихся волной сбивчивых чувств, еще не охлажденных рефлексией. В поэтических строках этих лет – сердечные толчки, всплески, живая ритмика душевных движений. Стихи озорные и буйные, поддразнивающие, грустные и победоносные буквально пенятся светлой жизненной силой, выплескивающейся то в ликование, то в жалобу, то в маскарадную вольность. При этом грудь автора лирики открыто подставлена под выстрелы людских пересудов. Прекрасный поэт Инна Лиснянская справедливо говорила о «самоубийственной обнаженности всех нервных окончаний души» в этой поэзии.

Баснословное обилие мотивов и тональностей дало повод Максимилиану Волошину шутливо предложить Цветаевой публиковать ее стихи под псевдонимами нескольких поэтов, – спорящих меж собой.

Но в 1916 году в поэтической тетради Цветаевой явственно появились новые реалии и новые интонации.

В лирику вторгаются шквальные порывы и ритмы, гимны и заклятия, причитания и стоны, – перемежающиеся внезапно успокоенным и просветленным отливом. Поднимая все шлюзы,

поэт открыто впускает в поэзию стихийное начало, которое услышал в себе и в мире; и эти ноты зазвучали столь полногласно, что почти заслонили собой другие мотивы.

И неожиданным образом, самой своей тональностью, стихи этого года отразили тревогу и неблагополучие российской жизни – последнего предреволюционного ее года. Они ощущались чуть ли не физически. Они царили всюду – и на театре военных действий, и на подмостках столичных театров, и на пустых полках магазинов.

Еще в январе 1916 года в Москве открылась выставка художников-футуристов. Высоко под потолком, на «святом месте», где обычно висит в русских домах икона, красовалась картина Казимира Малевича: черный квадрат на белом фоне. Александр Бенуа в газете «Речь» писал: «Это не просто шутка, не простой вызов, это весть о царстве уже не грядущего, а пришедшего Хама». Отмечая отдельные талантливые картины, попавшие на выставку, Бенуа все же назвал ее в целом иллюстрацией футуристской «проповеди нуля и гибели». Шум вокруг «Квадрата» не утихал долго. Продолжалась популярность поэзоконцертов Игоря Северянина, выступлений Александра Вертинского; в залах толпа, не сдерживаемая никакими представлениями о приличиях, визжала и топала ногами.

Запах гибели обоняли не все, но наиболее чувствительные русские сердца отчетливо ощущали давящий пресс, под которым все глохло и искажалось до неузнаваемости. Улицы пестрели афишами о спектаклях в пользу раненых солдат, газеты с умилением сообщали об известном деятеле, пожертвовавшем некую сумму на военные нужды, и о членах семьи Льва Толстого, отправившихся на театр военных действий.

Поэтический талант Цветаевой продолжает стремительно развиваться. Год от году он осваивает новые краски, пробует разные регистры. В «Вечернем альбоме» лишь чуткое ухо Максимилиана Волошина расслышало первые такты будущих лейтмотивов цветаевского творчества. Теперь на волне петербургского успеха они зазвучали несравненно отчетливее, раскованнее, звонче. Цветаева выходит к собственной «неолитературенной» интонации, обретает свой словарь.

Социальных тем в ее стихах как не было раньше, так нет и теперь. Лишь иногда отголоски общественной реальности попадают в ее поэтическую тетрадь: «рев молодых солдат» на улицах пасхальной Москвы, эшелоны новобранцев, уходящие на фронт… Но большинство стихотворений, созданных в этом году, окрашены тональностью трагического неблагополучия. Словно

медиум, Цветаева вбирает сам дух времени и откликается на него. Во многих стихах 1916 года мы слышим голос человека, ощущающего себя на гибельной кромке между жизнью и смертью, временами теряющего всякую надежду на спасение: «Я – бродяга, родства не помнящий, / – Корабль тонущий…»

Стихи оглушают – бурей, шквалом, неистовостью, преизбытком чувств, не вмещающимися ни в какие рамки. В цветаевскую поэзию ворвалось стихийное начало, и чем дальше, тем полнее оно в ней распрямляется. Трагические ноты, какие здесь зачастую слышны, – уже не прежние жалобы и обиды юношеских стихов, но крепнущее осознание стойкого неблагополучия – и в мире, и в своих отношениях с ним.

Много позже в статье «Поэт и время» Цветаева писала, что современность поэта – вовсе не в содержании его стихов; она воплощается более всего в ритмах и темпе, общем настрое произведения. «Современность поэта – во стольких-то ударах сердца, дающих точную пульсацию века – вплоть до его болезни… во внесмысловом, почти физическом созвучии сердцу эпохи – и мое включающему, и в моем – моим – бьющемуся».

С этой точки зрения цветаевские стихи вобрали в себя самый дух русского 1916 года. Ритмику стихотворений этого года, поражающую богатством и разнообразием, сама Цветаева позже назвала «исступленной».

Трудно обозначить момент, когда поэт окончательно выпрастывается из пелен становления, – особенно у таких поэтов, к каким принадлежит Цветаева, – неудержимо развивавшихся. Но все-таки именно в стихах этого года отчетливо зазвучал тот голос, тембр которого уже невозможно было спутать с другими: мощные волевые интонации, вбирающие в себя тревоги большого мира, широта эмоционального диапазона – от тишайших нот нежности до страстных воплей отчаяния…

Глава 15
Начало конца

1

Волошин вернулся из-за границы на родину весной 1916 года, вскоре уехал к себе в Крым и вернулся в Москву только на Рождество. В его записной книжке отрывочными пометами отражены разные встречи – в том числе и с Мариной Цветаевой. Виделись они часто, хотя Марина в это время тяжело переносила вторую беременность и подолгу жила у сестры Аси в Александрове.

В зимней Москве 1916–1917 годов царила непроглядная тьма – не было газа для уличных фонарей. Всё ухудшалась и ухудшалась ситуация с продовольствием. В длинных очередях громко роптали, и время от времени толпы громили булочные и мясные лавки. Свирепствовали вьюжные метели, поезда надолго застревали в пути: рельсы заносило снегом. Из-за топливного кризиса нередко простаивали даже заводы, работавшие на войну.

«Живем в какой-то эпидемической неврастении, – записывала в своем дневнике в январе 1917 года публицистка Хин-Гольдовская. – Сплетни, слухи, догадки и напряженное ожидание неминуемой катастрофы. Это ожидание: вот-вот!., завтра!., а может быть, сегодня, только еще не дошло до нас, – парализует всякую деятельность. Такое впечатление, что люди двигаются, но не ходят, дремлют, но не спят, говорят, но не договаривают… Все ждут переворота как чего-то неизбежного. Никогда, кажется, не было столько самоубийств…»

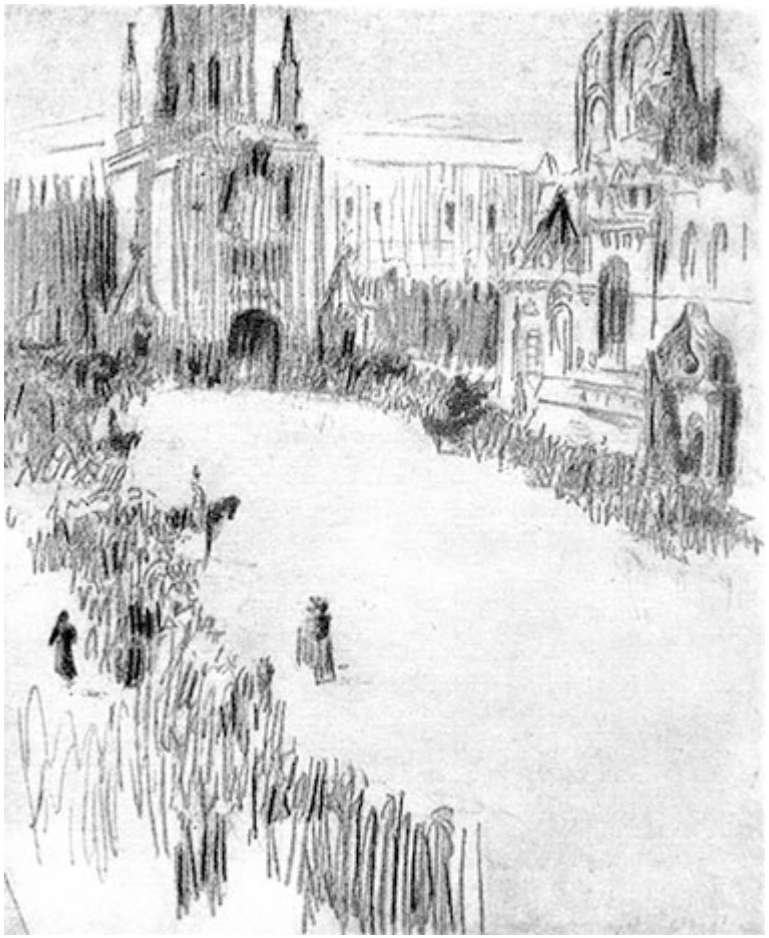
В Петрограде в конце февраля массовые забастовки перерастают во всеобщую политическую стачку, начинаются столкновения и даже бои с полицией. Уже 26 февраля солдаты вызванных в столицу войск начинают в массовом порядке переходить на сторону бунтующих.

В доме Хин-Гольдовской часто бывает Волошин. Здесь непрерывно звонит телефон, прибегают разные люди с новыми сообщениями.

Делая запись об освобождении политзаключенных из Петропавловской крепости революционными толпами в Петрограде, автор дневника восклицает: «Русское 14 июля! Взятие Бастилии!» 28 февраля – следующая запись: «Теперь нас ничто не удержит. “Тройка” сорвалась и несется вскачь».

И вот 1 марта – известие об отречении царя от престола в пользу брата, великого князя Михаила.

На другой день – отречение Михаила.



Москва, Кремль. Рисунок Л. Пастернака

Волнение захватывает и Москву. 1 марта революционными войсками взят Московский арсенал. На улицах толпы, митинги. Трамваи не ходят, появились листовки, кричат «ура!»; конные казаки разъезжают с красными флагами; полицию сменили студенты с винтовками – это «народная милиция».

Кто полностью разделяет всеобщий энтузиазм – это Константин Бальмонт. У него-то в эти дни и поселился Волошин. Они вместе бродят с красными лентами в петлицах по взбудораженным улицам города. Бродят вместе, но видят и оценивают увиденное совсем неодинаково. Волошин не склонен разделять хмельное упоение Бальмонта всем происходящим. Хотя вместе с юной Ниникой, дочерью Бальмонта, он все же едет

участвовать в освобождении политзаключенных из тюрем. Революционные московские газеты публикуют стихи Бальмонта. Это не просто стихи, это гимны: «В единении сила», «Слава солдатам», «Слава народу!». Узнавая Бальмонта на улицах, ему кричат «ура!». Друзьям поэт с гордостью говорит, что Рахманинов уже пишет музыку на эти стихи.

Когда Волошин пытается предостеречь своих друзей от преждевременного ликования, Хин-Гольдовская сердится. «Я устала слушать умников вроде Макса Волошина, – записывает она в дневнике, – глубокомысленно изрекающих, что “только иррациональное реально”…» Однако умник Волошин оказался одним из прозорливейших современников. Спустя три года в статье «Русь распятая» он напишет: «Русское общество, уже много десятилетий жившее ожиданием революции, приняло внешние признаки (падение династии, отречение, провозглашение Республики) за сущность события и радовалось симптомам гангрены, считая их предвестниками исцеления. Все дифирамбы в честь свободы и демократии, все митинговые речи и газетные статьи того времени были нестерпимой ложью…»

2

6 марта в дневнике Хин-Гольдовской – запись: «Забегал Бальмонт. Он в экстазе… Не человек, а пламень. Говорит: “Россия показала миру пример бескровной революции”. Мрачный Максимилиан на это возразил: “Подождите! Революции, начинающиеся бескровно, обыкновенно оказывались самыми кровавыми”. ‹…› Сегодня на Красной площади был парад народных войск…»

Именно в этот день к Волошину пришло отчетливое осознание переворота в Петрограде как рубежа времен. Как «трагической и роковой ошибки». Он был на Красной площади, видел парад. И вот как он его описал: «По мокрому снегу под кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. ‹…› Благодаря отсутствию полиции в Москве, из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые расположились по папертям и по ступеням Лобного места и заунывными голосами пели древнерусские стихи о Голубиной книге и об Алексие – человеке Божьем. Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня ‹…› эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятьями. От них разверзалось время, проваливались современность и революция и

оставались только кремлевские стены, черная московская толпа да красные кумачовые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под вещих камней Красной площади, обагренных кровью Всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской земли и нового Смутного времени».

Максимилиан Александрович попробовал было поделиться с Алексеем Толстым своим пророческим видением Красной площади, залитой кровью. Но тот в ответ лишь взорвался яростным возмущением.

Зато вполне разделяла настроения Волошина Марина.

В тот день она приехала с сестрой и дочерью из Александрова и видела взбудораженные толпы, красные банты в петлицах, слышала истерические выкрики. В воспоминаниях младшей Цветаевой: «Марина, Аля и я пробираемся пешком с Ярославского вокзала в Борисоглебский, к Марине. Устали. Трамваи не ходят. Улицы запружены толпами. Красные флаги и красные полотнища с лозунгами над толпами, как хоругви над крестным ходом. Песни, крики. Ничего не слышно. Грузовые автомобили, переполненные людьми ‹…› то несутся, то, остановленные скоплением народа, медленно продвигаются вперед.

Местами еще стоят городовые, их разоружают, бьют, хватают, тащат, увозят. Оглушенные криком, давно не ев, мы присаживаемся отдохнуть перед Большим театром на скамейке в сквере. На бледном личике Али ее огромные голубые глаза смотрят, не понимая, в толпу. „Алечка, отдохнем", – говорит Марина. Четверка коней над театром взвилась высоко в небе…»

В первом цветаевском поэтическом отклике на события («Над церковкой – голубые облака…») – ни намека на ликование. «Нету лиц у них и нет имен, – / Песен нету! / Заблудился ты, кремлевский звон, / В этом ветреном лесу знамен…»

Два основных мотива мы услышим в гражданской лирике Цветаевой 1917 года: сострадание к поверженным и – надежду на героя. Ее политические симпатии в том и в другом случае совершенно не играют роли. Одно из самых пронзительных стихотворений – мольба о царевиче:

Сохрани, крестьянская Россия,
Царскосельского ягненка – Алексия!

Пророческое предчувствие, страх, сжатие женского

материнского сердца при мысли о судьбе больного ребенка, ни в чем не повинного царевича, – вот цветаевский отклик на происходящее.

В эти дни рядом с Мариной нет ее мужа.

Сергей Эфрон с осени 1916 года призван на военную службу и направлен в юнкерское училище. Сначала он в Нижнем Новгороде, с середины февраля переведен в Петергоф под Петроградом. По нескольким сохранившимся его письмам отчетливо видно, что молодой юнкер, как и Марина, далек от ликования. События в Петрограде, бурлившем весь февраль и март митингами и забастовками, вызывают в нем самые неприязненные чувства. Тринадцатого марта он пишет: «В Петрограде прежняя мерзость. Для солдат необходимо поражение, чтобы привести их в должный воинский вид. Я их не могу видеть, так они раздражают меня…» Ни на минуту у него, сына народоволки, не возникает радостных надежд – как и сомнений в том, что войну необходимо продолжать. Он мечтает попасть на фронт после окончания училища. «Ни в коем случае не дам себя на съедение тыловых солдат, – пишет он. – При моей горячности – это гибель».

3

13 апреля 1917 года Марина родила вторую дочку. Роды и на этот раз оказались трудными; высокая температура держалась у родильницы больше двух недель. («Я плохо приспособлена для всех этих дел», – признавалась она позже.) Ждала Марина сына, но на свет появилась дочь. Девочку назвали Ириной. Она родилась слабенькой, что-то с ней было не в порядке, хотя сведения об этом сохранились глухие. Когда в октябре этого года ее впервые увидела Лиля Эфрон, она написала сестре: «Сережина девочка – это такой ужас! Равного я не видела в жизни. Несчастный большеглазый скелетик, на котором висит кожа…» Но ведь у Ирины еще была тогда кормилица, и внешние беды пока еще не могли, кажется, так сильно отразиться на ее состоянии! Но и потом, когда Ирина немного подросла и стала ходить, Марина старалась гулять с ней вдали от наблюдающих глаз – детей и прохожих. Почему – неясно. При всем том это был тихий и по-своему очаровательный ребенок, о чем свидетельствуют несколько сохранившихся фотографий.

Еще не оправившись от послеродовых осложнений, в платном родильном отделении Воспитательного дома, 22 и 25 апреля Цветаева напишет два из трех стихотворений поэтического цикла

«Стенька Разин».

Эти стихи потом будут пользоваться в любой российской аудитории оглушительным успехом. Они вобрали в себя глубинное бурление революции. Бунтарские тени Разина и Пугачева буквально витали тогда в воздухе – кто из поэтов не писал о них в те годы! Включая Волошина, создавшего позже – уже в декабре – свой «Стенькин суд».

Но цветаевский Стенька особый. Не любил бы он от всей души свою персияночку – и стихов бы цветаевских не было. А вот любит – и губит, сам, своей рукой губит, казня тем и самого себя. И душа его, над которой совершено насилие, будет болеть, пока он жив. Вот что по-русски, вот где тайна, притягивавшая Марину, – тайна, в которую и Достоевский вглядывался с особенным напряжением.

Не раз и не два еще в цветаевских текстах возникнет имя Стеньки. И всякий раз оно вбирает в себя размышление о глубинной сути российского человека, слишком склонного к гибельным крайностям. Неясно, почему Цветаева впоследствии не включила этот цикл в «Лебединый стан» – книгу, которую она исподволь начнет составлять в этом году, включая в него свою «гражданскую» лирику.

Истинный шедевр этой лирики она создает, уже оправившись от родов, – 26 мая:

Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей…
– Свобода! – Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.

Свершается страшная спевка, –
Обедня еще впереди!
– Свобода! – Гулящая девка
На шалой солдатской груди!

Зрелость, внятность, дальновидность избранной позиции – и блестящая отточенность поэтического слова. Потеряет ли когда-нибудь свою пронзительную актуальность это стихотворение?

В мае Маврикий Александрович Минц, второй муж Анастасии Цветаевой, отправлял в Крым, к Волошину, свою семью – Асю с двумя сыновьями, Андрюшей Трухачевым и годовалым Алешей. С невероятным трудом он достал билеты в купе первого класса: все поезда были забиты солдатами, возвращавшимися домой с фронтов, – вагоны брали с бою. Анастасия уезжала нехотя, с дурными предчувствиями и неспокойной душой, оставляя совсем

больного Минца. Сердце ее не обмануло: уже 24 мая ей пришлось мчаться из Феодосии обратно, оставив детей на попечении друга.

Сестры с семьями. На переднем плане слева направо: Анастасия с Андрюшей, Марина с Алей Сзади стоят С. Я. Эфрон и М. А. Минц. Александров. 1916 г.

Но она опоздала. Прямо на вокзале ее встретила Марина. Она сообщила сестре о скоропостижной смерти Маврикия – от не распознанного своевременно гнойного аппендицита. Вдвоем они поехали на кладбище – похороны накануне уже свершились…

Это лето оказалось предельно трагическим для Анастасии. В середине июля заболел и, проболев всего пять дней, умер младший ее сын, годовалый Алеша, едва научившийся ходить. В Коктебеле то была уже третья детская смерть за лето! Волошин пытается помочь Асе справиться с горем, читает ей Евангелие, но молодая мать в отчаянии не принимала никаких слов утешения и через день уехала в Феодосию.

Беды продолжали и там ее преследовать. Заболел старший сын, первенец Андрюша, Ася вызвала его отца. Борис Трухачев примчался в Феодосию сразу, привез деньги, ободрил, дождался выздоровления сына…

4

Получив чин прапорщика, в июле 1917 года Сергей Эфрон вернулся из Петергофа в Москву. Он по-прежнему рвется на фронт, но не решается сделать это, жалуясь сестре:

«Марина совсем к этому не подготовлена… Ничто так не связывает, как любовь, и прав был Христос, который требовал сначала оставить отца своего и матерь свою, а потом только следовать за ним…»

В результате ему пришлось нести караул в Кремле и обучать солдат на Ходынском поле. Каждый день он возвращался домой без сил, с сорванным голосом, не в состоянии произнести ни слова. К этому присоединялись тошнота и головокружение. Отношение его к происходящему продолжало оставаться враждебным. Он открыто симпатизирует решительным действиям генерала Корнилова, назначенного 18 июля главнокомандующим русской армией и потребовавшего введения смертной казни на фронте и в тылу за нарушение воинской дисциплины. На Государственном совещании Корнилов потребовал и немедленного упразднения всех солдатских Советов и Комитетов, чем вызвал возмущение либерально-буржуазной интеллигенции. Но не Эфрона.

Москва. Очередь за продуктами. 1917 г.

Москва тем летом была буквально наводнена солдатами. Они заполняли улицы, лежали на траве в садах. Люди в серых

шинелях висели гроздьями на подножках трамваев, ехали на крышах. Простой люд в подворотнях щелкал семечки, шелуха летела прямо в лица прохожих. Улицы давно не подметались, пестрые обрывки плакатов валялись повсюду. Большевистский лозунг «Мира и земли!» кружил головы. Прислуга отпрашивалась у хозяев в отпуск в свою деревню хоть на несколько дней, простодушно объясняя, что боится опоздать: мужики все разграбят в помещичьей усадьбе и на их долю ничего не достанется…

Дороговизна растет фантастическими темпами.

В августе Сергей и Марина знакомятся с давним другом Лили Эфрон большевиком Бернгардом Заксом. Он несколько лет отбыл в царских тюрьмах за революционную деятельность и был в числе тех, кого освободила Февральская революция. Благодарный за помощь, которую в течение многих лет заключения оказывала ему Лиля Эфрон, Закс приносит в дом Сергея фунт риса и немного хлеба. Это подношение, не смягчившее, впрочем, политической антипатии хозяина дома к гостю, само по себе знаменательно: фунт риса был уже царским подарком!

Марина настаивает на отъезде семьи в Крым. Однако это непросто. Эфрон готов перевестись по службе, например, в Одесский военный округ, которым командует друг Волошина генерал Маркс. Дело затягивается, хотя Волошин использует все возможные связи. Военным министром становится Борис Савинков – Максимилиан Александрович знаком и с ним. Но Марина не знает, что ее муж в эти недели пишет Волошину откровенно другое: «К ужасу Марины, я очень горячо переживаю всё, что сейчас происходит, – настолько горячо, что боюсь оставить столицу. Если бы не это – давно был бы у Вас… Я сейчас так болен Россией, так оскорблен за нее, что боюсь – Крым будет невыносим. Только теперь почувствовал, до чего Россия крепка во мне… С очень многими не могу говорить. Мало кто понимает, что не мы в России, а Россия в нас».

Глава 16
Никодим

1

Отъезд Марины в Феодосию в конце сентября 1917 года оставляет нам некоторые загадки. Она уезжает, не дождавшись отпуска мужа или перевода его на Юг по службе, о чем хлопотал Волошин. Уезжает без детей, хотя сначала предполагала забрать с собой обеих дочерей (Ирине нет еще и полугода!) или, в крайнем случае, Алю. Ее письма, написанные перед отъездом, выдают беспокойное возбужденное состояние. В объяснение его называются разные причины. «В Москве безумно трудно жить», – пишет Марина Волошину 9 августа. Ему же, 24 августа: «Я еду с детьми в Феодосию. В Москве голод и – скоро – холод, все уговаривают ехать». Но если это причина, почему она едет одна? Ему же, 25 августа: «Убеди Сережу взять отпуск и поехать в Коктебель. Он этим бредит, но у него сейчас какое-то расслабление воли, никак не может решиться… Я страшно устала. Просыпаюсь с душевной тошнотой, день, как гора…» Вере Эфрон 13 сентября: «Я сейчас так извелась, что – или уеду на месяц в Феодосию (гостить к Асе) с Алей или уеду совсем. Весь дом поднять трудно, не знаю, как быть… Я больше так жить не могу, кончится плохо».

Что значит уеду совсем? Что значит – кончится плохо? Письмо Сергея, отправленное в эти же дни Елене Оттобальдовне, как будто подтверждает внешние причины, способные объяснить вздрюченное состояние Марины. Он пишет о Москве: «Голодные хвосты, наглые лица, скандалы, драки, грязи как никогда и толпы солдат в трамваях. Все полны кипучей злобой, которая вот-вот прорвется…»

Но в ближайшие годы Марине и не то еще придется вынести. И вынесет. Истерическое состояние, и даже близкое к нему, ей совсем несвойственно. Но все-таки она уезжает! Чуть ли не внезапно и без всех – благо сестры мужа согласились присматривать за детьми.

Правда, она собирается через месяц вернуться. И даже надеется привезти с собой продуктов, хотя бы муки. Эта надежда не оправдывается: в Феодосии цены еще выше, чем в Москве, разве что нет очередей. Ясно одно: ей отчего-то необходимо уехать не откладывая, дабы внутреннее напряжение ее не

разорвало. Неужто же все дело в Москве, кипящей злобой?

Заглянем в ее поэтическое хозяйство. Будем помнить при этом, что восстанавливать по ее стихам биографию нельзя ни в коем случае – слишком часто она откликается на чужое, безудержно экспериментируя, облекая даже случайный душевный импульс (не только свой – и чужой тоже!) в поэтические строки. И все же… Среди ее стихотворений августа – сентября некоторые настораживают. Вот отдельные строфы:

Смывает лучшие румяна –
Любовь. Попробуйте на вкус,
Как слезы – солоны. Боюсь,
Я завтра утром – мертвой встану.

Это 19 августа. 20 августа – стихи «Из Польши своей спесивой…». 23-го – стихотворение «Иосиф», на известный библейский сюжет, с обороняющимся благородным героем; последняя строфа:

Спор Иосифа! Перед тобой –
Что – Иакова единоборство!
И глотает – с улыбкою – вой
Молодая жена царедворца.

23 сентября – стихотворение, начинающееся: «Запах, запах / Твоей сигары! / Смуглой сигары запах!..» Тут, правда, упомянуты и Монако, и Вена, и рокот Темзы… А все-таки, все-таки… Наибольшая улика – само изобилие стихов со второй половины августа, с преобладающим в них настроем горечи, утраты, тоски, растерянности. Это верный знак глубинной взволнованности Цветаевой: стихи проливаются, как из набрякшей тучи, – одно за другим, пока наконец не просветлеет. И вот созданные 1 сентября:

Мое последнее величье
На дерзком голоде заплат!
В сухие руки ростовщичьи
Снесен последний мой заклад.

Промотанному – в ночь – наследству
У Господа – особый счет.
Мой – не сошелся. Не по средствам
Мне эта роскошь: ночь и рот.

Простимся ж коротко и просто –
Раз руки не умеют красть! –
С тобой, нелепейшая роскошь,
Роскошная нелепость – страсть!

Теперь предложим возможное объяснение. Сергей Эфрон вернулся домой, окончив Петергофское училище, к середине июля. С этого момента и возникает во весь рост проблема, не беспокоившая Марину раньше: Никодим Плуцер-Сарна.

2

Его привели с собой в Борисоглебский переулок почти год назад сестра Ася с Маврикием Александровичем. Никодим Акимович был сослуживцем Маврикия, экономистом. Польский еврей по происхождению, он с акцентом говорит по-русски, курит сигары, худощав, элегантен, немногословен, черноволос и черноглаз. На следующий день после этой встречи сестрам приносят от него две корзины цветов. Марине – изысканную корзину незабудок Через некоторое время Ася, приехав снова из Александрова, где она теперь живет, застает у Марины Никодима Акимовича и по взволнованным лицам догадывается, что прерванный ее появлением разговор крайне волнует обоих. С присущим ей тактом младшая сестра подсаживается рядом – «и далее, – как она пишет, – потекла волшебная беседа». Это май 1916 года.

О Плуцер-Сарна известно очень мало. Сохранились, однако, три его письма Марине. Все три написаны в 1917 году: одно в январе и два в июне. Все отправлены из Нижнего Новгорода, куда Никодим Акимович регулярно ездит по долгу службы.

Это странные письма; они кажутся скорее женскими – или письмами очень юного человека; между тем их автор старше Марины на десять лет. В письмах нет прямых любовных признаний, и все-таки это несомненно любовные письма.

В Нижнем Новгороде Плуцер-Сарна познакомился – скорее всего, по просьбе Марины – с ее мужем и чуть ли не влюбился в него.

27 января 1917 года: «Это все так сразу свалилось на меня, что я только постепенно овладеваю переживаниями. Мне нестерпимо грустно. Я больше ничего не в состоянии написать Вам, Марина. Остальное я мог бы передать Вам только шепотом…

во мне только острое пронзительное чувство тоски по Вас, милая Маринушка…» В другом письме, уже июньском: «Я пьян от тоски… Когда, Маринушка, я держу в руках Вашу светлую головку и вглядываюсь в Ваши зеленые глаза, через всю стихию полета страсти, тоски, восторга, чую явственно весь меня поглощающий ритм Вашей души. Это мой собственный ритм – это две реки сливаются в один широкий могучий поток…

Никодим Плуцер-Сарна

Вы поймете, Маринушка, как Вы мне необходимы. Без Вас я проживу у чужих людей молчальником, в холоде, изредка согреваемый пламенем чужих костров. Мы с Вами, Маринушка, двое БЛАГОРАЗУМНО несчастных БЕЗУМНО счастливых людей».

Наконец, строки последнего (из сохранившихся) письма, от 26 июня: «Я сел у столика и с радостию, безумной, безудержной,

думал о жизни, о Вас, Марина… Это маленькое купе – дом мой. В нем я освобожденный, настоящий, безудержный, безнаказанный, с душой-вольницей.

Марина, мне необходимо жить и любить. Я с горечью думаю о своей судьбе. Захотелось… жизни вдвоем, простых слов, восторга, отраженного чужой душой».

Кроме писем он шлет Марине из Нижнего еще и телеграммы…

Возможно, в текстах этих писем сказывается неродной язык. Тем простодушнее предстает в странной их стилистике романтическая душа взрослого мужчины, взволнованная до самых глубин. И все это, заметим, написано буквально накануне возвращения Эфрона из Петрограда. Но и Никодим женат! Его жена Таня с восхищением и преданностью относится к Марине. И в течение ближайших двух лет, по крайней мере, оба они будут самоотверженно помогать Цветаевой во всех ее бытовых хлопотах и неурядицах.

Но с возвращением Сергея отношения – даже если они уместились в платонических рамках – осложняются. Не от этой ли ситуации так срочно спасается Марина? Ни она, ни Никодим не собираются ничего рушить в своих семьях. Значит, что же – разрыв? Отказ? Обман? Одно другого невозможнее.

Однако нашу фантазию, которая всегда норовит устремиться по протоптанной дорожке, придется укротить. Еще за год до обсуждаемой ситуации, 21 июля 1916-го, она отвечала на неожиданно полученное ею тогда – после пятилетнего перерыва! – письмо от Петра Юркевича – того самого Понтика. И в ее письме-ответе – признания, которые игнорировать не стоит, хотя бы потому, что искренность их Цветаева подтвердила всей своей дальнейшей жизнью. «Долго, долго, – с самого моего детства, – пишет она, – с тех пор, как я себя помню, – мне казалось, что я хочу, чтобы меня любили. Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это – любовь. А то, что Вы называете любовью (жертвы, верность, ревность), берегите для других, для другой, – мне этого не нужно. ‹…› Есть у меня еще другие горести с собеседниками. Я так стремительно вхожу в жизнь каждого, который мне чем-нибудь мил, так хочу ему помочь, “пожалеть”, что он пугается – или того, что я его люблю, или того, что он меня полюбит и что расстроится его семейная жизнь. Этого не говорят, но мне всегда хочется сказать, крикнуть: “Господи Боже мой! Да я ничего от Вас не хочу. Вы можете уйти и вновь прийти, уйти и никогда не вернуться – мне все равно, я сильна, мне ничего не нужно, кроме своей души!” ‹…› А я хочу легкости, свободы, понимания, –

никого не держать и чтобы никто не держал!»

Похоже, что Никодим Плуцер-Сарна был не из пугливых, – но самой Марине пора было надевать узду на собственное чувство. Наступала пора пересадки из «Теперь» во «Всегда» – так она сама это назвала позже в письме к Рильке. Любовь во времени – вещь неблагодарная, сама себя уничтожающая, – напишет Цветаева в 1926 году, – с ней надо уметь справляться. Марина умеет, но для этого все же необходимо терпение и, видимо, уединение. «Что трудней – сдержать лошадь или пустить ее вскачь? И – поскольку лошадь, которую мы сдерживаем, – мы сами – что мучительней: держать себя в узде или разнуздать свои силы? Дышать или не дышать?»

«Всякий раз, когда я отказываюсь, я чувствую, как внутри меня содрогается земля ‹…› Мой отказ называется еще так: не снисходи – ничего не оспаривай у существующего порядка…» Это написано уже в 1934-м.

Есть важная запись на страницах сборника «Вёрсты», объединившего стихи, написанные Цветаевой в 1916 году. Запись сделана автором через много лет, по просьбе владельца книжки Алексея Крученых, под стихотворением «Руки даны мне – протягивать каждому обе…». Вот ее текст: «Все стихи отсюда – до конца книги – и много дальше – написаны Никодиму Плуцер-Сарна, о котором – жизнь спустя – могу сказать, что сумел меня любить, что сумел любить эту трудную вещь – меня…»

И это почти всё из достоверностей, касающихся этой истории.

Не значит ли это, что тревогу и возбужденность сентября и внезапный отъезд без детей и мужа можно объяснить самозащитой? Тем более что 14 сентября написано прекраснейшее из стихотворений года:

И вот, навьючив на верблюжий горб,
На добрый – стопудовую заботу,
Отправимся – верблюд смирён и горд –
Справлять неисправимую работу.

Под темной тяжестью верблюжьих тел –
Мечтать о Ниле, радоваться луже,
Как господин и как Господь велел –
Нести свой крест по-божьи, по-верблюжьи…

Но любовь остается. Только к концу 1918 года она иссякнет под тяжестью каких-то – бог весть каких! – обстоятельств. А нам в наследство от этих радостей и мук достанутся поэтические сокровища.

Итак, это ему, Никодиму, адресовано такое – размахнись-рука, раззудись-плечо – веселое, шальное стихотворение:

Кабы нас с тобой – да судьба свела –
Ох, веселые пошли бы по земле дела!

И к нему же – чудесно лирическое: «Вот опять окно, где опять не спят…», как и другое, ликующее: «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…» Странно, что последнее стихотворение Марина почему-то не включила в сборник «Вёрсты». Почему? Оберегая Сережу? Слишком личное?

Но не включила и другое, как бы повторяющее то пожелание друга, с которым мы встретились в его письме:

…Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе,
Где вечные сумерки
И вечные колокола.
И в маленькой деревенской гостинице –
Тонкий звон
Старинных часов – как капельки времени…

3

В октябре Марина в Феодосии, у сестры Аси. Она еще сохраняет надежду – а поначалу даже уверенность, – что муж с детьми и няней вскоре к ней присоединятся.

Увы! Пройдет всего несколько недель, и почтовая связь между Севером и Югом прервется. В «Южных ведомостях» исчезают сведения о том, что происходит в России севернее Харькова; до Крыма не доходят ни письма, ни газеты.

В Феодосии вспыхивает солдатский пьяный бунт. Разбивают винные погреба, пьяные матросы днем и ночью горланят песни. Идут грабежи. На улицах слышны выстрелы.

На несколько дней к Марине и Асе приезжает из Коктебеля Волошин. Его мучает астма, терзают напряженные отношения с матерью, очень тревожит ситуация в стране. Но при всем том он верен себе. «Какое страшное время – и какое счастье, что мы до него дожили!» – сказано в одном из его писем этих дней. Для сестер у него всегда достаточно и сочувствия, и сердечного тепла.

Марина верна своему ремеслу – вернее, оно ее не покидает; прекрасное стихотворение написано ею в эти дни:

Ночь. – Норд-Ост. – Рев солдат. – Рев волн.
Разгромили винный склад. – Вдоль стен
По канавам – драгоценный поток,
И кровавая в нем пляшет луна…

Дни идут за днями – никаких известий из Москвы, никаких известий от Сергея!

В безумной тревоге Цветаева решает вернуться обратно.

И только в поезде, уже отъехав несколько сотен километров от Феодосии, она узнает о большевистском перевороте в Петрограде. А также о том, что в Москве уже несколько дней идут кровопролитные бои!

На каждой станции в газетах – цифры убитых в боях за Кремль, сведения противоречат друг другу, но ясно одно: в центре событий – Кремль и тот самый 56-й запасной полк, в котором служит Эфрон! Харьковские, орловские газеты, печатающиеся почему-то на розовой бумаге, пишут о горах трупов. И о зданиях, взорванных вместе с юнкерами и солдатами, отказавшимися сдаться… Кремль переходит из рук в руки!

Спасательный круг Цветаевой всегда один: перо! И под вагонную тряску строку за строкой она вносит в свою тетрадочку. Так другие – в России – пьют водку стакан за стаканом, не в силах справиться со стрессом. Потом – это уже потом – она сделает на основе этих записей очерк «Октябрь в вагоне». А сейчас ее тетрадка – это разговор с мужем: «Когда я Вам пишу, Вы – есть, раз я Вам пишу! А потом – ах! – 56-й запасной полк, Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота?) А главное, главное, главное – Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь – всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что “я для Вас не важно, потому что я всё это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака».

4

За утренним чаем 26 октября Эфрон прочел в свежем номере газеты о большевистском перевороте в Петрограде. Он уже не

ждал ничего доброго со времени провала корниловского наступления на Петроград (конец августа – начало сентября) от развития политических событий в стране. Но теперь он был потрясен.

«Кровь бросилась в голову. То, что должно было произойти со дня на день и мысль о чем так старательно отгонялась всеми, – свершилось…» – так вспоминал Сергей Эфрон этот день спустя семь лет – в очерке «Октябрь». «Я знал наверное, что Москва без борьбы большевикам не достанется. Наступил час, когда должны были выступить с одной стороны большевики, а с другой – все действенное, могущее оказать им сопротивление. Я недооценивал силы большевиков, их поражение казалось мне несомненным».

Сергей Эфрон. 1917 г.

В этот же день, 26 октября, он едва не стал жертвой солдатского самосуда в уличном столкновении. Только хладнокровие и находчивость спасли его. А также неожиданное заступничество одного из работников Московского Совета рабочих и солдатских депутатов, куда разъяренные солдаты привели его вместе с товарищем по полку.

Всю следующую неделю Эфрон днюет и ночует в Александровском военном училище, где разместился штаб

офицеров московского гарнизона. Сначала первые успехи окрыляют его и его товарищей. Но с каждым днем становится все яснее обреченность сопротивления. У офицеров нет артиллерии, очень мало патронов; командующий московским гарнизоном полковник Рябцов занимает пораженческие позиции, а генерал Брусилов, к которому офицеры обращаются с просьбой принять на себя командование, уклоняется под предлогом отсутствия приказа со стороны Временного правительства.

Москва гудит от артиллерийской канонады.

Уже в 1966 году Ариадна вспоминала в письме к Антокольскому: «Я в самый переворот сидела в Борисоглебском с тетками, близко бухало и грохало; шальной пулей разбило стекло в детской; утром, в затишье, вышли было из дому, но кинулись обратно: в переулке лежали убитые. Папа участвовал в боях за Москву – за юнкерское училище, за Кремль; прибегал домой посмотреть – целы ли мы? Один раз прибежал с огромным ключом от кремлевских ворот…»

Улицы простреливались с чердаков и крыш: после сдачи Кремля Рябцовым оружие из кремлевского арсенала разошлось по всей Москве и большое количество его попало в руки мальчишек и подростков. Наспех созданный Комитет общественного спасения под председательством городского головы Руднева настороженно следил за действиями офицеров московского гарнизона – они представлялись Комитету направленными против завоеваний Февраля.

От усталости и бессонных ночей у Сергея опухают ноги, ему приходится разрезать сапоги, чтобы снять их вечером. От боли разрывается голова. Наконец становится ясно, что помощи ждать не от кого. Приходит сообщение о том, что в Лефортове большевистская артиллерия снесла здание Алексеевскою училища – через короткое время та же судьба уготована и Александровскому.

Силы большевиков окончательно берут верх буквально накануне возвращения Марины в Москву.

На последнем собрании офицеров в актовом зале училища принято решение: сложить оружие и тем, кто уцелел, поодиночке пробираться на Дон, где собираются войска «для спасения России».

К Эфрону подходит его однокашник, прапорщик Сергей Гольцев. «Губы сжаты. Смотрит серьезно и спокойно.

– Ну что, Сережа, на Дон?

– На Дон, – отвечаю я.

Он протягивает мне руку, и мы обмениваемся рукопожатием, самым крепким рукопожатием за всю мою жизнь.

Впереди был Дон».

Предоставим теперь слово Марине, только что приехавшей в Белокаменную: «Москва. Черно. В город можно с пропуском. У меня есть, совсем другой, но всё равно. (На обратный проезд в Феодосию: жена прапорщика.) Беру извозчика… Еду. Извозчик рассказывает, я отсутствую, мостовая подбрасывает. Три раза подходят люди с фонарями. – Пропуск! – Протягиваю. Отдают не глядя. Первый звон. Около половины шестого. Чуть светлеет. (Или кажется?) Пустые улицы, пустующие. Дороги не узнаю, не знаю. ‹…› Заставы чуть громыхают: кто-то не сдается.

Ни разу – о детях. Если С. нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без С.» Как всегда, она готовится к худшему.

И вот наконец – Борисоглебский!

Сергей жив!

Вне себя от счастья, Марина в тот же день увозит мужа из Москвы обратно на Юг. Вместе с тем самым Гольцевым. Стремительность обусловлена и вескими причинами, и паникой Цветаевой. Оставаться в Москве Сергею в самом деле крайне опасно: железнодорожное сообщение с Югом вот-вот прервется, а у Марины, слава богу, есть пропуск на возвращение в Крым – и, видимо, оба надеются, что он сработает и для Сергея. Дети остаются на попечении сестер Эфрон, да и все равно это было бы невозможно – везти их в этих чудовищных вагонах, доверху набитых солдатами.

И главное, главное! Всем еще кажется (и как долго, как долго еще будет казаться!), что весь этот кошмар скоро кончится, ну несколько недель, ну месяц… не больше же!

И вот, после всех мытарств дороги, 10 ноября они наконец – в Коктебеле!

Снежный вихрь бушует совсем так же, как в ту еще совсем недавнюю новогоднюю ночь, когда они вместе с Максом встречали 1914 год. «Седое море. Огромная, почти физически жгучая радость Макса при виде живого Сережи…» – так будет позже вспоминать Цветаева этот день.

Несмотря на нездоровье, Волошин в приподнято-возбужденном состоянии. Все прошедшее лето он читал французского философа Леона Блуа, единственного, кто, как считает Волошин, умеет крупно смотреть на современную историю. Теперь на его столе Библия, Достоевский и книги по истории Французской революции. События, разворачивающиеся в

стране, хозяин дома мерит историческими мерками; он не сомневается в том, что все это отнюдь не кратковременная заварушка, а великая веха в истории России. А может быть, и в мировой истории.

Волошинские предвидения и пророчества поразительны. В дни, когда Марина и Сергей еще живут в Коктебеле, он напишет Юлии Оболенской: «Читаю Тэна. Раскройте последние главы “Якобинского захвата”, где речь идет об августе 1792 года… Психология действующих лиц, характер событий – все совершенно тождественно. Эти исторические параллели говорят, что нет никаких данных, чтобы большевизм, как принято теперь утешаться, изжил сам себя в очень короткий срок. Если он не будет сметен внешними событиями, то у него есть все данные укрепиться посредством террора на долгое время. Вообще теперь дело за террором, которому, вероятно, будет предшествовать большой, организованный правительственными кругами, погром…»

Сергей и Марина надеялись, что в Коктебель вскоре сумеет приехать Вера Эфрон, привезет с собой Алю и Ирину и тоже останется здесь. Но Вера, пообещав это, – передумала.

На берегу бурного зимнего моря Марина проживет пятнадцать дней. И как раз в эти дни Волошин пишет замечательные стихи – «Святая Русь», «Мир» и вот это, начинающееся строками:

С Россией кончено. На последях
Ее мы прогалдели, проболтали…

Поэт обретает новый голос, знаменующий начало блестящего периода его творчества. Цикл «Две ступени» он посвящает Цветаевой и, когда она уезжает, отсылает с ней в московские редакции несколько новых стихотворений.

Это последнее свидание Марины с ее любимым старшим другом и Еленой Оттобальдовной. Никто из них об этом, конечно, не догадывается.

Как это, в сущности, милосердно: не знать своего будущего…

Глава 17
Первая зима

1

Имя Павла Антокольского Марина услышала впервые поздней осенью 1917 года от Сергея Гольцева в поезде, увозившем их всех на Юг. Тогда, в вагоне, он прочел стихи Павла, которые Цветаева уже не могла забыть.

И, вернувшись в Москву, она разыскала автора.

Павлику Антокольскому было в ту пору двадцать два года. Он учился на юридическом факультете Московского университета, писал стихи, но главной его страстью был театр. Он был активнейшим участником молодежной театральной студии, возникшей в Мансуровском переулке как «дочерняя студия» знаменитого Художественного театра. Студию сначала называли Мансуровской, затем Третьей студией МХТ; возглавлял ее режиссер Евгений Багратионович Вахтангов.

Павел Антокольский

Темпераментный, легко воспламеняющийся, романтичный Павлик был внешне похож на молодого Пушкина и подвизался в студии в качестве актера, режиссера и автора нескольких пьес. С Мариной они быстро разговорились, подружились и часами увлеченно парили в облаках, не замечая холода и голода, обсуждая все подряд: поэзию, спектакли, непредсказуемые повороты судеб – и судьбы мира…

В конце января 1918-го Цветаева ведет Антокольского в Кречетниковский переулок, в дом Цетлиных – это совсем неподалеку от Борисоглебского. С хозяевами дома Марией Самойловной и Михаилом Осиповичем Марина познакомилась не слишком давно, стараниями Волошина, неутомимо дарившего своих друзей друг другу.

Искренне любящие искусство и особенно поэзию, энергичные и состоятельные Цетлины вернулись в Россию из Франции летом 1917 года на волне революционных событий Февраля. Прошлой осенью они решили – по совету того же Волошина – создать свое издательство. И это еще одна причина того, что в особняке

Цетлиных охотно бывают литераторы. И не только маститые.

Хозяин салона Михаил Осипович внешне невзрачен, хром, но крайне радушен; он сам – поэт, публикующий стихи под псевдонимом Амари. Жена его, черноглазая тридцатипятилетняя красавица (ее портрет написал в свое время Серов), в прошлом была связана с эсерами, арестована, затем сумела эмигрировать и в Швейцарии закончила университет.

В доме Цетлиных, расположенном совсем рядом с цветаевской квартирой, несмотря на внешние потрясения, еще достаточно регулярно устраивались приемы. Здесь вкусно кормили, знакомили друг с другом и готовы были терпеливо выслушивать каждого. Кроме московских поэтов и писателей всех мастей, бывали тут и художники, в их числе Наталья Гончарова, Ларионов и даже Диего Ривера.

В салоне говорливо-дымном
Всяк оседал, кто хоть бочком
С искусством новым был знаком…

Слегка ироническая и все же теплая тональность окрашивает эти стихи Сергея Спасского, вспоминавшего хозяина дома в те давние вечера:

Вынянчивая цвет богемы,
Он не боялся смелой темы,
И каждый вывих и заскок,
Ужимка слова, вычур кисти,
Бенгальский блеск трескучих истин,
Изгиб невероятных строк –
Все плавилось в гостеприимном
Чаду беспечных вечеров…

Широчайшая терпимость царит в этом доме. Супруги Цетлины, по свидетельству молодого Эренбурга, готовы были обсуждать все, что ни придет в голову, и гости «говорили много / Об ухе Ван Гога, / О поисках Бога, / Об ослепших солдатах, / О санитарных собаках, / О мексиканских танцах / И об ассонансах…».

Однако январский вечер, на который Марина привела своего нового друга, был особенным – не случайно же, спустя годы, он попал в мемуары сразу нескольких современников. То была встреча-турнир двух поэтических направлений: символистов и футуристов. Первых представляли Константин Бальмонт,

Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Юргис Балтрушайтис, вторых – Владимир Маяковский, братья Бурлюки, Василий Каменский, Борис Пастернак. Немало было и тех, кто стоял вне «лагерей»: такой была Цветаева, а еще Владислав Ходасевич, Павел Антокольский, Вера Инбер, Алексей Толстой, Наталья Крандиевская, Илья Эренбург, Маргарита Сабашникова.

Открыли вечер два вступительных слова: от символистов выступил Вячеслав Иванов, от футуристов – Николай Бурлюк. Затем читали стихи по старшинству. И все шло (как вспоминал потом в «Охранной грамоте» Пастернак) без сколько-нибудь чувствительного успеха.

Владимир Маяковский

Но вот очередь дошла до Маяковского. Он прочел поэму «Человек». Едва он кончил, его бросился обнимать Алексей Толстой. Стало ясно, что поэма – главное событие вечера и главное потрясение для всех присутствовавших.

Цветаева не могла не заметить реакции мэтров символизма. На это обратил внимание и Пастернак. Андрей Белый слушал как завороженный, побледнев и, как вспоминал Пастернак, «совершенно потеряв себя». По окончании чтения он взял слово и с несдерживаемым восхищением отозвался о масштабе дарования Маяковского, сказав, что прочитанная поэма – подлинно исполинская по замыслу и по исполнению. Впечатление от слов мэтра было столь сильно, что присутствовавшие бурно

аплодировали уже не Белому, а автору поэмы.

Хозяйка пригласила всех к столу.

После первой же рюмки поднялся Бальмонт. Он прочел только что сочиненный им во славу Маяковского сонет. Сонет, в котором, как потом Бурлюк утверждал в разговоре с Асеевым, сквозь дружескую и отеческую похвалу явственно прозвучало признание в сдаче своих позиций перед молодым талантом.

Они сидели тогда рядом за ужином – Борис Пастернак и Марина Цветаева.

О чем говорили – бог весть. Пастернак влюбленно глядел на Владимира Владимировича. Через четыре с лишним года в письме Пастернаку Марина вспоминала об этом вечере: «Я вас пригласила: “Буду рада, если…” – Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется…»

Борис Пастернак. Фото М. С. Наппельбаума

Пастернак о той же встрече сказал определеннее: «Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но и не зная тогдашних замечательных ее “Вёрст”, я

инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросавшуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищенье. Мы обратили друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов…»

Так или иначе, именно с этого вечера у Цетлиных Цветаева вела свой отсчет встреч с Борисом Леонидовичем.

Через два месяца особняк Цетлиных заняли анархисты.

2

Как молниеносно все переменилось! Русская культурная жизнь так называемого Серебряного века, с ее буйным разнотравьем и цветением всех цветов, чуть ли не в одночасье прекратила свое существование. В 1918 году начался исход русской интеллигенции за пределы России. Родину покидают политики и философы, журналисты, художники, музыканты и литераторы. Тот вечер у Цетлиных оказался одним из последних островков прежнего материка, уходившего навсегда под воду, как град Китеж.

Идет первая революционная зима. Даже хорошим хозяйкам с каждым днем все труднее «вести дом»: в магазинах пусто; если же удается найти продукты, они продаются по бешеным ценам. На улицах дамы в вуалях, старенькие генералы в папахах, бывшие курсистки чем-то торгуют, что-то выменивают. Всюду солдаты с мешками; то там, то здесь вспыхивают уличные митинги; ночью на перекрестках горят костры, проверяют документы. Газеты часто выходят с белыми колонками: свирепствует большевистская цензура.

Дневник Ивана Бунина зафиксировал упорные слухи: Москва скоро будет сдана немцам, лучшие московские гостиницы уже готовятся принять вчерашних врагов.

Все разговоры вертятся в эту зиму вокруг договора о мире с Германией: подпишут – не подпишут? И на каких условиях?

Брест-Литовский договор был подписан 3 марта.

И в тот же день издан знаменитый большевистский «квартирный декрет». Появляется новое словечко и понятие: уплотнение; рождается советский феномен – «коммунальная квартира». Квартира в Борисоглебском переулке не стала исключением.

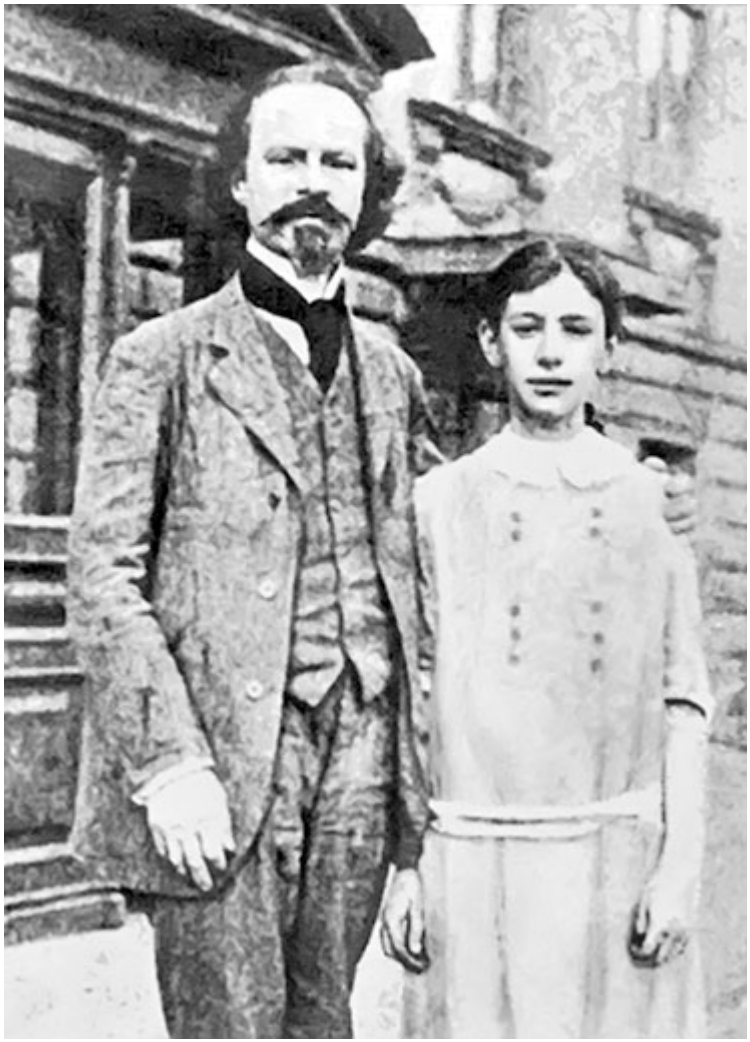
Удар на первых порах смягчен для Марины тем, что по рекомендации сестер Эфрон в ее квартиру вселяется Бернгард Закс – давний друг семьи Эфрон. В цветаевской прозе он будет потом фигурировать как «большевик Икс», и Марина вспоминает его с благодарностью, лишь позволяя себе временами улыбнуться его невежеству. Закс был профессиональным революционером-большевиком. Той же весной 1918 года он поможет освободить из-под ареста старика Иловайского, для чего звонит самому Дзержинскому прямо из борисоглебской квартиры. Душевная доброта Закса проявится и в трогательных подарках: убежденный атеист, он покорил Марину, преподнеся ей на Пасху кустарную деревянную фигурку русского царя. Помогает Закс и в хозяйственных мытарствах – продуктами, а иногда и деньгами. Грядущей осенью именно он устроит свою «хозяйку» на службу в Наркомат по делам национальностей.

То, что около Марины оказался в ту грозную пору этот заботливый, деликатный и немножко смешной в ее глазах человек, заметно шлифует обычную цветаевскую категоричность в оценках происходящего вокруг.

Однако час от часу жизнь становится невыносимее.

Говорят, судьба любит наказывать чересчур осторожных. И вот весьма солидный («мейновский») капитал, оставленный матерью дочерям в наследство и хранившийся в банке по ее завещанию – до их сорокалетия! – экспроприирован. Между тем ежеквартальные проценты с этого вклада как раз и были для Марины и Аси основой их безбедного материального существования.

Этой весной Цветаева сблизится с Константином Бальмонтом. Он живет неподалеку, познакомились они еще раньше и скоро станут настоящими друзьями. Марина восхищена рыцарским благородством Бальмонта, его преданностью своему призванию, невероятным трудолюбием, щедрой добротой. Ее нежную симпатию вызывает и безоглядно преданная поэту его спутница Елена («моя порода! – записывает Марина в дневнике, – не женщина, а существо») и их дочь Мирра, с которой дружит Аля. В бальмонтовском письме мая 1918 года читаем: «Жизнь в Москве превратилась в какой-то зловещий балаган. ‹…› Голод уже устрашающе идет, уже наступил. Я зарабатываю по 2000 рублей в месяц, которые все уходят на жизнь, отнюдь не роскошную, а часто нищенскую…»



Константин Бальмонт с дочерью Ниникой

Десятого марта 1918 года большевистское правительство переезжает в Москву. Спустя двести лет она снова становится столицей Русского государства. В определенном смысле это обстоятельство оказывается благом для московских интеллигентов, потому что, как грибы после дождя, тут вырастают новые учреждения: всяческие «культурные отделы», подотделы и комиссии народных комиссариатов. В них можно пригреться литераторам, художникам, режиссерам. Андрей Белый и Вячеслав Иванов служат в поэтическом отделе только что созданного Пролеткульта, Маргарита Сабашникова – секретарь в отделе живописи Пролеткульта; в какой-то из комнат Наркомата просвещения сидит Николай Бердяев, еще в одной – Владислав Ходасевич; князь Волконский, бывший директор императорских

театров, с конца 1918 года преподает в ТЕО – театральном отделе того же Наркомпроса.

У Марины единственный источник добывания средств на жизнь – продажа вещей. Она делает это неумело, нелепо, постоянно попадая впросак. Уже зная за собой отсутствие торговых талантов, прибегает к посредникам, а те ее, естественно, надувают и обкрадывают.

В домашнем рационе семьи – резкое оскудение. «Дороги хлебушек и мука! / Кушаем – дырку от кренделька…» – это строки из цветаевского стихотворения, написанного в июне 1918 года.

Александр Блок в начале этого года создал знаменитую свою поэму «Двенадцать». Она вовсе не была прославлением революции, и все же в ней воплотилась революционная стихия. Что до Марины Цветаевой, то в год 1918-й всем сердцем и всем сознанием она обращена к другой стихии – стихии сопротивления, родившейся на юге России, там, где

Старого мира – последний сон:
Молодость – Доблесть – Вандея – Дон.

Пока еще главное переживание Марины – не подступающий голод. Главное – неизбывная тревога за жизнь мужа.

Непримиримость гнева, волна гражданских чувств вскипают в ее поэзии с неожиданной силой. Презрение обретает великолепные ритмы:

Кровных коней запрягайте в дровни!
Графские вина пейте из луж!
Единодержцы штыков и душ!
Распродавайте – на вес – часовни,
Монастыри – с молотка – на слом.

Рвитесь на лошади в Божий дом!
Перепивайтесь кровавым пойлом!
Стойла – в соборы! Соборы – в стойла!
В чертову дюжину – календарь!
Нас под рогожу за слово: царь!

Единодержцы грошей и часа!
На куполах вымещайте злость!
Распродавая нас всех на мясо,
Раб худородный увидит – Расу:
Черная кость – белую кость.

Глава 18
Прапорщик Сергей Эфрон

1

С декабря 1917 года Сергей Эфрон – в рядах Добровольческой армии. Человек ярко выраженного общественного темперамента, он на протяжении всей своей жизни постоянно оказывается в самых горячих точках социального кипения; для него невыносимо бездействие, пассивное наблюдение со стороны за судьбой России. Скорее всего, таким он был прирожденно, но еще и горячо любимая жена настойчиво лепила из него героя. «Вашего полка драгун, декабристы и версальцы!» – эти строки написаны еще тогда, когда юный Эфрон решительно ничем не успел проявить себя.

«Я был добровольцем с первого дня, – написал он спустя семь лет в статье «О добровольчестве», опубликованной в крупнейшем журнале русской эмиграции «Современные записки», – и если бы чудо перенесло меня снова в октябрь 1917 года, я бы и с теперешним моим опытом снова стал добровольцем». «Положительным началом, ради чего и поднималось оружие, – писал он там же, – была родина. Родина как идея – бесформенная, не завтрашний день ее, не “федеративная”, не “самодержавная” или “республиканская” или еще какая, а как не определимая ни одной формулой и не объемлемая ни одной формой. Та, за которую умирали на Калке, на Куликовом, под Полтавой, на Сенатской площади 14 декабря, в каторжной Сибири и во все времена на границах и внутри Державы российской – мужики и баре, монархисты и революционеры, благонадежные и Разины. С этим знаменем было легко умирать, и добровольцы это доказали, но победить было трудно».

Добровольческая армия формировалась генералом М. В. Алексеевым в Новочеркасске. Прапорщик Эфрон, едва появившись здесь и оглядевшись, составил и подал генералу «Записку», содержавшую проект ускорения процесса создания армии. Он предлагал формировать полки, батальоны, отряды, давая им названия крупных городов России. Таким образом, считал он, «создалась бы кровная связь со всей остальной Россией». План был принят, а Эфрон тут же отправлен в Москву – почти без средств – для добывания денег и упрочения необходимых связей.

Сведений об успехе или провале его плана не сохранилось.

Но в Москве Сергей действительно пробыл некоторое время инкогнито. И все же рискнул и появился-таки в одном не слишком ему знакомом доме – в Татьянин день. То был дом Татьяны Коншиной, с которой он познакомился прошлой осенью, незадолго до «октябрьской недели».

Сохранились ее воспоминания:

«Только сели за стол в уютной столовой, – звонок. Меня вызывают в переднюю. Стоит очень высокий человек в длинной дохе, с поднятым воротником, наполовину закрывающим лицо. Видны только огромные глаза. “Узнаете? Можно поздравить? Я всего на несколько дней в Москве”. Боже мой! Какая неожиданность, даже как будто таинственность…»

Этот вечер на всю жизнь запомнился имениннице, хотя больше она никогда уже не встречалась с Эфроном. Вечер не мог не запомниться и гостю – слишком многозначительным было стечение обстоятельств. Дело в том, что сидевшая за праздничным столом тетка Татьяны оказалась подругой молодости Лили Дурново – матери Сергея! Естественно, что она хорошо помнила красавицу Елизавету Петровну, из богатого дома бесповоротно ушедшую «в революцию». Много лет назад та самая тетушка Татьяны продала свое жемчужное ожерелье, чтобы народоволка Лиля на вырученные деньги могла уехать за границу, спасаясь от грозившего ей ареста. И вот ведь совпадение! Как раз сегодня имениннице был подарен фермуар от того самого ожерелья!

– И подумать только, – повторяла рассказчица, – через столько лет я рассказываю все это Лилечкину сыну! Какой случай!..

«Рассказ так сильно повлиял на гостя, – продолжает Коншина, – что он долго сидел молча и всё рассматривал фермуар.

– И эту вещь держала в руках моя мать…

Его, по-видимому, особенно поразило, что воспоминание о ней пришло, когда он этого совсем не ждал и в момент, когда он стоял перед решением важных для себя вопросов жизни. Он пробормотал что-то вроде: “Теперь, именно теперь!”

Он ушел. Никто не спросил, где он был эти два с половиной месяца, куда уезжает, что думает о происшедшем в октябре? Вопросы не предполагались. Сам же он об этом молчал. Оставались одни догадки. Юг? Белый? Красный? Никакой?

Что потянуло его, приехавшего, как он сказал, всего на несколько дней и, кажется, действительно инкогнито, в семью почти незнакомых сестер? Не магический ли магнит фермуара

привел его? Неведомо. Пути неисповедимы… Сам он, по-видимому, воспринял рассказ тетушки как нечто мистическое, как протянутую к нему материнскую руку в такой решительный и значительный момент его жизни».

Сергей Эфрон оказался по-настоящему храбрым офицером.

В конце февраля 1918 года, когда Ростов-на-Дону был взят Красной армией, генерал Корнилов вывел добровольцев на Дон, в степи. План Корнилова состоял в том, чтобы, захватив Екатеринодар, отрезать от большевиков бакинскую и грозненскую нефть. На протяжении марта его армии, насчитывавшей всего три тысячи добровольцев, приходилось вести беспрерывные бои с численно превосходившим ее противником. Ветры, холода, снежная грязь были спутниками продвижения к Екатеринодару – недаром же впоследствии этот поход получил название Ледяного. Ряды добровольцев таяли на глазах.

«Не осталось и одной десятой тех, с которыми я вышел из Ростова, – писал Сергей Эфрон Волошиным в Крым уже из Новочеркасска. – Нам пришлось около семисот верст пройти пешком по такой грязи, о которой я не имел до сих пор понятия. Переходы делались громадные – до 65 верст в сутки. И все это я делал, и как делал! Спать приходилось по 3–4 ч. – не раздевались мы три месяца – шли в большевистском кольце – под постоянным артиллерийским обстрелом. За это время было 46 больших боев. У нас израсходовались патроны и снаряды, приходилось и их брать с бою у большевиков».

Наконец 1 апреля начался штурм Екатеринодара. Вскоре безнадежность положения стала ясна всем, кроме упрямого Корнилова. Но 4 апреля Корнилов был убит. И в тот же день Эфрон потерял своего ближайшего друга – того самого Сергея Гольцева, с которым он уезжал из Москвы. Взявший на себя командование армией генерал Деникин дал приказ об отступлении.

Чудом добравшись до Новочеркасска, Эфрон 12 мая сообщает в Коктебель: «Я жив и даже не ранен, – это невероятная удача, потому что от ядра Корниловской Армии почти ничего не осталось. ‹…› что делать? Куда идти? Неужели все жертвы принесены даром?»

Поразительно, но в тот самый день, когда Сергей смог написать это письмо, Марина, уже почти три месяца не имевшая известий от мужа, создает стихотворение, воплотившее все напряжение ее боли:

Семь мечей пронзали сердце

Богородицы над Сыном.
Семь мечей пронзили сердце,
А мое – семижды семь.

Я не знаю, жив ли, нет ли
Тот, кто мне дороже сердца,
Тот, кто мне дороже Сына…

Этой песней – утешаюсь.
Если встретится – скажи.

Уцелевший в Ледяном походе Сергей чуть было не умер, заболев уже в Новочеркасске тифом. Но он верен себе: его дух ни на йоту не укрощен перенесенными испытаниями. Его надежды на успех Белого движения все еще не развеялись. Получив письма из Крыма, он возражает Волошину: «Не разделяю Вашего мрачного взгляда на будущее России. Сейчас намечается ее выздоровление и воссоединение, и в ближайшем будущем (два-три года) она будет снова великодержавной и необъятной…»

(В пророки Сергей Эфрон ни в молодости, ни в зрелые свои годы не годился. Он прекраснодушен, благороден и недальновиден, он рвется к активному участию в делах политических, но оценивать их трезво так и не научится. В конечном счете эти черты личности приведут его в застенки Лубянки. Ибо искренность, готовность к самопожертвованию, смелость, выносливость и даже героичность натуры – опасны, если ими не руководит трезвый и способный к критическому анализу разум. Не тут ли во многом исток всех революций: горячие эмоции, а то и безоглядная отвага, не руководимые выверенной мыслью?)

Выздоровев, Сергей приезжает в Коктебель к Волошиным.

Он пробудет в Крыму с начала июня до поздней осени. Тщетно пытается связаться с Москвой; его не покидает упрямая безрассудная надежда на то, что Марине с детьми все же удастся приехать в волошинский дом…

2

В Москве трудностей хватает с избытком, но еще шумит живая жизнь, это еще не чумной и страшный 1919-й.

Каждый день граждане с тревогой читают очередные листы бумаги, расклеенные на стенах домов: это декреты большевиков.

В один из дней появился еще один – отпечатанный футуристами. Это поэтический текст Маяковского «Декрет по армии искусств». Еще в марте поэт устроил в Политехническом музее шумный вечер «Против всяческих королей». Мероприятие проведено явно «в пику»: незадолго до того в том же Политехническом музее увенчали лаврами «короля поэтов», не Маяковского, а Игоря Северянина. И даже на втором месте оказался не он, а Бальмонт!

Первого мая столица проснулась изукрашенной футуристическими и супрематическими полотнами. Мимо молящихся в Иверской часовне, что совсем рядом с Красной площадью (в тот день как раз случилась Страстная пятница), проносились грузовики с актерами и художниками.

Любопытное свидетельство оставила в своих мемуарах Маргарита Сабашникова. Правда, она вспоминает уже осенний праздник этого года – праздник первой годовщины Октябрьской революции. Она вышла тогда на прогулку вместе с Андреем Белым: «В тот сияющий октябрьский день Москва походила на древнерусскую сказку. Не только все дома были украшены красной материей – хотя население ходило в лохмотьях, не только повсюду висели гигантские плакаты известных художников в футуристическом стиле, но и сами дома, целыми улицами, были пестро расписаны. Обширная Красная площадь полна народу – как прежде бывало в Вербное воскресенье. Но теперь на лицах не было тупой безнадежности, как раньше при царском режиме. Несмотря на голод, народ в эти первые месяцы революции уверенно и радостно смотрел в будущее. Он верил в свободу и чувствовал себя хозяином страны. Как дети, как счастливый сказочный народ, восхищались люди праздничной пестротой улиц…»

И все это – рядом с домом в Борисоглебском переулке!

Поводов для ликования у Марины мало, но пока еще ее спасает спартанский жизнелюбивый характер.

Ей двадцать шесть лет. Запас ее душевных сил далек от исчерпания, хотя с каждым днем все отчетливее она ощущает себя в тяжком капкане бытовых проблем. Где кухарки, экономки, бонны, среди которых она вырастала? Найти просто няню – уже без всяких «рекомендаций» – почти неразрешимая задача. Ежедневная необходимость добывания молока для младшей дочери разрастается до безысходности. И когда Лиля Эфрон, уезжая на лето в подмосковное Быково (где, по ее сведениям, условия жизни пока еще оставались сносными), предлагает взять с собой Ирину, Марина соглашается не раздумывая.

Аля и Ирина. 1919 г.

После отъезда младшей дочери мать особенно сближается со старшей. Але шесть лет, но с самого ее рождения Марина воспитывает девочку крайне требовательно. В этом она повторяет собственную мать – но только в этом! Душевно она близка и сердечна с дочерью и рано начинает говорить с ней почти как с наперсницей. С маленькой Алей всерьез обсуждаются даже темы любви! В тетрадях Марины записан диалог, относящийся к ноябрю 1918 года:

«– Аля, если люди друг другу очень нравятся – и все-таки не целуются – что это?

– По-моему, нелюбовь!

– Нет, они очень друг другу нравятся…

– Тогда они похожи на меня.

– Какие же они?

– Неразгадочные».

Аля-Ариадна наизусть знает множество стихов и под присмотром матери неукоснительно ведет дневник – пишет свою обязательную страничку в день!

Ирина и Аля. Москва. 1919 г.

Дневник этот свидетельствует, что дочь Цветаевой действительно была вундеркиндом, причем в редкой области: литературного слова. Когда потом – уже в преклонных годах – она вставляла в свои мемуары отрывки из этих давних записей, не все верили в их подлинность; легче было думать, что либо записи тогда же редактировала мать, либо их поправляла взрослая Ариадна Сергеевна. «Ну да, – говорила она мне года за два до смерти (я готовила тогда к публикации ее мемуары,

опубликованные затем в журнале “Звезда”), – ребенок-вундеркинд, если он скрипач или певец, обнаруживает свои таланты на глазах присутствующих, тут ничего не возразишь… Литературное дело – другого сорта. Может быть, потом, когда возьмут в руки мои тетрадки тех лет…»

Кроме прозаических записей Аля пишет и стихи. И Марина включит их в один из своих сборников, вышедших в свет в Берлине. А Райнер Мария Рильке, немного знающий русский язык, восхитится, по крайней мере, одной строкой маленькой Али: «Марина, спасибо за мир!»

Марина как воспитатель неотступно строга. Но у нее есть свой особый крен: воспитание героического начала. Героика! Одно из высших качеств, какие Марина ценит в людях – и в самой себе. И девочка учится преодолевать себя, свои желания, страхи, страдания! На вопросы знакомых – не голодна ли она, Аля всегда отвечает с твердостью: «Нет!» И только в гостях, если нет рядом матери и вместо ненужных вопросов перед ней ставят миску с манной кашей, – она жадно ест, торопясь, захлебываясь, забыв обо всем на свете. А доев, робко просит тоненьким голоском: «Еще, пожалуйста!»

Один из уроков «героического» Аля тогда же записала в своей тетрадке и озаглавила: «Подвиг».

«Я записывала что-то в этой тетрадке и вдруг услыхала голос Марины: “Аля, Аля, иди скорей сюда!” Я иду к ней и вижу – на кухонной тряпке лежит мокрый червяк. А я больше всего боюсь червяков. Она сказала: “Аля, если ты меня любишь, ты должна поднять этого червя”. Я говорю: “Я же люблю Вас всей душой”. А Марина говорит: “Докажи это на деле!” Я сижу перед червем на корточках и все время думаю: взять его или нет. И вдруг вижу, что у него есть мокрый селедочный хвост. Говорю: “Марина, можно я его возьму за селедочный хвост?” А она отвечает: “Бери его, где хочешь. Если ты его подымешь, ты будешь героиня, и потом я скажу тебе одну вещь”.

Сначала я ничем не ободрялась, но потом взяла его за хвост и приподняла, а Марина говорила: “Вот молодец, молодец, клади его сюда на стол, вот так. Клади его сюда, только не на меня!” (Потому что Марина тоже очень боится червяков.) Я кладу его на стол и говорю: “Теперь Вы правда поверили, что я Вас люблю?” – “Да, теперь я это знаю. Аля, ведь это был не червяк, а внутренность от пайковой селедки. Это было испытание”. Я обиделась и говорю: “Марина, я Вам тоже скажу правду. Чтоб не взять червя, я готова была сказать, что я Вас ненавижу”».

На самом деле Аля обожает, почти боготворит мать. И Марина отвечает ей горячей взаимностью. Вдвоем они ходят по

унылым, пустынным бульварам – это называется «продовольственные мытарства». Но случается и другое.

Этим летом они посещают и кинематограф. Сильнейшее впечатление производит на них американский фильм о Жанне д'Арк. Героиня внешне напоминает юную Марину: круглолицая, с ясными глазами и сложением мальчика, со смущенно-гордой повадкой. Цветаева записала, вернувшись домой: «Когда – в 1-й картине – Иоанна с знаменем в руке входила вслед за Королем в Реймский собор – и все знамена кланялись, я плакала. Когда зажгли свет, у меня все лицо было в слезах… Иоанна д'Арк – вот мой дом и мое дело в мире, "все остальное – ничто!"»

Еще в апреле 1918-го она написала цикл «Андрей Шенье» – с этой строфой:

> Андрей Шенье взошел на эшафот.
> А я живу – и это страшный грех.
> Есть времена – желанные – для всех.
> И не певец, кто в порохе – поет…

Июльским днем того же года мать с дочерью стояли на какой-то площади под моросящим дождем, когда вдруг услышали петушиный крик мальчишки-газетчика:

– Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

«Смотрю на людей… тоже (то же!) слышащих, – записывает Марина вечером в дневнике. – Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза – куда? Да так, в пустоту. А может, трамвай выколдовывают.

Тогда я Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил – знает): "Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души!"

И Алин тщательный, с глубоким поклоном, троекратный крест. (Сопутствующая мысль: "Жаль, что не мальчик. Сняла бы шляпу")»

Отметим это «помолись!». Молитвы давно уже в неукоснительном обиходе цветаевского дома. Ежевечерне Марина и Аля молятся о здравии ближних и дальних; бывают в церкви, ставят свечи «перед оскорбленным Богом», как называет это Цветаева, чтут праздники церковного календаря… Одна из Алиных молитв зафиксирована в записной книжке Марины: «Спаси, Господи, и помилуй: Марину, Сережу, Ирину, Любу, Асю, Андрюшу, офицеров и не офицеров, русских и не русских, французских и не французских, раненых и не раненых, здоровых

и нездоровых, – всех знакомых и незнакомых».

В конце лета – 30 августа – стук в дверь цветаевской квартиры… За дверью стоял незнакомый человек в папахе, с лицом, потемневшим от южного загара.

– Вы – Марина Ивановна Цветаева?

– Я.

– Ленин убит!

– О!!

– Як вам с Дону…

Так наконец дошла до Марины весть о том, что муж ее жив. Остался в живых и вождь пролетарской революции – в тот день, когда Фанни Каплан стреляла в него на заводском митинге.

В ответ на это покушение Советская республика объявила красный террор.

Глава 19
Стенька Разин

В сентябре московская газета «Вечерние известия» сообщила гражданам о формировании Президиумом Московского Совета специального поезда, который должен был привезти в Москву хлеб из Тамбовской губернии. Весь собранный хлеб, говорилось в сообщении, «пойдет на обеспечение классового пайка рабочих города Москвы».

«Классовый паек» был не для Цветаевой. Голод уже становился реальностью. И Марина отважилась предпринять поездку в деревню, чтобы запастись на осень и зиму хоть какими-то продуктами. Кто-то помог ей достать пропуск для проезда по железной дороге. Возможно, это была Маргарита Сабашникова, потому что на липовом командировочном удостоверении, выданном Марине, значилась печать отдела изобразительного искусства Наркомпроса; гражданка Цветаева, сказано было там, едет изучать кустарные крестьянские вышивки Тамбовской губернии.

Марина везет с собой мыло, спички и десять аршин красивого розового ситца. Вся надежда не на деньги – они давно обесценились, – а на прямой товарный обмен.

Уже выехав из Москвы, в поезде, она трагически уясняет себе, что люди, с которыми ей присоветовали ехать вместе, – ни больше ни меньше как реквизиционный красноармейский «продотряд»! И едут они в соответствии с большевистской программой насильственного изъятия продовольственных «излишков» у крестьян.

Сердце Марины холодеет. Но изменить уже ничего нельзя!

На станции Усмань, в чайной, где они обосновываются, Марина оказывается в окружении людей, обвешанных пулеметными лентами и наганами; красноармейцы косо поглядывают на стриженую «барышню» (Марина все еще выглядит моложе своих лет).

Под понуканье хозяйки чайной по утрам она моет посуду накрывает стол, помогает на кухне; глотая слезы, моет пол.

– Еще лужу подотрите! Да не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера?

Ночью Марина спит на голом полу. А потом идет в деревню. Это тридцать верст пешком по скошенному полю – с корзинами!

Как в Москве с продажей вещей на Смоленском рынке и на Сухаревке, так и теперь с обменом в деревнях – поначалу у нее

ничего не получается.

«Нет, нет, ничего нету, и продавать – не продаем и менять – не меняем. Что было – то товарищи отобрали. Дай Бог самим живу остаться.

– Да я же не даром беру и не советскими платить буду. У меня спички, мыло, ситец…

Ситец! Магическое слово! Первая (после змея!) страсть праматери Евы! Загорание глаз, прояснение лбов, тяготение рук. Даже прабабки не отстают, брызги беззубых уст: “ситчику бы! на саван!”

И вот я в удушающем кольце: бабок, прабабок, девок, молодок, подружек, внучек, на коленях перед корзинкой – роюсь. Корзинка крохотная – и вся налицо.

– А мыло духовитое? А простого не будет? А спички почем? А ситец-то ноский будет? Манька, а Манька, тебе бы на кофту! А сколько аршин, ты говоришь? Десять? А восьми-то нету!

Щупанье, нюханье, дерганье, глаженье, того и гляди – на зуб возьмут. И вдруг одна прорывается:

– Цвет-то! Цвет-то! Аккурат как Катька на прошлой неделе на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. Ластик – а как шелк! Таковыми сборочками складными… Маманька, а маманька, взять, что ль? Почем, купчиха, за аршин кладешь?

– Я на деньги не продаю.

– Не продае-ешь? Как же эт так – не продаешь?

– А так, вы же сами знаете, что деньги ничего не стоют. ‹…›

– Чего ж тебе надо-то?

– Пшена, сала.

– Са-ала? Нет, сала у нас не будет. Какое у нас сало! Сами все всухомятку жрем. Вот медку не хочешь ли?..»

Вернувшись в чайную, Марина еще успевает поздней ночью, при свете луны, потихоньку от всех писать в свою неизменную тетрадочку. Десять лет спустя из этих записей составится очерк «Вольный проезд». В нем – не поздняя реконструкция памяти, а документальное свидетельство тех дней – из той самой тетрадочки, где и живые сценки, и любовно зафиксированный говор деревенских баб, и разговоры красноармейцев, их споры о мужиках, о Боге, о евреях…

Среди прочего Марина запишет в тетрадку собственное ощущение полнейшей отъединенности, отчужденности от всех – кроме тех самых своенравных деревенских бабенок. «Всячески парию… грошовые чулки, нет бриллиантов, для начальника отряда – буржуйка, для красноармейцев – гордая барышня, из бывших. Роднее всех – бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастие к янтарю и пестрым юбкам и одинаковая доброта:

как колыбель…»

В один из дней в чайной появляется молодой парень с круглым веснушчатым лицом; васильковыми глазами и белокурostью он напоминает Марине Сергея Есенина, а всей же статью и сутью… Стеньку Разина. Того самого, разудалого, себя не знающего, каким он явился в цветаевских стихах прошлой весны.

Выясняется, что парень страстно любит Москву и звон московских колоколов. Для Марины – это уже родство! («И любила же, любила же я первый звон – / Как монашки потекут к обедне…») И вот на крылечке чайной, оставшись вдвоем, парень доверчиво рассказывает свою жизнь, ничего не скрывая: и про солдатские подвиги на войне (два Георгия, спасение полкового знамени), и про участие в ограблении одесского банка. И еще – о своем отце, и еще – о граде Китеже. А Марина читает ему свои стихи – не обнаруживая, правда, авторство. Стихи о той же Москве и о царевиче, и даже свое яростное: «Кровных коней запрягайте в дровни…». И «Царю на Пасху»!

Красноармейцу стихи ужасно нравятся. Настолько, что крупными печатными буквами Марина переписывает их «Стеньке» – на память. На память дарит и книжечку о Москве, которую возила с собой. И перстень – да не какой-нибудь, а с двуглавым орлом! И будто нет никакой вражды, никакого необоримого классового «между», наоборот: сердечная теплота, доверие, сочувствие, ощущение братства…

Если бы не помощь «Стеньки» и его товарищей на вокзале в день отъезда из Усмани – не уехать бы Марине с ее корзинами обратно в Москву! Ей просто было бы не втиснуться в битком набитые вагоны…

К концу 1918 года сюжет лирических отношений с Никодимом Плуцер-Сарна меняется. В записях Цветаевой сохранилось несколько отрывков писем, адресат которых, скорее всего, Никодим. Однако в текстах ни разу не названо имя, и осторожные издатели «Записных книжек» совсем отказались от их атрибуции.

И все же хотя бы часть этих текстов должна здесь прозвучать. Они косвенно комментируют сближение Марины осенью 1918 года с «комедиантами».

Итак, из записной книжки (черновик письма?) лета 1918 года: «Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью, живая только Вами, вхожу, наконец, к Вам в дом – я всем существом в праве на Вас. Можно оспаривать право человека на хлеб, нельзя оспаривать право

человека на воздух. Я Вами дышу, я только Вами дышу. Отсюда мое оскорбление.

Вам жарко, Вы раздражены, Вы измучены, кто-то звонит, Вы лениво подходите к двери – “Ах, это Вы!” И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью… – да восхищайтесь же мной, я так хорош!

Вам нет дела до меня, до моей души, три дня – бездна, что было? Вам все равно. Вам жарко. Вы говорите: “Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю”.

То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа. ‹…› Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи – чтобы, когда я вхожу, человек радовался…»

Осень 1918 года: «…Господи Боже мой, знайте одно: всегда, в любую минуту я о Вас думаю. Когда Вам захочется обо мне подумать, знайте, что Вы думаете в ответ. Это ныло у меня два года, а теперь воет…»

Наконец, текст, имеющий точную дату – 2 октября 1918-го: «Пишу Вам это письмо с наслаждением, не доходящим, однако, до сладострастия, ибо сладострастие – умопомрачение, а я вполне трезва.

Я Вас больше не люблю.

Ничего не случилось, – жизнь случилась. Я не думаю о Вас ни утром, просыпаясь, ни ночью, засыпая, ни на улице, ни под музыку, – никогда.

Если бы Вы полюбили другую женщину, я бы улыбнулась – с высокомерным удивлением – и задумалась – с любопытством – о Вас и о ней.

Я – aus dem Spiel[6]. ‹…›

Вы первый перестали любить меня. Если бы этого не случилось, я бы до сих пор Вас любила, ибо я люблю до самой последней возможности.

Сначала Вы приходили в 4 часа, потом в 5 часов, потом в 6 часов, потом в восьмом, потом совсем перестали. ‹…›

Пишу Вам без горечи – и без наслаждения, Вы все-таки лучший знаток во мне, чем кто-либо, я просто рассказываю Вам как знатоку и ценителю – и я думаю, что Вы по старой привычке похвалите меня за точность чувствования и передачи».

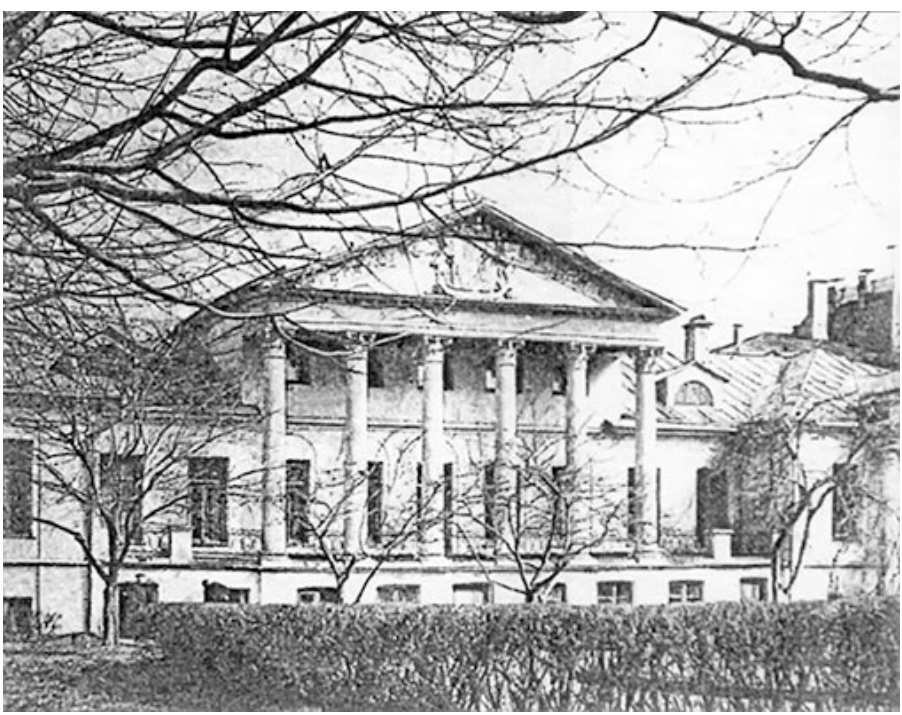
Глава 20
Последний форт

1

Поздней осенью 1918 года все же приходится поступать на службу. Сделать этот шаг уговаривает Марину все тот же кротчайший и бескорыстнейший постоялец – Бернгард Закс. Он же находит и место службы.

Теперь Вера Эфрон берет к себе маленькую Ирину. Марина расстается с девочкой на этот раз гораздо тяжелее. В ее дневнике: «14-го ноября, в 11 часов вечера – в мракобесной, тусклой, кишащей кастрюлями и тряпками столовой, на полу, в тигровой шубе, осыпая слезами соболий воротник, – прощаюсь с Ириной.

Ирина, удивленно любуясь на слезы, играет завитком моих волос. Аля рядом, как статуя восторженного горя.



Особняк Соллогубов на Поварской улице

Потом – поездка на санках. Я запряжена, Аля толкает сзади – темно – бубенцы звенят – боюсь автомобиля…»

Накануне этого дня Цветаева впервые пришла в Информационный отдел Народного комиссариата по делам национальностей.

Он разместился на Поварской улице в бывшем особняке графа Соллогуба, известном всей Москве как «дом Ростовых», – то есть дом, описанный Львом Толстым в «Войне и мире». Это обстоятельство греет сердце Марины, старающейся не вспоминать другое: что совсем недавно отсюда выехала устрашающая «Чрезвычайка» – Чека.

К счастью, место службы – в двух шагах от Борисоглебского переулка.

Занятие в Комиссариате ей поручено странное: составлять архив газетных статей, подклеивая их на карточки и аннотируя. Рабочее место – в зале с розовыми стенами и мраморными нишами окон. Две огромные занавешенные люстры свисают с потолка.

Газеты, которые ей теперь нужно читать по долгу службы, переполнены известиями о ходе Гражданской войны. «Ворох папок. Есть в простыню, есть в строчку. Выискиваю про белогвардейцев. Перо скрипит… – Так вспоминала она эти месяцы в автобиографической прозе “Мои службы”. – Под локтем – Мамонтов, на коленях – Деникин, у сердца – Колчак. – Здравствуй, моя “белогвардейская сволочь”! Строчу со страстью».

Она не знает, что ее муж в это время уже продвигается к Москве с частями Мамонтова. Не дождавшись приезда жены и детей в Крым, он снова ушел воевать в начале октября, но известий о нем у Марины давно нет…

Отдел, где она служит, называется «Русский стол», а есть еще столы эстонский, латышский, финляндский, польский, бессарабский… Полагается приходить к десяти утра, но на опоздания здесь смотрят сквозь пальцы. И Марина успевает до прихода на работу отстоять в нескольких очередях: «за молоком на Кудринской, за воблой на Поварской, за конопляным на Арбате», еще где-то – за солью. Иногда она и совсем не появляется на рабочем месте, и ничего – сходит с рук.

Ей приходится привыкать к тому, что обращаются к ней теперь – «товарищ». Сначала с неприязнью, потом с любопытством она вглядывается в своих сослуживцев. Одни вызывают ее брезгливую иронию, другие – сочувствие. Среди последних юная девушка с землисто-серым лицом, не снимающая траура по своему жениху, расстрелянному большевиками, и молодой парень – волжанин, богатырь, робкий и вечно голодный. Но Марина – самая неблагополучная из всех. В обед, когда другие идут в столовую поглощать котлеты из конины, она остается в

своей зале – пьет чай из какой-то коры с сахарином: конина ей не по карману. Она и одета хуже всех: ходит в мужской фуфайке мышиного цвета и в башмаках, подвязанных веревками.

Осенью 1918 года она записала сама о себе в своей тетрадке: «Я абсолютно declassee[7]. По внешнему виду – кто я? 6 ч. утра. Зеленое, в три пелерины, пальто, стянутое широченным нелакированным ремнем (городских училищ). Темно-зеленая, самодельная, вроде клобука, шапочка, короткие волосы.

Из-под плаща – ноги в серых безобразных рыночных чулках и грубых, часто нечищеных (не успела!) башмаках. На лице – веселье.

Я не дворянка (ни гонора, ни горечи), и не благоразумная хозяйка (слишком веселюсь), и не простонародье… и не богема (страдаю от нечищеных башмаков, грубости их радуюсь, – будут носиться!).

Я действительно, абсолютно, до мозга костей – вне сословия, профессии, ранга. – За царем – цари, за нищим – нищие, за мной – пустота».

Ей приходится самой тащить на саночках домой два пуда мерзлой полугнилой картошки, которую выдали в Наркомате сотрудникам; нет никого, кто помог бы ей в этих тяготах. Но еще и потому ей не предлагают помочь, что на людях она всегда смеется: так проявляет себя цветаевская гордыня. Гордыня особая: она крепко держится на основаниях, которые многим показались бы совсем странными. «Самое главное, – записала сама для себя Цветаева в дневнике, – с первой секунды Революции понять: всё пропало! Тогда – всё легко».

Сахарин, и «товарищ», и очереди, которые приходится теперь чуть не ежедневно выстаивать, – все это в ее глазах не сама жизнь, только ее оболочка. Подлинная жизнь скрыта от посторонних глаз. Но она-то и помогает пересиливать внешние беды.

2

Справа и слева окруженная газетными вырезками, Марина неотступно поглощена своим делом. Она обдумывает очередную сцену пьесы, в ее ушах звучат строки, строфы, рифмы. Заветная тетрадка всегда при ней, заполненная множеством вариантов, и именно тут бьется пульс ее жизни – той, которую она переживает по-настоящему, всерьез!

Это ее защита от кошмаров внешней жизни, она сама об этом писала:

Мое убежище от диких орд,
Мой щит и панцирь, мой последний форт
От злобы добрых и от злобы злых –
Ты – в самых ребрах мне засевший стих!

В зале «дома Ростовых», где она сидит, ничего не осталось от прежнего убранства, кроме розовых стен. Подняв голову от стола, еще можно увидеть сквозь стекла окон белую колоннаду флигелей особняка. А что же там – в ее тетради?

«Очаровательный розовый будуар XVIII века. На туалете, у овального зеркала с амурами и голубками, – шкатулки, флаконы, пудреницы, баночки румян. На полу, прислоненная к розовой кушетке, гитара с розовыми лентами. Розы на потолке, розы на ковре, розы – гроздьями – в вазах, розы – гирляндами – на стенах, розы – везде, розы – повсюду. Сплошная роза. – На столике два бокала шампанского, в одном – недопитом – роза.

Вечер. Горят свечи. Маркиза д'Эспарбэс и герцог Лозэн играют в шахматы…»

Это «Фортуна» – уже вторая пьеса, написанная Мариной на казенной службе. Действие разворачивается во Франции конца XVIII века, герои исторически реальны, как и антураж, их окружающий. Вымышлены только акценты, но во все времена автор имел на это право. С наслаждением отодвинув газеты, Марина погружалась в тот мир, в котором наконец можно было дышать. Она населяла его интересными ей персонажами, помещала в необычные обстоятельства – и жила в нем. Этот мир был ей стократ интереснее всего, о чем рядом горячо толковали сослуживцы.

Шесть пьес написаны Цветаевой в 1918–1919 годах – одна за другой! Точнее, шесть она завершила, а задуманы и начаты были и еще несколько.

И ни в одной – ни слова о современности. Во всех действие отнесено к давним временам и дальним странам. Любимейший цветаевский герой – пленительно изысканный XVIII век, с его будуарами и камзолами, шпагами и королевами. Царит и побеждает тут пафос благородства и бескорыстия; герои с наслаждением ведут словесные дуэли, клянутся в любви, превозносят любовь, проклинают любовь…

Пряталась ли она тем самым от времени? О нет, скорее воевала с ним – на свой лад! В чистой ненависти жить нельзя – и неплодотворно, и саморазрушительно. Но ей, к счастью, дан был дар художника, и он вытаскивал ее из самых тяжких ситуаций.

В пьесах, написанных в «красной Москве», ни слова о реалиях

внешнего мира – и все же мощный заряд бунта пронизывает чуть ли не каждую реплику и поворот сюжета. Потому что рождались они посреди примитива лозунгов, посреди агрессивного невежества, даже не подозревавшего о ценностях самой жизни – как и о подлинной свободе! На первый взгляд, все эти пьесы – о любви. Но в революционной России и тема любви зазвучала чуть ли не бунтарским синонимом самой жизни, загнанной в подполье! Декорации XVIII века наилучшим образом обрамляли картину того времени, когда торжествовала жизнь, еще не обкорнанная декретами и запретами. Жизнь во всей ее полноте, Жизнь (Марина пишет с некоторых пор это слово с большой буквы), включающая то, без чего человек не может быть счастлив: Любовь, Подвиг, Благородство.

Это ее способ выживания и противостояния.

И так спасается не одна Марина. Ее старший друг Бальмонт в это же время увлеченно занят мексиканской культурой, переводом Кальдерона, старым испанским театром вообще, читает Послания апостолов и драмы Стриндберга, занимается древнеегипетским языком…

Она продолжает писать и стихи – шутливые, горькие – самой разной тональности, в том числе и открыто гражданственные. Сборник «Лебединый стан» разрастается. Многие стихи из него в начале двадцатых годов будут любовно перепечатывать эмигрантские русские газеты и журналы во Франции и в Югославии, в Турции и в Польше – всюду, где оказались в ту пору уцелевшие остатки Белой армии. Вот одно из стихотворений:

Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
– Где были вы? – Вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет: – На Дону!

– Что делали? – Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

Виктория Швейцер справедливо отметила эту уникальную цветаевскую особенность (речь шла как раз о революционных годах): «Кажется, она живет несколько жизней: собственную московскую, ту, на Дону, за которой следит то с надеждой, то с отчаянием, и эту “шальную”, где живые студийцы смешались с романтикой и героикой XVIII века. Вобрав в себя все это, поэт пишет в стихах и прозе, – и каждый раз это другая Цветаева».

Только последнюю фразу слегка поправим. То-то и феноменально, что каждый раз это была та же Цветаева, с теми же страстями и пристрастиями…

Мир ее души вмещал великое множество граней…

А с «живыми студийцами» – актерами Второй и Третьей студий Художественного театра – Марину свел тот же Павел Антокольский. Он с энтузиазмом водил ее на репетиции и спектакли, а так как студии находились неподалеку от Борисоглебского переулка, то вскоре цветаевская квартира стала своим домом для многих студийцев.

Они полюбили здесь бывать, хотя хозяйка не могла их угостить ничем, кроме неизменного дружелюбия и стихов; наоборот, актеры сами рады были принести пирожок для маленькой Али.

В теплое время года любимым времяпрепровождением были беседы на плоской крыше дома – гости вылезали туда прямо из окна Сережиной комнаты, которая так и была прозвана – «чердачной». Антокольский вспоминал: «С первого взгляда эта тесная мансарда показалась мне чем-то вроде каюты на старом паруснике, ныряющем вне времени, вне географических координат где-то в мировом океане. Хозяйка и ее необычный облик усиливали это впечатление. Несмотря на мебель, так много повидавшую на своем веку в московском особняке, несмотря на окружавший нас густой быт времен военного коммунизма, ощущение каюты было очень явственным, так что над крышей мерещился надутый парус и сквозь воображаемые, плохо задраенные иллюминаторы к нам проникали брызги летящего времени».

3

Трое студийцев, помимо Антокольского, стали особенно частыми гостями квартиры в Борисоглебском – и всех троих мы встретим на страницах «Повести о Сонечке», написанной почти двадцать лет спустя.

Трое, то есть: Юрий Завадский, Владимир Алексеев и Софья Голлидэй…

Красавцу Завадскому увлеченная им Марина посвятила поэтический цикл «Комедьянт» (двадцать пять стихотворений!), Софье Голлидэй – одиннадцать изящно стилизованных, песенно-балладных («Стихи к Сонечке»). Оставят свой след в ее творчестве и другие театральные деятели, встреченные в тех же студиях:

Алексей Стахович, князь Сергей Волконский, Вахтанг Мчеделов, Евгений Вахтангов…

С актерами-студийцами она встречала Новый 1919 год, в ее борисоглебском жилище постоянно толпится театральный люд… Но чувство заброшенности посещает ее снова и снова. Много друзей никогда не могут заменить одного, заботливого и близкого сердцу.

Юрий Завадский

Легкомыслием молодости, откровенным кокетством и озорством искрится цикл изящнейших стихов «Комедьянт». Кажется, все чувства здесь – не всерьез, все признания – не больше чем игра. Хотя грань зыбка: «легкая любовь» никогда Марине не давалась. Но как же прелестно умела она шутить в самый разгар непростой ситуации! Такой веселости позже уже не встретить в ее стихах – не потому ли, что она безвозвратно ушла из ее жизни?

Некогда трубадуры воспевали красоту своих дам, тут же женщина-поэт щедро поет хвалу красоте кавалера:

Вы столь забывчивы, сколь незабвенны.
– Ах, вы похожи на улыбку Вашу! –
Сказать еще? – Златого утра краше!

Сказать еще? – Один во всей вселенной!
Самой Любви младой военнопленный,
Рукой Челлини ваянная чаша…

И еще и еще – со всей цветаевской щедростью и даже перебором. Но как странно! И в этих стихах, и особенно в «Повести о Сонечке», воскрешающей то время, преобладает явная снисходительность к актеру-красавцу – и беспощадная усмешка Цветаевой над собой. То была, в самом деле, странная влюбленность. Любование смешалось в ней если не с презрением, так с крепчайшей иронией:

Посмейтесь! Пусть нынешней ночью приснятся
Мне впадины чуть улыбнувшихся щек.
Но даром – не надо! Давайте меняться:
Червонец за грошик: смешок – за стишок!

(Каково было Юрию Завадскому, ставшему в советские годы знаменитым театральным режиссером, оказаться вдруг, после публикации «Повести о Сонечке» в журнале «Новый мир» – 1972 и 1976 годы – под биноклями интеллигентного бомонда в облике… очаровательного ничтожества!)

В повести назван блистательный красавец Ю. З. и сказано о нем ядовито: «…Не гадкий. Только – слабый. Бесстрастный. С ни одной страстью, кроме тщеславия, так обильно – и обидно – питаемой его красотой». При всем том легко воспламеняющееся сердце молодой Марины было тогда встревожено не на шутку. Если настоящая буря так и не разразилась, то, скорее всего, потому, что красавец слишком был занят собой, своим премьерством в театре, и в любовной сфере способен был только на игру. Отношения их, никуда особенно, кажется, не зашедшие, отражены в лаконичной сценке «Повести»: «… нам с Ю. З. наедине было просто скучно… Он перетрагивал на моем столе какие-то маленькие вещи, спрашивал про портреты… Так и сидели, неизвестно что высиживая, высиживая единственную минуту прощания, когда я, проводив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую голову, – да ничего, только взгляд: – да? – нет – может быть, да? – пока еще – нет – и двойная улыбка: его – восторженного изумления, моя – нелегкого торжества».

«Каменный Ангел» – само название этой цветаевской пьесы, завершенной летом 1919 года, вобрало в себя характеристику

героя этого увлечения Марины. И то была уже не первая пьеса с ролью для каменного красавца. Первой была «Метель» (еще в декабре 1918-го Марина прочла ее студийцам-вахтанговцам); второй стала «Фортуна», далее последовали «Приключение» и «Феникс» – о Джакомо Казанове… И в каждой были блестящие роли все для того же Ю. З.! Нет сомнения, автор надеялся увидеть свои творения на театральных подмостках. Увы! Все надежды были эфемерны в том страшном году…

Давнее знакомство с режиссером Вахтангом Мчеделовым, который вел Вторую студию, этой зимой переходит в дружбу. Маленький, неказистый Мчеделов относится к Марине с глубочайшим пиететом, страстно любит ее стихи. Он водит ее на свои спектакли, знакомит с интересными людьми.

На одном из спектаклей Цветаева влюбляется в замечательного старика Алексея Александровича Стаховича. Бывший светский лев и адъютант великого князя, Стахович увлекся еще в 1907 году театром – и предпочел его блестящей карьере гвардейца. Одно это в глазах Марины вызывало восхищение. После спектакля Мчеделов ведет ее за кулисы – знакомиться с необычным актером.

Вахтанг Мчеделов

Стахович просит прочесть ему какие-нибудь стихи, – оказывается, он о них давно знает. Вечером Марина записывает эту сцену в дневник:

«– Но я так плохо читаю… Как все поэты… Я никогда не решусь…

(Хорошо читаю – как все поэты – и всегда решаюсь.)

– Такая Шарлотта Кордэ? Я никогда бы не заподозрил Вас в робости!

И я, облегченно (словесная игра! То, в чем не собьют!):

– Благодарю за честь, но разве я перед Маратом?

Смеется. Смеемся…»

В феврале 1919-го Стахович покончил с собой.

То было сильнейшее потрясение для Марины. Описывая в дневнике похороны, она, среди прочего, скажет: «Я из всех ближе всего к краю…» На похоронах она мучилась чувством вины, считая, что, если бы она пришла к Алексею Александровичу на Рождество, как ей того хотелось, он не сделал бы рокового шага. Она мысленно спрашивала его тень: «Без чего вы не вынесли еще одного часа?» Ответ был для нее однозначен.

Стахович не вынес существования без любви – в особом цветаевском понимании этого чувства: любви, окружающей человека нежностью, дающей ощущение, без которого человек погибает в ледяной пустыне одиночества, – ощущение своей необходимости на земле.

Когда не пишутся стихи, Марина приходит в отчаяние. «Раз я смогла перестать писать стихи, – записывает она в тетрадке, – я смогу в один прекрасный день перестать любить. – Тогда я умру». Чуть позже появляется запись: «Опыт этой зимы: я никому на свете, кроме Али и С., если жив, не нужна». И еще запись: «Всю эту зимуя сердечно кормилась возле III Студии. Плохо кормиться возле чужого стола!»

На всю жизнь у нее сохранится суеверная (а может быть, просто целомудренная) привычка: о том, что сокровеннее всего, она умалчивает. И в беседах, и в письмах.

Алексей Стахович в роли Ставрогина

О муже она не говорит, кажется, ни с кем, это позволено только в стихах и в записях для себя.

Но она не забывает о нем ни на минуту.

И вдруг на Благовещенье раздается телефонный звонок. Художник Кандауров! Он только что вернулся из Крыма. Сергей жив! И просил кланяться, а также передать, что по-прежнему ждет Марину с детьми в Коктебеле!

Колени у нее дрожат; когда она вешает трубку, она едва не падает от внезапно подступившей слабости. Благая весть – в ее любимый праздник Благовещенья! Уже полгода от мужа не было никаких известий.

Теперь Марина обдумывает возможность поездки в Крым. Но для этого необходимо иметь разрешение и много денег. Где же их взять?!

Она регулярно ходит на Сухаревку или на Смоленский рынок, пытаясь выменять вещи на продукты и табак, – и чаще всего безрезультатно: ее вечно обманывают; «в моих руках и золото – железо», – горько шутит она.

В один из таких дней она встречает на улице Бориса

Пастернака. У того под мышкой сочинения Владимира Соловьева. Он несет их продавать, поясняя: в доме совсем нет хлеба…

Глава 21
Сонечка

К весне 1919 года в доме нет уже и дров; приходится рубить и разламывать шкафы, а также чердачные балки. Марина подтягивается на руках за веревку наверх – лестница уже сожжена. Одна из записей тех дней в цветаевской тетрадке: «На днях разбился верхний свет в столовой. Стекла вдребезги, кирпичи, штукатурка, звон. Мы с Алей еле спаслись…» Крыша грозила обвалами…

В один прекрасный день выясняется, что разрешения на выезд в Крым к мужу все равно не дадут: Феодосия уже занята белыми! Через месяц к устойчивому чувству безнадежности прибавилась новая беда – потеря денег.

Марине кажется, что наступил последний предел. И в Вербную субботу приходит мысль о самоубийстве. «Повеситься?» – запишет она в дневнике. В Страстную субботу – совсем горько: она так любит этот праздник! «Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца (так вспоминает Цветаева в «Повести о Сонечке»), я сказала Але:

– Аля! Когда люди так брошены людьми, как мы с тобой, – нечего лезть к Богу – как нищие. У него таких и без нас много! Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос Воскресе не будет – а ляжем с тобой спать – как собаки!

– Да, да, конечно, милая Марина! – взволнованно и убежденно залепетала Аля. – К таким, как мы, Бог сам должен приходить! Потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие омрачать его праздника.

Застенчивые или нет, как собаки или нет, но тут же улеглись вместе на единственную кровать – бывшую прислутину, потому что жили тогда в кухне. ‹…›

Итак, одиннадцать часов вечера Страстной субботы. Аля, как была в платье – спит, я тоже в платье, но не сплю, а лежу и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос Воскресе, доказанностью своего собачьего одиночества… Я, так старавшаяся всю зиму: и дети, и очереди, и поездка за мукой, где я чуть голову не оставила, и служба в Наркомнаце, и рубка, и топка, и три пьесы – начинаю четвертую – и столько стихов – и такие хорошие – и ни одна собака…

И вдруг – стук. Легкий, резкий, короткий. Команда стука. Одним куском – встаю, тем же – не разобравшимся на руки и ноги – вертикальным пластом пробегаю темную кухню, лестницу,

прихожую, нащупываю задвижку – на пороге Володя: узнаю по отграниченности даже во тьме и от тьмы.

– Володя, вы?

– Я, М. И., зашел за вами – идти к заутрене».

Владимир Алексеев

И Алин комментарий уже на улице: «Я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам придет…»

Но и этот единственный, по-настоящему преданный друг, Володя Алексеев, вскоре уедет на Юг…

Спасение от ледяного круга одиночества приходит в облике маленькой актрисы, которая подошла к Марине в студии после чтения «Метели» еще незадолго до Нового года. Но тогда они только познакомились, а сблизились и подружились весной, в апреле. И волей судеб через два с лишним месяца расстались навсегда.

Дружба продлится меньше трех месяцев, но оживит почти омертвелое сердце Марины. Сонечка принесет ей живую воду преданной нежности, без которой одиночество может и совсем задушить человека…

На первый взгляд, есть некая странность в том, что Софья Евгеньевна Голлидэй заняла столь видное место в жизни и

памяти Марины Цветаевой. Слишком не похожа она на других цветаевских подруг. Софья Парнок, Ольга Чернова-Колбасина, Елена Извольская, Анна Андреева, Саломея Гальперн – все это были женщины волевые, деятельные, независимые, «амазонки» по духу, из породы самой Цветаевой.

Сонечка – явно иная. Ее прелесть неуловима. Она «вне ума при уме» – это особая, самая лестная цветаевская характеристика; «умный человек» и умничающий «умник» в ее глазах не одно и то же. Похожая на четырнадцатилетнего подростка актриса не поражала интеллектом, она была только талантлива, добра и сердечна – в том числе к маленьким дочерям Марины. «Я никогда не видела более простой, явной, вопиющей доброты всего существа, – скажет о ней Цветаева. – Она всё отдавала, всё понимала, всех жалела».

В Голлидэй – соединение задора мальчишки и женственности, угловатости и взбалмошности, своенравия и любвеобилия. Похоже, что как раз в этом-то смешении качеств, не слишком удобных для общежития, Марина и увидела незаурядность молодой актрисы. То, что для других было лишь проявлением дурного характера, в глазах Марины – органика, которую нельзя судить по обычным меркам. И у Елены Оттобальдовны Волошиной, и у Анны Ильиничны Андреевой, и у ее дочери Веры Андреевой Цветаева узнавала, отмечала и любила незапрограммированность реакций – проявление причуды, «взбрыка», спонтанной, неподавленной «природности»… В век прагматизма и «машинной цивилизации» Цветаева с особенной нежностью любуется тем, что эпоха и общество разучились видеть и ценить.

Софья Голлидэй

Сонечка не меньше Марины устала от одинокой борьбы за выживание в чудовищных обстоятельствах революционной Москвы. Хрупкая, своенравная, с кусачим характером, она, как и Марина, в сущности, едва жива под тяжестью свалившихся на нее испытаний. Но она истинная актриса, как и Марина – истинный поэт, а это означает, что у той и у другой сердце лишено защитного экрана. Обе они умеют презирать внешние неустройства, но тем острее страдания души. А ведь у одной на руках голодные дети, у другой – добровольно взятый на себя долг помощи сестрам…

Охотнее всего Сонечка говорит с Мариной о любви – взахлеб, сверкая глазами и обильно проливая слезы. И она была влюблена в эти месяцы в Ю. З. (и тоже безответно), и для нее, как и для Марины, земная любовь – высшая ценность существования. «Есть любовь – есть жизнь, нет любви…»; «…революция – не революция, пайки – не пайки, большевики – не большевики – все равно умрет от любви, потому что это ее призвание – и назначение» – так позже написала о Сонечке Цветаева. Но то же она говорила не раз

и о себе самой! В жалобных речах Сонечки она услышала хорошо знакомое ей страдание неприкаянности, узнала непереносимое чувство сердечной заброшенности. И собственное жаркое сердце, всегда открытое любви. То была еще одна встреча с человеком ее родной органики. Первой была сестра Ася, второй – Майя Кювилье, третьим стал Константин Бальмонт, с его непрерывной чередой горячих влюбленностей, всякий раз до глубины потрясавших его существо. И вот теперь – Сонечка…

С едва набухающими весенними почками Голлидэй появилась в доме Марины, а в начале июля они уже прощаются. Сонечка уезжает из Москвы с кем-то, кто показался ей самым необходимым. Марина дарит ей на прощание платье, бусы, кольца – и остается с ножом в сердце. В пустыне полного одиночества – всего за несколько месяцев до того, как ее накроет с головой беспощадная волна смертного 1919 года…

Софья Голлидэй в роли Настеньки в спектакле «Белые ночи»

Шестого июля 1919 года она читала «Фортуну» во Дворце искусств, как теперь называли бывший особняк Соллогубов. Наркомат по делам национальностей несколько месяцев назад переселился в другое место.

И волей случая она читала пьесу в той самой «розовой зале»! Еще совсем недавно тут стоял ее «Русский стол», за которым она клеила газетные вырезки и писала глупейшие аннотации, – стол, за которым была создана эта самая «Фортуна»!

«Читали, кроме меня: Луначарский – из швейцарского поэта

Карла Мюллера, переводы; некий Дир Туманный – свое собственное, т. е. Маяковского – много Диров Туманных и сплошь Маяковский!

Луначарского я видела в первый раз. Веселый, румяный, равномерно и в меру выпирающий из щеголеватого френча. Лицо средне-интеллигентское: невозможность зла. Фигура довольно круглая, но с “легкой полнотой” (как Анна Каренина). Весь налегке.

Слушал, как мне рассказывали, хорошо, даже сам шипел, когда двигались. Но зала была приличная.

“Фортуну” я выбрала из-за монолога в конце:

Так вам и надо за тройную ложь
Свободы, Равенства и Братства!
……
Так отчетливо я никогда не читала.
… И я, Лозэн, рукой белей, чем снег,
Я подымал за чернь бокал заздравный:
И я, Лозэн, вещал, что полноправны
Под солнцем – дворянин и дровосек!..

Так ответственно я никогда не дышала. (Ответственность! Ответственность! Какая услада сравнится с тобой! И какая слава?!)

Монолог дворянина – в лицо комиссару – вот это жизнь! Жаль только, что Луначарскому, а не… хотела написать Ленину, но Ленин бы ничего не понял, – а не всей Лубянке, 2!

Чтению я предпослала некое введение: кем был Лозэн, чем стал и от чего погиб.

По окончании стою одна, со случайными знакомыми. Если бы не пришли, – одна. Здесь я такая же чужая, как среди квартирантов дома, где живу пять лет, как на службе, как когда-то во всех семи русских и заграничных пансионах и гимназиях, где училась, как всегда – везде».

Вскоре Цветаева узнала от Бальмонта, что заведующий Дворцом искусств Рукавишников оценил чтение «Фортуны» в шестьдесят рублей. Это была стоимость трех фунтов картошки – или трех фунтов малины – или шести коробков спичек.

«Я решила отказаться от них – публично – в следующих выражениях, – писала Цветаева в прозе “Мои службы”. – 60 руб. эти возьмите себе… а я на свои 60 руб. пойду у Иверской поставлю свечку за окончание строя, при котором так оценивается труд».

Глава 22
Чердачное

1

Пьесы, роли, красавцы, любови, дружбы…

Но на дворе год – самый страшный из всех революционных; по словам самой Цветаевой – «самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов» – 1919-й.

Давно спалили на дрова московские заборы, оклеенные листовками, воззваниями и декретами, сожжены многие деревянные городские строения, оказавшиеся без хозяев. Растащили уже на дрова и «шоколадный домик» в Трехпрудном переулке, построенный из прекрасной мачтовой строевой сосны.

Зимой жители с трудом пробирались через снежные сугробы, летом на московских тротуарах под ногами скрипела лузга от семечек. Транспорт давно бездействует; изредка появляющиеся трамваи облеплены пассажирами, свисающими, как гроздья, с подножек. Поздними вечерами солдаты в темных переулках требуют с прохожих документы – и нередко грабят. Даже летом у москвичей – серо-зеленый цвет лица, измученный и затравленный взгляд…

Перебои с продовольствием и дровами начались еще перед Февральской революцией; но после октябрьских событий 1917 года голод начал все ускоряющееся наступление. К концу 1918-го он приобрел катастрофические размеры. Магазины зияли пустыми полками, а там, где появлялись продукты, мгновенно вырастали длиннейшие хвосты очередей. Инфляция росла не по дням, а по часам.

«Театральные дружбы» помогли Марине душевно пережить дикие тяготы голодного и холодного существования в «красной Москве». Об этих тяготах известно многое, но томов воспоминаний тяжелее ликующая реплика шестилетней Али осенью 1918 года:

– Мама! Он подарил мне четыре куска сахара и кусок – вы только подумайте! – белого хлеба!

Марина записывает в тетрадь очередное изречение старшей дочери: «Марина! Когда у нас совсем нечего будет есть – даже гнилой картошки, – я сделаю чудо. Я теперь его не делаю, потому что раз мы едим гнилую картошку– значит, ее можно есть?»

Двухлетняя Ирина жалобно просит у любимой Галлиды – так

она зовет Сонечку Голлидэй:

– Сахай давай! Кайтошка давай!

Истинные размеры голода в семье восстанавливаются только по отрывочным дневниковым записям Цветаевой, сделанным в 1918–1919 годах.

Вот одна из таких страшных записей: «Кому дать суп из столовой: Але или Ирине? Ирина меньше и слабее, но Алю я больше люблю. Кроме того, Ирина уж всё равно плоха, а Аля еще держится, – жалко. Это я для примера. Рассуждение (кроме любви к Але) могло пойти по другому пути. Но итог один: или Аля с супом, а Ирина без супа, или Ирина с супом, а Аля без супа.

А главное в том, что этот суп из столовой – даровой – просто вода с несколькими кусочками картошки и несколькими пятнами неизвестно какого жира».

В Москве действовали закрытые распределительные пункты – для предприятий и организаций. Лишь изредка появлялись в газетах сообщения вроде следующего: «23-го ноября хлеб будет отпускаться по купону от 11 октября хлебной карточки на два дня; для лиц 1 и 2 категории – 1 фунт, 3-й категории – ¾ фунта и 4-й – V фунта» (газета «Правда», 22 ноября 1918 года). То есть купон отоваривался (даже по этой страшной норме!) чуть ли не через полтора месяца. И к какой «категории лиц» принадлежала в ту пору мелкая служащая Марина Цветаева? В рубрике «Положение с продовольствием» (той же большевистской газеты) можно было прочесть о выдаче на купон одного коробка спичек и чечевицы – от одного до одной четверти фунта (опять же в зависимости от «категории»!). Зато по продовольственной карточке «с предъявлением паспорта» предлагалось приобрести меховые и бархатные шляпы…

Но Марина давно уже и не служащая.

Наркомат по делам национальностей она оставила еще в апреле.

Еще день попыталась работать в другом учреждении с диким названием «Монпленбеж», но не смогла дотянуть даже до конца первого рабочего дня. Внезапно для самой себя встала, из последних сил скрывая градом катившиеся по щекам слезы, сказала начальнице, что отлучится на обед, – и вышла на улицу.

С чувством освобождения осознав: не понимаю, не могу и не смогу никогда!

2

Осенью 1919 года в их рационе только скудные овощи;

случается, что по пять дней подряд в доме нет хлеба. Знакомый Никодима анархист Шарль унес для продажи Сережины золотые часы, и от него – ни слуху ни духу, потом он обнаглел и начал кричать, что за чужие вещи не отвечает. В итоге – ни часов, ни денег.

Ранним утром Марина топит плиту. С водой – проблемы. За ней приходится идти к соседке, но так, чтобы не увидел ее муж: с черного хода. Возвращается счастливая: с полным ведром! Хватит и для стирки, и для мытья посуды и пола.

Запись в тетрадке: «Брянский вокзал – за молоком – 5½ ч. утра… Небо в розовых гирляндах, стальная (голубой стали) Москва-река, первая свежесть утра, видение спящего города. Я в неизменной зеленой крылатке, – кувшин с молоком в руке – несусь… – Анна Ахматова! Вы когда-нибудь вонзались, как ястреб, в грязную юбку какой-нибудь бабы – в 6 ч. утра – на Богом забытом вокзале, чтобы добыть Вашему сыну – молоко?!»

А в семь утра она уже в очереди на Плющихе за разрешением на усиленное питание для детей. Ждать у подъезда Плющиха, 37, – не позволяют. Записывают номера. Марина слушает разговоры прислуги и нищих, – впрочем, публика здесь самая разная, и, несмотря ни на что, Марине интересно! Она сама и разговаривает, и наблюдает, а вернувшись – опишет в своей тетрадке это утро. «Рядом длинноносая старая сестра милосердия с голубыми глазами. – Девица вроде солдата – извозчик – мальчишка, задирающий пса, – столетняя бабка – учительница, говорящая про финикиян, – деревенская баба вроде медведя – элегантная барышня в синих носках (мороз!) – О, как всё великолепно! – И восход. – Смеюсь. – Через час смех проходит, нестерпимо холодно, холод идет по ногам вверх по всему телу. Перестаю говорить. В 9 часов впускают. Потом медленное черепашье, паучье восхождение по ступеням четырехэтажной лестницы. В итоге – в 4-м часу, стоя в блаженном № 86 перед докторшей Лавровой, которая стучит кулаком по столу, – плачу. Платок весь промок, только размазывает слезы. – “Но скажите – когда же мне придти? Вы говорите – раньше. Я была здесь в 7 часов. – Не сердитесь, только объясните… ”»

Потом надо пробежать по комиссионным – «не продалось ли хоть что-нибудь?», по кооперативам – «не выдают ли что?».

В доме остановились часы; приходится спрашивать время у прохожего, чтобы не опоздать за казенными детскими обедами, которые до поры до времени еще выдавали. Затем – маршрут: Молчановка, 34, занести посуду, Старо-Конюшенным на Пречистенку за питанием по протекции госпожи Гольдман (жены адвоката, живущего на первом этаже). Оттуда в Пражскую

столовую – обед на карточку, подаренную на месяц соседкой со двора – женой сапожника (у нее самой пятеро детей, но одна из дочерей на время уехала)…

Наконец, обвешанная кувшинами, судками и жестянками – ни пальца свободного! – по черной лестнице домой. По возвращении – скорее к печке! Раздуть, пока совсем не погасла; руки Марины в ожогах от горячих углей. Все обеды сливаются в одну кастрюльку: получается то ли суп, то ли каша. Госпожа Гольдман тайком от мужа присылает иногда Марине для детей супу.

Иногда вместе с Мариной в поход за провизией увязывается Аля. В этом случае младшую девочку приходится привязывать к стулу – с тех пор как она однажды, оставшись одна, съела из шкафа полкочана сырой капусты. Но что же делать? Осенью 1918 года Марина поссорилась с Лилей Эфрон – и теперь больше не с кем оставить дома малышку!

На какое-то время Алю удалось устроить в детский сад. Там ее не так уж плохо кормят, но у совестливой девочки сердце разрывается, когда она видит хлебные корки, остающиеся после обеда на столе. Она чуть не плачет, рассказывая об этом матери.

– Ах, Марина! Полный стол! И большие! Ведь это было бы для Вас счастье! И они никому не нужны, их бросают в помойное ведро!

С трудом – и не без сожаления – мать убеждает Алю не приносить эти корки. Ей кажется, это было бы уже «бесстыдством бедности»…

Снова надо пилить и рубить дрова на завтра. Уже сожжены не только шкафы, но и часть перил черной лестницы…

Древний способ борьбы с чувством голода – сон. И Марина теперь рано укладывает детей. Двухлетняя Ирина спит, укутанная так, что ее не видно, и не в кроватке, а на синем кресле – кроватку никак не протащить в дверь кухни, где они теперь живут.

Поздний вечер.

Теперь можно самой залезть в постель, не раздеваясь, в том же бумазейном платье, в котором она ходит днем. Но в эти часы Марина счастлива, как только она умеет: лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда хлебом. Теперь можно читать и писать, забыть про бытовое, в котором она задыхается, как рыба, выброшенная волной на берег. Скорее в свое пространство, свой мир, где можно наконец ожить, распрямиться, перевести дух, быть собой. Конечно, рифмы, строфы, острые мысли приходят в голову и днем, когда присесть к столу некогда. И потому все стены дома исписаны строчками

стихов и пометами для записной книжки.

Осенью 1919-го она пишет большую поэму «Царь-девица». А читает Гёте «Dichtung und Wahrheit»[8], погружаясь в уют старого немецкого дома, где были игры в фанты, чтение книг вслух… Марина мечтает, как бы она воспитала своих дочерей, сложись судьба иначе! Не просто с гувернантками – еще и с танцмейстером!

По ночам она иногда спускается вниз в страшную ледяную гостиную – за книгой, которую вдруг страстно захотелось перечитать.

Зима наступает ранняя. В конце октября выпадает снег, начинаются холода. В том же октябре заболевают изнурительным коклюшем сначала Аля, потом Ирина.

Кто, кроме сердобольных соседок, помогал ей в эти страшные холодные и голодные недели? Актерского братства, роившегося вокруг нее всего год назад, уже нет: кто уехал, а кто отошел, у всех сейчас свои проблемы. Изредка бывает актриса Звягинцева, с которой Марина познакомилась этим летом, она тоже пишет стихи и любит Маринины. Еще иногда бывает брат Марии Самойловны Цетлиной – приносит спички и хлеб. С Никодимом они все же видятся, но крайне редко. Брат Андрей и сестра Лёра – где они? Сестры Эфрон? Их нет рядом. У всех свои беды, свои нелегкие обстоятельства… «Одна как дуб, как волк, как Бог – среди всяческих чум Москвы 19 года…» – запись в дневнике Марины.

В Коктебеле 5 октября 1919 года было получено письмо от Сергея, помеченное «Орел– Курск». Эфрон сообщал Волошиным, что перешел в 3-й Офицерский генерала Маркова полк и что настроение у него вполне оптимистическое. «Мы продвигаемся к Мурому, – писал Сергей. – В Москве будем к Рождеству…»

Если бы, если бы! Но уже после того, как было написано это письмо, 3-й марковский полк, выгрузившийся в двадцати верстах от Орла, двинулся навстречу красным латышским стрелкам. Завязались кровопролитнейшие бои, и в районе Кром марковцы потеряли треть своего личного состава. Вскоре они были отведены в резерв в Курск. Им еще удалось продвинуться до Щигров, но затем опять началось отступление. Увы! Рождество марковцы встречали совсем не в Москве, а на Кубани, в станице Кущевской. Еще через полтора месяца в марковском офицерском полку оставалось в живых меньше сотни человек! К счастью, в их числе был подпоручик Сергей Эфрон. Бог хранил его для других испытаний…

Обычная бодрость в ноябре изменяет Марине. В иные дни ей кажется, что она никогда, никогда уже не увидит ничего другого: высокое окно в потолке, окоренок на полу, по всем стульям детские платья, тряпки, пила, топор и чугунный утюг, которым она бьет по топору…

Трагической осенью 1919 года время словно замедляет свой ход – как всегда, когда оно заполнено страданием.

Доброжелатели твердят Марине, что она не справится с прокормом детей, но что в государственных детских учреждениях теперь питание вполне приличное и надо попробовать устроить Ирину в ясли. Марина пробует. Но в стране царит большевистская справедливость: кто не работает, тот не ест, власть помогает только работающим. Для устройства в ясли необходима справка о том, что мать служит. Такой справки Марине негде взять.

Она отправляется во Дворец искусств.

Сидит в золотой зале, на стуле, обитом голубым шелком, в руке узелок с судком, в ногах кувшин.

Мимо проходит Иван Рукавишников – поэт. Он сын нижегородского купца-«миллионщика», и в Нижнем Новгороде у него дом-дворец. Теперь он заведует Дворцом искусств, здесь же и живет. Все знают, что ест он на гербовой посуде Соллогубов, раздобревшая жена его меняет туалеты по три раза за вечер – платья шелковые, пелерины меховые. Теперь Рукавишников проходит мимо Цветаевой и не кланяется. Проходит второй раз, потом третий. Наконец спрашивает:

– Что вам угодно?

Марина излагает сущность дела. И слышит в ответ:

– Вам надо обратиться к кому-нибудь, кто вас лично знает, потому что я не знаю, чем вы занимаетесь.

– То есть как? Вы же отлично знаете, что я занимаюсь литературой! Цветаеву всегда спасало в беде чувство юмора; этот раздутый индюк обидеть ее, конечно, не может. Он ее смешит. Но и проблем решить не удается…

Глава 23
Приют

1

И тут до нее доходят слухи о том, что в Кунцеве открылся детский приют. И будто бы во главе приюта стоит хороший человек, и снабжает этот приют довольствием американская благотворительная организация. Сведения идут от доктора Павлушкова, а Павлушков – муж Лидии Александровны Тамбурер, он главный врач Кунцевского госпиталя, – они и живут в Кунцеве. Выясняется, правда, что приют – для сирот и, чтобы туда приняли детей, их надо выдать за чужих.

Но Марина уже в панике, ибо она соглашается с этими доводами. Аля, воспитанная на героике и готовности к подвигу, стоически принимает материнское решение как необходимость – без слез и упрека. В цветаевской записной книжке зафиксирован их диалог.

– Аля! – говорит Марина. – Понимаешь, всё это игра. Ты играешь в приютскую девочку. У тебя будет стриженая голова, длинное розовое – до пят – грязное платье – и на шее номер. Ты должна была бы жить во дворце, а будешь жить в приюте. Ты понимаешь, как это замечательно?

– О, Марина!

– Это – авантюра, это идет великая авантюра твоего детства. Понимаешь, Аля?..

(В цветаевском лексиконе «авантюра» – увлекательное, хотя и связанное с опасностями, приключение, слово, неизменно окрашенное положительными эмоциями.)

– Да, Марина, и я надеюсь, что смогу Вам откладывать еду. А вдруг на Рождество дадут что-нибудь такое, что нельзя будет сохранить? Вдруг – компот? Тогда я выловлю весь чернослив и спрячу. О, Марина, как жаль, что нельзя засушивать еду, как цветы!

– Аля, главное ешь побольше, не стесняйся! Помни, что только для этого я тебя туда посылаю!

В ожидании отъезда, сидя в материнской комнате за ее письменным столом, девочка заполняет несколько страниц прощального письма, – и это страницы, на которых отчаянная любовь к матери соединилась с неумело скрываемым ужасом перед предстоящей переменой.

14 ноября совершен непоправимый шаг. Всю ночь накануне Марина штопает и зашивает дыры в одежде девочек, собирает Але с собой маленькую библиотечку. Утром, сопровождаемые Лидией Александровной, все садятся в сани и едут в Кунцево.

В Подмосковье уже царит полноправная зима. Снега, снега, черные полосы лесов, спуски, холмы… И вот наконец Кунцево, парк, огромные ели, в глубине котловины желтеет дом. Это приют.

Первое, что видит Цветаева: ободранная черная собака ест из помойного ведра. За домом наблюдает надзирательница. Дети в грязных длинных платьях, фуфайки в дырах. Большие животы. Почти бессмысленные лица.

Год назад Цветаева горько плакала, отдавая Ирину на время сестрам Эфрон; можно представить себе ее состояние теперь. Надзирательница подозрительно спрашивает, почему одеты дети так чисто. Тамбурер как-то оправдывается, – и выдает Марину за крестную мать девочек.

Вернувшись вечером в ледяную пустыню московской квартиры, она читает длинное Алино предотъездное письмо и переписывает его в свою записную книжку. И делает собственную запись: «Аля. Такого существа не было – и не будет. Были трехлетние гении в Музыке – в Живописи – в Поэзии – и т. д. и т. д. – но не было 3-летнего гения – в Душе!»

В эту ночь опять ей снится Сережа, она просыпается со звуком его голоса в ушах: «Я вернусь в Москву только тогда, когда в ней будет царь, значит, никогда не вернусь»…

Спустя десять дней, проходя по Собачьей площадке, Марина вдруг слышит окликающий ее детский голосок.

– А ваша Алечка по вас скучает, плачет! – Это говорит закутанная в платок девочка лет десяти, она сидит в санях, наполненных соломой.

Девочка из приюта! Она приехала с заведующей в Лигу спасения детей. Марина разыскивает ее, расспрашивает.

– Аля – очень хорошая девочка, только чрезмерно развитая, я нарочно с ней не разговариваю, стараюсь приостановить развитие… – сообщает заведующая. – Все читает, пишет…

– Ну а Ирина?

– Ирина! Это явно дефективный ребенок. Ест она ужасно много, и всё качается, всё поет…

Они сговариваются, что через день, когда заведующая снова сюда приедет, Марина с ней вместе отправится в приют.

Но в назначенный день они не встретились, и Цветаева решает ехать одна. Торопясь, она бежит к Бальмонтам – отдать для Мирры рисовую кашу, только что полученную по карточке;

самой в горло не идет, а в приюте (так записывает она в своей тетрадке) «дети перекормлены». В Кунцево она приезжает, когда уже стемнело, сразу в приют идти нельзя, и Марина ночует у Лидии Александровны. А наутро идет шесть верст пешком в своих огромных сапогах, которые стерли ей ноги до кровавых мозолей, боясь заблудиться и поглядывая все время в бумажку, на которой записаны повороты.

Наконец – приют. И сразу кто-то из детей:

– А ваша Аля заболела!

Второй этаж. Большая комната, превращенная в лазарет. Какая-то девочка бежит впереди Марины:

– Аля! К тебе тетя приехала!

Множество кроватей. Вопль Али:

– Марина!

Грязное, страшное, нищенское ватное одеяло. Из-под него воспаленные, ярко-красные от слез Алины огромные глаза. Лихорадочное лицо, всё в слезах. Бритая голова. Аля приподнимается, и Марина видит, что та лежит в постели в шерстяном платье. Под подушкой – книжка «Волшебный фонарь», в ней – срезанная прядь золотистых волос.

Чем больна – неизвестно; больных тут уже человек пятнадцать. Выясняется, что доктор не приходил и не придет, градусника нет, лекарств тоже.

Тут же между кроватей бродит неулыбающаяся Ирина. Аля жалуется: они спят в одной постели, а Ирина за ночь не меньше трех раз… и прямо в постель! В речи малышки, которой всего два с половиной годика, прибавилось новое выражение – яростное «Не дадо!», когда ее пытаются высадить на горшок.

Ошеломленная Марина постепенно осознает весь ужас увиденного.

При ней воспитательница расставляет «обед»: в мелкой тарелке – вода с несколькими листками капусты. Хлеба нет. Второе: ложка чечевицы, дети едят ее по зернышку, чтобы продлить удовольствие.

«Холодея, понимаю: да ведь это же – голод! Вот так рис и шоколад, которыми меня соблазнил Павлушков!..» А она не взяла с собой ничего из еды – «дети закормлены»!

– «И так всегда кормят?» – «Всегда». – «Ну, а утром что дают?» – «Воду с молоком и полсушки – иногда кусочек хлеба». – «А вечером?» – «Суп». – «Без хлеба?» – «Иногда с хлебом, только редко».

Алина соседка не переставая стонет. «Что это она?» – «А ей есть хочется».

В комнатах – лютый холод и безумная грязь, полы черны, как

сажа, воды нет…

Марина обещает завтра же прийти снова.

Аля отдает ей свою тетрадку с записями. Требование матери: писать ежедневно – девочка исполняла из последних сил, и исполнение обещания, видимо, даже поддерживало ее в этом кошмаре: с пером в руке она ежедневно разговаривает с матерью – и старается собрать все крохи своего героизма. В дневнике – возвеличение матери до иконописного образа и почти истерические уверения в любви перемежаются с пронзительными жалобами и подробностями дикой приютской жизни. «Марина, Марина! Как обидно, как горестно… Я себя чувствую как одна, одна, заключенная в тюрьме, полной печали. Недавно рядом горела деревня, я мечтала, чтоб загорелся наш дом. Мои глаза вечно отуманены слезами и смотрят на дорогу, на заветную дорогу. Сколько раз я надеялась увидеть вас и потом в разочаровании плакала. О, как я несчастна, как я несчастна! Я знаю, что если бы вы знали, как я здесь живу, вы бы давно приехали ко мне… Я у вас была совсем сыта, а здесь – ни капли! Я повешусь, если вы не приедете ко мне…»

Страница за страницей – всё то же. На прогулке девочка видит дрова и хворост; какая жалость, что нельзя собрать это и отдать матери! Она отказывается ходить в приютскую школу, потому что там ей не разрешат писать твердый знак и букву ять. Воспитательница порвала ее книжку, дети отнимают заветную тетрадку И – голод, голод!

«Из тихой тоски я перехожу в желание отомстить тому, кто это сделал. О Господи, когда же мне удастся отомстить всем им, им! Сегодня привезли еще 50 детей. О, какая месть в сердце и душно. Я готова вам служить всю жизнь, служить, пока хватит сил, пока не умру. Маринушка! Я вспоминаю, как вы мне говорили стихи, читали пьесы!.. Мамочка! Я погибаю в тоске… Все меня бросили, даже Лидия Александровна не приезжает. Всё кончено для меня… Я первый раз в жизни в таком отчаянии…»

Этот дневник маленькой Ариадны – документ, достойный занять виднейшее место в архиве большевистской революции. Как известный дневник Анны Франк в архиве Второй мировой войны.

2

Переночевав у Тамбурер и вернувшись в приют на следующий день, Марина застает Алю мечущейся в жару. Тиф? Малярия? И кажется еще – чесотка?

Маленькая Ирина пока держалась на ногах.

Схватив Алю в охапку, мать выбежала из приюта и вскочила в проезжавшую мимо повозку; обеих довезли до ближайшего красноармейского госпиталя. Два дня там – и еще больше месяца продолжающегося жара, уже в Москве.

Ирину обещала забрать к себе Вера Эфрон. Но поездку за девочкой ей пришлось откладывать со дня на день: были на то весьма серьезные причины.

Она опоздала. В начале февраля Ирина в приюте умерла.

Цветаева узнала об этом случайно. На той же Собачьей площадке, рядом с Борисоглебским, около Лиги спасения детей, Марина увидела знакомую рыжую лошадь, запряженную в телегу. Женщина, сидевшая в ней, узнала Цветаеву – и сообщила страшное известие.

Марина не нашла в себе сил поехать в Кунцево: «К живой не приехала, так уж…»

Только спустя четыре дня она сообщает о случившемся Вере Звягинцевой. В первых же строках ее письма – главное, страшное: «И в этом виноватая».

Марина казнит себя, и остроту этой самоказни легко себе представить, зная цветаевскую безмерность. «Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец – здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не видишь, что другому трудно…» Она просит: «Если можно, никаким общим знакомым – пока – не рассказывайте, я как волк в берлоге прячу свое горе…»

Другое письмо написано той же адресатке уже в конце февраля: «Милая Вера, я совсем потеряна, я страшно живу… ночью мне снится во сне Ирина, что – оказывается – она жива – и я так радуюсь… все во мне изгрызено, изъедено тоской…»

Кто же мог предположить, что во главе приюта окажется мерзавец, грабивший детей, набивая собственный карман! Сыграла свою роль и болезнь Али, не спадавшая больше месяца подряд температура! Марина не забыла о младшей девочке, терзалась, но все откладывала поездку, – и ведь со дня на день в приют собиралась ехать Вера Эфрон…

Вера Эфрон

Теперь ей даже не к кому припасть на грудь со своим страшным горем. Она не может заставить себя сказать о беде единственному родному человеку, который по-настоящему согревает ее сердце, – семилетней, обожающей мать Але. Та узнает о гибели сестры лишь спустя несколько дней, случайно прочитав в материнской тетради по-французски: «Irina est morte» – и догадавшись. Щемящая тоска сжимает Марине горло: «…никто меня не любит, никто – в упор – не жалеет, чувствую всё, что обо мне думают, это тяжело… Мне сейчас нужно, чтобы кто-нибудь в меня поверил… Люди заходят и приносят Але еду – я благодарна, но… никто – никто – никто за все это время не погладил меня по голове. С каким презрением я думаю о своих стихах!»

Девочка постоянно снится ей во сне. То она стоит в длинном грязном розовом платье (в таком последний раз ее видела мать в приюте) и грызет корку – «странное, непонятное, таинственное существо, чуждое всем, никого не любившее – с такими прекрасными глазами!» И мысль Марины во сне: «Я ведь знала,

что она не умерла!» В другой раз, тоже во сне, она видит ее веселой и здоровой; «держа ее на руках, – записывает в тетрадку Марина, – испытываю такую остроту блаженства, с которой не сравнится НИЧТО…» Днем, потихоньку от Али, она подолгу смотрит на фотокарточку: «Личико Ирины в золотых кудрях, мудрый лоб, прелестный яркий рот, чудесные глаза – ослепительно темные, такого редкостного зелено-серого цвета и изумительного блеска, огромные ресницы…» Вспоминает ее жесты, ее стыдливую смущенную улыбку. И как она смеялась, когда ее брали на колени. «И все же это было существо без будущего, – записывает Цветаева, тут же сама себя перебивая: – Может быть, с гениальным будущим?..»

Со всей беспощадностью она признается себе в том, что никогда не знала и не понимала Ирину, слишком раздражаясь ее замедленным развитием. По сравнению с Алей это был ребенок даже не обыкновенный, но, по-видимому, в чем-то дефективный… При няньках и нормальной жизни, с врачами и соответственным уходом, может быть, она бы выправилась. «Ее смерти так легко могло бы не быть, – терзается Марина. – Распознай врач у Али малярию и имей я немножко больше денег…»

Впоследствии она будет обвинять сестер Эфрон: они не помогли ей спасти девочку. Сестры, со своей стороны, винят невестку; в их глазах она плохая мать, совершенно не умеющая заботиться о детях. Боль невозвратимой потери мешает обеим сторонам видеть ситуацию трезво. Ибо, как это слишком часто в жизни бывает, обе стороны правы и не правы одновременно, у той и другой – свои невыдуманные причины, смягчающие и объясняющие их поведение. Трагизм ситуации – в слившихся воедино внешних обстоятельствах и личных обидах.

На самом деле обе сестры помогали Марине как могли – до ссоры. На все лето 1918 года Лиля увозила Ирину с собой в деревню, где ей тогда удалось прилично устроиться. Но той же осенью Марина забрала дочь обратно в Москву под предлогом предполагаемого отъезда в Крым. Привязавшаяся к малышке как к родной дочери Лиля настолько страдает от этого, что сама себе клянется – больше не брать девочку. Впрочем, не совсем так – хуже: Марине поставлено оскорбительное условие: Лиля готова заботиться об Ирине, но пусть та останется с ней уже навсегда!

Пока в Борисоглебском была няня, пока еще приходила молочница Дуня (бесследно исчезнувшая осенью 1919 года), пока удавалось доставать детские обеды, Марина кое-как справлялась. Но, оставшись в «красной Москве» совсем без прислуги, в условиях до предела отяжеленного быта, она увидела себя в полном тупике. Чудовищность выбора впервые предстала перед

ней этой осенью – спасти можно было только одну из дочерей. Болезнь Али упростила страшную ситуацию, выбор не потребовался.

Она знала о намерении сестер поехать в приют и забрать Ирину. Они не успели этого сделать, – не по нерасторопности. Вера к этому времени ослабла настолько, что еле ходила, держась за стену, Лиля жила в таких жилищных условиях, какие не позволяли ей взять маленького ребенка. Все сплелось воедино, все совпало: размолвка, внешние обстоятельства, оскорбительное условие Лили, помешавшее Марине в трагические недели воззвать к помощи сестер.

Елизавета (Лиля) Эфрон

По простым меркам Цветаеву можно винить, если судилище такого рода не безнравственно само по себе. В ней прирожденно не было множества практических умений; кто знает, будь Ирина дочерью сапожника, что жил во дворе дома в Борисоглебском, у нее, возможно, оказалось бы больше шансов выжить… Впрочем, и это сомнительно…

В середине тридцатых годов она напишет прозаическую «Сказку матери» – о том, как разбойник заставлял одну бедную

мать выбрать между двумя ее дочерьми – какой жить, какой умереть. Сказка была страшной, хотя в ней-то все кончалось благополучно. Но вряд ли случайно Марина обращалась памятью к этому сюжету. Он мучил ее даже спустя четверть века после случившегося.

Зимой 1919–1920 годов трудности с продовольствием переходят все границы. Столичные магазины по-прежнему пусты, но теперь невозможно купить что-либо и на рынке. Запрещено ввозить муку и зерно из деревни. На вокзалах идут настоящие битвы солдат с так называемыми «мешочниками». Существовали, правда, еще черные рынки, но покупать там было крайне опасно: кара за недозволенную куплю-продажу была самая революционная: смертная казнь!

После смерти Ирины, благодаря ходатайству друзей, Цветаевой стали выдавать академический паек. Проблема еды в доме не исчезает, но смягчается ее острота.

Благодаря появившимся академическим пайкам уцелели многие.

В воспоминаниях Бориса Зайцева:

«– В среду выдают пайки!

Это значит, что писатели из Кривоарбатского, философы с Гагаринского, Гершензон из Никольского и еще многие из других мест двинутся ранним утром с салазками, тележками, женами, свояченицами на Воздвиженку. Там в кооперативе будут стоять в очереди и волноваться, здороваться с математиками и зоологами, критиками, юристами. А потом наступит наконец блаженный час, нагрузят в повозку бараний бок (с бледно-синими ребрами), пуд муки, сахару, кофе, спичек, папирос…»

Пайки выдавались сразу на месяц, а то и больше. И для Марины возникнет новая проблема: кто поможет ей найти салазки или тележку и довезти полученное до дому? Просить она не любит, предложить помощь – не догадываются…

Эпидемия сыпного тифа добралась с Юга до Москвы; гробов давно нельзя было достать, и, когда по заснеженным улицам везли в санках закутанные тела, трудно было отличить трупы от живых людей. Но и летом не стало легче. Голод захватил плодороднейшие области на Юге и Востоке.

Трагедию довершила сильнейшая засуха.

Глава 24
Живая жизнь

1

И при всем том голодная, замерзающая, запуганная красным террором Москва продолжала жить. На собраниях пролетарских поэтов при свете керосиновых ламп авторы с энтузиазмом читали свои произведения. В старом особняке на Тверском бульваре разместился Союз писателей, созданный по инициативе Михаила Гершензона. Председателем писательского правления стал поначалу прозаик Борис Зайцев, позже поэт Юргис Балтрушайтис – высокий, светловолосый, почти всегда угрюмый и какой-то неподвижный, в черном сюртуке, застегнутом наглухо, – в высшей степени порядочный человек Функционировали литературные кафе, возникали новые кружки и студии, регулярно заполнялся публикой зал Политехнического музея, и всюду выступали поэты, прозаики, философы…

Маргарита Сабашникова жила какое-то время совсем неподалеку от Борисоглебского переулка; ей предоставили в верхнем этаже флигеля «дома Ростовых» (превратившегося во Дворец искусств) чудесную комнату со старинной мебелью и синей кафельной печкой. Во флигеле образовалась тогда некая колония художников и актеров, и появление здесь Сабашниковой привело к новым знакомствам Цветаевой; с художниками Милиоти и Вышеславцевым, которые тут жили, вскоре ее свяжут тесные дружеские отношения.

Сабашниковой предложили комнату, скорее всего, потому, что она сумела устроиться на службу в Театральный отдел Наркомпроса, возглавлявшегося Луначарским. В ТЕО сотрудничали многие известные литераторы и ученые; среди прочих отсиживал тут положенные часы – в шубе и боярской шапке – философ Николай Бердяев. Согреваясь стаканом горячей воды, он работал здесь над книгой «Смысл истории», а затем и над книгой о Достоевском.

Сабашникова описала потом эти месяцы в своих мемуарах. Она рассказала, в частности, о еженедельных собраниях узкого круга друзей Бердяева на его квартире в Малом Власьевском переулке. Там читались доклады, проходили собеседования на самые необычные темы. Гости сидели в шубах, выдыхая пар изо рта, но к чаю подавался неизменный пирог из картофельной

шелухи, – правда, год от году он сокращался в размерах. Собирались интереснейшие люди, выступал, например, священник Флоренский; и продолжались эти встречи пять лет подряд, несмотря ни на что.

Шумным успехом Бердяев пользовался в Московском университете – в 1920 году он читал там лекции по философии истории и философии религии, а также вел семинар о Достоевском. На публичные его лекции, хотя о них не сообщали газеты, невозможно было попасть; он вспоминал, как однажды сам с трудом пробрался сквозь запруженную народом лестницу в зал, где должен был читать доклад о книге Освальда Шпенглера «Закат Европы». По словам Бердяева, ни до, ни после того он не видел больше аудитории слушателей, так жадно ловивших каждое его слово.

Приехавший в те месяцы в революционную столицу немецкий журналист Пауль Шеффер восторженно говорил Сабашниковой: «Вы не представляете себе, в какой духовной роскоши вы живете здесь в Москве! Эта разносторонность и активность интересов на Западе больше не существует…»

Душевная боль и тяжкое одиночество душат Марину.

В феврале и марте 1920 года не написано ни одного стихотворения – притом что творчество всегда было для нее спасительной соломинкой. Она нуждается в живом сочувствии; ей необходим хоть кто-нибудь, кому она могла бы уткнуться в плечо со своей бедой, кто-нибудь, кому она была бы нужна. Знакомых множество, но не исчезает ощущение безысходной заброшенности, людной пустоши, – так скажет она об этом в письме к сестре Асе.

2

В мае в Москву приезжает Александр Блок. Четыре года назад Марина горевала, что не увидела его в Петрограде. Теперь вместе с Верой Звягинцевой она идет 9 мая на вечер поэта в Политехнический музей.

И – случай! – она оказывается в толпе у входа, совсем рядом с ним. Видит его впалый висок, худое желтое лицо, ледяные глаза и слипшиеся короткие волосы – все, что сохранилось от некогда высокой пышной шевелюры. На секунду появляется искушение – самой передать приготовленный синий конверт со стихами, написанными ему еще в 1916 году. Конверт в кармане – руку протянуть… Не решилась!

Конверт будет передан в этот вечер поэту через кого-то из знакомых.

Уже из зала Марина увидела, как синий конверт был положен на стол перед Блоком; тот взял его и убрал в нагрудный карман: «так близко от сердца, в котором я никогда не буду», – запишет она вечером в свою тетрадку.

Александр Блок. Фото М. С. Наппельбаума. 1921 г.

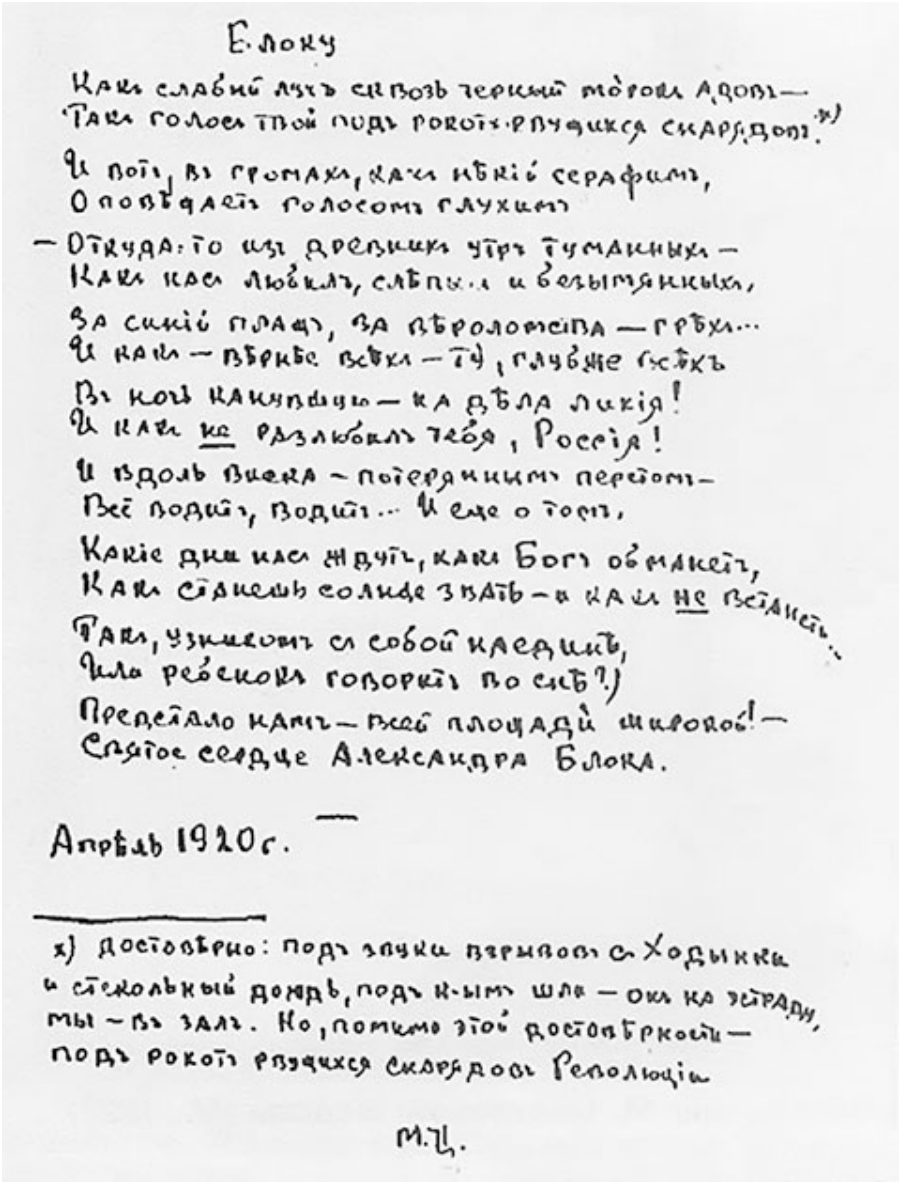
За окнами Политехнического время от времени рвались какие-то снаряды, так что падали стекла из окон зала. Поэт постоянно забывал строки стихов, слушатели ему подсказывали.

Ей казалось, что стихи он читал именно ей.

– Прощай, возьми еще колечко…

Глуховатый его голос и предельно простая манера чтения поразили ее. Ни тени улыбки! «Боюсь, что скоро умрет, нельзя так – без радости!» – записала она вечером. Ах, пусть хоть немой, слепой и глухой – если бы он был с ней! И кажется, чего проще – подойти… «Но обещай мне за это всю любовь Блока – не подойду…» – читаем в той записи.

Второй раз Блок выступает через четыре дня на Поварской, во Дворце искусств. Здесь происходит нечто, что Марина в записной книжке назовет мистическим. Все собравшиеся настойчиво требовали от Блока чтения его поэмы «Двенадцать». Поэт отговаривался – не помнит наизусть. Тогда стали требовать «Незнакомку». Марина записывает:



Блоку

Какъ слабый лучъ сквозь черный мо̀рокъ адовъ —
Такъ голосъ твой подъ рокотъ рвущихся снарядовъ.x)

И вотъ, въ громахъ, какъ нѣкій серафимъ,
Оповѣщаетъ голосомъ глухимъ

— Откуда-то изъ древнихъ утръ туманныхъ —
Какъ насъ любилъ, слѣпыхъ и безымянныхъ,

За синій плащъ, за вѣроломства — грѣхъ...
И какъ — вѣрнѣе всѣхъ — ту, глубже всѣхъ

Въ ночь канувшую — на дѣла ликія!
И какъ не разлюбилъ тебя, Россія!

И вдоль виска — потеряннымъ перстомъ —
Всё водитъ, водитъ... И еще о томъ,

Какіе дни насъ ждутъ, какъ Богъ обманетъ,
Какъ станешь солнце звать — и какъ не встанетъ...

Такъ, узникомъ съ собой наединѣ,
Или ребенокъ говоритъ во снѣ?)

Предстало намъ — всей площади широкой! —
Святое сердце Александра Блока.

Апрѣль 1920 г.

x) Достовѣрно: подъ звуки взрывовъ съ Ходынки и стекольный дождь, подъ к-ымъ шли — онъ на эстраду, мы — въ залъ. Но, помимо этой достовѣрности — подъ рокотъ рвущихся снарядовъ Революціи

М.Ц.

Автограф стихотворения Цветаевой «Блоку». 1920 г.

«У меня на губах: “Седое утро!” Зала: “Двенадцать! Незнакомку!” Я, молча: “Седое утро!” Зала: “Незнакомку!

Незнакомку!” Я, окаменев: “Седое утро!” Блок: “Седое утро”!»

Во время перерыва, за кулисами, художник Милиоти подведет к поэту трогательную, большеглазую семилетнюю Алю. Сделав изящный реверанс, девочка передаст ему еще один конверт. Можно предположить, что теперь в нем лежит стихотворение, написанное только что, после выступления Блока в Политехническом, прямо датированное: «26 апреля 1920 года».

Какой живой портрет в этом цветаевском поэтическом отклике, какое сопереживание – и абсолютный слух!

… И вдоль виска – потерянным перстом –
Всё водит, водит… И еще о том,

Какие дни нас ждут, как Бог обманет,
Как станешь солнце звать – и как не встанет…

Так, узником с собой наедине,
(Или ребенок говорит во сне?)

Предстало нам – всей площади широкой! –
Святое сердце Александра Блока.

Блок принимает от Али конверт улыбаясь.

Но проходит день, другой… И никакого отклика. Наверное, Марина все же втайне на него надеялась: стихи были подписаны. И при других обстоятельствах…

Трудно было, впрочем, не заметить, в каком состоянии находился Блок во все время его приезда в столицу. Он не просто утомлен, он почти болен, ему явно не до встреч и новых знакомств; видно было, что выступал он через силу…

Но и Марине настолько душевно тяжело, что впору уцепиться за соломинку.

3

Как раз в этом же мае ее бедное сердце, судорожно искавшее опоры, тепла, участия, уязвлено очередным увлечением. На этот раз героем его станет художник Николай Николаевич Вышеславцев. Он живет в том же флигеле Дворца искусств, где жила и Маргарита Сабашникова.

Вышеславцев – личность несомненно яркая и нестандартная. Внебрачный сын управляющего имением у графа Кочубея, он получил прекрасное образование, учился живописи и графике у

художника Машкова, затем в течение шести лет продолжал учебу в Париже. Ездил в Италию, хорошо знал языки. Участвовал в войне, был ранен, получил Георгиевский крест. Теперь, как и Сабашникова, он служил в изоотделе Наркомпроса, расписывал панно, рисовал плакаты, оформлял обложки книг. А также писал заказные портреты знакомых литераторов и художников и еще создал галерею так называемых «воображаемых портретов» – то есть давно живших людей искусства. Устраивал вернисажи. В 1920 году во Дворце искусств была организована выставка его работ.

Его кисти принадлежит странный портрет Цветаевой (черная тушь); настолько странный и мало похожий, что возникает сомнение, создан ли он с натуры или заочно, по памяти. Правда, дата, поставленная художником, – 1920 год. Но в подробных цветаевских записях этого времени – ни единого упоминания о сеансах и позировании.

В портрет, который сделает Вышеславцев, тяжело вглядываться.

Это лицо горя. Большие глаза, неулыбающийся, тяжко сомкнутый рот; лицо предельно измученной молодой женщины…

Вышеславцев ходит во френче и синих галифе; он строен, высок, красив. В воспоминаниях о нем упомянуто сильное его заикание, но странным образом эта особенность ни разу не отмечена в записях Марины.

Страстный книголюб, он занимал должность библиотекаря во Дворце искусств и сам скупал книги; со временем он соберет уникально богатую и тонко подобранную библиотеку. Цветаева же в это время усиленно распродает – денег ради – свои книги… Наконец знак начальственного доверия: Вышеславцеву поручена раздача хлебных пайков членам Дворца искусств. Исполняет он эту обязанность с сухой педантичностью и способен не дать хлеб человеку, пришедшему во время его обеда, или старушке, опоздавшей к раздаче. Марина с неудовольствием это отмечает. Но не сразу.

Николай Вышеславцев. Около 1920 г.

С первых минут знакомства – оно произошло ранней весной 1920 года – она восхищена добротной культурой Николая Николаевича. И сразу возносит его на недосягаемую высоту. «Это единственный человек, которого я чувствую выше себя, кроме С.», – отмечает она в записной книжке. (С. – это, конечно, муж, Сергей.) Чувство восхищения у Марины – всегда трамплин к быстро набирающему силу цветению любовного чувства – в его специфическом цветаевском варианте.

В первую встречу он помогает ей пилить и рубить дрова, привезти на санках паек (в одиночку ей с этим не справиться). Они обсуждали новонайденную строку Пушкина, говорили о смерти Розанова, умершего год назад, об «Опавших листьях», собирались поехать вместе на его могилу. Выяснилось, что НН (так Марина будет называть Вышеславцева в своих записях) знает

наизусть некоторые ее стихи. Но, увы, он не любит XVIII век, и вскоре выяснится, что он не любит и не принимает очень многого из мира цветаевских пристрастий.

Долгое время Марина не знает, что Вышеславцев женат и имеет дочь. Однако живет он с семьей врозь. Для характеристики художника показательно, что женился он «из благородства» – потому лишь, что дама сердца оказалась беременной; исполнив же долг, сразу расстался с женой и дочерью. Теперь они в Крыму.

Вместо того чтобы стать утешением после пережитого ужаса этой зимы, новая влюбленность приносит Марине новые страдания. Об этом свидетельствуют ее стихи и записи, которые становятся почти ежедневными.

Благоразумия, способности к прогнозированию отношений, хотя бы махонького расчета у Цветаевой нет и никогда не будет. В сердечных делах она всегда чрезмерно откровенна и недальновидна. Она полагает, что бескорыстие надежно защищает ее от дурных истолкований: ведь от человека, которого она приняла в свое сердце, ей ничего не нужно, кроме доброго ласкового слова, внимания к ее душе! Но мир устроен иначе; ценить такое бескорыстие может только человек того же замеса.

Марина Цветаева. Портрет Н. Вышеславцева. Около 1920 г.

НН решительно не таков. «Упорядоченный» и всегда владеющий собой, он поначалу увлечен Мариной, но резко отходит в сторону, столкнувшись с ее безрассудством. Ее способ существования – непрактичный, импульсивный – выглядит в его глазах хаосом, беспечностью, неразборчивостью в людях, в лучшем случае детскостью. Он сохраняет вежливую предупредительность, но чем дальше, тем острее Марина начинает ощущать его решительное неодобрение – распорядку ее жизни, привычкам, пристрастиям – всей ее природе!

НН поучает ее и выговаривает ей, и даже когда ничего не говорит прямо, она чувствует его осуждение. Она дурная мать – неправильно воспитывает Алю; не спит ночами и считает это в порядке вещей, хотя ночь дана для сна, а не для гостей и разговоров. Кроме того, ему совсем не все равно, что подумают о

них обитатели соллогубовского флигеля, когда Аля приносит ему от Марины букетик душистого горошка. Он придирается к ее слишком вольным высказываниям и готов читать мораль – между тем как часто это всего лишь ее страсть к острому словцу. «Мой язык легкомыслен, – записывает Марина, – я соблазняюсь репликой, бросаю ее в воздух, а НН заносит ее в мой позорный список!»

Она поражена в самое сердце. «Я так это забыла – быть нелюбимой!!! – это так ново для меня!» – записывает она. В записях этих недель она бьется, как пойманная в силки птица, – без толку бьет крылами, страдает от невыносимой душевной боли и решительно не способна увидеть происходящее трезвыми глазами. Она вспоминает давние свои страдания, вызванные разрывом с Нилендером: они были мучительными главным образом тем, что его упреки так и остались ей непонятными. В утешение себе вспоминает Володю Алексеева: вот кто ни в какой ситуации не позволял себе унижать ее поучениями!

Ее новый знакомец оказался не просто моралистом, но и жестокосердым человеком… Он способен сказать об Але, что в ней нет естественности, что у нее «не улыбка, а гримаска». И это говорится прямо в глаза обожающей свое дитя матери! Он пренебрежительно говорит о «стишках» как о «пене слов» (поэту!), способен упрекать Марину в ее чрезмерно восторженном восхищении Блоком. Поэзию его НН называет всего лишь «выплеснутым стаканом», в то время как полотна Рембрандта – «океан»…

С трудом Марина уясняет себе решительное свое несходство с новым кумиром. В ее сознании начинает выстраиваться в один ряд странное для нее беспокойство НН о своей «репутации», и сердечная его глухота, и неприятие книг сестры Аси, и отсутствие вкуса к шутке, и пристрастие к «полезным трудам» – вроде возделывания огородных грядок на территории Дворца. «В нем нет “пронзенности”», – говорит о новом знакомом маленькая Аля, с пеленок усвоившая материнскую шкалу ценностей.

4

Некогда в разговоре с Волошиным Марина пошутила, что от всего умнеет, даже от любви. Но это так и есть.

С пером в руке ежедневно размышляя над тетрадкой, страдая от черствого сердца художника, как только она умеет, Марина упорно вглядывается в суть происходящего.

Ее сердце разрывается, но ум интенсивно включен в

осмысление.

Это ее любимейшее занятие – облекать увиденное в глубине вещей в слова, стихи, формулы. Кажется, если она не назвала словом (письменным!) что-то с ней происходящее, оно просто для нее реально не существует: не было! Чуть ли не каждый перебой ее сердца – объект напряженного наблюдения; она стенограф и кардиограф, она изучает и она лечит себя этими записями! И потому их решительно нельзя читать как обычный дневник. Слишком нестандартен их автор по своему душевному устройству, слишком специфичен сам тип записей. Она размышляет: «Боже мой, а говорят, что нет души! А что у меня сейчас болит? – Не зуб, не голова, не рука, не грудь – нет, грудь! в груди, там, где дышишь… но все время болит, все время ноет, нестерпимо!» Несколькими строками ниже: «Мои пороки: легко целую руку, пишу веселые стихи, люблю Блока – других, клянусь, не знаю!» Рядом рождается афоризм: «У НН – пороки его достоинств. У меня – достоинства моих пороков».

Записи этого мая – и еще июня – в иных местах кажутся какой-то словесной записью смерча, с которым мы оказываемся лицом к лицу; чуть ли не свидетельствами помешательства. Но влюбленность такой безмерной остроты и есть помешательство. Что с того, что продолжается оно не год и не жизнь, а всего несколько месяцев, – от этого боль не легче! «Пишу только для себя, чтобы как-нибудь продышаться сквозь жизнь и день», – записывает она. (Как же неблагоразумно и даже бестактно было издавать ее записные книжки совсем без купюр! Какого бесцеремонного джинна выпустили из бутылки на простор досужих суждений черни! Ни оценить, ни понять истоков этого строя души она не способна. Она ничего тут не может узнать – всё иное! А раз иное, значит… логика черни известна. Из тех же самых соображений Пушкин в свое время протестовал в письме к Вяземскому против издания дневников Джорджа Байрона.)

В записных книжках этого времени – лаборатория будущей ее прозы – и школа саморазвития. Здесь она созревает как превосходный экзистенциальный философ, столь высоко оцененный позже Иосифом Бродским. В эти дни чуть ли не непрерывных страданий Марина открывает для себя новую страсть: сосредоточенных размышлений над повседневным. Она всматривается в обыденное, в то, что прямо перед глазами, – и в самое себя тоже, – анализирует и наблюдает. А наблюдатель она умный, дотошный, не скользящий по частностям, настойчиво ищущий корни, скрытые от невнимательных глаз. Она явно получает наслаждение от этого доискивания. Но движет ею деятельный интерес – не к философствованию! – к живой жизни,

ее скрытым законам, которые так часто утоплены и в правилах поведения, и в слишком торопливых и пошлых суждениях.

Кроме того, когда она пишет, смягчается, на время утихает ее непрестанная душевная боль, которая ни в чем не уступает физической.

Размышляя над философией Паскаля и Ницше, Лев Шестов обращал внимание на эту закономерность: соотнесение великой боли с высочайшими прозрениями этих философов. «Только боль – великий освободитель духа… Только великая боль, та длинная медленная боль, при которой мы будто сгораем на сырых дровах, только эта боль заставляет нас, философов, опуститься в последние наши глубины, и все доверчивое, добродушное, прикрывающее, мягкое, в чем, быть может, мы сами прежде полагали свою человечность, отбросить от себя…» Чтобы увидеть некие важнейшие закономерности, добавим мы.

Возможно, нам стоит радоваться тому, что рядом с Цветаевой не часто оказывался достойный собеседник, – тогда бы она, пожалуй, больше проговаривала и меньше записывала….

При всем том Вышеславцев просит переписать для него ее стихи. Но Марина решительно отказывается. Ее поэзия – это не просто «литература», не «стишки». «Под сеткой стихотворной формы – живая душа: мой смех, мой крик, мой вздох, то, что во сне снилось, то, что сказать хотелось, – неужели Вы не понимаете? – живой человек – я. Как же мне все это: улыбку, крик, вздох, протянутые руки – живое! – отдавать Вам, которому это нужно только как стихи?!.. Ибо не я же! – не моей породы поэты – Ваши любимые!»

Встреча с Вышеславцевым была ее первой жизненной встречей – лицом к лицу! – с человеком-Kulturprodukt'ом, сам феномен которого она потом не раз описывала. То есть с породой людей, принадлежащих к сонму «уравновешенно-гармоничных» рационалистов, холодных умников, «мозговиков», как назвал их Андрей Белый, – красноречиво витийствующих, но обделенных жаром сердца; интеллектуальных «гастрономов» и «эстетов», способных любить живое в книге и на картине, но глухих к нему в реальной жизни.

> – С мародером, с вором, но не дай с гастрономом,
> Боже, дело иметь, Боже, в сене уснуть! –

так скажет она в 1935 году в поэме «Автобус». О таких она напишет и свой цикл «Гамлет». С людьми этого сорта она будет сталкиваться и в редакциях, и в знакомых домах, и в иных гостиных, и со временем научится быстрее распознавать, с кем

имеет дело…

В веренице цветаевских Любовей Вышеславцев займет место скалы, о гранитные колена которой можно только разбиться. Из этой скалы не выжмешь ни сердечного понимания, ни сострадания, ни случайного доброго слова. «Дробясь о гранитные ваши колена…» – это об НИ; это его обличительным филиппикам, больно вонзавшимся в самое сердце Марины, мы обязаны жизнелюбивым пафосом цветаевских гордых строк:

Кто создан из камня, кто создан из глины,
Ая серебрюсь и сверкаю…

За май она создает 27 стихотворений!

Возникает цикл «Н. Н. В.». Какой контраст тона в сравнении с циклом «Комедьант»! Какие горькие мотивы впервые тут зазвучали – и какие новые грани души получили поэтическое воплощение!

Внутренний сюжет цикла легко проследить по строкам стихов: от игры-шутки («Что меня к тебе влечет – / Вовсе не твоя заслуга! / Просто страх, что роза щек – / Отцветет…»), через успокоительно горделивое («Мой путь не лежит мимо дому – твоего, / Мой путь не лежит мимо дома – ничьего…»), через обличительное: «Ты каменный, а я пою», – к самозащите, переходящей в атаку:

Не так уж подло и не так уж просто,
Как хочется тебе, чтоб крепче спать…

Сначала шутя, затем все более всерьез и наконец гневно она в стихах цикла… защищается! Но и ее презрение выказано тут с великолепным достоинством:

Суда поспешно не чини:
Непрочен суд земной!
И голубиной – не черни
Галчонка – белизной.
А впрочем – что ж, коли не лень!
Но всех перелюбя,
Быть может, я в тот черный день
Очнусь – белей тебя!

Тот же адресат дает импульс к появлению двух вариантов

стихотворения с одинаковым началом: «Пригвождена к позорному столбу / Славянской совести старинной…» И еще одного, в котором – строки:

Ты этого хотел. – Так. – Аллилуйя.
Я руку, бьющую меня, целую.
В грудь оттолкнувшую – к груди тяну,
Чтоб, удивясь, прослушал – тишину…

Мы читаем стихи цикла – и, увы, прощаемся с молодой Цветаевой на взлете ее поэтического искусства: первая вершина достигнута. Вторая будет покорена в чешский период, третья – к середине тридцатых годов. Но уже к концу этого 1920-го от прелестной прозрачности стиха ранней Цветаевой не останется и следа… Трагическое начало изменит сам тембр ее поэтического голоса.

Влюбленность в художника принесла переживание чуть ли не презрительного отвержения. Только этого и не хватало в тот год одеревеневшей от горя Марине.

5

В ее окружении все, кто может, стараются в это время уехать из Москвы. Кто за границу, кто ближе – как Вячеслав Иванов, например, вскоре переселившийся в Баку.

Впервые с Вячеславом Ивановым они разговорились, возвращаясь с юбилея Бальмонта, празднично, с обилием цветов и приветствий, отмеченного в мае во Дворце искусств. Встреча пробудила в обоих искренний интерес, и вскоре мэтр пришел в ее борисоглебскую квартиру. Их долгий разговор Марина, разумеется, по свежим следам записала. И похоже на то, что эта встреча помогла ей изжить НИ из сердца – хотя и не сразу.

– Вам скучно жить? – спрашивает Вячеслав Иванович, оглядывая разгром нижних комнат и полутемную комнатку Марины.

– Нет, всё – только не это.

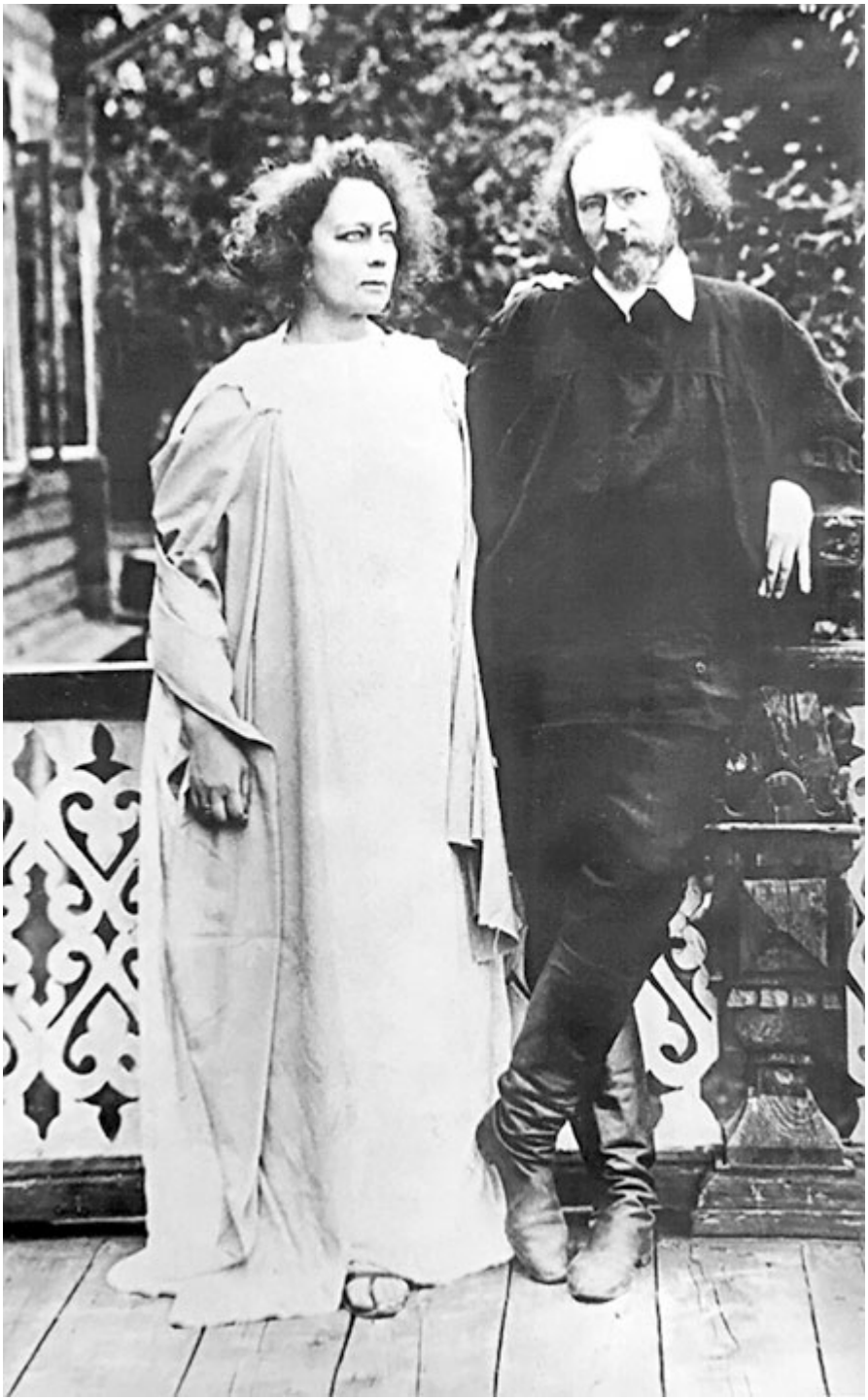
С изумлением собеседник узнает, что Марина – не разведенная жена, как он почему-то решил, и что ее самая сокровенная мечта – вновь встретиться с мужем.

– Чем же Вы живете? Откуда достаете деньги?

– Так, продаю иногда вещи, теперь вот есть паек…

– Но вещи же тоже когда-нибудь истощатся… Вы беззаботны?

– Да.



Вячеслав Иванов с женой Лидией Зиновьевой-Аннибал

Вячеслав Иванович пытается выступить в роли

благоразумного друга; он говорит о переводах как возможности заработка.

– Но мне хочется писать свое! – протестует Марина. И рассказывает о своем увлечении записными книжками.

Но в глазах Иванова это хорошо только как материал к чему-то большему. Тогда пусть она пишет роман.

– У Вас есть наблюдательность и любовь, и Вы очень умны… Я призываю Вас не к маленьким холмикам, а к снеговым вершинам…

И снова Марина возражает: она еще слишком молода, ей надо откипеть…

– Я пока еще вижу только себя и свое в мире, мне надо быть старше…

– Ну пишите себя, свое, первый роман будет резко индивидуален, потом придет объективность. Можно автобиографию, но не как Ваша сестра, а как «Детство» и «Отрочество»… Вы христианка?

– Теперь, когда Бог обижен, я его люблю.

– Бог всегда обижен, мы должны помогать быть Богу.

«Эх, Вячеслав Иванович! – записывает Марина, комментируя их разговор о романе. – Вы немножко забыли, что я не только дочь профессора Цветаева, сильная к истории, филологии и труду (всё это есть), не только острый ум, не только дарование, которое надо осуществить в большом – наибольшем – но еще женщина, которой каждый встречный может выбить перо из рук, дух из ребер!»

Разговор получился долгим, но по записи видно, что преисполненный собой мэтр мало на что откликнулся из собственно цветаевских тем и проблем, ничего толком в ней не понял, ни о чем не догадался – кроме того, что она умна как бес. Встречи еще, видимо, были; в июне появилась дневниковая запись, зафиксировавшая лестные слова поэта: «С Вами не надо говорить, только изредка удостовериться: здесь ли Вы думаете – или уже дальше…»

Вячеслав Иванов. Портрет Н. Ульянова

Готовится к отъезду и Бальмонт с семьей – «последние настоящие друзья», как назовет их маленькая Аля в своем письме крестной в Крым. Бальмонт для Марины давно стал «братик». Испытания революционных московских лет, когда они виделись почти ежедневно и делились друг с другом последней щепоткой табака, последней картофелиной, последней щепкой, породнили их. Сама безбытная, Марина обожала в Бальмонте его полную внутреннюю свободу от быта. «…Земля под ногами Бальмонта всегда приподнята, то есть он ходит по первому низкому небу земли», – скажет она о своем друге почти двадцать лет спустя, на парижском вечере, призванном собрать средства в помощь больному поэту.

Верный своей природе, Бальмонт временами испытывает к Марине чувства более нежные, чем братские, и жалуется ей самой

на ее холодность. Но он рыцарски принимает ее верность мужу и только просит: «Если ты когда-нибудь почувствуешь себя свободной…»

– Никогда! – успевает вставить Марина.

– Если ты когда-нибудь отчаешься, – продолжает Бальмонт, – в минуту нежной прихоти – подари мне себя! – И, после паузы: – Глупые женщины! Нужно не иметь никакого чутья к красоте, чтобы не понимать, как это было бы прекрасно: ребенок от Бальмонта и Марины Цветаевой!

Их сердечной дружбы это не разрушило.

И вот воспоминание самого Бальмонта о том времени из его книги «Где мой дом?», написанной всего через три года:

«Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к Поварской. Я иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так радостно с ней быть, когда жизнь притиснет особенно немилосердно. Мы шутим, смеемся, читаем друг другу стихи. И хоть мы совсем не влюблены друг в друга, вряд ли многие влюбленные бывают так нежны и внимательны друг к другу при встречах. ‹…›

В тот день наше свидание было не совсем обычным. Проходя по переулку, я увидел лежащий на земле труп только что павшей лошади. Я наклонился к ней. Она была еще теплая. Быть может, всего час тому назад, всего полчаса, она перестала жить. Но кто-то уже успел отхватить от нее одну заднюю ногу, обеспечив себе не один сегодняшний обед. ‹…›

Эта злая примета прогнала мою веселость, и, когда я постучался к Марине, я услышал, что за дверью кто-то бегает, но не торопится мне открыть. Я подивился и, обеспокоенный, постучался опять.

– Сейчас, сейчас… – раздался звонкий голос Марины. Дверь распахнулась, и моя поэтесса, с мальчишески-задорным лицом, тряхнула своими короткими волосами и со смехом сказала:

– Вот что, Бальмонтик, идти ко мне в гости нынче опасно. Посмотрите.

В зале, которая находилась рядом с приемной и вела в комнату Марины, был, частию, стеклянный потолок. Он был пробит в нескольких местах, а на полу валялись огромные куски штукатурки. Это в верхнем этаже обвалился потолок, пробил стеклянный потолок залы, и тяжелые куски штукатурки от времени до времени еще продолжали падать.

– Я не боюсь, – сказал я. И, взявшись за руки, как дети, мы со смехом быстро пробежали в ее комнату, под грозно зиявшим обезображенным потолком залы. Головы наши остались целы. Очевидно, они еще зачем-то были нужны Судьбе. ‹…›

Марина Цветаева страстная курильщица. Но у бедняжки есть

табак и нет гильз. Она лукаво подмигивает мне и говорит: “Хотите?” При этом отрывает от старой газеты, лежащей на столе, бумажную ленточку и начинает изготовлять то, что называется цигаркой или же козьей ножкой. Я предоставляю ей художественно свернуть козью ножку, но, когда она хочет закурить, я ласково удерживаю ее и говорю: “Нет, сегодня не нужно. Я сегодня богат”. Правда, у меня в кармане целых семь папирос, и мы четыре из них выкурим, может быть, даже пять.

Марина добрая и безрассудная. Она не хочет оставаться в долгу. У нее в доме несколько картофелин. Она все их приносит мне и заставляет съесть».

Несмотря на разницу лет, им всегда было легко друг с другом; «с ним у меня веселье и веселие, grande camaraderie[9], с ним я, он со мной – мальчишка, – записывала Марина. – С ним бы мне хотелось прожить 93-й год в Париже, мы бы с ним восхитительно взошли на эшафот…»

Незадолго до отъезда из Москвы Бальмонт дарит Марине новых друзей – ими станут вдова недавно скончавшегося композитора Скрябина и друг композитора, пианист и актер Чабров, прославившийся исполнением роли Арлекина в спектакле Таирова «Покрывало Пьеретты»…

Юргис Балтрушайтис, с которым Бальмонт был давно дружен, стал к этому времени литовским посланником в Москве и помог поэту во всех предотъездных хлопотах. Он сумел достать заграничный паспорт и даже предоставил открытый грузовик своего посольства. И вот 12 июня Марина провожает своего друга в дальнюю дорогу из его дома в Николо-Песковском переулке.

Это уже вторые его проводы: первые были почти торжественны. Они проходили в доме Скрябиных, где сервировалось изысканное угощение: подавали картошку с перцем, а затем настоящий чай в безукоризненном фарфоре. Все говорили трогательные слова и целовались. Но на следующий день возникли какие-то неполадки с эстонской визой, и отъезд был отложен. Окончательные проводы происходили в квартире самих Бальмонтов – в невыразимом ералаше, табачном дыму, самоварном угаре и сутолоке.

«С отъездом Бальмонтов для меня кончается Москва, – записывала Марина в свою тетрадку. – Пустыня. – Кладбище. – Я давно уже чувствую себя тенью, посещающей места, где жила… Недавно я, сидя на зеленом жестяном сундуке, ревела громко и немножко declamatoire[10], – отводила душу.

– Да, да, все уезжают, да, никто не берет, потому что я не нужна, да, да, а я останусь со стульями и блюдами и мужскими

костюмами, я, которой ничего не нужно! – а другие будут ходить по улицам Парижа и тропинкам Кавказа, а я умру – умру – умру…

Аля утешала, но я не хотела, чтобы меня утешали, мне лучше было – так…»

Татьяна Шлёцер, вдова Александра Скрябина. Портрет Н. Вышеславцев

С лета 1920 года дом Скрябиных становится для Марины родным пристанищем.

Он в двух шагах от Борисоглебского – в Николо-Песковском

переулке. Тут всегда чисто, тепло, и сюда приходят замечательные люди: Бальмонт, Волконский, Балтрушайтис, Борис Зайцев, Андрей Белый, Леонид Пастернак, Гершензон, Бердяев, Чабров.

Марина обретает здесь еще одну дружбу – с Татьяной Федоровной Шлёцер, вдовой композитора. То была худенькая, черноглазая, грациозная и печальная женщина, обладавшая острым и живым умом. Татьяна Федоровна старше Марины на десять лет и тоже пишет стихи. «Она точно с какого-то острова, где все говорят тихо и чувствуют нежно, не только не русская, но – правда – неземная», – отзывается о ней Цветаева в своем дневнике. Позже она вспоминала: «Я была с ней в дружбе 2 года подряд, – ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся в деле и в беседе, мужская, вне нежности земных примет…»

Вдвоем с Татьяной Федоровной они бродили вечерами, а то и ночами, по зимней Москве – одна в котиковой шубе и туфельках на каблуках, другая (Марина, конечно!) – «медведем в валенках». Им было легче вместе в этой страшной московской жизни, они собирались вместе и уехать из России.

Но вдова Скрябина была больна, и весной 1922 года – ровно за месяц до отъезда Марины к мужу – она умерла от воспаления мозга.

Глава 25
Плач Ярославны

1

Между тем Чека год от году наращивала мускулы. Год 1920-й отмечен в хронике большевистских репрессий делом «церковников» (в январе) и еще более – первым процессом против интеллигенции – так называемым «Делом тактического центра» (в августе). Центра, в сущности, никакого не было, не было и никакой организации, но «дело» коснулось двадцати восьми видных представителей российской интеллигенции; в их числе оказались, среди других, видный историк С. П. Мельгунов и дочь национального гения Александра Толстая. В связи с «делом» допрашивали множество лиц, знакомых всей Москве. Прокурор требовал расстрела всех обвиняемых. И только потом высшая мера была заменена тюрьмой.

Обвинитель Крыленко, известный своими блестящими речами, потребовал смертного приговора и для Владимира Джунковского, бывшего московского губернатора, позднее – адъютанта царя и шефа полиции. На процессе Джунковского, проходившем в здании Купеческого собрания, присутствовала Маргарита Сабашникова (тогда еще публика допускалась в зал суда свободно), и очень вероятно, что от Маргариты Васильевны Цветаева знала подробности судебного разбирательства.

Она хорошо помнила Джунковского; по крайней мере однажды они встречались в одном из московских домов, куда их с Асей привел отец. Иван Владимирович тогда, к счастью, не понял, что вытворили его дочери в присутствии губернатора и множества уважаемых людей. Джунковский в тот вечер пришел позже других.

«Знакомимся. Мил, обаятелен. Меня принимает за взрослую, спрашивает, люблю ли я музыку. И отец, памятуя мое допотопное вундеркиндство:

– Как же, как же, она у нас с пяти лет играет!

Джунковский, любезно:

– Может быть, сыграете?

Я, ломаясь:

– Я так всё перезабыла… Боюсь, вы будете разочарованы…

Учтивость Джунковского, уговоры гостей, настойчивость отца, испуг приятельницы, мое согласие.

– Только разрешите, для храбрости, сначала с сестрой в четыре руки?

– О, пожалуйста».

Скверные девчонки садятся к роялю и – играют «гаммы наоборот» со смещенными клавишами и громким счетом вслух.

«Отец – Джунковскому: “Ну, как вы находите?”

И Джунковский, в свою очередь вставая: “Благодарю вас, очень отчетливо”».

«Мне было пятнадцать лет, я была дерзка, – комментировала сама Цветаева, вспоминая позже этот эпизод, – Асе было тринадцать лет, и она была нагла…»

И вот этому-то милому и обаятельному Джунковскому теперь – смертный приговор?!

Не хочу ни любви, ни почестей:
– Опьянительны. – Не падка!
Даже яблочка мне не хочется
– Соблазнительного – с лотка…

– Что-то цепью за мной волочится,
Скоро громом начнет греметь.

– Как мне хочется,
Как мне хочется –
Потихонечку умереть!

Эти строки написаны в июле.

А в сентябре из Крыма приезжает Эренбург и привозит еще одно тяжелейшее известие: о смерти Бориса Трухачева. Марина была нежно привязана к первому мужу сестры; она числила его в своих ближайших друзьях; какое-то время, в начале революции, он даже жил в одной из комнат борисоглебской квартиры…

Ей трудно поверить в случившееся.

На протяжении чуть ли не всей жизни Цветаева подробно записывала свои сны (какая сокровищница для психоаналитиков!). И все месяцы этого года ей снится маленькая Ирина; теперь снится Трухачев…

И постоянно снится Сережа…

2

Между тем дни Белого движения на Юге России сочтены. В Риге 30 сентября большевики подписали перемирие с Польшей, и

это сразу позволило им собрать против Врангеля впятеро большие силы.

Воспоминания уцелевших марковцев позволяют восстановить самые последние дни сопротивления Добровольческой армии.

Пятнадцатого октября 1920 года началось общее наступление всех армий Южного фронта. 21 октября 3-й полк марковцев под командованием подполковника Сагайдачного (именно в нем сражается Сергей Эфрон) ведет жесточайший бой на переправе, соединяющей Сиваш с Азовским морем.

Полк прикрывает отход армии генерала Врангеля, которая пытается перейти в Крым. Начальником обороны Крыма становится генерал Кутепов. 29 октября тот же марковский полк – всего восемьсот бойцов, восемь орудий и три десятка пулеметов – получает приказ Кутепова обеспечить порядок уже начавшейся эвакуации войск из Крыма.

Первого ноября уцелевшие в последнем бою (30 октября) марковцы погрузились в Севастополе на переполненный транспорт «Херсон», отправлявшийся в Турцию.

Иные, впрочем, грузились в других портах и попали на другие суда…

Нечего и говорить, что никаких реальных сведений и подробностей боевых действий на Юге в большевистские газеты не просачивалось…

Страшный вечер 20 ноября 1920 года Марина коротко записала в своей тетради. Она была в Камерном театре на премьере пьесы Клоделя «Благовещенье».

Внезапно в антракте на освещенную авансцену перед закрытым занавесом вышел режиссер. Он объявил о только что полученном чрезвычайном известии: Гражданская война закончена! Войска Врангеля окончательно разгромлены, остатки Добровольческой армии сброшены в море!

Посреди бурно зашумевшего зрительного зала, разом вставшего и в ликовании грянувшего «Интернационал», Цветаева не могла заставить себя шевельнуться. Окаменение, столбняк овладели ею, как всегда при сильном потрясении, все равно – радостном или скорбном. Ослепшая и оглохшая, она мысленно летела зегзицей туда, в Крым, к полегшим в последних боях и к «сброшенным в море».

Убит? Жив? Ранен?

Через несколько дней рождаются строфы:

Буду выспрашивать воды широкого Дона,
Буду выспрашивать волны турецкого моря,
Смуглое солнце, что в каждом бою им светило,

Гулкие выси, где ворон, насытившись, дремлет.

Скажет мне Дон: – Не видал я таких загорелых!
Скажет мне море: – Всех слез моих плакать – не хватит!
Солнце в ладони уйдет, и прокаркает ворон:
Трижды сто лет я живу – кости не видел белее!

Я журавлем полечу по казачьим станицам:
Плачут! – дорожную пыль допрошу: провожает!
Машет ковыль-трава вслед, распушила султаны.
Красен, ох, красен кизил на горбу Перекопа!

Всех допрошу: тех, кто с миром в ту лютую пору
В люльке мотались.
Череп в камнях – и тому не уйти от допросу:
Белый поход, ты нашел своего летописца.

По сути то был первый вариант ее «Плача Ярославны», написанного через месяц.

Нарком просвещения Луначарский поспособствовал тому чтобы была послана телеграмма Марины Волошину с запросом о Сергее. Тут же, в ТЕО – среди шума и гама, – Марина пишет письмо Максу; Эренбург обещал передать его с оказией. «Умоляю, – пишет Марина (недоговаривая и так понятное), – дай мне знать, – места себе не нахожу, каждый стук в дверь повергает меня в ледяной ужас – ради Бога!!!»

Пользуясь той же оказией, она спешно пишет и сестре, которая все еще в Крыму. И в этом письме – о том же: «Думаю о нем день и ночь, люблю только тебя и его. ‹…› Если бы я знала, что жив, я была бы – совершенно счастлива…»

3

Будни этой зимы Марина описывает в нескольких письмах к поэту Евгению Ланну. Страницы писем читаются как настоящая документальная проза. Вот только один отрывок:

«Сидим с Алей, пишем. – Вечер. – Дверь – без стука – настежь. Военный из комиссариата. Высокий, худой, папаха. – Лет 19.

– Вы гражданка такая-то?

– Я.

– Я пришел на Вас составить протокол.

– Ага.

Он, думая, что я не расслышала:

– Протокол.

– Понимаю.

– Вы путем незакрывания крана и переполнения засоренной раковины разломали новую плиту в 4 №.

– То есть?

– Вода, протекая через пол, постепенно размывала кирпичи. Плита рухнула.

– Так.

– Вы разводили в кухне кроликов.

– Это не я, это чужие.

– Но Вы являетесь хозяйкой?

– Да.

– Вы должны следить за чистотой.

– Да, да, Вы правы.

– У Вас еще в квартире 2-й этаж?

– Да, наверху мезонин.

– Как?

– Мезонин.

– Мизимим, мизимим, – как это пишется – мизимим?

Говорю. Пишет. Показывает. Я, одобряюще: “Верно”.

– Стыдно, гражданка, Вы интеллигентный человек!

– В том-то и вся беда, – если бы я была менее интеллигентна, всего этого бы не случилось, – я ведь все время пишу.

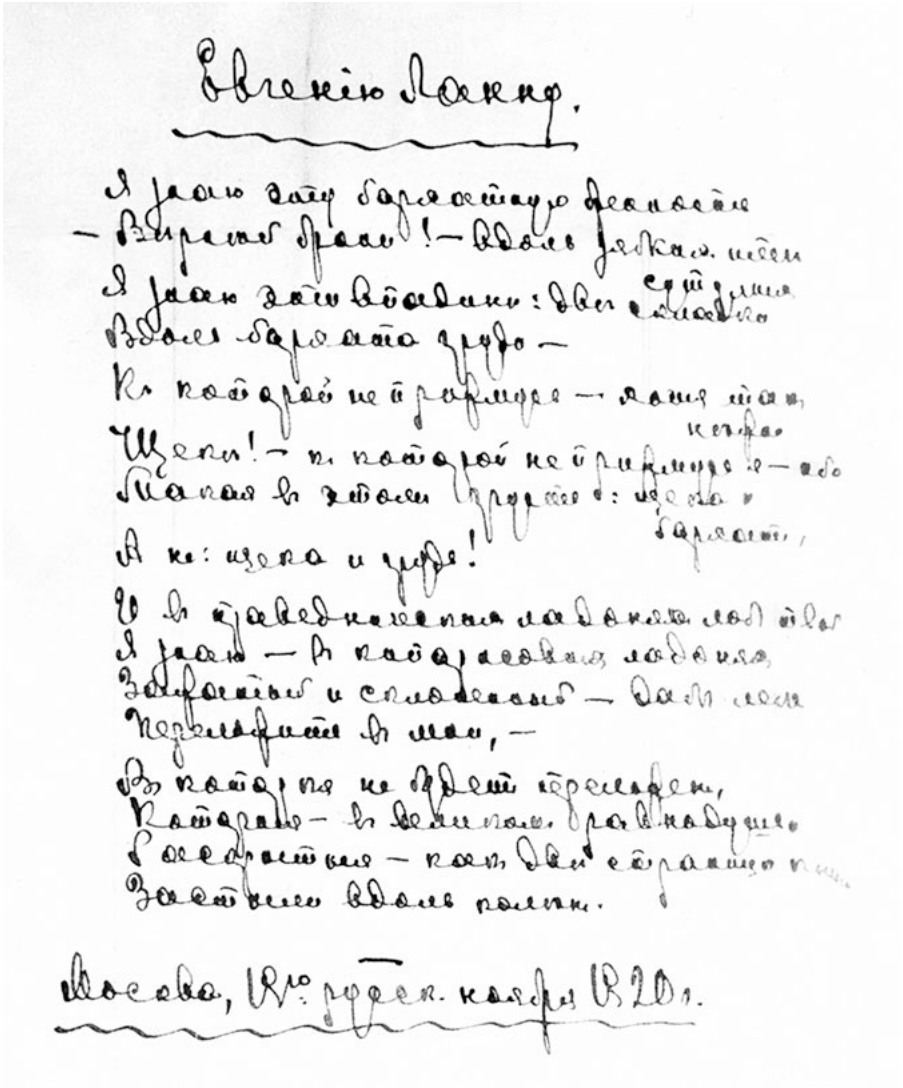
– А что именно?

– Стихи.

– Сочиняете?

– Да.

– Очень приятно. – Пауза.



Автограф стихотворения М. Цветаевой, обращенного к Е. Ланну

– Гражданка, Вы бы не поправили мне протокол?

– Давайте, напишу, Вы говорите, а я буду писать.

– Неудобно, на себя же.

– Все равно, – скорей будет! – Пишу. Он любуется почерком: быстротой и красотой.

– Сразу видно, что писательница. Как же это Вы с такими способностями лучшей квартиры не займете? Ведь это – простите за выражение – дыра!

Аля: – Трущоба.

Пишем. Подписываемся. Вежливо отдает под козырек.

Исчезает.

И вчера, в 10½, вечера – батюшки-светы! – опять он.

– Не бойтесь, гражданка, старый знакомый! Я опять к Вам, тут кое-что поправить нужно.

– Пожалуйста.

– Так что я Вас опять затрудню.

– Як Вашим услугам. – Аля, очисти на столе.

– Может быть, Вы что добавите в свое оправдание?

– Не знаю… Кролики не мои, поросята не мои – и уже съедены.

– А, еще и поросенок был? Это запишем.

– Не знаю… Нечего добавлять…

– Кролики… кролики… И холодно же у Вас тут должно быть, гражданка. – Жаль!

Аля: – Кого – кроликов или маму?

Он: – Да вообще… Кролики… Они ведь все грызут.

Аля: – И мамины матрасы изгрызли на кухне, а поросенок жил в моей ванне.

Я: – Этого не пишите!

Он: – Жалко мне Вас, гражданка!

Предлагает папиросу. Пишем. Уже У, двенадцатого.

– Раньше-то, наверное, не так жили…

И, уходя: “Или арест или денежный штраф в размере 50 тысяч. – Я же сам и приду”.

Аля: – С револьвером?

Он: – Этого, барышня, не бойтесь!

Аля: – Вы не умеете стрелять?

Он: – Умею-то, умею, но… – жалко гражданку!»

4

В несколько дней в самом начале 1921 года Марина создает поэму «На Красном Коне». Поэма поразила поклонников Цветаевой: в ее строе не осталось и следа прежней стилистики. Зато гипнотической силы ритмика ведет здесь за собой читателя; ведет вернее смысловой тяги, буквально завораживая до и помимо предметных расшифровок. Поэма написана от первого лица как личная исповедь, она воссоздает путь героини, и это цепь ее страшных отречений – во исполнение воли Всадника – от всех земных привязанностей. Всаднику безоглядно подчинена ее душа, но он не назван никаким именем, только устами бабки-колдуньи поименован – «твой Ангел» и «твой Гений».

Конный требует от героини трех жертв: куклы, друга и ребенка, – и эти жертвы ему приносятся! Героиня притянута к Конному некоей мистической силой высшей предназначенности, высшей преданности: «предан – как продан, предан – как пригвожден» – так скажет Цветаева об этой зависимости позже.

И по сей день продолжаются попытки дешифровать поэму. Одни настаивают на том, что в образе Всадника следует видеть обожествленного Цветаевой Блока, другие – «мужское воплощение музы», третьи – Гения в античном смысле этого слова, который неумолимо ведет каждого человека по ему одному предназначенному пути…

В начале 1921 года Валерий Брюсов организовал в Большом зале Политехнического музея вечер поэтесс. К участию в вечере Марину пригласила поэтесса Адалис; в цветаевской тетради воспроизведен их задорный диалог. Уговорить Цветаеву не просто: она ни за что не желает выступать вместе с коммунистками. Кто там еще будет рядом? «Вечер совершенно вне?» – удостоверяется она. «Совершенно вне», – подтверждает Адалис. Только тогда Марина соглашается участвовать – в виде исключения, из симпатии к Адалис, хотя она не выносит объединений в искусстве по половому признаку.

Валерий Брюсов. Начало 1920-х гг.

Участвуют поэтессы совершенно разномастные, одеты они кто во что горазд. Более других запоминается Марине одна – высокая, лихорадочная, сплошь танцующая – туфелькой, пальцами, кольцами, соболиными хвостиками, жемчугами, зубами, кокаином в зрачках. Сама же Марина, по ее словам, «в тот день была явлена “Риму и Миру” в зеленом, вроде подрясника, – платьем не назовешь (перефразировка лучших времен пальто), честно (то есть – тесно) стянутом не офицерским даже, а юнкерским… ремнем. Через плечо офицерская же сумка…» Ноги Марины – в серых валенках и в окружении лакированных лодочек выглядят столпами слона.

Лица поэтесс – синие, в зале три градуса ниже нуля. Из-за близорукости Марина не видит лиц, но по грубоватости гула и сильному запаху голенищ легко заключает, что зал – молодой и военный.

Гул нарастает. Вступительную лекцию Брюсова о женском творчестве никто не хочет слушать. Между тем мысль Брюсова несложна; на все лады он варьировал одно: женщина – любовь – страсть, во все времена женщина умела петь только о любви и страсти…

Вот как?! Насторожившись с первых же слов, Цветаева торопливо закладывает спичками черную свою конторскую книжку стихов. Она негодует и рвется в бой, но Брюсов задумал очередность выступлений по алфавиту.

К счастью, поэтессы одна за другой отказываются – трусят выступать первыми. Тогда Марина вызывается сама.

Она стоит на эстраде, больше похожей на арену цирка, подняв тетрадку со стихами близко к глазам, в своих великолепных валенках, и с превосходной дикцией читает подряд – семь стихотворений.

Ни в одном из них – ни слова о любви! Это стихи о добровольцах, о Доне, об Андре Шенье, еще и еще из «Лебединого стана», – и, наконец, свой «Плач Ярославны», только что написанный.

После каждого прочтенного стихотворения – недоуменная секунда тишины и – рукоплещут!

Цветаева трезво отдает себе отчет в том, что на вечере поэтесс дело, во-первых, вообще не в стихах. И во-вторых, смысл стиха со слуха в первый раз никогда не воспринимается. Последнее прочитанное стихотворение было вообще – сальто на канате:

Руку на́ сердце положа:
Я не знатная госпожа!
Я – мятежница лбом и чревом…

И в конце:

Да, ура! – За царя! – Ура!
Восхитительные утра
Всех, с начала вселенной, въездов!
Выше башен летит чепец!..

И далее, и далее – в том же духе, весьма весело.

Стих этот, скажет позже Цветаева, был ее в тот час перед красноармейцами последней правдой – правдой жены белого офицера…

Но тут уж ее решительно прервал похолодевший Брюсов.

И ведь обошлось! А она осталась с надеждой, что, может быть, хоть один человек в зале внятно расслышал бунт.

Слово свободного человека, не втиснутого ни в какие рамки – пола или политики!

Март 1921 года был ознаменован Кронштадтским мятежом против большевиков и принятым на X съезде РКП(б) решением о переходе к новой экономической политике. Результатом этого решения стало появление в стране небольших частных предприятий, оживление торговли – и не только торговли. Однако видимых глазу улучшений жизни для рядового гражданина республики придется ждать еще долго. Французская журналистка Луиза Вейсс, оказавшаяся той весной в Москве, так описывала увиденное: «На ступеньках Рязанского вокзала крестьяне продают масло, муку, пирожки. Целые семьи лежат вокруг костров, горящих на мостовой улиц… Мужчины во фрачных штанах и кожаных куртках, женщины в шубах и лаптях, другие с голыми ногами и в сапогах… Молодые люди, украшенные красными значками, предлагали лисьи и овечьи шкурки, отрезки материй; маленькие девочки старались продать разбитые зеркала, вышитые сумочки… И сотни людей, бледнее, чем болезнь, изнеможеннее, чем смерть…»

В апреле того же 1921 года Блок записал в дневник: «Вошь победила весь свет. Это уже свершившееся дело, и всё теперь будет меняться только в одну сторону, а не в ту, в которой жили мы, которую любили мы…»

И все же каждый вечер в Москве проходят чтения новых

литературных произведений – в кафе и в кружках «Звено», «Литературный особняк», «Лирический крут», «Никитинские субботники». Осенью откроется московское отделение Вольной философской ассоциации («Вольфилы»), куда вошли Бердяев, Гершензон, Шпет и другие философы…

На Никитской улице продолжает функционировать Книжная лавка писателей. Она создана была еще в 1918 году на паях, и предполагалось, что со временем это книготорговое предприятие преобразуется в кооперативное издательство. За прилавком стоят известные литераторы, историки, философы – Осоргин, Зайцев, Дживелегов, Муратов, Бердяев, Грифцов. Они продают книги – свои, чужие и бесхозные, а также новые, изготовленные – как тут шутят – «способом преодоленного Гутенберга», то есть рукописные. Прозаикам и философам трудно этим воспользоваться, но для поэтов вполне удобно: они переписывают свои стихи от руки, самодельным образом украшают обложку, сделанную из чего придется, сшивают листы вощеной ниткой в тетрадочки, – и товар идет на прилавок. Так Марина изготовила девять своих сборничков – в частности «Современникам» (стихи к Блоку, Ахматовой и Волконскому), «Стихи к Блоку», «Разлуку», «Мариулу»… Проданные экземпляры оказывались все же каким-никаким материальным подспорьем.

В книжных лавках «Задруга» и «Колос» можно было теперь купить и заграничные русские издания: номера журнала «Современные записки», начавшего выходить в Париже. Или появившийся в конце этого года сборник «Смена вех».

В мартовском письме Волошину Марина пишет: «Москва пайковая, деловая, бытовая, заборы сняты, грязная, купола в Кремле черные, на них вороны, все ходят в защитном, на каждом шагу клуб – студия – театр и танец пожирают всё. – Но – свободно, – можно жить, ничего не зная, если только не замечать бытовых бед.

Я, Макс, уже ничего больше не люблю, ни-че-го, кроме содержания человеческой грудной клетки. О С. думаю всечасно, любила многих, никого не любила…»

Этой весной Илья Эренбург выхлопотал себе разрешение на временный отъезд за границу. С Цветаевой у них уже давно установились дружеские отношения, и Илья Григорьевич пообещал: сразу же, как прибудет в Европу, он наведет справки о Сергее Эфроне. И если найдет – передаст ему письмо и стихи.

Марина отбирает самые любимые и, торопясь, переписывает, чтобы послать с Эренбургом, – скорее всего, это стихи из «Лебединого стана».

Ее письмо мужу полно отчаяния. «Мне страшно Вам писать, я так давно живу в тупом задеревенелом ужасе, не смея надеяться, что живы – и лбом – руками – грудью отталкиваю то, другое. – Не смею. – Вот все мои мысли о Вас… Если Богу нужно от меня покорности, – есть, смирения – есть – перед всеми и каждым! – но, отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь – жизнь, разве ему…»

(Таких обрывов и недоговоренностей в письме много. В частности, потому, что Марина предельно суеверна; «боюсь вслух, боюсь сглаза, боюсь навлечь…» – так объяснит она сама позже эту свою особенность в письме к Пастернаку.)

Без подробностей – где, когда, как – она сообщает мужу о смерти Ирины. И тут же: «Я одеревенела, стараюсь одеревенеть. Но – самое ужасное – сны. Когда я вижу ее во сне – кудрявую голову и обмызганное длинное платье – о, тогда, Сереженька, – нет утешенья, кроме смерти. Но мысль – а вдруг С. жив?..»

Мысль об уходе из жизни всегда с ней рядом.

Так понимает она преданность кому-либо или чему-либо: если что – есть выход… Можно не сомневаться в искренности таких признаний. Она ощущает себя на кромке существования почти всегда – и от ее доброй воли тут, кажется, ничто не зависит.

Но, уехав из Москвы, Оренбург надолго застрял в Риге. Затем – через Копенгаген и Англию – приехал в Париж, оттуда был внезапно выслан, перебрался в Бельгию…

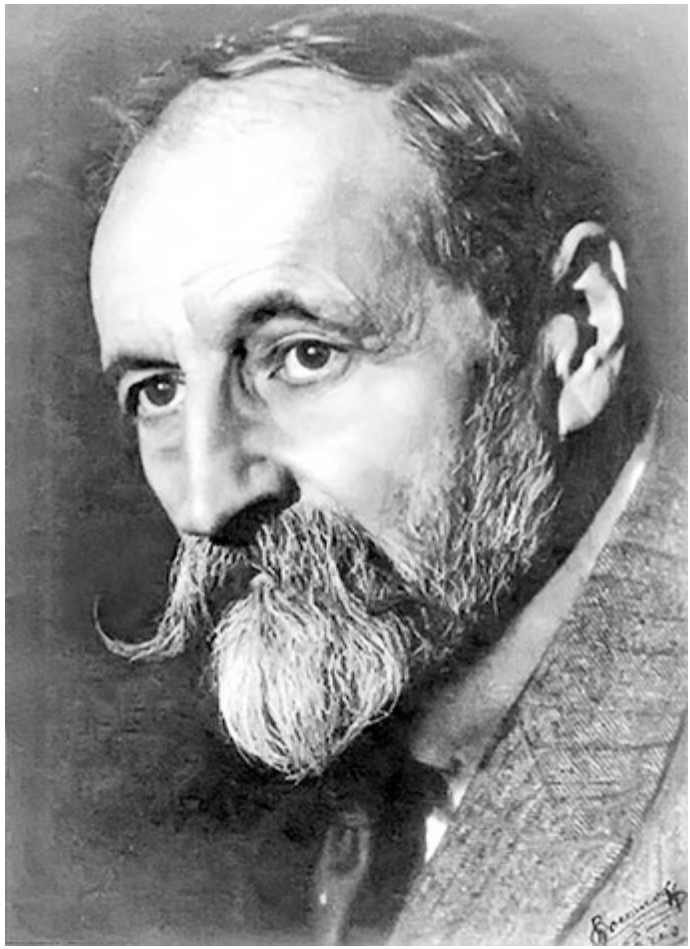
Между тем Марина считала дни и недели и укреплялась в своих мрачных предположениях. Временами ей казалось, что все в Москве давно уже знают о гибели мужа и только не решаются сообщить ей об этом.

Глава 26
Князь Волконский

1

С князем Сергеем Михайловичем Волконским отношения Марины поначалу сложились неудачно. Она не раз встречала его за кулисами Третьей студии, знала, что он дружен со Стаховичем. После смерти Стаховича она написала князю письмо, в своем обычном стиле, игнорирующем все правила, – «простое, доверчивое, ласковое», так она сама считала, «вольное, но не фамильярное». Предлогом, совершенно неуклюжим, было желание узнать нечто об Англии, где, как она знала, Волконский бывал.

На другой день последовал телефонный звонок. С первых же слов стало ясно, что князь предельно взбешен: «Что вам от меня нужно? Незнакомым людям не пишут писем, это наглость!» Ошеломленная Цветаева пыталась что-то сказать. «Вы меня не так поняли…» – пробовала она объясниться. Куда там! Ни ее кроткая вежливость, ни извинения не смягчили Волконского. Потом уже Вахтанг Мчеделов, Сонечка Голлидэй и вдова Скрябина, в доме которой Волконский бывал, пытались заступиться, уверить князя, что Марина ничего дурного и в мыслях не имела, что подшучивание, которое ему почему-то почудилось в письме и оскорбило, примерещилось на пустом месте… Все уговоры были впустую!



Князь Сергей Волконский

Но постепенно недоразумение все же сгладилось. Они сблизились, видимо, в 1920-м и подружились в 1921-м.

Бывший директор императорских театров, автор нескольких книг об искусстве театра, в 1921 году князь читал лекции в Московской филармонии. Шестидесятидвухлетний Волконский внешне был совершеннейший Дон Кихот, словно скопированный с иллюстраций Гюстава Доре. Худой, хоть пунктиром его рисуй, с просоленными сединой волосами, с эспаньолкой, на тончайших ножках-жердях, в коротеньких, до колен, штанах, в серо-зеленой курточке нерусского образца… Так, почти карикатурно, выглядит внучатый племянник прославленной Зинаиды Волконской в воспоминаниях Эмилия Миндлина, встречавшегося с князем как раз в 1921 году в Москве. Марина увидит однажды бережно сохраненный Сергеем Михайловичем бабкин альбом пушкинских времен.

Эту дружбу она отвоевывала упорно, настойчиво, терпеливо. И по прошествии времени Волконский уже охотно просиживает долгие часы в ужасной цветаевской квартире. Он в упор не замечает тут холода, разрухи и беспорядка, столько раз сладострастно описанного другими. Зато с удовольствием пьет паршивый кофе, приготовленный на керосинке; в комнате холодно, электричество то и дело тухнет, но они беседуют и читают стихи.

Иногда вместе выходят на улицу – идут в гости к общим знакомым. Сверху сияют звезды. Обдает грязью проносящийся мимо автомобиль… Волконский будет потом вспоминать Марину такой, какой она была жарким летом 1921 года, – в сандалиях на босу ногу, а то и вообще босой, с котомкой за плечами. В котомке – ржаные лепешки и рукопись стихов.

Попервоначалу Марина, разумеется, влюбилась, – как же иначе! – со всем присущим ей пылом-жаром и неподдельными страданиями. Если она не видит Волконского три дня – ей кажется, что минул по крайней мере месяц. «Какую власть, – сокрушается она в своем дневнике, – имеет человек над человеком. Ежедневное положение во гроб и воскрешение из мертвых!» Но идет время, и прохладная сдержанность князя заставляет Марину перевести свой жар на другие рельсы. Она всеми ушами слушает рассказы Волконского, что-то ему отвечает, но ей кажется, что он-то ее не слышит. Его реакции всегда такие тихие, как будто даже незаинтересованные… Этакое, записывает она в своей тетради, изящное отсутствие человека в комнате…

Внимателен, ласков, но что за этим? Вежливое равнодушие?.. Ну да, решает она, он самодостаточен, ему никого и не нужно. Она находит этому объяснение – «эгоист из породы Гёте». Ему и не нужны собеседники!

Изредка она бывает в московском доме Волконского в Шереметевском переулке – в громадных холодных комнатах с высокими потолками. Жена Волконского, сама писавшая стихи на латыни, время от времени устраивала вечера; здесь бывал, наезжая из Петрограда, граф Зубов, пианист Игумнов играл «Аппассионату».

А однажды Волконский пригласил Марину и Эмилия Миндлина (которому она дала на время приют в своей борисоглебской квартире) в дом на Большой Никитской, где размещалось Всероссийское театральное общество. Там при свечах князь читал главы из неизданной книги своих воспоминаний. Наряды присутствовавших гостей, многие из которых принадлежали к чудом сохранившейся еще старой аристократии, были так респектабельны, что Миндлин и Цветаева

не решились войти в зал. Они слушали Сергея Михайловича из-за дверей.

«Из чистейшего восторга и благодарности» она предлагает Волконскому переписать для издательства рукописи трех его книг. Немало поразившись, князь соглашается.

И когда кто-то услужливо просвещает ее относительно фиктивности брака Волконского и врожденного его неинтереса к женщинам – Марина ни на йоту не утрачивает к князю преданной нежности. Много лет спустя она напишет Александру Бахраху, что Волконского она «всей безответностью, всей беззаветностью любила и, наконец, добыла его – в вечное владение! Одолела упорством любови». Еще позже – другому корреспонденту: Волконского, настаивает она, «я больше всех и *моее* всех на свете любила». Ее любовь такой природы, что, как она записывает в своей тетрадке, «знай я подходящего ему, – я бы ему его подарила».

Лишь мельком – в который раз? – она изумится самой себе: «Огню: не гори, ветру: не дуй, сердцу: не бейся. Вот что я делаю с собой. – Зачем?!»

Никому еще не удавалось отвлечь ее от ее собственного творчества: ведь переписка пожирает чудовищное количество времени; переписывать приходится крупными печатными буквами на больших листах! Однако она идет на это с радостью… удивляясь самой себе. Она взваливает на себя сладкий долг – и, быть может, его исполнение помогает ей сократить время до известий о муже?

Месяц за месяцем она живет, по ее собственным словам, «на дне Волконского Китежа».

Из письма от 31 марта 1921 года: «Дорогой С. М., живу благодаря Вам изумительной жизнью. Последнее, что я вижу засыпая, и первое, что я вижу просыпаясь – Ваша книга…» Она записывает к себе в тетрадку: «Моя любовь к нему… перешла в природную: я причисляю его к тем вещам, которые я в жизни любила больше людей: солнце, дерево, памятник…»

В марте Марина все же прорывается стихами – циклом «Ученик». Отрешенность, готовность внимать и идти – от высоты к высоте…

Есть некий час – как сброшенная клажа:
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества, он в жизни каждой
Торжественно-неотвратим.

Высокий час, когда, сложив оружье

К ногам указанного нам – Перстом,
Мы пурпур Воина на мех верблюжий
Сменяем на песке морском…

Она скоро заметила, что не она Волконского «приручила», а скорее он ее – обтесал, распрямил простым неслышаньем и незамечанием всего того, что в ее отношении к нему было лишним.

Она сопоставляет этого князя с теми, кого встречала вокруг в последние годы: куда там! «…Моя земная жизнь Вами перевернута, – пишет она ему в одном из писем этой весны. – Все, с кем раньше дружила, – отпали. Вами кончено несколько дружб… – за ненадобностью… Вы сделали доброе дело: показали мне человека на высокий лад….Я четыре года живу в советской Москве, четыре года смотрю в лицо каждому, ища – лица. И четыре года вижу морды (хари)». «Всё, что было во мне исконного, всё заметенное и занесенное этими четырьмя годами одинокой жизни – среди низостей – встало… Я стала я. Это и значит любить вас».

Если бы сохранились только эти черновики писем и дневниковые записи, скептики сказали бы, что объект восхищения, видимо, лишь терпел эту взрывчатую женщину со всеми ее чрезмерностями. Но, слава богу, вот он перед нами – документ, от которого никуда не денешься! Он скромно свидетельствует о том, что большие люди чувствуют и оценивают все иначе, чем заурядные. Речь идет о предисловии, которое написал Волконский к книге «Бытибытие», изданной в 1924 году в эмиграции.

Эти страницы – нежнейшая, а не просто благодарная дань Марине.

Как она ошибалась, когда думала, что он ее не слушает! Он все слышал, и он восхищался ею! Он подметил и запомнил – не закопченные стены, тряпье на спинках стульев и ее ноги в чудовищных башмаках или валенках, а то, что и как она говорила. «Вы однажды сказали, – напишет он там, – как Вам нравится, что от неприятных вопросов быта я быстро перехожу к сверхжизненным вопросам бытия. И я тут же подумал, какое было бы красивое название “Быт и бытие”!»

Автор предисловия вспоминал о тех «ужасных, гнусных московских годах», их совместные вечера в нетопленом доме, иногда без света, и гадкий, но милый, сваренный на керосинке «кофе». «Вы помните, как мы жили? – спрашивал Волконский. – В какой грязи, в каком беспорядке, в какой бездомности! Да это

что! А помните нахальство в папахе, врывающееся в квартиру? Помните наглые требования, издевательские вопросы? Помните жуткие звонки, омерзительные обыски, оскорбительность “товарищеского” обхождения? Помните, что это такое был шум автомобиля мимо окон: остановится или не остановится? О, эти ночи! ‹…› Была ли хоть одна заря без жертв, без слез, без ужасов? ‹…› Вы не забыли, как Вы жили? В Борисоглебском переулке в нетопленом доме, иногда без света, в голой квартире, за перегородкой Ваша маленькая Аля спала, окруженная своими рисунками, – белые лебеди и Георгий Победоносец, – прообразы освобождения… Печурка не топится, электричество тухнет. Лестница темная, холодная, перила донизу не доходят, и внизу предательские три ступеньки. С улицы темь и холод входят беспрепятственно, как законные хозяева. ‹…› И страшно было жить, и стыдно было жить, когда кругом так много умирали. А дышать тем самым воздухом, которым дышат женщины-расстрельщицы? А дети, играющие в расстрел?..» «Как тяжел был быт, как удушливо тяжел! Как напряженно было бытие, как героически напряженно!.. Как много было силы в нашей неподатливости, как много в непреклонности награды! Вот это было наше бытие».

В том же предисловии Волконский вспомнил прекрасный девиз, который придумала в эти годы Марина: «лучше быть, чем иметь». Она сформулировала его по-французски – mieux vaut etre qu’avoir, отчего афористическое изящество проступало отчетливее – ибо статус вспомогательных глаголов быть и иметь в европейских языках более содержательный. Девиз был не просто изящен; он тоже был бунтом, противовесом тенденциям революционной эпохи. На улице звучало иное. Эпоха провоцировала в современнике как раз неуемную жажду владеть, иметь, переделить! Нет, по Цветаевой, высшая ценность – быть, быть собой, оставаться собой, не предав своих важнейших духовных ценностей перед лицом испытаний.

Так считала двадцатидевятилетняя Марина.

2

Тем временем в Москве появляются номера только что родившегося русского зарубежного журнала – «Современные записки». И в первых же номерах были помещены стихи Цветаевой! Кто способствовал этому? Возможно, посредником оказался Бальмонт.

В 1921 году вышел уже седьмой номер, в котором не только

цветаевские стихи, но и обширное предисловие к ним Константина Бальмонта. Сердечностью тона оно соперничает с тем, что несколько позже написал Волконский. Но кроме восхищения мужеством и независимостью Марины в революционной Москве, Бальмонт дает высокую оценку ее поэзии: «Ее своеобразный стих, полная внутренняя свобода, лирическая сила, неподдельная искренность и настоящая женственность настроений – качества, никогда ей не изменяющие…» И тут же: «Наряду с Анной Ахматовой Марина Цветаева занимает в данное время первенствующее место среди русских поэтесс».

Впервые имя Цветаевой было поставлено рядом с прославленным именем петербургской поэтессы. И не присяжным критиком – самим Бальмонтом!

В мае 1921 года из Крыма приехала наконец сестра Ася с сыном. Без помощи Марины это вряд ли могло бы осуществиться: старшая сестра сумела достать и переправить в Крым необходимые документы, да еще и пуд муки – для выручки денег на дорогу.

Но в Борисоглебском Ася прожила не слишком долго, переехала на Плющиху. Что-то словно надтреснулось в их отношениях за время разлуки. Близость сестер, некогда так изумлявшая их гимназических подруг, не растаяла, но стала иной.

Они обе изменились – внешне и внутренне, и Марина особенно. Внешние перемены в сестре Асю удручили: та красавица, какой старшая Цветаева стала в период коктебельского лета 1911 года и оставалась вплоть до дня их расставания в Феодосии в октябре 1917-го, – эта красавица исчезла. Одутловатость щек, желтизна кожи; даже в жестах и словах сестры Анастасия горестно отмечала странные перемены.

Силуэт Марины Цветаевой работы Е. С. Кругликовой

Фотографий Цветаевой того времени не существует, но есть силуэт, выполненный Кругликовой: гордо и даже как будто весело закинутая головка, четкий красивый профиль, белый воротничок на широкой блузе…

Главное, что Марина хотела услышать при встрече от сестры:

встречала ли та в Крыму Сережу?

– Да, только давно, – отвечала сестра, с ужасом ожидая дальнейших расспросов.

– Но ты слышала о нем что-нибудь? – продолжала допытываться Марина. – Жив? Нет? Только говори правду!

В ответ Асе пришлось мужественно солгать:

– Нет, ничего не слышала…

И это было неправдой. Она слышала однажды о каком-то Эфроне, якобы расстрелянном в Джанкое. Но достоверного ничего узнать ей тогда больше не удалось.

За три с половиной года слишком многое было пережито обеими. И пережито по-разному. Это не могло пройти бесследно. Вскоре сестры сочли за благо жить врозь – тем более подвернулся случай…

Душевное состояние Марины день ото дня тяжелеет. Она ждала от Оренбурга утешающих – или страшных! – известий через месяц-другой после его отъезда. Но уже наступает лето – и ничего.

Перепись текстов Волконского завершена. Этот долг исполнен. Ей не за что больше уцепиться! Марина не находит себе места.

Впрочем, один выход еще оставался: стихи! Ее спасательный круг.

Несколько стихотворений, созданных в июне, она объединит потом в книжечке «Разлука». Так назван и цикл, получивший посвящение «Сереже». Но если прочесть внимательнее восемь его стихотворений, ясно: Цветаева готовилась в эти дни к особой разлуке. С дочерью – и с жизнью. Еще раньше, в начале 1920 года, в письме к Звягинцевой: «Если С. нет в живых, я все равно не смогу жить…» Спустя год она не рассталась с этой навязчивой мыслью.

Не крадущимся перешибленным зверем,
Нет, каменной глыбою
Выйду из двери –
Из жизни…

В тот град осиянный,
Куда – взять
Не смеет дитя
Мать.

Цикл был закончен 17 июня.

Через семь дней начат следующий – «Георгий». Напряжение

не отпускает Марину. Кажется, как только она отложит перо, настанет момент необратимых решений.

26 июня создано одно стихотворение нового цикла, 28-го – еще два, 29-го – еще два, 30-го – еще одно. Как всегда, когда она захвачена сильным чувством, стихи льются неукротимым ливнем. Святой Георгий на белом коне, в красном плаще, копьем пронзающий гада, кроткий Георгий, затравленный сворой… Нет сомнений: это портрет Сережи! Но теперь он уже вознесен на икону.

1 июля – еще стихотворение! И оно стало последним в цикле.

Это уже апофеоз, сплошь на восклицательных знаках и непомерных уподоблениях, строгого суда критики он не выдержит. Это скорее черновик, зафиксировавший все варианты: на следующий день половина из них была бы, вероятно, отброшена…

Но следующего дня не понадобилось.

Безмерным сосредоточением на судьбе мужа Цветаева вымолила у судьбы его жизнь. Во всяком случае, так считала она сама.

1 июля Марина держит в руках – письмо от Сергея!

Известие от Эренбурга нашло Эфрона в Праге.

В сумбурном письме жене Сергей писал, что пробродил весь этот день, обезумев от радости. Последнее ее письмо он получил осенью 1919 года; потом имел известия от Бальмонта, приехавшего в Париж осенью 1920-го. И вот наконец – новое известие и адрес, по которому не опасно посылать письмо! «Что мне писать Вам? С чего начать?.. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего не буду от Вас требовать – мне ничего и не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. Остальное… будет… Наша встреча с Вами была величайшим чудом… большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. За все это время ничего более страшного, чем постоянная тревога за Вас, я не испытал…»

Глава 27
Первородство – на сиротство

1

До их встречи пройдет еще почти год.

Но именно этот летний московский вечер, когда Марина держала в руках странички, исписанные знакомым почерком, перечитывая их и с трудом осознавая возвращение к жизни, – именно этот вечер предопределил и другую разлуку.

Разлуку с родиной, с Москвой.

Какие могли быть колебания? Бывший белый офицер не мог вернуться в красную Москву. Выбора не оставалось.

Получить разрешение на временный выезд из Советской России с началом нэпа стало уже возможно. Процедура упростилась особенно для женщин, детей, стариков и больных. Но на паспорт, визу, билеты нужны были деньги – и деньги большие. В октябрьском письме к Эренбургу Марина назвала сумму, необходимую, чтобы доехать до Риги: десять миллионов. «Для меня это все равно что: везите с собой Храм Христа Спасителя. – Продав Сережину шубу (моя ничего не стоит), старинную люстру, красное дерево, 2 книги: сборничек “Вёрсты” и “Феникс” (Конец Казановы) – с трудом наскребу 4 миллиона, – да и то навряд ли: в моих руках и золото – жесть, и мука – опилки…»

Денег нет, а между тем в ее тетрадях – сокровища: залежи неопубликованной лирики, рукописи поэм и стихотворных пьес! Тетради разбухали от стихов, число тетрадей множилось. Интерес к самоизданию у нее был слаб даже и тогда, когда оно было еще возможно; импульсы для этого требовались не творческие.

Теперь она принимается за разборку своего архива. Подготавливает к изданию поэму «Царь-девица» и пьесу «Феникс», составляет поэтические сборники. И – знаменательно! – двум из них дает одно и то же название: «Вёрсты». В один войдут стихи 1916 года (их издаст частное издательство «Костры»), в другой, поменьше, – тщательно отобранные стихи четырех лет – с 1917-го по 1920-й. За бортом, в тетрадях, оставалось и еще множество….

Чем так притягивало ее это слово «версты», начинавшее уже исчезать из русской речи? Не тем ли, что оно давало простор воображению – зрительному и ассоциативному? Впрочем, в

дневниковых записях 1919 года есть ее размышление, проясняющее вопрос. «Время не мыслишь иначе, как расстояние. А “расстояние” – сразу версты, столбы. Стало быть: версты – это пространственные годы, равно как год – это во времени – верста».

Петр Николаевич Зайцев, работавший тогда в «Госиздате», вспоминает: «Появлялась она у нас в ГИЗе в скромном, простом черном костюме, в маленькой шляпке на стройной головке, в черной жакетке и с перекинутой через плечо сумочкой-портфельчиком: не то школьница старших классов, не то пешеходная туристка, готовая исходить своими небольшими, но сильными ногами десятки километров, свои “версты”, не выражая особой усталости… Невысокая, стройная, строгая, с тихими глазами, в которых таилась насмешливость, вот-вот готовая вспыхнуть острой эпиграммой…»

Одно авторское условие к изданию было категорическим: стихи должны быть набраны по старому правописанию – с ерами и ятями! В противном случае она предпочитает сжечь их…

«Госиздат» принял к изданию две ее книги: сборник «Вёрсты» (стихи 1916 года) и поэму «Царь-девица». Обе книги вышли в свет, когда Цветаева уже покинула родину, – в конце 1922 года. Условие автора, как и следовало ожидать, было проигнорировано! Но успели выйти «Вёрсты», изданные «Кострами», – и Марина отослала экземпляр с оказией в Крым к Волошину. Он уже не сумел ей ответить до ее отъезда, но одному из своих корреспондентов написал, что у него голова кружится от новых цветаевских стихов…

Борис Пастернак впервые узнал Цветаеву-поэта именно по этим «костровским» «Вёрстам». Увы, он прочел их уже после ее отъезда из России. Много лет спустя он писал: «…За вычетом Анненского и Блока и, с некоторыми ограничениями, Андрея Белого, ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не были все остальные символисты вместе взятые. Там, где их словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась над трудностями истинного творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском. Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, а не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, схватывающей, без обрыва ритма, целые последовательности строф развитием своих периодов…»

Наступил ужасный август 1921 года. Беды начались с ареста всех сотрудников Комитета помощи голодающим (Помгола),

располагавшегося в двух шагах от дома Марины – на Собачьей площадке.

Затем страшные вести пришли из Петербурга. О смерти Александра Блока. Потом – о расстреле Николая Гумилева в застенках Чека.

Прошло еще несколько дней, и по Москве поползли слухи о том, что умерла Анна Ахматова. Передавали как достоверность, что Вячеслав Полонский – редактор «Нового мира» – уже попросил критика Сергея Боброва переделать в некролог его рецензию на ахматовский сборник…

Цветаева сама рассказала в письме к Анне Андреевне, как она пережила дни, когда этот слух дошел до нее. Три дня она провела как в страшном сне, мучаясь неизвестностью – «хочу проснуться и не могу», – и наконец отправилась в Кафе поэтов, где иногда, преодолевая отвращение, выступала («что за уроды! что за убожества! что за ублюдки!»); она надеялась, что там кто-нибудь знает достоверное. Единственным настоящим человеком оказался Маяковский; он дал телеграмму в Петроград своим знакомым с запросом об Ахматовой – и получил ответ: жива!

После окончания вечера Марина просит у Боброва командировку в Петроград – к Ахматовой. Вокруг смеются.

– Господа! – говорит Марина умоляюще. – Я вам десять вечеров подряд буду читать бесплатно – и у меня всегда полный зал!

«Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет» – такой эпиграф она поставит к новым своим стихам, обращенным к Александру Блоку, – их публикует вышедший вскоре после смерти поэта альманах «Пересвет». Выбирает она для эпиграфа, как видим, знаменитые строки Тютчева на смерть Пушкина – тем самым вводя имя любимого современника в ряд высочайших имен отечественной культуры. В стихах личная боль соединена с общероссийской:

Так, Господи! И мой обол
Прими на утвержденье храма,
Не свой любовный произвол
Пою – своей отчизны рану…

Но спустя годы, в письме Борису Пастернаку, она выскажет свое сокровенное об отношении к петербургскому поэту: «Встретились бы – не умер…» То был, может быть, даже упрек себе.

«…Горячо жалею, – писала Цветаева через тринадцать лет

после гибели поэта Вере Николаевне Муромцевой, – что тогда… не сделала к нему ни шагу, только – соответствовала». Это сказано не о Блоке – об Андрее Белом, после получения известий о его смерти. И далее: «У меня сейчас чувство, что я могла бы этого человека (??) – спасти».

Ей всегда хотелось спасти. Или, по крайней мере, подставить плечо, протянуть руку, может быть, просто помочь даже в чем-то бытовом – затопить печь, вымести сор…

…Не подругою быть – сподручным!
Не единою быть – вторым!
Близнецом – двойником – крестовым
Стройным братом, огнем костровым,
Ятаганом его кривым…

Через несколько месяцев после смерти Блока Марина познакомилась с Надеждой Александровной Нолле-Коган.

Со всей чистотой сердца она поверила в то, о чем уже слышала от других: что маленький сын Надежды Александровны Саша – это сын Блока. Марина рассматривает фотографии мальчика, и черты его лица кажутся ей в самом деле похожими на облик поэта. Ей показывают подарки Блока новорожденному – перламутровый крест с розами и иконку; и еще блоковские письма с росчерком, похожим на пушкинский.

По крайней мере однажды Нолле-Коган придет в разрушенную цветаевскую квартиру в Борисоглебском. Они будут говорить о Блоке, и та расскажет Марине, как поэт читал в ее присутствии письма, переданные ему на вечере в Политехническом музее. После ухода Надежды Александровны Цветаева бросается к тетради, чтобы по свежей памяти записать ее рассказ: «Я всегда их ему читала, сама вскрывала, и он не сопротивлялся. (Я ведь очень ревнивая! всех к нему ревновала!) Только смотрел с улыбкой. Так было и в этот вечер. – “Ну, с какого же начнем?” Он: “Возьмем любое”. И подает мне – как раз Ваше – в простом синем конверте. Вскрываю и начинаю читать, но у Вас ведь такой почерк, сначала как будто легко, а потом… Да еще и стихи, я не ждала… И он очень серьезно, беря у меня из рук листы:

– Нет, это я должен читать сам.

Прочел молча – читал долго – и потом такая до-олгая улыбка.

Он ведь очень редко улыбался, за последнее время – никогда».

При всей своей расположенности к гостье, Марина не может отделаться от чувства разочарования: вот такие – обыкновенные,

слабые, всегда будут побеждать ее; «такие с Блоком, а не я…», – с горечью запишет она в этот вечер в своей тетрадке.

Но к тому времени «последней подруге» поэта она уже посвятила целый цикл стихов, и цикл этот включен в книжечку «Стихи к Блоку» (она выйдет вскоре в Берлине).

Позже Марина узнала, что ошиблась, поверив мифу о блоковском сыне. Долго не хотела этому верить, но – пришлось…

2

В сентябре уехал из России и князь Сергей Михайлович Волконский.

Наверняка он увез с собой сборники стихов, подготовленные Мариной к изданию. А 16 октября в Союзе писателей прошел прощальный вечер Андрея Белого. Поэт не собирался оставаться в эмиграции, говорил, что вернется обратно. Но все так тогда говорили – и почти все так думали, надеясь на падение власти большевиков. Но в отличие от Бальмонта, Вячеслава Иванова, Бориса Зайцева и еще многих других Андрей Белый и в самом деле вернется на родину. На прощальном вечере он читает новую свою поэму «Первое свидание»…

Еще один вечер, имевший далекие последствия, состоялся 28 ноября в Московском союзе писателей. Известный критик Юлий Айхенвальд прочел на нем доклад о Николае Гумилеве.

Последствия проявили себя не сразу. Союз писателей уцелел. Но появившаяся несколько месяцев спустя книга того же Айхенвальда («Поэты и поэтессы») с восторженным отзывом о таланте Гумилева послужила поводом для появления в «Правде» статьи под грозным заглавием: «Диктатура, где твой хлыст?» И хлыст не заставил себя ждать.

31 августа 1922 года было обнародовано постановление ГПУ о высылке за пределы страны группы известнейших русских интеллигентов – по списку, составленному самим Лениным.

И начиная с сентября 1921 года в творческих тетрадях Цветаевой предельно ожесточается интонация. Отторжение от происходящего в стране достигает последнего края, перерастая временами в кипение непримиримой ненависти, что, вообще говоря, Цветаевой не свойственно. Даже в «Лебедином стане» авторский голос звучал мягче.

«Ханский полон» – так назовет она цикл, созданный в сентябре – октябре, но и вне цикла встретится не раз это полюбившееся ей уподобление большевиков «татарве», дикой и свирепой Орде, не знающей пощады. В стихах, собранных позже в

сборник «Ремесло», встает страшная картина России, захлебывающейся в кровавой полынье: «Родины моей широкоскулой / Матерный, бурлацкий перегар»; «В осоловелой оторопи банной – / Хрип княжеский да волчья сыть».

Непереносимее всего Марине то, что хрипы замученных перемежаются с разудалыми плясками Руси, с началом нэпа как ни в чем не бывало загулявшей посреди страданий и разора:

И на кровушке на свежей –
Пляс да яства.

Фольклорное начало, властно вторгшееся в цветаевское творчество еще в 1916-м, теперь проявляет себя еще увереннее:

Пусть весь свет идет к концу –
Достою у всенощной!
Чем с другим каким к венцу –
Так с тобою к стеночке!

Многие стихи этого последнего года перед отъездом из России были настолько не похожи на прежние, что у критиков, писавших о них, появлялось искушение говорить о «переломе» в творчестве поэта. Но Цветаева резко возражала. Она подчеркивала естественность смены голоса; он не мог не измениться! Ибо изменилось ее мироощущение, ее шкала ценностей! «Не перелом, – новый речной загиб, а может быть и РАЗГИБ творческой жилы. Переломов у меня в жизни – не было. Процесс древесный и речной: рост, кажется?» – так писала она в 1934 году критику Юрию Ивасьсу в связи с его оценкой сборника «Ремесло».

С этого времени поэзия Цветаевой все более решительно выпрастывается из пелен традиционного русского стихосложения.

В ноябре 1921 года сестры Цветаевы получили письма из Коктебеля от Максимилиана Александровича. Страшные письма – о голоде в Крыму и об арестах друзей в Судаке. Сестры показывали письма всем подряд, так что вскоре это дошло до Луначарского. И тот пригласил Марину в Кремль.

Рассказ об этом визите – в письме Цветаевой Волошину: «С Кремлем я рассталась тогда же, что и с Сережей, часто звали пойти, я надменно отвечала: сама поведу. Шла с сердцебиением. Положение было странно, весь случай странен: накануне дочиста потеряла голос, ни звука, – только и! (Вроде верхнего си (si)

Патти!) Но не пойти – обидеть, потерять право возмущаться равнодушием, упустить Кремль! – взяла в вожатые Волькенштейна…

После тысячи недоразумений: его ложноклассического пафоса перед красноармейцем в будке (никто не понимал моего шепота: явления его!) и прочего – зеленый с белым Потешной дворец. Ни души. После долгих звонков – мальчишка в куцавейке, докладывает. Ждем. Большая пустая белая дворянская зала: несколько стульев, рояль, велосипед. Наконец, через секретаря: видеться вовсе не нужно, пусть товарищ напишет. Бумаги нет, чернил тоже. Пишу на чем-то оберточном, собственным карандашом. Доклад, ввиду краткости, слегка напоминающий декрет: бонапартовский, в Египте. ‹…› Пишу про всех, отдельно Судак и отдельно Коктебель. Дорвалась, наконец, до Вас с Пра: “больные, одни в пустом доме…” – и вдруг иронический шип Волькенштейна: “Вы хотите, чтобы их уплотнили? Если так, Вы на верном пути!” Опомнившись, превращаю эти пять слов в тайнопись. Доклад кончен, уже хочу вручить мальчишке и вдруг: улыбаюсь, прежде чем осознаю! Упоительное чувство “ей presence de quelqu’un”[11]. Ласковые глаза: “Вы о голодающих Крыма? Всё сделаю!” Я, вдохновенным шипом: “Вы очень добры!” – “Пишите, пишите, всё сделаю”. Я, в упоении: “Вы ангельски добры!” – “Имена, адреса, в чем нуждаются, ничего не забудьте – и будьте спокойны, всё будет сделано!” Я, беря его обе руки, самозабвенно: “Вы царственно добры!” Ах, забыла! На мое первое “добры” он с любопытством, верней, с любознательностью, спросил (осведомился): “А Вы всегда так говорите?” и мой ответ: “Нет, только сегодня, – потому что Вы позвали!”»

Марине и Анастасии удалось организовать настоящую кампанию по сбору средств для крымчан, и вскоре деньги были отосланы…

Как ни ожесточена была Марина всем происходящим, прощание с Россией давалось ей непросто; она отчетливо осознавала, что расстается со своим, родным и привычным, – и едет в неведомое и враждебное чужое, где можно гостить – но нельзя жить. «Вы должны меня понять правильно: не голода, не холода боюсь, а зависимости, – признается она в письме к Илье Эренбургу. – Чует мое сердце, что там, на Западе, люди жестче. Здесь рваная обувь – беда или доблесть, там – позор…»

Ее последние слова Москве, так ею воспетой, любимой в каждой церковке, каждом закоулочке-переулочке, – эти слова непрощающе жестки. В ноябрьском письме Волошину Марина

писала о Москве: «Она чудовищна. Жировой нарост, гнойник, на Арбате – 54 гастрономических магазина: дома извергают продовольствие… На Тверской гастрономия “L’Estomac”[12]. Клянусь! – Люди такие же, как магазины: дают только за деньги. Общий закон беспощадности. Никому ни до кого нет дела. Милый Макс, верь, я не из зависти, будь у меня миллионы, я бы всё же не покупала окороков. Всё это слишком пахнет кровью. – Голодных много, но они где-то по норам и трущобам, видимость блистательна…»

Она готова к сиротству на чужбине. Ей не дорого первородство в Белокаменной, ибо Москва, которую она так воспела, предала тех, кто за нее сражался, проливал за нее кровь, отдавал жизнь за ее свободу И почти в канун отъезда написаны стихи отречения, завершающие «московскую тему» в ее ранней поэзии:

Первородство – на сиротство!
Не спокаюсь.
Велико твое дородство:
Отрекаюсь.

Тем как вдаль гляжу на ближних –
Отрекаюсь.
Тем как твой топчу булыжник –
Отрекаюсь.
……
Как в семнадцатом-то,
Праведница в белом,
Усмехаючись, стояла
Под обстрелом.

Как в осьмнадцатом-то –
А? – следочком ржавым
Всё сынов своих искала
По заставам.

Вот за эту-то – штыками
Не спокаюсь! –
За короткую за память –
Отрекаюсь.
……
Старопрежнее, на свалку!
Нынче, здравствуй!
И на кровушке на свежей –

Пляс да яства.

Вот за тех за всех за братий –
Не спокаюсь! –
Прости, Иверская Мати! –
Отрекаюсь.

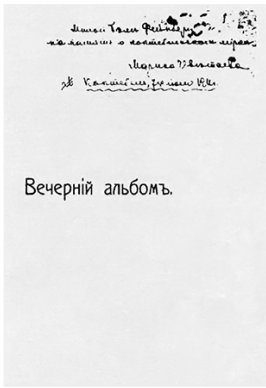
Она так любила дарить свой колокольный город дорогим и близким, и даже не слишком близким. Но предательства не простила.

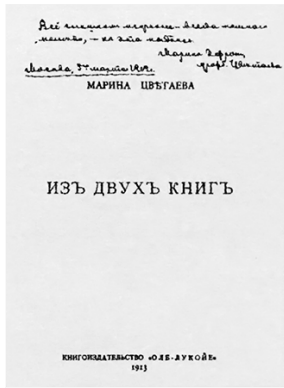
3

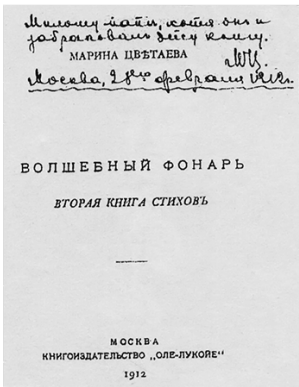
День отъезда настал только в начале мая 1922 года.

Если бы она подводила итоги последних лет, она могла бы остаться довольной тем, что в эти страшные революционные годы успела сделать.

Шесть завершенных пьес, две поэмы, документальная проза (из нее получились впоследствии «Октябрь в вагоне», «Вольный проезд», «Мои службы», «Смерть Стаховича», «Чердачное»). И, наконец, лирика. Море прекрасной лирики! В 1921-м в издательстве «Костры» успел выйти из печати сборник «Вёрсты».







Обложки поэтических книг Марины Цветаевой, вышедших в России до мая 1922 г.

11 мая 1922 года погода в Москве выдалась серая и неуютная. В пелене облаков, плотно накрывших город, не проступало ни пятнышка весенней синевы.

Последний путь через Москву, от Борисоглебского переулка до Виндавского вокзала, они едут на извозчике; на каждую церковь Марина крестится и – дочери: «Перекрестись, Аля!» Провожает их до самого вагона только Чабров, друг семьи Скрябиных.

В половине шестого вечера от вокзала отойдет поезд.

Среди других своих пассажиров он увезет худенькую молодую женщину с усталым лицом и ранней проседью в коротко стриженных волосах. Рядом с ней, прощаясь с пасмурным городом, стоит у окна большеглазая девочка.

Поезд шел до Риги; Рига была уже «заграницей».

Тут мать и дочь сделали остановку.

Молодой предупредительный попутчик, оказавшийся сотрудником Наркоминдела, помог им отнести вещи в камеру хранения, а потом предложил свои услуги добровольного гида по городу. Услуги были приняты.

Вечером мать и дочь сели в другой поезд, на этот раз берлинский.

Проснувшись наутро, девочка не отходила от окна, дивясь непривычным пейзажам, ровно разграфленным полям и огородам, красным черепичным крышам домов, опрятным нарядам крестьян. Города выглядели тоже странно.

«Аккуратность! аккуратность – вот чем потрясали воображение города Германии после такой привычной глазу и сердцу великой неприбранности тогдашней Москвы, со всеми ее территориальными привольями и урбанистическими своевольями, со всей невыразимой гармоничностью ее архитектурных несообразностей…»

Так полвека спустя вспоминала свои впечатления тех дней Ариадна Эфрон. Но сохранились и драгоценные свидетельства ее тогдашнего дневника. Девятилетняя Аля описала в нем, как их поезд прибыл в Берлин в яркий солнечный день 15 мая, во второй половине дня; неторопливо проехал по трем вокзалам, остановился на четвертом. «Наконец сходим на Шарлоттенбурге. Берем носильщика зеленого цвета, он тащит наши вещи вниз по лестнице, и вот мы в Берлине. Черепичные крыши, свет, цветы, скверы. Вот и наш извозчик. Садимся, кладем вещи, прощаемся с нашим спутником. Мама что-то говорит извозчику, и тот едет. Я рассматриваю город. Дома высокие и очень широкие. Много лавок, газетных киосков, продавщицы цветов в шляпках, дамы, кафе, модные магазины. Народу много. Вот и Прагерплац. ‹…› Вынимаем вещи, как вдруг из подъезда выходит сам Эренбург.

– А-а, Марина Ивановна!

– Здравствуйте, Илья Григорьевич, вот и мы».

Так началась чужбина.

Можно ли было предположить в этот залитый солнцем майский день, что жизнь вдали от родины растянется на долгих семнадцать лет?..

Утром следующего дня в Прагу ушла телеграмма, извещавшая об их прибытии Сергея Яковлевича Эфрона.

Часть II
После России

Глава 1
Берлин

1

Ко времени приезда Цветаевой Берлин уже получил репутацию негласной столицы новой русской эмиграции.

Мощная волна революции и Гражданской войны занесла сюда несхожими путями множество россиян, принадлежавших к самым разным слоям общества. По подсчетам историков, в начале двадцатых годов их оказалось здесь почти сто тысяч. Другие подсчеты говорят о четырехстах тысячах. В западных берлинских кварталах возник некий «город в городе»: от Прагерплаца до Ноллендорфплаца звучала русская речь. На рабочих окраинах голодало немецкое население. Два города – немецкий и русский, писал Вадим Андреев, как вода и масло, налитые в один сосуд, не смешивались друг с другом.

Стремительно нараставшая инфляция поощряла тех, кто сумел вывезти из России свои сбережения, вкладывать их в разные предприятия, не слишком оглядываясь. Один из цветаевских корреспондентов, вспоминая спустя много лет это время, называл его временем расцвета коммерческого донкихотства. Чуть ли не каждый день в «русской» части города открывались новые рестораны, кафе, кондитерские, мастерские. Возникло множество издательств, несколько журналов, выходили три ежедневные русские газеты, пять еженедельников.

«Русские писатели ходили по Берлину, кланяясь друг другу, – писал по свежим впечатлениям Роман Гуль в книге «Жизнь на фукса». – Писатели были разные. Талантливые. Средние. Плохие. Приехавшие. Бежавшие. Высланные. ‹…› На Курфюрстендамм – Максим Горький.

На Виктория-Луизенплац – Андрей Белый. На Кирхштрассе завесил комнату чертями, бумажными прыгунчиками, игрушками Алексей Ремизов. Пугая немецкую хозяйку, сидел в прадедамовом платке с висюльками. В комнате на Лютерштрассе – отец русского декаданса Н. М. Минский. Где-то – Лев Шестов. В Шёнеберге – Алексей Толстой. В кафе “Прагердиле” – Илья Эренбург… По Тауэнцштрассе шел человек с лимонно-изможденным лицом, в зеленеющем платье. Это был Игорь Северянин. Он писал “поэзы отчаяния”…»

Однако наводнен Берлин был, естественно, не одними только

литераторами – здесь оказались художники и музыканты, философы и банкиры, биржевики и спекулянты всех сортов.

Летом 1922 года в среде русской интеллигенции здесь жива была еще иллюзия единства. Решительного размежевания на собственно эмигрантов и приехавших на время «туристов» пока не произошло.

Русские литераторы в Берлине. Сентябрь 1923 г.

Слева направо стоят: Б. К. Зайцев, В. Ф. Ходасевич, М. А. Осоргин, А. В. Бахрах, А. М. Ремизов.

Сидят: Н. Н. Берберова, П. П. Муратов, Андрей Белый

Вплоть до осени этого года упорно отстаивал свою беспартийную платформу «Дом искусств», возникший по инициативе неутомимого, несмотря на преклонные годы, Минского (некогда способствовавшего возникновению в Петербурге «Религиозно-философских собраний»), Еженедельные собрания «Дома» проходили по пятницам в большом кафе на Ноллендорфплац. В год приезда Цветаевой на литературных вечерах русской колонии выступали Андрей Белый и Алексей Толстой, Ремизов и Пильняк, Есенин и Северянин, Саша Черный, Ходасевич, Эренбург, Шкловский, Лидин, Чириков, Карсавин, Степун, Зайцев. А позже, когда Цветаева уже уехала в Чехословакию, – Маяковский и Пастернак. В зале было много накрашенных дам в манто и спекулянтов в модных пиджаках в талию.

Максим Горький привлек к сотрудничеству в издаваемом им

журнале «Беседа» Владислава Ходасевича, появившегося в Берлине в конце июня. Издательство Ладыжникова выпускало горьковские произведения – и сборник речей эсера Виктора Чернова, бывшего члена Временного правительства. На обложках книг Гржебина стояло: «Москва – Петербург – Берлин». Вышедшие в Берлине книги в начале двадцатых годов свободно продаются в магазинах Советской республики. Авторов, живущих в Москве и Петрограде, вербует на свои страницы литературное приложение к берлинской газете «Накануне». За неделю до приезда Цветаевой здесь была помещена рецензия Павла Антокольского на цветаевский сборник «Разлука».

Обострение отношений внутри «русского Берлина» еще только-только созревает. Оно обнаружится в полной мере месяца через три после отъезда Цветаевой в Прагу.

А пока русские живут здесь со странным призрачным ощущением: множество знакомых лиц вдруг оказались перенесенными в совершенно чужие интерьеры…

Илья Эренбург

Одну из двух своих комнат в пансионе на Прагерплац Оренбурга отдали Цветаевой. И тем самым она оказалась в центре «русского Берлина». Ибо по вечерам в «Прагердиле» – кафе, разместившееся на той же маленькой площади, что и пансион, – как магнитом стягивало соотечественников. За кружкой пива или чашечкой кофейной бурды, высокопарно именуемой «мокко», обсуждались последние новости, книги, издательские планы и просто сплетни.

Настороженно слушали тех, кто только что приехал из

России.

Мемуаристы утверждают, что летом 1922 года политические темы здесь возникали редко, но в это с трудом верится. В воспоминаниях Ариадны Эфрон «Прагердиле» охарактеризовано как «скромный провозвестник всех будущих Монпарнасов эмиграции, где за столиками “решались судьбы” мирового и отечественного искусства, а также самого отечества и всего мира; заключались издательские договора; завязывались и развязывались деловые и личные отношения, вспыхивали ссоры и наступали перемирия…».

У Эренбурга был в кафе свой облюбованный стол – «штаммтиш». Он приходил сюда с утра и садился за пишущую машинку. Сутулящийся, со спутанными длинными волосами и трубкой в зубах, он в это лето пожинал лавры успеха своего первого романа «Хулио Хуренито», только что вышедшего. Не всем одинаково нравился роман, не всем нравился сам Оренбург, но молодежь, собиравшаяся вокруг его стола, смотрела на тридцатилетнего мэтра с почтением: ведь он был еще и автором двух книг о поэзии революционной Москвы и рецензентом, постоянно выступавшим на страницах русско-берлинской периодики. А вскоре на книжных прилавках появился и новый его поэтический сборник «Звериное тепло».

На следующий день после приезда Цветаевой за стол Эренбурга садится молодой человек. Он на три года моложе Ильи Григорьевича, его имя – Абрам Григорьевич Вишняк. Но все зовут его именем издательства, которое он, несмотря на молодость, возглавляет уже несколько лет, – «Геликон». Издательство выпускало изящно, со вкусом оформленные книги. Сам Геликон холодно красив и предупредителен, у него репутация страстного поклонника поэзии. Эренбурги в большой дружбе с ним и его женой.

Абрам Вишняк. 1922 г.

И в тот же день, в том же кафе, вечером – другая встреча.

Ее Цветаева опишет через двенадцать лет: «Берлин, Pragerdiele на Pragerplatz. Столик Эренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыление писателей. Обмен гонорарами и рукописями. (Страх, что и то и другое скоро падет в цене.) Сижу частью круга, окружающего.

И вдруг через все – через всех – протянутые руки – кудри – сияние:

– Вы? Вы? (Он так и не знал, как меня зовут.) Здесь? Как я счастлив!..»

Протянутые руки, кудри, сияние принадлежат Борису Николаевичу Бугаеву – то есть Андрею Белому Он бурно радуется встрече с Мариной, хотя тесной дружеской близости между ними прежде не было.

Но вот эти две встречи во многом определили самочувствие Цветаевой в берлинские дни. Обе оставили свой след в ее творчестве: первая – в стихах этого лета и в эпистолярной прозе «Флорентийские ночи»; вторая – в блестящем эссе «Пленный дух». Одна непоправимо омрачила долгожданную встречу с мужем; другая осталась самым светлым воспоминанием о днях,

проведенных в Берлине.

В тот вечер, 16 мая, засидевшись в кафе допоздна, Белый заночевал у Вишняка. И перед сном получил в руки от хозяина тоненькую книжечку, изданную три месяца назад.

На обложке ее стояло: «Марина Цветаева. Разлука». Нехотя Борис Николаевич раскрывает маленький изящный сборничек – и с первых же строк оказывается под чарами удивительных стихов.

Всё круче, всё круче
Заламывать руки!
Меж нами не версты
Земные, – разлуки
Небесные реки, лазурные земли,
Где друг мой навеки уже –
Неотъемлем…

Андрей Белый

Наутро, так же внезапно исчезнув, как и появился, Белый оставит для передачи автору конверт с запиской. «Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией Вашей книги…» – прочла Цветаева в первых же ее строках.

А еще через пять дней еженедельник «Голос России» поместит на своих страницах обстоятельный и восхищенный отклик Андрея Белого на сборник «Разлука». Рецензия была озаглавлена «Поэтесса-певица».

«Берлинский период» Цветаевой оказался коротким; он продлился всего два с половиной месяца и был плотно насыщен разноликими впечатлениями.

Уже на четвертый день по приезде она выступила в литературном кафе на Ноллендорфплац вместе с имажинистом Кусиковым. Марина читала стихи – свои и Маяковского.

А через две с лишним недели темпераментно включилась в спор, вспыхнувший вокруг письма Корнея Чуковского, адресованного Алексею Толстому Письмо было опубликовано адресатом в литературном приложении к газете «Накануне».

Цветаева сочла поступок Толстого более чем легкомысленным. Ибо Чуковский со всей безоглядностью частного письма, вовсе не рассчитанного на публикацию, упоминал множество имен петроградских литераторов, характеризуя при этом их политические настроения. И первой реакцией Цветаевой была мысль о тех, кому там, на родине, могли тяжко аукнуться откровения Чуковского. После этой публикации им грозили вполне реальные неприятности.

На страницах еженедельника «Голос России» 7 июня появилось резкое «Открытое письмо А. Н. Толстому». Упрекая писателя в безответственности предпринятого шага, Цветаева сформулировала тезис, которому сама никогда не изменяла. «Есть над литературными дружбами, частными письмами, литературными тщеславиями, – писала она, – круговая порука ремесла, круговая порука человечности». Забывать о ней – безнравственно.

На пятачке «Прагердиле» все сближались быстро, и Цветаеву, не слишком легко сходившуюся с людьми, втянуло в водоворот новых знакомств. В берлинский период она познакомилась со множеством литераторов, публицистов, философов. Одним из самых прочных оказалось знакомство с молодым критиком Марком Львовичем Слонимом. К этому времени он успел уже дважды с похвалой отозваться о цветаевской поэзии на страницах эмигрантской периодики. Познакомил их в кафе на Курфюрстендамм Саша Черный, и с первой же беседы они почувствовали друг к другу расположение.

Слоним почти год уже жил в Праге, и Цветаева забросала его вопросами о городе, куда ей предстояло теперь ехать.

«Она говорила не громко, но отчетливо, – пишет Слоним в своих воспоминаниях, – опустив глаза и не глядя на собеседника. Порою она вскидывала голову, и при этом разлетались ее легкие золотистые волосы, остриженные в скобку, с челкой на лбу. При каждом движении звенели серебряные запястья ее сильных рук, несколько толстые пальцы в кольцах, тоже серебряных, сжимали длинный деревянный мундштук: она непрерывно курила. Крупная голова на высокой шее, широкие плечи, какая-то подобранность тонкого стройного тела и вся ее повадка производили впечатление силы и легкости, стремительности и сдержанности. Рукопожатие ее было крепкое, мужское.

В кафе мы просидели долго. М. И. рассказывала о своей голодной жизни 1918–1920 годов на московском чердаке с двумя дочерьми. ‹…›

Я был в то время литературным редактором пражской “Воли России”: сперва ежедневная газета, она стала затем еженедельником, и мы собирались в ближайшем будущем превратить ее в ежемесячный журнал. Я предложил Цветаевой дать нам стихи и по приезде в Прагу зайти в редакцию в центре города, на Угольном рынке. Ей очень понравилось чешское звучание – Ухельни Трх, – и впоследствии она часто спрашивала меня с лукавым смешком: “Ну, как у вас там – угольный торг или политическое торжище?”

Услыхав, что редакция находится в пассаже XVIII века с ходами, сводами и переходами и занимает помещение, где в 1787 году Моцарт, в комнате с балконом на внутренний двор, по преданию, писал своего “Дон Жуана”, М. И. совершенно серьезно сказала: “Тогда я обещаю у вас сотрудничать”. Я предупредил ее о политическом направлении журнала – мы были органом социалистов-революционеров. Она ответила скороговоркой: “Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней, и уж, конечно, Моцарт перевешивает”. Я до сих пор убежден, что именно Моцарт повлиял на ее решение…»

Андрей Белый то исчезал из «Прагердиле», то появлялся в нем снова.

Это был тяжкий для него жизненный час: час разрыва с Асей Тургеневой, любимой женщиной, и час глубочайшего разочарования в недавнем учителе – философе-антропософе Рудольфе Штейнере. Терзало его и другое: острее, чем кто-либо из русских, оказавшихся тогда в Берлине, он мучился мыслями о России: временами ему казалось, что родина потеряна навсегда.

Сиротливый посреди многолюдства «русского Берлина», он предстал Цветаевой человеком, казалось, утратившим последние

остатки земного равновесия и притяжения.

Она узнавала в нем до боли знакомое по себе самой: почти катастрофическую неприспособленность к той обычной жизни, в которой с легкостью ориентируется нормальный человек.

Узнавала незащищенность сердца – и опасную его открытость стихиям бытия.

Он принял ее готовность слушать его часами.

«Он рванулся ко мне навстречу – весь – с фалдами и чувствами, – вспоминала Марина Ивановна год спустя. – У меня было чувство бесконечного умиления и жалости и горечи за такое одиночество (всяческое!), я твердо знала, что будь я сейчас свободна, я бы осталась с ним, смутно, но верно чуя, что для него, именно для него, призрака, – сочувствия, участия, восхищения людей – мало. Что ему просто нужен – уход. ‹…› И я бы, не любя его, все-таки его, всего его, на себя взяла – и не только потому, что рядом не было никакой другой, не только не было, но как раз – убыло (уход Аси). Но это было невозможно…»

Невозможно потому, что Цветаева уезжала в Прагу, а Белому нужен был Берлин. И вот, пока еще было возможно, они гуляли вместе по берлинским улицам в сопровождении молчаливой Али. Заходили в зоопарк. Однажды Цветаева навестила поэта в Цоссене под Берлином, куда он перебрался из столицы.

Само присутствие рядом Марины Ивановны его явно успокаивало. «Может быть, никому я в жизни со всей и всей моей любовью не дала столько, сколько ему, – писала она позже в «Пленном духе», – простым присутствием дружбы. Сопутствием на улице. Возле».

Измученный Борис Николаевич оценил это сполна. Его сердечное доверие обрушилось на Цветаеву с непредсказуемостью горного обвала.

В письме, которое он напишет ей 26 июня, «глубокоуважаемую Марину Ивановну» – из первой записки – сменило нежное обращение, с каким адресуются только к очень близкому человеку.

«Моя милая, милая, милая, милая Марина Ивановна, – пишет он спустя пять недель после их встречи в «Прагердиле». – Вы остались во мне как звук чего-то тихого, милого: сегодня утром хотел только забежать, посмотреть на Вас и сказать Вам: “спасибо”… Эти последние особенно тяжелые, страдные дни Вы опять прозвучали мне ласковой, ласковой, удивительной нотой доверия, и меня, как маленького, так тянет к Вам. Так хотелось только взглянуть на Вас, что когда был на вокзале, то сделал усилие над собой, чтобы не вернуться к Вам на мгновение, чтобы пожать лишь руку за то, что вы сделали для меня… ‹…›

И прежде еще, в Москве, я поразился, почему от Вас веет – теплым, ласточкиным весенним ветерком. А как Вы приехали в Берлин и я Вас увидел, так совсем повеяло весной. А вчера? ‹…› Когда я появился вечером – опять повеяло вдруг, неожиданно от Вас: щебетом ласточек и милой, милой, милой вестью, что какая-то родина – есть и что ничего не погибло. Голубушка, милая, – за что Вы такая ко мне?»

2

Седьмого июня в Берлин приехал из Праги Сергей Яковлевич Эфрон. Дату эту сохранила дарственная надпись, сделанная на экземпляре сборника «Разлука», он был подарен мужу – как сказано тут – «в день встречи».

А в поздних воспоминаниях А. С. Эфрон мы прочтем, как опоздали мать и дочь к приходу поезда, как отчаялись при виде уже безлюдного перрона и опустевших вокзальных помещений – и вдруг услышали издали окликавший их знакомый голос: Сергей Яковлевич бежал к ним с другого конца площади. «Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу щеки, мокрые от слез…» Такой запомнила эту встречу дочь.

Четыре года разлуки пролегли между ними.

Сергей Эфрон

С приездом Сергея Яковлевича семья переселилась в гостиничку – «Траутенауер Хауз», неподалеку от Прагерплац.

О днях, проведенных Эфроном в Берлине, известно немногое. Но вот эпизод, который рассказал Роман Гуль в своей мемуарной книге «Я унес Россию».

Двадцатишестилетний Гуль был в те дни сотрудником крупнейшей русской газеты, выходившей в Берлине. В прошлом участник знаменитого Ледяного похода 1918 года, он ушел от белых, по его словам, с ненавистью; но и красные были ему непонятны. Он хотел одного, самого простого и невозможного: чтобы никто ни в кого не стрелял. В Берлине он уже написал и издал в 1921 году книгу, так и называвшуюся «Ледяной поход»; она принесла автору известность, удостоилась похвалы Максима Горького и Андрея Белого.

Гуль успел немного подружиться с Цветаевой в первые же ее берлинские недели. Среди многоцветной толпы русских, собиравшихся по вечерам в «Прагердиле», он выделил Марину Ивановну сразу – непохожестью на остальных. «Она никакие была литератором, – отмечал он, вспоминая их встречи, берлинские и более поздние. – Она была каким-то Божьим ребенком в мире

людей. И этот мир ее своими углами резал и ранил…»

Роман Гуль

Он запомнил, как легко и свободно она себя чувствовала в своем простом синем ситцевом платье и грубых ботинках; соседство нарядных дам в кисее и лакированных туфлях-«лодочках» ее ничуть не смущало… «Цветаева не выжила в Берлине, – писал в той же книге Гуль, – не выжила в Праге – уехала в Париж. Она – настоящий поэт – в вечной бедности, в тревоге и без друзей. Она, наверное, нигде не выживет…»

Когда приехал муж, Цветаева свела вместе бывших белогвардейцев.

Гуль так описывает эту встречу: «Эфрон был весь еще охвачен белой идеей, он служил не помню уж в каком полку, в Добровольческой армии, кажется в чине поручика, был до конца на Перекопе. Разговор двух добровольцев был довольно странный. Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что все, что было, неправильно зачато, вожди армии не сумели сделать ее народной, и потому белые и проиграли. Теперь я был сторонником замирения России. Он – наоборот – никакого замирения не хотел, говорил, что Белая армия спасала честь

России, против чего я не возражал. ‹…› М. И. почти не говорила, больше молчала. Но была, конечно, не со мной, а с Эфроном, с побежденными белыми…»

Это важное свидетельство. Важное тем, в частности, что оно противоречит характеристике настроений Сергея Яковлевича, данной в поздних воспоминаниях Ариадны Эфрон: последняя утверждала, что отец ее уже в это время отошел от «белой идеи». Увы, в мемуарах Ариадны Сергеевны немало неточностей; они заставляют вспомнить, что в Берлине в те давние месяцы ей еще не исполнилось и десяти лет…

Отход от «добровольческого» пафоса отныне пойдет у Эфрона действительно стремительными темпами. Но ему еще предстоит многое пережить и обдумать. И вполне возможно, что беседа с Гулем оказалась толчком, ускорившим этот процесс.

В те дни отец запомнился дочери молчаливым, задумчивым, каким-то отъединенным от шумного прагердильского застолья, что, вообще говоря, не слишком похоже на общительного, веселого и остроумного Сергея Яковлевича.

Но этому свидетельству поверить легко. Эфрон уехал обратно в Прагу довольно скоро, может быть, уже недели через две. И уехал один.

Отъезд продиктован был – читаем в тех же воспоминаниях – необходимостью готовиться к экзаменам в университете.

Может быть и так. Только отчего нельзя было заняться тем же в Берлине? Конечно, Сергей Яковлевич мог поехать вперед и для того, чтобы, скажем, найти жилье для семьи. Или прозондировать вероятность получения чешского пособия для Цветаевой.

Но легко допустить и другие – горькие – мотивы, укоротившие столь долгожданное свидание Эфрона с женой.

Позже Цветаева вспоминала дни, проведенные в германской столице, с остро неприятным чувством. Она признавалась в одном из писем, что вырвалась из Берлина, как из тяжелого сна. Главной причиной тому явились отношения, сложившиеся с Вишняком-Геликоном.

Начавшись с увлеченных бесед о поэзии, они вовлекли Цветаеву еще до приезда мужа в состояние сердечной смуты, которая всегда захватывала ее врасплох.

Думалось: будут легки
Дни – и бестрепетна смежность
Рук. – Взмахом руки,
Друг, остановимте нежность.

Не – поздно еще!

В рас – светные щели
(Не поздно!) – еще
Нам птицы не пели…

Сюжет отношений оказался краткосрочным. И, может быть, не заслуживал бы упоминания. Исчерпался он недели за три – дальше оставался лишь шлейф непреодолимой горечи.

Но ведь и все пребывание Цветаевой в Берлине было краткосрочным!

Слишком уж не вовремя этот сюжет возник.

Вспыхнувшего увлечения не погасил даже приезд Сергея Яковлевича из Праги. Впрочем, мы мало что об этом знаем. В нашем распоряжении, в сущности, есть единственный материал, не слишком проясняющий ситуацию, – «Флорентийские ночи». Так назвала Цветаева в начале тридцатых годов рукопись, составленную ею из девяти женских писем и одного мужского, ответного, – причем рукопись предназначалась для публикации. Имена корреспондентов здесь отсутствуют, прямой автобиографизм прикрыт. Но нет сомнений: в основу легли берлинские письма Цветаевой Вишняку, вытребованные Мариной Ивановной у адресата обратно осенью того же 1922 года.

Редактировались ли тексты писем? Достоверно мы этого пока не знаем, однако главное, конечно, сохранено.

«Флорентийские ночи» – хроника любовного увлечения. Однако внешних событий здесь нет, это хроника эмоций и размышлений, дневник противоречивых чувств, монолог, почти не рассчитанный на отклик. Здесь отчетливо слышны мотивы, которые надолго сохранят эхо в цветаевском творчестве.

В этих письмах обозначилась тема человека с иссушенным сердцем и «вялой» кровью; неспособного воспринимать ни саму жизнь, ни искусство целостно – душой, открытой для боли и радости. Можно вспомнить, что мотивы эти рождались еще в записных книжках Марины в период ее увлечения Вышеславцевым – и поведут они затем к странному цветаевскому «Гамлету» – велеречивому и обделенному благодатью живых страстей (цикл стихов 1923 года), а также к герою поэмы «Автобус» – «интеллектуальному гастроному»… Геликон и оказался очередным «гастрономом»…

В этой так некстати вспыхнувшей влюбленности не было ни малейшей угрозы ни для чьих супружеских уз. Цветаева всегда отлично осознавала пределы своей «одержимости» – но загадка чужой души, всегда ее притягивавшая, не отпускала ее на волю слишком быстро.

Реальную психологическую атмосферу тех дней лучше всего передает ее лирика июня и июля – она вся замешена на дрожжах этой истории.

Когда сравниваешь жизненный повод и поэтический отклик на него у Цветаевой, всегда изумляешься мощной многотональности эха. Какое богатство реакций, как просторен и многокрасочен мир, рожденный злосчастным эпизодом! Стихи радостные и горькие, исполненные боли и самоиронии, размышлений о жизненной тщете, о тяжелом бремени лжи, о любовном собственничестве…

Около тридцати стихотворений написано за два месяца! И среди них некоторые совершенно замечательные. Вот несколько отрывков:

Бог с замыслами! Бог с вымыслами!
Вот: жаворонком, вот: жимолостью,
Вот: пригоршнями: вся выплеснута
С моими дикостями – и тихостями,
С моими радугами заплаканными,
С подкрадываньями, заборматываньями…

Или:

Удостоверишься – повремени! –
Что, выброшенной на солому,
Не надо было ей ни славы, ни
Сокровищницы Соломона…

Кажется, все ее сердечные перебои только для того и случаются, чтобы не дать паузы поэтическим поискам. В состоянии холодного сердца они Цветаевой не даются…

Спустя год, в 1923-м, в Берлине выйдет из печати ее сборник «Ремесло». Он объединит стихотворения, созданные за год до отъезда из России. Когда книга появится в продаже, она приведет в недоумение читателей, восхищавшихся цветаевской поэзией прежних лет.

Это – Цветаева?..

Нервная сжатость стиха, его напряженность и жесткость, затрудненность поэтической речи, акцентированная звукопись – все было здесь непривычным. Простой сменой вкусовой ориентации поэта объяснить это невозможно. Перемены в иерархии жизненных ценностей – вот что лежало в их

фундаменте. Всё здесь сказалось – и прежде всего испытания четырех московских лет. Особенно двух последних, окрашенных смертью младшей дочери и готовностью самой уйти из жизни.

Борис Пастернак

Прежний цветаевский голос исчез.

Прежними интонациями уже нельзя было выразить трагедийное мироощущение, сформировавшееся в эти годы.

И, как результат, «Ремесло» продемонстрировало рождение новой стилистики. Она еще будет совершенствоваться и меняться – но к старой манере Цветаева не вернется никогда.

3

В конце июня она неожиданно получила письмо от Бориса Пастернака. Длинное, сбивчивое, написанное на едином порыве волнения и щедрой благодарности.

Как оказалось, Пастернак только что купил и прочел «Вёрсты», тот самый сборник, в который Цветаева включила стихи

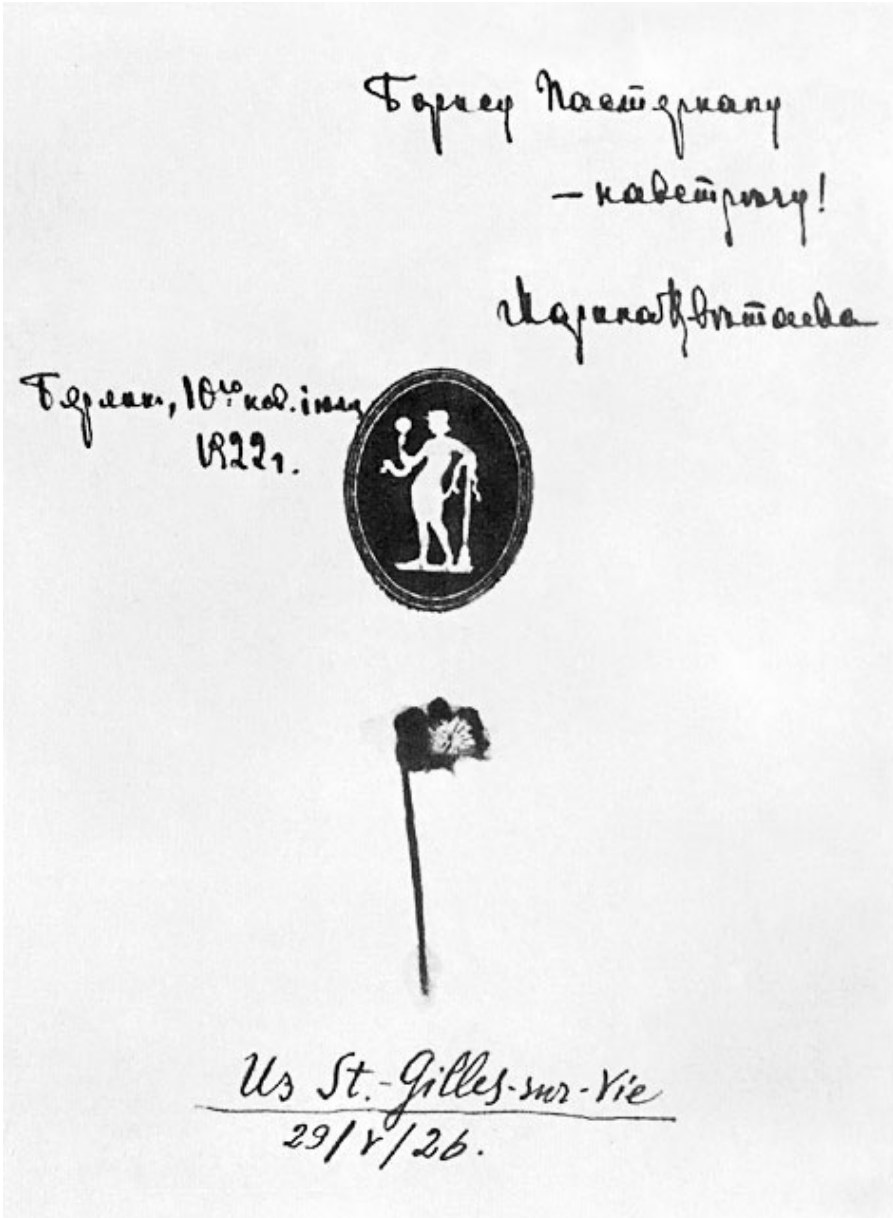
1918–1920 годов, – он вышел в Москве в самом начале 1922 года. Борис Леонидович радовался и горевал: радовался несравненному таланту, вдруг ему открывшемуся, горевал, что «оплошал и разминулся» с самой Мариной Ивановной. «Как странно и глупо кроится жизнь! – писал Пастернак. – Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже “Вёрсты”, и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью, без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плоившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства: книги не покупаешь потому, что ее можно купить!!!»

Они сидели на литературных вечерах, мельком виделись в чужих домах. И совсем недавно, в апреле этого, 1922 года, вместе шли за гробом Татьяны Федоровны Скрябиной. Но ни ему, ни ей не дано было тогда предчувствия – кем станут они друг для друга. Чтобы родилась их взаимная сердечная преданность, оказались нужны не просто встречи. Нужно было иное: однажды вслушаться в тот поток странной ритмической речи, которая возникала под их пером в таинственный час творчества. Ибо тогда они всего открытее обнаруживали сокровенный мир, которым оба жили и дышали.

В Москве Цветаева так же проглядела поэзию Пастернака, как и он – ее поэзию. Ошеломленная письмом, она теперь впервые достала и прочла его сборник, вышедший в Берлине, – «Сестра моя жизнь».

На дворе – начало июня 1922 года.

В германской столице стоит изнуряющая жара. Дышать можно только на балконе, когда оттуда уйдет солнце.



Надпись Цветаевой на экземпляре ее книги стихов «Разлука», посланной Б. Л. Пастернаку 10 июля 1922 г. Приклеенный Пастернаком цветок был получен в письме от Цветаевой. Надпись Б. Л. Пастернака: «Из Сен Жиль-сюр-Ви. 29.V.26»

Два дня подряд Цветаева не может оторваться от пастернаковских стихов, с книжкой на груди просыпается поутру.

«Я попала под нее, как под ливень, – записывает она в своей тетради. – Ливень: все небо на голову, отвесом; ливень прямо,

ливень вкось, – сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых, – ты ни при чем: раз уж попал – расти! – Световой ливень». Эти строки вошли в первую в ее жизни статью о поэзии; она так и назовет ее: «Световой ливень». Статья была написана в пять дней, сразу же по прочтении пастернаковской книжки, – и кажется, главным образом для того, чтобы справиться с волнением, которое пробудил неожиданно услышанный голос. Панегирик Пастернаку в статье безогляден, хотя Цветаева и пытается обосновать «здраво и трезво», цитатами и тезисами, свое восхищение. Главное же – она убеждена в огромном будущем поэта; и это при том, что «по-настоящему его еще нет, лепет, щебет, дребезг, – весь в Завтра! – захлебывание младенца, и этот младенец – Мир». Но все-таки он «сейчас больше всех, – писала Цветаева, – большинство из сущих – были, некоторые есть, он один – будет».

Так входит в жизнь Марины Цветаевой поэт и человек – Борис Пастернак.

Отныне он будет годы и годы присутствовать в ее судьбе – как и она в его. Их привязанности друг к другу суждено было родиться тогда, когда между ними пролегли не просто версты, но границы. И случится так, что семнадцать лет чужбины станут для Цветаевой временем разлуки не просто с Россией – с человеком, который способен был понять ее лучше всех других людей на земле: с Борисом Пастернаком.

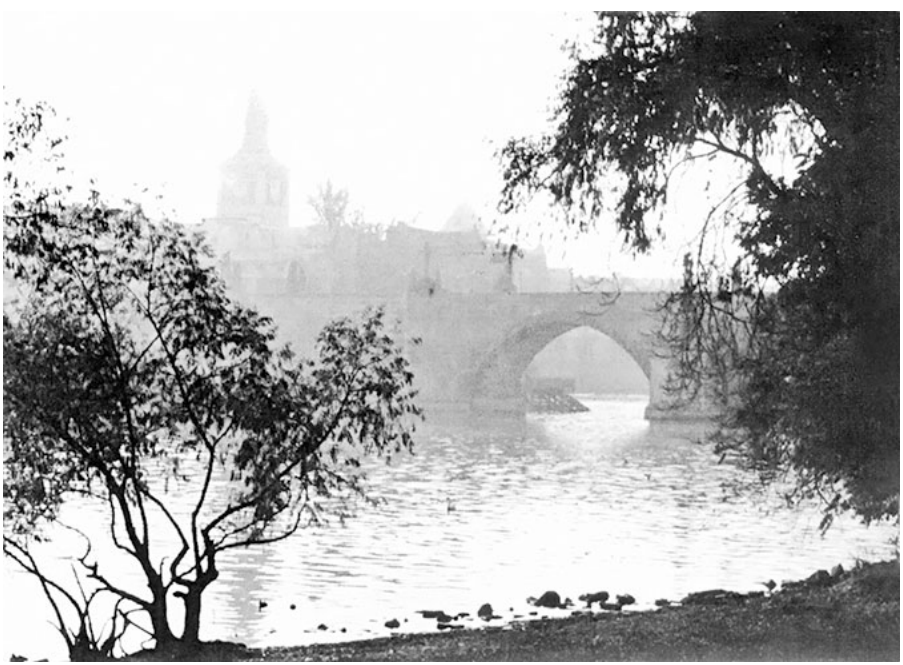
Глава 2
1923-й

1

Цветаевские места в окрестностях Праги очень живописны.

Если сесть на электричку на Смиховском вокзале, дорога до Вшенор займет меньше получаса. Но красота за окнами начнется не сразу а после Радотина. Вдали появятся гряды высоких темно-зеленых холмов, набегающих друг на друга; изредка прильнет почти вплотную к поезду мерцающий срез такого холма – и тогда окажется, что это, собственно, скала, густо поросшая на вершине деревьями.

Но вот поезд с грохотом пересекает мост над широко разлившейся здесь речкой Бероункой. Она поблескивает в лучах утреннего солнца; плакучие ивы свисают над водой; рыбачья лодка замерла недалеко от берега.



Прага

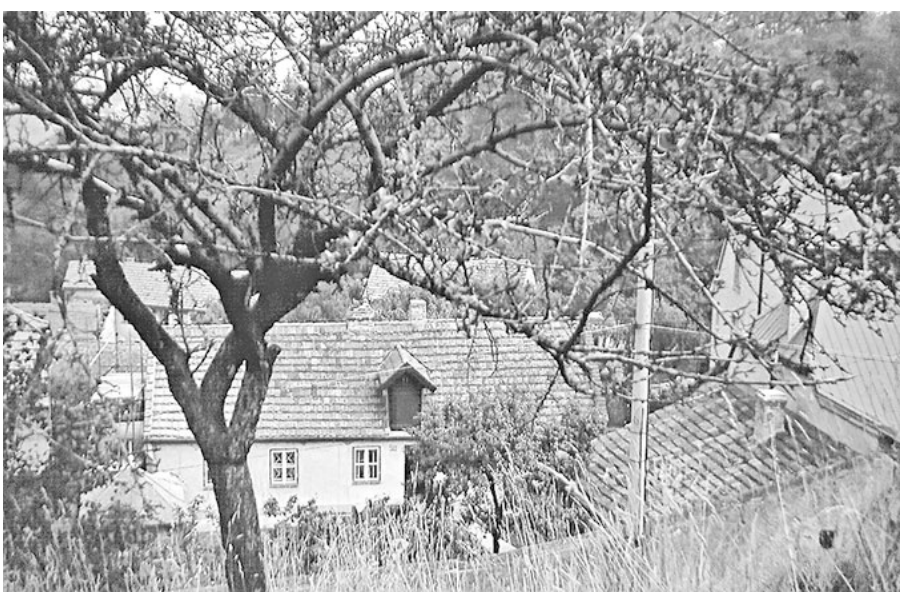
Сколько тут неба! Как подчеркнута даль то придвигающейся, то убегающей к горизонту грядой холмов! Один из берегов реки рядом с мостом круто переходит в склон, черепичные крыши

домов нарядно краснеют среди густой зелени холма.

Проезжаем Черношице. Теперь смотрите внимательно в левое окно: скоро мелькнет на пригорке шпиль костела, он будет хорошо виден из вагона. Это и есть Горние Мокропсы. Так назывались эти места в то время, когда здесь жила Цветаева, – теперь это Вшеноры первые. От станции Вшеноры туда надо пройти ровно километр асфальтовой дорогой вдоль железнодорожного полотна – и потом подняться вверх.

Вот и костел. Вокруг него – маленькое старинное кладбище. А сразу позади кладбища начинается улочка, которая ползет влево вверх еще выше; она называется по-чешски «В халупках». Вот туда нам и надо.

Пройдем несколько добротных каменных домов с красивыми ухоженными двориками. Одноэтажная «халупка» под номером 051 и будет та, в которой более полувека назад жила Марина Цветаева. Конечно, дом много раз ремонтировался, его расширили пристройками, и теперь это уже не крайний дом в деревне, как было тогда. Появились новые улочки, еще выше взобравшиеся на холм. Улочки теперь покрыты асфальтом, как и дорога внизу; около многих домов стоят чистенькие яркие легковые автомобили.



Дом, в котором жила М. Цветаева. Горние Мокропсы

Асфальт и машины придется мысленно из картины исключить. И наоборот – довообразить себе местных хозяек в шляпах, а мужчин в цилиндрах – так одевались здесь по торжественным дням в те давние времена.

С вершины холма открываются такие красоты, что дух захватывает. Недаром Цветаева почти силком затаскивала сюда всякого гостя, приехавшего из Праги ее навестить. Видны отсюда и Бероунка, и рельсы железнодорожного полотна, и Дольние Мокропсы по ту сторону реки, и Вшеноры, где Цветаева будет жить в последний свой чешский год – 1925-й – до отъезда во Францию.

Эти места со странными, смешными для русского уха названиями приютили в начале двадцатых годов русских эмигрантов, попавших в Чехословакию самыми разными путями.

Массовый наплыв русских в Прагу начался с лета 1921 года, когда Чехословакия на государственном уровне организовала так называемую Русскую акцию помощи. Снимать жилье в Праге было баснословно дорого, и беженцы, даже именитые, нередко селились в пражских пригородах. В Розтоках жила известная общественная деятельница и журналистка Е. Д. Кускова со своим мужем С. Н. Прокоповичем, в Почернице – «бабушка русской революции» Е. К. Брешко-Брешковская, в местечке Збраслав – философ Н. О. Лосский.

Быт в этих местах был совсем не благоустроенным, зато цены доступнее.

Горние Мокропсы

Поселенцы и хозяева нелегко приживались друг к другу. Мешал не только языковой барьер. Русские плохо приспосабливались к непривычной регламентированности

жизненного уклада чехов: слишком уж много правил и запретов! Когда при расчете с хозяевами выяснялось, что надо отдельно платить за пользование хозяйской лампой или за сидение на клеенчатом диване, – это казалось диким. Но, в свою очередь, и русские в глазах чешских домовладельцев, привыкших сдавать пражанам свои комнатки на летнее время, были странным и несуразным племенем. Беспечным племенем, наделенным непонятной страстью к дальним прогулкам. Чуть ли не каждый свободный вечер они ходили друг к другу в гости, засиживаясь допоздна; играли в преферанс, а то и «в дурака» с детьми, устраивали пикники и шумные пирушки в дни получек, а неделю спустя, как шутила Цветаева, «впадали в задумчивость»… Летом русские ходили купаться не на общий пляж, где были выстроены кабинки для переодевания, а в свои любимые места, никак не оборудованные, – и переодеваться ходили в прибрежный ивняк.

В домике, который теперь числится под номером 051, Цветаева прожила почти год – с ноября 1922-го до сентября 1923 года. «Год жизни – в лесу со стихами, с деревьями, без людей» – так подытожила она позже, уезжая из этих мест и с благодарностью оглядываясь. В самом деле, год оказался малолюдным и прошел в тесной дружбе с холмами и особенно с лесом, до которого было здесь рукой подать.

Позже, все годы, прожитые во Франции, Цветаева будет тосковать о нем, гуляя по замусоренным окраинам мёдонского леса. Никогда больше у нее не окажется такого приволья для прогулок, как в этот год, – даже во Вшенорах, потому что там она уже не будет так свободна: рождение сына изменит весь жизненный распорядок.

А пока она с наслаждением бродит лесными и горными тропками, с Алей и одна, спускается вниз, к Бероунке, то сужающейся, то широко раздвигающей берега, поросшие высоким папоротником. И тому, кто видит издалека ее легкую фигуру, шагающую решительно и ритмично, в грубых тирольских башмаках, кажется, что идет юный странник-послушник. Ходьба – ее страсть.

Вблизи, правда, Марина уже давно не выглядит юной. Приятель и сокурсник Эфрона Николай Еленев, впервые увидев ее после шестилетнего перерыва, поразился перемене ее облика. В стриженых волосах – проседь, кожа лица потемнела, в глазах исчез блеск…

С дочерью Ариадной

В тот день после первого обмена приветствиями Цветаева протянула Еленеву большую кастрюлю, обернутую газетной бумагой.

– Я принесла вам каши. Мы сварили ее слишком много. Я подумала: не выбрасывать же…

Кашу приняли, но сам этот жест показался Еленеву диковатым: денег, правда, и у него с женой было в обрез, но делиться кашей… Только позже он понял, что то был жест

человека, перенесшего страшное время и уже неспособного выбросить даже корку хлеба.

Новые знакомства поначалу не были слишком обширными. Но ко времени приезда жены Эфрон почти год прожил в Чехословакии и успел обрасти достаточным кругом друзей. Сестры Рейтлингер в Праге, молодые Еленевы в Мокропсах, семья писателя Чирикова во Вшенорах были первыми, кто появился теперь в окружении Цветаевой.

Четыре дня в неделю Сергей Яковлевич слушает лекции русских профессоров-эмигрантов на философском факультете старинного Карлова университета в Праге.

В эти дни он живет вместе с другими русскими студентами в предоставленном им общежитии «Свободарна», в промышленном квартале Либень. «Свободарна» напоминала казармы, она была построена для холостых рабочих оружейных заводов еще перед Первой мировой войной. Теперь здание отдали бывшим солдатам Добровольческой армии, ставшим студентами чехословацких учебных заведений. Жилье они здесь не оплачивали и получали, кроме того, даровое питание в столовой. У Эфрона, как и у других, была своя «кабинка», размером чуть меньше вагонного купе, отделенная от других тонкой перегородкой, не доходящей ни до цементного пола, ни до потолка. В кабинке – койка, только позже появятся стул и стол. Но когда жена и дочь задерживаются в Праге, они ночуют в этом общежитии – в «Свободарне» всегда находятся пустующие кабинки.

Марина, Аля, Сергей. Чехия, 1923 г.

Цветаева, впрочем, приезжает в город не часто – раз или два в месяц.

На Смиховском вокзале ее встречает обычно Катя Рейтлингер, веселая, преданная двадцатидвухлетняя русская студентка, много сделавшая для Эфронов в их чешские годы. Она страстно любила цветаевские стихи еще в России – и вдруг оказалось, что однокурсник сестры Юлии женат на той самой Цветаевой!..

Осенью 1922 года Эфрон привел жену и дочь в гости к сестрам Рейтлингер. Знакомство Катю не разочаровало, но она не могла не почувствовать как настороженную колючесть Марины,

так и ее бесконечную усталость. И все остальные годы, оставаясь верным другом семьи, радостно помогая всем, чем могла (а обстоятельства сложились так, что могла), Катерина Николаевна всегда испытывала в присутствии Цветаевой сложную смесь трепетного преклонения – и опаски.

В Праге она стала почти бессменным поводырем Цветаевой – ведь в любом городе, кроме Москвы ее юности, Марина беспомощна и пуглива. Она не может сама найти нужный адрес: на каждом перекрестке подолгу стоит в растерянном раздумье.

Катя Рейтлингер. Прага, середина 1920-х гг.

Уличные переходы для нее мучение, даже на маленьких улочках она со страхом вцепляется в руку попутчика, едва завидев вдали одинокий автомобиль. Теряется и в магазинах: она близорука, не знает чешского языка, денег всегда в обрез, и как сообразить, где дешевле купить необходимое…

Только доведя Цветаеву до порога редакции журнала «Воля России», разместившейся неподалеку от старой ратуши, Катя может спокойно идти по своим делам. Здесь эстафету покровительства принимает Марк Слоним, с которым Марина познакомилась еще в Берлине.

Редакция журнала занимает всего одну комнату в доме на крохотной площади Ухельни Трх, – по преданию, именно здесь был выстроен в давние времена первый дом Старого города. Сотрудники «Воли России» относятся к Цветаевой с неизменным

дружелюбием, хотя, кроме Слонима, здесь мало кто понимает ее стихи. Не понимают, но верят и даже почитают, а самое главное – безотказно печатают. И исправно, без напоминаний, платят гонорары…

Марина Цветаева и Аля на свадьбе К. Рейтлингер. 1924 г.

Марк Слоним с удовольствием показывает Цветаевой Прагу. Он обожает этот город, собирает о нем все исторические и фантастические предания и позже напишет книгу «По золотой тропе». Они бродят по древней части города, где в узеньких улочках на подоконниках подслеповатых окошек стоят хилые цветы, а в утренние часы лежат пуховики и подушки. Старые дома

с выцветшими ставнями украшены каменными гербами. Можно зайти в старую харчевню с деревянными лавками и закопченным потолком, выпить кружку холодного пива. В одном из дворов слепец, сидя на складном стуле, просит милостыню, в другом – старик-еврей пиликает на скрипке. Мальчишки везут на тачках мебель, мясо, зелень, истошно кричит грязный человек, за которым изможденные клячи тянут огромный фургон, – и навстречу ему хозяйки выносят из домов ведра с мусором.

Ухельни Трх (Угольный рынок) – старейшая площадь города

Марк Слоним. Рисунок А. Билиса. 1931 г.

Ближе к центру толпа на улицах становится гуще, на поворотах дребезжит трамвай, справа и слева – все больше лавок, и витрины становятся все шикарнее. В иных медленно кружатся парижские манекены, за зеркальными окнами кондитерских – заморские фрукты, снежные горы взбитых сливок, груды бутербродов. Чуть ли не у каждой витрины – толпа зевак. Около подъезда ресторана – швейцары с галунами, лакированный автомобиль ожидает своего хозяина; внутри же видны малиновые ковры, важные господа с лысинами и нагнувшиеся над столиками степенные официанты с карандашами и блокнотами в руках. На углу Вацлавского проспекта с цветной афиши улыбается Мэри

Пикфорд, на другой афише – пес слушает голос хозяина, звучащий из граммофонной трубы. Вечерами зажигаются надписи дансингов, где завывает джаз-банд, над крышей редакций бегут прерывистые буквы новостей.

И все это – Прага, пробужденная после столетий насильственного сна.

После победы Республики в 1918 году пражане хотят, чтобы их город как можно скорее стал похож на другие столицы мира, и стремятся пересадить в Прагу все столичные выдумки. Из Америки возвращаются на родину чехи, привозя с собой размах и волю к переменам. В результате в разных кварталах города – наслоения разнородных стилей: от готики до барокко, и все же, считает Марк Львович, какое-то единство ощутимо встает из этого смешения архитектурной и исторической пестроты.

Прага. Карлов мост

А вот и огромная Староместская площадь, окруженная приземистыми аркадами. Над ней возвышается островерхий Тынский собор, и на одной из его стен можно прочесть едва заметную надпись: vanitas vanitatis – суета сует. На этой площади прошла вся история Праги. Здесь началась Тридцатилетняя война. По этим камням ходил в XIV веке король Карл IV, мечтавший о том, чтобы Прага получила наследие Рима. Карлов век был эпохой возрождения Праги. Молодежь и ученые со всех сторон света съезжались тогда в только что основанный Карлом

университет.

Неподалеку от площади Карлов мост – гордость горожан, символ Праги, такой же, каким стала позже для Парижа Эйфелева башня. Здесь, по преданию, замурован меч, которым святой Вацлав – покровитель города – в грозный час защитит Чехию. С обеих сторон моста – две высокие сторожевые башни, а на парапетах, справа и слева, – кресты, изваяния, фигуры святых…

У одной из каменных опор моста стоит на узком цоколе статуя рыцаря с поднятым мечом. Узкое лицо, из-под шлема выбиваются тонкие кудри, весной птицы вьют гнезда в сгибе его локтя. То ли это Роланд, то ли легендарный Брунсвик, меч которого сек головы всем врагам?.. Марина подолгу вглядывается в рыцаря: он кажется ей похожим на Сергея, мужа, – жертвенностью и чистотой облика…

Зеленая Влтава кажется тут необыкновенно широкой и полноводной, а ее набережные станут любимейшим местом цветаевских прогулок.

Статуя рыцаря возле Карлова моста в Праге

Трудно сказать, когда именно удалось ей выхлопотать так называемое чешское иждивение – ежемесячное пособие, которое

правительство Масарика назначило широкому кругу русских писателей и ученых, оказавшихся в эти годы в Чехословакии. На одну студенческую стипендию Эфрона прожить втроем было, конечно, невозможно. На пропитание хватало, зато приобретение платья и обуви будет не по карману все чешские годы. Хорошо еще, что в Берлине Любовь Михайловна Эренбург почти силком заставила Марину купить простое платье крестьянского покроя. В нем мы и видим Цветаеву на фотографии, сделанной той же Катей Рейтлингер, – Марина рядом с мужем и дочерью. У Али тоже всего два платья, их приходится беспрерывно латать, и потому любимый сюжет ее фантазии – кошелек с двумя миллионами, случайно найденный на дороге. Еще больше, чем платьев, Але хочется книг – много разных книг! Но книги дороги…

В воспоминаниях Ариадны Сергеевны Эфрон этот первый год жизни в Чехии окрашен тем не менее почти что в идиллические тона. Отец в зимние вечера читает вслух при свете керосиновой лампы Диккенса или Гоголя; родители, сменяя друг друга, рассказывают засыпающей дочери нескончаемую сказку; утром Марина хлопочет вокруг мужа, готовя ему завтрак и провожая по понедельникам до самого поезда… Все это достоверно известно из дневниковых записей Али. Со времен Москвы она ежедневно заполняет – и это чуть ли не главное в ее домашнем обучении! – три-четыре странички дневника.

Однако живая достоверность многомерна. Самый тонкий наблюдатель не разглядит извне всех ее пластов. «Я живу по стольким руслам!..» – это признание много раз повторяется в цветаевских письмах. К нему стоит прислушаться.

2

В Чехословакии Марина переводит дух после четырехлетней изнурительной борьбы за хлеб и тепло домашнего очага. После четырехлетней, не отпускавшей ни на день тревоги за жизнь мужа. Она не может не ощущать облегчения, как от сброшенной с сердца глыбы. Муж уцелел, он рядом, он делит, насколько может, тяготы нового нелегкого быта…

Но понадобилось совсем немного времени, чтобы стало ясно: на смену прежним испытаниям шли другие.

За четыре года разлуки Цветаева, конечно, не могла забыть, что семейная ее жизнь в предреволюционные годы уже не была идиллической. Но издали, в разлуке, казалось, что теперь, может быть, все будет иначе. И в письме Волошину примерно через год

после встречи с мужем на чужбине (10 мая 1923 года) она напишет: «Встретились мы с ним, как если бы расстались вчера».

Однако, как и «вчера», семейная совместность оказалась непроста. И Цветаевой снова пришлось убедиться, что сама она мало пригодна для тихого домашнего счастья. Встреча с мужем с самого начала очертила некие неодолимые грани.

Всего через месяц с небольшим после приезда в Чехию написано стихотворение «Берегись…». В нем знаменательны начальные строки:

Но тесна вдвоем
Даже радость утр.
Оттолкнувшись лбом
И подавшись внутрь,

(Ибо странник – Дух,
И идет один),
До начальных глин
Потупляя слух –

Над источником,
Слушай-слушай, Адам,
Что́ проточные
Жилы рек – берегам:

Ты и путь и цель,
Ты и след и дом.
Никаких земель
Не открыть вдвоем…

Характерны полушутливые признания Цветаевой, сделанные в одном из писем спустя два года: «Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу, – нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом!» И еще через две недели, в письме тому же адресату, Марина не ленится переписать длинную цитату из учебника археологии. Это место отчеркнул и показал жене Сергей Яковлевич («Наконец-то догадался, кто я», – с удовольствием комментирует Цветаева): «… апачи выказывают особенное отвращение ко всему, что походит на дом. Они только в исключительных случаях строят хижины из легких ветвей и кустарника; когда же становится слишком холодно, то отыскивают углубление в земле или же строят из земли и листьев род котла ‹…› скорчившись, садятся в него совсем голые, большей частью в одиночку, и встают только на

другой день, когда солнце согреет их окоченевшие члены…»

Что бы мы ни знали о «романах» Цветаевой, она была правдива, когда говорила о себе как о человеке протестантского долга, всю жизнь прожившем в «вольной неволе».

Сергей был ее «доля», ее судьба. Заботиться о нем, делить вместе беды – это и называла сама Марина: верность. «Долю и волю», «дорогую несвободу» в лоне семьи она будет обсуждать в одном из писем Пастернаку 1926 года. Но там же, глухо, недоговаривая, признается в глубочайшей неутоленности сердечного чувства…

Никакие внешние перемены и переезды не имеют власти над мощным ее творческим импульсом. 31 июля – отъезд из Берлина, 1 августа – приезд в Прагу поиски жилья, ночлеги в чужих домах, перетаскивание вещей, непривычный быт в незнакомой стране…

Но уже 5 и 6 августа написаны первые стихотворения цикла «Сивилла», с сентября начнутся циклы «Деревья», «Бог», «Заводские».

Двенадцатого октября поток стихотворений прекращается: Цветаева принимается за поэму «Молодец». Почти три месяца неотрывно она погружена в работу, которая захватывает ее целиком. И когда работа эта завершена, Марина чувствует себя полностью обновленной. Далеко позади остаются сердечная тяжесть и уязвленность, вывезенные из Берлина вместе с памятью о «геликоновском» эпизоде.

Некоторое время спустя она напишет Пастернаку: «А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего не станет нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Ведь Ваше “тяжело” – только оттого, что Вы пытаетесь: вместить в людей, втиснуть в стихи. Разве Вы не понимаете, что это безнадежно, что Вы не протратитесь. (Ваша тайная страсть: протратиться до нитки!)»

Это голос обретенного личного опыта: творчество – лучшее из лекарств от всех жизненных бед! Работа над большой поэмой, а затем над эссе «Кедр» возвращает Цветаеву на твердую почву своего собственного «сивиллиного» дела. Теперь она уже полностью излечена от берлинских разочарований, ниточка душевной зависимости от них окончательно перегорела.

Цитированное письмо Пастернаку адресовано не в Россию, а в Берлин.

Роковым образом Цветаева и Пастернак разминулись – всего на две недели! Хлопоча летом 1922 года о визе в Германию, где жили тогда его родители, Пастернак был уверен, что встретится с Цветаевой; ведь в ее ответном письме из Берлина было сказано:

«Я здесь надолго». Борис Леонидович и сам собирался пробыть в Берлине полгода или год – спокойно поработать, издать сборник стихов в здешнем русском издательстве. Но ко времени его приезда в Германию Цветаева уже уехала в Прагу.

Теперь они были отделены друг от друга всего несколькими часами дороги.

И тем острее ощутили горечь разминовения.

Первое письмо Бориса Леонидовича из Берлина Цветаева получила в ноябре. Она ответила дружески тепло и, среди прочего, как бы утешая себя, писала: «Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой: тогда встреча – над. Закинутые лбы!..»

Но существовала и другая правда – вспыхнувшее искушение: ей смертельно захотелось увидеться – теперь, когда они заново открыли друг друга. Посидеть вдвоем в каком-нибудь из берлинских кафе, наговориться всласть… И Цветаева исподволь начинает обдумывать возможность поездки в Берлин, хотя бы на несколько дней. У нее нашлись для этого и деловые поводы: отыскать, например, издателя – для поэмы «Молодец» и для книги прозы, которую она задумала.

Но поездка требует денег.

И визы.

И на кого оставить Алю в канун приближающейся зимы, когда вот-вот грянут холода? Уже теперь, в ноябре, печь в доме приходится топить чуть не полдня, чтобы сырость не проступала на стенах…

Но крепче, чем что бы то ни было, ее удерживает на месте незаконченная рукопись. Поэма «Молодец» будет завершена только к Рождеству, и, пока не поставлена последняя точка, Марина прикована к своему письменному столу надежнее, чем цепями.

Наконец поэма закончена.

И тут почта приносит только что изданную книгу мемуаров князя Волконского – Цветаеву связывает с ним со времен революционной Москвы самая сердечная дружба. Марина принимается за чтение и рецензию, неожиданно разросшуюся на полтора десятка страниц. Получилась не рецензия, а прекрасное эссе «Кедр».

Едва оно дописано, на цветаевском столе появляются дневники, которые вела Марина в Москве, – она хочет теперь составить из них книгу прозы под названием «Земные приметы»…

Ничего особенного: такой мы увидим Цветаеву в любой период ее жизни, мало-мальски стабильный.

Темы и замыслы набегают друг на друга, как холмы в

окрестностях Бероунки, – весь вопрос в том, чтобы выбрать, сосредоточиться. И должно произойти нечто совсем уж чрезвычайное, чтобы перерыв в работе затянулся на две-три недели. Тогда она чувствует себя несчастной, обкраденной, обездоленной. Свет ей не мил, все во всём виноваты, жизнь не удалась, она пишет друзьям безысходные и злые письма.

Но может случиться, что уже на следующий день после мрачнейшего будет написано письмо, где мир заново обретает свои сочные краски. Это означает одно: она снова за работой. Тромб рассосался, кровообращение восстановлено – жизнь продолжается.

1923 год начинался неплохо: спартанский, но не слишком перегруженный хлопотами быт, дивные прогулки, возможность ежедневной работы – и невиданный (несколько даже чрезмерный!) покой горной деревушки. Впрочем, покой – это для тех, кто к нему изначально приспособлен, для тех, кто умеет хранить и лелеять его внутри самого себя.

Но в феврале Пастернак присылает ей из Берлина свой новый поэтический сборник – «Темы и вариации». Книга и сопровождающее ее письмо попадают к Цветаевой в момент, когда она занята обработкой своего московского дневника для книги прозы. То есть делом, в котором творческое напряжение – не самого высшего накала. Это важно. Потому что это означает, что теперь у нее нет защитной брони. Стихи Пастернака обрушиваются на нее с той же силой Ниагарского водопада, что и прошлым летом, когда она читала книгу «Сестра моя жизнь». Все заново – и все по-другому, и только сама сила потрясения сравнима.

Одиннадцатого февраля она садится за письмо-отклик; четырнадцатого письмо продолжено.

Стихи для нее всегда – пропуск доверия. И потому она говорит с Пастернаком как сама с собой, не обдумывая, не оглядываясь на дозволенно-вежливые пределы. В этом длинном письме перед нами, по существу, протокольная запись душевного состояния человека, который читает стихи не глазами, а сердцем. Так, как они и должны быть читаемы.

«Ваша книга – ожог, – пишет Цветаева. – Та – ливень, а эта – ожог: мне больно было, и я не дула. ‹…› Ну вот, обожглась, обожглась и загорелась, – и сна нет, и дня нет. Только Вы, Вы один…» «Вы утомительны в моей жизни, голова устает, сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, опрокинутая всей этой черепной, междуреберной разноголосицей: строк, чувств, озарений – да просто шумов. ‹…› Что-то встало, и расплылось, и

кончать не хочет, – я унять не могу…»

В письме, однако, не просто отражено волнение: это письмо-поддержка. Ибо Пастернак не скрыл собственного недовольства книгой. Цветаева не соглашается, она настаивает на «первичности», подлинности, вечности лучших стихов сборника. Она предрекает Пастернаку путь неостановимого развития. Она пишет: «Ни от кого: ни от Ахматовой, ни от Мандельштама, ни от Белого, ни от Кузмина я не жду иного, чем он сам. (Ничего, кроме него.) – Любя, может быть, страстно! – (Завершение, довершение: до, за – предел!) Я же знаю, что Ваш предел – Ваша физическая смерть».

Потрясение толкает и саму Цветаеву к лирическому слову; как раз в эти дни возникнут ее первые стихи, прямо обращенные к Борису Леонидовичу. Она отошлет их ему немного позже.

Но уже через две с лишним недели до Праги доходит слух: Пастернак собирается возвращаться в Россию.

Его отъезд – дело дней.

Слух вскоре подтверждает и сам Борис Леонидович: наконец-то он внятно написал, как надеялся на встречу.

Взрыв отчаяния сотрясает Марину. Она торопливо наводит справки о визе, обдумывает, где достать на поездку деньги, обращается за советом и помощью к Марку Слониму, который не раз ездил в Берлин.

Но все усилия напрасны! За короткий срок – Пастернак сообщил, что уезжает 18 марта, – добиться разрешения на выезд невозможно.

> «*Мокропсы, 9 нов[ого] марта 1923 г.*
>
> Дорогой Пастернак,
>
> Я не приеду, – у меня советский паспорт и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине, и нет связей, чтобы это осилить, – в лучшем случае виза длится две недели. (Тотчас же по получении Вашего письма навела точнейшие справки.) Если бы Вы написали раньше и если бы я знала, что Вы так скоро едете. ‹…›
>
> Милый Пастернак, у меня ничего нет, кроме моего рвения к Вам, это не поможет. Я все ждала Вашего письма, я не смела действовать без Вашего разрешения, я не знала, нужна Вам или нет. Я просто опустила руки. ‹…› Теперь знаю, но поздно. ‹…›
>
> Не приеду, потому что поздно, потому что беспомощна, потому что Марк Слоним, например, достает разрешение в час, потому что это моя судьба –

потеря…»

Надежда на встречу в Берлине рухнула.

На смену ей, в утешение, придет новая, совсем хрупкая мечта – встретиться через два года в Веймаре. Пастернак обещал, что непременно вырвется еще раз, к родне, заранее известив Марину. Как ни эфемерна эта надежда, оба принимают ее всерьез – хотя бы потому, что ничего другого не остается. Но два года!

> «Ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! ‹…› Пастернак, два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг – по-безумному! – начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно. – Буду присылать Вам стихи и все, что у меня будет в жизни. ‹…› Мой Пастернак, я, может быть, вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, – благодаря Вам! Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчания. А у меня ведь только перо!.. Господи, все дни моей жизни принадлежат Вам! Как все мои стихи… Последние слова: будьте живы, больше мне ничего не нужно…»
>
> Восемнадцатое марта Цветаева проведет на своей «богемской горе», мысленно провожая и расставаясь. Надо знать силу этого ее «мысленно», чтобы понять: и в живейшей реальности расставание не могло быть пережито сильнее.
>
> Зима 1923 года в Мокропсах была почти бесснежной, похожей скорее на прохладное северное лето. Уже в феврале запахло весной, набухли вербы, зазвенели от дождей ручьи. Позже она записала в своей тетрадке: «Весну этого года я увидела черной, в темноте, скорей услышала, чем увидела, – в шуме ‹…› надувающихся, торопящихся, проносящихся ручьев…»
>
> Страдивариусами в ночи
> Проливающиеся ручьи…

Казалось, еще немного и станет совсем тепло. А тепло пришло только в июне, когда дожди успели уже надоесть: с конца марта они лили чуть не ежедневно – весь апрель и май.

Но 18 марта стоял чистый, прозрачный весенний день. Цветаева провела его в одиночестве.

Накануне было написано первое стихотворение из тех десяти, которые составят позже цикл «Провода», целиком посвященный Пастернаку. Теперь, в самый день его отъезда, создано второе. В нем – душевная буря, с трудом облекающаяся в слова:

Чтоб высказать тебе… да нет, в ряды
И в рифмы сдавленные… Сердце – шире!
Боюсь, что мало для такой беды
Всего Расина и всего Шекспира!

Не хватает слов, тесна стихотворная строка, горловой спазм мешает договаривать до конца фразы: Цветаева стремится отлить в поэтическую форму саму стихию сердечного волнения. Горечь, жалоба, пронзительное чувство утраты переданы в обрывочных строках и словах. Только в последней строфе стихотворения эмоциональный накал разряжается в протяжном плаче, облегчающем трагедийное напряжение. Страдание обретает слова:

О по каким морям и городам
Тебя искать? (Незримого – незрячей!)
Я проводы вверяю проводам,
И в телеграфный столб упершись – плачу.

А в Берлине, на вокзале Шарлоттенбург, Пастернаку, уже стоявшему на подножке вагона, Роман Гуль вручил прощальный цветаевский подарок: книгу Эккермана «Беседы с Гёте». И еще в кармане Пастернака лежал переданный ему конверт со стихами Марины: по ее условию он мог прочесть их только в дороге.

Пройдет три года. Свидание в Веймаре тоже не состоится. Уже живя во Франции, Цветаева вспоминала этот свой день, 18 марта, почти с ужасом: «О, Борис, это страшно, – помнишь 1923 год, март, гору, строки:

Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер».

«Борис, это страшно…» Какой же была эта боль, если она так жжет сердце даже при воспоминании!

Мирно начавшийся в тихой горной деревушке, этот год не принес Цветаевой покоя. Он стал годом бурных душевных

потрясений, не раз выводивших ее на хрупкий край отчаяния. Иному человеку с лихвой хватило бы на несколько лет того концентрата эмоций и размышлений, который зафиксировали цветаевские стихи и письма этого года.

Вся весна будет заполнена стихами к Пастернаку, тоской разминовения. Летом вспыхнет еще одна переписка, с другим корреспондентом, Александром Бахрахом, – она принесет Марине удар, тяжело пережитый в августе. А в осенние месяцы непредсказуемо и неодолимо, как стихия, врывается в ее жизнь большое чувство – уже не к дальнему, а к тому, кто оказался совсем рядом. Имя стихии на этот раз – Константин Родзевич.

Какой простор для моралиста! Кажется, перед нами – сплошная лихорадка сердечных бурь, а вовсе не семейная идиллия, какую рисует дочь поэта в своих воспоминаниях… И всё это – рядом с мужем, о судьбе которого так болело сердце Цветаевой все годы разлуки? Какое искушение – порассуждать о «подлинных» и «выдуманных» страстях и вынести бескомпромиссное суждение! Но измеритель силы и качества сердечных эмоций не изобретен, и тот, кто берется не предположительно, а категорически судить об этой тонкой сфере, обнаруживает лишь свою природу души и сердца – не более.

Не будем торопиться с оценками.

Проследим лучше за успехами цветаевской поэзии в этом году. И тогда выяснится, что русская лирика бесконечно обязана легко загорающемуся, легко обольщающемуся, незащищенному сердцу Марины Цветаевой.

Утрата душевного равновесия в феврале прорвалась настоящим поэтическим потоком, который в весенние месяцы соревнуется с изобилием чешских дождей и ручьев. Среди прекрасных стихов, созданных в феврале – мае: циклы «Провода», «Федра», «Поэты», стихотворения «Эвридика – Орфею», «Душа».

Новый взрыв боли в августе – и еще четырнадцать шедевров! В их числе: «Письмо», «Час Души», «Минута», «Раковина»…

Наконец, последний взрыв осенью – и, помимо лирики, еще до середины следующего года будет выплескиваться волна, оставившая нам «Поэму Горы» и «Поэму Конца» – жемчужины в поэтическом наследии Цветаевой.

3

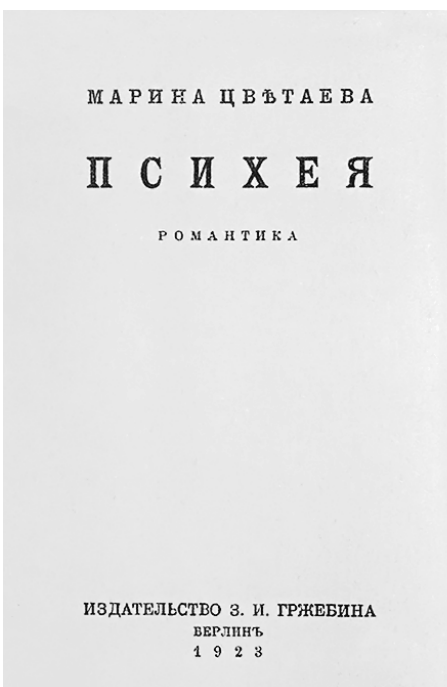
Со стороны, не вглядываясь в жизненные подробности, – лихорадка, безумие.

А вблизи?

В глазах дочери (судя по ее мемуарам) – семейный рай. В глазах мужа, вплоть до осени, будни Марины – труженический подвиг, почти послушание.

(Эфрон – Волошину, 10 мая 1923 года: «Марина проводит дни как отшельник. Очень много работает, часами бродит одна в лесу, бормоча…») В глазах тех, кто следит за литературными новостями, этот год – год обильных цветаевских публикаций и пристального внимания критики к ее творчеству: ни одна из ее публикаций не остается без отклика, почти всегда благожелательного.

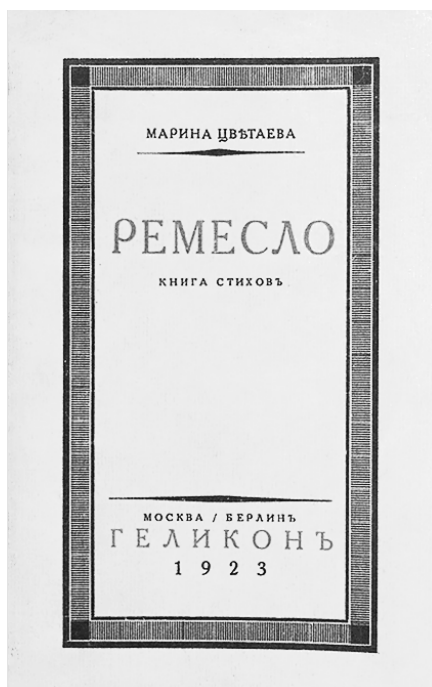
В Берлине, еще до отъезда Пастернака в Россию, вышел сборник «Ремесло». В мае появился другой – «Психея». В «Современных записках» опубликована пьеса «Фортуна», в «Воле России» – другая: «Приключение». А кроме того, стихи – в журналах, многочисленных сборниках, антологиях, альманахах. И в газетах – не только в Берлине, но и в Париже, Варшаве, Риге и даже в Галлиполи, в Турции, где еще оставалось немало русских.


МАРИНА ЦВѢТАЕВА

ПСИХЕЯ

РОМАНТИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИНЪ
1923


МАРИНА ЦВѢТАЕВА

РЕМЕСЛО

КНИГА СТИХОВЪ

МОСКВА / БЕРЛИНЪ
ГЕЛИКОНЪ
1923

Обложки книг Цветаевой, вышедших в Берлине в 1923 г.

Однако посреди всего этого она напишет свое блистательное «Прокрасться…»:

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем –

Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах…
Может быть – отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал.

А может – лучшая потеха
Перстом Севастиана Баха
Органного не тронуть эха?
Распасться, не оставив праха

На урну…

Известность, слава, признание современников – все это вещи, которые ее никогда на глубину не огорчали и не тешили. Они сказывались на уровне жизненных удобств – это правда. Помогали (или мешали) расплатиться с долгами. Устроить собственный вечер. Не более того. Ибо с ранних лет она знала цену дара, данного ей Богом, – и в подтверждениях со стороны напрочь не нуждалась. Потому же ее невозможно было уязвить пренебрежительным критическим отзывом; то были комариные укусы – малоприятные, что и говорить, но и только.

Публикации Цветаеву радуют. А вот отклики критиков, как правило, раздражают. Потому что хвалят поверхностно, мимо, не за то. «Хваля меня, – пишет Цветаева в одном из писем, – хвалят не меня, а Любовь Столицу. Если бы я знала ее адрес, я бы отослала ей все эти вырезки. Это не я».

Александр Бахрах

Только один «критический» голос выделяется среди других безукоризненной настроенностью именно на цветаевскую волну. Это голос Александра Бахраха. Его отклики появились в берлинской русской газете «Дни». Один из немногих, он с восхищением принял не только ее стихи, но и эссе «Световой ливень», мало кому понравившееся.

Еще в конце апреля, прочитав рецензию на свое «Ремесло», Цветаева начала писать Бахраху письмо. Но дописала, когда в газете «Дни» появился его же отклик на «Психею».

«Я не знаю, принято ли отвечать критику иначе, как колкостями – и в печати. Но поэты не только не подчиняются обрядам – они творят их! Позвольте же мне нынче, в этом письме, утвердить обряд благодарности: критику – поэта. ‹…› У вас редчайший подход – между фотографией (всегда лживой) и отвлеченностью. Вы берете то среднее, что и составляет сущность поэта: некую преображенную правду дней…»

Летом, в Берлине, они наверняка проходили мимо друг друга на литературных вечерах.

Но не познакомились.

И только теперь из ответного письма Цветаева узнаёт, что критику всего двадцать лет! Это, однако, не смущает ее, скорее

наоборот – воодушевляет. Значит, можно говорить свободнее, опекать, помогать росту. Интонации нежной опеки, почти материнского покровительства звучали и в ее письмах «Геликону» летом 1922 года; спустя годы они же звучат в письмах Гронскому, Штейгеру; их нет только в цветаевской переписке с Пастернаком и Рильке.

Из разочарований и боли родится позже горькая и парадоксальная цветаевская формула: «Дать можно только богатому, помочь – только сильному». Но и обретение формулы не научит ее осмотрительности: слишком легко она предполагает и богатство и силу чуть ли не в первом встречном…

Писем Бахраха мы не знаем, но Цветаеву они подкупают тонкостью реакций. «Ваш голос молод, – читаем мы во втором письме, отправленном в Берлин, – это меня умиляет и сразу делает меня тысячелетней, – какое-то каменное материнство, материнство скалы. ‹…› Продолжайте писать ко мне и памятуйте одно: я ничего не присваиваю. ‹…› В Вашем письме я вижу не Вас ко мне, а Вас – к себе. Я случайный слушатель, не скрою, что благодарный. Будемте так: продолжайте думать вслух, я хорошие уши, но этими ушами не смущайтесь и с ними не считайтесь. Пусть я буду для Вас тем вздохом (или тем поводом к вздоху!) – единственным исходом для всех наших безысходностей!»

Это важные строки для понимания цветаевского эпистолярного жанра вообще. И для верного прочтения ее писем, потому что стилистика их непривычна.

В сущности, «думанье вслух» с пером в руке – ее собственное любимейшее занятие. Это ее «час души» – перед лицом дорогого собеседника. «Думанье», порой как будто совсем забывающее про слушающие уши («ушами не смущайтесь и с ними не считайтесь»). Но нет, «другой» ей необходим. Как катализатор, как повод для духовной работы, которая свершается в ней непрестанно. Ибо вся Цветаева – непрестанное движение и самосозидание, не останавливающееся ни на минуту. Она в любой момент готова отказаться от «вчерашних правд», если сегодня их перерастает.

Письма – лаборатория ее роста. И того же она хочет для своего корреспондента.

Проницательный ум в Цветаевой отмечают все, кто с ней сталкивался в жизни, – не говоря уж о том, что само творчество ее не позволяет в этом усомниться. Но куда девается ее проницательность, когда хоть немного взволновано сердце?

Ей так нужен слушатель, что она постоянно грешит простительнейшим из грехов: переоценкой своего собеседника. Ей достаточно малого – любви человека к стихам, например, или

любви к природе, чтобы тут же достроить образ по высшему образцу.

И в случае с Бахрахом она даже не предчувствует, что расставляет силки… прежде всего собственному непредсказуемому сердцу. Ибо только Пастернак, а позже Рильке способны были радоваться, не пугаясь, безоглядному потоку ее размышлений обо всем, что придет в голову…

Но Пастернак далеко. Прямой связи с ним нет. Для каждого письма нужно искать верную оказию, не всякая еще и годится. Сквозь все помехи и расстояния Цветаева лелеет их заочную связанность и отлично знает, что пастернаковского слуха ей ничто не заменит. Но между их письмами проходит полгода, иногда и больше! А «отвод души» в лирику не дает полной внутренней разрядки – нерастраченным, невыраженным остается столь многое! Только в тридцатые годы Цветаева найдет безотказную отдушину для думанья с пером в руке: лирическую прозу. А пока ее хватило бы и на десять корреспондентов: так велика, неисчерпаема ее потребность думать, сомневаться, искать, осмыслять – перед лицом друга.

Вот почему обрадовал ее юный, чистый голос Бахраха. Июньские и июльские письма к нему легки, свободны, светло приподняты. Она щедро дарит свой мир: «Я хочу, чтоб Вы росли большой и чудный, и, забыв меня, никогда не расставались с тем – иным – моим миром!

Ясно ли Вам? Ведь это – наугад, но иногда наугад – в упор! Если Вы мне ответите: я не большой и не чудный и никогда не буду большой и чудный – я Вам поверю. ‹…›

Я хочу, дитя, от Вас – чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения. Я хочу, чтобы Вы, в свои двадцать лет, были семидесятилетним стариком – и одновременно семилетним мальчиком, я не хочу возраста, счета, борьбы, барьеров. Я не знаю, кто Вы, и ничего не знаю о Вашей жизни, я с Вами совершенно свободна, я говорю с духом.

Друг, это величайший соблазн, мало кто его выдерживает. Суметь не отнести на свой личный счет то, что направлено на Ваш счет – вечный. Не заподозрить – ни в чем. Не внести быта. Иметь мужество взять то, что так дается. Войти в этот мир – вслепую…»

Это в письме 14–15 июля. Из письма 20 июля: «Мне важно, чтобы любили не меня, а мое “Я”, ведь это включается в мое. Так мне надежнее, просторнее, вечнее…»

25 июля: «Любите мир – во мне, не меня – в мире. Чтобы “Марина” значило: мир, а не мир – “Марина”.

Марина, это – пока – спасательный круг. Когда-нибудь

сдерну – плывите! Я, живая, не должна стоять между человеком и стихией…»

Что и говорить, испытание юному Бахраху предстояло нелегкое. Преобладающее чувство у Цветаевой в этой переписке – совсем другое, чем в переписке с Пастернаком. Оно явно сродни материнскому. «Мое дитя» – так называет она своего корреспондента не только в письмах, но и в записях для себя. Но так как все ее чувства слишком быстро обретают ураганную силу, включая и чувство нежнейшего опекунства, то в материнское начало поверить нелегко. И сам Бахрах, и сегодняший читатель истолковывают тексты этой переписки по привычному руслу. В самом деле, куда проще принять все эти пассажи за причуду обычной женской любви, стыдливо прячущейся за словами о «неприсвоении», о «вечном», а не личном. О некоем мире, в который надо войти вслепую…

Между тем в июльских письмах Марины Ивановны речь зашла о ее приезде в Берлин и о вполне реальной встрече. Кроме того, и сами темы, которые непредсказуемо возникли в письме 25 июля, могли повергнуть в столбняк и не столь молодого корреспондента. По своему обыкновению, едва пожелав «чуда доверия», Цветаева, со своей стороны, лавиной обрушила на слабые плечи Бахраха доверие собственное. С никогда не виденным двадцатилетним юношей она говорит безоглядно, как сама с собой, поверяя сокровенные мысли и наблюдения. Откуда же ему было знать, что целый пассаж о «близкой любви», о душе и теле, например, отношения к нему, Бахраху, не имеет? Что это лишь импровизированный выплеск наболевшего и никем еще не выслушанного – а он здесь только «уши», только собеседник, помогающий додумать нечто, что давно беспокоило. Додумать, сформулировать – и тем самым освободиться – для следующей ступени роста. «Дружочек, – пишет она в том же письме, – я подарю Вам все свои дохлые шкуры, целую кладовую дохлых шкур! – а сама змея – молодая и зеленая, в новой шкуре, как ни в чем не бывало…»

Она стремительно сокращает дистанцию, еще не запасшись никаким знанием о своем корреспонденте – вместит ли?

И в очередной раз обнаруживает свою «безмерность» – на сей раз в виде нечувствительности к тем тонким граням человеческих отношений, пренебрежение которыми мстит за себя. Почти всегда. Бахрах, ошеломленный, умолкает. На целый месяц.

Причиной, впрочем, был не только, а может быть, и не столько шок, сколько увлечение юной поэтессой, с которой у него назначена была встреча на балтийском побережье, – спустя полвека Бахрах сам рассказал об этом в воспоминаниях. А тогда

ему не пришло в голову, что увлечение поэтессой нисколько не мешает письменному «роману» с Цветаевой. Что это – из разных пластов жизни.

Бахрах умел вчитываться в цветаевские стихи, но не в цветаевские письма. «Я ничего не присваиваю…» – писала Марина. Он прочел, но не услышал – или не поверил.

Во всяком случае – замолк…

День идет за днем, неделя за неделей. Все возможные причины молчания Цветаева тщательно обдумала, взвесила и отклонила. Остался голый факт – очередной утраты. И несомненность пронзительной сердечной боли.

Какие стихи высекает эта боль из цветаевской музы! «Раковина», «Минута», «Наука Фомы», «Письмо»…

Так писем не ждут,
Так ждут – письма,
Тряпичный лоскут,
Вокруг тесьма
Из клея. Внутри – словцо.
И счастье. И это – всё.

Так счастья не ждут,
Так ждут – конца:
Солдатский салют
И в грудь – свинца
Три дольки. В глазах красно.
И только. И это – всё.

Не счастья – стара!
Цвет – ветер сдул!
Квадрата двора
И черных дул.

(Квадрата письма:
Чернил и чар!)

Для смертного сна
Никто не стар!

Квадрата письма.

Не в силах сразу расстаться с иллюзией обретенной дружбы, Цветаева ведет записи – дневник ожидания, который назовет позже «Бюллетенем болезни». Получив наконец в конце августа

письмо Бахраха, она отошлет ему «Бюллетень».

«Станьте на секунду мной, – пишет она 27 августа, – и поймите: ни строки, ни слова, целый месяц, день за днем, час за часом. Не подозревайте меня в бедности: я друзьями богата, у меня прекрасные связи с душами, но что мне было делать, когда из всех на свете в данный час душ мне нужны были – только Вы?! О, это часто случается: собеседник замолк (задумался). Я не приходо-расходная книга и, уверенная в человеке, разрешаю ему все. Моя главная забота всегда: жив ли? Жив – значит, мой!

Вначале это был сплошной оправдательный акт: невинен, невинен, невинен, это злое чудо, знаю, ручаюсь, верю! Это жизнь искушает. – Дождусь. Дорвусь. Завтра! – Но завтра приходило, письма не было, и еще завтра, и еще, и еще. Я получала чудные письма – от друзей, давно молчавших, и совсем от чужих (почти), все точно сговорились, чтобы утешить меня, воздать мне за Вас – да, я читала письма и радовалась и отзывалась, но что-то внутри щемило и ныло и выло и разъярялось и росло, настоящий нож в сердце, не стихавший даже во сне. Две недели прошло, у меня появилась горечь, я бралась руками за голову и спрашивала: ЗА ЧТО? Ну, любит магазинную (или литературную) барышню, я-то что сделала? ‹…› Друг, я не маленькая девочка (хотя – в чем-то никогда не вырасту), жгла, обжигалась, горела, страдала – все было – но ТАК разбиваться, как я разбилась о Вас, всем размахом доверия – о стену! – никогда. Я оборвалась с Вас, как с горы…»

В «Бюллетене» – множество важных признаний, еще и еще пытающихся помочь пониманию.

«Когда люди, сталкиваясь со мной на час, ужасаются теми размерами чувств, которые во мне возбуждают, они делают тройную ошибку: не они – не во мне – не размеры. Просто безмерность, встающая на пути. И они, м. б., правы в одном только: в чувстве ужаса». «Просьба: не относитесь ко мне, как к человеку. Ну – как к дереву, которое шумит Вам навстречу. Вы же дерево не будете упрекать в “избытке” чувств. ‹…›

Вы были моим руслом, моей формой, необходимыми мне тисками. И еще – моим деревцем!

Душа и Молодость. Некая встреча двух абсолютов. (Разве я Вас считала человеком?!) Я думала – Вы молодость, стихия, могущая вместить меня – мою! Я за сто верст».

«Милый друг, мое буйство не словесное, но и не действенное: это страсти души, совсем иные остальных. В жизни (в комнате) я тиха, воспитанна, взглядом и голосом еле касаюсь – и никогда первая не беру руки. С человеком я то, чем он меня видит, чтобы иметь меня настоящую, нужно видеть настоящую, душ во мне слишком много – все!»

Но не только Бахрах оказался глух к этим терпеливым разъяснениям. Природа цветаевской безмерности осталась за семью печатями и для многих из тех, кто нынче ее читает – и судит.

«Страсти души, совсем иные остальных…»

Может быть, сказано не слишком внятно, если не поставить эти слова в ряд с другими цветаевскими высказываниями, варьирующими ту же мысль. Многократно и упорно она говорит (в стихах, в письмах, в прозе) о высшей в ее глазах любви – о той, которая, как писала она Бахраху, так естественна для детей, стариков – и поэтов. Любовь – как бескорыстная потребность души, любовь, нуждающаяся в немногом: живи! будь! И доверься мне, и позволь мне довериться тебе с моими думами и тревогами. Большего не нужно…

Напряжение тоски, вызванное молчанием Бахраха, к концу августа спадает. Последняя запись в «Бюллетене» сделана 25 августа: «Я устала думать о Вас: в Вас: к Вам. Я перед Вами ни в чем не виновата, зла Вам не сделала ни делом, ни помыслом. Обычная история – не в моей жизни, а вообще в жизни душ, душу имеющих. ‹…› На днях уезжаю. Оставляю Вас здесь, в лесах, в дождях, в глине, на заборных кольях, – одного с здешними заживо-ощипанными гусями…»

В этих «заживо-ощипанных гусях» горечь, кажется, уже готова перейти в усмешку…

А через день приходит долгожданное письмо. Цветаева тут же откликается, отчуждения как не бывало. Но тональность ее писем в последующие недели иная, чем прежде. Болевое переживание утраты заставило осознать, насколько она сама сердечно вовлеклась в отношения, начавшиеся так радостно.

Не случись этого месячного молчания (в ответ на предельную душевную открытость), и переписка с Бахрахом, скорее всего, осталась бы в пределах нежного дружеского общения. Но после августовского отвержения ей нужно большее, чем раньше: «Я сейчас Фома неверный, этот последний месяц подшиб мне крыло, чувствую, как оно тащится… Убедите меня в моей необходимости – роскошью быть я устала! Не необходима – не нужна, вот как у меня… Я сейчас на внутреннем (да и внешнем) распутье: год жизни – в лесу со стихами, с деревьями, без людей – кончен. Я накануне большого нового города, – может быть, – большого нового горя? – и большой новой жизни в нем, накануне новой себя. Мне мерещится большая вещь, влекусь к ней уже давно, для нее мне нужен покой, т. е. весь человек – или моя обычная пустота».

И еще через несколько дней: «Дайте мне покой и радость,

дайте мне быть счастливой, Вы увидите, как я это умею!»

4

Весь август Цветаева запоем читает огромный немецкий том по античной мифологии и особенно внимательно – историю Троянской войны. Зреет замысел трагедии «Тезей». В который раз на помощь уязвленному сердцу приходит (так сама Цветаева это называет) le divin orgueil – божественная гордость: знание своего высшего предназначения.

Еще в 1918-м написана строфа:

Умирая, не скажу: была.
И не жаль, и не ищу виновных.
Есть на свете поважней дела
Страстных бурь и подвигов любовных…

В «Тезее» – вариация этой же темы: Тезей покидает возлюбленную на острове Наксос, освобождая ее от земных привязанностей – ради высшей ее судьбы. Ибо Ариадну избрал небожитель – Вакх…

Образ покинутой Ариадны возник в цветаевских стихах еще в марте этого года – в цикле, обращенном к Пастернаку. Теперь, в августовские мучительные недели, он снова притягивает Марину. Позже, в осенние месяцы в Праге, она будет просиживать долгие часы в библиотеке, читая мифы и разрабатывая подробный план трагедии. Она представляет себе ее поначалу даже трилогией под названием «Гнев Афродиты»…

Этим летом 1923 года под нажимом Эфрона на семейном совете было принято решение: с осени определить одиннадцатилетнюю Алю в русскую гимназию, открывшуюся год назад в Моравии, в маленьком городке почти на границе с Германией. От своего бывшего однополчанина и друга Богенгардта, служившего в гимназии воспитателем, Сергей Яковлевич знал, что там собраны отличные педагоги. Марина с неохотой подчинилась желанию мужа – домашнее воспитание ей всегда казалось несравненно более полезным для развития личности в ребенке. Все лето Аля усиленно готовилась: с отцом занималась арифметикой, с матерью – русской грамматикой.

Тогда же было принято и второе решение: снять на зиму комнату в Праге, чтобы Цветаевой не оставаться одной в Мокропсах; да и для Эфрона поездки в город и обратно были тяжелы.

Вскоре удалось найти в районе Смихова сравнительно недорогое жилье, и переезд в Прагу был назначен на 1 сентября.

Слева – гора Петршин, место действия «Поэмы Горы»

А между тем в августовских записях и письмах появилось новое лицо, названное «один мой приятель». С ним – то вдвоем, то втроем (с Алей) – Марина ходит в горы. «Так дети дружат, – пишет она, – вернее, мальчики, ради совместных приключений, почти бездушно. Он называет мне все травы и все дурманы и кормит меня вишневым клеем, и орехами, и просто волчьими ягодами».

Кто это? По времени уже мог бы быть Родзевич, но сбивают с толку эпитеты «тихий», «робкий»: к Родзевичу они, кажется, мало подходят. Впрочем, если это человек влюбленный… А может быть, это еще один русский студент – Андрей Оболенский, названный Цветаевой (в надписи ему на сборнике «Разлука») «утешителем и утишителем»?..

Так или иначе, именно в это время начинается жизненный «подстрочник» «Поэмы Горы». Ранний исток его проследить не удается. Но очень вероятно, что с рождавшимся новым чувством уже связаны такие стихи, как «Клинок» и «С этой горы, как с крыши мира…».

Последняя драма этого года, непохожая на предыдущие, подкрадывается коварно. Поначалу у нее лик «странной дружбы», возникающей из общего пристрастия к долгим прогулкам, ночным кострам и встрече рассвета в горах. В цветаевских записях отмечены прогулки 26 и 28 августа. Вместе с Алей и спутником 28-го они проходят двадцать семь километров! В письме к Бахраху: «Скалы, овраги, обвалы, обломы – не то разрушенные храмы, не то разбойничьи пещеры, все это

заплетено ежевикой и задушено огромными папоротниками, я стояла на всех отвесах, сидела на всех деревьях, вернулась изодранная, голодная, просквоженная ветром насквозь – уходила свою тоску!»

Прага. Улица Шведска, дом № 1373

Тот же дом, вид с лесенки, ведущей в нижнюю часть города. Семья Эфрон жила в последнем этаже

И в этот же вечер, по возвращении, у нее еще хватает сил, уложив Алю, собрать два огромных чемодана. Отложить сборы нельзя, потому что 2 сентября, чуть свет, они переезжают в Прагу. Родзевич же (теперь уже ясно, что это он) помогает семье друга перевезти вещи в город.

Наконец чемоданы уложены.

Вместе со спутником Марина спускается к колодцу за водой, гремя в ночной тишине пустыми ведрами. Стоит мягкая, теплая лунная ночь – и на обратном пути в полных ведрах отражается огромная круглая луна…

Мгновение прекрасного затишья – перед бурей, которая уже стоит при дверях.

Третьего сентября вместе с другими русскими детьми Аля отправится в Моравску Тшебову – начинается учебный год в русской гимназии. Эфрон уедет вместе с дочерью. Седьмого сентября следом за ними отправится и Цветаева – помочь Але войти в непривычную для нее гимназическую жизнь.

Пока же Марина остается одна в Праге, на новом месте. Здесь ей поначалу всё нравится: дом стоит высоко на южном склоне Петр шина холма; в их комнате на последнем этаже – «огромное окно на весь город, на все небо, улицы – с лестницами, даль, поезда, туман…». Еще за три дня до окончательного переезда написаны стихи:

Как бы дым твоих ни горек
Труб, глотать его – всё нега!
Оттого, что ночью – город –
Опрокинутое небо.

Как бы дел твоих презренных
День ни гол, – в ночи ты – шах!
Звезды страсть свела – на землю!
Картою созвездий – прах…

Так начался второй период чешской жизни Цветаевой – ее девять месяцев в Праге: с сентября 1923-го по май 1924-го.

Моравска Тшебова

Моравска Тшебова – маленький старинный городок, окруженный живописными грядами гор. Дома украшены лепниной, огромный старинный костел, маленькая православная церковка – просто изба с крестом на крыше; маленькая ратуша. Посреди площади, вымощенной огромными булыжниками, – фонтан в стиле пышного барокко. Люди здесь неторопливы и вежливы, сплошные поклоны и приседания. Цветаева живет с мужем в комнатке вдовы часовщика, засыпает под старушечий храп и тиканье восьми часов сразу, нежится, окруженная благоговением хозяйки, узнавшей, что ее гостья – поэтесса. День проходит в гимназическом лагере – его называют здесь «табор». Он занимает обширную территорию с длинными белыми бараками, выстроенными еще русскими военнопленными.

Але, как оказывается, помогать не нужно – она уже вжилась в новую обстановку и счастлива. Никакой стеснительности и дикарства – как будто и не впервые она в одиннадцать лет оказалась в огромном ребячьем коллективе. (Да и не впервые! Был же еще этот страшный приют!) Наблюдая за дочерью, находчивой, легкой в общении, красивой, Цветаева не находит в ней своих черт – как не будет находить их потом в характере

сына. Аля, кажется, ни в ком не нуждается и уже поэтому, даст Бог, проживет свою жизнь счастливее; так хочется думать матери, глотающей воздух горечи: долгие годы Аля была такой родной душой, почти эхом… Теперь она меняется на глазах.

По утрам Цветаева слушает орган в костеле, вечерами – всенощную в русской церкви, где чудесно поют. Она дома во всех храмах, потому что, как она формулирует, храм – это дом души. Больше всего он нравится ей днем – пустой, с косым столбом солнечного света.

Однажды она запишет, размышляя о собственной природе: «И католическая душа у меня есть (к любимым!) и протестантская (в обращении с детьми) – и тридцать три еретических, а вместо православной – пусто. Шеп». Что саму ее нимало не смущает.

О чем думает она здесь, оставшись наедине с собой и небом, внезапно вырванная из обыденного течения дней?

Резким, неожиданным контрастом внешнему покою звучат строки письма, написанного поздним вечером 10 сентября, по возвращении со всенощной, – Бахраху. «Воздух, которым я дышу, – воздух трагедии ‹…›, – пишет Марина. – У меня сейчас определенное чувство кануна – или конца. (Что может быть – то же!) Погодите отвечать, здесь ответов не нужно, ответ будет потом, когда я, взорвав все мосты, попрошу у Вас силы взорвать последний. ‹…› Хватит ли у Вас силы долюбить меня до конца, т. е. в час, когда я скажу: “Мне надо умереть”, из всей чистоты Вашего десятилетия сказать: “Да”. Ведь я не для жизни. У меня всё – пожар! ‹…› Мне БОЛБНО, понимаете? Я ободранный человек, а вы все в броне…»

Этот новый взрыв отчаяния кажется ничем не подготовленным. Ведь всего десять дней назад был тот умиротворенный вечер с полной луной в полных ведрах и сладкой усталостью от прекрасной прогулки; наутро пришло долгожданное письмо Бахраха, потом – радость от нового «дома на горе».

Что же случилось? «Взорвав все мосты, попрошу у Вас силы взорвать последний…» Можно ли понять это иначе, чем просьбу о последнем акте преданности: помочь уйти из жизни? Поясняющими в этом письме, отправленном Бахраху, могут быть только глухие строки: «Кроме внутренних, подводных течений есть еще: стечения… хотя бы обстоятельств, просто события жизни, которых не предугадаешь…» Мало что понятно.

Но вот теперь уже можно сменить предположения на достоверность: опубликованы цветаевские письма к Константину Родзевичу. В них – разгадка.

Внезапно ворвавшейся бурей рождается новая любовь. На этот раз – во вполне земном ее варианте. Еще не осознав, Марина ощутила ее в те самые дни, когда провожала своего спутника на вокзал. Только слишком светлая ночь помешала тогда первому поцелую.

Но растревожены оба. И наутро Марина не устоит перед искушением написать вдогонку письмо. В нем – наивная надежда, что далее ничто развиваться не будет. «Мой дорогой друг, друг нежданный, нежеланный и негаданный, милый чужой человек, ставший мне навеки родным, вчера, под луной, идя домой, я думала (тропинка летела под ногами, луна летела за плечом) – “Слава Богу, слава мудрым богам, что я этого прелестного, опасного, чужого мальчика – не люблю! Если бы я его любила – я бы не оторвалась…”» И далее: в трудный час «окликните – отзовусь»…

В письме к Бахраху из Моравской Тшебовы сказано: стечение обстоятельств, «события жизни, которых не предугадаешь»…

Видимо, всё решающее случилось в те дни сентября в Праге, когда Цветаева осталась без мужа и дочери.

Девятого сентября, уже из Тшебовы, она пишет Родзевичу письмо – сдержанно-дружеское, чуть ли не сухое, но посреди почти делового текста вдруг врывается: «Я никогда не смогу сказать Вам, как Вы за эти несколько дней стали мне дороги».

Из Праги она уезжала с твердым намерением не писать стихов в Моравской Тшебове – и не удержалась. Когда в сердце буря, ей не обойтись без пера. И в Тшебове созданы стихотворения цикла «Овраг» (10–11 сентября), «Ахилл на валу» (13-го) и «Последний моряк» (15-го, прямо накануне возвращения в Прагу).

Никогда не узнаешь, что́ жгу, что́ трачу
– Сердец перебой –
На груди твоей нежной, пустой, горячей,
Гордец дорогой.

Никогда не узнаешь, каких не – наших
Бурь – следы сцеловал!
Не гора, не овраг, не стена, не насыпь:
Души перевал…
……
В этом бешеном беге дерев бессонных
Кто-то на́смерть разбит.
Что победа твоя – пораженье сонмов,
Знаешь, юный Давид?

«Овраг» она отсылает из Моравской Тшебовы Родзевичу – с просьбой: «Прочтите эти стихи всем существом, как никогда стихов не читали… Ведь это точнейшее отражение часа, которого Вы участник – ежели не творец!»

В Прагу Марина возвращается 17 сентября, Родзевич встречает ее на Масариковском вокзале. И теперь они уже не расстанутся – семь дней подряд, до возвращения Сергея из Тшебовы.

«Живая», вполне «очная» любовь врывается в жизнь Цветаевой. Непохожая на все то, что она знала прежде.

Радостный, уверенный, земной Константин Родзевич изумил и покорил ее. «Встретившись с Вами, я встретилась с никогда не бывшим в моей жизни: любовью-силой, любовью-высью, любовью-радостью, – написала ему Марина в одном из писем этой осени. – Ваше дело довершить, или, устрашившись тяжести – бросить. Но и тогда я скажу, что это в моей жизни было, что чудо – есть, и благословлю Вас на все Ваши грядущие дни».

Он полюбил в ней живую, земную женщину. И при этом отказывался видеть ее такой, какой она сама себя привыкла видеть: «голой душой», истинно существующей лишь в парении, лишь оттолкнувшись от плоти земли. Жизнелюбивый и энергичный, он назвал слабостью то, что она считала своей силой; восхитившись, он не подчинился ей. Не защищало ли его непонимание стихов, так сильно ее огорчавшее?.. Он просто оставался собой. «Я сказала Вам: есть – Душа. Вы сказали мне: есть – Жизнь». С благодарностью и надеждой она услышала: «Вы все можете!» И на короткое время этой любви Психея забыла свою извечную вражду с Евой. Ее всегдашняя заветная мечта была о послушании, растворении в любви, мечта о любимом, которому можно было бы безоглядно довериться – цельному и мужественному. Те, кто встречался прежде, так охотно отступали перед ее силой, так сразу уступали ее воле!.. Волевая и мужественная «царь-девица» и мягкий, женственный царевич – она будто приговорила сама себя в той поэме к такому несчастному союзу!

Стоят: С. Я. Эфрон, Н. А. Еленев. Сидят: М. И. Цветаева, Е. И. Еленева, К. Б. Родзевич, Лелик Туржанский. Чехия, 1923 г.

Но с Родзевичем она впервые ощущает высоту цельной земной любви, ее горние высоты. Он уверенно противостоял ее пониманию собственных пределов и ее «сонмам».

Эти семь дней до возвращения Сергея были невероятным, неправдоподобным счастьем. Но Марине всегда мало живых встреч. В ее душе разбужены миры, которых ей никогда не удастся исчерпать и облечь в слова, а облечь всегда хочется, потому что, облекая, она проживает реальность с утроенной силой – и потому в те же дни она еще и пишет письма. Сразу после свидания – и перед следующим. Не однажды она просит Родзевича – уничтожить письма, не хранить их. Он ее не послушался – сохранил все.

Отрывок из письма, написанного 22 сентября: «Арлекин! – Так я Вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть – Пьеро! Я в первый раз люблю счастливого, и может быть в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня – хаос! – а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала человеку права выбора: или всё – или ничего, но в этом всё – как в первозданном хаосе – столько, что немудрено, что человек пропадал в нем, терял себя и в итоге меня…

Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я и до Вас любила: деревья! Всё

любила, всё любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я билась, я неумела с живыми! Отсюда сознание: не – женщина – дух! Не жить – умереть. Вокзал.

Милый друг. Вы вернули меня к жизни, в которой я столько раз пыталась и все-таки ни часу не сумела жить. Это была – чужая страна. О, я о Жизни говорю с заглавной буквы, – не о той, петитом, которая нас сейчас разлучает! ‹…› Я не о быте говорю, не о маленьких низостях и лицемериях, раньше я их ненавидела, теперь просто – не вижу, не хочу видеть. О, если бы Вы остались со мной. Вы бы научили меня жить – даже в простом смысле слова: я уже две дороги знаю в Праге! (На вокзал и в костел.) Друг, Вы поверили в меня, Вы сказали: “Вы все можете”, и я, наверное, все могу. Вместо того, чтобы восхищаться моими земными недугами, Вы, отдавая полную дань иному во мне, сказали: “Ты еще живешь. Так нельзя”, – и так действительно нельзя, потому что мое пресловутое “неумение жить” для меня – страдание. Другие поступали как эстеты: любовались, или как слабые: сочувствовали. Никто не пытался излечить. ‹…› Обманывала моя сила в других мирах; сильный там – слабый здесь. Люди поддерживали во мне мою раздвоенность. Это было жестоко. Нужно было или излечить – или убить. Вы меня просто полюбили…

…Люблю Ваши глаза… Люблю Ваши руки, тонкие и чуть-холодные в руке. Внезапность Вашего волнения, непредугаданность Вашей усмешки. О, как Вы глубоко-правдивы! ‹…› Я пишу Вам о своем хотении (решении) жить. Без Вас и вне Вас мне это не удастся. Жизнь я могу полюбить через Вас. Отпустите – опять уйду только с еще большей горечью. Вы мой первый и последний ОПЛОТ (от сонмов!). Отойдете – ринутся! Сонмы, сны, крылатые кони… И не только от сонмов – оплот: от бессонниц моих, всегда кончающихся чьими-то губами на губах.

Вы – мое спасение и от смерти и от жизни. Вы – Жизнь (Господи, прости меня за это счастье!).

… Не отдавай меня без боя! Не отдавай меня ночи, фонарям, мостам, прохожим, всему, всем. Я тебе буду верна. Потому что я никого другого не хочу, не могу (не захочу, не смогу). Потому что то мне даешь, что ты мне дал, мне никто не даст, а меньшего я не хочу. Потому что ты один такой…»

В письме, написанном в глубокий час ночи, отчетливо слышны лейтмотивы, с которыми Цветаева мучительно существует всю свою жизнь. Сердце ее не может смириться с тем, что знает ее разум: с бренностью людского счастья. Недоверие к жизни и страстная тоска о любви, сосуществуя, постоянно

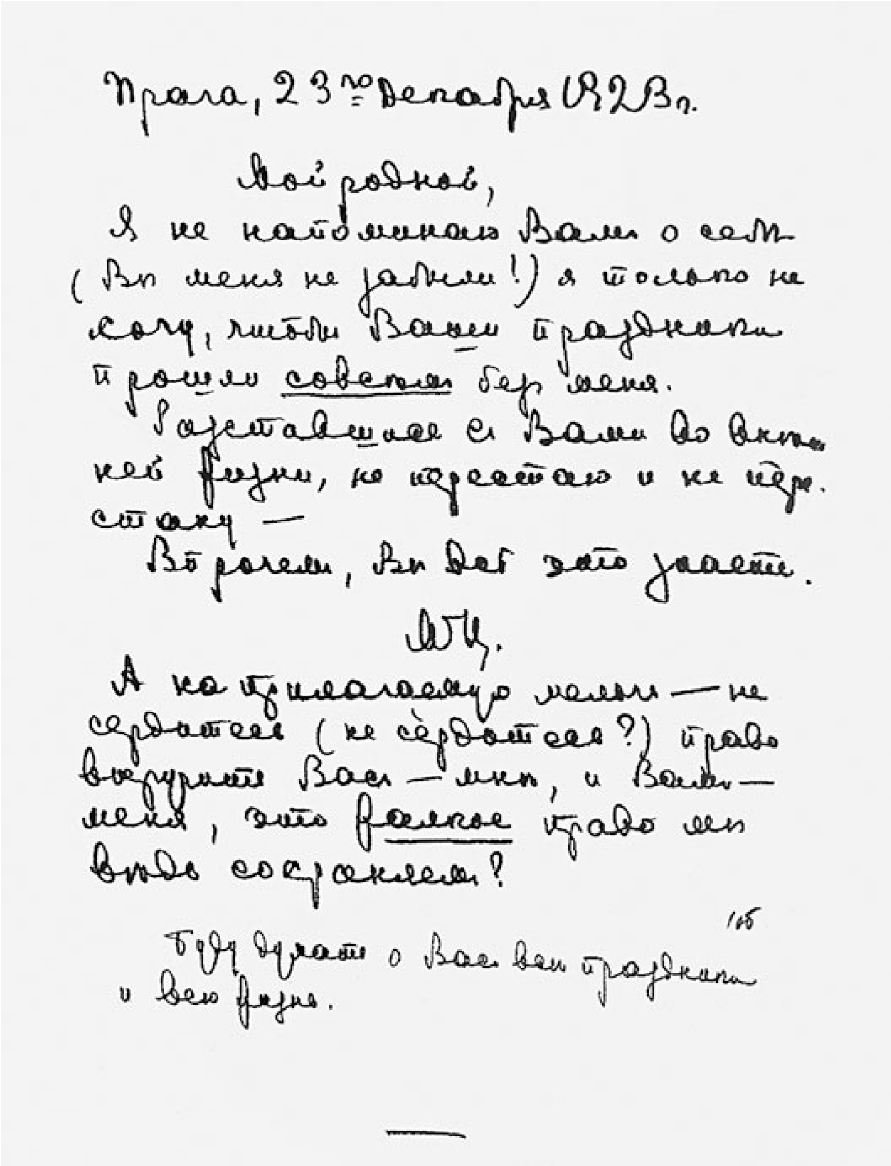
высекают искры… Их вбирает в себя трагедийная цветаевская поэзия.

Не обман – страсть, и не вымысел,
И не лжет, – только не дли!
О, когда бы в сей мир явились мы
Простолюдинами любви!

В письмах «Арлекину» Цветаева беззащитно раскрыта перед нами. Мы привыкли слышать в ее поэзии и прозе уверенный и сильный, мужской уверенности и силы, голос; даже в трагических сюжетах он никогда не звучит расслабленной жалобой. Но в письмах тем, кому она всем сердцем доверилась, повторяется и повторяется пронзительно-женская просьба, высказываемая с робкой и страстной надеждой: «Будьте моим оплотом!..» Эти слова она пишет даже двадцатилетнему Бахраху, потом Родзевичу, так напишет Пастернаку, так – летом 1926 года – Рильке…

Быть мужественной всегда, справляться в одиночку – каждый день! – со своей неприспособленностью к эмпирическому миру… это даже ей не под силу.

Уже из письма, написанного в Моравской Тшебове Бахраху, ясно, что Марина далека от чистой радости. С самого начала эта любовь замешена в ней на глубочайшем трагизме. Нет сил отречься, но невозможно забыть и о другом дорогом человеке, живущем совсем рядом, под одной крышей.



Прага, 23-го декабря 1923 г.

Мой родной,

Я не напоминаю Вам о себе (Вы меня не забыли!) я только не хочу, чтобы Ваши праздники прошли *совсем* без меня.

Расставшись с Вами во внешней жизни, не перестаю и не перестану —

Впрочем, Вы всё это знаете.

МЦ.

А на прилагаемую мелочь — не сердитесь (не сердитесь?) право вооружить Вас — мной, и Вас — меня, это *важное* право мы вправе сохранить?

Буду думать о Вас все праздники и всю жизнь.

Автограф страницы письма Цветаевой Родзевичу: Прага, 23-го декабря 1923 г.

Мой родной,

Я не напоминаю Вам о себе (Вы меня не забыли!), я только не хочу, чтобы Ваши праздники прошли совсем без меня.

Расставшись с Вами во внешней жизни, не перестаю и не перестану – Впрочем, Вы всё это знаете.

МЦ.

А на прилагаемую мелочь не сердитесь (не сердитесь?), право выручить Вас – мне, и Вам – меня, это жалкое право мы ведь сохраняем?

Буду думать о Вас все праздники и всю жизнь.

Бахраху еще раньше она писала: «Я ничего не умею, что умеют люди: ни лицемерить, ни скрывать (хранить – умею!), мое лицемерие – только вторая правда, если лицо, равнодушное, выдает – выдают голос и жест, а причинять малейшее страдание, хотя бы задевать другого – для меня мука». В сентябре: «Никакая страсть не перекричит во мне справедливости. Plus fort que moi. [13] Отсюда все мои потери. Мужчины и женщины беспощадны, пощадны только души. Делать другому боль, нет, тысячу раз, лучше терпеть самой, хотя рождена – радоваться. Счастья на чужих костях – этого я не могу. Я не победитель…»

Мысль о разрыве, неизбежном конце не покидает Марину. Расстаться! «Еще не поздно остановиться, дружочек родной, – умоляла она в одном из самых первых писем к Родзевичу. – Не дайте мне ввыкнуться и не ввыкайтесь сами. Переболит! Мне нужен врач души, а не друг…»

Расстаться! Еще и для того, чтобы спастись от очередной муки; раны ее еще с августа не до конца зажили…

Разлука висела в воздухе
Верней, чем Дамоклов меч –

эти две строки для будущей «Поэмы Конца» записаны в октябрьской рабочей тетради; замысел поэмы уже приходит ей в голову.

Знаменательно: в письмах к Родзевичу, написанных в сентябре-октябре, – безмерная нежность. Но в каждом из стихотворений этих же дней – стон боли. Мало того: мысль о смерти, а если о любви, то о «любви-живодерне». Даже «Пражский рыцарь» – стихотворение о легендарном Брунсвике, «стерегущем реку», статуе у Карлова моста в Праге, – это стихи не столько о рыцаре, сколько о Влтаве, притягивающей самоубийц.

В других стихотворениях появляются набережные, вокзал, мосты – внешние вехи нескончаемых «брожений» (как их называла Цветаева) с любимым. Но тональность по-прежнему безрадостна:

Темнейшее из ночных
Мест: мост. – Устами в уста!
Неужели ж нам свой крест

Тащить в дурные места,

Туда: в веселящий газ
Глаз, газа… В платный Содом?
На койку, где всё до нас!
На койку, где не вдвоем

Никто… Никнет ночник.
Авось – совесть уснет!
(Вернейшее из ночных
Мест – смерть!)…

Мотив смерти настойчиво звучит на протяжении всей этой осени, нет ни одного стихотворения сентября-октября, где бы он не присутствовал. А между тем это месяцы жаркой взаимной любви!

От Бахраха она ничего не скрывает, хотя на расстоянии сделать это было бы очень легко. Он остается ее конфидентом; сообщив еще в сентябре о появлении возлюбленного, Марина подтверждает то, что говорила прежде: их связь не в «днях» и «часах», а в «просторах»; сердечное тепло не ушло, ушла только «болезнь», вспыхнувшая в дни перерыва в письмах… То, что пришло теперь, – совсем другой природы… И тут звучит знакомый мотив: «Я себя ужасаю, я не могу жить и любить здесь…»

Бахрах нелегко пережил это известие. Но еще некоторое время их переписка продолжалась.

5

Когда Эфрон приехал в Прагу, влюбленные могли видеться только раз в пять дней. Где? Как? Но виделись. Временами Марине приходится утешать любимого: «Друг, это не последний день… Мы в начале встречи, помните это. Не надо спешки, не хочу задыхаться, хочу глубокого вдоха. Друг, это не последний вздох! Не надо так. Надо верить, надо глубоко глядеть: Вам – в себя, мне – в вас (и тоже – в себя!), надо дать чему-то утихнуть, осесть. Водоворот может быть мелок. Проверим дно. Вы – моряк. Мне ли Вас учить! Не слушайтесь моих отчаяний. Это – только любовь!»

Спустя годы Цветаева будет вспоминать то время с великой

благодарностью судьбе. Однако эмоциональный мир ее сложен, в нем сталкиваются неоднозначные импульсы. В сентябре-октябре, пока еще не вторглись внешние препятствия, нежность соседствовала в ней со вспыхивающим помимо ее воли недоверием; на смену вечернему и ночному приходили утренние прозрения. Недреманное око ее никогда не засыпавшей души нашептывало свои сомнения. «Спи, глазок, спи, другой…» В октябрьском письме Бахраху: «Жить в другом – уничтожиться. Мне не жаль, я только этого и жажду, но…» Сомнения имели и еще один оборот, может быть, важнейший: «Творчество и любовность несовместимы. Живешь или там или здесь. Я слишком вовлекаюсь…» Ей казалось (и правильно казалось!), что, будя в ней ее женскую сущность, возлюбленный будил ее безудержность, хаос, метания, тоску… Даже в безоблачные минуты, едва очнувшись от счастья, – она чувствует, что играет непривычную ей, почти навязанную роль.

В письме Бахраху, написанном через неделю после письма «Арлекину»: «Вы говорите: женщина. Да, есть во мне и это. Мало – слабо – налетами – отражением – отображением. Скорей тоска по – чем! Для любящего меня – женщина во мне – дар. Для любящего ее во мне – для меня – неоплатный долг. Единственное напряжение, от которого я устаю, и единственное обещание, которого не держу. Дом моей нищеты. О, я о совсем определенном говорю, – о любовной любви, в которой каждая первая встречная сильнее, цельнее и страстнее меня. Может быть – этот текущий час и сделает надо мной чудо – дай Бог – может быть, я действительно сделаюсь человеком, довоплощусь…»

Таких минут беспощадной трезвости она сама боится.

Константин Родзевич. Париж, 1927 г.

А в нежнейшем письме Родзевичу, заполненном почти бессвязными словами любви, она умоляет удержать ее. И похоже, что больше всего в эти недели она страшится как раз того, что чара рассеется и ей опять придется вернуться в свой мир. Сейчас, когда она так непривычно счастлива, он кажется уже бесцветным. Ей нужен оплот от сонмов! «Отойдете – опять ринутся! Сонмы, сны, крылатые кони…»

Но в том-то и дело, что «земная» любовь к Родзевичу для нее – наваждение, а сонмы и крылатые кони – это привычный и родной мир. Очнуться – значит вернуться к ним, а забыться – значит отдаться Жизни. Только забыв себя, Марина может ощутить свое единство с другими, кто умеет нести бремя земной ежедневности, перешагивая ее неустройства и радуясь вдруг выпадающим радостям.

К концу октября Эфрон случайно узнает о происходящем,

видимо из чужих уст.

Вначале он не может поверить – ошибка, Марина не может лгать. Но все подтверждается, и Эфрон убит, раздавлен. В отчаянии и Цветаева. В двойном: боль за мужа, чувство бесконечной вины перед ним – и отчаяние от молниеносно приблизившегося конца любви.

Пока Сергей Яковлевич ничего не знал, она одна носила в себе рану этой страсти; с того же момента, как боль испытывает он, – для нее это уже не рана, а язва, сплошное терзание совести, с которым нельзя жить.

Оба не находят себе места, оба ощущают безнадежный тупик.

Единственный, кому Эфрон находит силы сказать о случившемся, – Волошин. Как раз в самый момент семейной катастрофы Эфронов от него приходит письмо с известием о смерти матери Максимилиана Александровича. Но только спустя примерно два месяца (исповедальное письмо Эфрона Волошину – без даты) Сергей Яковлевич в состоянии говорить о происшедшем.

«Дорогой мой Макс! Твое прекрасное ласковое письмо получил уже давно и вот все это время никак не мог тебе ответить. Единственный человек, кому я мог бы сказать все, – конечно, Ты, но и Тебе говорить трудно. Трудно, ибо в этой области для меня сказанное становится свершившимся, и хоть у меня нет надежды никакой, простая человеческая слабость меня сдерживала. Сказанное требует от меня определенных действий и поступков, и здесь я теряюсь. И моя слабость и полная беспомощность и слепость М., жалость к ней, чувство безнадежного тупика, в который она себя загнала, моя неспособность ей помочь решительно и резко, невозможность найти хороший исход – все ведет к стоянию на мертвой точке. Получилось так, что каждый выход из распутья может привести к гибели.

М. – человек страстей. Гораздо в большей мере, чем раньше – до моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану – для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда (теперь так же, как и раньше, вернее всегда) все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, М. предается ураганному же отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя облегчается. Что – неважно, важно как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм.

Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с

головой – и через день снова отчаяние.

И все это при зорком, холодном (пожалуй, даже вольтеровски-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая – все обращается в пламя. Дрова похуже – скорее сгорают, получше – дольше.

Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно. Когда я приехал встретить М. в Берлине, уже тогда почувствовал сразу, что М. я дать ничего не могу. Несколько дней до моего прибытия печь была растоплена не мной. На недолгое время. И потом все закрутилось снова и снова. Последний этап – для меня и для нее самый тяжкий – встреча с моим другом по Константинополю и Праге, человеком ей совершенно далеким, который долго ею был встречаем с насмешкой. Мой недельный отъезд послужил внешней причиной для начала нового урагана. Узнал я случайно. Хотя об этом были осведомлены ею в письмах ее друзья.

Нужно было каким-то образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и пр. и пр. ядами.

Я так и порешил. Сделал бы это раньше, но все боялся, что факты мною преувеличиваются, что М. мне лгать не может и т. д.

Последнее сделало явным и всю предыдущую вереницу встреч. О моем решении разъехаться я и сообщил М. Две недели она была в безумии. Рвалась от одного к другому (на это время она переехала к знакомым). Не спала ночей, похудела, впервые я видел ее в таком отчаянии. И наконец объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я нахожусь в одиночестве, не даст ей ни минуты не только счастья, но просто покоя. (Увы, – я знал, что это так и будет.) Быть твердым здесь – я мог бы, если бы М. попадала к человеку, которому я верил. Я же знал, что другой (маленький Казанова) через неделю М. бросит, а при Маринином состоянии это было бы равносильно смерти.

М. рвется к смерти. Земля давно ушла из-под ее ног. Она об этом говорит непрерывно. Да если бы и не говорила, для меня это было бы очевидным. Она вернулась. Все ее мысли с другим. Отсутствие другого подогревает ее чувства. Я знаю, – она уверена, что лишилась своего счастья. Конечно, до очередной скорой (?) встречи. Сейчас живет стихами к нему. По отношению ко мне слепота абсолютная. Невозможность подойти, очень часто раздражение, почти злоба. Я одновременно и спасательный круг и

жернов на шее. Освободить ее от жернова нельзя, не вырвав последней соломинки, за которую она держится.

Жизнь моя сплошная пытка. Я в тумане. Не знаю, на что решиться. Каждый последующий день хуже предыдущего. Тягостное одиночество вдвоем, непосредственное чувство жизни убивается жалостью и чувством ответственности. Каждый час я меняю свои решения. М. б., это просто слабость моя? Не знаю. Я слишком стар, чтобы быть жестоким, и слишком молод, чтобы, присутствуя, отсутствовать. Но мое сегодня – сплошное гниение. Я разбит до такой степени, что ото всего в жизни отвращаюсь, как тифозный. Какое-то медленное самоубийство. Что делать? Если бы ты мог издалека направить меня на верный путь!

Все это время я пытался, избегая резкости, подготовить М. и себя к предстоящему разрыву. Но как это сделать, когда М. из всех сил старается над обратным. Она уверена, что, сейчас жертвенно отказавшись от своего счастья, – кует мое. Стараясь внешне сохранить форму совместной жизни, она думает меня удовлетворить этим. Если бы ты знал, как это запутанно тяжко. Чувство свалившейся тяжести не оставляет меня ни на секунду. Все вокруг меня отравлено. Ни одного сильного желания – сплошная боль. Свалившаяся на мою голову потеря тем страшнее, что последние годы мои, которые прошли на твоих глазах, я жил, может быть, более всего Мариной. Я так сильно и прямолинейно, и незыблемо любил ее, что боялся лишь ее смерти. М. сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас, стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать себя – может быть, единственное мое желание…»

Нельзя забывать, читая это письмо, в какую минуту оно написано. Формулировки обострены до предела, все видится в черном свете.

Спустя даже полгода Эфрон уже не повторил бы, наверное, сказанного в такой крайней форме. Иначе были бы невозможными вполне дружеские его отношения с Родзевичем в двадцатые и тридцатые годы.

Отметим конкретные факты, приведенные в письме и важные для понимания Цветаевой, а также для понимания ситуации ее разрыва с Родзевичем. Итак, Эфрон узнает о романе в момент, когда этот роман в самом разгаре; и теперь Марина «мечется от одного к другому». Эфрон полон решимости разорвать семейные узы, «нелепую совместную жизнь, напитанную ложью». Вместе с тем ему страшно за жену. Он видит ее состояние и, зная, что

нить, связывающая ее с жизнью, слишком тонка, боится непоправимой катастрофы.

Но пора уже сказать несколько слов о Константине Болеславовиче Родзевиче.

Родом из Петербурга, из семьи медика – генерала царской армии, он совсем юным – сверстник Сергея Эфрона! – принял участие в Гражданской войне, поначалу, однако, в стане красных. Из мичманов его быстро выдвигают на пост командира Нижнеднепровской флотилии; недолгое время затем он – комендант Одесского порта; попал в плен к белым; приговорен к смертной казни. И в последний момент – помилован генералом Слащевым (прототип генерала Хлудова в пьесе Михаила Булгакова «Бег»), Когда весть о его помиловании доходит до красных, те в свою очередь приговаривают Родзевича к смерти. Но вместе с остатками врангелевской армии он переправляется из Крыма в Галлиполи. Там знакомится с Эфроном, оттуда уезжает вместе со многими бывшими белогвардейцами в Прагу.

Как и Эфрон, он учился теперь в университете, только на другом факультете – юридическом. В пражских студенческих изданиях начала двадцатых годов имя Родзевича встречается часто: раздел хроники упоминает о его выступлениях на разных собраниях; он активно участвует в дискуссиях и какое-то время возглавляет один из русских студенческих союзов.

Отношения с Сергеем Эфроном после некоторого перерыва восстановятся. И перерастут затем в теснейшее сотрудничество – сначала в евразийском движении, а затем и в рядах советской разведки за рубежом.

Родзевичу суждена была долгая жизнь – не потому ли, в частности, что у него достало ума и осторожности не возвращаться на родину?..

Отзывы о нем противоречивы. В воспоминаниях Еленева Константин Болеславович – краснобай и посредственность; в письме Эфрона к Волошину– просто ничтожный человек. Но нельзя забывать, в каком состоянии было написано письмо Эфрона. Екатерина Еленева решительно оспаривала характеристику Родзевича, данную ее бывшим мужем в письме ко мне (1970-е годы). Ее память запечатлела, напротив, человека яркого и неординарного. И в других отзывах повторялись эти мотивы: умен, красноречив, остроумен – и донжуан. Ариадна и Бронислав Сосинские, поверхностно знавшие Родзевича во Франции, были им очарованы при встрече в Москве – во время его краткосрочного визита сюда в 1960 году. Под обаянием его героической биографии они склонны были думать (и так

говорили мне при наших встречах), что Цветаева, может быть, лучше других почувствовала в нем внутреннюю значительность. В самом деле, под именем майора Корде Родзевич участвует в испанской войне (разумеется, на стороне республиканских войск), позже, во время Второй мировой войны, сражается в рядах французского Сопротивления.

Константин Родзевич в Испании. Конец 1930-х гг.

В 1967 году, приехав как турист в Советский Союз, он привез

Але Эфрон сохраненные им письма, книги и рукописи ее матери. И Ариадна Сергеевна отблагодарит Константина Болеславовича в своих воспоминаниях доброжелательнейшей характеристикой. Она напишет о личности, сочетающей «мужество с душевной грацией, ласковость с ироничностью, отзывчивость с небрежностью, юношеский эгоизм – с самоотверженностью, мягкость – со вспыльчивостью». И еще: «Обаятельна была и внешность его, и повадки, и остроумие, легкость реплик и быстрота решений, обаятельна и сама молодость его, даже мальчишество…»

На сохранившихся фотографиях в облике Родзевича нет ничего победоносного, претенциозного, рокового, он худощав, ироничен…

6

Несмотря на душевные бури, Марина интенсивно продолжает работу над «Тезеем». Много лет спустя она так пояснит Юрию Иваску центральный образ: «Ему не мало Ариадны, ему мало – земной любви, над которой он знает большее, которой он сам больше, раз может ее перешагнуть». И еще: Тезей перешагивает «через земную – лежачую любовь, лежачего себя…».

В октябре в дневниковом блокноте появится запись – о себе и Родзевиче, но звучит она уже как заготовка к будущей «Поэме Конца»: «Ты просишь дома, а я могу дать только душу…»

Когда через несколько недель начнется работа над «Поэмой Конца», в центре окажется главный конфликт бурной и короткой любви этой осени. И он – не во внешних обстоятельствах. Это конфликт «горы» и «дома». Конфликт, исток которого – в «разноприродности любящих». И их «дома» – в разных мирах. Так – в поэме.

В ноябре в события вклинился приезд в Прагу Горького, Ходасевича и Берберовой. Ходасевич, Берберова и Цветаева несколько раз видятся; иногда с ними Эфрон, иногда их общий приятель Роман Якобсон. Одна встреча происходит в доме Эфронов, другие – в отеле «Беранек», у Ходасевичей.

Шестого декабря гости уезжают.

Эфроны не выносят, конечно, своей драмы на улицу; стоит сказать, что даже близкие к их семье люди ничего не знали об уходе Марины из дома. Впрочем, и о самом романе до поры до времени никто не знал – вплоть до появления поэм в печати. Все это необходимо иметь в виду, сталкиваясь с уверенным и повторяющимся клише разных мемуаров, где Родзевич бросает

Цветаеву. О «бросании» нет и речи, скорее ревнивая обида однажды проскальзывает в письме Константина Болеславовича.

Десятого ноября – запись в цветаевской рабочей тетради: об апатии ко всему, об отвращении к стихам и книгам, о чувстве разорванности пополам. Ничего не зная о содержании мужниного письма к Волошину, Марина дает нам возможность услышать в этой записи, сделанной для себя, ее правду, ее боль, ее горечь. Она пишет о своем браке: он вырос из встречи, смысл которой они оба – она и Сережа – истолковали неверно. Встреча с прекраснейшим человеком должна бы была перейти в глубокую дружбу, а привела к браку – «слишком раннему со слишком молодым». Результат: ее неудавшаяся личная судьба, неутоленное сердце. Что оставалось Психее? Хождение по душам (по мукам, поправляет сама себя Марина в этой записи), тайная жизнь, тайный поиск сердечной близости, вне дней и места. Право на тайную сердечную жизнь должно быть священным в браке, убеждена она. Муж и любовник? Вздор! «Измена» появляется только там, где ее так назовут. И вот теперь, когда ее тайна разрушена, – не осталось ничего. «Жить изменами я не могу, явью – не могу, гласностью – не могу». Что остается? Жизнь восьмидесятилетнего Гёте: только в творчестве. Холодная, безличная, отрешенная жизнь. И так – до смерти. «Менять города, дома, комнаты, укладываться, устраиваться, кипятить чай на спиртовке, разливать этот чай гостям…» Никого не любить! И значит – никому не писать стихов!..

Еще в октябре она увлеченно работала над «Тезеем». С переездом в Прагу и отъездом дочери в гимназию быт облегчился. Непривычно свободная от домашних забот, она просиживала час за часом в земгорской библиотеке: читала книги и исписывала страницы своей тетради, разрабатывая подробности драматической фабулы. Рождались первые строфы трагедии… В ноябре с пронзительной ясностью высветилась ее центральная сцена. Исполненная высочайшего драматизма, словно звенящая от непереносимо высокого напряжения, она встанет в ряд с лучшим, что дано было создать Цветаевой. В эти ноябрьские дни кристаллизуется главный ее нерв и накал.

Теперь Марина ощутила себя не Ариадной – Тезеем! Ибо это перед ним возник роковой выбор: предпочесть земную любовь – или отречься от нее ради Высшего долга?.. Внять голосу Высшего долга значило преодолеть в себе земного человека. Это совсем не просто. «Может быть, земля стоит неба?..» – записывает она, колеблясь.

Блистательный диалог Тезея и Вакха предварен в ноябрьской

тетради записями, вбирающими живое терзание ее сердца:

Вакх: – То, что я требую от тебя, – божественно.

Тезей: – То, что ты требуешь от меня, – чудовищно…

И снова Тезей:

– Но зачем ты требуешь этого от меня только теперь? Почему не раньше? Зачем ты дал мне эту ночь? Ведь только после ночи с любимой мы знаем, как мы ее любим!..

В завершенной трагедии:

Тезей: Но зачем же, двужалый,
Ночь была нам вдвоем?

Вакх: Дабы разницу знала
Между небом и дном.

Уже выбрав Высший долг, Тезей умоляет:

Лишь в одном не солги ей:
Уступил, но любя!

Вакх: Чтобы даже богиней
Не забыла тебя?..

В цветаевской трагедии Тезей расстается не с любимой – с самой любовью. Так всякий раз воспринимает свои разрывы сама Марина.

«Смесь Тезея и собственной беды» – гласит запись Цветаевой 5 декабря 1923 года.

Влюбленные принимают решение расстаться.

Это безумно тяжкое для обоих решение. Но Марина считает, что у нее нет права на иное решение перед лицом Сережи.

«С ним я была бы счастлива, – напишет Цветаева Бахраху вскоре после расставания с Родзевичем, в январе 1924 года. – Это первое такое расставание за жизнь, потому что, любя, захотел всего: жизни, простой совместной жизни, того, о чем никогда не догадывался никто из меня любивших. – Будь моей. – И мое: увы!»

Боль расставания – кровоточащая рана.

Они еще пишут друг другу письма, передают записочки. В одной из них Марина объясняет, почему не пришла на назначенное свидание. Она ушла в «Чешско-русскую Едноту» слушать доклад Слонима об Ахматовой. Ибо, как она пишет, не хотела предстать перед любимым «полубезумной и истерзанной»,

какой была все эти дни. И хотела – хоть на миг – растворить свою боль в другой: послушать, как любила и страдала другая женщина…

Ей говорят, что Родзевич выпросил ее фотографию у Туржанской: переснять; ему, в свою очередь, передают от Марины номера журнала «Воля России» с ее стихами – как рождественский подарок…

Когда же именно Эфрон все же решается сказать жене непримиримые слова?

Какими они были?

Что из написанного в письме Волошину было произнесено вслух?..

Ясно только, что Сергей Яковлевич дал Марине время немного прийти в себя. И, может быть, только в декабре решился сказать ей, что им лучше расстаться, что он дает ей свободу. Дать свободу… Другая свобода была бы настоящей: не спрашивать имя любимого!.. Не вторгаться в тайну ее сердечной жизни, дать самой про себя все решить, – так думает Марина. «Неназванное – не существует», – повторит она в рабочей тетради свое давнее, странное, но глубочайшее убеждение (перенятое у нее и Эфроном). Больше десяти лет спустя, возвращаясь памятью к тем неделям, она будет колебаться в оценке своего тогдашнего выбора, будет повторять, что истоком его была убежденность в непререкаемой своей нужности мужу.

И вот – услышать от Сережи о его готовности расстаться! Это не могло не стать потрясением…

7

В рабочей тетради Цветаевой, где уже начата, отдельными строчками и строфами, «Поэма Горы», 12 декабря появляется еще одна запись. Не приводя ее текста, Ариадна Сергеевна Эфрон в своих воспоминаниях уверенно говорила, что это «запись о разрыве с Родзевичем».

Этим же числом – 12 декабря – помечены и строки стихотворения, известного теперь каждому, кто любит цветаевскую поэзию:

Ты, меня любивший фальшью
Истины – и правдой лжи,
Ты, меня любивший – дальше
Некуда! – За рубежи!

Ты, меня любивший дольше
Времени. – Десницы взмах!
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.

Комментаторы обычно адресуют это стихотворение тому же Родзевичу. Что ж, горькая эпитафия короткой любви?

Но в тот же день, 12 декабря, Марина назначает Родзевичу очередное свидание – на день следующий. Стоит напомнить, что связь между ними теперь только почтовая и живет Родзевич в пригороде Праги – местечке Хухле. Но тут сделаем остановку.

Изданные теперь письма что-то проясняют, но что-то и укрывают. На самом деле, как можно предположить, цветаевских писем было больше и некоторые Родзевич решил не сохранять для будущего. Подозрительный перерыв в переписке относится как раз к тому времени, когда в семье Цветаевой наступают совсем тяжкие времена.

И вдруг вспыхивает сомнение. Почему же «ты, меня любивший дольше времени»?.. И всего-то этой любви, кажется, два с лишним месяца? Поэтическое преувеличение? Но у Цветаевой оно никогда не рождается на пустом месте! Дальше – больше. Перечитываем письмо Цветаевой Бахраху от 4 января 1924 года: «Я рассталась с тем, любя и любимая, в полный разгар любви, не рассталась – оторвалась! Разбив и свою жизнь и его…»

«Любя и любимая»? «В полный разгар любви»? А как же тогда стихотворение 12 декабря? Естественно, конечно, допустить, что Марина могла и не быть с Бахрахом откровенной. Но это не в ее правилах, и прежде в письмах к нему она не боялась признаваться в вещах, не слишком для себя лестных.

Не только сопоставление стихотворения с письмом к Бахраху усиливает появившиеся сомнения. Если «Ты, меня любивший…» обращено к Родзевичу, значит, «Поэма Конца» очень далеко уходит от своего «жизненного подстрочника». Придуманным оказывается тогда главный конфликт, положенный в основу поэмы; сочиненными, а не пережитыми оказываются и все пронзительные подробности расставания любовной пары.

С трудом верится. Вернее, не верится.

Что, в сущности, в этой поэме происходит? Любящие расстаются. Вся поэма – по внешнему сюжету – их последнее свидание. «Честь разрыва», хотя и не слишком охотно, берет на себя мужчина. Они прощаются и никак не могут проститься…

Чем же вызван разрыв?

Движение губ ловлю.
И знаю – не скажет первым.
– Не любите? – Нет, люблю.
– Не любите! – Но истерзан,

Но выпит, но изведен.
(Орлом озирая местность):
– Помилуйте, это – дом?
– Дом – в сердце моем. – Словесность!

Почти раздраженные реплики героя: «Любовь, это плоть и кровь… Любовь, это значит – связь… Вы думаете, любовь – беседовать через столик?..»

И грустное эхо героини: «Хотеть, это дело тел, а мы друг для друга – души отныне…»

– Уедем. – Ля: умрем,
Надеялась. Это проще!

«Поэма Конца» воплотила расставание любящих, которые не могут быть вместе потому, что это любовь парящей птицы и земного существа. Встретившись в последний раз, каждый еще надеется на чудо. Для обоих страшен разрыв…

Но вместе они могут только умереть. И женщина готова к такому исходу он для нее почти желанен. Мужчина же – само олицетворение Жизни, и этот выход – не для него. Любит ли он еще? Если произнесенных им слов мало, то как забыть слезы на его глазах в час последнего прощания – «перлы в короне моей»…

Так в поэме. Каждая строка в ней написана кровью, а не чисто художнической фантазией, и тому, кто этого не чувствует, наверное, и не нужно пытаться объяснить. Вот он – разрыв с горькой любовью, венец и итог цветаевской попытки быть и любить, «как все»…

Поэма отражает ситуацию отношений Цветаевой и Родзевича периода ноября – декабря. Разумеется, «отражает», иносказуя, – надо ли это пояснять? – преображая, творя миф, – но в цветаевском смысле.

Ибо для Цветаевой миф и есть обнажение сути.

«Поэма Конца» создавалась долго, на протяжении нескольких месяцев (не так, как «Поэма Горы», написанная на едином дыхании в январе 1924 года). И долгое это время было, как всегда у Цветаевой, временем глубочайшего сосредоточения – и одновременно душевного высвобождения. Временем выхода из

«временного» в «вечное». Последнее и давало масштаб взгляда на «житейский подстрочник».

Но что же это все-таки за запись в тетради после строк стихотворения «Ты, меня любивший…»?

Наконец я вижу эту запись собственными глазами. Текст, оказывается, не имеет вообще никакого адресата! Это понятно – запись сделана для себя и только для себя. Читаем: «12-го декабря (среда) – конец моей жизни. Хочу умереть в Праге, чтобы меня сожгли». Строки стихотворения «Ты, меня любивший…» – рядом.

Это значит, что А С. Эфрон расшифровала и прокомментировала запись на свой страх и риск, – возможно, искренне убежденная в своей правоте. Знала ли она тогда тексты всех писем Цветаевой к Бахраху, включая январское? Скорее всего, нет. Известны утверждения Ариадны Сергеевны о том, что она не считала себя вправе читать личную переписку матери. Но в ее распоряжении не было письма Эфрона к Волошину. Как и ее собственных живых наблюдений: ведь, как мы знаем, всю ту осень и зиму сама Аля провела в Моравской Тшебове, в гимназии, и все драматические события разыгрались в ее отсутствие!

И теперь у нас гораздо больше, чем прежде, оснований предположить, что трагическая запись и стихотворение с Родзевичем связаны косвенно. Скорее они могли быть вызваны тяжелым объяснением, на которое наконец решился Эфрон. То, что он еще и в феврале продолжал желать разрыва, подтверждает третье (и последнее) эфроновское письмо Волошину: «…не живу, жду. Жду, когда поджившая ветка сама отвалится. ‹…› Боязнь катастрофы связывает мне руки. Поэтому не могу сам подрезать ветку, поэтому жду, когда упадет сама. ‹…› Хочу, чтобы узел распутался в тишине, сам собою (это так и будет), а не разорвался под ударами урагана…»

Есть и еще одна подробность. Стихи 1922–1925 годов Цветаева издает в Париже, объединив их в сборнике под названием «После России» (1928). Но великолепное стихотворение «Ты, меня любивший…» не только не было включено в сборник – оно вообще не публиковалось при жизни Цветаевой! Не потому ли, что боль, в нем прозвучавшая, была слишком непереносимой?.. Между тем горчайшие стихи, связанные с Родзевичем, как и обе поэмы, стали известны читателю менее чем через три года.

«12-го декабря – конец моей жизни…» В памяти возникает что-то мучительно знакомое, какая-то явная перекличка…

Да, вот она. Это перекличка с записью, сделанной в летний день 1921 года, два с половиной года назад, когда после долгих

месяцев смертельной тревоги за мужа Цветаева получила наконец от него письмо. Ликующая запись: «1 июля – письмо. С сегодняшнего дня – жизнь!»

Слоним, Еленев, Андроникова-Гальперн, Эйснер, Булгакова-Сцепуржинская, Родзевич – люди, на протяжении многих лет знавшие Цветаеву и ее мужа, очень по-разному характеризуют их отношения. Одни настаивают на том, что, несмотря на все увлечения, Цветаева была однолюбом – любила по-настоящему только Сергея Яковлевича; другие уверены, что хотя их и соединяла взаимная привязанность, но уже в начале двадцатых годов то был союз, который никак нельзя назвать любовным. Достоверность такого рода свидетельств всегда относительна. И не стоит сбрасывать со счетов также настойчивое утверждение дочери, А. С. Эфрон, о неколебимой преданности ее родителей друг другу. Если и слышится здесь нечто от легенды, долженствующей противостоять всем цветаевским поэмам о любви и «романам в письмах», то похоже, что то была легенда, упорно культивируемая в самой семье.

Дороги те свидетельства, в которых есть не суждения и оценки, а конкретные факты. И вот одно из таких свидетельств.

В середине тридцатых годов в Париже Эфрон пришел к своей давней близкой приятельнице. Он признался, что совершенно не знает, как жить и что делать: он влюблен в молодую женщину – и очень всерьез. «Ну а я знаю, что тебе делать!» – отвечала его решительная приятельница. Но Эфрон только покачал головой: «Нет, я не могу оставить Марину…»

То было не единственное увлечение Сергея Яковлевича. В него часто влюблялись, и он вовсе не всегда оставался каменным. Той зимой 1923–1924 годов он «утешался» влюбленной в него Катей Рейтлингер. Отношения их, по словам Катерины Николаевны, вспоминавшей об этом уже «жизнь спустя», не перешли границ, но чуть ли не ежедневно они встречались, вместе гуляли, целовались…

Оттенок ревнивого чувства изредка мелькает при упоминании Кати в цветаевских письмах этого времени. Но в глубине души Марина восхищалась ею – преданной ее дружбой, бескорыстием и живой безотказной помощью. В записной книжке 1924 года: «Высокая, белокурая, шалая. Всегда коленопреклоненная – то перед одним, то перед другим. На колени падающая – с громом. Катя Р., с целым мешком дружбы и преклонения на спине – через горы и холмы Праги ‹…› с чужими делами и долгами и заботами в мешке, носящая свою любовь на спине, как цыганки – детей… Так влюбленная в мои стихи – и так влюбленная в С. ‹…› Этот лирический водопад тихо звенел о

стенки кастрюлечек и бутылочек, на огне страстей варилась еда…»

Существует важное признание и в одном из писем Цветаевой к О. Е. Черновой: «…трагическая невозможность оставить С.». Это двузначное выражение – «невозможность оставить»… Скорее всего, оно свидетельствовало о невозможности переступить через легенду: встречу в Коктебеле.

Вот это-то сознание нерасторжимости союза и создало тот накал трагического самочувствия, которое выразила Цветаева уже в сентябрьском письме Бахраху, где речь шла о конкретностях самоубийства.

Цветаева и Эфрон остались вместе.

Пребудет навечно тайной вопрос, на какой основе их союз продержался так долго.

Конечно, осенью и зимой 1923–1924 годов Эфрону не позавидуешь. Да и в другие годы ему вряд ли было легко. И не только из-за цветаевских сердечных смут: роль мужа известной поэтессы для человека кипуче деятельного, каким был Эфрон, сама по себе непроста.

Но лучше не говорить о том, кто из них дороже заплатил за преданность.

Когда мы досмотрим до конца эти судьбы, ответить будет совсем сложно…

Смерч любви не может исчезнуть сразу, даже наткнувшись на могучее препятствие. Воля и рассудок говорят: довольно! Но сердце и страсть противятся взнузданию.

Сергей Эфрон, Мур, Константин Родзевич

Цветаева и Родзевич продолжали все же время от времени видеться и в эти зимние и весенние месяцы наступившего 1924 года.

В феврале 1925 года у Цветаевой родится сын. Отцом мальчика почти все будут упорно считать Родзевича. И как было не возникнуть этой версии после опубликования «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца»! Восславленная здесь любовь стала тогда достоянием оживленных пересудов в среде русской эмиграции. Любопытно, что сам Родзевич неизменно уклонялся от прямого ответа, даже в беседах с близкими ему людьми, – подогревая тем самым предположения. Чем-то ему, видимо, импонировали эти слухи – ибо он мог бы ответить вполне определенно: он знал твердо, что отец мальчика – Эфрон. Между тем существует двусмысленнейшая фотография: Сергей Эфрон, Константин

Родзевич и пяти-шестилетний Георгий стоят где-то «на природе», и Родзевич положил обе руки на плечи мальчика. Мужчины безмятежно улыбаются – как бы осененные древним изречением, столь любимым Цветаевой: все проходит, нет ничего вечного на земле…

Эфрон и Родзевич внешне чем-то неуловимо схожи, так что физиономический анализ для любопытствующих был затруднителен. Мальчик же с первых дней жизни – и чем дальше, тем больше – походил на мать. «Маленький Марин Цветаев» – называл его и Сергей Яковлевич. Что для нас, пожалуй, малоубедительно. Но фотографии Георгия, и особенно те, которые были сделаны в 1941 году, сказанное подтверждают.

(Как радовалась этому сходству Марина! Как надеялась, что это дитя будет наконец ее породы! В ней всегда жила глубочайшая уверенность в связи внешнего и внутреннего в человеке.)

Однако дневниковые записи Цветаевой, относящиеся к 1924 году, разрешают теперь все сомнения и пересуды. Дважды она упоминает здесь сцену ревности, которую устроил ей Родзевич, когда ранней осенью 1924 года, в кафе, она сообщила ему, что в феврале ждет сына. Родзевич «пришел в ярость, нет оскорбления, которого бы я от него не выслушала, даже внешне был страшен…». В другом месте повторено то же самое: запись о «дичайшей сцене» ревности при этом известии – с такой конкретной подробностью о Константине Болеславовиче: «… сначала радость, потом, когда сообразил, – ревность»…

8

Недолгое счастье земной любви Цветаева продлевает творческим сосредоточением над рождающимися строками – сначала одной, а затем другой поэмы.

Но что делает она, едва вырвавшись из чар сердечной лихорадки? Снова ищет оказии к Пастернаку!

Прямая почтовая связь с ним по-прежнему невозможна. Но ни с кем другим Марина не может быть настолько собой – со всеми противоречиями чувств и мыслей, во весь свой рост. Только обращаясь к нему, она до конца уверена во внутренней соразмерности – и в открытости слуха. Снова и снова – как заклятие – она повторяет далекому другу: «Вы мой спутник, мой оплот… Всё болевое и всё блаженное всякий раз отбрасывает меня к Вам с удесятеренной силой. Я так пыталась любить другого, всей волей любить! Но тщетно. Из рук другого я рвалась,

оглядывалась на Вас…»

Так сказано в одном из писем этой зимы.

И Родзевич вовсе не предан этими признаниями!

Она только честна. Она просто, как сыскная собака, ни на минуту не теряет в себе самой знакомого следа. В ее груди свободно умещается и то и другое – и еще остается простор: для усмешки над собой. И для размышлений – что чего стоит на земле, где явь и где сон. И разделимы ли они. «Если сон снится всю жизнь – какое нам дело (да и как узнать?), что это – сон? ведь примета сна – преходящесть…» Это запись в дневнике.

Отослано очередное письмо Пастернаку – и вдруг известие: Родзевич болен, у него плохо с сердцем.

Все правильные ее мысли о «тщетности» недавней любви тут же исчезают!

В записной книжке – следы пересланного Константину Болеславовичу письма: «Мой родной, решение не видеться не распространялось на болезнь! Позовите меня и не бойтесь моей безмерности – буду такой, как Вы захотите. Живу снами о Вас и стихами к Вам, другой жизни нет…» Прекрасно зная о нищете своего недавнего возлюбленного, она в эти дни передает ему немного денег, – по-видимому, с верной Александрой Захаровной Туржанской (единственной приятельницей, посвященной в перипетии любви к Родзевичу).

Заходит Муна Булгакова и просит прочесть ей что-нибудь новое из стихов или прозы.

Цветаевская запись об этом кажется подражанием Хемингуэю.

Уже собираясь уходить, Булгакова вдруг с великолепной небрежностью сообщает:

«– Я забыла сказать: Родзевич просил передать вам привет.

– Надо вытереть окно, – сказала я, – ничего не видно.

И достав носовой платок, долго-долго протираю все четыре стеклянных квадрата…»

Девятого июня 1924 года в Иловищах под Прагой закончена «Поэма Конца».

Три недели спустя начат цикл «Двое». В него войдет знаменитое:

В мире, где всяк
Сгорблен и взмылен,
Знаю – один
Мне равносилен.

В мире, где столь

Многого хощем,
Знаю – один
Мне равномощен.

В мире, где всё –
Плесень и плющ,
Знаю: один
Ты – равносущ

Мне.

Посвящение не поставлено. Но адресат ни у кого не вызовет сомнений: это, конечно, Борис Пастернак.

Константин Болеславович Родзевич долгое время неохотно откликался на вопросы о Цветаевой. Он соглашался дать сведения о собственной биографии, когда на этом настаивали, но считал, что к «Поэме Горы» и «Поэме Конца» «не надо никаких побочных комментариев – ни бытовых, ни географических, ни календарных. Пусть стихи и поэмы Марины Цветаевой говорят сами за себя. Пусть их непреложное свидетельство остается выше всех житейских мелочей и всяких подсобных истолкований!» (письмо ко мне от 15 января 1979 года). Правда, он сожалел, что между нами тогда был невозможен не письменный, а «живой» разговор: говорится на такие темы иначе и лучше, чем пишется. Но вот летом 1982 года с Родзевичем встретилась уехавшая из СССР Виктория Швейцер. Несколько позже – парижанка Вероника Лосская. Им удалось немного разговорить Константина Болеславовича.

Он по-прежнему был скуп на подробности, зато настойчиво подчеркивал в облике Марины Цветаевой того времени неожиданные черты: ее светлый, счастливый, жизнерадостный характер, способность радоваться и глубоко переживать чувство полноты бытия.

«В ней была жажда жизни, стихийная любовь к природе, она вся была стихийная. Она была полна любви к жизни» – так записала со слов Родзевича Лосская. И еще: «Увлечение – обоюдное – началось между нами сразу, coup de foudre[14]». В записи Швейцер: «Это было стихийно… Мы сошлись характерами – отдавать себя полностью. В наших отношениях было много искренности, мы были счастливы…» Снова Лосская: «Это было огромное увлечение… Другой такой любви у меня потом уже никогда не было…»

Марина Цветаева. Рис. К. Родзевича

Еще один живой разговор состоялся в семидесятые годы; его привела в письме ко мне Вера Трейл, хорошо знавшая всех участников драмы.

На вопрос, почему Родзевич, называющий теперь Цветаеву

своей grand amour[15], предпочел ей в то время Булгакову, последовал ответ:

«– Это совсем не связано. Я простился с Мариной в Праге, а женился два года спустя, в Париже.

– Но почему расстался? Ведь Марина тебя любила…

– Любила?.. Я не знаю. Она меня выдумала. Ты знаешь, какой она была выдумщицей. Быть таким героем, каким она меня придумала, я не мог. Кроме того, главное, – Сережа был мой друг, я его предал, и потом мне стало стыдно…»

Свадьба Родзевича и Булгаковой состоялась летом 1926 года в Париже. Версию о том, что Цветаева подарила невесте белое подвенечное платье, решительно опровергла сама Мария Сергеевна (письмо ко мне от 18 декабря 1976 года).

Марина сделала ей другой свадебный подарок – гораздо более цветаевский. Это произошло, видимо, месяца за полтора до свадьбы, в апреле 1926 года.

В этот весенний день они поехали вместе с Муной делать покупки в магазинах. Покончив с покупками, присели за столик кафе на одной из парижских улиц. Здесь-то и вручила Цветаева невесте Родзевича свой подарок.

Его трудно назвать добрым. Он должен был нанести рану. И он свидетельствовал, в свою очередь, о незажившей ране.

Свадьба Родзевича. 1926 г.

Цветаева подарила Булгаковой маленькую переписанную от руки книжечку.

То была «Поэма Горы».

Поэма, написанная на самом пике любви к Родзевичу, и, может быть, самая прекрасная поэма о любви, созданная в XX веке…

В Праге Эфроны прожили до июня 1924 года. А затем снова переехали в деревню, вместе с семьей Ольги Елисеевны Черновой-Колбасиной (жившей в том же доме на Шведской улице). Способствовало такому решению то, что Алю решено было из гимназии забрать – толку от занятий было мало, между тем у нее обнаружились затемнения в легких. Напуганные родители еще тогда решили, что дочь должна жить в семье – заниматься можно и дома.

Недолгое время летом они жили в Иловищах, затем в Дольних Мокропсах, а осенью 1924-го в последний раз сменили чешский адрес: перебрались во Вшеноры, где обитали многие русские семьи.

Девять месяцев, прожитых Цветаевой в Праге, заметно укрепили ее связи с литературными кругами русской эмиграции. В книге «Курсив мой» Нина Берберова вспоминает, что уже ко времени их приезда в столицу Чехословакии имя Цветаевой стояло «в зените славы». В самом деле, в 1923 году вышли из печати три ее поэтические книги («Ремесло», «Психея», «Царь-Девица»), в каждом номере журнала «Современные записки» читатель находил цветаевские тексты. Ее наперебой приглашают участвовать в альманахах, антологиях и газетах Критики постоянно упоминают ее имя в своих литературных обзорах, Андрей Белый – в отрывке из воспоминаний («Арбат») в тех же «Современных записках», Константин Бальмонт – в своей книге «Где мой дом?» (она появится на книжных прилавках в феврале 1924 года, а отрывок – с нежным упоминанием о Цветаевой – еще раньше, в газете).

С началом 1924 года в Праге начал выходить русский двухнедельник – «Огни». И в первом же номере было помещено давнее цветаевское стихотворение. Написанное в 1916 году, оно зазвучало здесь и теперь совсем иначе.

Сколько неразвеянных иллюзий в этой публикации! Сколько неоправдавшихся надежд!

– Москва! – Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный.
Мы всé к тебе придем.

Клеймо позорит плечи,
За голенищем нож.

Издалека́-далече
Ты всё же позовешь…

В 1923–1924 годах в Чехии насчитывалось около тридцати тысяч русских. Из них две тысячи триста – студенты: осенью 1921 года при древнем Карловом университете открылись два факультета для русских – юридический и философский.

Пестрота политических симпатий сказалась в том, что быстро возникло несколько студенческих союзов – разной окраски: от монархической до почти открыто просоветской (Алексей Эйснер утверждал, что в последнем уже тогда насчитывалось около пятидесяти человек!).

С 1922 года в Праге функционирует «Союз русских писателей и журналистов». Возникают – и лопаются через некоторое время – около восьмидесяти русских периодических изданий (Эфрон внесет сюда свой заметный вклад). Немало книг выпустит и возглавлявшееся Евгением Ляцким издательство «Пламя» – в их числе цветаевскую поэму «Молодец».

Среди множества эмигрантских организаций важное место принадлежало «Земгору» («Союзу земских городов») и «Русскому очагу», учрежденному известной графиней Паниной.

Возможность всех этих начинаний обеспечивалась, в первую очередь, политикой президента Чехословакии Томаша Масарика, щедро выделявшего – по договоренности с Керенским – средства в русле так называемой «русской акции».

Культурную жизнь российских эмигрантов в Праге ярко окрашивали еженедельные – по вторникам – собрания и лекции в «Чешско-русской Едноте», которая была создана энтузиастами еще в 1919 году. Собрания и лекции проходили в отеле «Беранек». В правление входили, в частности, Марк Слоним и Анна Тескова. Цветаева выступит тут трижды с чтением своих произведений. Изредка посещает она и лекции – в зале того же «Беранека» и даже в университете. Она слушает профессора Новгородцева, о. Сергия Булгакова, Федора Степуна, Александра Керенского, Рудольфа Штейнера…

В Праге возникнут два поэтических объединения: «Скит поэтов» (основанный А. Бемом и С. Рафальским) и «Далиборка», объединившая чешских и русских поэтов. Инициатором возникновения «Далиборки» был Сергей Маковский, с которым Цветаева поддерживала самые дружеские отношения, но, насколько известно, сборищ объединения она ни разу не посетила. Что, впрочем, легко объяснимо: «Далиборка» возникла осенью 1924 года, когда Цветаева уже снова жила в пражском

предместье, а не в городе. И кроме того, той осенью она была беременна, а затем связана новорожденным сыном…

Полюбопытствуем: какие все же литературные авторитеты царят в Праге в те годы, когда там живет Марина Цветаева? Кого безусловно здесь чествуют, чье мнение непререкаемо? Это прежде всего три имени: решительно забытый сегодня Василий Немирович-Данченко, почти забытый Евгений Чириков и Аркадий Аверченко. Авторитет сохраняли еще Александр Амфитеатров, Сергей Маковский да изредка появлявшийся в Праге Ремизов… Цветаева – известна, но в число «авторитетов» совсем не попадает.

И все-таки… Пройдут годы и годы, но на Чехию она будет упорно оборачиваться – с нежностью, тоской и признательностью: здесь были пережиты высочайшие мгновения ее личной судьбы…

Глава 3
Триумф и отторжение

1

Чешская зима 1924–1925 годов оказалась для Цветаевой особенно тяжелой. На последних месяцах беременности топка печей, примусы, невозможность гулять по скользким обледенелым покатым тропкам, отрезанность от Праги – все переживалось мучительнее, чем прежде, и временами Цветаева ощущает себя погребенной заживо в занесенных снегом Вшенорах.

Существования котловиною
Сдавленная, в столбняке глушизн,
Погребенная заживо под лавиною
Дней – как каторгу избываю жизнь…

Ольге Елисеевне Черновой-Колбасиной в середине зимы она пишет: «Еще зимы во Вшенорах не хочу, не могу, при одной мысли – холодная ярость в хребте. Не могу этого ущелья, этой сдавленности, закупоренности, собачьего одиночества (в будке!) ‹…› Слишком трудна, нудна и черна здесь жизнь».

Ольга Чернова-Колбасина. 1920-е гг.

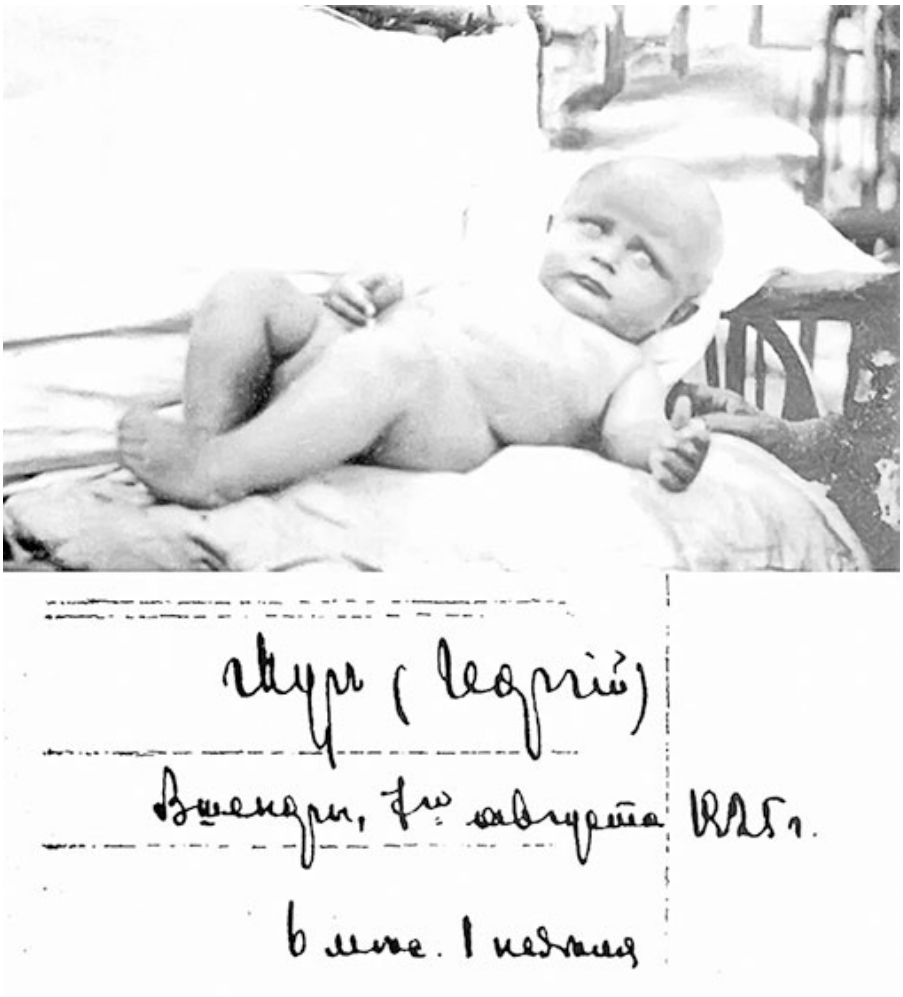
Постепенно созревало решение уехать из Чехии. Эфрон заканчивал университетский курс, нужно было думать о будущем. Стипендию давали еще три месяца после окончания учебы – считалось, что этого срока достаточно, чтобы устроиться на службу. Но найти приличную работу в Чехии для русского, да еще гуманитария (Сергей Яковлевич оканчивал философский факультет), было делом безнадежным. Неясность оставалась и с чешским «иждивением», которое получала Цветаева, – долго ли его будут выплачивать. Во всяком случае, рассчитывать на него казалось опасным. Перемены назревали, таким образом, сами собой и угрожали не только семье Цветаевой.

Ненадежность будущего в Чехии ощутили многие. И в 1925 году началась очередная волна миграции русских – на этот раз во Францию.

Париж еще с 1919 года претендовал на роль главного центра русской эмиграции. Но поначалу соперником его был Берлин, затем Прага, и только к середине двадцатых годов эта репутация Парижа стала безусловной.

Переезжали редакции русских газет и журналов, перекочевывали целые кусты русских семейств. Из ближайшего

окружения Цветаевой во Францию уехали семьи Черновых, Булгаковых, Исцеленовых. Собиралась ехать в Париж и вдова Леонида Андреева Анна Ильинична. С ней Марина Ивановна сблизилась уже после рождения сына, когда они жили рядом, во Вшенорах.



Сын Цветаевой Георгий (Мур). 7 августа 1925 г.

Рождение сына 1 февраля 1925 года (его назвали Георгием, но вскоре он получил домашнее имя – Мур) сыграло не последнюю роль в окончательном принятии решения о переезде. Мысль о том, что придется растить мальчика в этих условиях, исключила всякую возможность трезвых расчетов. В августе 1925 года – Черновой: «О зиме здесь не хочу думать: гибельна, всячески, для всех. Аля тупеет (черная работа, гуси), я озлеваю (тоже). Сережа вылезает из последних жил, а бедный Мур – и

подумать не могу о нем в копоти, грязи, сырости, мерзости. Растить ребенка в подвале – растить большевика, в лучшем случае, вообще – бомбиста. И будет прав».

Сергей Яковлевич был целиком за отъезд. Но сам он пока ехать никуда не мог: лето провел в Земгорской санатории (очередная вспышка туберкулеза), и осенью нужно было завершать докторскую работу о византийском искусстве.

Многое оставалось неясным, но несомненным для него было то, что семью надо отправлять из Вшенор хотя бы на зиму. «Марина измучена и издергана так, что на нее временами смотреть страшно, – пишет Эфрон Черновым. – Она, конечно, будет у вас осенью в Париже. Я не знаю, что бы дал, чтобы вырвать у жизни ей досуг…»

Кроме Черновых в Париже жили теперь и Бальмонт, и Ремизов, с которым Цветаева подружилась в Берлине, крестный отец маленького Мура, Осоргин, Зайцевы и Цетлины, прежде тоже числившиеся в друзьях.

Сергей Эфрон, Марина Цветаева с Муром на руках и Аля. Вшеноры. Чехия, 1925 г.

В Париже выходили три русские газеты, а на улице Винез уже почти пять лет располагалась редакция крупнейшего эмигрантского журнала «Современные записки», охотно печатавшего Цветаеву, с легкой руки Бальмонта.

Поначалу речь шла о том, чтобы приехать к Черновым погостить – и выступить на литературном вечере с чтением стихов. А потом уже решить – возвращаться ли.

Но как-то незаметно «погостить» переросло в «переехать». Марк Слоним и Черновы энергично помогали в организации отъезда: Слоним – хлопотал о визе, Черновы – вытягивали деньги на дорогу из парижского фонда русских литераторов. Теплилась еще смутная надежда «расколоть» на ссуду Леонарда Розенталя – ювелира-мецената, русского эмигранта, незадолго перед тем щедро пожертвовавшего на нужды ученых миллион франков. («Ваш Леонард подарил миллион ученым мира, а у меня такое чувство, что ученые ограбили Марину», – шутил Эфрон в письме Черновым.) В денежном отношении очень выручил последний вечер Цветаевой в «Чешско-русской Едноте». При переполненном зале она прочла свою прозу о Валерии Брюсове «Герой труда». Успех был бурным.

Вообще литературный авторитет Цветаевой в последние годы ее жизни в Чехословакии заметно укрепился. В журнале «Воля России» она публикуется в каждом номере: стихи, проза «Герой труда», поэма «Крысолов»; в «Современных записках» напечатаны проза «Мои службы» и поэтический цикл «Двое». Летом того же года целый «подвал» посвятила поэме «Молодец» газета «Последние новости», выходившая в Париже. Автором статьи о поэме был Владислав Ходасевич, необычайно высоко оценивший цветаевский опыт поэтического переложения русской народной сказки.

Париж

Словом, появилась некоторая почва для неуверенных, но сладких надежд: может быть, удастся во Франции добиться маломальски сносного существования: найти интересную работу для Эфрона, а Марине – вырваться из тяжкого засилья бытовых неустройств – и завоевать литературный Париж…

Все последующее покажет, как наивны были эти надежды. Там хорошо, где нас нет, – старая эта истина вспомнится очень

скоро.

Уже в январе 1926 года Эфрон напишет из Парижа в Прагу В. Ф. Булгакову, как разочаровывает его парижская литературная среда просто «по человеческому составу». В Чехии за три года у семьи образовался немалый круг доброго участия и живых привязанностей; в русской студенческой среде (да и не только в ней) Сергея Яковлевича ценили и любили за его энергию, доброжелательную открытость, легкий, веселый нрав; круг дружеских и деловых связей Марины Ивановны был также достаточно широк. Завязывались теплые отношения и с чешскими литераторами; появились первые переводы цветаевских стихов на чешский язык…

Но все эти плюсы отчетливее увиделись позже, уже из Франции, спустя несколько месяцев.

Париж, ул. Рувe. Фотооткрытка

31 октября 1925 года Цветаева с детьми покидает Чехию. Первого ноября она в Париже.

Ольга Елисеевна Чернова-Колбасина жила с тремя дочерьми на окраине города, в дымном и шумном рабочем районе около городской бойни. Как раз на уровне окон четвертого этажа, в котором размещалась квартира Черновых, проходила надземная железная дорога; в промежутках между громыханием составов, проносившихся мимо, снизу был слышен грохот грузовых автомобилей. Фабричные трубы дополняли вид из окна; копоть залетала в комнаты. Поблизости канал Сен-Дени загнивал от

грязи, рядом не было ни сада, ни даже деревца или кустика. Чтобы гулять с маленьким Муром, приходилось уходить совсем далеко.

В трехкомнатной квартире Черновых Цветаевой с детьми отдана одна из комнат.

Улица Руве, 8, – таков ее первый адрес во Франции.

Париж уже был в ее жизни дважды: в 1909 году она приезжала под предлогом слушания лекций в Сорбонне в священный город ее кумиров – Наполеона и Сары Бернар; в 1912 году провела здесь несколько недель во время свадебного путешествия.

Теперешний Париж был неузнаваем – масса автомобилей, суета. Другим было и ощущение себя в Париже.

Первые же дни приносят разочарование. Едва приехав, Марина пишет в одном из писем: «Этого Парижа я не знаю, знаю – тот Париж, когда мне было шестнадцать лет, свободный, уединенный, весь в книжных лотках вдоль Сены. То есть: свою сияющую свободу – тогда. Я пять мес‹яцев› прожила в Париже, совсем одна, ни с кем не познакомившись. Знала я его тогда? (Исходив вдоль и поперек!) Нет – душу свою знала, как теперь. Городов мне знать не дано».

Это особенность ее природы: «невключенность» во внешний – вещный и событийный – мир, в ближайшее настоящее. Она всегда лучше видит его, уже обернувшись назад, расставаясь, прощаясь, в то мгновение, когда оно становится прошлым. Но и тогда – больше по следу, оставленному в сердце, чем во внешних очертаниях.

Замечательно, однако, то, что эта особенность превосходно уживалась в ней с качествами, далекими от лирической «неотмирности».

Ее крайняя неприспособленность к быту не отменяла необходимости везти на себе все годы чужбины воз домашних забот. Ее неумение «устраивать дела» обтачивалось на необходимости заниматься этим устройством ежедневно. Ибо рядом не было человека, который делал бы это за нее.

В бытовых коллизиях она остается всегда неумелой и беспомощной. Но не то в ее отношениях с редакциями и редакторами, с разного рода комитетами и меценатами! Тут мы скорее поразимся ее расчетливости, трезвости и предусмотрительности. Увидим ее жесткой, практичной, не чересчур церемонной и даже способной к изящной лести; пример тому дают, в частности, ее письма к Рудневу, одному из редакторов «Современных записок».

А как тщательно она подготовилась к приезду в Париж!

Обдуманно отобраны для печати стихи и проза – и в первые же недели парижского пребывания в русских газетах густо пойдут ее публикации.

Как результат – редакции русских эмигрантских изданий включают Цветаеву в список виднейших литераторов, к которым обращены просьбы ответить на предновогоднюю анкету.

Приезд ее явно замечен.

В один из декабрьских вечеров на улицу Руве явился молодой журналист Андрей Седых. Вскоре в рижской газете «Сегодня» будет опубликован его отчет об этой встрече. «Марина Цветаева совсем молода, – писал Седых, – шапка светлых вьющихся волос, гладкое зеленое платье.

И глаза смотрят куда-то вдаль, вдумчивым, глубоким взглядом». Далее Седых передавал слова Цветаевой: «Я по стихам и всей душой своей – глубоко русская. Поэтому мне не страшно быть вне России. Я Россию в себе ношу, в крови своей. И если надо, и 10 лет здесь проживу и все же русской останусь…»

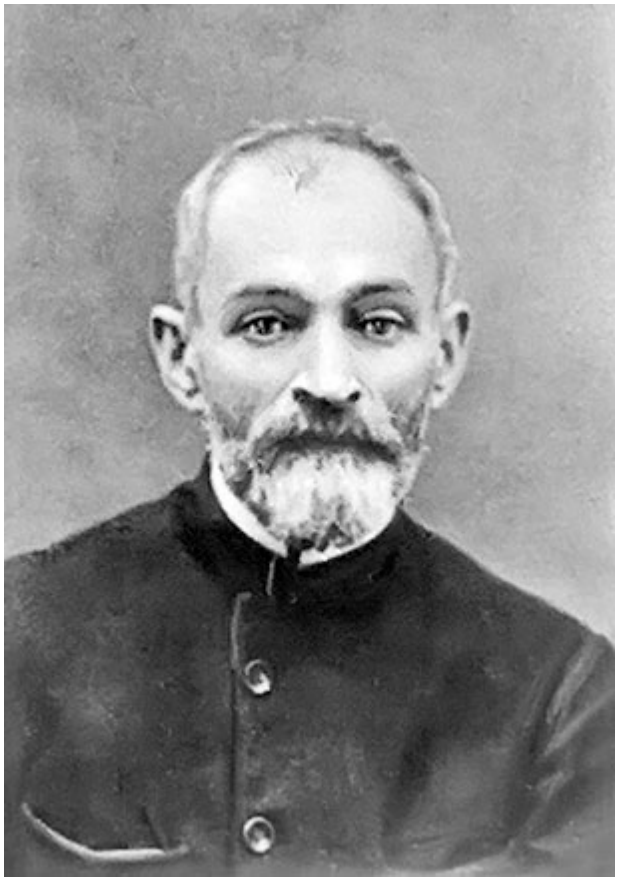
Алексей Ремизов

В первые же недели Алексей Ремизов успел хорошо досадить Марине Ивановне. Со своей страстью к мистификации он сумел опубликовать где-то сообщение о том, что приехавшая из Праги поэтесса предполагает издавать новый журнальчик под названием «Щипцы». Шутку приняли за правду, так что рассерженной Цветаевой пришлось даже давать опровержение в газете «Последние новости». Но, как ни странно, ссоры с Ремизовым не последовало.

Дом Ремизовых станет для Цветаевой в ближайшие годы одним из немногих «своих» домов. Крепкой дружбы не получилось, встречи были нечастыми, но в этом доме Марина Ивановна приобрела новых дорогих для нее друзей.

Среди них был философ Лев Исаакович Шестов. Они были

знакомы в Москве, но как бы издали. Его Цветаева назвала позже «самым важным своим человеческим приобретением в Париже»; Шестов тоже с удовольствием пошел на сближение.



Лев Шестов

Эфрон приехал в канун рождественских праздников. Теперь их было четверо в одной комнате.

И в этой скученности, при беспокойном нраве малыша, Цветаева умудряется работать. В начале декабря она уже отсылает в редакцию «Воли России» последнюю главу поэмы «Крысолов», написанную в Париже. И вскоре начнет новую поэму!

Несколько часов в день – с пером в руке, за письменным (или кухонным, разницы нет!) столом, переставая слышать и видеть… Когда это получается, все неудобства отходят для нее на задний план.

У трех дочерей Ольги Елисеевны были к этому времени уже «прочные» женихи; как и их невесты, они восхищались цветаевской поэзией и ею самой; в той или иной степени все были

также причастны к литературным занятиям. И в доме царила атмосфера молодой веселости и дружелюбия. Марина Ивановна легко и охотно в нее включалась. Неизменно бодрая, подтянутая, всегда готовая к шутке и смеху – такой запомнили ее младшие Черновы в ту первую парижскую зиму.

А все же в ее тетради появляются жалобные строфы:

Юность – любить.
Старость – погреться:
Некогда – быть,
Некуда деться.

Хоть бы закут –
Только без прочих!
Краны – текут,
Стулья – грохочут…

И в новогодней анкете «Последних новостей» рядом с пространными пророчествами Мережковского появляются лаконичные цветаевские пожелания: «Себе – отдельной комнаты и письменного стола, России – того, что она хочет».

Между тем дела с устройством поэтического вечера продвигались плохо. По тогдашним правилам Цветаева должна была все подготовить и обеспечить сама: помещение, рекламу, печатание и распространение билетов.

Труднее всего оказалось найти зал. Поначалу была надежда на помощь Цетлиных – сорвалось; не увенчалась успехом и попытка договориться с художником Малявиным, у которого была огромная мастерская. В конце концов выручил Клуб молодых русских поэтов, располагавший помещением на улице Данфер-Рошро.

В январе Цветаева пишет в Прагу: «В Париже мне не жить – слишком много зависти. Мой несчастный вечер, еще не бывший, с каждым днем создает мне новых врагов ‹…›. Если бы Вы только знали, как все это унизительно.

Купите, Христа ради! – Пойдите, Христа ради!

Прибедняться и ласкаться я не умею, – напротив, сейчас во мне пышнее, чем когда-либо, цветет ирония. И – “благодетели” закрывают уже готовую было раскрыться руку (точней – бумажник!)».

Марина Цветаева. 1925 г. Фото П. И. Шумова

Впечатления Эфрона – не лучше. «“Русский Париж”, за маленьким исключением, мне очень не по душе, – сообщает он Валентину Булгакову. – Был на встрече Нового года, устроенной политическим Красным Крестом. Собралось больше тысячи “недорезанных буржуев”, жирных, пресыщенных и вяло-веселых (все больше евреи), они не ели, а жрали икру и купались в шампанском. На эту же встречу попала группа русских рабочих, в засаленных пиджаках, с мозолистыми руками и со смущенными лицами. Они сконфуженно жались к стене, не зная, что делать меж смокингами и фраками. Я был не в смокинге и не во фраке, но сгорал со стыда…»

Другой новогодний вечер традиционно устроил русский Комитет помощи ученым и писателям – в ночь на 14 января в отеле «Лютеция».

«Любопытные могли вдоволь поглазеть на живых знаменитостей, – сообщала через день газета «Дни». – Тут были и Бунин, и Куприн, и Зайцев, и Тэффи, предсказывавшая судьбу в стихах, а потом с увлечением танцевавшая, и Цветаева, и Ходасевич, и Берберова, и Потемкин, и художник Нилус, и много других…»

Лет десять назад сбор от такого благотворительного вечера шел в пользу сирот войны или раненых воинов. Теперь он предназначался бедствующим русским эмигрантам – писателям и ученым…

Париж, отель «Лютеция»

Тем временем на русском книжном рынке Парижа появился вышедший в Праге литературный сборник «Ковчег». В его составлении вместе с В. Ф. Булгаковым и С. В. Завадским деятельное участие принимала и Цветаева, в последний год ее жизни в Чехии. Отклики критиков на «Ковчег» оказались почти единодушны: кисло-одобрительные в адрес Аркадия Аверченко, Евгения Чирикова, Сергея Маковского, поместивших здесь свои произведения, – и восхищенные по отношению к цветаевской «Поэме Конца». «Поразительное богатство ритмов, афористическая сжатость формы», «прекрасная поэма», «мастерское поэтическое произведение, отмеченное печатью подлинного таланта, насыщено настоящим драматизмом, захватывает и покоряет своими ритмами…».

Только Юлий Айхенвальд в берлинской газете «Руль» уже не в первый раз отважился признаться, что поэмы Цветаевой для него набор рифмованных благозвучий…

2

Прошло три с лишним месяца со времени прибытия Цветаевой в Париж до того дня, когда наконец дата вечера – 6 февраля – была объявлена. Все русские газеты зарубежья оповестили об этом читателей. А наиболее сочувствующие «Дни» даже короткую заметку о цветаевской поэзии превратили в рекламу.

Вечер вылился в настоящий и неожиданный триумф. Ни раньше, ни, кажется, позже такого не повторялось.

В газетной периодике появились отчеты, подтверждавшие полный успех.

Девятого февраля Эфрон сообщал о вечере в Прагу: «Прошел он с исключительным успехом, несмотря на резкое недоброжелательство к Марине почти всех русских и еврейских барынь, от которых в первую очередь зависит удача распространения билетов. Все эти барыни, обиженные нежеланием М. пресмыкаться, просить и т. и., отказались в чем-либо помочь нам. И вот, к их великому удивлению (они предсказывали полный провал), за два часа до начала вечера толпа осаждала несчастного кассира, как на Шаляпина. Не только все места были заняты, но народ заполнил все проходы, ходы и выходы сплошной массой. До 300 чел[овек] не смогли достать билетов и ушли. Часть из них толпилась на улице, слушая и заглядывая в окна. Это был не успех, а триумф. М. прочла около сорока стихов. Публика требовала еще и еще. Стихи прекрасно доходили до слушателей и понимались гораздо лучше, чем М. редакторами. ‹…› После этого вечера число Марининых недоброжелателей здесь возросло чрезвычайно. Поэты и поэтики, прозаики из маститых и не маститых негодуют».

Ариадны Черновой, дочери Ольги Елисеевны, в эти дни не было в Париже. И благодаря этому удачному стечению обстоятельств в нашем распоряжении – дополнительные подробности о вечере. Их сообщает в письме к своей невесте Владимир Сосинский, на следующий день после самого события:

«К девяти часам весь зал был полон – публика же продолжала наплывать. Около кассы – столпотворение. Отчаявшийся, потерявший всякую надежду кассир Дода, – растерянные, разбиваемые публикой контролеры – застрявшие между стульев –

навеки! – распорядители. Картина грандиозная!

Марина Ивановна не может пройти к своей кафедре. Мертвый, недвижный комок людей с дрожащими в руках стульями над головами затер ее и Алю. Марине Ивановне целуют руки, но пропустить ее не в силах Вова Познер, балансируя стулом, рискуя своим талантом и жизнью, сгибается к руке М. И. Чей-то стул – из рук – пируэтом – падает вниз – на голову одной застывшей в своем величии даме. Кто-то кому-то массирует мозоли, кто-то кому-то сел на колени. В результате – велика правда Божья: все, купившие пятифранковые билеты, сидят, все Цетлины, Познеры – толкутся в проходах.

Марина Ивановна всходит на высокую кафедру Наше черное платье с замечательной бабочкой сбоку, которую вышила Оля. Голова М. И., волосы, черное платье, строгое, острое лицо – говорят стихи заодно с готическими окнами – с капеллой.

Читала М. И. – прекрасно, как никогда. Каждый стих находил свой конец в громких ладонях публики! Публика оказалась со слухом, почти все знали стихи М. И. – сверх ожидания воспринимали почти правильно. Движение проявлялось в тех местах, где сочетания слов были ясны для всех, иногда даже в тех местах, где звучал интересный ритм, воспринимавшийся вне смысла.

М. И. читала вначале стихи о Белой армии. Во втором отделении – новые стихи. Все искали глазами Алю, она сидела на ступеньке – у рояля – весь вечер. Рядом с ней – почти на полу – Шестов; на стуле: Алексей Михайлович (Ремизов. – И. К.). ‹…›

Отчетливо проступило: после Блока – одна у нас здесь – Цветаева.

Сотни людей ушли обратно, не пробившись в залу, – кассу закрыли в 9 с половиной часов, – а публика продолжала валом валить. Милюков с женой не могли достать места, Руднев, Маклаков – стояли в проходе. Кусиков с тремя дамами не добился билетов. ‹…›

Сергей Яковлевич, бросив все, бегал по дворику, куря папиросу за папиросой.

Да, Адя, видел своими глазами – у многих литераторов вместо зависти – восторг. Как хорошо!»

Несмотря на переполненный зал, трудно сказать, насколько «весь русский Париж» здесь присутствовал. Но друзья Цветаевой были. И среди них – Шестов. Через день Цветаева пишет Льву Исааковичу: «Спасибо, что пришли на вечер. Вам я была рада больше, чем всему остальному залу».

Две женщины – поэтесса Ирина Кнорринг и художница Лидия Никанорова, присутствовавшие среди публики, – записали свое

впечатление от этого вечера – одна в стихотворении «Цветаевой» (вскоре опубликованном в «Последних новостях»), другая в письме своему другу в Советскую Россию.

Об этом письме мы знаем косвенно – из романа Вениамина Каверина «Перед зеркалом», где писатель использовал подлинные письма художницы в Россию. По ряду признаков можно с достоверностью утверждать, что в следующих строках речь идет как раз о данном вечере: «Вчера я была на вечере Ларисы Нестроевой (так в романе названа Марина Цветаева. – И. К.). Впечатление сильное, острое. Впечатление неожиданной зависимости от ее поэзии и даже едва ли не от самого факта ее существования… Начинаешь чувствовать, что вся она – невысказанный упрек нам, ушедшим с головой в постылую борьбу за существование. Ушла – должна была уйти в это – и она. Но она не только “в ней”, но и “над ней”. И в этом “над” – ее сила… Это – “над”, заглядывающее вперед, не частное, а самое общее, какое только можно представить. Не умею выразиться яснее. Читает она тихим голосом, сдержанно и внешне спокойна».

После столь бесспорного успеха достаточно было вести себя тихо и стричь купоны неожиданной популярности – искать издателя, готовить книгу… Может быть, и ссуды какие-нибудь перепали бы, и редакторы, отклонявшие за непонятностью новые ее стихи, смягчились. Но этой расчетливости – хоть на полградуса стесняющей творческие порывы – Цветаева не знает.

Смешно от щедрот незваных
Мне ваших, купцы!
Сама воздвигаю за ночь –
Мосты и дворцы.

(А что говорю, не слушай!
Всё мелет бабьё!)
Сама поутру разрушу
Творенье свое.

Эти строфы написаны еще в Москве, но строптивый их пафос ни годы, ни обстоятельства не умерят.

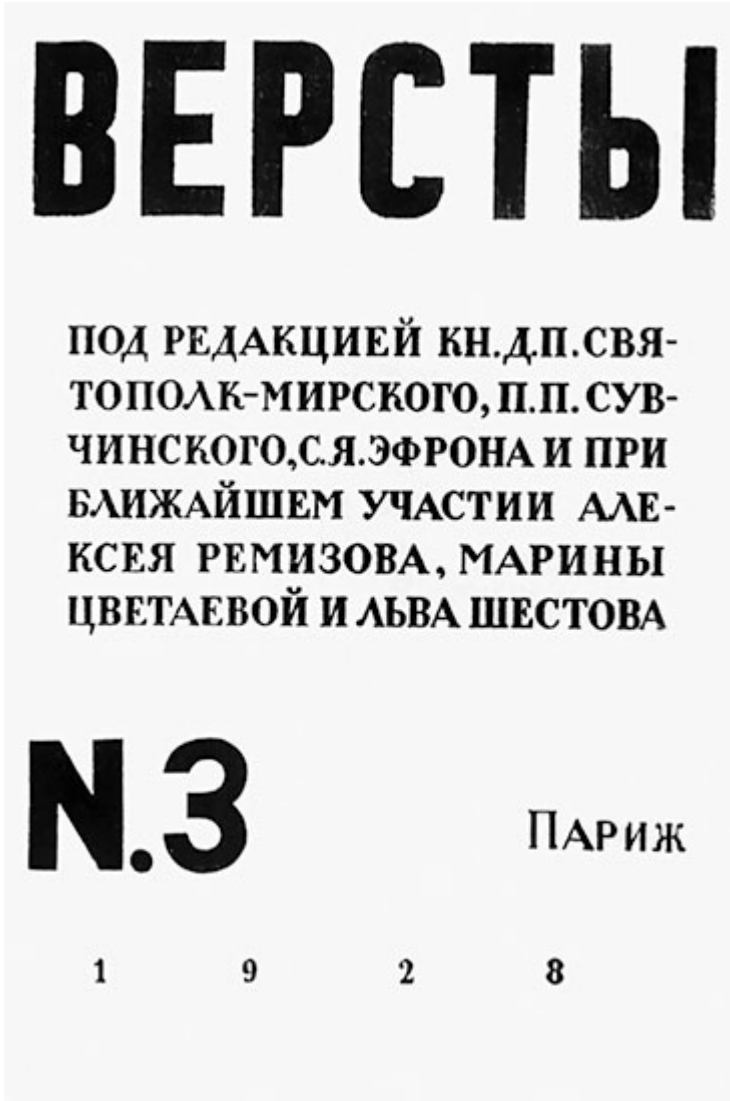
Как раз теперь, на гребне успеха, Цветаева работает над эссе «Поэт о критике». Его текст, тремя месяцами позже опубликованный, засвидетельствует: меньше всего она думала в это время о закреплении успеха и упрочении своего положения в русском литературном Париже.

3

«Познакомился с рядом интереснейших и близких внутренне людей, – писал Эфрон В. Ф. Булгакову в феврале. – Помните, Вы говорили не раз, что часто тяжелый поворот судьбы оказывается к лучшему. Со мной (тьфу – не сглазить), кажется, так и случится… Намечается интереснейшая работа в моей области. Но это секрет. Скоро все выяснится. Тогда напишу Вам ликующее письмо».

Секрет раскрывается в мартовском письме: «В Париже зачинается толстый двухмесячник (литерат‹ура›, искусство и немного науки) вне всякой политики. Я один из трех редакторов. Первый в эмиграции свободный журнал без всякого “напостовства” в искусстве и без признака эмигрантщины. Зналось раздобыть деньги, и сейчас сдаем первый номер в печать. Тон журнала очень напористый, и в Париже он произведет впечатление разорвавшейся бомбы».

То было начало «Вёрст». Журнала, на обложке которого стояло: «Под редакцией кн. Д. П. Святополк-Мирского, П. П. Сувчинского, С. Я. Эфрона и при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова». Журнала, участие в котором сразу размежевало Цветаеву с политически активной эмиграцией.



Обложка журнала «Вёрсты»

Кого назвать основным инициатором этого издания, столь нашумевшего, хотя и ограничившегося тремя номерами? Известно, что Сергей Яковлевич в это время считал журналистику наиболее подходящим для себя занятием, в котором он уже имел некоторый опыт. Он так и формулирует в письме к Булгакову: «… интереснейшая работа в моей области». То был лучший из возможных для него вариантов закрепления в Париже – ведь предполагалось, естественно, что издание журнала обеспечит редакторский заработок.

Но в триумвирате редакторов «Вёрст» Эфрон явно не главенствует. Он исполняет прежде всего секретарско-

организаторские функции.

Яркой фигурой был другой редактор – Петр Петрович Сувчинский, до революции – издатель крупного музыкального журнала в Киеве, позже – видный музыкальный критик, друг Стравинского и Прокофьева. Человек широко образованный и энергичный, он приобрел к середине двадцатых годов известность как участник первого «евразийского сборника», вышедшего в Софии.

К «евразийству» нам еще придется в дальнейшем возвращаться. Сейчас отметим лишь, что оно означало, во всяком случае, выбор «третьей позиции» в идейно-политическом расслоении русской эмиграции. То же можно сказать и о платформе «Вёрст». Но хотя Эфрон и Святополк-Мирский в начале 1926 года «евразийцами» себя еще не считают, их жажда бросить вызов правому «эмигрантскому синедриону» питается теми же соками.

С одной стороны, редакция «Вёрст» решительно не разделяет ностальгии по дореволюционной российской государственности, с другой – ее не устраивает и ориентация на европейские формы социального развития. Октябрьские события 1917 года не вызывают их восторгов, но и безудержное поношение всего, что происходит теперь на русской земле, представляется совершенно бессмысленным. Инициаторы нового журнала надеялись объединить вокруг себя тех, кто хотел не оголтелого «обличительства», а объективных сведений о культурных и политических процессах, происходящих в Советской России. Таких людей было немало среди тысяч беженцев, оказавшихся за пределами своей родины, – и группа «Вёрст», учреждая свой печатный орган, исполняла, можно сказать, своего рода «социальный заказ»…

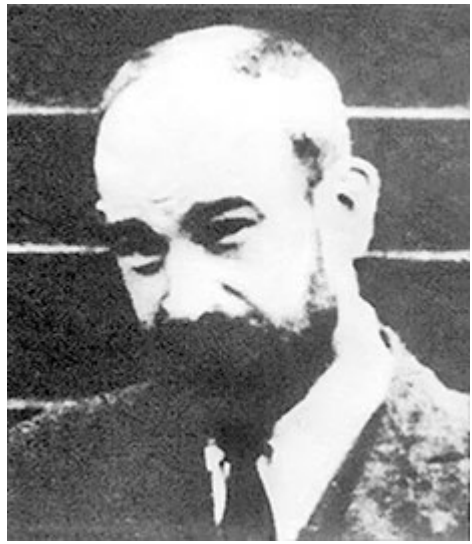
«Мы собрались, чтобы противопоставить себя литературному течению, главенствовавшему тогда в Париже» – так сформулировал задачу участников «Вёрст» Сувчинский, отвечая уже в 1978 году на мой вопрос в письме.

Сувчинский не назвал имен, но расшифровать его формулировку нетрудно.

Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, Иван Бунин и Борис Зайцев – вот главные фигуры из тех, кто определял в двадцатые и тридцатые годы «литературное течение», о котором идет речь. Их неприятие советского режима было окрашено самой жесткой непримиримостью, изначально исключавшей какие бы то ни было оговорки.

Непримиримость диктовала зачастую упрощенно-однозначные характеристики – и оспорить их было негде: любая

попытка указать на различие в позиции деятелей русской культуры воспринималась как «угодливое заискиванье» перед советскими властями.



Дмитрий Святополк-Мирский

Увы, все это вскоре испытает на себе сама Цветаева.

Диалог мнений за пределами Советской России оказался так же невозможен, как и в ее пределах.

По словам Сувчинского, Цветаева в создании журнала активного участия не принимала (хотя и решено было взять для нового издания название ее поэтического сборника). Любопытно, однако, что Ходасевич, хорошо знакомый со всеми участниками «Вёрст», был убежден, что затеяли издание журнала именно Цветаева и Святополк-Мирский. Так это было или иначе, но пройдет время, и как раз эти два имени окажутся в центре нападок эмигрантской печати.

Святополк-Мирского познакомили с Цветаевой Сувчинские, Петр Петрович и Вера Александровна.

В эту зиму 1925–1926 годов Мирский (сын известного царского министра внутренних дел и офицер штаба при генерале Деникине) был доцентом истории литературы в Колледже славянских языков при Лондонском университете. В Париж он наведывался часто и знаком был здесь, что называется, «со всеми». Но особенно он дружен с Сувчинскими и Саломеей Николаевной Андрониковой, той самой «красавицей тринадцатого года», которую воспел, назвав «соломинкой», молодой Мандельштам, а много лет спустя – вспоминая ушедшие годы – Ахматова.

Саломея Андроникова-Гальперн

Г. А Козловская дает портрет Мирского тех лет – она сама училась в те годы в Лондоне: «Я тогда была совсем юной, и мне посчастливилось прослушать несколько его лекций о Толстом и Достоевском, которые он читал на английском языке для студентов Лондонского университета. Никогда потом мне не довелось слышать ничего более блистательного. Это было такое проникновение, озаряющее до самого дна творческую суть и характер двух русских гениев, что это не имело ничего общего с литературоведческими разборами других. Он сам, его речь, потрясающая по своей стилистике, каждая мысль, все это творилось у вас на глазах как ослепительное создание искусства. Зал, где он читал, всегда был набит до отказа, студенты всех факультетов бросали все, чтобы протиснуться, прилепиться на подоконниках и при распахнутых дверях стояли, не шелохнувшись, на площадке и на лестнице… Когда он кончал, молодежь обступала его тесным восторженным кольцом и, не отпуская, аплодировала безудержно и самозабвенно».

Ко времени знакомства с Цветаевой Мирский уже знал ее раннюю лирику и успел написать о ней летом 1922 года в статье «О современном состоянии русской поэзии», предназначеной для журнала «Русская мысль». В этой статье (увы, оставшейся

неопубликованной) о Цветаевой было сказано: «…она одна из самых пленительных и прекрасных личностей в современной нашей поэзии. Москвичка с головы до ног. Московская непосредственность, московская сердечность, московская (сказать ли?) распущенность в каждом движении ее стиха. ‹…› Поэзия ее похожа на поэзию петербурженок Ахматовой и Радловой так же мало, пожалуй, как на поэзию “кафейных поэтов”. Это поэзия душевная, очень своевольная, капризная ‹…› Цветаеву очень трудно втиснуть в цепь поэтической традиции – она возникает не из предшествовавших ей поэтов, а как-то прямо из-под арбатской мостовой. Анархичность ее искусства выражается и в чрезвычайной свободе и разнообразии форм и приемов, и в глубоком равнодушии к канону и вкусу – она умеет писать так плохо, как, кажется, никто не писал; но когда она удачлива, она создает вещи невыразимой прелести, легкости невероятной, почти прозрачной, как дым папиросы… и часто с веселым вызовом и озорством». Позже, однако, из всего пассажа уцелела только переиначенная строка о «талантливой, но безнадежно распущенной москвичке». И Мирскому будут с удовольствием припоминать это недоброжелатели, когда он станет жарким поклонником новой цветаевской поэзии. Вскоре так и случится.

В начале 1926 года Сувчинские дружески упрекнули Дмитрия Петровича: «Как же ты, знаток поэзии, не разглядел такого таланта?..»

Они привезли Мирского на улицу Руве; знакомство состоялось к вящему удовольствию обеих сторон. Горячий, брызжущий энергией Мирский пришел в восхищение и от новых цветаевских стихов и от нее самой – одновременно ужаснувшись бесприютности ее существования.

И вскоре привел ее в дом состоятельной и добрейшей Андрониковой. Саломея Николаевна не только сама предложила помощь, но сумела еще обложить ежемесячной «данью» ближайший крут своих друзей. И на несколько лет эта добровольная субсидия станет очень важной составной частью в бюджете семьи Эфрон.

По словам Андрониковой, Мирский увлекся Цветаевой в это время не только как поэтом. Сувчинский также подчеркивал: «М. И. и Мирский были связаны большой дружбой и восхищались друг другом».

В 1926 году Мирский написал о Цветаевой в четырех русских и в одном английском журнале, а также в своей «Истории русской литературы», вышедшей в Лондоне на английском языке. Имя Цветаевой постоянно присутствует отныне и в других его статьях, будь то анализ современной эмигрантской прессы или

размышления о новых путях развития русской поэзии. Творчество Цветаевой последних лет он рассматривает теперь в контексте достижений Блока, Маяковского и Пастернака. Кажется, он был первым, кто оценил новый этап поэтического развития Цветаевой. Этап, когда на смену прежней легкости стиха явилась плотная многослойная глубина, отразившая и перемены в мироощущении, и новый подход к возможностям поэтической речи. Мирский приветствовал появившийся философский заряд в цветаевской лирике начала двадцатых годов – и ее масштабность. Он находил совершенно закономерным, что критики, бурно хвалившие молодую Цветаеву, становятся в тупик, слыша ее обновленный голос.

Для теперешней Цветаевой нужен был читатель, готовый не просто сопереживать, но и размышлять и вслушиваться – в поэтическую речь и в тайны бытия, не рассчитывая на простые и обеспеченные ответы.

Талант Цветаевой, писал Мирский, неудержимо развивается, она растет с каждым своим стихотворением, как князь Гвидон в бочке…

Десятого марта 1926 года по приглашению Мирского Цветаева уехала в Лондон – погостить, отдохнуть и выступить на вечерах, организованных Пен-клубом. Возможно, она читала там еще и в Англо-русском литературном обществе, где часто выступал сам Мирский.

Прибытие Цветаевой в столицу Великобритании предварено появлением в «New Statesman» статьи о творчестве московской поэтессы; автором ее, как легко догадаться, был тот же Мирский.

Жила Марина Ивановна, по некоторым сведениям, у известной русской журналистки Ариадны Тырковой-Вильямс; достаточно достоверен и эпизод, сообщаемый профессором Дж. Смитом: о поездке Мирского с Цветаевой в Чессингтон, неподалеку от Лондона, на уик-энд к князю Голицыну и его семье.

На вечерах, кроме своих стихов, Марина Ивановна читала стихи Ахматовой и Пастернака. Святополк-Мирский предварял чтение маленьким докладом о цветаевской поэзии.

Верная себе, Марина Ивановна и здесь многие часы проводит за письменным столом: в неделю она заканчивает статью о книге Осипа Мандельштама «Шум времени». Книга ей решительно не нравится из-за нескольких глав, где характеристики знакомых Мандельштама ей представляются неэтичными. И статья выходит очень резкой.

Настолько резкой, что ее не принимают ни «Вёрсты», ни

«Воля России».

Вместе с Дмитрием Петровичем она гуляет по Лондону. Они сидят в пустынном скверике напротив Тауэра. Идут в Британский музей – и в зоопарк.

Много лет спустя Цветаева вспомнит, как огорчало Мирского ее равнодушие к гастрономическим деликатесам, когда он водил ее по дорогим парижским и лондонским ресторанам.

– Вы всё говорите! – сокрушенно воскликнул он однажды. – Вам все равно, что есть: вам можно положить сена!..

Значит, были и рестораны.

Но не они ей вспоминались позже: вспоминалось неузнавание Лондона, издали казавшегося знакомым по Диккенсу, Байрону и Оскару Уайльду. Несовпадение видения внутреннего и внешнего, мечты и яви, – это Цветаева о себе знала. Но, уезжая из Лондона, она все-таки увозила с собой ощущение праздничной удачи: «Это мои первые две свободные недели за 8 лет (4 советских, 4 эмигрантских) – упиваюсь… Лондон чудесный. Чудная река, чудные дети, чудные собаки, чудные кошки, и чудные камни, и чудный Британский музей. Не чудный только холод, наносимый океаном».

Это строки из письма к чешскому другу Цветаевой – Анне Антоновне Тесковой, писательнице и переводчице. Их дружба, едва зародившаяся на чешской земле, окрепла на расстоянии и оставила нам бесценное эпистолярное наследие: никому другому Марина Ивановна не писала с такой регулярностью все тринадцать с лишним лет, проведенных ею во Франции…

Она вернулась в Париж в конце марта. И еще успела принять участие в первом вечере, который провела группа «Вёрст», торопившаяся погромче заявить о своей платформе. Гвоздем программы был тот же Святополк-Мирский – он прочел доклад «Тема смерти в предреволюционной литературе». Когда позже в сокращенном виде текст доклада был опубликован в «Вёрстах» (1927, № 2), автор присовокупил к нему постскриптум, сообщавший, что в устном чтении доклад вызвал «негодование всего эмигрантского синедриона».

В апреле Марина Ивановна готовится к отъезду с детьми на океан, в местечко, расхваленное ей Бальмонтом. В одном из писем мы видим ее в суете предотъездных дней: «Не примите за злую волю, – у меня просто нет времени, нет времени, нет времени. Никогда, ни на что. Скоро отъезд. Завалена и удушена неубранными вещами – чемодан без ключей – тащиться к слесарю? а где он? – хочется курить – гильзы вышли – пропали Муркины штаны и пр. и пр. А посуда! А обед! А рукописи! С. Я. всецело поглощен типографией…»

Перед самым отъездом получен номер только что вышедшего в Брюсселе журнала «Благонамеренный». В нем – цветаевская статья «Поэт о критике». Марина Ивановна берет номер с собой и 24 апреля отбывает из Парижа – в самый канун грозы, которая уже рокочет в коридорах эмигрантских редакций.

4

Сен-Жиль – маленькая рыбачья деревушка в Вандее, расположенная у самого устья мутной и илистой речонки со странным названием Vie – жизнь: Сен-Жиль-сюр-Ви.

Домик, в котором поселилась Цветаева с детьми, – на самом берегу океана. Весь май грязно-бурые волны с шумом разбиваются о берег – ибо весь май безостановочно дуют устрашающие ветра.

«Норды, Осты, Весты, и хоть бы один теплый», – сообщает Цветаева в одном из писем. Весна этого года – на редкость холодная, только в конце июня наступят первые по-настоящему жаркие дни.

Хозяева домика – рыбак и рыбачка – кажутся Марине Ивановне сказочными: обоим вместе – полтораста лет. Обстановка жилья, правда, совсем спартанская, кровать четырехместная, но в холодные дни и это кажется благом: вместе теплее. На обед тут едят крабов и спрутов, а в жерле камина стоит бочка собственного (хозяйского) вина…

Около домика – крохотный сад, в нем – розы, долго не расцветающие из-за холодов. А деревьев нет, ни в саду, ни поблизости. Природа Вандеи бескрасочна и строга: океан, колючие кусты, пески, дюны да чахлые виноградники.

Сен-Жиль

Но Цветаеву ничто поначалу не смущает: она ехала к океану и ехала в легендарную Вандею; родина и символ мятежа, Вандея и должна быть, наверное, суровой. Не привыкать и к бескомфортности: комфорта не было не только в чешских деревнях, но и в давние времена в доме Волошина у теплого Черного моря, где царила предельная упрощенность быта.

Что комфорт, если тут есть редчайшее, чего не найдешь в городах: природный ритм жизни! По приливу и отливу ставят часы, погода определяет крут дневных занятий. «Естественный», «природный» – в устах Цветаевой это всегда было высшей похвалой – человеку ли, жизненному ли порядку…

Но с главным героем вандейской природы – с океаном – ей никак не удается подружиться. С ранних детских лет – заочная любовь к «свободной стихии», полюбленной по стихам Пушкина, и с тех же лет – неизменное чувство отчуждения при встрече. Должно понравиться – и не нравится, упорно не нравится, ни в детстве, когда десятилетней девочкой она очутилась под Генуей в прелестном Нерви, ни позже, восемнадцати лет, в Гурзуфе, ни теперь. Уже не пушкинское «Прощай, свободная стихия!», а пастернаковские строки о море тянут еще раз увидеть, проверить, почувствовать: «Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться…» Тема моря, с некоторыми вариациями, повторяется в шести письмах мая-июня. Этот странный конфликт, который никому не виден, почему-то ее беспокоит и притягивает…

Три четверти дня занимает гулянье с Муром: то на берегу

океана, когда тепло, то – часами – с коляской по незнакомым дорогам, окаймленным колючим цветущим кустарником. Навстречу попадаются ослики, запряженные в деревянные таратайки, в таратайках – женщины в широкополых шляпах. Цветаева разглядывает их с удовольствием: впервые, как она говорит, у нее «роман с бытом», ибо здесь он «уже преображенный». Оставляя сына на Алю, она посещает здешние ярмарки, любуется непривычными нарядами и завороженно вслушивается в местный говор.

Как будто есть все условия, чтобы перевести дух. Отключиться от суеты, забыть все парижские неурядицы – и свободно отдаться дням, природе и творчеству. Рождаются первые строфы поэмы «Попытка комнаты», навеянные одним из только что полученных писем Пастернака.

И в это время Марину Ивановну настигает буря, разразившаяся в эмигрантской прессе. Она вызвана выходом журнала «Благонамеренный».

Предвидеть реакцию на цветаевскую статью «Поэт о критике» было нетрудно: автор, по существу, бросал вызов ведущим критикам трех эмигрантских газет. Тональность отнюдь не была воинствующей и все же раздражила даже иных доброжелателей. Ибо это была спокойно-уверенная тональность мастера, размышляющего о своем ремесле. Однако, по мнению оппонентов, в роль мастера Цветаева вступила самозванкой. Ее поэтическое имя к этому времени в кругах эмигрантских критиков, можно сказать, едва вышло из небытия. Конечно, успех февральского вечера кое-что значил. Но заговорить сразу с такой уверенностью, вводя читателя в апартаменты собственного творческого опыта? Это было слишком. Самолюбие множества посредственностей, имевших, как они полагали, не меньшие заслуги в литературе, было уязвлено.

Образцом критика, явно не пригодного для своей профессии, Цветаева назвала в эссе Георгия Адамовича, как раз в эту пору удобно расположившегося в кресле главного критика еженедельника «Звено» (литературного приложения к «Последним новостям»), В его статьях и рецензиях безнадежная глухота к новому языку поэзии неизменно сочеталась с апломбом знатока всех секретов поэтического творчества: Адамович сам был поэтом. И поэтом плохим, считала Цветаева, что уже само по себе ставило для нее под сомнение критерии и вкус его как критика. Эссе было снабжено обширным приложением, названным «Цветник»: здесь вниманию читателя были предложены цитаты из критических выступлений Адамовича, щедро иллюстрировавшие произвольность, противоречивость и легковесность его суждений

и оценок.

Досталось от Цветаевой и другому авторитетнейшему в эмиграции критику Юлию Айхенвальду, выступавшему в берлинском «Руле», и еще постоянному критику газеты «Возрождение» Александру Яблоновскому, и многочисленным дилетантам, лихо выносящим на страницы печати свои приговоры. Судить о поэтическом явлении, утверждал автор статьи «Поэт о критике», может только «знающий и любящий», остальные имеют право высказывать свое отношение к прочитанному, но не более того. Критик, который признаётся в том, что не понял произведения, не может выступать с его оценкой. Истинный критик, по Цветаевой, всегда провидец; он не плетется в хвосте у вкусов публики, но умеет отличить поиск новых форм и смысла от бездарного оригинальничанья.

Не были забыты в статье и сторонники «формальной критики», уверенные, что главное в поэзии – ее «технические тайны». «Критик, в поэме не видящий ни героя, ни автора ‹…› и отыгрывающийся словом “техника” – явление если не вредное, то бесполезное», – утверждала Цветаева. Формальную критику она сравнила с «советами молодой хозяйке» и отношением к искусству как к кулинарии. Наконец, не был забыт и читатель-«чернь». Тот читатель, который, «не читая и не чтя» поэта, тоже берется выносить свои суждения, проявляя при этом недюжинную осведомленность главным образом в том, кто сколько пьет и с кем живет.

Не удовольствовавшись критиками и читателями, автор эссе осмеливался задеть также писательские авторитеты. Цветаева вступила в спор с Иваном Буниным (прямо, правда, не названным) и с Зинаидой Гиппиус. Она не соглашалась с их предвзятыми характеристиками творчества Блока, Есенина и Пастернака, не прощала подтасовок с цитатами и категорических приговоров. В основе предвзятости она увидела неприятие прежде всего политической позиции этих поэтов.

Пафос этой статьи созревал в Цветаевой долго – и это делает понятней его безоглядность.

Марина Цветаева. Фото П. И. Шумова. 1925 г.

В самом деле, трудно было сохранить олимпийское спокойствие, из месяца в месяц читая на страницах эмигрантской периодики пассажи о «фокусах и ребусах» Пастернака. Или, скажем, о себе самой: «Ее последние стихотворения – набор слов, невнятных выкриков, сцепление случайных и кое-каких строчек» (Адамович). О поэме «Молодец»: «Сказка эта написана стихами и написана так, что ее трудно понять… Г-жа Цветаева роскошно купается в звуках, в стихии русского языка или чрезмерного русизма…» (Айхенвальд). Отзываясь о «Поэме Конца», критик жаловался на усилия, которые он тщетно затратил, чтобы понять смысл произведения.

Парируя эти повторяющиеся упреки, Святополк-Мирский

писал в одной из статей 1926 года: «Все непонятно для тех, кто не имеет времени понять. Искусство – создание новых ценностей… Никто не упрекает Эйнштейна за трудность теории относительности. Очевидно, стоит трудиться, чтобы понять. Не мы нужны поэтам, а они нам. Я допускаю, что многими Пастернак и Цветаева не сразу воспринимаются, но ведь надо сделать усилие и для того, чтобы попасть из дому в Британский музей…»

Дальнейшие взаимоотношения Цветаевой с Адамовичем – это отдельный сюжет.

Ядовито огрызнувшись в «Звене» на цветаевское эссе, Адамович затем многие годы изо всех сил будет выказывать «объективность» к высекшей его Цветаевой: разбирая очередное ее произведение, отмечать «отдельные прекрасные строки» – при «неудаче» целого. И, соблюдая внешне позу объективности, время от времени ставить риторические вопросы: «Что побудило Цветаеву променять живую, неисчерпаемую в богатстве и гибкости человеческую речь на однообразные выкрикивания и восклицания?..» Поэзия Цветаевой, утверждал Адамович, откликаясь уже в 1928 году на сборник «После России», – «цветок быстро вянущий по сравнению не только с Пастернаком, но и со стихами умной и ясновидящей Ахматовой…».

Адамовичу принадлежит и формулировка, которой приходится отдать должное, – она сохранила свою верность до наших дней. «Поклонников не разочарует, противников не убедит…» – повторял он не однажды, откликаясь на очередное цветаевское стихотворение, появлявшееся в поэтической рубрике «Современных записок».

В 1928 году Цветаева повторила основные мысли своей статьи, выступив на открытом диспуте «О критике в эмиграции». Она закончила выступление призывом:

– Пусть пишут взволнованные, а не равнодушные!

На что тут же громко возразил с места присутствовавший на диспуте Адамович:

– Нельзя постоянно жить с температурой в тридцать девять градусов!

Эта реплика знаменательна.

Устойчивая неприязнь Адамовича к самой Цветаевой и к ее поэзии, пронесенная через многие годы, произрастала из глубинных корней. То было неодолимое отталкивание добропорядочной уравновешенности от экстатической стихии. Это отталкивание критик возводил в абсолют, чистосердечно убежденный в третьесортности «несдержанной» поэзии, крайний пример которой давала Цветаева. Главную неприязнь вызывала у

него, по существу, даже не поэтика новых цветаевских стихов, а их «нарочитая» – он был уверен в этом! – взвинченность и «пламенность». Что экстатическое мировосприятие – вовсе не поза, а просто другая органика, имеющая все права на художественное воплощение, – это ему так и не пришло в голову.

Увы! Адамовичи никогда не переведутся на свете…

Один из первых выстрелов по цветаевской статье был сделан Михаилом Осоргиным, чья рецензия заняла в «Последних новостях» целый «подвал». Раздражение автора более всего вызвала открыто личная тональность статьи Цветаевой.

Пятого мая появился другой «подвал» – на этот раз в берлинском «Руле». Его автором был Юлий Айхенвальд. Главная его претензия совпадала с той, что высказывал Осоргин: автор слишком много говорит о себе и своих вкусах. «Это изобилие домашности, это почти сплошное pro domo sua мешает сосредоточиться на тех ее общих мыслях о критике, которые она выражает в свойственной ей несколько растрепанной и неряшливой форме». «Растрепанной и неряшливой» воспринял Айхенвальд форму открыто личных размышлений «на тему»… Что ж, она действительно не слишком была характерна для русской критики.

Осоргин был раздражен, Айхенвальд оскорблен и ядовито ироничен, но пример полемики в традициях бульварной прессы дал в газете «Возрождение» Александр Яблоновский, постоянный оппонент-ненавистник Цветаевой.

«В литературу госпожа Цветаева пожаловала с таким видом, как будто она на собственную дачу во второе Парголово переехала, – писал Яблоновский в фельетоне, озаглавленном «В халате». – Она приходит в литературу в папильотках и купальном халате, как будто в ванную комнату пришла…» «Чутья к тому, что дозволено и что не дозволено, нет у г-жи Цветаевой, как не было и у г-жи Вербицкой».

Звучали и еще голоса – вроде рассерженного Петра Бернгардовича Струве в том же «Возрождении». Озаглавленная очень строго: «О пустоутробии и озорстве», статья осуждала и Цветаеву и Адамовича; приговор звучал лаконично: «Беспредметно, ибо безнужно».

Судя по майским письмам Марины Ивановны, язвительность критиков не слишком глубоко ее задевает. Она упоминает о них вскользь, как о сугубо внешнем, на что она всегда неохотно расходует душевные силы. В конце концов – ничего неожиданного, естественная реакция.

Анне Тесковой 9 мая: «Ни одного голоса в защиту. Я удовлетворена».

В конце мая в Сен-Жиль приезжает из Парижа Эфрон. Он вымотан до предела, но очень доволен: все дела по подготовке первого номера «Вёрст» завершены. Печатание журнала задерживалось теперь только из-за забастовки типографских рабочих. Сергей Яковлевич собирается провести все лето в кругу семьи с чувством хорошо исполненного долга. Жена и дочь дарят ему шезлонг. Впереди – так хотелось думать – были три безмятежных месяца.

Погода, правда, продолжала оставаться скверной: шли дожди, дули холодные ветры. И все же с каждым днем множилось число приезжих на пляже, самые отчаянные уже купались. Толстый, крупный Мур учился ходить, Аля безотрывно читала разные кинематографические журналы, Марина Ивановна, стараясь высвобождать утренние часы, уединялась с тетрадками и письмами. Но 21 июня надежда на спокойный отдых рухнула. В этот день почтальон принес важную почту: большой пакет из Москвы и письмо из Праги. Пакет был от Пастернака: переписанная набело его новая поэма «Лейтенант Шмидт», книга стихов «Поверх барьеров» и номер «Русского современника» – советского журнала, где стараниями Пастернака помещены были несколько стихотворений Цветаевой.

Покой разрушило другое письмо – пришедшее из Праги. Валентин Федорович Булгаков сообщал о решении чешских властей лишить Цветаеву пособия, если она не вернется в Чехию немедленно. Осложнения с пособием возникали уже в январе, но тогда удалось добиться его сохранения – обещали по крайней мере на год. И Эфроны, с присущей им непрактичностью, истратили почти все деньги, вырученные от вечеров и публикаций, уплатив за жилье в Вандее до середины октября. Чешская «стипендия», как предполагалось, обеспечит остальные расходы семьи до осени. Вся кипучая редакторская деятельность Эфрона в «Вёрстах» шла пока еще на чистом энтузиазме: заработок должен был поступать только «с номера», в прямой зависимости от реализации журнала.

Положение казалось отчаянным. Возвращаться немедленно в Чехию? Но, во-первых, вандейские хозяева, конечно, денег не вернут, да этого нельзя и требовать.

А главное – куда возвращаться? Что делать в Чехии?

Цветаева была уверена, что угроза лишить ее пособия возникла не случайно именно теперь. Что это – отголосок бури, разразившейся вокруг ее статьи в «Благонамеренном», а может быть, и другой, уже собиравшейся над головой участников «Вёрст». Эфрон тоже считал, что сработали чьи-то недобрые

усилия из Парижа.

Как назло, друзья, оставшиеся в Чехии, в разъезде – летний сезон. Заступиться некому.

С. Эфрон, М. Цветаева, П. Сувчинский в Сен-Жиле. 1926 г.

Цветаева и Эфрон умоляют Булгакова пустить в ход все возможные связи, чтобы отменить решение. Получают же пособие Бальмонт и Тэффи, ногой не ступившие на чешскую землю!

Несколько недель проходят в волнении. Тревогу смягчает приезд друзей из Парижа: в июле в Сен-Жиль прибыла чета Сувчинскихи Святополк-Мирский. Оживленные беседы наполнили вечера. И видимо, совместными усилиями был выработан некий план спасательных операций, позволявший Цветаевой с детьми остаться в Вандее до конца срока.

В Прагу в сентябре отправился на несколько дней Эфрон. Инцидент удалось уладить.

5

Сувчинский привез вышедшие наконец из типографии «Вёрсты» – солидный, строго оформленный том.

В первом номере журнала редакционная группа еще не оповещала читателей о своей платформе. Заметка «От редакции» появилась только спустя полтора года, в третьем номере «Вёрст»; там, среди прочего, будет сказано: «Своей прямой задачей мы по-прежнему считаем способствовать объединению той части

эмигрантской интеллигенции, которая хочет смотреть вперед, а не назад; с другой стороны, способствовать пониманию русской современности в широком историческом масштабе, не забывая, что “русское” шире “России” и что все человечество, так или иначе, втянуто в наши, русские, проблемы…»

«Вёрсты» открывались стихотворениями Сергея Есенина, покончившего с собой несколько месяцев назад. Далее шла «Поэма Горы»

Марины Цветаевой. Следом – Пастернак и Сельвинский. Проза представлена была Ремизовым, философия – Шестовым, Г. Федотовым (под псевдонимом Богданов) и Сувчинским. В разделе искусства Артур Лурье рассказывал о Стравинском, а князь Трубецкой – о поэтических метрах русской частушки. На отдельных вкладках помещены были фотопортреты – Леонова, Есенина, Пильняка, Замятина; в отличие от них, портреты Цветаевой и Пастернака символично разместились на одном листе.

Марина Цветаева. 1928 г.

«Вёрсты» как бы подхватывали эстафету из рук тонкого

русского журнала «Своими путями», выходившего в 1924–1926 годах в Праге. Журнал считался органом левого студенческого союза, объединявшего русских студентов в Чехии. Эфрон был одним из его редакторов, а по существу – главным: его имя фигурирует в списке состава редакции во всех вышедших двенадцати номерах.

Общую платформу журнала сформулировала тогда статья председателя студенческого союза Д. Мейснера, названная «Верховность идеи родины». Эта идея, утверждал Мейснер, означает «безоговорочный, абсолютный, практический патриотизм, ставящий главной задачей национальную пользу». «Отцы хотят реставрировать мир, мы хотим его трансформировать», – говорилось в другой статье.

Один из номеров журнала «Своими путями» был посвящен проблемам русской эмиграции, другой – современной России, а номер шестой-седьмой был почти целиком заполнен произведениями литераторов, живущих в СССР: Пастернака, Тихонова, Зощенко, Вс. Иванова. В нескольких номерах журнала появилось имя Цветаевой – и как поэта, и как автора очерка о Бальмонте, а также в ответах на анкеты, предложенные редакцией. Но уровень ее сочувствия журналу неожиданно проявился осенью 1925 года.

Дело в том, что «Своими путями» долгое время не находил никакого отклика в эмигрантской прессе. И вдруг, прорывая заговор молчания, парижская газета «Возрождение» разразилась гневной статьей Цурикова, озаглавленной «Эмигрантщина».

Цуриков назвал отношение редакции к Советской России «рабски-собачьим», а сам выпуск журнала – «блудной» затеей. Он возмущен был и помещением в одном из номеров фотографий деятелей большевистской революции, с одной стороны, и усопшего патриарха Тихона – с другой.

Этому инциденту мы обязаны первой и последней публицистической статьей, которую написала Цветаева. В газете «Дни» 16 октября 1925 года (за две недели до ее приезда в Париж!) появился ее ответ Цурикову, названный «Возрожденщина». «Журнал (ни этот, ни другой, ни третий), – писала Цветаева, – не является ни часовней, где должны находиться только иконы, лишь портреты близких, ни Пантеоном – изображения богов и героев». Автор «Возрождения» «проглядел, то есть пропустил», утверждала Цветаева, все статьи журнала о русской прозе и русской поэзии, о русской деревне и русском студенчестве – это ему неинтересно. «Статья г. Цурикова кончается призывом выбросить за борт всю “эмигрантщину”. Состоя сотрудником “Своими путями”, я охотно бы наравне с

остальными нечистыми дала себя выбросить за борт ковчега г. Цурикова, если бы на борту сего ковчега когда-нибудь находилась. На борту сего ковчега не находилась никогда, ибо видела, из каких бревен он состоит, и с первых секунд знала, что ковчег гнилой».

Нет сомнений в том, что это темпераментное выступление не забыли Цветаевой, когда на нее обрушилась волна негодования за статью «Поэт о критике». Слова о «гнилом ковчеге» бросили свой отблески на осенние страсти 1926 года, разгоревшиеся уже вокруг «Вёрст». Цветаева выступала в первом номере журнала только как поэт – автор «Поэмы Горы», но и этого оказалось достаточно.

Зинаида Гиппиус

Дмитрий Петрович Мирский со своей стороны сделал, кажется, все от него зависящее, чтобы вызвать на себя главный огонь будущих оппонентов. В разделе «Библиография» он обрушился на литературный «генералитет» русского Парижа.

Используя пятилетний юбилей «Современных записок», критик утверждал, что этот крупнейший в русском зарубежье журнал продолжает «чистую, почти беспримесную установку на

прошлое», сочетающуюся с «ненавистью, почти брезгливой, ко всему новому». Авторов «Современных записок» Мирский резко делил на «литературное ядро» и «гастролеров». К «ядру» были отнесены все те, кого в Париже тех лет считали литературным Олимпом, – Мережковский, Зинаида Гиппиус, Бунин, Зайцев, Алданов. К «гастролерам» – Андрей Белый, Цветаева, Ремизов, Шестов. Все симпатии критика были на стороне последних, устремленных творчеством в будущее. Именно они доказали, считал Мирский, «что Россия жива не в границах Русского мира, но в царстве Духа, превыше всех границ…».

Иван Бунин

Зато его характеристики и оценки авторского «ядра» «Современных записок» были предельно резки и категоричны: «Мережковский, если когда-нибудь и существовал (не как личность, конечно, а как желоб, по которому переливались порой большие культурные ценности), перестал существовать, по крайней мере, двадцать два года назад. Зайцев был когда-то близок к тому, чтобы засуществовать, но не осуществился: не нашлось той силы, которая могла бы сжать до плотности бытия

его расплывчатую газообразность. ‹…› Ходасевич – маленький Баратынский из подполья, любимый поэт всех тех, кто не любит поэзии… Зинаида Гиппиус видна во весь рост только изредка в немногих стихах… Наконец Бунин, “краса и гордость” русской эмиграции ‹…› – редкое явление большого дара, не связанного с большой личностью».

Перехлесты в оценках и рассуждениях яростного Мирского дали, по существу, дурной пример рассерженным оппонентам в перепалке, вспыхнувшей меньше чем через месяц.

Впрочем… Кто кому дал пример – ответить не просто.

Приемы полемики Мирского мало отличались от стилистики обличительных статей Зинаиды Гиппиус, выступавшей как критик и публицист под псевдонимом Антон Крайний. Та же ослепляющая ярость оценок, тот же категоризм суждений, та же небрезгливость к передержкам… Стилистика, исходно исключающая всякую возможность диалога. Приемы, пригодные для того, чтобы заявить о своей позиции, но не для того, чтобы побудить сторонников иной точки зрения прислушаться и задуматься…

Пятого августа того же 1926 года в газете «Возрождение» взял слово Бунин. «Нелепая, скучная и очень дурного тона книга», – писал он о «Вёрстах». Вся проза и поэзия там – «непроходимая скука», а Святополк-Мирский «повторяет почти слово в слово все то, что пишется о нас в Москве». «Кто тот благодетель, – задавал вопрос Бунин, – тот “друг” новой России, который так щедро тратится на нее?»

Вопрос этот сыграл роль взмаха дирижерской палочки для остальных участников разразившегося скандала.

Даже Бунин показался деликатным, когда 14 августа в «Последних новостях» выступил Антон Крайний, то есть Зинаида Гиппиус.

Приличных слов Гиппиус уже не выбирает и риторическими вопросами не задается. Открыто назвать Москву не только идеологическим, но и финансовым хозяином «Вёрст» она все же не решается. Но намеки ее недвусмысленны. Опытный публицист российской выучки, она хорошо знает, что намеки еще прочнее входят в сознание читателя, прорастая в нем уже неискоренимой уверенностью. «“Вёрсты” создаются людьми органически дефективными», – утверждала Гиппиус. В поэзии они, во всяком случае, ничего не понимают. Продукция Пастернака и Цветаевой – «это не просто дурная поэзия, это вовсе не поэзия». «Поэма Горы» Цветаевой – это, по Гиппиус, – «запредельное новшество» по форме и почти непристойность по содержанию. О Пастернаке: «Либо наш русский язык – великий язык, либо наш

Пастернак – великий поэт. Вместе никак не выходит…» Главный «обманщик», грубой лестью заманивший Ремизова и Цветаеву в свое предприятие, – Святополк-Мирский; ему нужны эти имена для грязного дела: разложения эмиграции изнутри. По мнению Гиппиус, «сообразительность и нюх к моменту» прикрывают у Мирского отсутствие таланта и эстетического чутья…

Словом, всем сестрам по серьгам.

«Наш Антон – самый крайний!» – этот афоризм, созданный Бердяевым, широко гулял по «русскому Парижу».

Предположить у поэта Зинаиды Гиппиус просто глухоту к новому поэтическому языку Пастернака и Цветаевой трудно: передержки и прямую недобросовестность она проявила и в другой статье, где «пересказывала» читателю содержание двух уже прозаических цветаевских выступлений («О благодарности» и «Поэт о критике»).

Вывод Антона Крайнего оказался однозначен: «Данная группа идет к соединению не с Россией и не с русской литературой, а с Советами: то есть идет против России и против свободного искусства».

Оперативно включаются в хор «Современные записки».

В 29-м номере журнала отклик на «Вёрсты» подписан Владиславом Ходасевичем.

В эту пору жизни Ходасевич близок к Мережковским, называвшим его «Арионом русской поэзии». Однако тональность его статьи в целом гораздо спокойнее. Имя Цветаевой здесь не упомянуто вообще (как и имя Пастернака), рассуждения сосредоточены по преимуществу вокруг действительно важного: попытки авторов «Вёрст» найти «третью позицию» в русской проблеме. Попытка, по мнению Ходасевича, не удалась, ибо «главный дирижер и хозяин» журнала Святополк-Мирский «хорошо усвоил самые дурные литературные приемы ‹…› большевистской и большевизанской печати».

Полемика продолжается.

Следующее слово берет союзник «Вёрст» – «Воля России». В 1926 году журнал этот готовился и набирался уже в Париже, хотя на обложке его по-прежнему стояло «Прага». В обзоре Мирского «Воля России» была названа «самым свежим» журналом эмиграции – в частности, за то, что она помещала на своих страницах и голоса людей, думающих иначе, чем сотрудники редакции.

Марк Слоним, однако, на похвалу не поддался и, оценивая первый номер «Вёрст», не считал его полностью удавшимся. «Перепечатки интересны, – писал он. – Оригиналы приличны. Чужое ярко, своего почти нет». Главным литературным событием

«Вёрст» он назвал «Поэму Горы» Цветаевой; по его словам, Цветаева – единственное в «Вёрстах», что «не только желание, но и свершение, но она ведь не “Вёрсты”, она вне их…». И тот же Слоним проницательно оценил остроту реакции на появление нового журнала: он обратил внимание на то, что в «Вёрстах» выступили в основном «люди своего круга» – князь Святополк-Мирский, князь Трубецкой, а также Шестов, Ремизов и Цветаева, печатавшиеся в «Современных записках»… «От бывших своих всегда больнее, – тонко замечал Слоним. – От обиды и жестокость полемики».

На Слонима, в свою очередь, набрасывается Бунин.

Это голос человека (газета «Возрождение», 28 октября 1926 года), и не пытающегося сдержать эмоции. По его словам, отношение критика к эмигрантской литературе старшего поколения исполнено «лакейской ярости», а в его оценке Цветаевой слышен лишь «телячий восторг», «высокопарная ахинея»…

Но благодаря бурной перепалке «Вёрсты» почти целиком распроданы!

Сотрудники нового журнала энергично набирают материал для второго номера. «Наступление будет продолжаться, захватывая все более широкие области!» – бодро сообщает Эфрон в одном из осенних писем О. Е. Черновой-Колбасиной. И он же – в Прагу, Евгению Недзельскому, соредактору журнала «Своими путями»: «Нам, кажется, суждено сыграть роль объединителей эмиграции (против нас), но, конечно, ненадолго. Я убежден, что завтрашний день принадлежит нам. Так ненавидят только завтрашних победителей… Самое гнусное, что вчерашние друзья для того, чтобы нас очернить, унижаются до клеветнического нашептывания о получении нами советских субсидий!!!»

Тем временем к сентябрю Цветаева заканчивает первую часть задуманной драматической дилогии «Тезей», начинает работу над второй – «Федрой».

Она все еще в Вандее.

В эти первые недели начинающейся осени в Сен-Жиль приехала с детьми Андреева, вместе с которой Цветаева ехала из Чехии во Францию. Дочь Анны Ильиничны Вера сохранила в памяти сценку на берегу океана: «Когда я увидела Марину Ивановну на пляже, я в первый раз поняла, как ей идет ее имя – Марина, что значит “морская”.

«Евразийское лето» в Понтайяке. 1928 г. Слева направо стоят: Л. Б. Савинков, В. А. Сувчинская, Б. Н. Лосский, И. Л. Карсавина, М. Л. Карсавина, Н. Н. Алексеев, В. Л. Андреева, неизв. лицо. На переднем плане: М. И. Цветаева с Муром, Аля, К. П. Макаева с сыном Алешей, К. И. Завадская

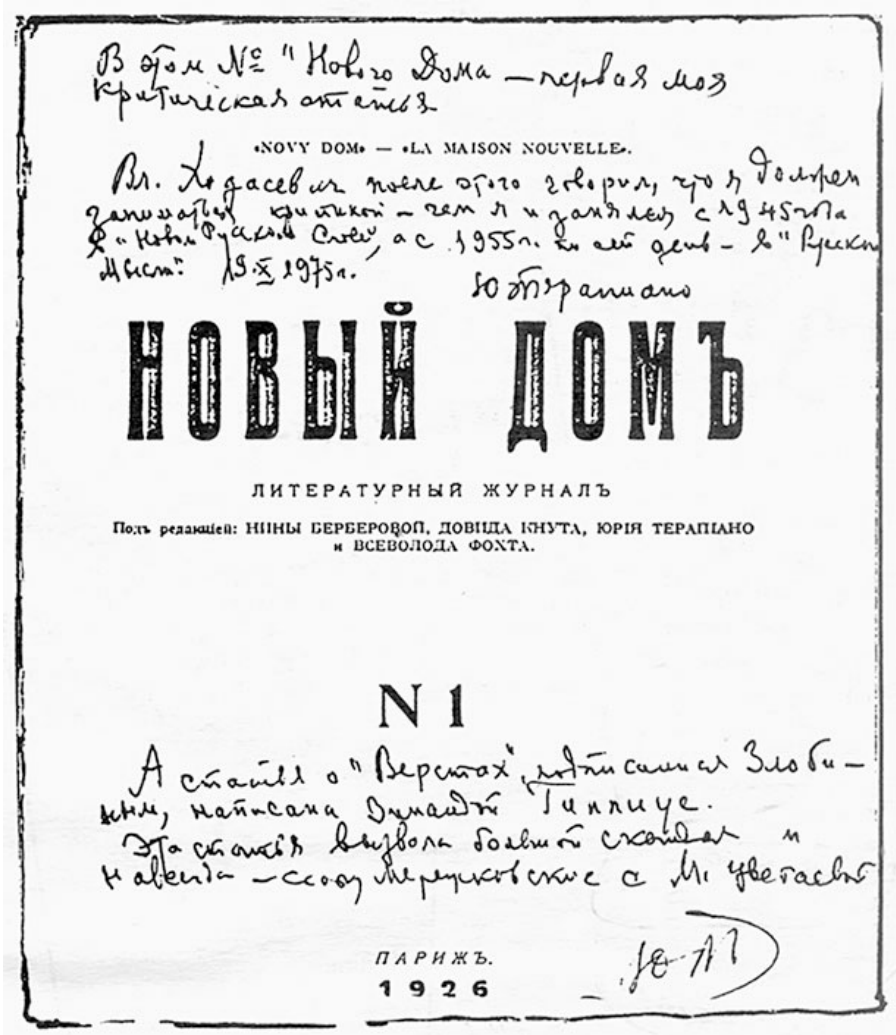
Она лежала на песке, опершись на локоть, и, прищурившись, смотрела на море – глаза у нее были того же цвета, что океанские волны, – серо-зелено-голубые и такие же диковато-загадочные и своенравные. Серовато-пепельные волосы удивительно гармонировали с цветом бело-синего, выцветшего на солнце купального костюма. Стройные, худощавые, темно-загорелые ее ноги спокойно и легко лежали на бледном песке. Совсем цыганская – худая и нервная рука нежно пересыпала сквозь длинные пальцы песок…

Я не знаю, конечно, о чем думала Марина Цветаева, глядя на море, но на ее лице было странное выражение затаенной печали и страстного ожидания – как будто бы она безмолвно звала кого-то, а тот не приходил и никогда, наверное, не придет. У бронзовой андерсеновской русалки, которая сидит на большом гладком камне у входа в гавань Копенгагена, такое выражение, – рожденная морем, она вечно тоскует о земной, недостижимой для нее стране, о теплоте и ласке людских рук».

В Париж Цветаева вернулась только в октябре. Эфрону удалось снять скромную квартиру в Бельвю, вернее, даже полдомика – во второй половине поселилась славная, знакомая еще по Чехии, семья кинорежиссера Туржанского.

Рядом с домом – прекрасный парк. Сюда изредка приезжает к Цветаевой гулять и беседовать Лев Исаакович Шестов…

Но кипение страстей вокруг «Вёрст» вовсе не утихло. Все границы приличий переходит «Новый дом». Это еще один новорожденный русский журнал, объявленный как «журнал молодых»: его возглавляют Ю. Терапиано, Н. Берберова, Д. Кнут и В. Фохт.



В этом № "Нового Дома — первая моя критическая статья.

«NOVY DOM» — «LA MAISON NOUVELLE».

Вл. Ходасевич после этого говорил, что я должен заниматься критикой — чем я и занялся с 1945 года в «Новом Русском Слове», а с 1955 г. по сей день — в "Русской Мысли". 19.X.1975 г.

Ю. Терапиано

НОВЫЙ ДОМЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Подъ редакціей: НИНЫ БЕРБЕРОВОЙ, ДОВИДА КНУТА, ЮРІЯ ТЕРАПІАНО и ВСЕВОЛОДА ФОХТА.

N 1

А статья о "Верстах", подписанная Злобиным, написана Зинаидой Гиппиус.
Эта статья вызвала большой скандал и навсегда — ссору Мережковские с М. Цветаевой

ПАРИЖЪ.
1926

Обложка журнала с пояснительными надписями Ю. Терапиано

Странным образом в мемуарах «Курсив мой», изобилующих неточностями (вдова Михаила Осоргина говорила мне, что могла бы чуть ли не к каждой странице книги составить список ошибок, которые ей, впрочем, не казались случайными), Берберова «забывает» упомянуть шумный эпизод, ознаменовавший выход первого номера журнала «Новый дом». В нем помещена была статья Владимира Злобина, снабженная эпиграфом: «Помни,

помни, мой милок, красненький фонарик…». «Красненький фонарик», как явствовало из текста статьи, следует повесить непосредственно над входом в редакцию «Вёрст», ибо сотрудники редакции, по убеждению автора, прямым образом связаны с «растлителями России». Самые оскорбительные стрелы здесь были выпущены в адрес Цветаевой и Ремизова.

Не выдержав, близкий друг Цветаевой и Ремизова Владимир Сосинский публично вызвал на дуэль редактора журнала Юрия Терапиано. Дуэль не состоялась. Ее заменила потасовка – и даже не одна, ибо Сосинский был упорен в негодовании. В награду за благородство Цветаева подарила своему заступнику перстень с гербом Вандеи…

Владимир Сосинский. Фото П. И. Шумова

Серебряный перстень с гербом Вандеи, подаренный М. Цветаевой В. Сосинскому

Только теперь, в конце века, с достоверностью выяснилось, что действительным автором статьи в «Новом доме» была все та же Зинаида Гиппиус. Злобин – верный друг дома Мережковских – просто согласился поставить под ее текстом свое имя…

В этих бурях заканчивался первый год пребывания Цветаевой во Франции. Хватило нескольких месяцев для того, чтобы с непреложной очевидностью обрисовалась черта, резко отделившая поэта от тех, в чьих руках были в Париже русская печать и главные эмигрантские организации.

Глава 4
Поверх границ

1

Триумф февральского вечера, новые друзья, поездка в Лондон, создание двух статей, трех поэм, газетный и журнальный вой вокруг статьи «Поэт о критике», а потом вокруг «Вёрст», лето на берегу океана, инцидент с чешским пособием, возвращение в Париж и последний скандал, связанный с «Новым домом»…

Так выглядит цветаевский 1926 год с внешней стороны.

Более чем насыщенно для одного года!

Но вот обнаруживаются неизвестные ранее письма Цветаевой. Да еще – редкая удача! – не только ее письма, но и ответы корреспондентов! И картина года резко меняется. Она получает новое измерение – глубину; становится ясно, что без этих писем цветаевская биография года предстала бы с явно смещенными акцентами.

Так не схожа с фотографией объемность реальной жизни: в ней – фотографии – не видны главные связи, заслоненные множеством четко зафиксированных подробностей. Подробности любопытны и выразительны, но заносчиво претендуют на самостоятельную значимость. Между тем у них – свое место на шестке действительной биографии поэта.

Главный нерв внутренней жизни Цветаевой 1926 года теснейшим образом связан с именами двух ее замечательных современников – Бориса Пастернака и Райнера Марии Рильке.

Переписка с Пастернаком, начавшаяся еще летом 1922 года, взорвавшаяся новыми нотами в марте 1923-го, продолжалась. Она была не слишком регулярной, но становилась все более сердечной и откровенной. В марте 1926 года она явственно обрела новую тональность. Тому были реальные причины.

Почти случайно в руки Бориса Леонидовича попала ремингтонная копия цветаевской «Поэмы Конца».

Он ошеломлен, восхищен, пронзен до глубины души. Его реакция на поэтические строки – совершенно той же природы, что и у Цветаевой. Как и она, он мог бы сказать, что «опрокинут», выбит из колеи. Впрочем, именно это он и говорит ей – на своем языке – в потоке писем, которые хлынут в Париж, на улицу Руве, а потом в Вандею, в Сен-Жиль. Сердечное волнение в них нераздельно слито с профессиональным. Бурность реакции сам

Борис Леонидович объясняет узнаванием «своего» в мире тех жизненных и духовных ценностей, которые воссозданы в поэме. «Верно, верно. Так, именно так, как в ведущих частях этой поэмы. ‹…›

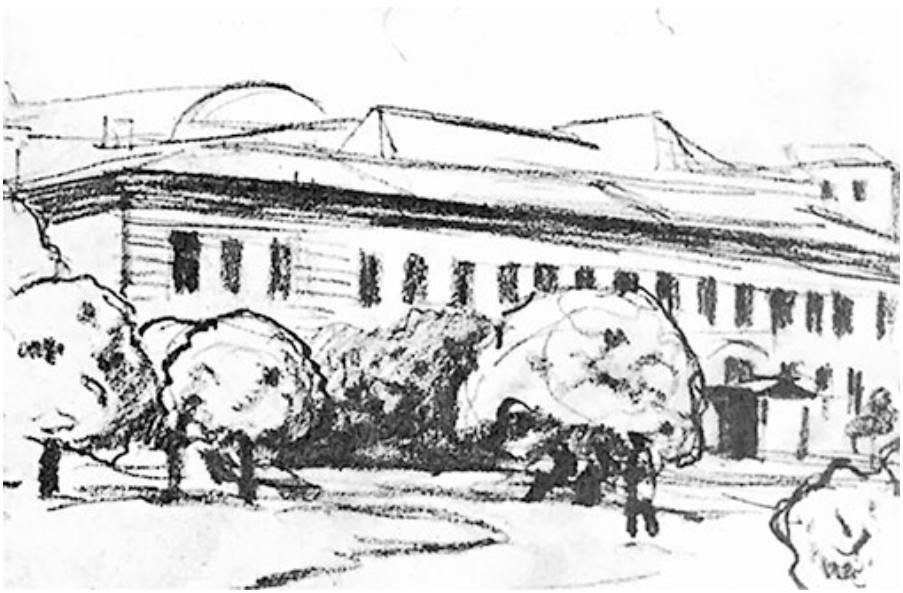
Я мог бы залить тебя сейчас смехом и взволнованным любованьем, и уже и сейчас, поводив по своей жизни и рассказав про ее основанья, крылья, перистили и пр., показать тебе, где в ней начинаешься ты (очень рано, в шестилетием возрасте!), где исчезаешь, возобновляешься (Мариной Цветаевой Вёрст), напоминаешь собственное основанье, насильно теснишься мной назад, и вдруг… начинаешь наступать, растешь, растешь, повторяешь основанье и обещаешь завершить собою все, объявив – шестилетнюю странность лицом целого…»

Борис Пастернак

В огромном, трепетном, сумбурном письме, написанном 25 марта, Пастернак снова и снова на разные лады возвращается к этой главной радости – узнаванию родства. В «Поэме Конца» прекрасная поэзия еще и тем прекрасна для него, что замешена на «основаниях», дорогих с детства, – на тех, которые нельзя предать, но от которых жизнь настойчиво отводит, объявляя их несущественными. И потому к радости присоединяется благодарность: за напоминание, за подтверждение, за преданность тому высокому строю духа, который стремительно

уходит из современного мира. «Ты страшно моя и не создана мною, ты с головы до ног горячий, воплощенный замысел, как и я, ты – невероятная награда мне за рожденье и блужданья, веру в добро и обиды».

В марте и апреле этого года Пастернак читает «Поэму Конца» всем, кто попадается под руку, волнуясь и каждый раз заново переживая трагедийную мощь поэмы – и реакцию слушателей. Когда в доме Бриков поэму не приняли с первых же строк, встретили «улыбочками», Борис Леонидович расстроен сверх всякой меры. Зато его вознаграждает восхищенная реакция Асеева, Тихонова, Кирсанова – и он горд, как если бы сам был автором… Поэму переписывают от руки, обсуждают, спорят – и просят прочесть снова, в одном и в другом доме. «…Сижу сутулясь, сгорбясь, старшим. Сижу и читаю так, точно ты это видишь, и люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила». «И прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, Микельанджеловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется Поэмой Конца». «Потом, когда они перерождены твоей мерой, мудростью и безукоризненной глубиной, достаточно повести бровью и, не меняя положенья, бросить шепотом: “А? Каково! Какой человек большой!”»



Дом Пастернака в Москве на Волхонке, 14. Набросок Л. О. Пастернака

Этой весной пастернаковские письма приходят одно за другим; иногда Борис Леонидович пишет их по нескольку раз в неделю. Это необузданный ливень любви и радости. Ибо

восхищение поэмой предельно обострило нежность и жажду выразить ее безо всякой оглядки. В том же письме 25 марта: «Как удивительно, что ты – женщина. При твоем таланте это ведь такая случайность! И вот, за невозможностью жить при Дебор-Вальмор (какие редкие шансы в лотерее!) – возможность – при тебе. И как раз я рождаюсь. Какое счастье… Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом, всем нашим вооруженьем, я не говорю, что целую тебя только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и оттого, что этих поцелуев я никогда не видал. Я боготворю тебя».

Потрясение, вызванное цветаевской поэмой, пришлось на крайне неблагополучный период жизни Бориса Леонидовича. В семье поэта постоянно вспыхивали ссоры. В письме к сестре Жозефине Борис Леонидович признавался в глухом непонимании, прочно воцарившемся между супругами. «Я далек и чужд ей, – писал он о жене. – Неприязни и равнодушия я больше выносить не в силах».

Не последним в их отношениях было то обстоятельство, что Евгения Владимировна тяжело ревновала мужа к Цветаевой. Это началось еще в 1923 году, в Берлине, в те самые февральско-мартовские недели, когда переписка поэтов впервые приняла нестерпимо жаркую окраску. Уже тогда бедствием стала заведенная в семье манера Пастернака читать жене вслух письма, приходившие на его имя. Реакцию Евгении Владимировны нетрудно себе представить; сам поток цветаевских посланий, а тем более их тональность приводили ее в ужас. Она плакала и торопила мужа с отъездом обратно в Россию.

Между тем Пастернаки уезжали тогда из Москвы с намерением пробыть в Европе несколько лет. Борис Леонидович жаждал спрятаться от московской суеты и московских напастей – благо в Германии жили его отец, мать и сестры. Но и в Берлине спрятаться от бурь не удавалось. Пастернак рвался уехать в немецкую провинцию, но началась инфляция, и жизнь в Германии уже не виделась ни спокойной, ни благополучной. Они вернулись в Россию.

Теперь, в марте 1926 года, отношения в семье стали почти невыносимы. Борис Леонидович заявил жене, что не будет больше читать ей письма Цветаевой. В те дни и недели он уже всерьез обдумывал возможность расставания – и с женой, и с родиной. Он собирался забрать с собой маленького сына, рассчитывая на помощь родных, живших в Германии. И мечтал встретиться с Цветаевой. Но его душевное состояние крайне неуравновешенно, он меняет собственные решения чуть ли не еженедельно.

Двадцатого апреля в очередном письме, заполненном все той же неутихающей бурей, Пастернак задает вопрос, на который умоляет Марину ответить свободно: «Оглядись и вдумайся в свое, только в то, что крутом тебя: ехать ли мне к тебе сейчас или через год?» «Я верю в твои основанья…» – повторяет он.

Нетерпеливое желание увидеться (у Бориса Леонидовича была в то время реальная возможность поехать за границу) борется в нем с тормозящим ощущением «пустыхрук», «несделанного», что только еще зарождалось на кончике пера. Между тем ведь они собираются с Цветаевой поехать к Рильке, обожаемому поэту, в Швейцарию. Но с чем ехать? Это мучает Пастернака, остро и беспощадно пересматривающего в эти месяцы свою творческую работу последних лет.

Ответ приходит из Вандеи быстро: 8 мая Борис Леонидович уже держит его в руках. «Через год, – отвечает Марина своему другу. – Ты громадное счастье, которое надвигается медленно… Не сейчас!.. Я в восторге от твоего решения». Она с полуслова уловила колебания своего друга, – по крайней мере те, что произрастали из общих для них «оснований»: приоритет творчества. Она сама писала об этом в стихотворении, созданном еще в Чехии.

Кастальскому току,
Взаимность, заторов не ставь!

И в очередном письме Пастернака – вздох облегчения: «Благодарю и верю. Как трудно писать! Сколько его накатывало и расходовалось эту неделю. Ты указала берега. О, насколько я твой, Марина! Везде, везде. Вот он, твой ответ. Странно, что он не фосфоресцирует ночью. Такой чудесности я не допускал. Я бродил вокруг да около того же. Я двадцать раз уезжал и двадцать раз меня останавливал голос, который я ненавидел, пока он был моим. Ты и тут предупредила. И как! Знаешь ли ты, что, заговоря, ты всегда превосходишь представленье, даже внушенное обожаньем!.. Твой ответ – чудный, редкостный…»

Правда, Борис Леонидович смутно предчувствует, что оба они приносят в жертву нечто, чего жизнь во второй раз уже не предложит. И, соглашаясь, сладостно подчиняясь, он вдруг заканчивает письмо неожиданным всплеском горечи: «И все-таки, что я не поехал к тебе – промахи ошибка…»

Однако решение принято.

Как неудачно, как обидно они встретятся через девять лет в Париже! Отложенную радость уже не воскресить волевым усилием, как не войти дважды в одну и ту же реку…

Благоразумие цветаевского ответа, такое, кажется, ей несвойственное, может поначалу удивить. В пламенных весенних письмах Бориса Леонидовича она, может быть, первый раз в жизни слышала то самое, что в ее глазах было «сновиденным», высшим, что может связать двоих людей на земле. «Любите мир во мне, не меня в мире», – писала она Бахраху еще летом 1923 года; то же самое, в вариациях, повторяла другим корреспондентам, едва возникала иллюзия сердечной близости. «Мне важно, чтобы любили не меня, а мое». Идеальным образом то и другое сливается в отношении к ней Бориса Леонидовича!

Но теперь ей труднее дать волю своему неблагоразумию. Заботы о доме, годовалый сын на руках, едва устроенный летний отдых детям и мужу, отсутствие няни и лишнего франка – вот галера, к которой она прикована в это лето. Да и отродясь она предпочитала предвкушаемую радость сбывшейся, ей просто необходимо было видеть эту радость впереди, – такова уж ее природа.

Впрочем, в основе ее сдержанности легко видятся и другие мотивы. Порыв Пастернака опоздал на три года. В феврале 1923-го Марина готова была сорваться из Чехии в Берлин, хоть на день, чтобы увидеться, – так необорима была ее околдованность присланной книгой его стихов – а значит, и им самим; удержало только отсутствие визы. Но за три года безудержность поостыла. Сроки их встречи несколько раз переносились. Родился маленький Мур; отношение к Борису обрело стабильность нежной сердечной преданности. И теперь она уже трезвее оглядывалась на обстоятельства. Да и куда мог бы сейчас приехать Пастернак? Какой могла быть их встреча – в обрамлении детей и забот о кухне? И Цветаева предлагает свой вариант встречи: через год – в Лондоне. Там живет Святополк-Мирский, страстный поклонник не только Цветаевой, но и Пастернака, и – еще важнее: там не будет быта, его царапающих углов и шипов…

Этим летом, в середине июля, она напишет из Сен-Жиля в письме к Андрониковой важные для нас строки. Они вызваны сообщением о предстоящем замужестве Саломеи Николаевны: «Торопить венец (здесь) – торопить конец. (Что любовь – что елка!) Я, когда люблю человека, беру его с собой всюду, не расстаюсь с ним в себе, усваиваю, постепенно превращаю его в воздух, которым дышу и в котором дышу, – и всюду и в нигде. Я совсем не умею вместе, ни разу не удавалось. Умела бы – если бы можно было нигде не жить, все время ехать, просто – не жить. Мне, Саломея, мешают люди, номера домов, часы, показывающие 10 и 12 (иногда они сходят с ума – тогда хорошо), мне мешает собственная дикая ограниченность, с которой сталкиваюсь – нет,

заново знакомлюсь, – когда начинаю (пытаться) жить. Когда я без человека, он во мне целей – и цельней. Жизненные и житейские подробности, вся жизненная дробь (жить – дробить) мне в любви непереносна, мне стыдно за нее, точно я позвала человека в неубранную комнату, которую он считает моей. Знаете, где и как хорошо? В новых местах, на молу, на мосту, ближе к нигде, в часы, граничащие с никоторым. (Есть такие)».

Замечательна в этом письме и дальнейшая оговорка: в другие минуты, признается Цветаева, в другом состоянии, не столь исполненном «силы и воли», она с не меньшей убедительностью могла бы обосновать обратное.

Ибо все совмещается в ее сердце – и знание невозможного, и неутолимая к нему тяга: «Знаю и другую песенку, всю другую!..»

Спустя много лет другой корреспондентке она дала и еще одно пояснение этому эпизоду 1926 года – страх катастрофы: «Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем (я, моя семья, – он, его семья, моя жалость, его совесть)…» То же опасение Марина наверняка расслышала и в письмах Бориса, оно было выражено там на присущем ее другу не слишком внятном языке – среди растерянных упоминаний о жене и сыне: «… стрелочная и железнодорожно-крушительная система драм не по мне…»

2

Между тем начинается второе действие лирического сюжета этого года.

В начале мая в Сен-Жиль приходит на имя Цветаевой письмо, пересланное из Парижа. Обратный адрес: Швейцария, Сьер, замок Мюзо. Отправитель – Райнер Мария Рильке.

То был подарок, не сравнимый ни с одним из тех, какие ей довелось получать в жизни. Щедрый подарок Пастернака, задуманный им еще несколько месяцев назад.

История письма восходила к тому самому мартовскому дню в Москве, когда в руки Бориса Леонидовича попала «Поэма Конца».

Этот день надолго запомнился ему наслоением двух ошеломительных событий. Первым стала цветаевская поэма. Другое явилось в виде письма из Мюнхена, от отца. Леонид Осипович Пастернак спешил пересказать сыну только что полученное письмо от Рильке, с которым он был знаком в давние годы. Среди прочего знаменитый теперь поэт сообщал Пастернаку-старшему, что с удовольствием прочел стихи его сына и искренне обрадован его ранней славой.

Райнер Мария Рильке на балконе замка Мюзо. 1926 г. Фото Е. А. Черносвитовой

«Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясением дня. Я отошел к окну и заплакал. Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе…» – так вспоминал этот день Борис Леонидович несколько лет спустя.

В ближайшие дни он переживает нечто вроде радостного и тяжкого катарсиса. Он чувствует себя будто проснувшимся от спячки и инерции. «Родное мне существует на свете – и какое!» –

пишет он сестре. И тут же, рядом: «Я вдруг узнал в глаза свою давно не виденную жизнь». «Весь мой “историзм”, тяга к актуальности, все вообще диспозиции разлетелись от сообщения Рильке и Марининой поэмы. Это как если бы рубашка лопнула от подъема сердца…»

Только через восемнадцать дней Борис Леонидович решится сам написать Рильке.

За это время он придумал неожиданный ход, не слишком понравившийся его отцу. Прямой почтовой связи между Швейцарией и СССР тогда не было, и во всех случаях письмо к Рильке могло идти только через посредника. Пастернак-старший считал, что наиболее естественным посредником мог бы стать он сам, живший в Мюнхене. Но младший придумал другое. Он выбрал в посредницы Цветаеву. Сообщив Рильке через отца ее парижский адрес, он отрекомендовал Марину в письме как своего друга и поэтессу, «которая любит Вас не меньше и не иначе, чем я, и которая (как бы широко или узко это ни понимать) может в той же степени, что и я, рассматриваться как часть Вашей поэтической биографии в ее действии и охвате».

«…Я хотел бы, – писал Пастернак, – о, ради Бога, простите мою дерзость и видимую назойливость, я хотел бы, я осмелился бы пожелать, чтобы она тоже пережила нечто подобное той радости, которая, благодаря Вам, излилась на меня. Я представляю себе, чем была бы для нее книга с Вашей надписью, может быть “Дуинезские элегии”, известные мне лишь понаслышке…»

Замок Мюзо (XIII в., реставрирован в XVIII в.) близ Сьер (кантон Вале)

Вот этот пастернаковский подарок – письмо от Райнера Мария Рильке – и пришел в Сен-Жиль в начале мая.

Растроганный признаниями русского поэта, Рильке исполнил его просьбу с обычной для него сердечностью. «Во время своего прошлогоднего, почти восьмимесячного пребывания в Париже, – писал он Цветаевой, – я возобновил знакомство со своими русскими друзьями, которых не видел двадцать пять лет. Но почему – спрашиваю я себя – почему не довелось мне встретиться тогда с Вами, Марина Ивановна Цветаева? Теперь, после письма Бориса Пастернака, я верю, что эта встреча принесла бы нам обоим глубочайшую сокровенную радость. Дастся ли нам когда-либо исправить это?..»

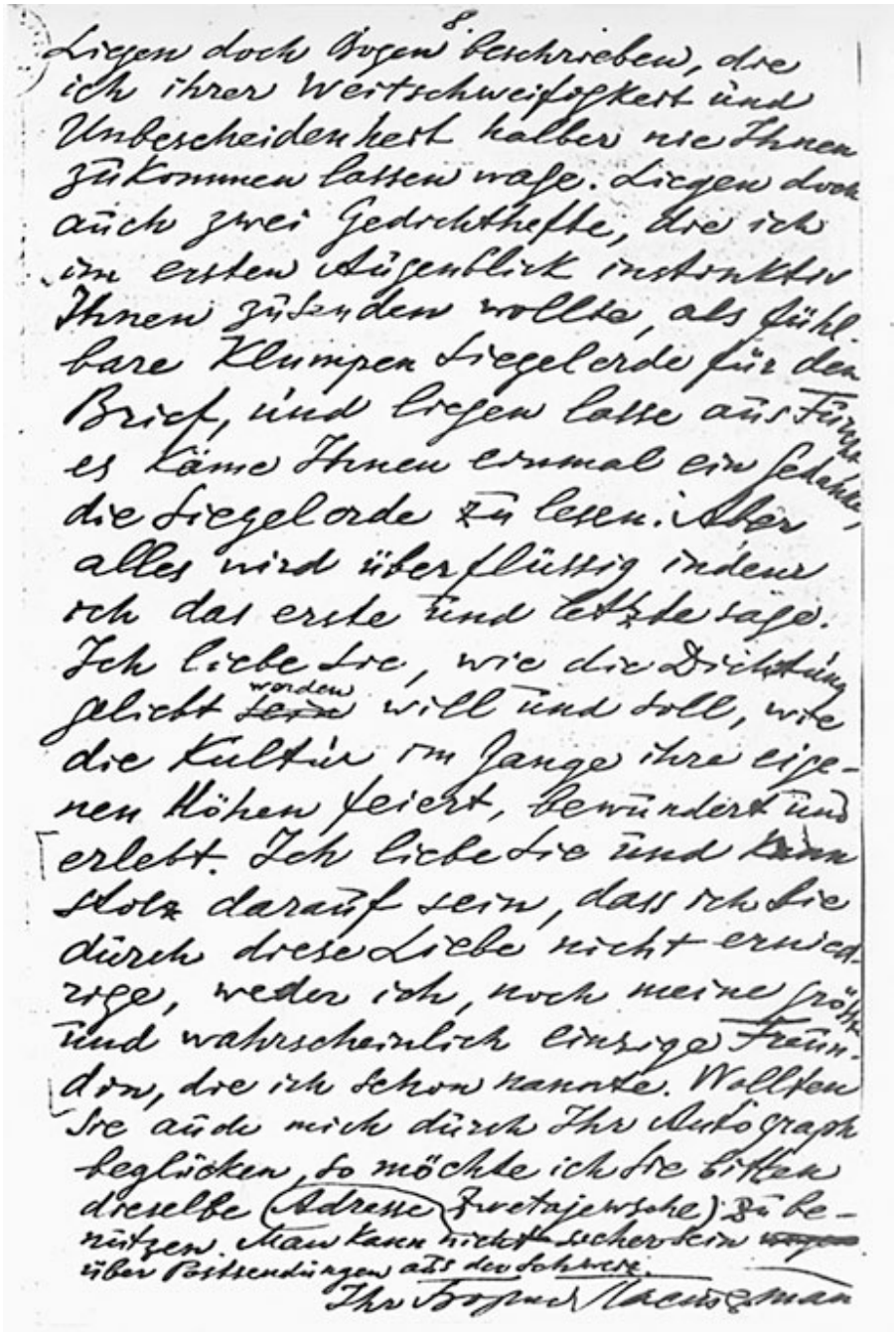
Письмо к Пастернаку было вложено в тот же конверт. Цветаевой надлежало переправить его дальше, в Россию.

В современной европейской культуре не существовало имени, которое могло бы взволновать Марину Ивановну больше, чем имя Райнера Марии Рильке. Творчество поэта, получившего широкое признание в 1910-х годах, давно стало для нее, так же как и для Пастернака, эталоном истинной поэзии. Книжечку его стихов она увезла с собой из Москвы, не расставалась с ней в Праге и в Париже. Прошедшей осенью вместе с Пастернаком она пережила

беспокойные недели, когда распространился слух – по счастью, оказавшийся ложным – о смерти поэта.

Рильке уехал из Парижа в августе 1925 года, Цветаева приехала туда в ноябре – встретиться они не могли.

Но сожаление о невстрече прозвучало как разрешение на ответ. Спустя два дня пришли по почте, в дополнение к письму, две книги Рильке: «Сонеты к Орфею» и «Дуинезские элегии». Так возникает еще одна замечательная переписка этого года.



Автограф письма Пастернака к Рильке

Цветаева как корреспондент – особая тема. Ее пристрастие к письмам кажется уникальным, несмотря на имеющиеся в русской культуре аналогии. Она пишет не только тем, кто отделен от нее верстами и милями, но и тем, кто живет рядом, почти через

улицу; пишет человеку, с которым только что рассталась и которого увидит через день или уже наутро; пишет уезжающему – чтобы, простившись на вокзале, сказав все последние слова, вручить конверт – и досказать нечто письменно, когда собеседника уже не будет рядом. Это вовсе не обязательно любовные письма: так пишет она и семилетней дочери, отправляя ее на месяц в деревню, – пишет еще не расставшись, посреди еще не собранных в дорогу вещей! Так пишет сестре Анастасии, гостившей у нее в Мёдоне в 1927 году, еще до ее отъезда.

Странное на первый взгляд признание мы найдем в одном из цветаевских писем Пастернаку: «Мой любимый вид общения – потусторонний: сон: видеть во сне. А второе: переписка…»

Странного у Цветаевой немало; важнее, однако, что в таких признаниях она ничего не придумывает – ей можно верить. В самом деле: главное, что ей нужно от другого человека, – сокровенное, глубинное, а не поверхностно-бытовое общение. И если уж не во сне, а наяву, то это прежде всего потребность сердечной беседы, свободного разговора, безоглядной исповеди. Бытовая совместность в «часах и днях» от всего этого слишком часто уводит. И потому письменное слово в ее глазах более совершенно, чем устное. В нем меньше зависимости от сиюминутных обстоятельств, меньше ограничений и случайностей, больше свободы.

Наедине с письмом можно не спешить – додумывая мысль, отыскивая формулировку, добираясь постепенно до главного. Вишняку-Геликону она написала в 1922 году: «И подумать только, что, если бы мы были вместе, я бы ничего не узнала из того, о чем только что поведала Вам! Как все обретается, когда расстаются…»

Ее письма душевно близким людям (или тем, кто кажется ей таковым в момент письма) – это, по существу, тот же дневник, а значит – возможность быть собой; вырвавшись из пут обыденного, возможность остановить поток времени и распрямиться в нем, вглядываясь в себя и вокруг.

Но это еще и разрядка внутреннего напряжения, выход давящего переизбытка мыслей, чувств, наблюдений, рождавшихся в ней ежеминутно, – они перестают так остро жечь, когда высказаны другу. И потому лучший для нее адресат – тот, кому можно писать без повода и «сюжета»; больше других ее занимают экзистенциальные темы, искать которые не приходится – они всегда под рукой.

Письма ее таким адресатам подчас производят впечатление невыправленного черновика: они отрывочны, отдельные части связаны произвольными ассоциациями, иная фраза (а то и абзац) будто спотыкается, затрудненно пробиваясь к ясности.

Кажется – чего проще? Зачеркнуть и написать заново!

И Цветаевой тем легче это сделать, что она имеет обыкновение сначала писать письма себе в тетрадку, а уж затем переписывать адресату. Но нет! Не только в письмах, но и в прозе она дорожит самим процессом поисков слова, дорожит тем, что сорвалось с пера. «Записать мысль, – скажет она в письме Люсьену де Неку, – значит уловить ту первую, первичную, стихийную, мгновенную форму, в которой она появилась изначально».

Ничего не вычеркивая, она как бы сохраняет живое тепло рождающейся на наших глазах мысли – мы присутствуем при ее воплощении в слово… И это одна из причин, не позволяющих причислить цветаевские письма к легкому чтению. Подряд их читать утомительно: они слишком насыщенны внутренне и бессобытийны внешне. Тут нужен особенный интерес – не к событиям…

И то, что могло бы показаться обычными погрешностями жанра, исходно предназначенного для однократного чтения, выглядит иначе из-за этого переписывания. Встает вопрос: почему же при переписке она отказывается от саморедактуры? И почему оставляет такое количество неловких – не только в стилевом отношении – мест?

Вопрос этот пришел мне в голову впервые при чтении «Флорентийских ночей». Читатель уже знает, что под этим названием Цветаева объединила в тридцатые годы свои письма лета 1922 года, адресованные Вишняку-Геликону. Что-то в них все же «обработано», – во всяком случае, в «Ночах» углавных героев нет имен. Но тексты изобилуют подробностями, которые привычному вкусу кажутся, по крайней мере, необязательными. А временами и преступающими некую черту. Оставлены они здесь осознанно.

Эти странности и есть – Цветаева.

Нравятся они нам или шокируют нас, – но это она, Марина Цветаева, считает вполне достойным «литературы» (если иметь в виду все те же «Флорентийские ночи») малоприятный эпизод своего берлинского увлечения и самообмана, к которому она сама долго относилась с долей брезгливости. Однако спустя десятилетие она находит некие серьезные, надо полагать, основания для того, чтобы воскресить этот эпизод – через письма того лета – во всей обнаженности эмоциональных всплесков, в подробностях и закоулках своих размышлений над происходящим.

Придется принять как факт: и в письмах, и в литературе Цветаева раздвигала – с редкой последовательностью – пределы

обнажения (обнаружения) просторов человеческой природы. Она убеждена в том, что чрезмерная выглаженность стилистики и чересчур строгая этическая самоцензура пишущего лишают текст живой жизни и важных граней истины.

Вот почему людей, неколебимо знающих, что допустимо в жизни и литературе, а что нет, как надо жить правильно и что именно разрешается записать на листе бумаги черным по белому, – этих людей знакомство с письмами Цветаевой чаще всего коробит. Ибо характернейшая черта этих писем – их откровенность.

Не удостаивающая оглядкой на принятое, исходным стимулом при писании писем она признает один: «дать сердцу высказать себя». Но потому эти письма и обнаружили с особой наглядностью, как много воздвигнуто в людском общежитии запретов. И еще: как же много – внутри нас самих – того, о чем нельзя…

«Не снисхожу до людских пересудов!» – таков был девиз, который увидела Цветаева на фронтоне одного из домов Вандеи, ей захотелось выбить эти слова на собственном гербе.

Мы читаем, морщимся и готовы сказать: так нельзя. Мы не привыкли такое выводить на свет. Да если оно и есть – умолчи, затушуй, прикрой!..

Но Цветаева не из тех, кто довольствуется прописями о человеке и человечестве. Она решительно расширяет сферу того, что достойно нашего осознания. И потому письма ее – неоценимая находка для тех, кто готов идти в это загадочнейшее из царств: внутрь самих себя.

3

Рильке привела в восторг цветаевская стилистика. Он скажет ей об этом в одном из июльских писем: «Меня восхищает твое умение безошибочно искать и находить, неистощимость твоих путей к тому, что ты хочешь сказать… Всякий раз, когда я пишу тебе, я хочу писать, как ты: сказать себя на твоем языке при помощи твоих невозмутимо спокойных и в то же время таких страстных средств. Как отражение звезды, Марина, твоя речь, когда оно появляется на поверхности воды и, искаженное, встревоженное водою, течением ее ночи, ускользает и возникает снова, но уже на большей глубине, как бы сроднившись с этим зеркальным миром, – и так после каждого исчезновения: все глубже в волнах!..»

Первое же письмо Цветаевой к Рильке поражает своей

раскованностью.

В нем нет и следа той робости, которая заставила Пастернака в его апрельском письме к Рильке бесконечно оговариваться, прося извинений за многословие, растянутость, возможные ошибки и отнимаемое на чтение письма время. Цветаева умеет быть любезной – по всем правилам хорошего тона – в деловых письмах. Но когда ее адресат – Рильке, она уверена, что можно оставаться собой, не опасаясь неверных толкований; можно сразу, без разбега и оглядки, говорить о насущном.

«*Сен-Жиль-сюр-Ви, 9 мая 1926*

Райнер Мария Рильке!

Смею ли я назвать Вас так? Ведь Вы – воплощение поэзии – должны знать, что уже само Ваше имя – стихотворение. Райнер Мария – это звучит по-церковному – по-детски – по-рыцарски. Ваше имя не рифмуется с современностью, оно – из прошлого или будущего – издалека. Ваше имя хотело, чтобы Вы его выбрали. (Мы сами выбираем наши имена, случившееся – всегда лишь следствие.)

Ваше крещение было прологом к Вам всему, и священник, крестивший Вас, воистину не ведал, что творил.

Вы не самый мой любимый поэт (“самый любимый” – степень), Вы – явление природы, которое не может быть моим и которое не любят, а ощущают всем существом, или (еще не все!) Вы – воплощенная пятая стихия: сама поэзия, или (еще не все) Вы – то, из чего рождается поэзия и что больше ее самой – Вас.

Речь идет не о человеке-Рильке (человек – то, на что мы осуждены!), – а о духе-Рильке, который еще больше поэта и который, собственно, и называется для меня Рильке – Рильке из послезавтра.

Вы должны взглянуть на себя моими глазами: охватить себя их охватом, когда я смотрю на Вас, охватить себя – во всю даль и ширь.

Что после вас остается делать поэту? Можно преодолеть мастера (например, Гёте), но преодолеть Вас – означает (означало бы) преодолеть поэзию. Поэт – тот, кто преодолевает (должен преодолеть) жизнь.

Вы – неодолимая задача для будущих поэтов. Поэт, что придет после Вас, должен быть Вами, т. е. Вы должны еще раз родиться.

Вы возвращаете словам их изначальный смысл,

вещам же – их изначальное название (и ценность)…»

Она написала затем немного о себе – о переезде из России в Прагу и из Праги в Париж. Написала о Пастернаке – как о первом поэте России («об этом знаю я и еще несколько человек, остальным придется подождать до его смерти»).

Шла уже четвертая страница письма. Она продолжала:

«Я жду Ваших книг, как грозы, которая – хочу или нет – разразится. Совсем как операция сердца (не метафора!), каждое (твое!) стихотворение врезается в сердце и режет его *по-своему* – хочу или нет. Не хотеть! Ничего!

Знаешь ли, почему говорю тебе Ты и люблю тебя и – и – и – Потому что ты – *сила*. Самое редкое.

Ты можешь не отвечать мне, я знаю, что такое время, что такое стихотворение. Знаю также, что такое письмо. Вот.

В кантоне Во, в Лозанне я была десятилетней девочкой (1903) и многое помню из того времени. Помню взрослую негритянку в пансионе, которая должна была учиться французскому, она ничему не училась и ела фиалки. Это – самое яркое воспоминание. Голубые губы – у негров они не красные – и голубые фиалки. Голубое Женевское озеро – уже потом.

Чего я от тебя хочу, Райнер? Всего. Ничего. Чтобы ты разрешил мне каждый миг моей жизни подымать на тебя взгляд – как на гору, которая меня охраняет (словно каменный ангел-хранитель!).

Пока я тебя не знала, я могла и так, теперь, когда я знаю тебя, – мне нужно разрешение.

Ибо *душа* моя хорошо воспитана. ‹…›

Я читала твое письмо на берегу океана, океан читал со мною, мы оба читали. Тебя не смущает, что он читал его тоже? Других не будет, я слишком ревнива (к тебе – ревностна).

10 мая 1926

Хотите знать, как сегодня (10-го) я получила Ваши книги? Дети еще спали (7 утра), я внезапно вскочила и подошла к двери. И в тот же миг – рука моя лежала уже на дверной ручке – постучал – прямо в мою руку – почтальон. Мне оставалось лишь завершить движение и, открыв дверь, все той же, еще хранившей стук рукой, принять Ваши книги. Я их еще не открывала, иначе это письмо не уйдет сегодня – а оно должно лететь…»

Цветаевскую манеру стремительно сокращать дистанцию в письме, даже если оно обращено к малознакомому человеку, мы уже знаем. Благоговение перед Рильке ничего не изменило. И когда внезапно с ее пера соскальзывает непреднамеренное «ты»,

она оставляет его, делая лишь мимолетную оговорку.

Она убеждена: сильные смотрят с улыбкой на переступающих границы – оборонительные тревоги им неведомы.

И ее «люблю» произнесено здесь совсем иначе, чем в письме Пастернака тому же адресату. «Я люблю Вас, – писал Борис Леонидович, – так, как поэзия может и должна быть любима, как живая культура славит свои вершины, радуется им и существует ими». Деликатность и воспитанность обрекают Бориса Леонидовича на сложные формулы вежливости. Хотя нет сомнения в том, что и его притягивало к Рильке чувство более личное, чем восхищение великим мэтром.

Цветаева, как всегда, говорит открытее, проще, увереннее – и ближе к истине; в этот момент ей дела нет до культуры в целом!

И Рильке не только не смущен тональностью цветаевского письма – он зачарован им.

Его второе письмо исполнено волнения и радости. С легкостью он принимает и перенимает ее «ты» – и делает со своей стороны огромный шаг навстречу, не скрывая испытанного потрясения и сердечной встревоженности.

Посылая свое первое письмо поэту, Цветаева проставила на нем опережающее число – намеренно или случайно, сказать трудно, – но эффект присутствия рядом пережит Рильке сполна.

> «*Валь-Мон, район Глиона сюр Террите (Во)*
> *Швейцария, 10 мая 1926*
>
> Марина Цветаева, неужели Вы только что были здесь? Или: где был я? Ведь десятое мая еще не кончилось, и странно, Марина, Марина, что над заключительными строками Вашего письма (вырвавшись из времени, совершив рывок в то неподвластное времени мгновение, когда я читал Вас) Вы написали именно это число! Вы считаете, что получили мои книги десятого (отворяя дверь, словно перелистывая страницы)… но в тот же день, десятого, сегодня (вечное Сегодня духа) я принял тебя, Марина, всей душой, всем моим сознанием, потрясенным тобою, твоим появлением, словно сам океан, читавший с тобой вместе, обрушился на меня великим потоком сердца. Что сказать тебе? Ты протянула мне поочередно свои ладони и вновь сложила их вместе, ты погрузила их в мое сердце, Марина, словно в русло ручья: и теперь, пока ты держишь их там, его встревоженные струи стремятся к тебе… Не отстраняйся от них! Что сказать: все мои слова (будто они уже

присутствовали в твоем письме, появившись как бы до поднятия занавеса), все мои слова рвутся к тебе, и ни одно не желает пропустить другое вперед. Не потому ли так спешат из театра люди, что вид занавеса после обилия прошедшей перед их глазами жизни невыносим для них? Так и мне, прочитавшему твое письмо, невыносимо видеть его вновь в конверте. (Еще раз, еще!) ‹…› Я открыл атлас (география для меня не наука, а отношения, которыми я спешу воспользоваться), и вот ты уже отмечена, Марина, на моей внутренней карте: где-то между Москвой и Толедо я создал пространство для натиска твоего океана. ‹…›

Чувствуешь ли, поэтесса, как сильно овладела ты мной, ты и твой океан, так прекрасно читавший с тобою вместе; я пишу, как ты, и, подобно тебе, спускаюсь из фразы на несколько ступенек вниз, в полумрак скобок, где так давят своды и длится благоуханье роз, что цвели когда-то. Марина: я уже так вжился в твое письмо! И поразительно, что брошенные, как кости, твои слова падают – после того как цифра уже названа – еще на ступеньку ниже и показывают другое, уточняющее число, окончательное (и часто большее)! Милая, не ты ли – сила природы, то, что стоит за пятой стихией, возбуждая и нагнетая ее?.. И опять я почувствовал, будто сама природа твоим голосом произнесла мне “да”, некий напоенный согласьем сад, в центре которого фонтан или – что еще? – солнечные часы. О, как ты перерастаешь и овеваешь меня высокими флоксами твоей солнечной речи!..»

Они обменяются еще письмами, интонация которых сохранит ту же взволнованность.

И вдруг Цветаева умолкает.

Рильке теряется в догадках, не в силах объяснить себе, в чем дело.

Между тем молчание это заполнено для Цветаевой самоборением, самовзнузданием и горечью. Ее неожиданно больно задели строки в очередном письме Рильке, где поэт говорил об одиночестве как о жестоком, но необходимом условии всякого творчества. Она прекрасно знала, что это святая правда. И все-таки ей услышалось в его словах отстранение. Деликатная просьба о покое. Тем более что в том же письме, упоминая о своем нездоровье, Рильке просил писать ему, даже если он не сможет сразу ответить.

Болевая реакция Цветаевой была неадекватной. Боль оглушила ее настолько, что слова о недуге, мучившем поэта, остались неуслышанными. Не сказались ли здесь собственное несокрушимое здоровье и привычка относиться с пренебрежением к изредка подступавшим хворям?

Но ни сам Рильке, ни его врачи и друзья не подозревали еще в эти месяцы, что жить ему оставалось немногим более полугода.

Болезнь оказалась лейкемией.

Конверт письма Рильке к Цветаевой

Это выяснилось слишком поздно, – впрочем, все равно лечение не могло принести никаких результатов. Пока еще болезнь определяли как заболевание нервного ствола, и пятидесятидвухлетний Рильке с трудом привыкал к чувству странной неподвижности, которую он все чаще в себе ощущал…

Между тем Цветаева самой себе поставила диагноз, объясняющий остроту ее уязвленности. Со своей неукротимой страстью к предельной откровенности она сообщит его через некоторое время и Рильке.

А пока, еще не оправившись, пишет письмо Пастернаку, путая и расстраивая его резкостью формулировок.

Она сравнивает Рильке с морем в Вандее – «холодным,

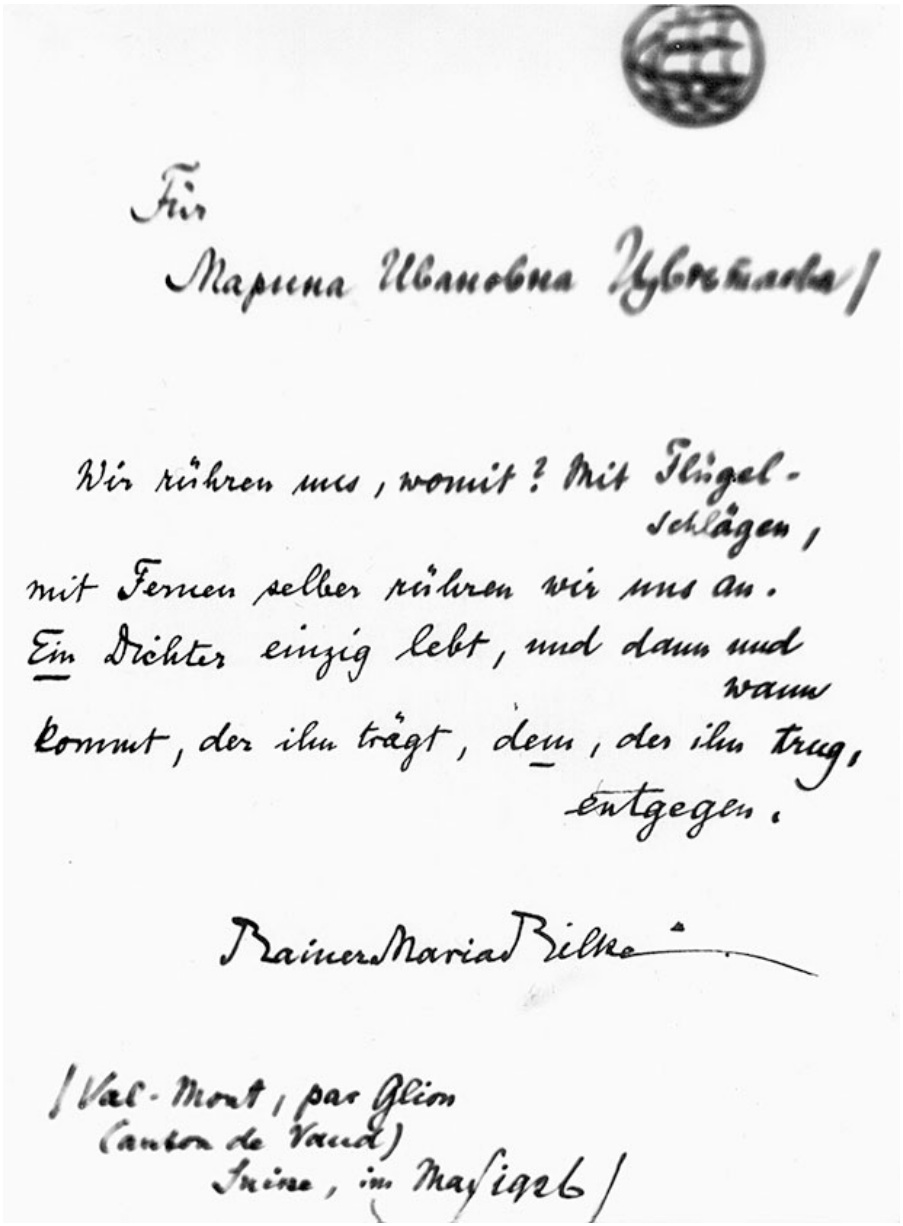
шарахающимся, невидимым, нелюбящим, исполненным себя». Она говорит нарочито жестко, чтобы избавиться от иллюзий. Она хочет ввести в берега их с Борисом сладостные надежды на будущую встречу втроем.

Это вовсе не развенчание Рильке, наоборот, новое понимание его высоты. «Меня сбивает с толку, выбивает из стихов – вставший Nibelungenhort[16] – легко ли справиться? – пишет она Пастернаку – Ему не нужно. Мне больно… Он глубоко наклонился ко мне – может быть, глубже, чем… (неважно) – и что я почувствовала? его рост. Я его и раньше знала, теперь знаю его на себе».

Спустя три дня она все же решается снова написать Рильке.

Ей всегда легче пойти на риск разрыва, чем играть в недомолвки.

> «*Сен-Жиль-сюр-Ви, 3 шюня 1926*
>
> Многое, почти все, остается в тетради. Тебе – лишь слова из моего письма к Борису Пастернаку: “Когда я спрашивала тебя, вновь и вновь, что мы будем с тобой делать в жизни, ты однажды ответил: «Мы поедем к Рильке». А я отвечу тебе, что Рильке перегружен, что ему никто не нужен, ничто не нужно. От него исходит холод имущего, в собственность которого я уже включена. Мне нечего ему дать, у него все уже есть. Я не нужна ему, и ты ему тоже не нужен. Сила всегда заманчива, но – отвлекает. Нечто в нем (ты знаешь, как это называется) не желает отвлекаться. Не имеет права.


Für
Марина Ивановна Цветаева /

Wir rühren uns, womit? Mit Flügel-
schlägen,
mit Fernen selber rühren wir uns an.
Ein Dichter einzig lebt, und dann und
wann
kommt, der ihn trägt, dem, der ihn trug,
entgegen.

Rainer Maria Rilke

/ Val-Mont, par Glion
(Canton de Vaud)
Suisse, im Mai 1926 /

Письмо Рильке к Цветаевой

> Эта встреча – удар мне в сердце (сердце не только бьется, но и получает удары, когда устремляется ввысь!), тем более, что я (ты) в лучшие свои часы сами такие же…”»

Но дальше она объяснит и другое – уже адресуясь к самому Рильке, – не менее важное, что поняла о себе самой в минувшие две недели:

«Моя любовь к тебе раздробилась на дни и письма, часы и строки. Отсюда – беспокойство. (Потому ты и просил о покое!) Письмо сегодня, письмо завтра. Ты живешь, я хочу тебя видеть. Пересадка из Всегда в Теперь. Отсюда – терзание, счет дней, обесцененность каждого часа, час – всего лишь ступень к письму. Быть в другом или иметь другого (или хотеть иметь, вообще – хотеть, все равно!). Я это заметила и замолчала.

Теперь это прошло. Когда я чего-то хочу, я быстро с собой справляюсь. Чего я хотела от тебя? Ничего. Скорей – вокруг тебя. Быть может, просто – к тебе. Без письма уже выходило – без тебя. Дальше – больше. Без письма – без тебя, с письмом – без тебя, с тобой – без тебя. В тебя! Не быть. – Умереть!

Такова я. Такова любовь – во времени. Неблагодарная, сама себя уничтожающая…»

Откуда было знать Рильке, не читавшему ни цветаевской лирики, ни «Поэмы Конца», что волевой голос и решительные интонации в письмах, пришедших к нему из Вандеи, принадлежат женщине с таким незащищенным сердцем! Что прекрасная поэзия всегда вызывала в ней сугубо личное отношение к творцу – и уж тем более, если он сам окликал ее живым сердечным словом.

Не надо ее окликать:
Ей оклик – что охлест.
Ей зов Твой – раною по рукоять, –

об этом уже сказано было в ее «чешской» лирике. Там же прозвучала и ее самообороняющаяся мольба:

Уплочено же – вспомяни мои крики! –
За этот последний простор.
Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер.

Всю свою жизнь Цветаева проживет с ощущением «нерастраты» страстей.

Она не винит в этом фортуну. Она догадывается, что еще больше дело в ней самой: протратить сокровищницу ее страстей, ее запасы нежности было невозможно. Но был и еще один залог «нерастраты» – в ее требовательной, слишком бескомпромиссной природе. Природе, целиком подчиненной ее дару, призванию,

Всаднику на Красном Коне – счастливому сопернику всех ее любимых. «Ты же у лиры крепостной», – напишет она однажды Пастернаку – и она знает это по самой себе.

Связь «нерастраты» и призвания она понимала еще в молодые годы:

И не спасут ни стансы, ни созвездья.
А это называется – возмездье
За то, что каждый раз,

Стан разгибая над строкой упорной,
Искала я над лбом своим просторным
Звезд только, а не глаз.

Что самодержцем вас признав на веру,
– Ах, ни единый миг, прекрасный Эрос,
Без Вас мне не был пуст!

Что по ночам, в торжественных туманах,
Искала я у нежных уст румяных –
Рифм только, а не уст…

Ответное письмо Рильке на цветаевское от 3 июня замечательно.

С улыбкой старшего и знающего он принимает ее объяснения; почти невежливая прямота и резкости не смутили его ни на минуту.

Он не опровергает, но поправляет: «Перегруженность, ах, нет, Марина, свобода и легкость, и лишь непредвиденность (ты сама сознаешь это) и внезапность оклика! Я совершенно не был подготовлен к нему». Он снова называет другую причину: болезнь, физическую тяжесть, с которой не может справиться, – вот единственная реальная подоплека того, что причудилось Цветаевой как отстранение.

Рильке вкладывает в конверт свои фотографии и заканчивает письмо нежной просьбой: «Когда, вопреки “нехотению”, пришлешь ты мне свою – другую? Я не хотел бы отказываться от этой радости…»

Легко разделавшись с недоразумением, Рильке глубоко отозвался на главное. Это главное он понял с полуслова. Ничего не отметая и не опровергая, он присоединялся к ее размышлениям.

Несоединимость «Всегда» и «Теперь», столкновение враждующих желаний – «быть в другом» и «иметь другого»…

Все это прозвучало в его ушах темой, достойной ответа на высшем языке – лирическом.

В тот день, прочитав письмо, он вышел в виноградник и долго сидел там, прислонясь к слабо прогретой солнцем стене замка, привораживая ящериц бормотанием поэтических строф. Так была написана – он сам рассказал в письме эти подробности – прекрасная элегия. Он отослал и ее вместе с фотографиями в Вандею.

> …О, все началось с ликованья, но, переполняясь восторгом,
> Мы тяжесть земли ощутили и с жалобой клонимся вниз.
> Ну что же, ведь жалоба – это предтеча невидимой радости новой,
> Сокрытой до срока во тьме…

Каждое слово элегии, каждый поворот мысли и каждый образ были живым откликом на темы, предложенные Цветаевой в ее письме. Любовь «во времени» и любовь «в просторах», присвоение любимого и утрата, жалоба и одиночество – этих тем в прозе и поэзии Рильке касался не раз. Но теперь он будто впервые услышал их трагедийный накал.

И мягко оспаривал: взглянем иначе.

Так устроен мир – сплетенность вечного и временного, печали и радости, гимна и жалобы, бескорыстия духа и темных земных порывов. Из власти первоначал не может полностью освободиться душа, как бы высоко она ни парила. Сокрушаться ли об этом? Или – воспеть? «Темные боги глубин тоже хотят восхвалений, Марина». Мы неотторжимы от мира. Мы – те же волны и море, небо и жаворонок в нем, мы – весна и земля. Мы – всё. Но мы ничем не владеем, и жажда владеть – смертоносна. Нам дано лишь коснуться того, что мы любим, – легким мгновенным касаньем. Так касаются венчика розы, любуясь. Ибо сорвать – погубить…

Пропитанная мощным философским зарядом, элегия была близка Цветаевой всем своим духом – и как не пожалеть о том, что Рильке, некогда изучавший русский язык и даже писавший по-русски, все же знал его недостаточно, чтобы прочесть цветаевские стихи – и удостовериться в этой близости!

Но он, и не удостоверившись, поверил – и угадал многое. Стихи свои, впрочем, Цветаева все-таки ему послала. На долгие годы элегия станет ее утешением и тайной радостью. Гордостью, которую она ревниво оберегает от чужих глаз. Даже Пастернак прочтет текст лишь спустя много лет.

4

Между Пастернаком и Рильке переписки больше нет. Их связующее звено – Цветаева. Она пишет по-немецки в Швейцарию, по-русски в Россию…

В этих письмах лета 1926 года сугубо литературные проблемы обсуждаются не часто; главные драматические узлы завязываются в иной сфере. Но завязываются крепко. Начиная с конца мая переписка постоянно сотрясается толчками, взрывами, неожиданными признаниями, узнаваниями – и мы всякий раз отчетливо ощущаем сквозь текст нешуточную взволнованность участников. Впрочем, могло ли быть иначе вокруг непредсказуемой Цветаевой? Ее корреспонденты мягки и терпеливы, их восхищение всякий раз, кажется, только возрастает в ответ на дерзости, резкости и смятенные речи, которые доносит до них почта из Вандеи.

Они осмеливаются иногда возразить, не согласиться, оспорить – но с полной готовностью услышать и другую правду…

Сердечные волны, связывающие всех троих этим летом, пульсируют с могучей интенсивностью, так что какой-нибудь экстрасенс, сосредоточившись, пожалуй мог бы увидеть их колеблющиеся нити над пространствами от Москвы до Сен-Жиля и от Сен-Жиля до замка Мюзо…

На первый взгляд может показаться странным, что цветаевские письма к Пастернаку ничуть не сбавили нежности.

«Я так скучаю о тебе, точно видела тебя только вчера», – пишет Марина Ивановна в одном из писем самого конца мая. У заочной любви, видимо, свои законы, – может быть, она ближе к дружбе, не претендующей на единственность…

И все же неким шестым чувством Пастернак догадывается о происходящем. Торопясь опередить трудные объяснения, он написал еще раньше, 23 мая: «Отдельными движениями в числах месяца, вразбивку, я тебя не домогаюсь. Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою, и любить этот воздух.

Отчего я об этом прошу и зачем заговариваю? Сперва о причине. Ты сама эту тревогу внушаешь. Это где-то около Рильке. Оттуда ею поддувает ‹…› Я готов это нести.

Наше остается нашим. Я назвал это счастьем. Пускай оно будет горем ‹…› Отчего не пришло тебе в голову написать, как он надписал тебе книги, вообще, как это случилось, и может быть что-нибудь из писем.

Ведь ты стояла в центре пережитого взрыва – и вдруг – в сторону…»

Райнер Мария Рильке

С трудом решившись, Цветаева переписывает наконец для Бориса Леонидовича два первых рильковских письма к ней. А в очередном письме, адресованном Рильке, признаётся в том, что давно за собой знает:

«О, я плохая, Райнер, я не хочу сообщника, даже если бы это был сам Бог. – Я – многие, понимаешь? Быть может, неисчислимо многие! (Ненасытное множество!) И один не должен знать ничего о другом, это мешает. Когда я с сыном, тот (та?), нет – то, что пишет тебе и любит тебя, не должно быть рядом. Когда я с тобой – и т. д. Обособленность и отстраненность. Я даже в себе (не только – вблизи себя) не желаю иметь сообщника…»

Она отстаивает право на свой мир, скрытый даже от самых близких. Есть на свете высокие радости, разрушающиеся, как

только в них допущен третий…

И если мы мало узнаём из этой переписки о литературе, то мы многое узнаём о ее творцах. Их душевный мир раскрывается нам здесь в ситуациях того напряжения, которое, застигая врасплох, гарантирует тем самым неподдельность проявляемых свойств натуры.

Мягкая сердечность Рильке, его трепетная душевная открытость и готовность с полной отдачей включиться в размышления, тревоги и сомнения своей неожиданной и страстной корреспондентки…

Щедрость Пастернака, безоглядного в нежности, неловкого, трогательного и чуть старомодного в своей почти чрезмерной деликатности. Подарив, в сущности, Цветаевой дружбу Рильке, он готов теперь, по прочтении рильковских писем, отойти в тень, не позволив себе и намека на горечь…

Стихийная природа Цветаевой, непрерывно преподносящая ей самой неожиданные сюрпризы…

Роль Марины Ивановны в этой переписке иногда напоминает роль подростка, испытывающего – дерзостями и неуправляемыми эскападами – пределы сердечной привязанности близких. Ибо, когда Цветаева теряет душевный покой, она одержима неутолимой страстью говорить «всю правду, как она есть», без смягчения, оглядки – и необходимости. Ее шквальное упорство направлено на развенчание всех условностей и самообманов, на срывание всех покровов; она готова потерять всё и всех, но досказать то, что видится ей в эти минуты экстатического подъема.

Спустя два месяца переписка с Пастернаком все же прервется.

В клубке причин и поводов, нагромоздившихся с обеих сторон, трудно назвать главный. Но дело было не в Рильке.

Весной этого года Пастернак отправил жену с сыном в Германию, к своим родным. Долгое время она не отвечала на его письма, но позже, уже летом, взявшись за перо, вернулась к прежней теме: «Тебе перед Мариной неудобно читать мне ее письма, – пишет Евгения Владимировна. – А мне от ее писем часто больно. Значит, таких писем не должно быть». Она пытается раскрыть глаза мужу: «Ты думаешь, что судьба свела тебя с Мариной, – я – что это ее воля, упорно к этому стремившаяся». «Для меня письмо твое – развод», – устало подытоживает Пастернак.

И все же он решается прервать на время переписку с Цветаевой – 30 июля в Вандею отправлено прощальное письмо. Пастернак явно через силу тверд в нем, объявляя свое решение

прервать на время письменную связь. Он повторяет: «Главное было сказано навсегда. Исходные положенья нерушимы. Нас поставило рядом. То, в чем мы проживем, в чем умрем и в чем останемся. Это фатально, это провода судьбы, это вне воли…»

Уже на следующий день, взволнованный сам до глубины души, он снова берется за перо: «Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно, я вчера заболел, написав то письмо, но я его и сегодня повторяю ‹…› Умоляю тебя, не пиши мне. Ты знаешь, какая мука будет для меня получить от тебя письмо и не ответить. Пусть будет последним – мое. Благословляю тебя, Алю, Мура и Сережу, и все, все твое ‹…› кончаю в слезах. Обнимаю тебя…»

Когда спустя два с половиной года Цветаева будет вспоминать то, что пережила она, читая это письмо, ей придется сравнить остроту испытанной боли с ощущением ножа, проворачиваемого в сердце.

Ей было много легче отказаться от встречи с Борисом Леонидовичем, чем от возможности писать ему: в любой момент довериться перу и бумаге, зная, что конверт с несколькими ее страничками внутри будет горячей радостью для далекого друга… «Я не люблю встреч в жизни – сшибаются лбами», – писала она Пастернаку еще из Чехии. «Хочу Ваших писем: протянутой руки». Еще этой весной 1926 года она писала: «Что бы я делала с тобой, Борис, в Москве (везде, в жизни)? ‹…› Я не могу присутствия, и ты не можешь. Мы бы спелись». В другом письме: «Борис, Борис, как бы мы с тобой были счастливы – и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете, и особенно на том, который уже весь в нас…» И здесь – о том же. Не о соединении судеб, а о счастье коротких встреч. В каком-нибудь безбытном месте, в «нигде», как она это называет. Потому что обстоятельства, окружение, дни и числа всё искажают…

В тот самый день, когда Пастернак отправил письмо о разрыве, 30 июля, Цветаева отмечала свои именины. В Сен-Жиле в это лето ей хватает друзей и знакомых, а значит, поздравлений и добрых слов. Но самым дорогим подарком оказалось письмо Рильке, пришедшее после двухнедельного перерыва. Как и прежние, оно было завораживающе сердечным – и очень грустным. Рильке снова написал о болезни – в самом конце письма объясняя задержку с ответом.

«Райнер, я хочу к тебе, – откликалась Цветаева спустя два дня, – ради себя, той новой, которая может возникнуть лишь с тобой, в тебе…» Она совершенно уверена, что их встреча принесет радость и Рильке; не считала ли она, что «неподвижность души», на которую он в этом письме жаловался,

можно излечить живой нежностью?.. Тяжести состояния поэта она явно не понимает. «Скажи: да, – пишет она ему, – чтоб с этого дня была и у меня радость – я могла бы куда-то всматриваться…»

Борис Пастернак с женой Евгенией и сыном Женей. Фото: И. М. Наппельбаум. 1924 г.

Она ничего не пишет о сроках, ей важно только согласие – до октября она все равно была связана с Вандеей. В следующем письме она возвращается к тому же. Встреча видится ей сначала в каком-нибудь маленьком городке горной Савойи – это почти что «нигде».

Рильке жил теперь уже не в замке Мюзо, а в курортном местечке Рагац. Здесь его безрезультатно лечили в санатории; но, скрывая свое состояние, он написал, что приехал туда, чтобы повидать старых друзей.

Цветаева не знает, что последней возможностью увидеться, встретиться был вот этот август, может быть, еще сентябрь. Позже Рильке слишком страдал, здоровье его стремительно ухудшалось.

Не знал этого и он сам, когда 19 августа отправил Марине письмо, оказавшееся последним. «Да, да и еще раз да, Марина, всему, что ты хочешь и что ты есть, – писал Рильке, – и вместе они слагаются в большое ДА, сказанное самой жизни, но в нем заключены также и все десять тысяч непредсказуемых НЕТ.

Если я менее уверен в том, что нам дано соединиться друг с другом, словно два слоя, два нежно прилегающих пласта, две половинки одного гнезда… то все-таки я не меньше (напротив: еще сильнее) нуждаюсь в том, чтобы однажды высвободить себя именно так из глубины глубин и бездоннейшего колодца. Но до этого – промежуток, страх долгих дней с их повторяемостью, страх (внезапно) перед случайностями, которые ничего не знают об этом и не способны знать. ‹…›

Не откладывай до зимы!.. ‹…› “Можешь не отвечать…” – заключила ты. Да, пожалуй, я мог бы не отвечать: ибо, как знать, Марина, не ответил ли я еще до того, как ты спросила? Уже тогда, в Валь-Мон, я искал его на картах: cette petite ville en Savoie[17], теперь это сказала ты…»

Дом в Бельвю, где поселилась семья Цветаевой осенью 1926 г.

Для того чтобы состоялась эта встреча, нужно было ехать в Швейцарию немедленно.

«Не откладывай до зимы!» Увы, ей не дано было расшифровать этот возглас!..

Рильке умолк.

Вернувшись из Вандеи с детьми в Париж, Марина Ивановна отправила в Швейцарию 7 ноября несколько слов на открытке, изображавшей Бельвю – пригород Парижа, где только что поселилась ее семья:

«Дорогой Райнер! Здесь я живу. Ты меня еще любишь? Марина». Она отослала открытку на адрес замка Мюзо. Но Рильке там уже не было.

По странному совпадению он жил в это время в Сьере в гостинице, носившей то же название – «Бельвю». Он умер 29 декабря.

В самый канун Нового года о его смерти Цветаевой сообщил Марк Слоним.

Весть эта была тем страшнее, что до Марины Ивановны никаких известий о ходе болезни Рильке не доходило. Связей с друзьями поэта у нее не было, пресса молчала.

Оставшись в этот день дома одна – со спящим сыном, она села к столу и взяла в руки перо.

Письменное слово – ее спасательный круг в самые тяжкие минуты жизни; даже тогда, когда нет уже на земле человека, к которому оно обращено.

Два письма написаны Цветаевой в эту новогоднюю ночь. И первое – к Рильке: «Любимый, я знаю. Ты меня читаешь прежде, чем это написано…» – так оно начиналось. Почти бессвязное письмо, нежное, странное.

Цветаева и Рильке. Скульптура работы Н. А. Матвеевой. 1980-е гг.

Но именно в таком виде, не исправляя и не редактируя, она отошлет его – Пастернаку! Присоединив отдельное письмо Борису Леонидовичу – нарушавшее его запрет на переписку…

Лучшие цветаевские произведения всегда вырастали из глубоких ран сердца.

Седьмого февраля 1927 года была завершена блистательная цветаевская поэма «Новогоднее». Подзаголовком проставлено:

«Вместо письма».

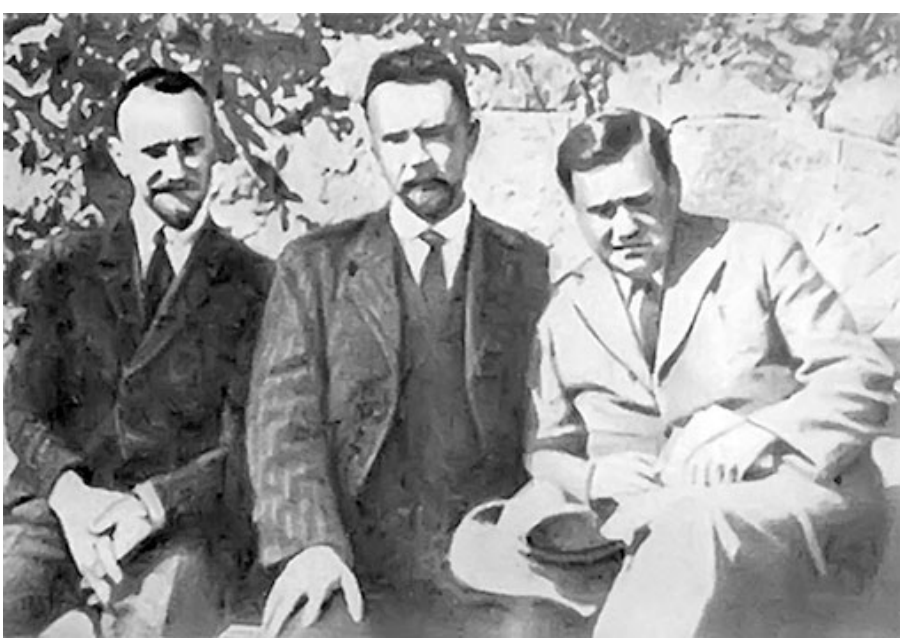
…Что мне делать в новогоднем шуме
С этой внутреннею рифмой: Райнер – умер.
Если ты, такое око – смерклось,
Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть,
Значит – тмится, допойму при встрече –
Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье,
Новое…

Глава 5
Мёдон

1

Журнал «Вёрсты» закончился на третьем номере – из-за недостатка средств. Он не оправдывал финансовых затрат, расходился плохо. А главное – время не стояло на месте, усиливалось брожение умов в среде русской эмиграции.

Год от году нарастала популярность евразийского движения, зародившегося еще в самом начале двадцатых годов. Именно тогда вышли в свет первые книги и сборники, авторами которых были ученые-эмигранты – Н. С. Трубецкой, Г. В. Флоровский, П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский. В статьях и книгах речь шла об особенностях географического положения русского государства, вобравшего в себя черты Европы и Азии. Авторы сходились на том, что результатом этого положения явилась самобытность российской истории, культуры, экономики, религии. И потому, утверждали они, национальное возрождение может наступить только через православие и понимание России как «не Европы и не Азии, не смеси их, а особого материка – океана – Евразии».



Лидеры евразийства. Петр Савицкий, Никита Трубецкой, Петр Сувчинский

Пафос евразийской концепции был открыто антизападническим и сочетался с критикой предреволюционных умонастроений русской интеллигенции. Все это звучало в высшей степени актуально для людей, вынужденных покинуть свою родину и ощущавших внутреннюю чуждость европейскому укладу.

Евразийцы решительно не принимали советскую власть. Их критика была направлена против узкоматериалистического миросозерцания большевиков, а также против их экономической программы. Но они устали от постоянного унылого обличительства большевистских порядков в России, заполонившего страницы эмигрантской печати, от этого вечного «плача на реках вавилонских».

Когда вышел в свет первый номер «Вёрст», его сразу назвали «евразийским» изданием, хотя оснований для такой аттестации было не слишком много; скорее всего, гипнотическое действие оказало имя Сувчинского на обложке журнала.

Сергей Яковлевич Эфрон поначалу открещивался от личного участия в евразийстве. Но еще в феврале 1926 года (то есть вскоре после приезда в Париж и знакомства с Сувчинским) в письме к своему другу Недзельскому в Прагу он сообщал: «… самое интересное, творческое и живое в эмиграции объединено в евразийстве».

Примкнул он к евразийцам во второй половине 1926 года. Путь от настороженности и некоторой опаски до полной поглощенности основными идеями (и их адептами) был пройден стремительно. При более близком знакомстве Сергею Яковлевичу понравился евразийский подход к национальному самосознанию – «через самосознание культурное», как определил он сам в письме тому же адресату. Ему же он напишет: «Евразийство демократичнее и левее всех существующих за рубежом групп».

«Демократичнее и левее» – вот что прельщает Эфрона в первую очередь. И к концу того же года из просто сочувствующего он превратился в единомышленника. А в декабре уже принимал самое деятельное участие в создании Евразийского клуба в Париже.

В мае 1927-го Недзельскому сообщено, что евразийская работа стала основным жизненным занятием Эфрона. А это означает, поясняет Сергей Яковлевич не слишком внятно, – связь с Россией.

Не потому ли евразийское движение так быстро его завоевало, что само оно ко второй половине двадцатых годов

заметно изменилось? Сугубых теоретиков сильно потеснили люди решительно иного склада и типа. Они жаждали скорейшего включения евразийских идей в современную реальность. «Евразийство отравилось вожделением быстрой и внешней удачи», – писал один из основателей движения Флоровский в 1928 году. Но предотвратить начавшееся было уже невозможно: движение все более и более превращалось из идейного и идеологического в политическое.

В его структуре стали отчетливо проступать черты партии, ставящей перед собой практические действенные задачи и имеющей свое Политбюро.

Евразийское движение было представлено во всех странах русского рассеяния. Самыми влиятельными были группы в Праге (во главе с Савицким) и Париже (во главе с Сувчинским). Их окраска отличалась друг от друга – и вскоре это проявилось самым откровенным образом.

Наиболее радикально настроенной оказалась парижская группа. В нее входили и к ней примыкали: П. П. Сувчинский, Д. П. Святополк-Мирский, П. Н. Малевский-Малевич, П. С. Арапов, К. Б. Родзевич, В. Э. Сеземан, А. С. Лурье, А. С. Адлер, Э. Э. Литауэр и некоторые другие. Видной фигурой в ее рядах оказался Эфрон. Почти сразу он стал незаменимым организатором множества открытых – и скрытых! – евразийских мероприятий.

Для характеристики Сергея Яковлевича немаловажно то обстоятельство, что вырос он в семье революционеров-народовольцев. Героическая биография его матери – Елизаветы Дурново, юной девушкой покинувшей обеспеченную жизнь в дворянской семье ради подпольной революционной деятельности, несомненно оказала на него могучее влияние. То ли в шутку, то ли всерьез Эфрон рассказывал друзьям, что еще в семь лет он «прятал от полиции бомбу в штанах». Прятал ли он бомбу на самом деле – неизвестно, но достоверно, что маленьким мальчиком он уже ходил в тюрьму на свидания с матерью. И знал множество романтических и опасных эпизодов ее нелегкой судьбы. Так, почти генетически, он нес в себе наследие народовольческой российской интеллигенции – с ее жертвенной самоотреченностью, политическим максимализмом и тем комплексом, который писатель Юрий Трифонов емко назвал «нетерпением».

Красивый, общительный, мастер веселой шутки и импровизационных розыгрышей, он привлекает к себе симпатии самых разных людей; его человеческое обаяние бесспорно. Его

охотно зазывают в гости, часто приглашают вместе путешествовать на машине, помогают устроиться в санаторий, когда он заболевает. С ним легко, и с ним интересно. Но привлекает к нему не только легкость характера, остроумие и доброта – привлекает его искренняя одержимость благородными альтруистическими идеями.

В нем нет ничего от светского остроумца и болтуна. Обилие друзей и знакомых не мешает осуществлению одной из важнейших потребностей его натуры – потребности действия. Неуемная энергия сочетается с абсолютным бескорыстием – и в результате он всегда добровольно тащит на себе груз самых разнообразных общественных должностей: от казначея русского Студенческого союза в Праге до председателя Евразийского клуба в Париже.

В какой бы период зрелой жизни Эфрона мы ни вгляделись – он всегда на службе той или иной благородной (в его глазах!) «идеи».

В московские студенческие годы – идет Первая мировая война – он уходит добровольцем в санитарный поезд, братом милосердия, несмотря на крайне слабое здоровье. В самые первые дни Гражданской войны он – в рядах Добровольческой армии. В Чехословакии руководит одним из студенческих союзов. Настойчивыми хлопотами и усилиями находит средства и налаживает издание серьезного (хоть и тонкого) журнала «Своими путями», осуществляя выпуск двенадцати интереснейших номеров. В Париже вся организационная сторона подготовки «Вёрст» – также дело его рук…

Лучше всего он чувствует себя, оказываясь в центре кипучей деятельности. Тяжелее всего переносит «тихие» периоды, когда приходится думать о заработке, устройстве на службу и бытовых проблемах.

Но сказать об Эфроне «деятельная натура» – еще не значит назвать главную пружину его личности. Самоотверженность в сочетании с одержимостью – вот еще одна характернейшая его черта. Чем больше требуется личных усилий и жертв, тем тверже он убежден в верности избранного пути. Его недостатки, как это часто случается, лишь продолжение его достоинств.

Ибо он торопился предложить свои силы, энергию и самоотречение, подчас не успевая вглядеться в смысл схватки, в которую он ввязался. Жажда действия опережала в нем осознание мотивов действия. Она явно сильнее его способности к трезвому анализу ситуации. Он доверчив – и политически недальновиден. А тянет его все время как раз к активному участию в политической борьбе.

Нет никаких сомнений в том, что совокупность этих свойств его личности достаточно рано была замечена и отмечена – где надо и кем надо. Не заметить фигуру Эфрона, вставшего во главе Евразийского клуба в Париже, было невозможно. Психологи и ловцы душ в самом авторитетном Учреждении Страны Советов ели свой хлеб не зря. И с момента его вхождения в евразийскую организацию личная судьба его – это становится ясно только теперь – была предрешена.

Но предрешена она тем самым и для Марины Цветаевой.

Пройдет не так уж много времени – и неодолимая сила Рока потащит ее за собой, как тело пленника тащил по земле кочевник, привязав его длинной веревкой к седлу своего коня.

Популярность евразийского движения нарастала в 1927–1928 годах в Париже со скоростью снежной лавины. Помещения, где проходили дискуссии и семинары, не могли вместить всех желающих, и раз от разу приходилось подыскивать все большие. Естественно, что правое и умеренное крыло эмигрантских идеологов все более открыто выказывало растущее недовольство и обеспокоенность. На евразийцев и евразийские идеи участились нападки со страниц разных изданий.

Между тем отвечать на них было негде. Неотлагаемо встала задача создания периодического печатного органа.

Решение об издании собственного еженедельника было принято Политбюро евразийской организации в июле 1928 года. Кредитовать издание, получившее название «Евразия», согласился английский миллионер Сполдинг, распропагандированный своим другом-евразийцем П. Н. Малевским-Малевичем (кстати, спортивные товары с фирменным знаком Сполдинга и сейчас еще можно встретить в Великобритании).

Для курирования «Евразии» создали «идеологическую тройку» в лице виднейших евразийцев: Савицкого, Трубецкого и Сувчинского. Несколько месяцев «тройка» занималась выработкой «основополагающих формулировок». По существу, это была сводка главных положений, к которым пришла к этому времени евразийская мысль.

Редакция расположилась под Парижем, в Кламаре. Там жили многие русские эмигранты, в их числе – Сувчинский. Он и стал главным лицом в редакции еженедельника.

Вскоре обнаружилось, что Петр Петрович ни с кем другим не намерен считаться. Равно как и с «основополагающими формулировками», созданными с таким тщанием. Способствовало этому то обстоятельство, что князь Трубецкой был постоянно в разъездах, а Савицкий жил в Чехословакии.

Еще на стадии подготовки первых номеров «Евразии» до

Праги доходят известия о ревизионистских веяниях в редакции еженедельника. И за месяц до выхода первого номера встревоженный Савицкий едет в Кламар.

Он пришел в ужас, ознакомившись с подготовленными материалами. В передовице первого номера ни слова не говорилось об «идеократии», занимавшей виднейшее место в программе евразийцев, – то есть о руководящих религиозных, духовных началах общественной жизни. Зато сюда вклинились сомнительные формулировки о марксизме, который, оказывается, следовало лишь «расширить», чтобы использовать, а также о частной собственности, значимость которой подвергалась сомнению. Как раз этой осенью 1928 года парижская группа провела два совещания: одно посвященное оценке марксизма, другое – экономическим вопросам. Савицкий отчетливо уловил на том и другом настроения, которые он назвал позже «коммуноидальными». Кламарцы говорили не только о пользе «преображенного» марксизма, но и нечто совсем уж странное – о структуре советской экономики…

Петр Сувчинский

От конкретных вопросов и обсуждения взглядов и позиций Петр Петрович Сувчинский упорно и ловко уходил. И, наперекор очевидности, отрицал наличие серьезных разногласий в евразийской среде. «Евразийские тексты – не Священное Писание, чтобы нельзя было пересматривать их отдельные постулаты!» – повторял он Савицкому и другим оппонентам при каждом удобном случае. Несколько раз в конце октября – начале ноября того же 1928 года в Кламар приезжает еще один видный

евразиец – профессор права Н. Н. Алексеев. Совсем недавно у кламарцев были с ним прекрасные личные отношения. Однако Алексеев солидаризируется с Савицким и также считает, что назрел кризис евразийской партии. Кламарцы на глазах превращаются в апологетов коммунизма!

Но высшего пика конфликт достигает, когда Савицкий знакомится с материалом, как бы только что поступившим для первого номера еженедельника.

Это «Приветствие Марины Цветаевой Маяковскому». Впоследствии Савицкий убежденно говорил о том, что материал этот нарочно ему был показан накануне отсылки в типографию, – дабы уже ничего нельзя было изменить.

«Приветствие» представляется Савицкому крайне двусмысленным. В его глазах это заявленная солидарность с поэтом – воинствующим атеистом. Причем в первом же номере нового издания!

Петр Николаевич пытается воззвать к Сувчинскому прямо на заседании редколлегии, где его ознакомили с цветаевским текстом. Но Петр Петрович куда-то очень спешит. И протест Савицкого повисает в воздухе.

А к концу следующего дня ему показывают текст уже в корректуре!

Крайне обеспокоенный, около полуночи Петр Николаевич едет домой к Сувчинскому. И больше двух часов подряд он умоляет своего сподвижника снять материал, пока не поздно. Хорошо, пусть он пойдет в следующих номерах – но только не в первом, столь важном для нового издания!

Однако Петр Петрович неумолим. Он находит доводы Савицкого несущественными и не желает ничего менять. Он ведет себя как настоящий узурпатор, ибо именно в его распоряжении оказались финансы, доверенные «тройке». А раз в его руках финансы – значит, в полном его распоряжении и печатный станок!

Ранним утром 22 ноября Савицкий передает Сувчинскому свое письмо с протестом и заявлением о том, что дальнейшее сотрудничество с парижской группой и редакцией еженедельника он считает невозможным: налицо полное отсутствие идеологического единства.

Остается немногим более суток до выхода в свет тиража новой газеты.

Как результат усилий Савицкого в Кламар приходит телеграмма от Трубецкого: тот полностью поддерживает требование о снятии из номера цветаевского текста.

Успех протеста – тот же.

И 24 ноября 1928 года первый номер газеты «Евразия» выходит в свет. Обращение Марины Цветаевой занимает на ее страницах самое видное место.

На фоне развернувшихся за кулисами драматических баталий его текст кажется нам сегодня совершенно невинным:

«28-го апреля 1922 г., накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского.

– Ну-с, Маяковский, что же передать от Вас Европе?

– Что правда – здесь.

7 ноября 1928 г., поздним вечером, выходя из Cafe Voltaire, я на вопрос:

– Что же скажете о России после чтения Маяковского? – не задумываясь ответила:

– Что сила – там».

И только-то!

Но, конечно, вызов тут был. И звук пощечины был достаточно слышен. Пощечины ни просоветской, ни противосоветской. Поэт протягивал руку поэту поверх политических розней. То, что там – сила, в устах Цветаевой не такая уж безусловная похвала. Но здешним «слабакам» – поэтам ли, политикам ли – этого было достаточно.

В ближайшие месяцы Сувчинский продолжает вести себя как полноправный и единоличный хозяин издания. Он и не думает советоваться с остальными членами «идеологической тройки». И решительно редактирует все тексты, с которыми не согласен. Редакционная коллегия практически перестает существовать. В течение декабря она не собирается ни разу.

В самый канун нового, 1929 года Трубецкой телеграммой извещает Сувчинского о своем выходе из евразийской организации.

Из Праги Савицкий прилагает все возможные усилия, чтобы созвать Политбюро для срочных решений. Это ему не удается. Тогда в начале января он снова приезжает из Праги в Париж.

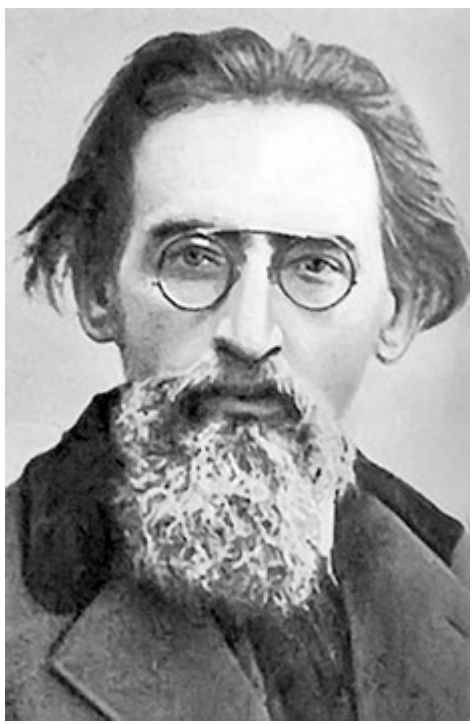
К этому времени из Ковно в Кламар прибывает Лев Карсавин. Савицкий надеется на его помощь и делает еще одну попытку навести мосты. Но и совещание втроем не приносит мира. Почти обрадовавшись резким словам о «нарушении нравственных норм», неосторожно произнесенным в начале встречи Савицким, Сувчинский отказывается вообще искать компромисс.

Так возникает раскол в среде евразийцев; он получит название «кламарского».

Текст Цветаевой сыграл в нем роль перчатки, брошенной в лицо умеренному крылу евразийцев.

Трудно сказать, насколько Марина Ивановна была осведомлена относительно подробностей всех споров в редакции «Евразии». Но в эти годы Эфрон еще не ушел в конспиративное подполье, и в их мёдонской квартире постоянно клубились его сподвижники по евразийскому движению. А кроме того, скандал, разразившийся в Кламаре, очень скоро стал достоянием эмигрантской прессы. На страницах «Возрождения», «Дней», «Последних новостей», «Сегодня» живо обсуждается и комментируется случившееся.

Цветаева, конечно, знает главное: евразийцы уже не едины. Резкая межа разделит их на «правых» и «левых». «Левые» – в числе которых оказался и ее муж – начнут с этих пор стремительное сближение со Страной Советов.



Лев Карсавин

Цветаевские оценки евразийства и евразийцев – насколько мы их знаем по письмам к Анне Тесковой – достаточно прохладны. Она признавала, что в этой среде много по-настоящему интересных людей. И их, в самом деле, немало. Одним из них был Лев Карсавин (Цветаева дружит и с ним, и с его женой);

евразийцам сочувствовали и Н. А. Бердяев и Г. В. Вернадский. Совсем недавно Марина Ивановна восхищалась супругами Сувчинскими, оба представлялись ей яркими личностями. В евразийской среде она встретила и Елену Извольскую, ставшую ей вскоре близким другом. Время от времени Цветаева посещает лекции и дискуссии евразийцев, но отвлеченные споры почти всегда ей скучны. Люди, целиком погруженные в «общественность», ничего, кроме нее, вокруг себя не замечающие и на живую жизнь с трудом реагирующие, не могли стать ей по-настоящему близкими.

Она напишет потом в эссе «Поэт и время»: «Почвенность, народность, национальность, расовость, классовость – и сама современность, которую творят, – все это только поверхность, первый или седьмой слой кожи, из которой поэт только и делает, что лезет».

И там же: «Земное устройство не главнее духовного, равно как наука общежития не главнее подвига одиночества. ‹…› Земля – не всё, а если бы даже и всё, – устроение людского общежития – не вся земля. Земля большего стоит и заслуживает». Другие силы в мире – силы любви, «двигатели жизни духовной» (как называет их Цветаева), первенствуют в ее ценностях.

Елена Извольская

В зарисовке Извольской Цветаева живо описана на вечеринке евразийцев – в то короткое время счастливого начала движения, когда евразийство еще не отравилось, по словам самой Извольской, «изгибами и перегибами»:

«Мы собрались на квартире одного из основоположников движения, к которому тогда еще примыкал муж Марины, Сергей Эфрон. Крошечные комнаты были набиты гостями, в воздухе вились клубы дыма. Царило необычайное оживление; должно быть, присутствие нового среди нас человека, Марины, воспринималось нами как нечто загадочное, неизвестное и очень значительное. Не похожа на свой портрет в “Вёрстах” Марина для меня потому, что на фотографии она слишком “хорошенькая”, круглолицая, нарядно одетая и причесанная. Та, которую я в тот вечер увидела, не была ни нарядной, ни хорошенькой: худа, бледна, почти изможднена; овал лица был узок, строг, стриженые волосы – еще светлые, но уже подернуты сединой, глаза потуплены. Вся она была не хорошенькая, а иконописная. Однако, несмотря на некоторую суровость, она быстро втянулась в атмосферу нашей вечеринки и приняла участие в беседе. Мне хочется тут подчеркнуть, что Марина вовсе не была столь “дикой”, “одинокой”, “нелюдимой”, как ее нынче изображают и как она сама себя любила изображать. По крайней мере, внешне она людей не чуждалась, даже охотно с ними знакомилась, интересовалась ими. В ней была большая чуткость к человеку, она искренно хотела с ним общаться, но не умела, быть может, или не решалась.

На вечеринке, помнится, Марина направила на меня взгляд своих зеленоватых, мутных, близоруких и удивительно прозорливых глаз. И заговорила со мной о Пастернаке. В то время я как раз перевела на французский язык стихотворение Пастернака “Душная ночь”. Перевод мой был напечатан в литературном журнале “Коммерс”, выходившем под редакцией Поля Валери. Каким-то образом Пастернак имел возможность познакомиться с моей работой и, по сообщению Марины Цветаевой, остался доволен. Цветаева сама очень любила это стихотворение, одно из самых “несказанных”, как пишет она. Итак, под знаком Пастернака мы познакомились.

Кроме того, мы оказались соседями. Я жила в “банльё” в Мёдоне, на улице Марешаль Жоффр. Марина с семьей наняла в Мёдоне же квартиру…»

На новое место Эфроны переехали весной 1927 года – когда были еще живы многие надежды и иллюзии. От Бельвю до Мёдона – рукой подать: парижские «банльё» – пригороды – плавно

перетекают одно в другое.

Они сняли квартиру на втором этаже большого нового дома, нетипичного для Мёдона, – и уже через год поняли, что это жилье им не по карману. Зато тут нашлась небольшая, но отдельная комнатка-кабинет для Марины. И были еще две комнаты, и ванная, и центральное отопление – неслыханный комфорт! С некоторыми, правда, неудобствами, вроде того, что уголь для топки полагалось покупать самим жильцам…

Мёдон

Мёдон Цветаева полюбила. Улица, на которой они жили, носила тогда имя Жанны д'Арк, – теперь это авеню Дю Буа.

Цветаева любила бродить по Мёдону, рассматривая старые дома с красными черепичными крышами, двух– и трехэтажные, сложенные из крупного розоватого камня. Стены домов увиты плющом, а балкончики украшены резной чугунной решеткой. Цветы вдоль окон, покой, тишина – и какой-то необъяснимый запах ушедших времен. В разные времена в Мёдоне жили замечательные люди – Ронсар, Руссо, Бальзак, Вагнер, Роден, Айседора Дункан и еще многие, – и улочки сохранили почти все эти имена.

Одним своим концом улица Жанны д'Арк вливалась прямо в огромный мёдонский лес, где некогда охотились французские короли. Окраина леса была замусорена жестянками из-под консервов и засаленными бумажками – их Марина Ивановна

неутомимо собирала и ожесточенно сжигала в кострах, несмотря на строжайший запрет властей разводить здесь огонь. С маленьким Муром далеко не уйдешь, но когда удавалось пойти на прогулку одной или с кем-нибудь из друзей – она готова была бродить по лесу часами.

Мёдон. Дом на авеню Жанны д'Арк

Но если идти от дома, где они жили, в другую сторону, дорога круто поднимается в гору. По улице Пьер можно пройти мимо дома Мадлен Бежар, где жил в свое время Мольер; еще выше расположилась дача философа Жака Маритена, которого Цветаева изредка видела в Париже на «франко-русских встречах». С верхней террасы Мёдона в ясную погоду открывается прекрасный вид на Париж: город лежит как на ладони – от базилики Сакре-Кёр до Эйфелевой башни.

Сюда, в Мёдон, осенью 1927 года приезжала к сестре в гости Анастасия Цветаева, здесь навестил Марину Ивановну во время парижских гастролей Вахтанговского театра Павел Антокольский.

К мёдонскому времени относится и глубокая сердечная дружба Цветаевой с поэтом Николаем Гронским; теплые отношения завязались тут с художницей Гончаровой и с той же Извольской – переводчицей, писательницей и публицисткой.

Мёдонское пятилетие оказалось насыщенным творчески; впрочем, у великой труженицы Цветаевой иного периода и не

было, вплоть до самого конца тридцатых годов. В Мёдоне написаны: трагедия «Федра», поэмы «Красный бычок» и «Перекоп», «Поэма Воздуха», проза «Наталья Гончарова», французский вариант поэмы «Молодец».

Помедлим минуту, читатель… Художественный анализ произведений – вне жанра этой биографической книги, и потому скажем без доказательств, что достоинства названных несомненны (трагедия «Федра», к примеру, до сих пор не сходит с театральных подмостков разных стран). Поразимся другому: неутомимости и мощи самого творческого импульса Цветаевой. Она работает в материале самых разных эпох – от античного мифа до реалий XX века; в разных жанр ах: трагедия, философская поэма о посмертных метаморфозах души («Поэма воздуха»), прозаический портрет современной художницы, самоперевод сложного поэтического произведения на другой язык («Молодец»)… При этом каждый раз перед нами не наброски, отрывки, планы, отдельные страницы, а законченные, художнически отшлифованные произведения! Напряжение мысли – и неустанные пробы новой стилистики, не «новаторства» ради, – ради воплощения тех жизненных смыслов, которые непрерывно вспыхивают в этом уникальном творце.

Марине Цветаевой, когда она поселяется в Мёдоне, – тридцать пять лет…

Николай Гронский

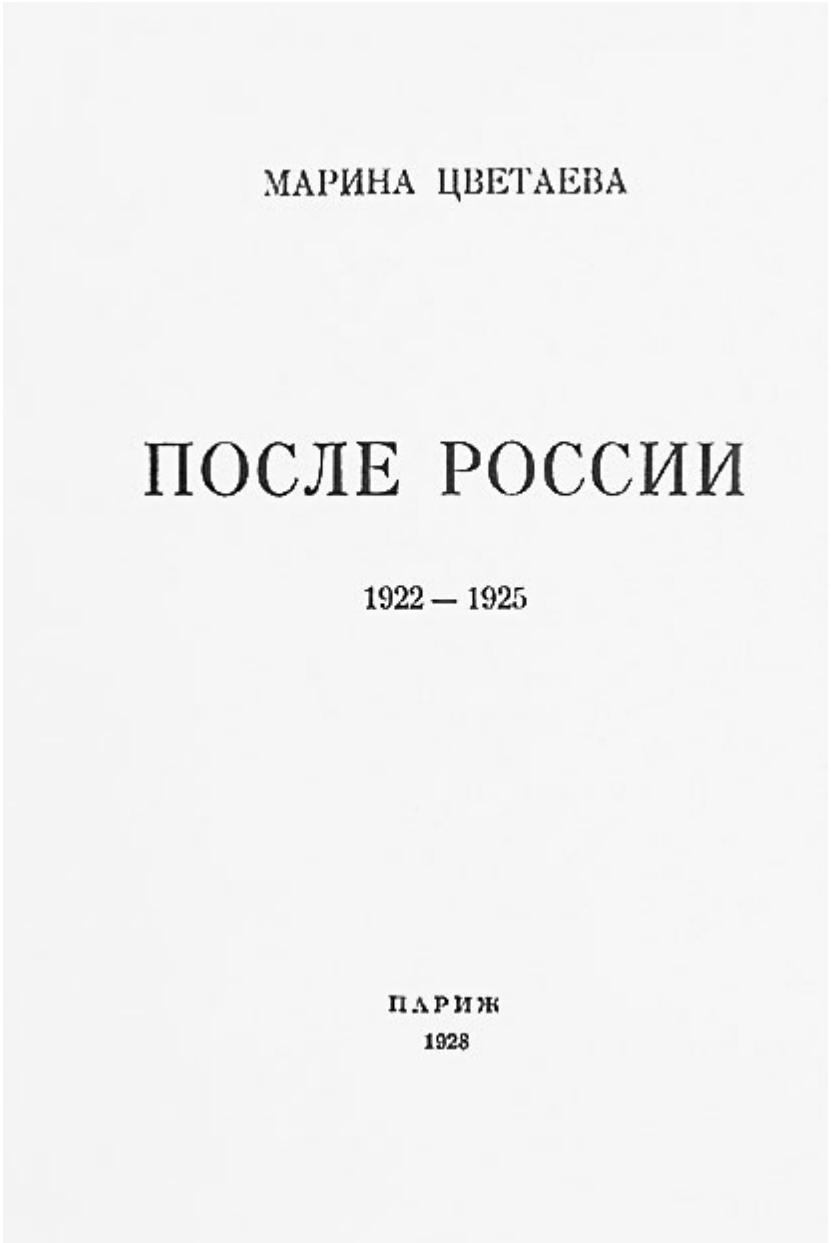
Материальное положение семьи резко ухудшилось с начала 1928 года. Из семейного рациона исчезли мясо (включая конину) и яйца; сливочное масло полагалось только маленькому Муру; сладкого уже не полагалось никому.

Счастьем было то, что за год до того Цветаевой удалось-таки издать книгу стихотворений, написанных после отъезда из Москвы. Она так и назвала ее – «После России»; сюда вошла вся лирика берлинского и чешского периодов.

Увы, книга оказалась последней: за почти пятнадцать лет Франции, при неустанной работе и необычайной плодовитости Цветаевой, других у нее так и не появилось. Ни поэтических, ни прозаических. Не принесла ни франка и эта; впрочем, другого не ждали.

Все главные эмигрантские газеты – «Последние новости», «Возрождение», «Дни», «Сегодня» – откликнулись на выход «После России». Даже Г. Адамович со своей неизменной арифметикой вокруг «плюсов» и «минусов» цветаевской поэзии вывел-таки положительное сальдо.

Владиславу Ходасевичу, постоянно выступавшему с критическими обзорами в газете «Возрождение», многое в новой цветаевской книге показалось спорным. Он считал, что Цветаева «не права, слишком часто заставляя читателя расшифровывать смысл, вылущивать его из скорлупы невнятицы, происходящей не от сложности мысли, а от обилия слов, набранных спешно, бурно, без выбора, и когда, не храня богатств фонетических, она непомерно перегружает стих так, что уже нелегко выделить прекрасное из просто оглушающего…».



Обложка книги «После России»

«Спешно, бурно, без выбора»… Не видел он цветаевских черновиков, чудовищного количества ее вариантов! А все же он признал замечательные достоинства новой книги Цветаевой. И даже поставил ее поэтические достижения несравненно выше пастернаковских.

Стихи Цветаевой приветствовал в своей рецензии неизменно дружественный Слоним, тонко заметив при этом, что они «полны

такой подлинной страсти, в них такая почти жуткая насыщенность, что слабых они пугают, – им не хватает воздуха на тех высотах, на которые влечет их бег Цветаевой»…

Поэтический язык «После России» являл собой новый этап цветаевского творчества. Зародившийся еще на заре революционных лет (сборник «Ремесло»), он отразил новое мироощущение поэта. На чешской земле этот язык обрел черты герметичности, рожденной нелегким вхождением поэта в мир новых ценностей, изменившимся взглядом на само бытие человека в мире. Поэтика Цветаевой еще будет меняться: не теряя масштабности и философичности, в тридцатые годы она обретет гораздо большую прозрачность…

Злополучное «Приветствие Маяковскому» долго еще аукалось Марине Ивановне.

Оно не понравилось не только Савицкому. Вся эмигрантская пресса расценила его однозначно – как одобрение не творчества Маяковского, а режима советской России. В письме к Р. Н. Ломоносовой Марина Ивановна с иронией передавала фразу сказанную Милюковым: «Она приветствовала представителя советской власти!»

И в наказание Цветаеву отлучают два крупнейших эмигрантских издания: газета «Последние новости» и журнал «Современные записки». Первая допустит на свои страницы цветаевскую прозу только спустя четыре года после инцидента, второй – через девять номеров, то есть через два с половиной года! (Это «отлучение» крайне тяжко отозвалось на бюджете цветаевской семьи.)

Что, разумеется, не помешало Марине Ивановне в следующий, последний приезд Маяковского во Францию, весной 1929 года, снова пойти на его выступления и даже по просьбе поэта на одном из вечеров помогать ему в качестве переводчицы.

С сыном. Мёдон, 1928 г.

Но чувство благодарности (по крайней мере, по отношению к Цветаевой) Маяковского явно не тяготило. Публично он высказывался о ее стихах с неизменным пренебрежением, «предостерегая» доверчивых читателей от «классово чуждого» поэта. Именно так он упоминал ее в статье 1926 года. А осенью

1929-го, выступая в Москве на заседании правления РАППа, позволил себе грубый, чтобы не сказать резче, выпад против цветаевской поэзии, не утруждая себя аргументацией.

Это публично. Но в частной беседе с Пастернаком весной 1922 года он хвалил только что вышедший ее поэтический сборник «Вёрсты». И, по свидетельству Н. Д. Оттена, так восхищался цветаевской «Поэмой Конца», что в 1927 году прочел Оттену наизусть всю поэму, пока они шли по улицам и набережным Ленинграда, пересекая город из конца в конец.

Добавим сюда и еще одну непоследовательность: на юбилейной выставке «20 лет работы», открытой уже в 1930 году сердечное письмо Цветаевой поэту написанное в Париже, было выставлено им на самом почетном месте среди других экспонатов…

Со времени евразийского скандала в Кламаре никто уже не хотел вникать в подробности того, насколько Цветаева разделяет политические увлечения своего мужа. И потому все ближайшие годы репутация Эфрона сильнейшим образом влияет на отношение парижской эмиграции к ней.

В результате, по свидетельству Марка Слонима, уже к началу тридцатых годов Марина Ивановна оказалась «более изолирована в Мёдоне, чем за пять лет до того в чешской деревне. В эмигрантском Париже она не пришлась ко двору. В лучшем случае ее терпели в газетах и журналах, где она могла печататься, и сотрудничество ее часто происходило в условиях, казавшихся ей оскорбительными. Она не заняла никакого места в эмигрантском “обществе” с его салонами, политическими и литературными, где все знали друг друга ‹…› “сидели за одним чайным столом” и, несмотря на различие взглядов и положений, находились “среди своих”. Она же была дичком, чужой, вне группы, вне личных и семейственных связей и резко выделялась и своим обликом, и речами, поношенным платьем и неизгладимой печатью бедности…».

3

Еженедельник «Евразия» просуществовал совсем недолго – с ноября 1928 года по сентябрь 1929-го. Вышло тридцать пять номеров, из которых первые восемь были отпечатаны на тонкой папиросной бумаге. Пройдет менее десяти лет, и Эфрону придется пояснять это обстоятельство в Москве на жестоких допросах Лубянки.

Он сообщит, в частности, что цель была проста: облегчить переправку еженедельника нелегальным путем в Советский Союз. Весьма важная подробность.

Именно протоколы допросов Эфрона и некоторых его сподвижников, вернувшихся на родину и вскоре арестованных, дают недвусмысленное подтверждение тому, о чем лишь немногие из эмигрантов конца двадцатых годов догадывались.

Зинаида Шаховская в своих мемуарных беседах, записанных М. Жажояном и озаглавленных «Не участник, а зритель», размышляя о евразийцах, с которыми она постоянно встречалась, утверждала: «Основывать политическую партию им и в голову не приходило. Это было сотрудничество, свободное от всяких партийных оков, нечто вроде клуба размышлений о судьбах России, опытного осмысления случившегося…» Теперь уже пора назвать это мнение застарелым заблуждением.

Во второй половине двадцатых годов тайная деятельность евразийцев, еще не расколовшихся на «правых» и «левых», явно уже представляла собой продуманную и широко раскинутую сеть. Если до образования редакции «Евразии» она носила недвусмысленно антисоветский характер, то затем стала меняться. Во всяком случае, почти все признаки именно партийной работы были налицо. Самая секретная группа (ее возглавляли Арапов и Родзевич) ведала пересылкой евразийской литературы в СССР, другой «сектор» занимался переправкой туда же специальных эмиссаров. Делалось это с помощью широко известной теперь организации «Трест».

(До поры до времени евразийцы чистосердечно верили, что «Трест» – организация их единомышленников, возникшая и действующая нелегально на территории Советской страны. И даже после первых разоблачений, обнаруживших прямую связь «Треста» с ОГПу в евразийских кругах упрямо утверждали, что проникновение в «Трест» отдельных «чекистов» еще не дискредитирует всю организацию. Они были не способны поверить в то, что «Трест» был исходно придуман в кабинетах Дзержинского и его сподвижников, а уж затем изобретательно инсценирован – ради целей грандиозной провокации. Месяцы и годы подряд евразийцы самонадеянно повторяли, что сумеют «переиграть» ОГПУ – и даже использовать в своих интересах настойчивые попытки Учреждения войти с ними в контакт. Известно, чем увенчались эти наивные надежды.)

Наконец, существовал еще и третий «сектор» в этом «клубе размышлений». Он организовывал евразийскую пропаганду в самой Франции. С этой целью устраивались встречи и доклады вполне академического характера – на них приглашали как

эмигрантов, так и советских граждан, приезжавших на время за границу. Так, в числе выступавших дважды был известный лингвист Н. Я. Марр.

У нас не будет более удобного случая дать читателю услышать голос Эфрона-журналиста. А написал он немало: помимо прямых мемуаров – и рассказы, и статьи о кинематографе, которым он очень увлекался, и отклики-рецензии на отдельные журналы и произведения. В «Евразии» он выступал неоднократно, и, как можно предположить, не всегда его тексты были подписаны полным именем – иногда это всего лишь инициалы. Но это не общетеоретические выступления.

Приведу несколько фрагментов из одной редкой по обстоятельности его статьи. Она называлась «Эмиграция». Цитирую ее начало:

«Есть в эмиграции особая духовная астма. Производим дыхательные движения, а воздуха нет. Которая весна, лето, осень и зима протекли, а вот не заполнили ни одного времени года – черными и красными цифрами календаря. День превратился в бесцветную временную единицу, отсекаемую неумолимым маятником. Желтый свет электрической лампы сменяет белые лучи солнца. И ничего больше.

Сергей Эфрон

Мир обезголосился и обесцветился. Словно вошли мы чудесным образом в кинематографический фильм без красок, без солнца, без воздуха, с белесым светом, с серыми лицами и с математическим, а не космическим пространством. Неутомимый тапер годами наколачивает по клавишам победоносный марш. Фильм мелькает, а ‹…› дышать нечем. И чем дальше, тем душнее, тем безвоздушнее. ‹…›

Мы смотрим на жизнь Запада из окон эмигрантского постоялого двора. И взгляд наш не является взглядом жадного на впечатления путешественника, а мертвым глазом застрявшего в пути, раздраженного, опустошенного, ничем, кроме расписания поездов, не интересующегося пассажира. Семь-восемь лет живем мы так, брюзжим друг на друга (совсем как в дороге), судим об окружающем нас мире по станционным строениям и буфетным стойкам, тщетно вперяем взгляд в заросшие чертополохом пути, вслушиваемся, не загудит ли долгожданный паровоз, с жадностью ожидаем прибытия свежей партии газет и особенно раскупаем те из них, которые печатают жирным шрифтом о скором прибытии застрявшего поезда…»

Особенно важна в свете последующей биографии Эфрона концовка этой большой статьи: «Но может быть, возвращение в Россию через советское полпредство и есть лучший выход из тяжкого безвоздушного эмигрантского бытия? Может быть, прав А. В. Пешехонов, задерживающийся меж нами, эмигрантами, до получения необходимой печати на паспорте? Следуя его разумному примеру, позволю себе и я разрешить этот вопрос лишь в личном порядке. Наши положения не схожи: как рядовому бойцу бывшей Добровольческой армии, боровшейся против большевиков, возвращение для меня связано с капитуляцией. Мы потерпели поражение благодаря ряду политических и военных ошибок, может быть, даже преступлений. И в тех, и в других готов признаться.

Сергей Эфрон с сыном. Савойя, начало 1930-х гг.

Но то, за что умирали добровольцы, лежит гораздо глубже, чем политика. И эту свою правду я не отдам даже за обретение Родины.

И не страх перед Чекой меня (да и большинство моих соратников) останавливает, а капитуляция перед чекистами – отказ от своей правды. Меж мной и полпредством лежит препятствие непереходимое: могила Добровольческой армии».

В самом конце 1929 года у Эфрона вспыхнул туберкулезный процесс в легких. Друзья выхлопотали для него стипендию Красного Креста, что позволило Сергею Яковлевичу почти десять месяцев с небольшим перерывом провести в русской санатории в горной Савойе. Летом 1930 года Цветаева приехала с сыном туда же; немного позже, сдав экзамены во французской школе

рисования, в Савойе появилась и Ариадна.

В трех верстах от санатории сняли маленький старый домик, почти прилепившийся к горе, в стороне от остальной деревни. В огромном дворе, рядом с сараями и сеновалами, возвышалась давно отслужившая мельница.

Лето выдалось дождливое, грозовое, иногда гроза гремела по два и три раза в день; всего несколько недель простояли по-настоящему летних.

Ближний лес от дождей отсыревал, продираться сквозь мокрые заросли плюща и ежевики было нелегко. Под ногами хлюпала вода. В деревне, кроме молока и сыра, ничего нельзя было купить, и через день-два приходилось ходить за провизией в ближайший городок Ла-Рош, на рынок. И все же здесь было прекрасно. Блаженная тишина, блаженные часы наедине с тетрадью, с природой, прогулки, приветливые лица местных крестьян.

Летние месяцы давали Марине Ивановне ничем не заменимый заряд энергии. Осенью, по возвращении, начиналась неизбежная и стремительная его растрата…

Последние месяцы 1930 года прошли для Эфрона под знаком безуспешных попыток найти хоть какой-нибудь заработок. Конец «Евразии» оставил его в безвоздушном пространстве. Диплом, полученный им в Праге, не имел решительно никакого веса во Франции. Плохое здоровье не позволяло идти на завод или фабрику; стать шофером такси было неслыханной удачей, на которую нельзя было и рассчитывать. Но, кроме всего, Сергей Яковлевич, хотя и снизил уровень своих надежд и притязаний, все же оставался неисправимым идеалистом.

Всеобщее увлечение «синема» сыграло свою роль в том, что в ноябре 1930 года, вернувшись из Савойи, он записывается на частные курсы при известной кинофирме Пате. За зиму приобретает некоторые знания и навыки и уже весной 1931-го с увлечением бродит по Парижу с кинокамерой в руках, разыскивая сюжеты и практикуясь в операторском искусстве.

Курсы стоили денег, отняли немало времени и, разумеется, оказались напрасной затеей. Наивно было и предполагать, что со временем он сумеет устроиться в какую-нибудь кинофирму, – их владельцы в эти годы экономического кризиса, освобождаясь от излишней рабочей силы, в первую очередь выбрасывали на улицу иностранцев. Но Эфрон упорно пытался заняться тем, что ему было по душе.

В «синематографе» он подрабатывал в 1927–1928 годах, снимаясь как статист в нескольких фильмах. Если сохранились

ленты «Жанна д'Арк» и «Казанова», его можно разглядеть на экране – во всяком случае, в письме к сестре в Москву он надеялся, что она его там узнает. Работа статиста была и непрестижна, и утомительна, но Сергей Яковлевич умудрялся получать от нее удовольствие: с увлечением разыскивал у знакомых старый фрак, по ходу съемок несколько раз прыгал с моста в Сену «Презреннейший из моих заработков, но самый легкий и самый выгодный, – писал он Елизавете Яковлевне Эфрон в Москву – За одну съемку получаю больше, чем за неделю уроков». Значит, были еще и уроки…

Теперь это стало уже невозможно.

У Цветаевой – свои неудачи.

Наталья Гончарова в мастерской. Середина 1920-х гг.

Она закончила наконец перевод на французский язык любимой своей поэмы «Молодец». Огромная работа была стимулирована тем, что «Молодец» очень понравился и художнице Наталье Сергеевне Гончаровой, о которой Цветаева в 1929 году написала очерк-эссе.

Гончарова сделала иллюстрации к поэме и пожалела, что нет ее текста на французском – тогда бы появилось больше шансов издать иллюстрированную книгу. И тут-то Цветаева взялась за перевод. Ее увлекала еще и призрачная надежда обрести французского читателя.

Но скоро выяснилось, что простой перевод невозможен – нужно заново создавать поэму. Работа заняла почти восемь месяцев.

Теперь она была завершена. Марина Ивановна делает попытки заинтересовать книгой какого-нибудь французского издателя. Ничего не выходит. Не помогает и имя Гончаровой, прославившейся во Франции в середине десятых годов декорациями и костюмами к спектаклю «Золотой петушок», показанному на парижской сцене. Она только что разделила и успех с мужем, художником М. Ф. Ларионовым, – в связи с постановкой пьесы Савуара «Маленькая Катрин» в театре «Антуан»; во всех рецензиях на спектакль их декорации и костюмы хвалили.

Друзья Цветаевой устраивают авторское чтение «Молодца» в присутствии то одного, то другого влиятельного «литературного француза». Но поэма слишком нестандартна, французский стих ее непривычен, нетрадиционен – оставаясь собой, Цветаева и тут шла по пути новаторства. Короче говоря, поэма никому не нравится, хотя прямо об этом автору не говорят. Из «Нувель ревю франсез» текст поэмы перекочевывает в издательство «Галлимар», какое-то время ждет своей участи в редакции журнала «Коммерс». Безрезультатно.

Как и предыдущая поэма Цветаевой «Перекоп», французский «Молодец» остается неопубликованным.

4

За всеми этими неудачами стояла уже не только цветаевская непрактичность или невезучесть – стоял экономический кризис. Он разразился более двух лет назад и день ото дня набирал силу.

Париж был переполнен безработными. Множество русских вместе со службой сразу же теряли и крышу над головой: нечем было платить за жилье.

Русская газета «Последние новости» в марте 1931 года поместила корреспонденцию Андрея Седых, посетившего ночлежку Армии спасения. В ночлежке, разместившейся на обычной барже, можно было переночевать за 30 су на тюфяке, обшитом клеенкой; дворянам предлагалось особое отделение, где за 2 франка выдавались простыни и можно было раздеться. Но и это многим оказывалось не по карману.

Поздним вечером скамейки парижских бульваров, как и места под арками мостов, становились прибежищем отчаявшихся людей. Русские общественные организации – Красный Крест и Студенческое христианское движение, в котором в это время уже играла одну из ведущих ролей Елизавета Юрьевна Скобцова, будущая мать Мария, – вели сбор пожертвований. На собранные

деньги организаторы покупали талоны на обеды и ночлеги, затем талоны бесплатно раздавались безработным, – и те выстраивались за ними в длинные очереди.

Русские газеты публиковали письма, взывающие о помощи, сообщения о самоубийствах, списки жертвующих деньги.

Список занимал в газете ежедневно длинную колонку и выглядел так: «От Маруси О. – 5 фр., от Московского землячества – 300 фр., от Н. И. Кульман – 50 фр., от Л. Г. из Болгарии – 10 фр., от А. И. К. – 200 фр.»…

Двадцатого марта в «Последних новостях» рядом со списком пожертвований жирным шрифтом был набран текст: «Дающие, памятуйте слово Суворова: “Порыв не терпит перерыва!” Марина Цветаева».

Позже начало тридцатых годов вспоминал русский поэт и прозаик Дон-Аминадо: «Меценаты выдыхались, профессиональные издатели кончали банкротством, издатели печатали одни календари…»

Но все-таки этой весной еще появлялись книги. Среди них очередные романы Алданова и Мережковского, «Державин» Ходасевича. Два поэтических сборника были приняты критикой почти восторженно: «Розы» Георгия Иванова и «Флаги» Бориса Поплавского.

На парижской сцене пел Федор Шаляпин, Сергей Лифарь ставил новый балет «Вакх и Ариадна»; открылась выставка художника Ларионова; в русском литературно-художественном кружке с успехом шла пьеса Валентина Катаева «Квадратура круга». Летом даже возник журнал «Новый Сатирикон», просуществовавший, правда, всего один год.

Рисунок Ариадны Эфрон. Иллюстрация к поэме «Крысолов»

Чешское правительство, исправно высылавшее пособие нескольким русским литераторам, жившим во Франции, резко сократило в 1931 году круг своих подопечных. Цветаева и Ремизов все еще оставались в числе «счастливчиков». Но осенью их содержание все же было урезано на треть.

Сумма, приходившая из Чехии, могла бы быть достаточной, живи Цветаева одна.

Но в семье теперь, кроме маленького Мура, – трое взрослых.

Ариадне, Але, исполнилось уже восемнадцать лет. Большеглазая, с гладко зачесанными со лба русыми волосами, собранными сзади в пучок, она похудела, вытянулась. Среди прочих способностей у нее обнаружились и незаурядные

способности к рисованию. И с осени 1927 года она стала посещать художественную школу при Лувре, радуя родителей успехами. На школьной выставке иллюстраций она заняла первое место и была премирована бесплатным обучением гравюре. Ее иллюстрации к цветаевскому «Крысолову» оказались настолько профессионально исполнены, что в семье возник план иллюстрированного издания поэмы. (Увы, кризис помешал осуществиться и этому проекту.) Помимо школы Аля брала еще какое-то время уроки у Натальи Гончаровой, занималась и в студии Шухаева. Чуть позже попробовала себя на поприще журналистики в иллюстрированных журналах – у нее оказалось «легкое перо»…

Игорь Северянин

Но – увы! – всё это за счет времени, которое прежде дочь высвобождала матери, помогая в нескончаемых хозяйственных хлопотах. Часы творчества Марины Ивановны теперь оказались сильно урезанными. И совсем сложно стало ей выбираться из дома вечерами.

Изредка все же это ей удается. В феврале 1931 года в Париж приезжает для публичных выступлений Игорь Северянин. Цветаевой подарили билет, и она присутствует на одном из его

вечеров.

Волна сострадания захлестнула ее, когда поэт вышел на эстраду. «Стар до обмирания сердца, морщины, как у трехсотлетнего, – писала Марина Ивановна своей приятельнице вскоре после этого вечера, – но занесет голову – соловей!» Главное, за чем, по ее словам, она с тревогой следила во время чтения, был поединок Поэта и Времени. Эта тема особенно занимает сейчас ее мысли.

Северянин читал свои новые сонеты. Цветаева нашла их превосходными.

Вернувшись домой, поздним вечером, еще не дав себе остыть, она садится за стол. И пишет поэту письмо – с обычной для нее сердечной щедростью, жаждой ободрить, помочь – хотя бы жаром сочувствия. «Вы выросли, – Вы стали простым, – писала Марина Ивановна. – Вы стали поэтом больших линий и больших вещей, Вы открыли то, что отродясь Вам было приоткрыто, – природу. Вы, наконец, разнарядили ее. ‹…› В этом зале были те, которых я ни до, ни после никогда ни в одном литературном зале не видала и не увижу. Все пришли. Привидения пришли, притащились. Призраки явились – поглядеть на себя. ‹…› Среди стольких призраков, сплошных привидений – Вы один были – жизнь: двадцать лет спустя…»

(Через три года в Белграде выйдет книга сонетов Северянина «Медальоны». Среди других, посвященных поэтам, там будет и сонет, создающий образ Цветаевой. Скорее молодой Марины, а не «парижской», и больше иронический, чем восхищенный. Впрочем, ироничными, слегка шаржированными были и другие сонеты, посвященные литераторам.

Северянин не получил цветаевского письма; текст его известен нам лишь по черновику. Но Цветаева надолго сохранит память об этом вечере, и в ее поздних высказываниях о поэте неизменно звучат самые доброжелательные ноты…)

Зато другой вечер того же февраля принес известие, больно ударившее по сердцу.

Это случилось в доме французского драматурга, поэта и переводчика Шарля Вильдрака. Осенью 1929 года Вильдрак побывал в Москве, навестил Пастернака. Борис Леонидович спросил гостя о Цветаевой, но Вильдрак тогда еще не был с ней знаком. Вернувшись в Париж, он разыскал Марину Ивановну и пригласил бывать у него в доме, где время от времени устраивались литературные вечера. В этом-то доме и встретила теперь Цветаева Бориса Пильняка, только что приехавшего из России. Среди новостей, им привезенных, одна ее оглушила:

Пастернак ушел из семьи. В его жизнь вошла новая любовь – Зинаида Николаевна Нейгауз.

Борис Пастернак

Переписка с Пастернаком, начавшаяся девять лет назад, перевалив через свой пик в 1926 году, все еще продолжалась и прочно входила в незримый фундамент цветаевского противостояния бедам, в сам климат ее психологического самочувствия. За тридевять земель, в родной Москве, жил родной человек, радовавшийся каждой ее строчке, горевавший ее горестями, гордившийся ее удачами. Любимый друг, все понимавший с полуслова. У них и без встреч была уже позади насыщенная история взаимных радостей, недоразумений, примирений.

Уже после 1926 года еще раз и другой в их письмах появлялась тема приезда Бориса Леонидовича во Францию, пока, наконец, обоим не стала очевидна неосуществимость этих мечтаний. Скорее неосуществимость внутренняя, чем внешняя. Ни тот ни другой не готовы были переступить через свои семейные узы. Но сердечная тяга друг к другу в них по-прежнему

жила. «Я без головокруженья не могу слышать о твоих слезах…» – пишет Пастернак в одном из писем. «Мой обожаемый» – встретим мы и в цветаевских письмах. Оба горячо обсуждают поэтические вещи, выходящие из-под пера друг друга, и Пастернаку нещадно достается от его корреспондентки за первую часть поэмы о Шмидте – Марина увидит в ней неудачную попытку поэта подстроиться к веяниям времени. К таким вещам она бескомпромиссно непримирима, и Пастернак этим ее качеством бесконечно дорожит. В его письмах – вопль одиночества, которое он постоянно испытывает на родине среди «отталкивающе чуждого мира». В этом «моральном аду» даже почтовая связь с Цветаевой для него – спасительная отдушина. Если бы они были вместе, уверен Пастернак, «развитье у тебя и у меня шло бы скорее. ‹…› Мы бы расходились и ссорились друг с другом и потом друг к другу возвращались… Но наше созреванье (которому ведь нет конца) шло бы скорее, и мы бы только оттого и терзали друг друга, что разом бы терзались тем одним, чему сейчас подчинены порознь».

В предельно откровенной переписке Цветаева говорит своему другу о себе самой не слишком обычные вещи. Например, о внутреннем своем неприятии длительной совместности, о «невозможности, незаконности, кощунственности, богопротивности совместной жизни, этого чудовищного размельчения… Я за наезды, Борис, за женскую пещеру и мужскую охоту. За логово и лес… Волчье начало, Борис». Только «наезды и набеги» не губят любовь, считает она.

Но тут они – разные. Пастернаку неприемлем ее идеал недолгих встреч, совместных поездок и расставаний; он деликатно, но решительно пишет ей: «… этой муки я не перенесу».

И переписка постепенно угасает. В 1927-м они еще посылают друг другу пятьдесят четыре (!) письма, в следующем году вдвое меньше… Но и в 1928-м Пастернак признается Цветаевой в сердечной нежности: «Ты ведь знаешь, как ты любима?» – читаем в одном из его писем. И в другом: «…ты единственное и с лихвой достаточное объясненье, оправданье, ключ и смысл всего, что я делаю и не делаю, и всего, что делается со мной».

Тринадцатого февраля Цветаева написала Ломоносовой: «С Борисом у нас вот уже (1923–1931) – восемь лет тайный уговор: дожить друг до друга. Но катастрофа встречи все оттягивалась, как гроза, которая где-то за горами. Изредка – перекаты грома, и опять ничего – живешь.

Поймите меня правильно: я, зная себя, наверное от своих к Борису бы не ушла, но если бы ушла – то только к нему. Вот мое

отношение. Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем (я, моя семья – он, его семья, моя жалость, его совесть). Теперь ее вовсе не будет. Борис не с Женей, которую он встретил до меня, Борис без Жени и не со мной, с другой, которая не я – не мой Борис, просто – лучший русский поэт. Сразу отвожу руки. Знаю, что будь я в Москве – или будь он за границей – что встреться он хоть раз – никакой З. Н. бы не было и быть не могло бы, по громадному закону родства по всему фронту: СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ. Но – я здесь, а он там, и всё письма, и вместо рук – рукописи. Вот оно, то "Царствие Небесное", в котором я прожила жизнь. ‹…› Потерять – не имев…»

5

Очередным свидетельством отторжения Цветаевой от «русского Парижа» был пышный юбилей, отпразднованный 1 марта в ресторане «Феликс Потен». Чествовали П. Н. Милюкова – десятилетие его деятельности на посту главного редактора самой популярной зарубежной русской газеты «Последние новости». В числе ста приглашенных гостей был и князь С. М. Волконский, регулярно публиковавший на страницах газеты заметки и статьи на театральные темы. Дружеские отношения Цветаевой с Сергеем Михайловичем сохранялись со времен революционной Москвы, и Волконский наверняка рассказывал Марине Ивановне об этом юбилее. Там были Бунин и Бенуа, Дон-Аминадо и Алданов, Адамович и Мочульский, литераторы, художники, театральные деятели русского зарубежья, люди самых разных воззрений и симпатий…

Дело не в том, что Цветаеву не пригласили, – шел уже третий год с момента, когда ее перестали печатать. Но она лишний раз ощутила свою неслиянность с соотечественниками, которые и на чужбине все-таки существовали в каком-то сообществе.

Если бы только с соотечественниками…

На глазах таяла прежняя близость с дочерью. Подросшая Ариадна теперь радовалась любому поводу, чтобы вырваться из дома. Прекрасно понимая всю закономерность этого, Марина Ивановна не могла не испытывать горечи, которой с годами суждено было лишь разрастаться. Знавшие близко цветаевскую семью находили, что вместе с тонким чувством поэзии дочь унаследовала и материнские вспышки беспощадного словесного «рипоста», и жесткий характер. Два жестких характера в одном доме – ситуация нелегкая.

Павел Милюков

Маленький Мур – страстная любовь матери – был другим, чем старшая сестра в его возрасте. Правда, развивался он тоже стремительно: опережая возраст, начинал уже читать и писать. Но в нем не было Алиной сердечности и романтичности, так согревавших Цветаеву в трудные московские годы. Пока он еще был привязан к матери, баловавшей его сверх всякой меры. Пройдет немного времени, и он усвоит по отношению к ней не просто требовательный, но и снисходительный тон.

Одно к одному: для Марины Ивановны зреет и еще одна утрата. Готовится к отъезду в дальние края ближайшая приятельница последних двух лет – Елена Александровна Извольская. Дочь бывшего русского посла в Париже, образованнейший человек, прекрасная собеседница, Извольская была не только поклонницей, но и знатоком поэзии. В широкий круг ее знакомств входили и русские и французы, в числе их были, в частности, философы Лев Шестов и Жак Маритен.

По приглашению Цветаевой Извольская приезжала к ней в Савойю летом 1930 года. То дождливое грозовое лето их особенно сблизило.

Теперь предстояла разлука: в апреле Извольская уезжала к жениху в Японию.

В предотъездные дни Цветаева выкраивала каждый

свободный час, чтобы быть рядом с Еленой Александровной, помочь ей в сборах. И вот день отъезда настал.

…От нас? Нет, по нас
Колеса любимых увозят!
С такой и такою-то скоростью в час…

Все, кто был ей дорог, будто сговорились этой весной 1931 года оставить ее разом, чтобы не растягивать страданий, – отстранялись, замолкали, уезжали… Уже из окна тронувшегося вагона Извольская вгляделась в лицо Марины Ивановны: то была трагическая маска, которую, казалось, ничто не может оживить…

Но чем глубже душевный провал, чем теснее обступают Цветаеву невзгоды, тем яростнее вспыхивает в ней сопротивление.

Тем решительнее она отодвигает все помехи и садится за чистую тетрадь.

Мур и Аля. 20 сентября 1928 г.

«Кастальский ток» творчества – ее «живая вода», подымающая из праха, вливающая новые силы, заживляющая все раны. Всегда разительно сопоставление ее стихов и прозы с биографическим подстрочником – с жизненной ситуацией, в которой они созданы. Откуда, из каких глубин подымается в ней всякий раз это противостояние насилию и нажиму жизни? Подавленность, жалобу мы не однажды услышим в ее письмах близким людям. Но вот отложено письмо – и придвинута рабочая тетрадь. На белую страницу ложатся первые строки. И в них сразу звучит другой голос: независимый, уверенный, свободный, темпераментный. И это, может быть, гораздо больше ее голос. Ибо здесь, в своей рабочей тетради, она уже не перед лицом «житейских обстоятельств». Перед лицом того, что ей всегда было по плечу и по силам.

«Благоприятные условия? Их для художника нет, – утверждала Цветаева в очерке «Наталья Гончарова». – Жизнь

сама – неблагоприятное условие. Всякое творчество ‹…› перебарывание, перемалывание, переламывание жизни – самой счастливой. ‹…› И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия – быть может – самые благоприятные. (Так молитва моряка: “Пошли мне Бог берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять!”)»

В ближайшие же недели после отъезда Извольской она начинает – и завершает – «Историю одного посвящения», прозаический очерк-портрет Осипа Эмильевича Мандельштама.

Тема и повод возникли случайно; об этом рассказано в первых же абзацах очерка:

«Уезжала моя приятельница в дальний путь, замуж за море. Целые дни и вечера рвали с ней и жгли, днем рвали, вечером жгли, тонны писем и рукописей. Беловики писем. Черновики рукописей. “Это беречь?” – “Нет, жечь”. – “Это жечь?” – “Нет, беречь”. “Жечь”, естественно, принадлежало ей, “беречь” – мне, – ведь уезжала она…»

Заразившись этой расправой, Цветаева решает учинить такую же в собственном архиве. Аля пытается вмешаться, остановить – безуспешно:

«– Мама, не жгите!

– Пусть, пусть горит.

– Марина, вы что-то нужное жжете. Вырезка какая-то. Может быть, о вас?

– О мне так долго не пишут. Фельетон целый. Что это может быть?

Подношу к глазам. Двустишие. Губы, опережая глаза, произносят:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим…»

То был «подвал» в старом номере газеты «Последние новости», подписанный именем поэта Георгия Иванова. Отрывок из его книги «Китайские тени», вскоре вышедшей в свет. Отрывок повествовал о Мандельштаме в Крыму в предреволюционные годы. Цветаева ахнула, прочтя первые же попавшиеся на глаза строки. Мандельштамовские стихи 1916 года, к ней обращенные, были выданы за дань восхищения некоей хорошенькой врачихой, встреченной поэтом в Коктебеле. Мало этого – сам Мандельштам представал под пером Г. Иванова не просто нелепым и странным, но и оглупленным, а отношение к нему Волошиных – Максимилиана Александровича и его матери – чуть не в пасквильных тонах!

Словом, Цветаева не могла не взяться за перо.

Легко было догадаться – и самый захудалый литератор догадался бы, – что опубликовать то, что она сейчас писала, ей не удастся: ни один печатный орган не захотел бы ставить в неловкое положение самую авторитетную в эмиграции газету. Да и Георгия Иванова, который (в отличие от Цветаевой!) всюду был «свой». Волошин и Мандельштам были далеко, а автор «подвала» – рядом…

Но когда она бралась за работу, все практические соображения – исчезали, все здравомыслящие голоса – умолкали. Если нужен пример профессионально пишущего человека, в котором бы исходно отсутствовал «внутренний редактор», – лучшего, чем Цветаева, найти трудно. Она настолько его не знала, этого редактора, что это обстоятельство до сих пор иных ее читателей коробит, хоть они, может быть, и не отдают себе отчет, в чем именно дело.

Слишком часто она касается тем, о которых принято умалчивать. Слишком безоглядно обнажает душевные движения и мотивы, не умещающиеся в кодексе правил «комильфо».

В выборе тем, как и в выборе формы, она не примеряется ни к издателю, ни к читателю: первым она пренебрегает, второму, наоборот, доверяет как себе самой.

Она начинала новую вещь, не имея перед собой иной цели или желания, кроме цели и желания пристальнее вглядеться в то, что ее заинтересовало. В то, что в момент вспышки замысла предстало существенным и необходимым.

«Дознаться» – так сама она называла этот стимул.

«Делаю ли я это ради потомков? – Нет. Скорее ради прояснения моего собственного понимания. И еще для осознания сил моей любви и, если угодно, моего дара» (письмо Ломоносовой, февраль 1930 года).

Именно так приступила она еще в 1929 году к «Поэме о Царской Семье».

И вскоре сообщила в письме той же Ломоносовой: «Вещь, которую сейчас пишу все остальные перележит». Работа растянулась аж до 1936 года, но была все же завершена. Увы, полный текст поэмы не сохранился. Цветаева, похоже, не слишком была довольна результатом, самокритично считая, что в этой поэме «историк поэта загнал». Но ощущала своим неотклонимым долгом воздвигнуть памятник – не российской монархии, к которой никаких ностальгических чувств не испытывала, – именно семье, последней в России царской семье, расстрелянной в Екатеринбурге вместе с больным и безвинным

мальчиком-наследником.

Очерк о Мандельштаме, как и следовало ожидать, опубликовать не удалось. Он лег очередным мертвым грузом в стол – рядом со статьей о «Шуме времени», с поэмой «Перекоп» и французским «Молодцем». К читателю при жизни Цветаевой «История одного посвящения» не пробилась.

Но однажды обрела слушателей.

Вечером 30 мая 1931 года Марина Ивановна прочла «Историю одного посвящения» в зале «Эвритмия» на улице Кампань Премьер.

Заглянем в номер «Последних новостей», поместивших сообщение о предстоящем вечере Цветаевой.

На авеню Монтень в этот вечер великий русский шахматист А. А. Алехин давал сеанс одновременной игры с десятью игроками, «не глядя на доску»; на улице Де ля Помп имела быть «вечеринка русских разведчиков»; в аудитории Сорбонны М. А. Жирмунский читал лекцию о португальской поэзии XVI века. В театре «Ателье» шел спектакль труппы Михаила Чехова; в парижских «синема» демонстрировался фильм «Голубой ангел» с Марлен Дитрих в главной роли… Американский сенатор Рид, выступая в штате Пенсильвания, уверенно прогнозировал падение советского режима в 1936 году. В том же номере «Последних новостей» сообщалось и о начале судебного процесса в Риме над семью итальянцами – членами революционной организации «Джустициа э Либерта»: места для публики были заняты вооруженными фашистами; обвиняемые заявили, что целью их деятельности явилась дискредитация режима фашистской диктатуры в глазах общественного мнения…

«Вечер прошел с полным успехом, – сообщала на следующий день Цветаева в письме к Саломее Андрониковой, – зала почти полная. Слушали отлично, смеялись где нужно, и – насколько легче (душевно!) читать прозу ‹…› Читала в красном до полу платье вдовы Извольского и очевидно ждавшем меня в сундуке 50 лет. Говорят – очень красивом. Красном – во всяком случае. По-моему, цветом была флаг, а стан – древком от флага…»

Стихи и прозу она читала на вечерах обычно по тетрадке, близко поднося ее к близоруким глазам, – очков упорно не признавала. Живительно прямоспинная – черта осанки, отличавшая и Ахматову, – она старалась к таким вечерам принарядиться, и как часто наряды ее были заемными! Зато своими были серебряные браслеты, кольца, ожерелья – к ним у Марины Ивановны была настоящая страсть, как у истой цыганки.

Однажды эти украшения чрезвычайно рассердили мецената,

которому кто-то из доброжелателей всучил дорогой билет в первый ряд. Его раздраженную фразу передали потом Цветаевой:

– Пусть она сначала продаст свои украшения, а уж потом рассчитывает на ссуды!

Тамара Милютина

Любящему же взгляду представала иная картина. Т. П. Милютина в самом начале тридцатых годов бывала на всех цветаевских вечерах. «Мне очень запомнилось первое впечатление, – пишет она в своих мемуарах. – Это были юношеские стихи. Я закрывала глаза – и видела особенную пленительнейшую девушку, думающую и чувствующую не так, как другие, знающую для выражения этого неповторимого свои удивительные, только ей одной подвластные слова. Я открывала глаза – ну меня физически начинало болеть сердце. Передо мной была немолодая, небрежно и неумело одетая женщина. От нее веяло неуютом и полной неприспособленностью к жизни. Неровно подстриженные волосы спереди челкой доходили до бровей. От этого лицо теряло свои естественные пропорции, становилось тяжелым и некрасивым. Только глаза были умные, задумчивые и смотрели далеко. Меня чрезвычайно мучил этот разрыв между реальной Цветаевой и той, чудесной, из стихов. ‹…› Только теперь, вглядываясь в фотографию, я вижу, как прекрасно, необычайно прекрасно лицо Марины Цветаевой».

«Зал никогда не ломился от публики, – вспоминала и З. А. Шаховская, – народной любовью Марина Цветаева не пользовалась, но приходили. Она в скромном, затрапезном платье. ‹…› Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках.

Глаза зеленые, не таинственно-зеленые, не поражающие красотою, смотрят вперед, как глаза ночной птицы, ослепленной светом. Так, явно не видящая тех, кто пришел на нее посмотреть или ее послушать, Марина Цветаева читает свои стихи громко, скандируя слова, подчеркивая ударенья, как бы бросая вызов кому-то и нисколько не заботясь о том впечатлении, которое она производит. Я не встречала никого из выступающих перед публикой, более свободного от желания понравиться…»

Зинаида Шаховская

В памяти Извольской, бывавшей на цветаевских вечерах на протяжении многих лет, – другие подробности: «Марина устраивала свои вечера в Париже в весьма убогом, невзрачном зале. Она читала доклады, стихи. Приходили друзья, но их было так мало! В первом ряду сидели Сергей, Аля, Мур. Аля вязала шарф. Мур сосал карамельки. Сережа слушал, склонив романтически голову. Все трое чувствовали себя как-то неловко. И все же это семья Марины: они без нее, она без них перестали бы существовать. Когда заканчивалось чтение, “публика” обступала Марину.

Она, как всегда, рассеянная, близорукая, но как будто оживленная, улыбалась, жала руки. Но вся она была обвеяна холодком, непроницаемой грустью…»

Выступления на вечерах со временем стали существенным подспорьем в бюджете цветаевской семьи, – ближе к середине тридцатых годов. Тогда удавалось устраивать уже по четыре вечера в год, раз в квартал; охотнее всего шли на ее «прозаические» вечера.

Выручка позволяла уехать летом к морю или оплатить очередной трехмесячный квартирный взнос. Но на вечерах Цветаева ощущала еще и тепло живого сопереживания, сочувствия, это не могло не греть ее сердце. Впрочем, с присущим ей юмором, отдававшим горчинкой, она говорила друзьям, что наизусть знает своих постоянных слушателей – нескольких милых старичков и старушек, неизменно засыпающих на первых же фразах или строфах и просыпающихся от аплодисментов, когда чтение заканчивалось, чтобы с упорной преданностью через три-четыре месяца явиться снова и сесть на привычное место.

Конечно, приходили слушать Цветаеву не только засыпающие старушки, но билеты расходились в основном дешевые. «Ибо любящие – не имеют, имеющие – не любят», – формулировала Марина Ивановна в письме к Ломоносовой.

6

К началу тридцатых годов заметно изменилась общая настроенность большинства русских «беженцев» (как они сами себя называли). Надежда на перемены, которые не сегодня завтра позволят вернуться на родину, почти бесследно исчезла. Советская Россия вступила во второе десятилетие своего существования, обнародовала первый пятилетний план развития народного хозяйства, укрепляла свои международные связи.

Маяковский, приезжая в Париж, победоносно скандировал:

Я планов наших люблю громадье,
Размаха шаги саженьи…

Чемоданный быт, бесправное полунищенство можно было переносить с большей или меньшей стойкостью, пока казалось, что они временны. Но к концу двадцатых годов пришло осознание как бы захлопнувшейся ловушки. Одно из самых трагических стихотворений русской эмиграции «Хорошо, что нет царя…» помечено 1929 годом. Это стихотворение Георгия Иванова заканчивалось строками последнего отчаяния:

Хорошо, что никого,
Хорошо, что ничего,
Так черно и так мертво,
Что чернее быть не может
И мертвее не бывать.
И никто нам не поможет,
И не надо помогать.

Споры о возможности полноценного развития русской литературы за пределами родины и в двадцатые, и в тридцатые годы не утихали. Зинаида Гиппиус была негласным лидером правых литераторов, наиболее непримиримо относившихся к молодой Советской Республике. Тезис, ею сформулированный, звучал почти горделиво: «Мы не в изгнании, мы в посланнии». Чаша русской культуры, утверждала Гиппиус, волею судеб выплеснута за пределы России, и задача русских, оказавшихся «в рассеянии», – сохранить и спасти эту культуру от разрушения.

Но Марк Слоним, ведущий критик «левого» журнала «Воля России», называл это утверждение «утешительным мифом». Он считал, что русская эмиграция не создала за рубежом крупных художественных ценностей. Исключение он делал только для двух имен: Ремизова в прозе и Цветаевой в поэзии. Со Слонимом резко спорили. Припоминали имена не только русских, успешно творивших вдали от родины, Тургенева и Герцена прежде всего, но и изгнанного из родной Флоренции Данте, и плеяду польских поэтов: Мицкевича, Красинского, Словацкого…

Владимир Маяковский, Борис Пастернак, Лиля Брик и Сергей Эйзенштейн

«Дело не в том, что Тургенев жил за границей, – откликалась «Воля России» в 1931 году, – важно, что его романы читались в России и влияли на русского человека, а значит, на русскую культуру и искусство». Именно стена между зарубежьем и живой Россией, куда эмигрантские издания в тридцатых годах уже не проникали, – вот что ощущалось наиболее безысходно и трагически.

«Мы оказались исключенными из бытия России», – писал Слоним. Его доклад, озаглавленный «Конец эмигрантской литературы» и прочитанный в 1931 году в литературном объединении «Кочевье», собрал многолюдную аудиторию.

Ответный вечер устроили молодые литераторы, сплотившиеся вокруг нового журнала – «Числа». Молодые, большинство из которых лишь в эмиграции начали свою литературную деятельность, были кровно задеты самой постановкой вопроса: «быть или не быть» эмигрантской литературе? Они не желали сдаваться на милость обстоятельств и

надеялись все же продержаться до лучших дней, донести до будущих поколений пусть две-три строки, может быть, несколько стихотворений, которые, как бутылка, брошенная в море, что-то сообщат тем, будущим, о погибших на чужбине…

Но решимость не спасала их от мрачной ипохондрии, усугубленной экономическим кризисом.

Именно в это время определилась та черта зарубежной русской поэзии, которая с легкой руки поэта Бориса Поплавского получила название «парижской ноты». Даже в глазах защитников этой поэзии ей присуща была «утонченная анемичность» (Г. Адамович). В стихах настойчиво варьировались темы обреченности, заброшенности, одиночества, умирания. И все же редко кто достигал при этом истинно трагедийной высоты. В стихах ярко талантливого Поплавского безысходность получала почти воинственную окраску:

Мир ужасен. Солнце дышит смертью.
Слава губит и сирени душат.
Всё жалейте, никому не верьте,
Сладостно губите ваши души!
Смейся, плачь, целуй больные руки,
Превращайся в камень, лги, кради,
Все мы только соловьи разлуки
И всему погибель впереди…

«Атмосфера агонии, – утверждал поэт в одной из статей, – единственная приличная атмосфера на земле… Быть благополучным – греховно и мистически неприлично…»

Непримиримый Слоним, не желая сентиментальничать, называл «Числа» «органом духовного пораженчества», объединением людей бесконечно уставших, несмотря на молодость.

Резкость таких оценок – лишнее подтверждение неоднородности литературной среды русского зарубежья. Горячие споры молодых поэтов в начале двадцатых годов кипели вокруг футуризма, дадаизма, сюрреализма, имажинизма. К концу двадцатых страсти чаще разгорались вокруг другого: отношения к поэтическому опыту Маяковского, Пастернака и Цветаевой. Их преобразования в области русского стихосложения уже невозможно было игнорировать.

Владислав Ходасевич, сблизившись в 1925 году в Париже с Союзом молодых поэтов и писателей, укрепил своим авторитетом позиции тех, кто позже назвал себя «неоклассиками», стремящимися к «акмеистической ясности». Так возникла группа

«Перекресток», в которую входили поэты Ю. Терапиано, Д. Кнут, Г. Раевский, Н. Берберова, Вл. Смоленский. Чаще всего они собирались в Латинском квартале на улице Де-л'Ирондель, в кафе «Ла Болл», где некогда бывали Уайльд и Верлен.

Завоевав определенный авторитет, участники «Перекрестка» удостаивались приглашения на собрания «Зеленой лампы», руководимой четой Гиппиус-Мережковский, или на воскресные чтения, проходившие на квартире самих Мережковских в Пасси, на улице Колонель Бонне.

Другое литературное объединение – «Кочевье» – облюбовало на Монпарнасе «Таверну Дюмениль». Возникнув в 1929 году, это объединение получило репутацию «неблагонадежного». Поэтов, собиравшихся здесь, очень интересовали проблемы обновления поэтического языка, но, пожалуй, группа была спаяна не столько стилевыми пристрастиями, сколько «левыми» взглядами, живым интересом к молодой советской литературе. Объединение курировал Марк Слоним. Даже приглашения на собрания поначалу рассылались на бланках «Воли России».

Молодежь не доверяла газетным оценкам и присяжным критикам. Ей хотелось обсуждать поэтическое слово без всякой оглядки. Здесь не признавали навязанных авторитетов и на первых собраниях кричали до хрипоты, пугая хозяина кафе, ждавшего, что крики вот-вот перейдут в драку. Но позже все устоялось. И выработались свои трафареты. «Хороший тон "Кочевья" требовал от беллетриста отталкивания от Бунина и подражания Ремизову, – отмечала в газете «Возрождение» Н. Городецкая. – Поэты были самостоятельнее, т. е., отдав дань Пастернаку и Цветаевой, могли петь под Блока и мудрить под Ходасевича, оставив Союзу молодых поэтов – Гумилева». В «Кочевье» читали свои стихи Алексей Эйснер, Анна Присманова, Александр Гингер, Антонин Ладинский, Вадим Андреев.

Несколько раз здесь выступила и Цветаева.

Она не входила ни в одну из группировок и решительно не любила многочасовые сидения русских за столиками монпарнасских кафе. Как и для Набокова, то был для нее «второсортный Париж, который плывет с легким креном в зеркалах кабаков»…

Читательский кризис тяжело переживали русские зарубежные литераторы всех направлений и поколений. В 1931 году в очередном номере «Чисел» этой теме посвящена была статья под знаменательным названием: «Без читателя». В самом деле, численность «читающей публики» в русском зарубежье год от году катастрофически уменьшалась. Книг и журналов становилось все меньше, они были дороги, а обнищание русских

стремительно прогрессировало.

Эмигрантская молодежь все охотнее читала по-французски, все меньше интересовалась эмигрантскими авторами. Денационализация подрастающего поколения становилась одним из повторяющихся сюжетов таких тонких и чутких сатириков русского зарубежья, как Тэффи и Дон-Аминадо.

В памяти Цветаевой все еще стояли переполненные залы Политехнического музея или Консерватории первых лет революции. Она писала осенью 1931 года в статье «Поэт и время»: «Здесь множеств физически нет, есть группы. Как вместо арен и трибун России – зальца, вместо этического события выступления (пусть наступления) – литературные вечера, вместо безымянного незаменимого слушателя – России – слушатель именной и даже именитый. В порядке литературы, не в ходе жизни. Не тот масштаб, не тот ответ. В России, как в степи, как на море, есть откуда и куда сказать. Если бы давали говорить…»

И это пишет Цветаева, которая ко второй части своей поэтической книги «После России» взяла эпиграф из Гельдерлина – слова, гордо декларировавшие независимость писателя от читателя: «С меня довольно немногих. С меня довольно одного. С меня довольно и никого!»

И все-таки тогда еще жива была – пусть неосознанная – надежда на временность этого «никого», теплилась вера в то, что стихи, созданные здесь, будут читать в России.

Но и в 1936 году Ходасевич писал о том же. «Беспримерность катастрофы, на наших глазах постигающей эмигрантскую литературу – утверждал он, возражая прозаику Алданову, – объясняется не малочисленностью и бедностью эмиграции, а тем жутким обстоятельством, что всякая литература, всякая литературная группа всегда имела опору в известном читательском контингенте. В своем народе она была нужна и была по плечу хоть какому-нибудь слою и классу. Эмигрантская же литература – “бесклассовая” в самом горько-ироническом смысле: она в эмиграции никому не нужна и никому не по плечу, кроме одиночек, рассеянных по необозримому пространству нашего рассеяния…»

Итак, вечер с чтением «Истории одного посвящения» прошел вполне успешно: «Слушали отлично, смеялись, где нужно…» Но в ближайшие же дни после этого вечера Цветаева напишет стихотворение «Лучина»:

До Эйфелевой – рукою
Подать! Подавай и лезь.

Но каждый из нас – такое
Зрел, зрит, говорю, и днесь,

Что скушным и некрасивым
Нам кажется ваш Париж.
«Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?»

7

В июне 1931 года Эфрон передал через советское полпредство в Париже прошение во ВЦИК о советском паспорте. [18]

Двадцать девятого июня, сообщая об этом сестре в Москву, он просит ее обратиться за содействием к давнему ее другу большевику Заксу. Когда-то, еще в дни Февральской революции, Сергей Яковлевич, оценивая обстановку в стране, непримиримо с ним спорил. Позже, когда Закс жил постояльцем на квартире Эфронов, с Мариной Ивановной у них были вполне дружественные отношения. Может быть, теперь Закс походатайствует во ВЦИКе? «В течение пяти лет, – пишет Сергей Яковлевич сестре, – я открыто и печатно высказывал свои взгляды, и это дает мне право также открыто просить о гражданстве…»

Одновременно Эфрон шлет письма Пастернаку и Горькому – также с просьбой о поддержке. Ему наивно кажется, что теперь день возвращения не за горами. В последующих письмах он торопился предупредить сестру: «Думаю, что, увидев меня, ты порядком разочаруешься – не только потому, что я начал быстро стареть, а потому, что от прежнего меня ни крупицы не осталось ‹…› Я все пугаюсь, когда встречаю людей после очень длительной разлуки. Они всё те же, а я изменился страшно. Они же говорят со мною как с прежним и, конечно, разочаровываются…»

Советское полпредство в Париже на улице Гренель

Однако ни в этом году, ни через год Эфрон не получит ни отказа, ни разрешения вернуться. В начале тридцатых годов советское гражданство дают русским эмигрантам еще очень выборочно. Лишь тоненькая струйка возвращающихся сочится примерно до 1935 года, и позже она станет немного обильнее.

В 1932 году уезжает в СССР Дмитрий Петрович Святополк-Мирский. Всего пять лет он пробудет там на свободе.

В октябре 1933-го Цветаева – Тесковой: «С. здесь, паспорта до сих пор нет, чем я глубоко-счастлива. ‹…› Я решительно не еду, значит – расставаться, а это (как ни грызем!) после 20 лет совместности – тяжело…»

В августе следующего, 1934-го, Эфрон – сестре: «Почти все мои друзья уехали в Советскую Россию. Радуюсь за них и огорчаюсь за себя…»

Когда уже в 1936 году Цветаева в очередной раз сказала мужу, что возвращаться в Москву не хочет, он неожиданно предложил ей ехать в Тифлис. «А Вы?» – «А я – где скажут, я давно перед страной в долгу…» В этом диалоге, приведенном в цветаевском письме к Тесковой, знаменательно, как сам Эфрон понимал оттяжку его возвращения на родину. Он считал совершенно справедливым, что участие в Белой армии лишает его права свободно распоряжаться своей судьбой…

Анна Тескова

Конечно, тоска по родине временами мучительно щемила сердце Марины Ивановны. Оказавшись летом 1935 года на знаменитом своими красотами Лазурном берегу, она напишет Бесковой: «Мне вовсе не нужно такой красоты, столькой красоты: море, горы, мирт, цветущая мимоза и т. д.». «Я соскучилась по русской природе, по лопухам, по неплющевому лесу, по себе там», – это уже в письме к Пастернаку. Русские просторы, русское огромное небо над ними – это в ее глазах символ российской безмерности, которую она так сильно ощущает в себе самой. Но не только символ. Просторы, лопухи, Ока, рябина – это живые зримые образы родной земли, с детских лет вцементированные в «состав души». Они не вытравимы никакими разумными рассуждениями.

Но чего Цветаева неприязненно сторонится – это громкоголосого «русофильства», упоенных разговоров о «Руси» и «народе-богоносце». «Я никогда не буду утверждать, – писала она в 1923 году Роману Гулю о «русофилах» – эмигрантах, – что у здешней березы “дух не тот”. ‹…› Они не Русь любят, а

помещичьего “гуся” – и девок».

«Россия не есть условность территории», – настаивала она, отвечая на одну из анкет. Можно не жить в России – и носить ее в своем сердце. И все-таки, услышав о кончине талантливого русского ученого Н. П. Кондакова, с которым ей довелось встречаться в Чехословакии, она непоследовательно радуется: «Хорошо, что умер он в славянской Праге, а не в Берлине или Париже!»

Бесковой в 1930 году: «Как Вы глубоко правы – так любя Россию! Старую, новую, красную, белую – всю! Вместила же Россия – всё. ‹…› Наша обязанность, вернее, обязанность нашей любви – ее всю вместить».

Сердце – вмещает. Но в отличие от мужа Марина Ивановна не отмахивается от дурных вестей с родины.

А они идут все гуще. Некий ксендз, чудом бежавший с Соловков, рассказывает о страшном лагере, где гибнут безвинные люди; бывший секретарь Сталина Бажанов публикует в одной из эмигрантских газет первые главы своих мемуаров; упорно распространяются слухи о голоде на Украине… Но Эфрон и его друзья, поглощенные и почти раздавленные ностальгией и комплексом вины перед родиной, демонстрировали разительную способность: смотреть – и не видеть.

В начале тридцатых в гости к Цветаевой впервые пришел поэт А. В. Эйснер, страстно увлеченный ее поэзией. Позже он сдружился с Эфроном, почти забросил стихи, чего Цветаева ему никогда не простила; воевал в Испании, вернулся в Россию, был репрессирован, отбыл срок в сталинских лагерях. Уже в последние годы жизни он много и охотно рассказывал о Цветаевой и ее муже. И вот важное его свидетельство.

«Я считал Цветаеву замечательным поэтом, крупнейшим поэтом, – говорил Алексей Владимирович. – Я всех и всюду зачитывал ее стихами. Но, как и Сергей Яковлевич, я был убежден, что в вопросах социально-политических Марина ничего не понимает. Ее оценки происходящего в России в тридцатые годы казались мне наивными преувеличениями человека, не разбирающегося в сложностях общественного развития. Только десятилетия спустя я осознал, что это мы, а не она ничего не понимали. Это мы, а не она обольщались лозунгами и призывами и были слепы к тому, что теперь известно каждому! Она же и видела, и почувствовала это гораздо раньше, чем многие…»

Алексей Эйснер

Цветаевой не нужно было знать всего для того, чтобы верно оценить атмосферу и тенденции, сформировавшиеся в Советской России к началу тридцатых годов.

Она читала советские журналы, встречалась с людьми, приезжавшими из России (на время или навсегда), – это были Антокольский и Пильняк, Замятин и Сергей Прокофьев, художник Синезубов, хорошо знавший Маяковского и Пастернака. Виделась она и с Бабелем, дружившим с О. Е. Черновой. И пастернаковские письма умела читать внимательно. Ей было этого достаточно.

В том же 1931 году, когда Сергей Яковлевич написал свое прошение о советском паспорте, она работает над двумя статьями. И обе они противостоят тому, что на те же темы и как раз в это время пишут советские «рапповские» критики, захваченные неуемной страстью «изобличать», смешивая с грязью, художников-«попутчиков».

В феврале 1931 года газета «Последние новости» перепечатала из «Правды» сообщение о состоявшейся в Москве Всероссийской конференции по детской литературе. На конференции, в частности, говорилось о том, что «классовый враг проник в детскую литературу под видом “чуковщины”»; одним из самых отсталых участков названа дошкольная книга. А незадолго перед тем журналы громили писателей за отрыв от реальной жизни в литературе для детей.

Сергей Эфрон

Итак, 9 февраля проходит Всероссийская конференция. А к концу того же месяца Цветаева уже закончит статью «О новой русской детской книге». Никакой прямой полемики здесь нет. Но с восхищением говорится о внимании детского писателя в Советской России именно к реальному, живому, красочному миру, который прежде так часто подменялся сусальным повествованием о феях, гномах и эльфах – в их «тамбовском», как пишет Цветаева, варианте. Она отметила и прекрасные иллюстрации, и высокую культуру стиха, цитируя отрывки из книг Маршака, Шварца и Полонской. И – знаменательно! – статья завершалась фразой, прямо опровергавшей выводы конференции в Москве: «Закончу спокойным и удовлетворенным утверждением, что русская дошкольная книга – лучшая в мире». Написанная по горячим следам «рапповского» разноса, статья должна была появиться в одной из эмигрантских газет уже в начале марта – полемичность ее стала бы тогда особенно очевидной. Увы! В парижской редакции обиделись за эльфов в тамбовском варианте. И статью не приняли.

Вторую статью, получившую название «Поэт и время», Цветаева насытила открытой и скрытой полемикой с «рапповцами» и «напостовцами». Главная ее тема – современность художника. Подлинная «современность» обратна

«злободневности», утверждает Цветаева, «современно не то, что перекрикивает, а иногда и то, что перемалчивает». «Быть современником, – читаем в ее статье, – творить свое время, а не отражать его, а если и отражать, то щитом, то есть с девятью десятыми его сражаться, как сражаешься с девятью десятыми своего черновика».

В советской России «чуковщина» в детской литературе стояла в одном ряду с «полонщиной» и «воронщиной» в критике, «булгаковщиной» в драматургии, «переверзевщиной» в литературоведении, «головановщиной» в музыкальном искусстве, «чаяновщиной» в сфере экономической мысли – этими ярлыками пестрят страницы советской периодики в 1931 году. «Теорию литературы» Бориса Томашевского, вышедшую шестым изданием, назовут «залежалым ядовитым продуктом», Андрея Платонова за повесть «Впрок» – кулацким писателем, Пильняка именуют «Савонаролой с Тверского бульвара» и желтым романистом, написание «Повести непогашенной луны» ему уже пришлось признать своей «грубой ошибкой»…

А как обстоит дело с поэтами? Анна Ахматова после «Anno Domini» (1921 год) не выпустила ни одной поэтической книги, и с 1924 года журналы не публиковали уже и отдельных ее стихотворений. В поэме Пастернака «Спекторский» журнал «На литературном посту» обнаружил «порочный художественный метод». Зато образцом поэта тот же журнал объявил Демьяна Бедного, только что опубликовавшего свой шедевр «Слезай с печки». Вот где достигнута «непревзойденная степень приближения к диалектико-материалистическому методу»! Утверждая, что Демьян Бедный превзошел достижения Некрасова, Ю. Либединский выдвинул лозунг «одемьянивания» советской поэзии.

В тот самый день, когда Цветаева выступала на вечере с чтением своего эссе «История одного посвящения», Михаил Булгаков обращался к Сталину с письмом, являющим собой один из самых трагических документов истории советской литературы.

В июне того же года аналогичное письмо Сталину написали Евгений Замятин. Цветаева – пока еще – не знала этих фактов; может быть, позже узнала от Замятина, приехавшего во Францию. Но эпидемия «проработок», разгулявшаяся с конца двадцатых годов на страницах советских газет и журналов, позволяла ей легко представить ситуацию затравленного художника, не желающего (словами Булгакова) становиться в ряды «илотов, панегиристов и запуганных “услужающих”». Булгакова не выпускают из России даже на несколько месяцев, оставляя без внимания все его просьбы. Немного раньше отказали в выезде к

родным Пастернаку. Замятину с женой разрешают уехать.

Но когда Пильняк оказался в 1931 году в Париже, проездом в Америку, некоторых это насторожило. Не потому ли ему после тяжелых «проработок» разрешен столь дальний выезд, что за два месяца перед тем в «Известиях» появилась его статья «Слушайте поступь истории!»? Статья проклинала «спецов-вредителей». В Москве в это время идет «Процесс Промпартии» и на скамье подсудимых сидят «седовласые ученые бандиты» Громан и Рамзии, обвиненные во вредительстве.

Несговорчивость Цветаевой, когда заходит речь о немедленном возвращении на родину, упорна. В ее письмах начала тридцатых годов читаем: «Всё меня выталкивает в Россию, в которую – я ехать не могу. Здесь я не нужна. Там я невозможна». Там «меня раз (на радостях!) и – два! – упекут. Я там не уцелею, ибо негодование – моя страсть (а есть на что!) ‹…› Там мне не только заткнут рот непечатанием моих вещей – там мне и писать их не дадут».

Но Сергей Яковлевич убежден, что исток всех опасений жены – в непонимании «великого эксперимента», который идет в Советской России. Да, там много противоречивого и трудного, но все это временное, наносное, и надо же уметь отличать главное от второстепенного! С этой логики Эфрона ничто не может сдвинуть. Что с ним случилось? Как, почему он вдруг отошел от той непримиримой позиции, какую обнаружил в свое время в статье «Эмиграция»? Загадка. Теперь он явно заворожен грандиозностью пятилетних планов, подвигом строителей Магнитки и Днепрогэса, стахановцев и челюскинцев, строками поэм Маяковского и «Тихим Доном» Шолохова, фильмами Пудовкина и Эйзенштейна. Да он ли один! Со сколькими делил он этот дальтонизм! На какие высокие авторитеты опирался, повторяя слова о «маловерах» и «великом социальном эксперименте»!

Цветаева упрямо не разделяет иллюзий мужа. А он в письме к сестре по-прежнему твердит свое: «Мне горько, что из-за меня она здесь. Ее место, конечно, там. Но беда в том, что у нее появилась с некоторых пор острая жизнебоязнь. И никак ее из этого состояния не вырвать…» «Острая жизнебоязнь», болезненное состояние… Его нужно преодолеть, из него Марину Ивановну необходимо «вырвать»…

8

Среди немногих радостей осени 1931 года оказался день, когда к дому Цветаевой в Мёдоне подъехал автомобиль. За рулем

сидел Сергей Сергеевич Прокофьев, с ним вместе приехали его жена и Марк Слоним. Сорокалетний Прокофьев уже получил к этому времени европейское признание как композитор и активно концертирующий пианист-виртуоз. Возможно, они уже виделись раньше, – во всяком случае, Цветаева, редко посещавшая театры, присутствовала на балете «Блудный сын», когда Прокофьев дирижировал оркестром. Она могла быть и на парижской квартире композитора, дружившего с Сувчинскими и Натальей Гончаровой; именно в этой квартире Маяковский в 1929 году читал поэму «Хорошо!»

Марина Цветаева. Портрет А. Билиса. 1931 г.

Прокофьев еще в 1927 году сумел получить советский паспорт и с тех пор уже дважды побывал в СССР: в первый раз триумфально, а во второй – неудачно, ибо попал в полосу яростных «проработок», не обошедших и его творчество.

Цветаевскую поэзию он давно знал и любил, особенно восхищаясь энергичной ее ритмикой, как он говорил,

«ускоренным биением крови».

Встреча в Мёдоне прошла весело, почти празднично. Чувствуя дружеское расположение собеседника, Цветаева оживлялась. Колючая настороженность ее исчезала, она становилась раскованной и блестящей. Марк Слоним рассказывает: «М. И. была очень рада нашему посещению, накормила нас супом, читала свои стихи и много шутила. Когда Прокофьев в разговоре употребил какую-то поговорку М. И. тотчас обрушилась на пословицы вообще – как выражение ограниченности и мнимой народной мудрости. И начала сыпать своими собственными переделками: “где прочно, там и рвется”, “с миру по нитке, а бедный все без рубашки”, “береженого и Бог не бережет”, “тишь да гладь – не Божья благодать”, “тише воды, ниже травы – одни мертвецы”, “ум хорошо, а два плохо”, “тише едешь, никуда не приедешь”, “лучше с волками жить, чем по-волчьи выть”. Прокофьев хохотал без удержу, Лина Ивановна улыбалась снисходительно, а Сергей Яковлевич одобрительно.

В конце вечера Прокофьев заявил, что хочет написать не один, а несколько романсов на стихи М. И., и спросил, что она хотела бы положить на музыку. Она прочла свою “Молвь”, и Прокофьеву особенно понравились первые две строфы:

Емче органа и звонче бубна
Молвь – и одна для всех:
Ох, когда трудно, и ах, когда чудно,
А не дается – эх!

Ах с Эмпиреев и ох вдоль пахот,
И повинись, поэт,
Что ничего, кроме этих ахов,
Охов, у Музы нет.

Сергей Прокофьев

“А воображение? – спросил Прокофьев. – Разве не это самое главное у Музы?” Тут завязался спор. М. И. утверждала, что не одна поэзия, но вся жизнь человеческая движется воображением. Колумб воображал, что между ним и Индией – вода, океан, – говорила она, – и открыл Америку. Ученые, не видя, находят звезды и микробы, тот, кто вообразил полет человека, был предтечей авиации. И нет любви без воображения.

– Что же, по-вашему, – опять спросил Прокофьев, – это озарение?

– Нет, это способность представлять себе и другим выдуманное как сущее и незримое как видимое.

Прокофьев потом признался, что был согласен с Цветаевой, но нарочно вызывал ее на беседу…

Всю обратную дорогу Прокофьев был возбужден, восхищался напряжением и силой цветаевского мировосприятия, а затем с азартом стал обсуждать, какие стихи Цветаевой лучше положить на музыку».

Так пишет Марк Слоним в опубликованных мемуарах.

Но в личной беседе с Вероникой Лосской, вспоминая эту встречу, он добавил штрих, разрушающий идиллическую тональность: оказывается, Сергей Яковлевич в какой-то момент сел в тот вечер на своего любимого конька и чуть было не испортил всю обедню. Он «разглагольствовал о России, и Прокофьев взъелся. Он был так сердит, что на обратном пути вместе с машиной врезался в столб на бульваре».

Только чудом машина не перевернулась и все остались живы.

К середине сентября не пришло чешское пособие, которое обычно поступало в самом начале месяца.

В доме воцарилась мрачная безнадежность.

Цветаева – Тесковой, 14 сентября 1931 года: «Наше положение прямо отчаянное: 14-е число, а чешского иждивения нет. Без него мы погибли. ‹…› По нашим средствам мы все должны были бы жить под мостом. ‹…› Умоляю, дорогая Анна Антоновна, попытайтесь отстоять меня у чехов. – Совестно всегда просить, но виновата не я, а век, который десять Пушкиных бы отдал за еще одну машину…»

Пятнадцатого октября надо было отдать квартирным хозяевам сразу 1200 франков. Кроме того, предстояло платить и за школу рисования, где училась Ариадна. А в семейном кошельке оставались считаные франки.

Эфрон – сестре, 18 сентября 1931 года: «Ты спрашиваешь, как мои дела. Должен сознаться, что хуже нельзя. Кризис (ужаснейший и со дня на день растущий) и мои советские взгляды сделали то, что я вот уже год не могу найти заработка. Что будет дальше – думать страшно. Живем изо дня в день, каким-то образом выворачиваемся. Но боюсь, что и выворачиванию придет конец. Эта зима в Париже будет сверхтрудной…»

Осенью сорвалась еще одна попытка устроить французского «Молодца» через давнего, российских лет, приятеля – француза Шюзвиля. Надежда вспыхнула – и погасла: очередная неудача.

Как бы ни была Цветаева уверена в своем даре, эта цепь отказов из всех редакций, это вежливое равнодушие и молчание, этот снисходительный тон Георгия Адамовича, упоминавшего всякий раз в своих литературных обзорах о «болезнях ее вкуса», – не могли поднять жизненного тонуса.

Одно к одному, одно к одному…

Но что появляется в цветаевских рабочих тетрадях в те самые дни, когда она пишет свое отчаянное письмо Тесковой?

– Не нужен твой стих –
Как бабушкин сон.
– А мы для иных
Сновидим времен.

– Докучен твой стих –
Как дедушкин вздох.
– А мы для иных
Дозорим эпох.

– В пять лет – целый свет –
Вот сон наш каков!
– Ваш – на пять лишь лет.
Мой – на пять веков…

Ни жалобы, ни отчаяния, ни обвинений. Уверенность: «Моим стихам настанет свой черед». Но есть в ее записной книжке и более горькие строки: «Ведь все равно, когда я умру – все будет напечатано! Каждая строчечка, как Аля говорит: каждая хвисточка! Так чего ж ломаетесь, привередничаете? Или вам вместо простой славы… непременно нужна… сенсация смерти? Вместо меня у стола непременно – я на столе?..»

В последний момент приходят и чешское «иждивение» (правда, урезанное), и деньги, собранные друзьями. Дамоклов меч выселения больше не висит над головой. Можно перевести дух.

И Марина Ивановна разом стряхивает напряжение. Внешние невзгоды никогда не затрагивают ее глубоко; в сердце она их не впускает. «Я вообще за “grands efforts”[19] в жизни, – пишет она Тесковой 8 октября, – лучше сразу непомерное, чем понемножку…»

Жизнь продолжается. Цветаева погружена в очередную работу, и к ноябрю она уже закончена: это статья «Поэт и время».

«На свете счастья нет, но есть покой и воля…» Размышляя над этими пушкинскими строками в сентябрьском письме к Андрониковой, Цветаева вносит свою поправку в их смысл. «Воли-свободы» тоже нет, пишет она Саломее Николаевне, зато есть другое: «воля волевая». Воля как усилие, как мощное желание и превозможение.

Она не дает счастья, но помогает жить и делать свое кровное дело. То, которое за тебя не может сделать никто другой.

Глава 6
«Ни с теми, ни с этими…». Семейная драма

1

Начало 1934 года во Франции было ознаменовано аферой, в которой были замешаны парламентские депутаты, министры и видные чины французской полиции. На страницах газет замелькали портреты выходца из России Александра Ставиского – талантливого жулика, ворочавшего миллионами и пользовавшегося доверием высокопоставленных дипломатов.

Между тем русские эмигранты едва оправились от судебного процесса над другим своим соотечественником – Горгуловым, застрелившим в мае 1932-го 75-летнего французского президента Поля Думера. Павел Горгулов считал себя поэтом, выступал с чтением своих поэм в «Ла Болле» и был одержим русскими националистическими идеями.

Ставиский, правда, не был эмигрантом, но родился он все же в Киеве – и этого было достаточно, чтобы русские втянули голову в плечи, ловя на себе (как им, во всяком случае, казалось) косые взгляды французов. В очередной раз они обостренно ощутили себя гостями, которые незвано явились в чужой дом и досаждают хозяевам скверными выходками.

События разворачивались стремительно.

Инцидентом воспользовались группировки французских фашистов, ждавших повода для выступления. Еще с конца 1933 года на улицах Парижа стали появляться молодые люди в синих рубашках; они устраивали митинги, выкрикивали лозунги, призывавшие к борьбе «за здоровое государство с сильной властью», вербовали в свои ряды безработных. Теперь, 6 февраля 1934-го, соединенные фашистские силы «Патриотической молодежи», «Боевых крестов» и «Французской солидарности» атаковали на площади Согласия Бурбонский дворец, где заседал в это время французский парламент. «Фашисты жгли автобусы, – описывает этот день очевидец событий Илья Эренбург, – опрокидывали в Тюильрийском саду статуи нимф, резали ноги лошадей республиканской гвардии лезвиями бритв. Подоспели уголовники, начали громить магазины. К утру все устали и разошлись по домам…»

Но спустя два дня по призыву французских коммунистов на улицы Парижа вышли рабочие с антифашистскими лозунгами. А

12 февраля в знак антифашистской солидарности разразилась всеобщая забастовка. Закрылись магазины, бездействовал транспорт, не работала почта, не вышла ни одна газета. На площади Нации, где собрались бастующие, статую Республики украсили красным флажком.

«12 февраля, – вспоминал Эренбург, – было первой черновой репетицией Народного фронта, который два года спустя потряс Францию…»

Почти одновременно с портретом Ставиского в январе 1934-го в русских газетах, выходивших в Париже, появился другой фотопортрет – в траурной рамке. То был портрет Андрея Белого, скончавшегося в России 8 января.

В «Последних новостях» были помещены даже два снимка. Один из них Цветаева назвала «Переход»: в старой шляпе, с тростью в руке, Андрей Белый шел по каким-то мосткам, запечатленный в позе полета. «Этот снимок – астральный снимок», – писала позже Цветаева в эссе «Пленный дух». Она настаивала, что вот так, перехода не заметив, и перешел Андрей Белый на тот свет.

Владимир Вейдле

Двадцатого января небольшая группа русских собралась на

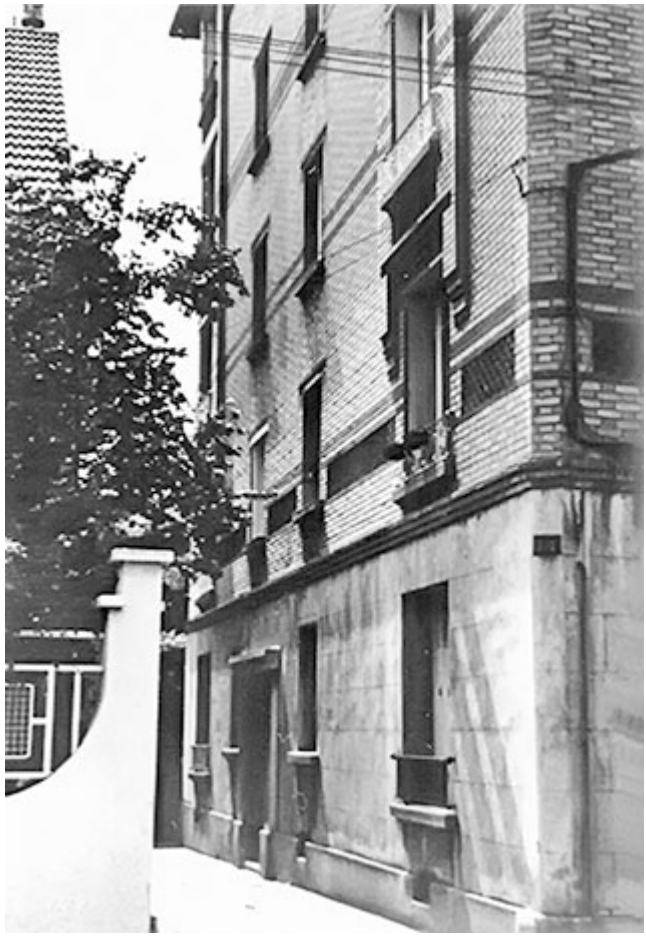
панихиде, которую отслужил о. Сергий Булгаков в темной, казавшейся от пустоты огромной церкви Сергиевского подворья. В числе присутствовавших были Цветаева, Ходасевич и критик Вейдле.

Владимир Вейдле увидел тогда Марину Ивановну впервые.

Ему уже приходилось отзываться в печати о ее стихах, они не слишком ему нравились. Спустя много лет Вейдле вспоминал этот день и свое потрясение от встречи с Цветаевой. После панихиды несколько человек зашли к о. Сергию, через некоторое время вместе вышли и затем проехали, не расставаясь, часть пути в метро.

«Не преувеличу, если скажу, что долго потом я в себя не мог прийти от совсем неожиданного открытия: вот она какая. Как никто. Поэт, как никто. Никогда, ни получаса, ни двух минут я вблизи такого человека не был. Что ж мне с этим делать? Перечесть, прочесть все ею написанное в надежде найти все это гениальным? Могла, казалось бы, такая мысль прийти мне в голову, но, помнится, не пришла. Впечатление не нуждалось в проверке и не изменилось бы, если бы я остался при старом мнении о ее стихах. Достаточно ее самой.

Пусть живет. Только бы жила.



Дом в Кламаре на ул. Кондорсе, 101

Что-то в этом роде я себе мысленно твердил. Спросил, наконец, себя – уж не влюбился ли я в нее. Нет. Открытие мое не меня касалось, и “вот она какая” этого не значило. Ей было сорок два года (не намного меньше и мне). Хороша она, по снимкам судя, не была и в юности… У о. Сергия, тогда, вид у нее был усталый и скорее тусклый. Держалась она просто, приветливо и скромно, говорила грудным своим голосом сдержанно и тихо.

Женственна она была. Женственности ее нельзя было забыть ни на минуту. Но в том, вероятно, разгадка несходства ее – ни с кем – и заключалась, что женственность или, даже грубее, женскость не просто вступила у нее с поэтическим даром в союз (как у Ахматовой) и не отреклась от себя, ему уступив (как у Гиппиус), а всем своим могучим порывом в него влилась и неразрывно с ним слилась. ‹…› Тогда, у о. Сергия, когда я впервые ее живую увидел, Елабуга была далеко, посмертное чтение писем еще дальше. Почувствовал я в ней, однако, именно это:

насыщенность всего ее существа электричеством очень высокого вольтажа…»

В ближайшие же дни Цветаева начнет работу над воспоминаниями об Андрее Белом.

Семья Эфрона и Цветаевой живет теперь уже в Кламаре – по другую сторону мёдонского лесного массива. Квартиру в Мёдоне пришлось оставить весной 1932 года – она оказалась слишком дорога. После долгих поисков нашли более дешевое жилье.

Еще раньше в Кламаре поселились две другие семьи, с которыми Марина Ивановна дружила в Чехии, – Черновы и Андреевы. Жили здесь и многие евразийцы, не утратившие связей друг с другом, несмотря на то что движение уже пережило и свой апогей, и кризис, растеклось по разным руслам и ручейкам.

В двухэтажном особняке, подаренном богатой поклонницей, жил Николай Александрович Бердяев. С ним Цветаева знакома еще с середины десятых годов, они встречались тогда в Москве в доме Жуковских, у поэтессы Аделаиды Герцык. Заработка ради в 1932 году одну из работ Бердяева Цветаева собиралась перевести на французский язык. По воскресеньям в кламарском доме Бердяева за чайным столом сходились интересные люди – в основном молодые ученые, философы. Среди последних были Шестов, Федотов, Карсавин – Цветаева поддерживает с ними дружеские отношения.

Другой адрес Цветаевой в Кламаре: ул. Лазар Карно, 10

Особенно с Карсавиным, который живет тут же, неподалеку. Марина Ивановна часто бывает в его доме. Она дружит с Лидией Николаевной, женой Карсавина, иногда читает здесь свои стихи, удивляя слушателей редкостной простотой манеры. Карсавин любил шутку и, обладая прекрасной памятью, иногда подтрунивал над Цветаевой, цитируя в самый, казалось бы, неподходящий момент какие-нибудь строки ее стихов. Она весело смеялась: ей нравилась эта игра.

Но Кламар Цветаева не полюбила. После Мёдона с его уютными улочками, взбирающимися по склонам холма, с его старыми домами, сложенными из розоватого нетесаного камня и затянутыми кружевом плюща, – Кламар был скучен. Безликие четырех-пятиэтажные дома казались унылыми после мёдонских

особняков, пропитанных духом ушедших веков. И лес здесь был много дальше, и окраины его еще более замусорены…

Два года жизни в Кламаре прошли безвыездно – включая и оба лета, душных, мучительно жарких, когда листья на деревьях уже в июле желтели и съеживались, совсем не давая тени. Но выехать к морю было не на что. Чешское пособие, десять лет подряд существенно выручавшее семью, прекратилось.

С сыном на старой улочке

С деньгами стало настолько скверно, что однажды, открыв на звонок дверь своей кламарской квартиры, Цветаева увидела на пороге трех господ, похожих на гробовщиков.

Как выяснилось, господа пришли описать имущество хозяев за неуплату налогов. Описывать ничего не пришлось: «обстановка» оказалась состоящей из табуретов, столов и ящиков. И тогда господа составили очень строгую бумагу с предупреждением о немедленной высылке семьи из Франции в случае неуплаты налогов в кратчайшие сроки. Спас гонорар, присланный именно в этот день из журнала, долгожданный и лелеемый в мечтах совсем для других, более приятных вещей…

С конца двадцатых годов и еще в начале тридцатых семья получала регулярную денежную помощь друзей и привлеченных ими доброхотов. Саломея Андроникова-Гальперн, Дмитрий Святополк-Мирский, Елена Извольская и Марк Слоним были главными организаторами сбора помощи, совсем не легкой в годы экономического кризиса. Посылала свои маленькие подарки, а то и просто денежные переводы из Чехии и Бескова – при своих совсем скромных доходах.

В начале тридцатых годов обстоятельства принудили Марину Ивановну принимать новые решения в сфере, которая всегда казалась ей обителью свободы: в творчестве. Неудачи с публикациями крупных поэтических произведений заставили осознать, что главному ее призванию – поэзии – придется потесниться и дать место другой литературной работе – прозе. Она писала ее и раньше, но то было всякий раз вольное отступление от главного дела. Свободно избираемый перерыв. Теперь что-то изменилось – и вовне и внутри ее самой. Года ли к суровой прозе клонили, как это случалось и случается со многими поэтами? Но скорее присоединялось соображение о возможностях заработка: ее прозу в редакциях всегда принимали охотнее.

И в тридцатые годы Цветаева уже плотно занята новой работой. Она испробовала многие прозаические жанры – кроме беллетристики. Повести и рассказы с выдуманными героями и историями – не для нее. Любопытно, что она и как читатель меньше нуждалась в прозе, будь то даже Толстой или Достоевский. В ее письмах и сохранившихся откликах – множество поэтических имен, но по пальцам можно перечесть упоминания о прозаиках. Исключения лишь подтверждают правило: они касаются Пруста, Сельмы Лагерлёф и Сигрид Унсет. «В поисках утраченного времени» и «Кристин, дочь Лавранса» – любимейшие ее книги…

Ее проза первой половины двадцатых годов – «Мои службы», «Октябрь в вагоне», «Вольный проезд», «Чердачное» – создавалась на основе дневниковых записей первых лет революции. Позже возникла своеобразная цветаевская эссеистика: «Кедр», «Два

“Лесных царя”», «Поэт о критике», «Поэт и время», «Искусство при свете совести», «Эпос и лирика современной России»…

Но особый вид прозы возникает под ее пером при работе над очерком о Максимилиане Волошине осенью 1932 года. С этого времени Цветаева обретает себя в новом творческом русле и лирическую прозу назовет любимым жанром, – правда, после лирики. (Очерк, рассказ, эссе, воспоминания – эти термины к жанру, созданному Цветаевой, можно отнести, только оговорив их условность – и даже непригодность; сама она называла свой жанр именно так: «лирическая проза».)

В Кламаре созданы четыре безусловные жемчужины: «Живое о живом», «Дом у Старого Пимена», «Пленный дух» и «Хлыстовки». Но не только они: здесь началась и проза об отце и его музее, о матери и музыке, о детстве. «Тема, по существу мемуарная, – откликался в рецензии Владислав Ходасевич, – разработана при помощи очень сложной и изящной системы приемов – мемуарных и чисто беллетристических. Таким образом, оставаясь в пределах действительности, Цветаева придает своим рассказам о людях, с которыми ей приходилось встречаться, силу и выпуклость художественного произведения».

Даже крайне скупой на похвалы Бунин с одобрением принял лирическую прозу Цветаевой. Ею восхищался и Адамович. Откликаясь на «Дом у Старого Пимена», он писал: «Вот человек, которому всегда “есть что сказать”, человек, которому богатство натуры дает возможность касаться любых пустяков и даже в них обнаруживать смысл. ‹…› Проза М. И. Цветаевой должна бы у всех рассеять сомнения, ибо проза, по сравнению с поэзией – это, так сказать, “за ушко да на солнышко”. За рифмами в ней не спрячешься, метафорами не отделаешься… “На солнышке” Цветаева расцветает. Вспоминает она свое далекое детство, рассказывает о старике Иловайском и каких-то давно умерших юношах и девушках, – что нам, казалось бы? Но в каждом замечании – ум, в каждой черте – меткость. Нельзя от чтения оторваться, ибо это не мемуары, а жизнь, подлинная, трепещущая, бьющая через край…»

Владислав Ходасевич

Над очерком об Андрее Белом Марина Ивановна работала долго. Первые страницы написаны были еще в январе, но домашние дела постоянно отвлекали.

В начале февраля 1934 года состоялся вечер, посвященный памяти поэта.

С воспоминаниями выступил Ходасевич. Цветаева пошла его слушать с опаской и настороженностью: она знала о ссоре Белого с Ходасевичем в Берлине 1923 года. Но тревога оказалась напрасной. В письме, написанном в ближайшие дни жене Бунина Вере Николаевне, Марина Ивановна назвала доклад «изумительным», «лучше нельзя», тактичным, правдивым, ответственным в каждом слове и каждой интонации. Она признавалась, что «пришла именно, чтобы не было сказано о Белом злого, то есть лжи. А ушла – счастливая, залитая благодарностью и радостью».

Спустя полтора месяца – 15 марта – уже сама Цветаева читала свое эссе о Белом, на другом вечере. А Ходасевич сидел в зале.

Завершить «Пленный дух» помогли невеселые обстоятельства: заболел корью сын, потом дочь, и, наконец, началось обострение желудочно-печеночных болезней у мужа. Тем самым отпала гимназия Мура и прогулки с ним, отнимавшие по три часа в день. А когда все начали понемногу выздоравливать, часть необходимых домашних хлопот легла на Алю и Сергея Яковлевича. Из-за болезни и карантина они уже не могли убегать из дома по своим неотложным делам.

Соревнование с «изумительным» докладом Ходасевича Цветаева выдержала успешно. «Мой вечер Белого (простое чтение о нем) прошел при переполненном зале с единым, переполненным сердцем», – писала Марина Ивановна Тесковой. Вечер поразил ее саму силой человеческого сочувствия. И это был тот уникальный случай, когда Цветаевой даже не пришлось отсылать рукопись в редакцию и ждать проблематичного ответа. «Пленный дух» был принят прямо «на слух» присутствовавшим в зале В. В. Рудневым – одним из редакторов журнала «Современные записки». Оставалось лишь «дочистить» рукопись; еще «тепленькой», прямо из-под пера, она пошла в типографию – и в мае уже появилась в очередном номере журнала.

2

Смерть Андрея Белого послужила поводом к сближению с Ходасевичем. Спустя несколько недель после вечера, где был прочитан «Пленный дух», Цветаева получила письмо, которое привело ее в замешательство.

Владислав Фелицианович предлагал встретиться где-нибудь в кафе – поговорить.

Цветаева взяла в руки перо, чтобы ответить, – и больше половины письма заполнила размышлениями о том, насколько заочная дружба лучше очной.

Она припомнила, как разочаровал ее в 1926 году реальный Лондон, такой знакомый до встречи, «Лондон всех Карлов и Ричардов»; воспользовалась случаем, чтобы изложить свои представления о разных возможностях узнавания и познания, отдавая явное предпочтение интуиции перед эмпирикой. Было достаточно ясно, что предложение повидаться в кафе подпадает под категорию «туристского налета», не способствующего узнаванию, а только сбивающего с толку «Наедине хотя бы со

звуком тех Ваших интонаций в ушах или букв Вашего письма – больше, лучше, цельнее, полнее, вернее Вас знаю, чем – сидя и говоря с Вами в кафе, в которое Вы придете из своей жизни, а я – из своей…»

И после других интересных соображений неожиданно закончила: «А все-таки очень хочу с Вами повидаться. ‹…› Не могли бы приехать ко мне – Вы, к 4-м часам. Ведь просто! Есть № 89 трамвая, доходящий до Clamart-Fourche, а от Fourche – первая улица налево (1 минута)…»

Знакомы они были еще с дореволюционных времен. Оба были москвичами, оба участвовали в поэтическом сборнике, изданном «Мусагетом» в 1911 году. Встречались и в Москве, и в Коктебеле, у Волошина. В 1916 году в Крыму Ходасевич познакомился и с Эфроном, который ему очень понравился.

Но близких дружеских отношений тогда не возникло. Затем были еще встречи: летом в Берлине 1922 года, в Праге конца 1923-го, – но и они не сблизили.

В их отношении друг к другу преобладало скорее даже отталкивание, а временами и раздражение. Впрочем, оно прорывалось лишь в отзывах третьим лицам. Для этого было достаточно причин: и несхожесть личностного, психологического склада, и расхождение в эстетических установках. Убежденный приверженец классической поэтики, Ходасевич долгое время с недоверием следил за процессом обновления поэтического языка, который энергично шел в русской поэзии конца десятых – начала двадцатых годов. Цветаева же, зная это, склонна была принимать на свой счет ядовитые ходасевичевы стрелы, выпущенные против «поэтической зауми».

И, в свою очередь, признавалась в одном из писем (Бахраху, 1923 год), что в стихах Ходасевича ей недостает «чары и магии» – в отличие, например, от стихов Мандельштама.

В 1926 году между ними пролегла другая межа, во многом иллюзорная. Но пока это иллюзорное развеялось, прошли годы. Ходасевич выступил тогда против журнала «Вёрсты», в котором сотрудничала Цветаева. И личные контакты прервались, но до личной вражды дело не дошло. Так что Марина Ивановна позже имела все основания сказать: «Нашей ссоры совершенно не помню, да нашей и не было, ссорился кто-то и даже что-то – возле нас, а оказались поссорившимися – и даже поссоренными – мы». «Вообще – вздор, – продолжала Цветаева в том же письме. – Я за одного настоящего поэта (или, как в Чехии говорили: осьминку его, если бы это целое делилось!) – отдам сотню настоящих не-поэтов».

Это строки из письма 1933 года. Тогда Марина Ивановна

сделала первый шаг навстречу. Она обратилась к Владиславу Фелициановичу в связи с упоминанием его имени в своем очерке о Волошине. Шаг был облегчен тем, что Ходасевич, регулярно выступавший в роли критика на страницах русской эмигрантской прессы, проявлял заинтересованное внимание к развитию цветаевского таланта, столь непохожего на его собственный. Еще в 1925 году он назвал «восхитительной» поэму Цветаевой «Молодец», оценив ее как талантливейший прецедент поэтической обработки народной сказки. Правда, тремя годами позже он не принял новаторства цветаевской «Федры», найдя в ней «безвкусное смешение стилей» и «нарочитость языка».

Но в 1928 году его отклик на только что вышедшую книгу ее лирики – «После России» – в очередной раз продемонстрировал широту и непредвзятость его литературных предпочтений. Многое в этом поэтическом сборнике, где новый стиль цветаевской поэзии являл себя в полной мере, Ходасевичу оказалось чуждо. Но и в несогласии он был иным, чем другие критики, легко соскальзывавшие на стезю пренебрежительной иронии. Даже там, где ему виделись просчеты, «не найденная автором гармония между замыслом и осуществлением», он чувствовал масштаб цветаевского поэтического дара. Он отлично понимал, что перед ним совсем не тот случай, когда поэт не справляется с задачами ремесла. И готов был предположить, что цветаевские «темноты» – результат поиска иной гармонии, рожденной новыми смыслами.

Его спор был творческим спором; несогласия не помешали выразить искреннее восхищение. В рецензии на «После России» Ходасевич писал: «Из современных поэтов Марина Цветаева – самая “неуспокоенная”, вечно меняющаяся, непрестанно ищущая новизны: черта прекрасная, свидетельствующая о неизменной живучести, о напряженности творчества». «Она созерцатель жадный, часто зоркий и всегда страстный. ‹…›

Эмоциональный напор у Цветаевой так силен и обилен, что автор словно едва поспевает за течением этого лирического потока…»

Он сравнивал поэзию Пастернака и Цветаевой и отдавал предпочтение последней. Он находил, что «словесную стихию» Цветаева использует «не только целесообразней, умней, но главное – талантливей, потому что запас словесного материала у нее количественно и качественно богаче. Она гораздо одареннее Пастернака, непринужденней его – вдохновенней. Наконец и по смыслу – ее бормотания глубже, значительней. ‹…› Если развеять словесный туман Пастернака – станет видно, что за туманом ничего нет или никого нет. За темнотою Цветаевой – есть. Есть

богатство эмоциональное и словесное, расточаемое, быть может, беспутно, но несомненное. И вот, говоря ее словами – “Присягаю: люблю богатых!”, сквозь все несогласия с ее поэтикой и сквозь все досады – люблю Цветаеву».

Владислав Ходасевич и Ольга Марголина-Ходасевич. 1938 г.

И вот, наконец, в апреле 1934 года они все-таки встретились: впервые, кажется, наедине и впервые без всякого делового предлога. Спустя недолгое время Цветаева познакомилась и с женой Ходасевича – Ольгой Борисовной. Встречи стали более или менее регулярными. И хоть тесной дружбы так и не вышло, укрепилось ощущение внутренней соединенности, «родства по духу» – посреди больших и малых эмигрантских распрей. Теперь, когда судьба загнала их в один и тот же безнадежный тупик, было уже не до споров о классической, неоклассической и модернистской поэтике. Если они и возникали, из них бесследно ушло ожесточение. На первый план выступила общность главных жизненных ценностей, творчество в условиях глухой барокамеры, пустынное одиночество в чужой земле.

То ощущение, которое так прекрасно воссоздал Пастернак, думая о Цветаевой:

Чужая даль… Чужой, чужой из труб

По рвам и шляхтам шлепающий дождик.
И отчужденьем обращенный в дуб
Один, как мельник пушкинский, художник…

3

В середине тридцатых годов Цветаева написала две прозаические миниатюры – «Страховка жизни» и «Китаец». На фоне всей ее прозы они единственны в своем роде. Потому что в их основе – не воспоминания о давно ушедших временах, а живые впечатления «сиюминутной» реальности. Автобиографичность обеих миниатюр не вызывает сомнений, хотя в «Страховке жизни» повествование идет от третьего лица.

Сюжет первой миниатюры: нежданный визит страхового агента в семью русских эмигрантов и короткий разговор с ним в дверях кухни.

Сюжет второй – случайная встреча на почте с китайцем, торгующим своими изделиями. Но там и там – тема одна: чужеродность русских во французской среде, под чужим небом. Невозможность найти душевно общий язык с людьми другой судьбы и иной культуры.

Вежливый, воспитанный страховой агент-француз изо всех сил старается понравиться потенциальной русской клиентке – и доводит ее чуть не до обморока настойчивыми уверениями в выгоде и утешительности денежной компенсации за смерть мужа. Муж сидит здесь же, на кухне, за ужином, однако при разнообразии несчастных случаев, дотошно перечисляемых молодым человеком, будто читающим наизусть прейскурант, он, муж, вполне может погибнуть в любой день.

Жена пытается прервать поток этой гладкой вежливой речи, объяснить: «Мы – другого поколения, лирического поколения», мы – «сантиментальные», «суеверные», «фаталисты», вы, наверное, уже об этом слышали? Про «lame slave?»[20] Безнадежно.

Симпатичные почтовые барышни («Китаец»), тщательно обдумывающие трату каждого су из своего кошелька, ни во что не ставят собственные радости, если они заранее не предусмотрены и не взвешены. Как пугаются они пустячного подарка, который хочет сделать им странная русская дама! А ей, этой даме (то есть самой Цветаевой), несравненно легче говорить с китайцем. Языка его она не знает, но между ними сразу возникает контакт, едва выясняется, что мадам – русская, а торговец бывал в России.

«– Русский? – вдруг, мне, китаец. – Москва? Ленинград?

Харашо!

– Так вы и по-русски знаете? – я, бросив барышню, бросаясь к китайцу, радостно.

– Москва была, Ленинград была. Харашо была! – тот, сияя всем своим родным уродством.

– Он знает Россию, – я, барышне, взволнованно. – Мы ведь соседи, это почти компатриот…»

И эта анекдотичная логика, по которой китаец оказывается почти соотечественником, вдруг подтверждается его жестом при прощании: подарком мальчику, сыну русской. Бескорыстным подарком, в знак «родства по России».

Но Цветаева видит здесь и другое родство и братство: она называет его братством «по уязвленной гордости».

«…Потому что каждому из нас кто-то, любой, пусть пьяный, пусть пятилетний, может в любую минуту крикнуть “метек”; а мы этого ему крикнуть – не можем. Потому что, на какой бы точке карты, кроме как на любой – нашей родины, мы бы ни стояли, мы на этой точке – и будь она целыми прериями – непрочны: нога непрочна, земля непрочна… Потому что малейшая искра – и на нас гнев обрушится, гнев, который всегда в запасе у народа, законный гнев обиды с неизменно и вопиюще неправедными разрядами. Потому что каждый из нас, пусть смутьян, пусть волк, – здесь – неизменно ягненок из крыловской басни, заведомо-виноватый в мутности ручья. Потому что из лодочки, из которой, в бурю, непременно нужно кого-нибудь выкинуть, – непременно, неповинно и, в конце концов, законно, будем выкинуты – мы…»

В «Китайце» явственно слышна живая тревога, разбуженная событиями во французской столице, случившимися в первые месяцы 1934 года. Традиционная ксенофобия французов подогревалась теперь реальными обстоятельствами: трудностями экономической ситуации (кризис едва начал сдавать свои позиции) и притоком новых беженцев – уже не из России, а из фашистской Германии.

– Убирайся в свою страну! Грязный иностранец! – Эти возгласы возникали теперь при малейшем уличном конфликте. И долгим эхом отдавались в ушах русских, рождая чувство безысходности и непроглядного тупика.

На короткий период в бурные февральские дни показалось, что враждебность может сгладиться на почве общих испытаний. Когда рабочие Парижа объявили всеобщую забастовку, русские в нее включились – несмотря на всю сложность своего положения. Еженедельник «Иллюстрированная Россия» с удовлетворением рассказывал, например, о сближении русских таксистов со

своими французскими коллегами. Они вместе вырабатывали требования, общими усилиями организовывали оптовые закупки продуктов для семей, – казалось, это рождало общее чувство братства. Увы! То были лишь недолгие эпизоды единения. «Мы в лучшем случае все – бедные родственники за богатым столом, которым кусок хлеба становится поперек горла, а в худшем – непрошеные едоки там, где и своим не хватает», – писал тот же русский еженедельник.

Неприкрытая враждебность на уровне простого обывателя соединялась и с ледяным равнодушием к положению русских эмигрантов и среди культурных слоев французского общества. Правда, на рубеже двадцатых и тридцатых годов тут намечалось некоторое сближение.

Несколько раз Цветаева присутствовала на собраниях «Русско-французской студии», проходивших в помещении издательства «Юманите Контемпорен».

Замысел был отличный: свести вместе философов и писателей двух культур. Состоялись вечера, посвященные творчеству Толстого, Достоевского, Пруста, Поля Валери, Андре Жида. С французской стороны в них участвовали Андре Моруа, Жорж Бернанос, Поль Валери, Габриэль Марсель, Жак Маритен.

Темпераментно и ярко Цветаева выступила на «прустовском» вечере. Правда, то была всего лишь обстоятельная реплика, но именно такие реплики всегда ей блестяще удавались. Чем более она была задета, тем красноречивее оказывался ее «рипост», как она сама это называла.

Один из докладчиков – Борис Вышеславцев – упрекнул тогда знаменитый роман Пруста в камерности, в отсутствии интереса автора к большим социальным проблемам эпохи. А также в чрезмерном увлечении подробностями.

Марина Ивановна возразила с обычной для нее страстностью.

– Говоря об узком мирке Пруста, – сказала она, – господин Вышеславцев упускает из виду, что не существует самого по себе узкого мирка, существует только узкий взгляд на вещи. В искусстве дело не в том, чтобы ставить большие проблемы, а в том, чтобы давать большие ответы. Весь Пруст – это ответ: откровение.

И добавила:

– Сам акт питья чая, спанья днем и гулянья ночью не имеет к искусству ровно никакого отношения. Иначе мы все были бы Прустами. Великое дело Пруста – в обретении своей жизни за письменным столом, в то время как предвоенное поколение русских потеряло свою в болтовне…

Дом Натали Клиффорд Барни

В этой реплике сполна выразилась ее устойчивая неприязнь к умничающим «общественникам», «мозговикам», сводящим живую жизнь к сплошным «общественным проблемам». Великолепные прустовские «подробности» воспринять как «бытовизмы»! В ее глазах это был образец примитивного восприятия – как если бы читатель читал книгу сквозь безнадежно задымленные очки – или просто держал ее вверх ногами.

Увы, «Встречи» довольно скоро прекратились, распавшись на самостоятельные личные связи. Некоторые образовались и у Цветаевой. Однако, чтобы упрочить их, нужно было жить в Париже, а не в предместьях. И иметь возможность свободно уходить из дома. А еще – другой склад характера. В больших собраниях Марина Ивановна обычно держалась замкнуто и напряженно; иным это казалось надменностью, не слишком располагавшей к сближению.

Французские контакты ее вообще трудно назвать успешными. Известно, что в некоторых литературных салонах Парижа она бывала. В доме поэта и переводчика Шарля Вильдрака, например. И в салоне богатой американки Натали Клиффорд Барни на улице Жакоб, куда в двадцатые годы, случалось, заглядывал молодой Хемингуэй. В воспоминаниях Елены Извольской читаем: «Рекомендация этой необычной американской писательницы

была волшебным словом, способным отворить двери любого значительного литературного журнала… И вот я получила от мисс Барни приглашение для себя и Марины на одну из “пятниц”, которые в течение двух десятилетий посещали самые знаменитые писатели, – такие, как Джеймс Джойс, Марсель Пруст, Т. С. Элиот, Поль Валери, Гертруда Стайн ‹…› Однако в тот день, когда я пришла с Мариной, здесь не было ни знаменитостей, ни странных личностей; собрание оказалось довольно скучным. Может быть, в середине тридцатых годов пятницы мисс Барни уже клонились к упадку. Марина прочитала свои стихи в собственном французском переводе – точном и блестящем, ее дикция была замечательной, но аудитория приняла ее прохладно».

Барни имела свое издательство, и Цветаева предприняла еще некоторые усилия, чтобы выпустить там переведенные на французский «Флорентийские ночи»; но и из этой затеи тоже ничего не вышло: рукопись попросту затеряли.

Гостиная в доме Барни

Возможно, что вместе с Еленой Извольской Цветаева посещала «воскресенья» супругов Бассиано в Версале, устраивавшиеся для сотрудников журнала «Коммерс». Знакома она была и с четой Парен; Брис Парен – французский философ советофильских наклонностей – заведовал отделом в издательстве «Галлимар» и сотрудничал в «Нувель ревю франсез»;

с его женой, урожденной Челпановой, Марина Ивановна училась в одной гимназии…

Но все эти контакты не переходили некой невидимой границы. Чаще всего этими собеседниками она и не обольщалась. «Скучно с французами! – читаем в ее письме, написанном в 1929 году Саломее Андрониковой-Гальперн. – А может быть – с литературными французами! ‹…› Разговоры о Бальзаке, о Прусте, Флобере. Всё знают, всё понимают и ничего не могут (последний смогший – и изнемогший – Пруст)».

Еще более горько о том же – в письме к Бесковой: «Париж мне душевно ничего не дал. Знаете, как здесь общаются? Гостиные, много народу, частные разговоры с соседом – всегда случайным, иногда увлекательная беседа и – прощай навсегда. Так у меня было много раз, потом перестала ходить (пишу о французах). Чувство, что всякий все знает и понимает, но занят целиком собой, в литературном кругу (о котором пишу) – своей очередной книгой. Чувство, что для тебя места нет. Так я недавно целый вечер пробеседовала с Alain Gerbault, знаменитым одиноким путешественником (Ala poursuite du soleil)[21]. И – что же? Да то, что самая увлекательная, самая как будто – душевная беседа француза ни к чему не обязывает. Безответственно и беспоследственно. Так, как говорит со мной, говорит с любым, я только подставное лицо, до которого ему никакого дела нет. Французу дело до себя. Это у них называется искусством общения…»

Несмотря на неудачу с публикацией поэмы «Молодец», в сущности заново созданной на французском языке, Цветаева будет продолжать попытки выйти к французскому читателю. Она пишет на французском «Письмо к амазонке» и девять автобиографических миниатюр в прозе. Опубликовать их ей так и не удастся…

Ощущение неслиянности с французами у большинства русских эмигрантов с годами только возрастало. Среди анекдотов, пущенных Дон-Аминадо со страниц «Последних новостей», был в ходу не чересчур веселый: «Французский взгляд на вещи: “Этот человек так опустился, что у него нет даже сберегательной книжки!” Русский взгляд на вещи: “Как опустился этот человек! Он завел себе сберегательную книжку!”»

Столицу Франции испокон веку населяли не только французы. Сколько звучных литературных имен назвал Эрнест Хемингуэй в своих воспоминаниях о Париже (речь там шла, напомню, о двадцатых годах): Гертруда Стайн, Эзра Паунд, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Джеймс Джойс – и он сам,

красивый, двадцатитрехлетний, всегда полуголодный, зачитывающийся Тургеневым и Достоевским и неутомимо рассылающий свои рассказы чуть ли не во все существующие в мире редакции.

Несостоявшиеся дружбы, разминувшиеся собеседники… Вечная обособленность и разрозненность обитателей больших городов.

4

К середине тридцатых годов внутри цветаевской семьи все более углубляется разлад. Его устрашающие подробности стали особенно очевидны после полного издания (без купюр) писем Марины Цветаевой к Анне Тесковой. В сочетании с письмами к Вере Буниной и Наталье Гайдукевич, а также со свидетельством выросшего Мура (в его дневниках и письмах советского времени) вырисовывается трагическая картина внутрисемейной драмы. Корни ее уходят далеко, говорить об этом уже приходилось. Но в свое время даже серьезное увлечение Софьей Парнок не заставило Марину Ивановну усомниться в неизменной своей связанности с мужем. Позже, в октябре 1917-го, в поезде, везущем ее из Феодосии в Москву, где шли кровопролитные бои, полная смертельного беспокойства за жизнь Сергея, Цветаева записывала как клятву: «Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака…»

Пройдут еще годы. И уже в Праге даже страстная любовь к Константину Родзевичу не позволит ей разрушить той клятвы; после мучительных колебаний Цветаева остается в семье, – и это ее собственное решение.

Однако когда Сергей Яковлевич решительно поставил вопрос о возвращении на родину, в семейных отношениях возникает новый этап. В ответ на просьбу о советском паспорте Эфрон получил от советского полпредства («полпредством» прикрывались советские спецслужбы) задание, казалось бы, совсем невинное: реорганизовать «Союз возвращения на родину», возникший в Париже еще в 1925 году, но влачивший не слишком заметное существование. Задание выглядело поначалу даже заманчиво: объединить эмигрантов – тех, кто, как и Эфрон, хочет вернуться на родину; превратить Союз в центр советского влияния во Франции. Сергей Яковлевич с энтузиазмом принялся за дело.

Дома, в семье, отца горячо поддерживает Ариадна. Сын еще мал, но и он жаждет немедленно ехать в СССР. Упрямо

сопротивляется только Цветаева. Кажется, что вещее предчувствие с необоримой силой удерживает ее от безоговорочного «да», которого так ждет от нее муж. Трудно назвать это просто словом «страх». В отличие от мужа, она-то прожила четыре страшных года в большевистской Москве. Благородные лозунги о равенстве и братстве обольстить ее уже не могли. То было почти знание, а не безотчетный страх. Знание-предчувствие несчастья для всей семьи. Пытаясь взвешивать «за» и «против», она сравнивала себя с витязем на раздорожье: «Влево поедешь – коня загубишь, вправо поедешь – сам пропадешь…» И ведь решать приходилось не только за себя: за будущность детей тоже…

В середине тридцатых Марина Ивановна уже отчетливо осознает, насколько наивной была ее мечта вырастить из детей «вторую себя». Дети выросли не похожими ни на мать, ни друг на друга.

Георгий Эфрон

Аля определенно пошла в эфроновскую породу. Очаровательная, некогда восхищавшая всех девочка, в шесть лет уже сочинявшая стихи и знавшая наизусть десятки

стихотворений, преданная матери настолько, что та, по ее собственному признанию, почти боялась такой непомерной любви, – той девочки больше не было на свете. Любовь к матери, искренняя и экзальтированная, начала остывать, как это почти всегда случается, на рубеже четырнадцати-пятнадцатилетия. Незаурядные и разносторонние способности Ариадны были несомненны. Ее рисунки успешно принимаются в редакции журнала мод. Она с удовольствием вяжет шарфы и свитера, когда есть заказы… Но от обожания матери теперешняя Аля уже напрочь избавилась. Она делает теперь все ей наперекор, позволяя себе не просто дерзкие, но и оскорбительные выходки. В Школе рисования при Лувре она не доучилась. И вдруг устроилась зарабатывать деньги ассистенткой зубного врача. Условия работы оказались изматывающими. Но вечерами она еще и убегала из дома, надев берет по последней моде – круто набекрень, – то в гости, то в кинематограф, то на митинг. И возвращалась за полночь – захлопывая дверь в свою комнату прямо перед носом матери. Со стороны отца при этом – молчаливая поддержка дочери. Сергей Яковлевич уже утратил былую свою кротость и временами даже позволяет себе заметить, что Марина слишком деспотична: Аля выросла, теперь ей нельзя указывать, когда именно ложиться спать. «Он при Але говорит, – жалуется Цветаева в одном из писем, – что я – живая Иловайская, что оттого я так хорошо ее и написала» (в «Доме у Старого Пимена»). Нет, обиженно возражает Марина Ивановна, не на деспотичную Иловайскую она похожа, а на свою мать – спартански строгую и требовательную Марию Александровну! И вовсе не беспочвенны ее опасения за здоровье дочери: та худеет на глазах, а ведь в Чехии у нее находили затемнения в легких… А наследственность?! «Вера, – пишет Цветаева Буниной, – поймите меня: если бы роман, любовь, но никакой любви. Ей просто хочется весело проводить время, новых знакомств, кинематографов, кафе – Парижа на свободе». Эти естественные порывы, в глазах матери, означали «убеганье от самой себя», подпадение под «стандарт парижской улицы», проявление «душевной лени»…

Георгий Эфрон. Начало 1930-х гг.

В другом письме она воспроизводит жесткий диалог с дочерью:

«Аля, ты знаешь, кто я и что я. Мне нужно два часа утром для писания. У меня никого нет на выручку…» И ответ Ариадны: «А Вы думали – я всю жизнь буду служить у Вас бесплатной домработницей?»

Домработница! – так называет дочь помощь по дому в собственной семье… В этой роли она видит только мать.

А Цветаева не может забыть, что и чему пришло на смену, – и это усиливает ее сердечную боль. После совместно пережитого ужаса и нищеты в Советской России, после чудной Чехии, где они с дочерью еще были так дружны… «Дитя моего духа» – так звала она маленькую Алю. «Наш с ней случай был необычный и, может быть, даже единственный. ‹…› Случай – из ряду вон, а кончается как все…» – в письме к Буниной.

Слишком рано, думает теперь Марина Ивановна, она сделала дочь своей подружкой, посвященной чуть ли не во все тревоги и радости матери; то, что произошло сейчас, – естественный результат. В доме должен быть культ матери, считает теперь Цветаева, – и никакого равенства, только тогда уцелеют сердечные отношения…

Время от времени отец с дочерью уединяются в кухне, закрывая за собой дверь. И похоже, что наедине они беседуют не только о возникших семейных проблемах. Эфрон уже энергично втянул Ариадну в деятельность «Союза возвращения». Она слушает там лекции, смотрит фильмы, участвует во встречах,

репетициях спектаклей, помогает оформлять печатные издания…

Ариадна Эфрон. 1935–1936 гг.

Фиаско – так оценивает Марина Ивановна случившееся в семье.

Катастрофа и поражение.

С отчаянием она наблюдает, как из-под ее крыла уходит и подрастающий сын. Он – «побег моей силы, не моей сути», – читаем в письме к Наталье Гайдукевич. Менее всего он развит душевно – «ничем не пронзён». Из домашней, специально для него подобранной детской библиотеки он решительно не хочет читать то, что так любила читать в детстве его мать. Зато, как и

отец, он уже с увлечением читает газеты! Мать безуспешно пытается вырывать их у него из рук. Сергей Яковлевич и здесь не слишком деликатен: «Вы – тиран, – заявляет он жене прямо при мальчике. – Вы портите ему детство, Вы не даете ему дышать!»

Одна из неприглядных сцен – снова в письме к Гайдукевич: «Пример: С[ережа] уронил что-то под стол и шарит (он очень высокий, а в кухне тесно). Мур, не дрогнув, продолжает есть. Я – Мур, подыми же! Как же ты можешь сидеть, когда папа ищет? ‹…› Мур спокойно продолжает есть и сообщать последний фельетон из “Последних Новостей”. С. Я. ни слова мне в подтверждение, и как часто – мне в посрамление. Или – Я в его воспитание не вмешиваюсь. То, что Вы делаете – чудовищно. (При нем). А “чудовищно”, что я, наконец, не вытерпев его полной тарелки и полного словами рта, наконец беру ложку и сую ему в рот. Тогда – буйный скандал. А Мур за едой говорит непрерывно: обед (суп и котлеты) длится час… В доме он томится: – Какая у нас ужасная семья!»

Сергей Эфрон с дочерью. Конец 1930-х гг.

Но в безвыходную ловушку Цветаева попала с началом школьного обучения сына: теперь времени для творчества почти не оставалось. Дважды в день она провожает Мура в школу и дважды его оттуда забирает. А кроме того, считает необходимым еще подолгу гулять с ним; домашние называют это «материнским безумием».

Ариадна, активно помогавшая раньше, все больше занята

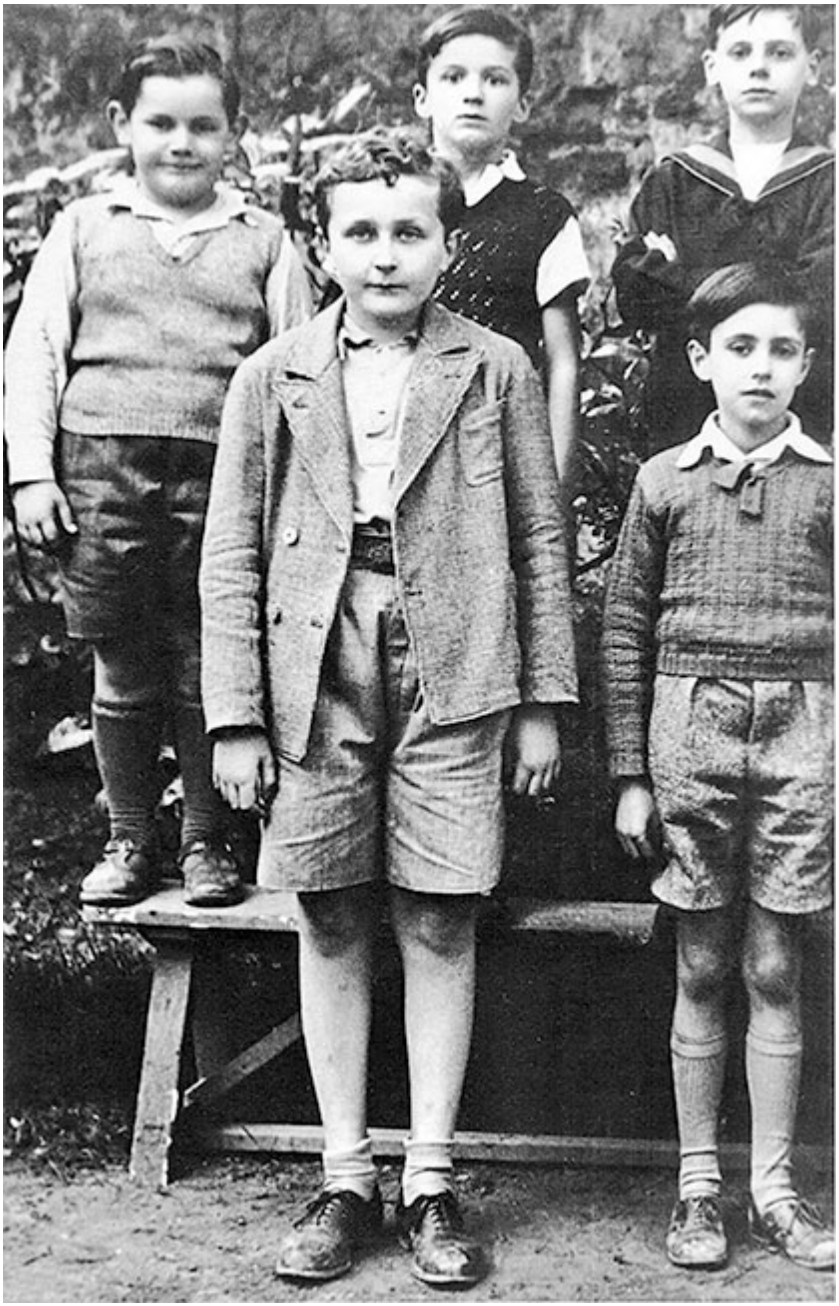
собой…

Скоро и Мур начнет посещать «Союз возвращения»; правда, ему там скучно. Веселее на митингах, он охотно бывает на них с отцом и сестрой, – а митингов в бурном Париже середины тридцатых годов предостаточно! «Мур живет разорванным, – пишет Цветаева Тесковой, – между моим гуманизмом и почти что фанатизмом отца».

Безнадежно рушился прекрасный миф, родившийся некогда в волошинском Коктебеле, на берегу моря. Между супругами разрасталась пропасть, игнорировать которую становилось уже невозможно: «…все разные и все (и всё) – врозь, – признавалась Цветаева в письме того же 1934 года, – людям не только у меня, но и у нас не сидится (никакого “у нас” – нет)». И еще резче – о супружеских отношениях:

«…он меня по-своему любит, но – не выносит, как я – его. В каких-то основных линиях: духовности, бескорыстности, отрешенности мы сходимся (он прекрасный человек), но ни в воспитании, ни в жизнеустройстве, ни в жизненном темпе – всё врозь! Главное же различие – его общительность и общественность и моя (волчья) уединенность. Он без газеты жить не может, я – в доме и в мире, где главное действующее лицо – газета – жить не могу».

Отчуждение мужа Марина Ивановна объясняет иногда и другими причинами. «Думаю, в нем бессознательная ненависть ко мне как к помехе – его новой жизни в ее окончательной форме, – сказано в письме к Буниной. – Хотя я давно говорю – хоть завтра. Я – не держу».



Георгий Эфрон среди одноклассников

За недоговоренностью тут проступают два возможных истолкования: готовность разрушить семейную совместность, – и готовность отпустить в Россию, о которой он так тоскует. То и другое не раз уже, видимо, обсуждалось в домашних стенах. В письмах Сергея Яковлевича сестре в Москву настойчиво звучит:

«Если бы я был один!», «с Мариной прямо зарез…», «…с нею ужасно трудно. Прямо не знаю, что и делать…». И – той же Елизавете Яковлевне: «Марина – человек социально совершенно дикий, ею нужно руководить как ребенком».

Вот так это называют в семейном интерьере.

Только жестокий ход самой судьбы расставит оценки в этом споре. Всего через пять лет…

Третьим мая 1934 года помечено одно из самых блистательных и трагичных цветаевских стихотворений:

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно всё равно –
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что – мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне всё равно, каких среди
Лиц – ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной – непременно –

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться – мне едино.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично – на каком
Не понимаемой быть встречным!

Рефрен отречения, с горечью обрывающий все ниточки дорогих связей, и далее многократно повторен, – вплоть до заключительных строк:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно и всё – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина…

В своей тетради под поэтическим текстом Цветаева записала: «Эти стихи могли бы быть моими последними».

Опубликованное на страницах журнала «Современные записки», стихотворение произвело ошеломляющее впечатление на эмигрантского читателя. Ходасевич назвал его одним из самых замечательных, созданных поэтом за последние годы.

Теперь, уже зная жизненные обстоятельства, в которых текст был написан, обратим внимание: название – «Тоска по родине» – не слишком-то соответствует его сути и даже чуть ли не уводит от нее. Сердцевина боли, создавшей пронзительные строки стихотворения, – явно не в ностальгии. И даже в первую очередь не в ностальгии. Она – в отчаянии безысходного одиночества, отчужденности, покинутости.

Цветаева, несомненно, помнила, что именно так – «Тоска по родине» – назван был известнейший военно-оркестровый марш времен трагической Русско-японской войны начала века.

5

В конце июля 1934 года семья разъехалась в разные стороны. Ариадна отправилась на три месяца на побережье океана с семьей немецких эмигрантов: ее пригласили на «полный кошт» за уроки французского языка. Сергея Яковлевича позвали к себе в гости друзья, жившие в горной Савойе.

А Марине Ивановне удалось найти славный домик всего в десяти верстах от Версаля, в живописном уголке Эланкур, напомнившем ей чешские пейзажи. С удовольствием она сообщала Тесковой: «Настоящая деревня – редкому дому меньше 200 лет и возле каждого – прудок с утками…» Здесь много простора, а в перелесках – масса грибов. Французы ничего в них не понимают, считают сплошь ядовитыми, и это замечательно: обеденные проблемы тем самым наполовину сняты.

Вырываясь из городской обстановки, Цветаева воскресала; с природой, с лесом, просторами, горами у нее – сокровенная связь. Среди них она распрямлялась, высвобождалась, обретала новое дыхание. Весь сонм забот, бед, огорчений, от которых в городе некуда было спрятаться, отступал – и даже исчезал, проваливался в небытие. То было ее счастливое свойство, сохраненное со времен юности. Целительный эгоизм души, жаждущей обновления, почти совсем уже задохнувшейся – и наконец-то глотающей чистый воздух свободы.

В Эланкуре мать и сын могли всласть нагуляться, не спеша наговориться и начитаться.

В пятый раз с наслаждением перечитывает Цветаева «Кристин, дочь Лавранса». В ее глазах Кристин – высший образец «женской мужественности», сочетание сердечного богатства с великой силой духа, стойкости с суровым пониманием человеческого долга. «Я там все узнаю», – писала Марина Ивановна Тесковой об этой книге.

А Мур привез с собой два огромных тома: Мишле и Тьера – о Великой французской революции. Сам их высмотрели выторговал у букиниста, отдав собранные по крохам сбережения. Ему пошел десятый год.

В один из августовских дней в Эланкур приехала на несколько дней погостить Анна Ильинична Андреева. Деятельная, энергичная, властная, вдова Леонида Андреева не просто сердечно любила Цветаеву, но и восхищалась ею как поэтом и личностью. Они сблизились еще в чешских Вшенорах, за несколько месяцев до совместного переезда в Париж. Потом дела, хлопоты, неустройства развели их в разные стороны, но дружба сохранилась, а с переездом Марины Ивановны в Кламар заново упрочилась. Теперь они жили совсем рядом и при каждом удобном случае встречались. Несмотря на постоянную занятость и обремененность большой семьей, Андреева не раз выручала свою приятельницу, перепечатывая ее стихи и прозу на пишущей машинке.

Анна Андреева

Дом, где жила семья Андреевых, имел плоскую крышу, обнесенную балюстрадой. Эксцентричная Анна Ильинична («вся из неожиданностей», писала о ней Цветаева) с разрешения хозяина устроила под открытым небом свою личную резиденцию, обзавелась картой звездного неба и в теплые летние ночи оставалась на крыше до утра, не разрешая нарушать свое уединение даже подросшим детям. Но Цветаева была здесь желанной гостьей. Каким оазисом посреди земных забот и будней были для них обеих протекавшие тут часы дружеских бесед! Вспоминались ли Марине Ивановне далекие безмятежные ночи на другой крыше – волошинского дома в Коктебеле, тоже наполненные звездами, стихами и радостью сердечного общения?..

Изредка Андреева созывала гостей и устраивала чтение Цветаевой у себя в доме (уж не на крыше ли?). В такой обстановке Марина Ивановна была раскованна и весела: понимали ее стихи или нет, ей было не столь важно, но дружелюбия, во всяком случае, здесь хватало.

Теперь, в Эланкуре, они могли наслаждаться тишиной и природой, напоминавшей и чешскую, и русскую. Счастье долгих прогулок соперничало у Цветаевой даже с радостями творчества –

недаром же создала она свою «Оду пешему ходу». Счастье дороги, когда за каждым поворотом – подарок; и не просто глазу, а сердцу: дерево, ручей, облако, куст – цветущий «прямо в разверстую душу…».

Андреева же была не только отличный ходок, но и замечательный собеседник. В книге «Эхо прошедшего» Вера Леонидовна Андреева писала об отношении ее матери к Цветаевой: «Она просто со всей страстностью и бескомпромиссностью своей натуры прильнула к ней, распознав, наконец, долгожданного друга и единомышленника. Вот с кем маме не нужно было снижаться в мыслях и в разговоре до уровня собеседника. Вот с кем не надо было бояться, что не поймет, не оценит, когда, наоборот, она все понимает с намека, с полуслова, вот с кем можно было, окутавшись дымом сигарет, отделиться от земли, воспарить в какое-то высшее пространство».

В свою очередь и Цветаева осталась навсегда благодарна судьбе, которая свела ее с человеком, ни на йоту не разочаровавшим ее за четырнадцать лет дружбы. Андреева была умна и образованна, но Марина ценила в Анне Ильиничне больше всего то, что привыкла называть «природностью»: неподстриженное своенравие, неспособность подделываться под «принятое», пренебрежение тем, «что скажут». «Пуще всех цыганок», – говорила о ней Цветаева. Андреевой она написала в прощальном письме, уже перед отъездом в Россию: «Живописнее, увлекательнее, даровитее, неожиданнее и, в чем-то глубоком, – НАСТОЯЩЕЕ человека я никогда не встречу»…

Душевная цветаевская щедрость известна – и по ее стихам, и по ее письмам. Но Анна Тескова далеко (с отъездом Цветаевой из Чехии они так никогда больше и не увиделись), с Ольгой Черновой, Еленой Извольской, Саломеей Андрониковой-Гальперн, Маргаритой Лебедевой – по разным обстоятельствам – встречи редки.

Отдадим им должное: каждая из них – личность. В выборе приятельниц у Цветаевой прекрасный вкус, и женскими дружбами судьба ее не обделяет. Но именно потому, что все это были женщины независимого и деятельного склада, – они были друзья, а не подружки. И у каждой из них – свой недосуг, свои нелегкие обстоятельства, свое дело в жизни… Андреева – по масштабу и по складу личности – была под стать Марине Ивановне, пожалуй, более других. Как жаль, что не сохранилась их переписка! Уезжая из Франции к сыну в Америку, Андреева взяла с собой свой архив. Сохранилась лишь его часть, в которой цветаевских писем – нет.

Отнюдь не замкнутой нелюдимкой была Цветаева, –

наоборот, страдала от вынужденной отъединенности, ежевечерней своей несвободы. Любила бывать в гостях, на глазах оживала от хорошей беседы, легко находила общий язык с самыми разными людьми. Приветливой и ласковой вспоминала ее дочь Анны Ильиничны, изумлявшаяся терпеливому и заинтересованному вниманию Марины Ивановны к ней, совсем еще юной девушке, и к ее юным братьям, которые время от времени бегали к Цветаевой обсуждать свои важные жизненные проблемы. «Она любила людей, и люди ее любили, – утверждает другая мемуаристка, Елена Извольская. – В ней была даже некая “светскость”, если не кокетство, – желание блеснуть, поразить, смутить, очаровать. ‹…› Мы часто навещали Марину. Она всегда была нам рада и вела с нами бесконечные беседы: о поэзии, об искусстве, музыке, природе. Более блестящей собеседницы я никогда не встречала. Мы приходили к ней на огонек, и она поила нас чаем, вином. А по праздникам баловала: блинами на масленицу, пасхой и куличом после светлой заутрени…» Правда, это воспоминание Извольской относится скорее к более раннему – «мёдонскому» времени.

Совсем не нужно было быть высоколобым интеллектуалом, чтобы заслужить внимание и расположение Цветаевой: с самоуверенной посредственностью, рассуждающей о судьбах человечества, с плоскими умниками она как раз скучает. С ними ей пронзительно одиноко, «пустынно», она с трудом «держит» приличное выражение лица – а иногда и не выдерживает. У нее возникает ощущение «собаки, брошенной к волкам, то есть скорее я – волк, а они собаки, но главное дело – в розни», как пишет она Буниной. Однако признаётся и в другом: настигающем ее временами «ужасном одиночестве совместности, столь обратном благословенному уединению». Ибо совместность – и не так уж редко! – бывает ужасна.

Особое место занимал среди ее друзей Марк Слоним – блестящий критик, тонкий ценитель цветаевского поэтического дара, оставивший замечательные воспоминания о Цветаевой. Вот что он пишет о ней как о собеседнице: «МИ была чрезвычайно умна. У нее был острый, сильный и резкий ум – соединявший трезвость, ясность со способностью к отвлеченности и общим идеям, логическую последовательность с неожиданным взрывом интуиции. Эти ее качества с особенной яркостью проявлялись в разговорах с теми, кого она считала достойными внимания. Она была исключительным и в то же время трудным, многие говорили – утомительным, собеседником. Она искала и ценила людей, понимающих ее с полуслова, в ней жило некое интеллектуальное нетерпение, точно ей было неохота

истолковывать брошенные наугад мысль или образ. Их надо было подхватывать на лету, разговор превращался в словесный теннис, приходилось все время быть начеку и отбивать метафоры, цитаты и афоризмы, догадываться о сути по намекам, отрывкам. Как в поэзии, МИ перескакивала от посылки к заключению, опуская промежуточные звенья. Самое главное для нее была молниеносная реплика – своя или чужая, иначе пропадал весь азарт игры, все возбуждение от быстроты и озарений. Я порою чувствовал себя усталым от двух-трех часов такого напряжения и по молодости лет как-то стыдился и скрывал это. Лишь много лет спустя я услыхал от других схожие признания об этих литературных турнирах. Впрочем, иногда МИ просто рассказывала о недавних впечатлениях или о своем прошлом, о последнем – обрывками, и тут проявлялся ее юмор, ее любовь к шутке, к изображению глупости и наивности ее соседей, но смех ее нередко звучал издевкой и сарказмом».

6

Осенью того же 1934 года они переселяются в третье парижское предместье, связанное отныне с именем Цветаевой, – в Ванв. Это недалеко от Кламара. Семья постепенно передвигается с востока на запад по южному полукольцу предместий французской столицы.

Дом в Ванве старый, что Марине Ивановне всегда нравится, хотя уже осенью придется стучать зубами от холода («как челюскинцы и их собаки», – сообщает она с юмором своей приятельнице). И все же она довольна тем, что уехала от «скучного нового Кламара», довольна, что их дом стоит «на чудной каштановой улице» (Жан-Батист Потэн, 65). «У меня чудная большая комната с двумя окнами и, в одном из них, огромным каштаном, сейчас желтым, как вечное солнце. Это – моя главная радость».

В октябре подходит время очередного «терма», ежеквартальной квартирной платы. Само звучание слова вызывало у Цветаевой мрачные фантазии («какое жуткое слово “терм”, какое дантовское слово: если бы я была римским поэтом, я бы написала о нем стихи…»). Хозяева категорически отказывались принимать деньги в рассрочку, вносить надо было всю сумму сразу.

Но денег в доме нет.

И Цветаева обращается в редакцию газеты «Последние новости» с просьбой об авансе за очерк «Китаец». Три месяца

назад он отдан на чтение и должен, как ее не раз уверяли, вот-вот появиться на страницах газеты.

Дом в Ванве, в котором жила Цветаева

В редакции «Последних новостей», где была еженедельная четверговая литературная страница, Марину Ивановну любили те, от кого совершенно не зависела судьба ее рукописей. Зато явно недолюбливал главный редактор – Павел Николаевич Милюков, высказавшийся однажды (с некоторым, впрочем, недоумением), что если уж он, преподававший в двух университетах, новой цветаевской поэзии не понимает, то, может быть, это плохая поэзия? Или не поэзия вовсе?.. И Цветаева в тридцатые годы уже не предлагает в газету стихов. Но и проза ее проходит нелегко. Почти всегда приходится по нескольку месяцев ждать – даже не публикации, а определенного ответа: принята ли рукопись? Между тем «подвал» в «Последних новостях» оплачивался очень хорошо, каждый раз то была незаменимая подмога ко дням разорительных квартирных платежей.

И вот теперь дважды она приезжает в редакцию за гонораром. И оба раза уходит с пустыми руками.

Сначала болен кассир.

Потом он выздоравливает, но получает от Демидова, фактического распорядителя финансов редакции, строжайший запрет на выплату аванса.

Наконец выясняется, что рукопись все еще не прочитана Милюковым. Тем временем всюду, где только удалось, Цветаева

уже заняла деньги, уверенно обещая, что вернет не сегодня завтра…

Иван Алексеевич Бунин с женой Верой Николаевной

Письмо к Вере Буниной, повествующее об этом эпизоде, снова полно отчаяния. При отчужденных отношениях с самим Буниным, Марина Ивановна вынуждена пересилить себя: «Не вступился ли бы за меня Иван Алексеевич, разъяснив Демидову, что я все-таки заслуживаю одного термового фельетона (хорошо бы двух!). Что так делать – грех. Что нельзя, без объяснения причин, от чистейшей подлости обрекать настоящего писателя – на нищенство и попрошайничество (да никто уже и не дает!). Либо, если И. А. так – неудобно, пусть бы запросил Демидова, почему меня никогда не печатают, – что у меня все же есть читатель, что я, наконец, стою чего-то…»

«Никогда не печатают» – это сказано все-таки от горечи; время от времени ее в «Последних новостях» теперь печатали. Но скольких других, имена которых навеки канули в Лету, публиковали на страницах литературного «четверга» гораздо чаще!

Бунин, не переносивший стихов Цветаевой, прозу ее ценил. И, видимо, вмешался. «Китаец» вскоре был опубликован, деньги выплачены, долги розданы.

Но сходные ситуации возникали не раз и не два. За несколько

месяцев до упомянутого инцидента Цветаева прямо на глазах сотрудников той же редакции не смогла удержаться от вдруг хлынувших слез – и только тогда получила в руки собственный гонорар.

Легко представить себе, каково было снова и снова гордой Марине Ивановне переживать унижение, из последних сил укрощая независимый и строптивый нрав, чтобы не сорваться и не высказать всего, что накопилось, в лицо своим мучителям. «У меня уже сердце кипит, – писала она Буниной, – и боюсь, что кончится пощечиной полной правды – т. е. разрывом».

Так и случилось в начале следующего, 1935 года. Не выдержав четырехмесячного переноса с недели на неделю статьи о погибшем поэте Николае Гронском, превосходно понимая, к чему приведет «пощечина полной правды», Цветаева все-таки написала резкое письмо Демидову – и ее отношения с редакцией газеты закончились уже навсегда. Последней публикацией в «Последних новостях» оказалась проза «Сказка матери», искаженная до неузнаваемости. «Сокращено в сорока местах, – сообщала Цветаева Тесковой 18 февраля 1935 года, – из которых – в 25-ти – среди фразы. Просто – изъяты эпитеты, придаточные предложения и т. д. Без спросу. Даже – с запретом, ибо я сократить рукопись – отказалась. ‹…› И вдруг – без меня. Я, читая, плакала…»

С высоты времен кажется поразительной эта хладнокровная редакторская расправа с текстом профессионального писателя, проза которого получила восхищенный отклик не только в парижских, но и в самых отдаленных уголках русского зарубежья. Впрочем, Демидов наверняка об этом и не знал.

А ведь первая половина 1934 года по праву могла бы считаться триумфальной для Марины Цветаевой! Публикации шли одна за другой. И какие! В трех номерах «Современных записок» подряд – проза: «Живое о живом», «Дом у Старого Пимена», «Пленный дух»; в журнале «Встреча» – проза «Открытие музея» и «Хлыстовки» – и поэтические циклы – «Стол» и «Ici-haut»[22]; в очередном сборнике «Числа» – эссе «Два “Лесных Царя”».

> Не меньше, чем пол-России
> Покрыто рукою сей! –

шутила сама Цветаева. Парадоксально: при этом ее не покидает ощущение неизрасходованной подавленной силы…

Но если в глазах критиков масштаб цветаевского таланта был уже неоспорим, то для бронезащитной природы редакторов это не

было столь очевидно. Их равнодушие пересиливала временами разве что опаска перед самой Мариной Ивановной. Ее независимый нрав, колючий холод, который она ощутимо источала, когда приходилось вступать в прямой контакт с литературными вельможами, да еще беспощадно острый язычок, не останавливавшийся ни перед какими авторитетами, – это было уже хорошо известно в «русском Париже».

На юбилейной фотографии сотрудников и авторов сборника «Числа», сделанной летом 1934 года в честь выхода десятого номера, Цветаевой мы не увидим – хотя в двух номерах из десяти были опубликованы и ее произведения. Вряд ли это случайно…

В «Современных записках», главном журнале русского зарубежья, ее стихи если и принимаются, то идут в общей подборке, слепым сплошняком, завершая алфавитную очередность поэтов: редакция очень заботится о том, чтобы никого не обидеть. «Мы хотим, чтобы на шести страницах было двенадцать поэтов», – пояснял Цветаевой позицию журнала один из пяти его редакторов В. В. Руднев; именно с ним Марине Ивановне всегда приходится иметь дело.

Шесть страниц на поэзию из почти пятисот страниц всего журнала – и ни одной больше, явись хоть Державин или Блок с того света. И потому здесь не принимают не только поэм, но даже поэтических циклов. Только одно стихотворение! И не в каждый, конечно, номер.

За цветаевскую поэзию пытался заступиться поэт Алексей Эйснер. Придя впервые к Марине Ивановне в гости и воочию увидев уровень ее житейского неблагополучия, он чуть ли не на следующий день помчался в «Современные записки», чтобы задать там гневный вопрос:

– Как случилось, что стихи такого замечательного поэта почти не появляются в крупнейшем журнале русского зарубежья? Кого, как не Цветаеву, печатать? Почему в поэтическом отделе публикуют из номера в номер посредственные стихи, а то и просто рифмованные строчки, а одного из лучших поэтов обрекают на нищенство?

– Вы совершенно правы, – отвечал Алексею Владимировичу Бунаков-Фондаминский, один из редакторов журнала. – Цветаева действительно несравненный поэт. Но что же делать, если эмигрантским барышням нравятся совсем другие стихи – попроще?..

«Стихов моих, забывая, что я – поэт, нигде не берут, никто не берет – ни строчки. “Нигде” и “никто” называются Последние Новости и Современные записки – больше мест нет, – пишет Цветаева Анне Тесковой. – Предлог – непонимание меня, поэта, –

читателем, на самом же деле: редактором, а именно: в Последних Новостях – Милюковым, в Современных записках – Рудневым, по профессии – врачом, по призванию – политиком, по недоразумению – редактором (NB! литературного отдела). “Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно”…»

«Пишите понятнее, Вас нелегко воспринимать, ориентируйтесь на среднего читателя», – отечески советовал Цветаевой В. В. Руднев. «Я не знаю, что такое средний читатель, – парировала Марина Ивановна, – никогда его не видела, а вот среднего редактора я вижу перед собой…»

Как всякий «средний редактор», Руднев постоянно чего-нибудь да боится: что обидится другой поэт, не попавший в подборку, что «новые стихи» трудно понять, что в цветаевской прозе читателю будут скучны подробности, например о матери Волошина («Живое о живом»). Что фигура историка Иловайского недостаточно крупна («Дом у Старого Пимена»), что на «Пленный дух» может обидеться Любовь Дмитриевна Блок, что богобоязненного читателя оскорбит концовка цветаевского «Черта».

И Цветаевой приходится выслушивать советы и соображения редактора, о чем и о ком ей лучше писать и всякий раз скрупулезно подсчитывать количество печатных знаков. Готовая рукопись почти никогда не совпадает с заранее выделенным редакцией объемом. Автор терпеливо поясняет правомерность стилевых особенностей. И постоянно сражается со страстью редактора выбрасывать «лишнее». Понятия «лишнего» у Руднева и Цветаевой всякий раз расходятся.

Когда рукопись в очередной раз превышает на несколько страничек заданный объем, Марина Ивановна предлагает не оплачивать ей «лишних» страниц; пытается растолковать, что рукопись «уже сокращена, и силой большей, чем редакторская: силой внутренней необходимости, художественного чутья».

Литературно воспитать своих редакторов ей, конечно, не удается. И если Руднев временами все же отступает, то скорее из некоторого страха перед цветаевским напором.

Но эта необходимость постоянно отстаивать свои позиции – с трудом соблюдая меру между вежливостью и твердой настойчивостью – самой Цветаевой обходится не в пример дороже. Всякий раз ей надо перебороть прежде всего себя. Ибо единственное, чего ей в этих случаях хочется, – забрать рукопись из редакции немедленно. «Я не могу писать так, как нравится Рудневу или Милюкову! Они мне сами не нравятся!» – вырывается в одном из ее писем. Но выбора нет: нет других «площадок» для публикаций. Нет ренты, нет мецената или просто хорошо

зарабатывающего мужа. Есть только цены на рынке и неумолимые сроки платежей – за квартиру, за школу…

Одно из наиболее резких писем к Рудневу относится ко времени, когда шла корректура «Дома у Старого Пимена» – то есть к декабрю 1933 года: «Проза поэта – другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилий (усердия) – не фраза, а слово, и даже часто – слог. Это Вам подтвердят мои черновики, и это Вам подтвердит каждый поэт. И каждый серьезный критик: Ходасевич, например, если Вы ему верите. ‹…› За эти годы я объелась и опилась горечью. Печатаюсь я с 1910 г. (моя первая книга имеется в Тургеневской библиотеке), а ныне – 1933 г., и меня все еще здесь считают либо начинающим, либо любителем, – каким-то гастролером. ‹…»

«Объелась и опилась горечью…» Она могла бы это повторить и через год, и через три.

В «русском Париже» регулярно устраиваются в пользу бедствующих писателей то «подписные обеды», то благотворительные балы и даже благотворительные бриджи. Но всегда нужно напоминать о себе! Писать прошения и заявления!

А между тем отношения с дамами-патронессами, стоящими на распределительных постах благотворительности, у Марины Ивановны – самые неприязненные. Накапливающаяся год от году душевная усталость заставляет ее подозревать этих дам в чувствах даже более активных, чем просто неприязнь, – и потому временами случается, что взрыв ее очередного негодования выстреливает вовсе не по адресу…

Она устала.

Послушаем голос Дон-Аминадо – поэта и прозаика, все более решительно уходившего в тридцатые годы от веселого юмора в горчайший сарказм. Это ему несколько лет спустя Цветаева напишет замечательное ободряющее письмо, чтобы сказать, как радуется она его таланту, как высоко его оценивает – может быть, гораздо больше и серьезнее даже, чем сам его обладатель.

Итак, вот абзац «прозаического» Дон-Аминадо, смеющегося Дон-Аминадо тридцатых годов: «Страшно подумать, из чего состоит наша вечная борьба за существование, трепка нервов и биография! Какие влажные, липкие и полупреступные руки пожимаем мы с утра до вечера, и с каким лицемерным усердием! В какие равнодушные и жестокие глаза глядим без веры и без надежды. И с какой нечеловеческой усталостью возвращаемся мы домой, в это грустное царство недействующих выключателей, продавленных диванов, расстроенных нервов, провалившихся на экзаменах детей и сбежавших алюминиевых чайников, которым

тоже ведь надоело это вечное клокотание и кипячение без смысла и цели!»

Дон-Аминадо

В деловых письмах Цветаевой теперь все чаще встречаются резкие, жесткие интонации и хлещущие, как пощечина, формулировки. Впрочем, не только в письмах – и в стихах:

Квиты: вами я объедена,
Мною – живописаны.
Вас положат – на обеденный,
А меня – на письменный.
Оттого что, йотой счастлива,
Яств иных не ведала.
Оттого что слишком часто вы,
Долго вы обедали.
……
Каплуном-то вместо голубя –
Порх! душа – при вскрытии.
А меня положат – голую:
Два крыла прикрытием.

Она устала от унижений, от вынужденных разговоров с людьми, с которыми скучно говорить даже о погоде, устала от вечного осуждающего шепота, шелестящего вокруг нее. Осуждение ближних и уж особенно дальних сопровождает ее

постоянно: она просто не может нравиться тем, кто с рождения твердо знает, как надо поступать и как не надо. Ее осуждают за колючий неуступчивый характер, за чрезмерную любовь к сыну и чрезмерную требовательность к дочери, но теперь еще и за мужа с его «просоветскими» взглядами…

Выпивая однажды в кафе за столиком свою чашечку, она внезапно слышит обращенный к ней вопрос хозяина:

– Vous n'avez pas de gueules cassees?[23] – и ее вдруг поражает – словно прорезавшая небо молния – мысль, не приходившая прежде в голову. Вернувшись домой, она запишет в тетрадке:

«Я внезапно осознала, что я всю жизнь прожила за границей, абсолютно отъединенная – за границей чужой жизни – зрителем: любопытствующим (не очень!), сочувствующим и уступчивым – и никогда не принятым в чужую жизнь – что я ничего не чувствую, как они, и они – ничего – как я – и, что главнее чувств, – у нас были абсолютно разные двигатели, что то, что для них является двигателем – для меня просто не существует – и наоборот (и какое наоборот!)».

7

Тяжкий упадок духа переживает в середине тридцатых годов не только Цветаева.

Ходасевич-критик пишет о растерянности, усталости, анемичности, отразившихся в творчестве даже совсем молодых поэтов-эмигрантов; талантливый прозаик Гайто Газданов публикует в юбилейном номере «Современных записок» статью «О молодой эмигрантской литературе» с пессимистическим прогнозом полного исчезновения читателя. Философ Федотов писал о «чувстве, близком к удушению», посреди культурной пустоты, которая окружает русского человека на чужбине; Ремизов признавался, что эмигрантское существование он ощущает как бессрочную и бессмысленную каторгу. К 1934 году относятся слова Рахманинова (в его интервью Камерону): «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя…» Бунин отказался от покупки виллы на юге Франции, в Грассе, где он жил много лет, хотя присуждение ему осенью 1933 года Нобелевской премии делало такую покупку вполне возможной. Его удерживала единственная мысль: неужели обосновываться здесь навсегда?.. Неужели так и не будет – России?

Один из парижских русских журналов напомнил этим летом читателю изречение Паскаля: «Человек живет вместе, умирает же всегда один». Напомнил, чтобы сопроводить грустной сентенцией: «Но в эмиграции очень многие познают это смертное одиночество задолго до смерти….»

Десятого октября в Марселе совершено очередное политическое убийство. Даже двойное: убит французский министр иностранных дел Барту и сербский король Александр, только что прибывший с визитом во Францию. Мотивы убийства неясны, убийцы не найдены. Но среди русских пополз назойливый слушок, что и тут не обошлось без соотечественников, с той ли, с этой ли стороны границы… Так или иначе – призрак Павла Горгулова оживает вновь. Как и призрак ягненка, заведомо виноватого в мутности ручья…

Цветаева почти не читала газет, вряд ли отличала Даладье от Лаваля, тем более что правительственные кабинеты во Франции менялись в середине тридцатых годов с калейдоскопической быстротой. Но она прекрасно улавливала грозное направление происходящих в мире перемен. Погромы, расстрелы, концлагеря в Германии; фашистские мятежи, прокатившиеся в 1934 году чуть ли не по всем странам Европы; чернорубашечники в Италии, синерубашечники во Франции. Все это заставляло ее почти физически ощущать запах агрессии, разраставшейся в мире.

Свой пай в котел человеконенавистничества добавило и русское зарубежье: в апреле того же 1934-го было подписано соглашение о создании «Всероссийской фашистской организации» со штабом в Харбине.

Этого факта Марина Ивановна, скорее всего, и не знала. Но ее обостренное чутье отлично улавливало запах гнили в призывах, звучавших куда ближе. Она безошибочно распознавала яд в речах и статьях, которыми даже люди, нравственно вполне здоровые, готовы были подчас обольститься. Ибо слова «Русь», «Россия», «русский мессианизм», повторявшиеся чуть не в каждом абзаце иных русских изданий, мощно воздействовали на тех, кто истосковался по родной земле.

В облатке, сильно подслащенной «патриотизмом», неискушенный читатель или слушатель готов был глотать, не замечая, ту же отраву расизма. На этот раз – русского.

Сбивало с толку, что в эмигрантских журналах «Утверждения» или «Завтра» рядом со статьями, несшими в себе до поры до времени упрятанный опасный заряд, публиковались и безусловно светлые люди русского зарубежья, такие как мать Мария, Бердяев или Бунаков-Фондаминский. Идеологи «Утверждений» горячо приветствовали тенденции «национал-

большевизма», крепнувшие, по их мнению, в Москве. Сами себя они именовали «национал-максималистами». И существовали еще «младороссы» («молодые люди, не доросшие до России», – саркастически шутил Дон-Аминадо).

Различия между ними были, и немалые. Но Цветаева не желала в них вдаваться. Во всяком случае, объединяться с «национал-максималистами» под одной обложкой – на это ее плюрализма (как мы сказали бы теперь) не хватало. Тут она была непримирима. От ее аполитичности не оставалось и следа. Юрию Иваску, ее эстонскому корреспонденту, она отвечала на его вопросы: «Я – с Утверждениями?? Уж звали и услышали в ответ: Там где говорят: еврей, а подразумевают: жид – мне, собрату Генриха Гейне – не место. Больше скажу: то место меня – я на него еще и не встану – само не вместит: то место меня чует, как пороховой склад – спичку».

«Что же касается младороссов, – читаем далее в том же письме, – вот живая сценка. Доклад бывшего редактора и сотрудника В‹оли› России (еврея) М. Слонима: Гитлер и Сталин. После доклада – явление младороссов в полном составе. Стоят, “скрестивши руки на груди”. К концу прений продвигаюсь к выходу (живу загородом и связана поездом) – так что стою в самой гуще. Почтительный шепот: “Цветаева”. Предлагают какую-то листовку, к‹отор›ой не разворачиваю.

С эстрады Слоним: – “Что же касается Г‹итлера› и еврейства…” Один из младороссов (если не “столп” – так столб) – на весь зал: “Понятно! Сам из жидов!” Я, четко и раздельно: – “Хамло!” (Шепот: не понимают.) Я: – “Хамло!” и разорвав листовку пополам, иду к выходу. Несколько угрожающих жестов. Я: – “Не поняли? Те, кто вместо еврей говорят жид и прерывают оратора, те – хамы. (Пауза и, созерцательно:) Хамло. Засим удаляюсь. (С каждым говорю на его языке!)»

Сколько раз мы встретим в ее письмах ожесточенное открещивание от «злобы дня»! Каким презрением пронизано стихотворение «Читатели газет» – притом что в ее собственном обиталище газетами завалены все подоконники! Цветаева не терпит политиков, не принимает современных политических жупелов. «Ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, и не только с “политиками”, а и с писателями – не, ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей – без круга, без среды, без всякой защиты причастности, хуже, чем собака, а зато… А зато – всё».

Это сказано тоже в письме Иваску. Здесь – свои преувеличения и своя правда, но во всяком случае – не рисовка: может быть, состояние минуты, несколько сгустившее краски.

Ни с кем? Все-таки мы можем сказать, с кем она была.

Мы знаем больше, потому что живем позже.

Она была, по крайней мере, с Ходасевичем, Ремизовым и Замятиным – во Франции, и в одном стане с Пастернаком и Ахматовой, с Булгаковым и Платоновым, с Мандельштамом и Зощенко – в России.

О тех, кто в России, она сейчас мало знает. Зато хорошо помнит давнего своего учителя и друга, которого уже нет в живых, – Максимилиана Волошина. И при случае утверждает, что исповедует «гуманизм: максизм в политике». Этот гуманизм обрекает на мужество одинокого поиска. На постоянное усилие и бодрствование духа. Ибо куда как проще примкнуть к одному из станов! Довериться – и плыть со всеми вместе – «вниз по теченью спин», не зная муки самостоятельных решений.

«Максизм» давал именно эту нелегкую установку – установку нонконформизма: смотреть прямо в лицо неправедному миру, не оглядываясь ни на какие авторитеты, не заслоняясь никакими доктринами, – и жить по высшим нравственным законам.

> Двух станов не боец: судья – истец – заложник –
> Двух – противубоец! Дух – противубоец.

Так закончила Цветаева год спустя прекрасное стихотворение, посвященное как раз теме «ни с теми, ни с этими». Его раскаленные строфы – манифест свободного духа. Знающего свои ценности и не отступающегося от них, даже если весь мир твердит иное.

Как ни сложно было Цветаевой выбираться из дому, она посещала и доклады, и, как мы видели, вечер, посвященный теме «Гитлер и Сталин»; бывала на выступлениях Керенского, когда он рассказывал о событиях октября 1917 года; присутствовала при остром и отнюдь не литературном споре Мережковского с Вайяном-Кутюрье на вечере «Андре Жид и СССР».

Куда ее не тянуло, так это на Монпарнас, к завсегдатаям кафе, где из вечера в вечер собирались русские литераторы, художники – поговорить об искусстве и жизни. Одним из таких завсегдатаев был, в частности, талантливый поэт Анатолий Штейгер, интересный для нас еще и тем, что спустя полтора года он станет адресатом горячих цветаевских писем. В июле 1934-го, когда ужаснувшая мир «ночь длинных ножей» в очередной раз продемонстрировала новый климат Европы, Штейгер писал Зинаиде Шаховской: «На Монпарнасе ‹…› все по-старому; мне кажется, что если бы даже какое-нибудь там моровое поветрие

скосило всех парижан, то, придя вечерком в Наполи, Вы все же застали бы там Адамовича, Ладинского, Иванова, Варшавского и еще кой-кого, мирно обсуждающих достоинства нового романа…»

Летом 1934-го уехал в Москву на Первый съезд советских писателей Илья Эренбург. Вернувшись, он выступил в зале «Мютюалите» вместе с гостями съезда – Луи Арагоном, Андре Мальро и Ж.-Р. Блоком. Бурно приветствуя ораторов, люди в зале скандировали: «Советы – повсюду!»

«Франция шла налево», – писал позже об этом времени Эренбург.

Сочувствие «левых» французов молодой Советской республике питалось теперь надеждой на Страну Советов как на главный бастион сопротивления фашизму. В этом чувстве надежды к ним присоединялись и известнейшие писатели других европейских стран. Из номера в номер журнал «Наш Союз», выходивший при активном участии Сергея Эфрона, публиковал восхищенные высказывания об СССР Мартина-Андерсена Нексё, Эптона Синклера, Ромена Роллана, Бернарда Шоу, – читать их сегодня почти неловко. Так, последний, отвечая на одну из анкет, утверждал: «СССР больше всего способствует прогрессу человечества тем, что занимается величайшим социальным экспериментом, какой когда-либо производился сознательным образом в истории людей».

С Эренбургом у Марины Ивановны давно уже нет прежней дружбы, но изредка они видятся, а что уж совсем несомненно – в близких отношениях с Ильей Григорьевичем Эфрон. Так что Цветаева неплохо знает о том, что происходит в России.

В парижском кафе. Слева направо: Л. М. Эренбург, неизв. лицо, Т. И. Сорокин, И. Г. Эренбург. 1925 г. (из личного архива Б. Фрезинского)

И не только о строительстве первой очереди Московского метрополитена, но и об эшелонах «раскулаченных», отправленных в далекие необжитые края Сибири. Узнаёт и о грандиозном плане реконструкции Москвы. К его осуществлению уже приступили. Эренбург рассказывал, что снесены Сухарева башня, Китай-город, Красные ворота, начали уничтожать зеленое кольцо бульваров с их вековыми деревьями.

«Москва тогда впервые узнала горячку строительства, – читаем в соответствующей главе книги «Люди, годы, жизнь», – она пахла известкой, и от этого было весело на душе. ‹…› Я не узнавал многих хорошо мне знакомых улиц: вместо кривых домишек – леса, щебень, пустыри. Над городом стоял оранжевый туман…»

Легко догадаться, зная Цветаеву, что у нее от известий такого рода не могло быть на душе весело. Проект перестройки Тверской улицы, уничтожение Страстного монастыря, а затем и храма Христа Спасителя – в ее глазах то была беда, и беда непоправимая: любимая с детства Москва уходила в небытие.

В цветаевском доме никто не разделял печали Марины Ивановны.

Девятилетний Мур, рвущийся, как и отец с сестрой, в Москву, пеняет матери:

– Бедная мама! Какая Вы странная! Вы как будто очень старая!..

8

Осенью сын опять пошел в школу, и снова во весь рост встала проблема выкраивания минут для письменного стола. Цветаева по-прежнему считала необходимым не только провожать Мура в школу, но и гулять с ним в любую погоду. Еще она помогала сыну с арифметикой, которая плохо ему давалась (как некогда самой Марине). И день оказывался разбитым совсем уж на мелкие кусочки. Но едва выдается просвет – она бросается к столу. И посреди кипящих кастрюль с головой уходит в свою работу, для которой родилась на свет. Упрямо опершись лбом в ладонь, она воскрешает старую Москву, далекие дни детства, мать… И считает это вовсе не бегством от сегодняшнего дня, наоборот – активной защитой исчезающих в мире великих ценностей духа, сердца, человечности. «Что мы делаем, какие защищаем: бывшее от сущего и, боюсь, будущего, – пишет она Буниной. – Будущего боюсь не своего, а “ихнего”, того, когда меня уже не будет, – бескорыстно боюсь…» А в другом письме – жалоба: «Мои живут другим – во времени и со временем…»

Нескончаемое кухонное мытарство в жалких условиях быта нелегко и для домовитой женщины, в руках которой все спорится. Для Цветаевой же то была каторга вдесятеро худшая, потому что приходилось превозмогать органическую непригодность к делам такого рода. Ни один из поэтов, с которыми Цветаеву обычно сравнивают, – Ахматова, Мандельштам, Пастернак, – не знал этой ежедневной пытки, затянувшейся на долгие годы. У них хватало своих испытаний, но не было этой изнурительной ежедневности бытовых забот, дробящих не просто время – душу. А ведь с 1917 года – плохо ли, хорошо ли – Цветаева бессменно везла на себе дом, хозяйство, заботы о детях.

Но мы не найдем в ее письмах жалобы на то, что из-за необходимости заработка надо писать, иначе не прожить. Жалобы другие: «Устала от не своего дела, на которое уходит – жизнь». Передышки хочется только от быта, от той «достоверной посудной и мыльной лужи, которая есть моя жизнь с 1917 года» (письмо Ю. Иваску, 1934 год). В другом письме, к Вере Буниной, того же года: «На мне весь дом: три переполненных хламом комнаты, кухня и две каморки. На мне – едельная (Мурино слово) кухня, потому что, придя – захотят есть. На мне весь Мур: проводы и приводы, прогулки, штопка, мывка. И, главное, я

никогда никуда не могу уйти, после такого ужасного рабочего дня – никогда никуда, либо сговариваться с С. Я. за неделю, что вот в субботу, например, уйду. ‹…› Мне нужен человек в дом, помощник и заместитель, никакая уборщица делу не поможет, мне нужно, чтобы вечером, уходя, я знала, что Мур будет вымыт и уложен вовремя. Одного оставлять его невозможно: газ, грязь, неуют пустого жилья…»

После летнего перерыва некоторое время казалось, что отношения матери с дочерью наладятся. Марина Ивановна настаивает на том, чтобы Аля все же закончила школу при Лувре, аттестат школы поможет найти приличную работу. Ариадна как будто соглашается, но тянет – день, другой, неделю… Спустя семь недель мать напоминает: «Аля, либо школа, либо место, ибо так – нельзя: работаем все, работают – все, а так – бессовестно!» И вот спустя день-другой дочь сообщает: она нашла работу, но для этого будет снимать комнату в городе.

Около дома в Кламаре

Цветаева ошеломлена: ведь это означает, что для письменного стола у нее тогда не останется уже ни часа! «Вера, –

жалуется Цветаева Буниной, – ни слова, ни мысли обо мне, ни оборота…»

Но уйдет Ариадна из дому в феврале 1935-го, после очередного скандала.

В тот день, когда у Цветаевой было назначено вечернее выступление, заболевает Мур. Марина Ивановна просит дочь сходить в аптеку, – сама не может: не успела подготовить текст. Ариадна вертится перед зеркалом час, другой… «Аля!» – напоминает мать. «Я уже ушла!» – резко откликается дочь. И получает от матери пощечину. Цветаева – Тесковой: «Тут С. Я. ударил меня, я бросила в него чашкой (попала в стену), Мур (побелев) кинулся на отца – и –…»

И с одобрения отца Аля покидает дом.

Через месяц-другой она вернется – и снова уйдет.

Из письма к Вере Буниной: «Я не узнаю ни его, ни ее. С. Я. меня давно уже не любит (иногда – все реже – жалеет, а бессознательно ненавидит, как помеху его отъезду в Россию. Я для него помеха, колодка на ноге). – Вы выжили дочь из дому! Вы – мачеха!»

Не слишком ясно, сколько времени продолжаются эти уходы и возвращения Ариадны. Окончательности разрыва все же нет: снять надолго комнату нет средств. Ариадна, скорее всего, живет у друзей. Но новая попытка совместной жизни в ноябре заканчивается тем же. Снова – уход. «И ни оглядки на меня – поэта! Ведь она знает, что, уходя из дому, обрекает меня на почти-неписание… – всё на мне» (Тесковой).

Но «не-писание» для Цветаевой равносильно не-существованию.

Наталья Гайдукевич

Это совсем не вопрос заработка: такова ее природа. «Потому что вовсе не: жить и писать, а жить = писать и: писать – жить. ‹…› А в жизни – что? В жизни – хозяйство: уборка, стирка, торопка, забота. В жизни – функция и отсутствие….» Это ее записи в тетради уже начала 1936-го: «Если бы мне на выбор – никогда не увидать России – или никогда не увидать своих черновых тетрадей ‹…› – не задумываясь, сразу. И ясно – что́. Да, помимо всего, и справедливо. Россия без меня обойдется, тетради – нет. ‹…› Я без России обойдусь, без тетрадей – нет».

Марина Ивановна явно на грани нервного срыва. Ее остро жжет сердечная боль, ей просто необходимы сочувствие, поддержка. И о наступившем кошмаре она пишет своим женским друзьям – Анне Тесковой, Вере Буниной, Саломее Андрониковой-Гальперн, Наталье Гайдукевич, – и с подробностями, самыми неприглядными. В письмах – голос самого страдания, голос человека, за которого в собственной его семье ни у кого не болит сердце. Ее не любят. Это отвержение – давняя и все еще неизжитая рана ее детства. Нелюбовь матери ранила ее настолько глубоко, что нашла отражение не только в цветаевской прозе, но даже в ее автобиографии 1939 года.

И вот теперь то же, в собственной ее семье, некогда

рожденной так светло и безоблачно, с детьми, столь желанными…

Марк Слоним вспоминал однажды вырвавшуюся у Марины Ивановны жалобу: «Как бы мне хотелось кого-нибудь доброго, мудрого, отрешенного, никуда не спешащего! Человека – не-автомобиля, не-газеты… Кто бы мне всегда – даже на смертном одре – радовался. Такого нет. Есть знакомые, которым со мной “интересно”, – и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, ибо я дома: посуда – метла – котлеты – сама понимаю…»

В ее очередном письме прорывается горькое – и несправедливое: «Меня никто за всю жизнь не любил…»

Марина Цветаева. Рисунок Ариадны Эфрон

Она вспоминает, сколько раз ей самой хотелось уйти – на волю, принадлежать только себе. Как хотелось! Просто – блаженного утра, без кухни и рынка, без обязательств перед кем бы то ни было… Почувствовать себя на полной свободе. Но чувство долга – то, чего она совсем не видит у дочери, – всегда пересиливало: «семья в моей жизни была такая заведомость, что просто и на весы никогда не ложилась», – пишет Марина

Ивановна Буниной. Теперь ей уже кажется, что всю жизнь она рвалась из семейных пут. Может быть, думает она, вспоминая увлеченность Родзевичем, надо было тогда решиться уйти, – «они без меня были бы счастливы: куда счастливее, чем со мной! Сейчас я это говорю – наверное. Но кто бы меня – тогда убедил? Я так была уверена – они же уверили – в своей незаменимости: что без меня умрут. А теперь я для них – особенно для С., ибо Аля уже стряхнула, – ноша. Божье наказание. Жизни ведь совсем врозь. Мур? Отвечу уже поставленным знаком вопроса. Ничего не знаю. Все они хотят жить, действовать, общаться, “строить жизнь” – хотя бы собственную…»

Спустя девять лет Георгий Эфрон писал своему старшему другу о трагедии их семьи: «…у Сергея Яковлевича всегда преобладало будущее; только им он и жил. У Марины Ивановны всегда преобладало прошлое, многое ей застилавшее. Я же всегда хватался за настоящее ‹…›. И в том, что у каждого из членов нашей семьи преобладала одна из этих трех величин, – в ущерб другим, в этом-то наша трагедия и причина нашей уязвимости, наших несчастий…»

И там же – еще о матери: «…веры в будущее, которая облегчила бы ей жизнь и оправдала испытания и несчастия, у нее не было…»

Никогда прежде Цветаева всерьез не жаловалась на здоровье. Правда, время от времени ее мучили долго не проходившие нарывы (видимо, то, что мы теперь называем фурункулезом), она от-но сила их на счет малокровия и скверной пищи; в июне 1934 года ей даже прописали курс крайне болезненных уколов в бесплатной лечебнице для безработных русских. Но в ноябре того же года она впервые в жизни ощутила сердце, стала задыхаться при ходьбе, даже на ровном месте.

Ариадна Эфрон и Андрей Соллогуб. 1936 г.

«Мне все эти дни хочется писать свое завещание, – читаем в письме к Тесковой 21 ноября 1934 года. – Мне вообще хотелось бы не-быть. Иду с Муром или без Мура, в школу или за молоком – и изнутри, сами собой – слова завещания. Не вещественного – у меня ничего нет – а что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали: разъяснение…»

Отчуждению внутри семьи помогли и ближайшие знакомые – из тех, кто, как и Сергей Яковлевич, были одержимы общественными страстями: Евгения Ширинская-Шихматова, Вера Сувчинская. Они тоже твердили о «материнской тирании» и увлекали юную Ариадну в «общественную активность», от которой почти брезгливо отстранялась Марина Ивановна.

В цветаевской тетради того же 1934 года – строки

стихотворения, оставшегося незаконченным:

А, Бог с вами!
Будьте овцами!
Ходите стадами, стаями,
Без меты, без мысли собственной
Вслед Гитлеру или Сталину.
Являйте из тел распластанных
Звезду или свасты крюки.

И снова Марк Слоним – об одной из встреч с Цветаевой в парижском кафе. «Я никогда не видел М. И. в таком безнадежном настроении. Ее ужасали наши речи о неизбежности войны с Германией, она говорила, что при одной мысли о войне ей жить не хочется. “Я совершенно одна, – повторяла она, – вокруг меня пустота”. Мне показалось, что она не только болезненно переживала свое отчуждение, но даже готова была его преувеличивать. Я это сказал, повторив ее же слова о “заговоре века”. Она покачала головой: “Нет, вы не понимаете”. И, глядя в сторону, процитировала свои незнакомые мне строки:

Но на бегу меня тяжкой дланью
Схватила за волосы судьба.

И прибавила: “Вера моя разрушилась, надежды исчезли, силы иссякли”. Мне никогда не было так ее жалко, как в тот день…»

Слоним думал, что Цветаева говорит о своем отчуждении от эмигрантской среды. Нет, это ей было переносить много легче. В отчаяние, которое действительно заслуживает этого слова, чаще всего нас ввергает отчуждение самых дорогих людей.

«Я достоверно зажилась», «вокруг меня пустота», «я никому здесь не нужна» – эти мотивы упорно повторяются в цветаевских письмах середины тридцатых годов.

Лирическая продукция Марины Цветаевой этого времени поражает высочайшим накалом трагедийного чувства.

Оно прорывалось и в ее молодых стихах. Мотив противостояния жизненным обстоятельствам появился в цветаевской поэзии с начала двадцатых годов («Не возьмешь моего румянца…») и оказался сквозным для поздней лирики. Со временем высвечивались всё новые и новые его грани. В поэзии Цветаевой двадцатых и начала тридцатых годов неудержимо разрастался – отдельными строками и строфами – образ «безумного мира», где человек «сгорблен и взмылен», отлучен от

живой природы, оглушен «рыночным ревом» будней, задыхается «в рвани валют и виз»… Уже тогда звучание этой лирики выходило за пределы личной жалобы; то был живой голос жестокого «мира мер», «века турбин и динам», – века насилия.

Но в лирике середины тридцатых ее голос обрел новые обертоны. Перед лицом переоцененной действительности, перечеркнутых личных надежд поэзия Марины Цветаевой зазвучала – оставляя далеко позади все горькие поводы, на которых возросли ее ростки, – в том экстатическом поле, где слышны уже «последние вопросы» человеческого бытия. Экзистенциальное отчаяние – тема, победившая в зрелом поэтическом творчестве Цветаевой. «Вскрыла жилы, неостановимо…», «Тоска по родине», «Уединение», «Сад», «О поэте не подумал…», «Никуда не уехали…», «Квиты! Бамия объедена…», «Есть счастливцы и счастливицы…», «Двух станов не боец…», «Отцам», «О, слезы на глазах…….

Повторю уже сказанное ранее: на новом этапе цветаевская поэзия продолжает меняться, как бы усиливая внутреннюю мощь, но уходя при этом от герметичности, присущей многим стихам «После России». Спустя годы сходным путем пойдет и Борис Пастернак в знаменитых его стихах к роману «Доктор Живаго». Достаточно напомнить знаменитого «Гамлета» («Гул затих, я вышел на подмостки…»).

В статьях о поэзии Цветаевой Иосиф Бродский характеризовал ее жизненную позицию как стойкий отказ от примирения с существующим миропорядком. «В голосе Цветаевой, – утверждал он, – зазвучало для русского уха нечто незнакомое и пугающее: неприемлемость мира». И этот голос, утверждал поэт, уже никому не удастся втиснуть в традицию русской литературы «с ее главной тенденцией утешительства и оправдания действительности». Называя стихи Цветаевой «плачами Иова», признавая «скрытое в цветаевском стихе рыдание», Бродский воспринимал «цветаевское отчаянье, цветаевскую беспощадную интенсивность мышления, цветаевскую жажду бесконечного» как высокое откровение поэта. И продолжал: «Время говорит с индивидуумом разными голосами. У времени есть свой бас, свой тенор. И у него есть свой фальцет. Если угодно: Цветаева – это фальцет времени. Голос, выходящий за пределы нотной грамоты».

Глава 7
Невстречи

1

В июньские дни 1935 года в Париже стояла невыносимая жара, внезапно сменившая холодное и дождливое ненастье. Время от времени гремели грозы, и снова сгущался душный зной.

Антифашистский конгресс под девизом «В защиту культуры» открылся в пятницу 21 июня в огромном зале «Мютюалите», вмещавшем около двух тысяч делегатов и гостей. В работе конгресса приняли участие виднейшие европейские писатели – Андре Жид и Анри Барбюс, Олдос Хаксли и Вирджиния Вулф, Карел Чапек и Лион Фейхтвангер, Джон Пристли и Бертран Рассел. Делегация Советского Союза оказалась самой многочисленной. Ее должен был возглавить Максим Горький, но в последний момент он не приехал. Сообщили о его болезни, но скорее всего дело было не в этом: за несколько месяцев до того Горькому уже отказали в выезде за границу на лечение. Он стал «невыездным», – возможно, в связи с попыткой заступиться за Каменева.

Уолдо Френк, Илья Эренбург, Анри Барбюс в президиуме I Всемирного конгресса писателей в защиту культуры. Париж, 1935 г.

Эмигрантские газеты поначалу игнорировали конгресс, но затем были вынуждены нарушить молчание. «Возрождение»

раздраженно констатировало: «Защита культуры приобретает характер пропаганды советского режима». И это было совершенно справедливо. Зал разразился аплодисментами после слов Андре Жида, заявившего: «СССР теперь для нас – зрелище невиданного значения, огромная надежда. Только там есть настоящий читатель…» Год спустя, освещая деятельность конгресса, Шарль Вильдрак писал (в советском журнале «Литературный критик») об «общем энтузиазме к высокому и бодрящему примеру, данному теперь СССР всему миру». В зале «Мютюалите», по мнению Вильдрака, собрались в те дни «прозорливые писатели всего мира, одушевленные общим возмущением и общими желаниями…».

Характеристика эта, мягко говоря, неточна. «Прозорливости» у деятелей культуры оказалось явно недостаточно, как показали грядущие события. А «общий энтузиазм» был, но хотя он действительно заглушил другие голоса – эти другие голоса все же звучали.

Один из них принадлежал итальянскому антифашисту Сальвемини. Он попытался направить протест собравшихся против подавления личности и духовной свободы не только в гитлеровской Германии, но и в любой стране:

– Разве холод деревни в Сибири, куда ссылают идейных врагов режима, лучше концлагерей Германии? Разве Троцкий не такой же эмигрант, как Генрих Манн?..

«Зал встрепенулся от изумления», – сообщал обозреватель «Возрождения» С. Литовцев. Вспыхнувшие было в разных местах зала аплодисменты были заглушены негодующими возгласами. По свидетельству того же обозревателя, просоветский энтузиазм брал свое: «Умеренные делегаты выступали робко, советофилы гремели, говорили смело, страстно, зажигательно…»

Пастернак и Бабель не были поначалу включены в советскую делегацию. Но французские организаторы конгресса обратились за содействием к советскому послу в Париже Потемкину, и благодаря их ходатайству вопрос был пересмотрен.

В подмосковном санатории «Узкое», где находился в это время Пастернак, раздался телефонный звонок секретаря Сталина Поскребышева. И больной Борис Леонидович вынужден был подчиниться требованию выехать немедленно; он сумел только оговорить невозможность лететь самолетом. Вслед за звонком (рассказывал Борис Леонидович много лет спустя Исайе Берлину) тут же приехали двое, то ли из НКВД, то ли из Союза писателей, что, впрочем, было одно и то же. Они сообщили, что выезжать необходимо уже завтра. «Я сказал, что на такой случай у меня нет подходящего костюма. Они ответили, что обо всем позаботятся.

Мне вручили визитку и брюки в полоску, белую рубашку с твердыми манжетами и таким же твердым воротничком с загнутыми уголками и великолепную пару лакированных туфель, которые пришлись как раз впору».

Все это великолепие, однако, Пастернак умудрился забыть дома. И отправился в путешествие в своей обычной одежде.

В поезде его состояние еще ухудшилось. Во Францию он приехал почти невменяемым от депрессии и бессонниц.

В Париже он раньше никогда не был и много лет мечтал о поездке, но теперь ему было не до столицы столиц. Позже, вспоминая эти дни, он назвал свое тогдашнее состояние «внутренним адом». «Этим летом меня не было на свете, и не дай Бог никому из вас узнать те области зачаточного безумья, в которых я ‹…› пребывал», – признавался он в письме к жене.

Тем не менее Борису Леонидовичу пришлось выступить на конгрессе. Представил его собравшимся Андре Мальро: «Перед вами – один из самых больших поэтов нашего времени…» Тот же Мальро прочел в переводе на французский одно из пастернаковских стихотворений – «Так начинают. Года в два…» Свидетельства о дальнейшем расходятся. По одной версии, Пастернак, выйдя на трибуну, произнес всего несколько фраз о природе поэзии, и зал устроил ему долго не смолкавшую овацию. Сам же Борис Леонидович пересказал Исайе Берлину свое выступление иначе: «Я выступил. Понимаю, сказал я, что писатели собрались здесь, чтобы организовать сопротивление фашизму. Мне хочется вот что сказать вам по этому поводу: не организовывайте ничего! Организация – это смерть для искусства. Значение имеет только личная независимость. В 1789-м, в 1848-м, в 1917-м писатели не были организованы и не голосовали ни за, ни против. Я призываю вас: не организовывайте ничего! – Полагаю, присутствующие были удивлены. А что иное мог я сказать?..»

С каким чувством слушал он речи своих коллег-соотечественников о свободе художника в СССР, о пролетарском гуманизме, о Стране Советов как примере истинной заботы о человеке?

Шел уже последний день работы конгресса – 26 июня. Для тех, кто не смог попасть внутрь, громкоговорители транслировали речи в вестибюль.

Не сохранилось подробностей их первой встречи с Мариной. Напряжение их переписки к этому времени ослабло. В сущности, еще до появления в жизни Бориса Леонидовича той, которая стала его второй женой. Сначала из писем исчезли даты и

названия предполагаемых мест встречи. С датами постепенно исчезла и их – как писала Цветаева – «дозарезность» друг в друге. Из любовников в «заочности» они превращались просто в хороших друзей.

И все-таки… Все-таки… Для Цветаевой Борис Леонидович и теперь еще оставался единственным на земле человеком, который мог лучше всех других поддержать ее в минуты отчаяния.

Теперь они сидели рядом на заседаниях конгресса, ездили вместе с Ходасевичем в Версаль и Фонтенбло, – на машине художника Юрия Анненкова. Познакомился с Сергеем Яковлевичем и Ариадной. Вместе с Муром посидели в ресторане гостиницы, в которой жил Пастернак. И еще была неудачная встреча в кафе со странным разговором о колхозах, о чем Цветаева позже не раз с горечью будет вспоминать.

К тому времени прошло уже почти полтора десятилетия со дня их последней встречи в Москве. И девять лет с той весны 1926 года, когда Пастернак готов был по первому слову Марины примчаться к ней во Францию.

Слишком долгие сроки… Еще несколько лет назад, размышляя об их «заочной» любви, Цветаева записывала в свою тетрадку мысли о том, что такая внутри самих себя хранимая нежность «не снашивается» – в отличие от той, которая имеет осуществление в реальной жизни.

Увы, теперь она могла убедиться в том, что ошибалась.

Все-таки – «сносилась»…

Слишком многое переменилось и в них самих, и в мире. При этом то и другое оказалось связано между собой теснее, чем это можно было предположить.

Что решился Пастернак рассказать ей о себе и стране? Достоверно известно (Алексей Эйснер при этом присутствовал), что рассказал об аресте Мандельштама и о телефонном звонке Сталина ровно год назад, и о странном разговоре, который состоялся тогда между Пастернаком и вождем. Но рассказал ли о той поездке, когда своими глазами увидел уральскую деревню и изнанку процессов «сплошной коллективизации»?

Мы не знаем этого. Известно другое: Цветаева все же задала Борису Леонидовичу вопрос, который ее теперь мучил постоянно: можно ли сейчас возвращаться в Россию?

Ответ показался ей невнятным, противоречивым. Пастернак и сам это как будто подтверждает: «Я не знал, что ей посоветовать», – признался он позже в очерке «Люди и положения». Но ведь сказал же он ей во время заседания конгресса на ухо о том, как почти насильно отправили его в

Париж: «Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь Сталина, и я испугался. Меня посадили в самолет и привезли…» (Пастернак приехал поездом, не самолетом, но в данном случае я привожу цитату из письма Цветаевой к Анне Тесковой.)

Другой вариант предостережения передает Е. Н. Федотова, скорее всего, тоже со слов Цветаевой, обстоятельства совпадают: «Марина, не езжайте в Россию, там холодно, сплошной сквозняк!» Тоже шепотом, тоже во время заседания. Иносказательность фразы и конспиративность обстоятельств наводят на мысль, что даже в Париже Борис Леонидович опасался следящих глаз и подслушивающих ушей.

Гораздо больше, чем методам «делегирования» поэта на конгресс, Цветаева ужаснулась страху Бориса Леонидовича. Пастернак испугался! – вот что было для нее непонятно, непредставимо. Она не распознала мучительного состояния, в котором он находился в это время, о подлинных причинах его не догадалась, недомолвок расшифровать не сумела. Но потому и не сумела, что воображения не хватило представить, – даже у нее, ко многому как будто уже готовой! – как далеко все зашло в стране, куда так нетерпеливо рвался ее муж.

В эти дни она и сама далеко не в лучшей своей форме.

За неделю до начала работы конгресса она отвела к врачу сына: десятилетний Мур жаловался на боли в животе. Хирург диагностировал аппендицит. Мальчика срочно прооперировали, и он провел в больнице еще десять дней. Тем не менее Марина Ивановна присутствовала на всех заседаниях конгресса.

Но уже через день после окончания его работы, 28 июня, несмотря на то что советская делегация, а с ней и Пастернак, еще оставались в Париже, Цветаева уедет с сыном на юг, в Фавьер, к морю. Ни отменить, ни даже отложить отъезд она не могла. Дешевый «каникулярный» поезд уходил на юг именно 28-го – и билеты на него были куплены заранее.

Они могли, таким образом, видеться только в течение трех дней: 25, 26 и 27 июня.

Душевного состояния Пастернака Цветаева просто не поняла. «Признававшая только экспрессии, никаких депрессий Марина не понимала, – пишет в своих воспоминаниях Ариадна Эфрон, – болезнями (не в пример зубной боли) не считала, они ей казались просто дурными чертами характера, выпущенными на поверхность, – расхлябанностью, безволием, эгоизмом, – слабостями, на которые человек (мужчина!) не вправе…»

Роковым образом это совпало с тревожной напряженностью Марины Ивановны, обеспокоенной здоровьем сына.

В результате недоразумение накладывалось на

недоразумение.

Однажды, оговорившись, Борис Леонидович назвал Цветаеву именем своей жены. Марина Ивановна расслышала – и расстроилась. И огорчилась еще больше, когда в возникшем за каким-то застольем споре Пастернак вдруг начал говорить нечто совсем уж невообразимое.

Что-то о необходимости подчинения личности коллективному сознанию. И что-то даже панегирическое о колхозах.

Спор был прилюдный – и в этом, наверное, скрывалась разгадка.

Но еще долгое время после этого Цветаева не могла прийти в себя.

Сохранившиеся черновики двух писем – Николаю Тихонову и Борису Пастернаку (Марина Ивановна напишет их уже в Фавьере) – позволяют хоть в какой-то степени представить, что же это был за спор.

Тихонову она писала, в частности: «От Б. – у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня – право, для него – его, Борисин, порок, болезнь.

Как мне – тогда (Вас, впрочем, не было, – тогда и слез не было бы) – на слезы: – Почему ты плачешь? – Я не плачу, это глаза плачут. – Если я сейчас не плачу, то потому, что решил всячески удерживаться от истерии и неврастении. (Я так удивилась – что тут же перестала плакать.) – Ты – полюбишь Колхозы!

…В ответ на слезы мне – “Колхозы”
В ответ на чувства мне – “Челюскин”!

Словом, Борис в мужественной роли Базарова, а я – тех старичков – кладбищенских.

А плакала я потому, что Борис, лучший лирический поэт нашего времени, на моих глазах предавал Лирику, называя всего себя и все в себе – болезнью. (Пусть – “высокой”. Но он и этого не сказал. Не сказал также, что эта болезнь ему дороже здоровья и, вообще дороже, – реже и дороже радия…)»

В переводе на язык обыденный ясно, что за дружеским столом мир «старорежимный», «абстрактно-гуманистический» в лице Цветаевой отстаивал свои ценности в споре с ценностями «социалистического» мира. И Пастернак оказывался в роли хвалителя, а Цветаева – хулителя дня сегодняшнего; первый – защитником новых порядков, вторая – плакальщицей по старым.

(С Николаем Тихоновым познакомилась в эти дни и Ариадна.

Они виделись не раз и не два в самой непринужденной обстановке: в зале конгресса и в отеле, где остановилась советская делегация. Пройдут годы – не столь долгие, лет пятнадцать! – и Аля из Туруханска, из своей бессрочной ссылки, напишет депутату Верховного Совета Тихонову просьбу о реабилитации. Прямого ответа от него она не получит. Тихонов просто перешлет письмо «по инстанции»…)

Кое-что конкретизирует набросок июльского письма Цветаевой Пастернаку.

«Я защищала право человека на уединение, – пишет Цветаева, – и не в комнате, для писательской работы, а – в мире. ‹…›

Вы мне – “массы”, я – “страждущие единицы”. Если массы вправе самоутверждаться – то почему я не вправе – единица? ‹…›

Я вправе, живя час и раз, не знать, что такое Колхозы, так же как Колхозы не знают – что такое – я. Равенство так равенство.

Мне интересно все, что было интересно Паскалю, и не интересно все, что было ему не интересно. Я не виновата, что я так правдива. Ничего не стоило бы на вопрос: “Вы интересуетесь будущим народа?” – ответить: “О, да”. А я ответила: “Нет”, потому что искренне не интересуюсь никаким и ничьим будущим, которое для меня пустое (и угрожающее!) место.

Странная вещь: что ты меня не любишь – мне все равно, а вот – только вспомню твои Колхозы – и слезы. (И сейчас плачу.) Мне стыдно защищать перед тобой право человека на одиночество. Потому что все стоящие были одиноки, а я – самый меньший из них…»

Всего две недели назад она поставила точку под последним словом своей прозы «Черт».

Всего несколько дней назад прочла ее на своем литературном вечере.

Да не в этой ли связи и разгорелся тот спор? Ибо вся концовка «Черта» – гимн одинокому, отъединенному духу, оберегающему ее, Марину, от всякой общности. От той общности, которая способна освятить и насилие и преступление…

Пастернака, правда, еще не было в Париже, когда проходил этот вечер, но, может быть, кто-то другой – из затеявших спор за столом – успел «Черта» послушать?..

Два года спустя ту же, в сущности, тему поднял Томас Манн – в статье «Предупреждение Европе». Темпераментно и взволнованно писатель сказал в ней об опасности увлечения, охватившего современное поколение: увлечения коллективизмом, лозунгом «слияния с массами». Но массы и не подозревают, писал

Томас Манн, о существовании сложных предпосылок нашей цивилизации. Между тем гораздо легче управлять и манипулировать не личностями, а именно массами – бросая им как подачку демагогические доводы вместо размышлений и грубую подделку вместо творчества. Отречение от личного «я», утверждал писатель, неизбежно ведет к усыплению совести. И это крайне опасная тенденция, формирующаяся в современном мире.

Больного Бориса Леонидовича до самого его отъезда преданно опекала Ариадна, почти ежедневно с утра приходившая в гостиничный номер отеля «Мэдисон»; она просто сидела рядом, когда он не хотел никуда идти, вязала. И он постепенно отходил, напряжение в его глазах исчезало; слушая ее болтовню, он начинал улыбаться и понемногу реагировать. «Вот так я его разговаривала», – вспоминала позже Ариадна Сергеевна. Она подтверждала, что он «был в ужасном состоянии, и мама была ему, конечно, просто противопоказана».

Так или иначе, Цветаева назвала это «невстречей», а Пастернак позже – «упущенным, уступленным, проплывшим мимо».

Оба сполна пережили горечь еще одного, совсем уж обидного разминовения.

2

Письма Пастернаку и Тихонову написаны Цветаевой уже в Фавьере, где она вспоминала и переживала заново июньские дни.

Я искала этот Фавьер в 1989 году. Выехав из Марселя поездом, который шел на Тулон, я должна была сделать пересадку. Но обнаружилась какая-то нестыковка в расписании поездов – слишком большой перерыв во времени, и я побоялась приехать среди ночи туда, где у меня не было ни единой знакомой души. Да еще с плохим французским, да еще – с обычными нашими пустяками вместо денег в кармане. И я сдалась. Сошла на станции вблизи Тулона и пошла вглубь – к городку, называющемуся Сейн-сюр-Мэр, утешаясь соображениями о том, что это, в сущности, та же Ривьера, то же море, та же природа – и совсем рядом с Фавьером. Тем более что меня предупредили: от прежнего Фавьера ничего не осталось.

Аля Эфрон, Мур, Марина Цветаева в Фавьере. 1935 г.

А тут, в самом деле, был тот же жаркий и синий Прованс. Приморские сосны, мирт, лаванда, виноградники, синева Средиземного моря, нежные красоты холмов и зелено-голубых далей. Вдруг открылся за поворотом какой-то «Форт Бонапарта», и когда указательная стрелка с этой надписью попалась мне на дороге, появилось твердое ощущение, что – так или иначе – я в «цветаевских» местах.

Галина Родионова, познакомившаяся с Цветаевой как раз этим летом 1935 года, рассказывает о Фавьере: «В живописный этот благословенный уголок Прованса съезжалась творческая богема всех стран, – художников привлекали яркие краски, писатели и поэты искали здесь вдохновения. Потянулась в Фавьер и русская интеллигенция – Саша Черный построил сказочный пряничный домик среди сосен; причудливо расписал свой теремок Иван Билибин; маститый Гречанинов, любивший комфорт, снимал на лето одну из фавьерских вилл. “Во главе” с

вдовой Ильи Мечникова поселились здесь и русские ученые, сотрудники Пастеровского института. Возник целый русский городок, его называли cite russe, так и писали на конвертах писем. Предприимчивые дамы из Одессы понастроили длинные домики с отдельными комнатушками, дешевое общежитие, его называли “Авгиевы конюшни”. Хозяйки кормили дешево своих постояльцев русским борщом и пирожками».

С сыном на пляже в Фавьере

Сюда и приехала Марина Ивановна с сыном.

Они поселились поначалу именно в «конюшнях». Но эмигрантское общество Цветаева переносила с трудом, когда оно оказывалось слишком рядом. Во-первых, на нее тут откровенно глазели как на местную достопримечательность, уже одно это раздражало. Во-вторых, терпения ее не хватало с утра до ночи слышать немыслимую смесь французских и русских слов, тарабарщину, на которой здесь все изъяснялись. Наконец, это глупейшее чванство, постоянно сквозившее в пересудах о Франции и французах. В письме к Тесковой, написанном из Фавьера: «…живут, ненавидя Россию (в лучшем случае – не видя) и, одновременно, – заграницу, в тухлом и затхлом самоварном и блинном прошлом – не историческом, а их личном: чревном: вкусовом, имущественном, – обывательском, за которое – копейки не дам».

По свидетельству Родионовой, она восхищалась

остроумнейшими рассказами Тэффи, высмеивавшими эмигрантскую публику этого сорта.

Место было райское. Но первые недели прошли здесь более чем грустно – Марина Ивановна оставалась во власти только что пережитого в Париже.

Этот неожиданный, неузнаваемый Борис. Его странные речи, его поглощенность женой, о которой он не мог сказать ничего внятного…

«Какая она?» – спрашивала Цветаева.

«Она – красавица».

И это было все, что он мог ответить.

«Поэту нужна красавица, то есть без конца воспеваемое и никогда не сказуемое, ибо – пустота et se prete a toutes les formes[24]. Такой же абсолют – в мире зрительном, как поэт – в мире незримом. Остальное у него уже все есть», – записывает Цветаева в Фавьере – и включит потом эти строки в письмо Пастернаку. Все, что она, Марина, может ему дать, уже у него есть, ибо ее мир он вобрал внутрь, в глубину. И вовне она уже ему не нужна. «Тебе нужно любить – другое: чужое любить…»

Это она ему – его же самого (!) – поясняет…

Ариадна Эфрон

Горечь! Горечь, которую не притушить никаким пониманием жестких законов земной жизни.

Но ведь она уже размышляла над этим – больше пяти лет назад! В 1929 году, в своей прозе «Наталья Гончарова»: о Пушкине и его Натали. «Гончарова – Елена, Гончарова – пустое место, Гончарова – богиня». «Было в ней одно: красавица. Только – красавица, просто – красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И – сразила.

Просто – красавица. Просто – гений». «…Тяга гения – переполненности – к пустому месту. Чтобы было куда». И там же, там же – о ком это? Не о себе ли?

Полгода спустя, ранним утром едва начавшегося 1936 года,

она запишет в своей тетрадке горькое: Борис «не нашел нужным провести со мной наедине ни получасу – потому что влюблен в жену-красавицу…».

«Обратное красавице – не чудовище (как в первую секунду может показаться), а – сущность, личность, печать…»

Мансарда, которую они с Муром занимали в «конюшне», была просторна, но днем там было невыносимо душно. И потому вскоре, по совету Родионовой, Марина Ивановна с Муром переехали в один из фермерских домов, сняв чердачную комнатку над хозяйственной пристройкой. В самой комнате навели кое-какой порядок, затащили туда стол, топчаны – и большую бутыль, оплетенную соломкой, с самодельным терпким виноградным фермерским вином: Цветаева любила во время разговора потягивать пинар из большого стакана. Вечерние беседы происходили обычно на «скворешной лестнице», ведшей на чердак.

Но поначалу именно вечера оказались мучительно тягостными.

В девять вечера Мур уже был в постели. Работать вечерами Цветаева никогда не умела – разве что писать письма. Однако при тусклой керосинке это было не слишком уютно.

Иона садилась на лесенку в одиночестве. Курила, думала. Снизу доносились по-летнему оживленные, радостные перекликающиеся голоса:

– Идем?

– Идем!

– Кофточку не забудьте! Свежо!

– А палку – взяли?

Кто шел на море, кто в гости. Она не могла никуда пойти одна – во тьме.

В письме Тесковой из Фавьера: «Бог с ними, конечно, – и не мое это “море” и не мои это “гости” и, может быть, я бы первая от этого веселья отстранилась: слишком уж много женского визгу и мужского хохоту! – но все-таки каждый вечер сидеть на кухне, без ни-души…»

Добровольное уединение – это одно. Но безвыходное навязанное одиночество – совсем другое. При всем своем затворничестве художника-творца Марина всегда нуждается в друзьях, в общении и даже в веселье. Тем более – теперь. Той же Тесковой: «…я – aus dem Spiel, совсем, aus jedem[25]. Смотрю на нынешних двадцатилетних: себя (и все же не себя) 20 лет назад, а они на меня – не смотрят, для них я скучная (а м. б. “странная”), еще молодая, а уже седая, – значит, немолодая – дама с

мальчиком. А м. б. просто не видят как предмет. Горько – вдруг сразу – выбыть из строя – живых…»

Нет сомнения: все это – отроги «невстречи» в Париже.

Как бы она ни храбрилась – в те краткосрочные июньские дни была похоронена прекрасная мечта. И надежда, сопровождавшая ее столько лет…

Прошла неделя, другая. И феникс возрождается из пепла в очередной раз.

Из душной комнаты, в которой даже не было окна, Марина Ивановна приспособилась вытаскивать для работы в сад соломенный стол; стол, увы, хромой, у него, как пишет в одном из писем Цветаева, «пляска святого Витта», и потому она прислоняет его к кадке и подпирает коленом, чтобы не качался. Но в кадке сын хозяина держит трех своих змей, они мирно копошатся там в какой-то жиже. Мур, прекрасно зная, что мать их безумно боится, всерьез утверждает, будто змеи свистят. Преодолевая тошноту, Марина Ивановна прислушивается и изо всех сил старается думать о другом.

Со временем появляются новые знакомые – молодой филолог Борис Унбегаун, красивая умница русская швейцарка Елизавета Малер. Приезжают в Фавьер и супруги Парен: Брис Парен – видная фигура в литературно-издательском мире Франции, и его жена, с которой Цветаева в незапамятные времена училась в Москве в одной гимназии.

Опасение, что сын долго не сможет после операции ходить на прогулки, а значит, не сможет и Цветаева, – рассеивается. Уже через три недели после приезда Мур только что не бегает. И купается без лечебного бандажа.

Здесь чудное море – уже тем чудное, что вблизи берега – мелкое и можно его не бояться. Марина Ивановна подобрала на берегу выброшенную старую рыбачью сеть, срезала с нее пробки – и сшила себе прекрасный пробковый пояс. Теперь она могла без страха заплывать подальше, – при ее малом весе пояс держал замечательно, чуть ли не поверх воды…

Как всегда, главная радость ее – после творческой работы за столом! – дальние прогулки. Обычно они приглашали с собой одного или двух знакомых спутников-мужчин, чтобы можно было, если захочется, зайти по дороге в какое-нибудь кафе – отдохнуть и выпить. И – отправлялись.

Родионову, которая давно уже жила в Провансе, радовала сердечная реакция Цветаевой на природу. Несмотря на сильную близорукость, Марина Ивановна все видела, слышала, замечала – и очарование сухих меловых гор, и шорох тростника над маленькой речкой, и меняющиеся под ветром оттенки морской

сини…

Беседы их по дороге всегда необыкновенно интересны. Любой разговор, вспоминает Родионова, Цветаева как-то естественно превращала в философский диспут. Говорили о поэзии и поэтах, о Бергсоне и интуиции, о Нострадамусе и об отношении к французам. Почти никогда – о политике.

Только однажды спутница, не удержавшись, все же спросила:

– Стихи – стихами, Марина Ивановна, но как же вы все-таки относитесь к происходящему?

И услышала в ответ:

– А вы знаете, как Гёте ответил на вопрос, что он думает о Французской революции? Он сказал: «О чем вы меня спрашиваете! Я занят эпохами тысячелетий, а революция – мгновение. Она есть, и вот – ее уже нет и следа!»

– Гёте мог так ответить, – возразила Родионова, – но мы-то живем сейчас в этом мгновении, мы сами – творцы его!

– Да, конечно, вы правы, – отвечала Цветаева. – Я знаю одно: мне очень хочется туда, домой, на Оку!

Изредка крутыми тропками, по которым некогда ходили пилигримы и рыцари, они совершали путешествие в средневековый горный городок Борм. Поднимались по его узеньким ступенчатым улочкам все выше и выходили к городской террасе, откуда открывался прекрасный вид: на синие горы, долины и курящееся вдали в дымке, будто в сапфировой чаше, море. А потом шли к замку. Бродили по его обширным залам, останавливались у огромных каминов с гербами, вырезанными на плитах.

Марина Ивановна говорила, что средневековье – ее любимейшая эпоха, что она будто видит воочию в Борме и пеструю толпу на улицах, и монахов, и рыцарей, и трубадуров.

Она фантазировала:

– Представьте вечер в замке. В камине жарко пылают целые сосны, и при их мерцающем свете сидят рыцари и дамы, слушают моих далеких предшественников – трубадуров. Вздыхают, смеются, плачут…

И она рассказывала множество подробностей, живых и конкретных, из жизни тех давних времен. И читала стихи. И вдруг надолго замолкала…

Время от времени в русском городке устраивали празднества и литературные вечера – на террасе какой-нибудь виллы.

Пригласили однажды выступить и Цветаеву. Она не отказалась: ведь это был, кроме всего прочего, случай немного заработать. Вечера организовывали так, что деньги за вход

опускали в ларек-копилку…

К концу лета в Фавьер приехала Ариадна. Ее привез кто-то из друзей на машине.

Отношения дочери с матерью внешне были восстановлены, но глубокая трещина, образовавшаяся в прошлом году, постоянно давала о себе знать.

Але было уже двадцать три года. Но выглядела она много моложе, как некогда и мать, – никто не давал ей больше семнадцати. Родионова описывает ее сверкающую свежесть: «вся какая-то чистая, как новая куколка» и очень естественная, чем сильно отличалась от своих сверстниц. Ходила босиком даже по лесу и по каменистым тропам, совершенно не употребляла косметики. И босоножье очень ей шло – такая вот сказочная, светлая “принцесса-босоножка”».

С недавних пор именно рядом с дочерью Цветаева стала остро ощущать свою немолодость. Ей уже скоро сорок три, она упрямо не признает никаких косметических средств, а между тем смуглость ее лица приобрела желтизну, и в волосах заметно пробивается седина… И общительная, легкая, всегда оживленная Аля легко уводит от матери ее собеседников, редких в Фавьере…

К декабрю 1935-го относится эпизод, когда на вечере цветаевских стихов с Алей случайно знакомится Иван Алексеевич Бунин и после недолгой беседы в антракте, еще не зная, что это дочь Цветаевой, пригласит ее пообедать с ним завтра в домашней обстановке. Приглашение не отменяется и после выяснения, кто есть кто. А назавтра дочь с торжеством расскажет дома о любезности хозяина, предложившего ей на этот раз в следующее воскресенье вместе пойти в кинематограф… В письме к Тесковой Марина Ивановна грустно прокомментирует: «Ему – 67 лет, ей – 22, т. е. втрое. Что? Душа? (“Милая барышня”…) Ум? – Нет, двадцать лет».

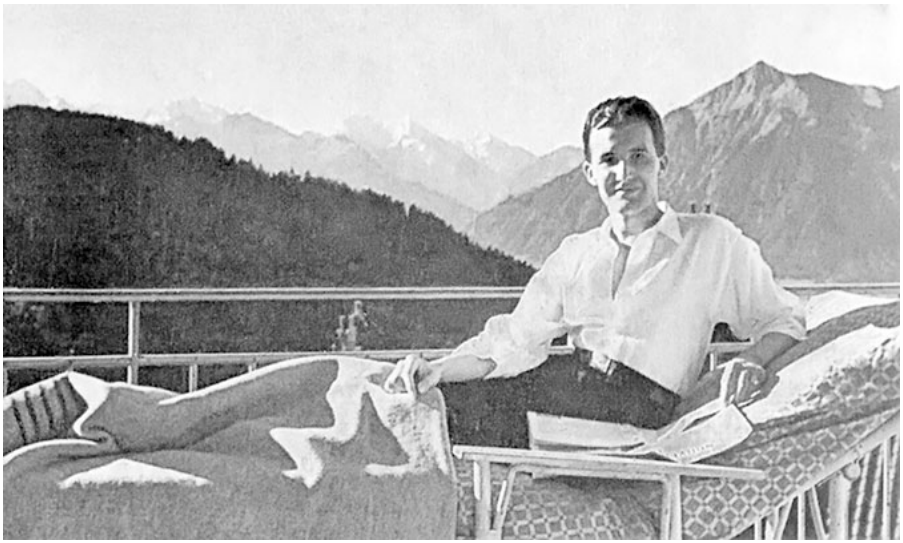
Цветаеву в бунинский дом на обед не приглашают; с писателем у нее прохладно-дружеские отношения, и только с его женой Верой Николаевной – доверительные…

3

В августе 1936 года Цветаева с сыном живет под Фонтенбло в местечке Море-сюр-Луан. Здесь она неожиданно получает письмо, посланное из Швейцарии. Так зарождается еще одна переписка, схожая с той, какую в 1923 году в Чехии она вела с молодым критиком Александром Бахрахом.

Схожа, да не совсем. Годы привнесли в ее душевный мир

ощутимый привкус горечи. Но реакции остались прежними – чуть ли не с младенчества они поражают Гулливеровскими масштабами.



Анатолий Штейгер в санатории

На этот раз корреспондент Марины Ивановны – поэт, у него уже вышли три сборника стихотворений. Он тоже молод, но все же старше Бахраха: ему только что исполнилось двадцать девять. Двенадцатилетним мальчиком родители вывезли его из России; отец его – барон фон Штейгер – был предводителем дворянства в Киевской губернии, и детство Анатолия Сергеевича прошло в родовом поместье на Украине.

Этой осенью Штейгер в Швейцарии – из-за вспышки туберкулезного процесса. Сначала в санатории, затем – в Берне, в клинике, где ему сделают операцию, потом снова в санатории.

Сохранилось тридцать цветаевских писем Штейгеру. И только одно ответное письмо. Плюс довольно длинная выписка из штейгеровского же письма, сделанная самой Цветаевой. Да еще обрывки фраз, на которые отвечает корреспондентка. Наибольшая частота писем падает на август-сентябрь. Октябрь-ноябрь не оставили нам писем – оба поэта в это время в Париже. И последнее цветаевское письмо помечено 30 декабря все того же 1936 года.

Как и в истории с Бахрахом, все напряжение чувств – с обеих сторон – приходится на «заочность». Едва «расстояния, версты, мили» сокращаются до реальной встречи – отношения обрываются. Но и в этом случае, как в случае с Бахрахом, инициатор разрыва – Цветаева. Хотя это и происходит как бы

помимо ее воли. Если ничто не ново под луной, то равным образом ничто и не повторяется (Екклезиаста дополнил уже Кьеркегор). Несмотря на иллюзию сходства, в этой переписке – яркие неожиданности. И многомерная личность Цветаевой обнаруживает новые грани.

Бахрах был молод, здоров и благополучен. Анатолий Штейгер – тяжело и, как ему казалось, неизлечимо болен (он умер в 1944 году). И еще он был поэт, что в глазах Марины Ивановны означало принадлежность к обостренно чуткой и потому обостренно ранимой людской расе. И еще – он был одинок. И претерпел только что какую-то личную драму. Но и этого мало: Бахраха Цветаева до начала переписки не встречала, разве что мимо проходила на каких-нибудь литературных собраниях или в редакциях. Штейгер же сам подошел к Марине Ивановне на одном из ее литературных вечеров (видимо, то был 1932 год) и подарил свой поэтический сборник.

Да не просто подарил – надписал: «Великому поэту». И потом они раза два-три еще мельком виделись.

В письме, полученном в Море-сюр-Луан, Штейгер просил прощения, что не исполнил одну давнюю просьбу Цветаевой. И, видимо, пояснил свою грустную ситуацию. Марина Ивановна сразу откликнулась – и в ответ тотчас получила письмо-вопль, письмо-исповедь одинокого сердца на шестнадцати страницах. Не нужно усилий, чтобы представить себе реакцию читательницы этого письма. Все уже сказано было раньше в ее стихах:

> Не надо ее окликать:
> Ей оклик – что охлест.
> Ей зов Твой – раною по рукоять…

(Почему же – «оклик», «зов» и сразу уж «раною»? – спросит благоразумный читатель. Да потому, что вот так она от природы устроена – и наперед прекрасно знает, чем все это для нее обернется. Знает – и не может ничего предотвратить.)

Из Море-сюр-Луан вскоре Цветаева с сыном уехали – одолели дожди и сырость. И с начала августа поселились в Савойе. В том самом русском пансионате, где еще в 1930 году лечился больной Сергей Яковлевич.

Тогда Марина Ивановна жила в деревушке неподалеку, теперь она поселяется в древнем – XIII века! – замке д'Арсин. В начале тридцатых годов он был превращен его новыми хозяевами, выходцами из России, в «русский пансионат».

Замок д'Арсин. Савойя

Замок древний, но во Франции XX века от таинственности давних дней остались только стены. Да еще огромный гулкий чердак со сводчатыми готическими потолками, куда не доносились шумы снизу. Цветаеву, верную своей страсти к старине, совсем не радует модернизация жизни в замке – водопровод, электричество, современная мебель. И для собственного уединения она выбирает именно чердак, удаленный от прочих постояльцев, нечто вроде пещеры с крохотным оконцем и каменным полом – место, где сама пустынность создает для нее уют. Здесь слышны только «шумы времен»: ветер, дождь да легкое

позвякивание колоколов на одной из башен замка.

Уединение: уйди
В себя, как прадеды в феоды.
Уединение: в груди
Ищи и находи свободу…

И она ощущает себя здесь – с наслаждением – именно в уединении «феода». Хотя внизу – сорок человек. Их она, кстати говоря, вовсе не обходит стороной: участвует в общих вечерах, прогулках или поездках. Но поездок в машинах она не любит. Ей нужны только сами горы, не знаменитые, без всяких названий. Она лазает по ним с ловкостью кошки, срывая орехи и любуясь растущими здесь гибкими нежными цикламенами. Ее уединенность понимают и уважают, отчета ни в чем не требуют.

В это лето Цветаева поглощена переводами Пушкина на французский язык. Она пытается продолжать начатое, но мысли о больном поэте чем дальше, тем больше лишают ее душевного равновесия.

Время от времени одиннадцатилетний Мур приносит матери почту:

– Письмо от Штейгера!

И Марина Ивановна умеет ответить ему независимым и спокойным голосом: «Ну вот и хорошо».

Между тем о спокойствии нет и помина.

Она пишет Штейгеру почти ежедневно, исполняя данное ему накануне операции обещание. Ее письма в течение полутора месяцев (когда состояние адресата было особенно тяжелым) по-матерински заботливы: подробности диагноза, температура, аппетит, сон, болевые ощущения – все ей важно. «Будьте другом, – просит она своего корреспондента, – напишите мне серьезно и подробно ‹…› все, что Вы о физическом себе знаете – и больше, чем знаете – узнайте, чтобы узнала – я». Помня, что в детстве Штейгер бывал в Петербурге и любил этот город, она разыскивает открытки с видами Петербурга и одну за другой пересылает их своему новому другу.

Перерывы в получении ответов она переживает столь же тяжело, как и в давние времена переписки с Бахрахом. Чего только она не надумывает в эти дни! Ее душевная боль всегда сплетена с физической. Она разбита, ей нечем дышать. Лишь пересиливая себя, она делает все, что необходимо. И так – с утра до вечера и каждый день. Весь август и весь сентябрь она сосредоточена на тревоге за молодого поэта. «Я все делаю (пишу, перевожу, читаю, хожу, говорю), – пишет она 31 августа, – ну

меня ни одной мысли в голове нет, кроме тебя и твоего здоровья. Ты думаешь, я не писала “случайно”? Потому что чем-нибудь была “занята”? Мне это неписание стоило больших усилий, чем все мои писания, вместе взятые! Других усилий, другие мускулы работали, обратное…»

С того самого дня, когда она получила то исповедальное письмо на шестнадцати страницах, в ее воображении со стремительностью кинематографической ленты начинает разворачиваться очередная мечта о прекрасной «любви издалека» двух одиноких сердец. «Вы пробили мою ледяную коросту, – пишет Марина Ивановна Штейгеру, – под которой оказалась моя родная бездна – куда сразу и с головой провалились – Вы».

Как сладкоголосая сирена – спустя почти месяц с начала переписки, – она завораживает его картиной их встречи. «Я бы хотела быть с Вами совсем без людей, совсем одна в огромной утробе – замка – и нам прислуживали бы руки, как в сказке Аленький Цветочек. – Хочешь? – И я знаю, что к нам, привлеченные чистотой и жаром, пришли бы все прежние жители этого замка, все молодые женщины и все юноши ‹…› и все бабушки в чепцах и прадеды в халатах, и любили бы нас, и мы бы парили над ними и, в конце концов – незаметно – перешли бы к ним в стены и когда пришли бы другие – никого бы не нашли…

Я хочу с Вами только этого, только такого, никак не называющегося, не: сна наяву, сна – во сне, войти вместе с Вами в сон – и там жить…»

И вся эта ворожба имеет в виду – что? Всего-навсего двух-трехдневную встречу! Ту, в которой еще не успеет вступить в свои права ненавистный агрессивный быт. Ничего более не имеется в виду – и это чисто цветаевское представление о настоящем счастье. Такова ее странная для обычных представлений и тем не менее вовсе не выдуманная, а вполне реальная – по мощи сердечных волнений – любовь.

Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе
Насторожусь – прельщусь – смущусь – рванусь.
О, милая! – Ни в снеговом сугробе,
Ни в облачном с тобою не прощусь.

И не на то мне пара крыл прекрасных
Дана, чтоб на сердце держать пуды.
Спеленутых, безглазых и безгласных
Я не умножу жалкой слободы…

Эти строки в 1920-м написаны, но и в 1936-м еще звучат

исповедально.

Между Штейгером и Цветаевой всего двадцать пять верст – и граница двух государств: Франции и Швейцарии.

Свой «нансеновский» паспорт Марина Ивановна оставила в Вайве, и значит, она не может получить визу и не может навестить Штейгера – повидаться, поговорить не спеша. Возможность есть другая: с невероятными сложностями приехать к нему на какой-нибудь час. В Женеву из Савойи ходит туристский автобус – и в тот же день возвращается. Но Штейгер не в Женеве, и как ехать из Женевы в Берн с цветаевским «топографическим идиотизмом», если и в знакомом месте без провожатых она не способна найти дорогу? Да еще надо угадать часы приема, чтобы пустили в палату…

Кроме всего прочего, это означало бы видеться на людях, когда она уже не будет собой и встреча превратится почти что в светский визит… В довершение присоединяется и неуверенность: так ли уж ему-то нужна личная встреча?

Но ему было нужно – и безотлагательно! сейчас! – это отчетливо видно из тех обрывков его писем, на какие Цветаева отвечает. Это ее странной любви было достаточно каждодневных писем и разговоров на расстоянии, с надеждой на недолгую встречу – когда-нибудь. «Я-то – такой соловей, басенный, – пишет она своему корреспонденту 21 августа, – меня – хлебом не корми – только баснями! Я так всю жизнь прожила, и лучшие мои любови были таковы. ‹…› Я отлично умею без всего – и насколько мне отлично – с не-множким».

И еще она напишет ему о том, что уже в 1923 году было сказано в ее стихотворении «Заочность»: о преимуществах такой любви. «У меня такая сила мечты, – пишет она Штейгеру, – с которой не сравнится ни один автомобиль!»

Но Штейгер, измученный телесными и душевными недугами, жаждал в те дни живой встречи, живого разговора. Можно удивиться в очередной раз тому, что цветаевская безоглядность, этот водопад внезапной нежности не только не путают, но осчастливливают ее корреспондентов! По крайней мере, на первых порах. Даже в случае Бахраха, да и Штейгера, когда адресаты – люди совсем иного, чем она, склада, иной природы и привычек, и такая нежность им должна быть чуть ли не противопоказана! Но всякий человек на земле недолюблен; всякий уверен, что лучшего в нем люди не ценят, не замечают. И в итоге – чуть не каждый растоплен благодарным толчком в сердце, когда поток восхищения и заботы вдруг обрушивается на его голову.

Факт налицо: после девяти цветаевских писем, когда уже

достаточно проявились все ее пресловутые «безмерности», способные среднестатистического мужчину перепутать насмерть, – 17 августа Штейгер укоряет свою корреспондентку: «У меня силы вашей мечты нет, и я без всякой покорности думаю о том, что мы живем рядом, а видеть и слышать я Вас не могу. От Вас до Женевы – час, от Женевы до Берна – два часа – и от этого трудно не ожесточиться ‹…›. Может быть, за 10 дней случится чудо и Вы приедете? Если хотите и умеете – до гроба Ваш…»

Это «до гроба Ваш» ошеломляет Цветаеву.

И ей приходится долго и трудно объяснять своему корреспонденту, отчего она, внутренне не расстающаяся с ним ни на час, приехать все-таки не сможет: и о паспорте, и о визе, и еще о сыне, которого ей не с кем оставить.

Сын! Вот где ее истинная болевая точка. Тут, а не где-нибудь, скрестились две разноприродные страсти. И что бы Цветаева ни объясняла, очевидно: здесь ее настоящее материнство. «Мой друг, – пишет она, оправдываясь перед Штейгером с довольно жесткими интонациями, – я – совсем старинная женщина, и не себе – современница, а тем – сто лет – и так далее дальше – назад. Породив детей (говорю о сыне, об Але – когда-нибудь расскажу) – я обязана его, пока он во мне нуждается, предпочитать всему: стихам, Вам, себе – всем просторам души моей. Фактически и физически – предпочитать. Этим я покупаю (всю жизнь покупала!) свою внутреннюю свободу – безмерную. Только потому у меня такие стихи. На этой свободе нам с Вами жить и быть. Наше царство с Вами – не от мира сего».

Поняв все же, что ее новому другу реальная встреча действительно необходима, Цветаева начинает обдумывать возможные варианты. Подробные, с обилием уточнений. Эти реальные детали – от расписания поездов до соображений о необходимости снять комнату – для нее тяжелы, утомительны, она тут попросту бестолкова. Наилучшим ей кажется вариант, при котором сам Штейгер, подлечившись, приедет к ней в Савойю. Она может подъехать поближе к железнодорожной станции и там найти приют для встречи.

Один план сменяется другим – где, когда, как? Но нетрудно заметить, что снова – точно также было в переписке с Пастернаком и Рильке! – она оттягивает и оттягивает сроки встречи. Она ее хочет – и столько же опасается. В середине сентября, перебрав разные возможности своего приезда к нему в санаторий, она вдруг сообщает: «Итак, мой родной, без нас решено: февраль».

Но от сентября до февраля – пять месяцев!

Ничто ничему ее не научило. Остановив вполне

благоразумными доводами порыв Пастернака в 1926 году – приехать к ней во Францию, она уже никогда не узнала его любви. Оттягивая свой приезд к Рильке, – несмотря на его такое внятное: «Не откладывай до зимы!» – она таки не увидела его, не провела даже одного дня рядом…

Эта редкостная умница сама скажет в другом месте переписки тому же адресату: увы, душа ничему не научается. «От чего вы в жизни излечились, чему – научились? Ни от чего. Ничему. И вся я к Вам этому – живой пример». Но и собственная мудрость ей ни на йоту не помогает.

Она слишком вовлекается. Мощная стихия чувства – даже столь мало похожего на «обычную» любовь – втягивает в водоворот, где она быстро теряет ориентацию: борьба эмоций заглушает разумное знание.

В нескольких письмах, написанных, когда здоровье Штейгера уже пошло на поправку, Цветаева обращается к разбору штейгеровских стихов, – видимо, по его просьбе.

Как меняется ее интонация!

При всей заботливости и бережливости к больному другу Марина Ивановна неподкупно строга, едва речь заходит о поэтической работе. Никаких поблажек! Она анализирует стихи терпеливо, строка за строкой, она находит в них талант, но считает, что они много слабее потенциала, какой она ощущает в письмах поэта. Ее разбор временами резок, и все же бескомпромиссности оценок сопутствуют аргументация и самые конкретные, буквально построчные советы. Впрочем, не только конкретные.

«Почему Ваши письма настолько лучше Ваших стихов? Почему в письмах Вы богатый (сильный), а в стихах – бедный? ‹…› Почему Вы изгоняете все богатство вашей беды и даете беду – бедную, вызывающую жалость, а не – зависть? ‹…› Вам в стихах еще надо дорасти до себя – живого, который и старше и глубже и ярче и жарче того».

И в другом месте: «Отождествите поэта с человеком», «в этом назначение и победа стихов, чтобы каждый себя в них узнал, а не все. (Всех – нет, т. е. есть – и тогда нет никого.)»

Самое любопытное здесь – эта убежденность: стихи должны возрастать прежде всего на богатстве собственных испытаний, каковы бы они ни были. В том числе и на «богатстве беды»! В каждой жизненной ситуации есть свои безусловные козыри – для творчества…

Двенадцатого сентября отправлено наконец письмо, которое Марина Ивановна начала обдумывать с самого начала их

переписки. Ее адресат был тогда слишком болен, чтобы обсуждать с ним непростые проблемы. Но из этого «слишком болен» она исходит в программном своем письме, поверив Штейгеру, что болезнь уже не оставит его до конца дней. Цветаева принимает это на веру тем легче, что в ее собственном жизненном опыте – туберкулез неоднократно возвращался у мужа и унес жизни матери, брата Андрея, любимой Нади Иловайской и ее брата Сережи. И вот, принимая реальность этой угрозы, Марина Ивановна стремится прежде всего спасти своего друга от отчаяния. Она хорошо помнит его слова в одном из первых писем – об омертвении души. Но не хочет прибегать к пустому утешительству. Она смотрит прямо в лицо беде – и призывает Штейгера к тому же.

«Примем это, – пишет она в длинном, много дней подряд рождавшемся письме, – и попробуем найти лечение неизлечимости, выход – из явного тупика». Она приводит примеры: вспоминает Эвальда – одного из героев Рильке, инвалида, обреченного наблюдать жизнь только из окна; вспоминает Марселя Пруста, добровольно заточившего себя в пробковой комнате ради возможности жить и работать… И подводит к выводу: «Бог дал Вам великий покой затвора, сам расчистил Вашу дорогу от суеты, оставив только насущное: природу, одиночество, творчество, мысль. ‹…› Мой друг, что Вы называете жизнью? Сидение по кафе… ‹…› Хождение по литературным собраниям – и политическим собраниям – и выставкам… ‹…› Итак – терпите. Живите у себя auf der Hohe (как я: in der Hohle[26]) – прорывайтесь эпизодическими «счастьями», «жизнью», – пусть это будут побывки, plongeons[27] – наглатывайтесь, нахватывайтесь – и возвращайтесь – в себя…»

Она думает о своем больном друге, ищет спасения – для него.

Но ее рецепт легко узнаваем.

Это – ее собственный способ существования. Ее способ – быть. Она сама в каком-то смысле – инвалид, непригодный для обычного существования. «Я – не для жизни», – сказала она о себе более десяти лет назад. И в ее сознании – это не трагично! А для поэта – чуть ли не благо…

Но опять-таки: Штейгеру всего двадцать девять…

Истосковавшийся без настоящего друга, уставший от белизны санаториев и снежных вершин, он хочет – это так естественно! – в гущу жизни, пусть призрачную, к впечатлениям города, пусть суетного и мельтешащего. Цветаева не может не понимать этого – и понимает. И все же пытается убедить в преимуществах «затвора», в сладости того отказа, который она сама исповедует.

Она слишком категорична.

Она бескомпромиссна, как тот античный бог, который требовал от Тезея ради высшего долга переступить через самого себя. Вспомним:

– То, чего я требую, – божественно!

– То, чего ты требуешь, – чудовищно!

Обретя собственное кредо, она плохо слышит других. Только так! Не иначе! Иные рецепты, пути, способы существования она не допускает и до обсуждения…

И когда Штейгер выбирает свое, другое, она уязвлена в самое сердце. Она чувствует себя чуть ли не оскорбленной.

Сплелось тут многое. Захлестнутая всегда бурным потоком собственных чувств и размышлений, она слишком часто не чувствует собеседника – вот этого живого, ни на кого не похожего. Ей всегда хочется «вести» – и даже поучать, причащать к своему миру, – вот еще почему так охотно она вживается в игровую ситуацию матери и сына. Но Штейгер был уже зрелым человеком – то был не двадцатилетний Бахрах! «Вы не знаете, что такое я…» – пытался он объясниться в самых первых своих письмах. Но онапочти обрывала его: «…каким бы Выни оказались, я буду любить Вас…», «меня хватит на двоих…» Слова эти продиктованы душевной щедростью – и уверенностью в себе. Но в живой жизни они готовят конец той сердечной дружбе, которая едва зародилась. Потому что, не выслушав, она не поймет потом, почему ее рецепты спасения окажутся для него непригодны. И чем в действительности вызваны его реакции. Она будет объяснять их почти нелепо, вдали от реальных причин – со своей колокольни.

«Вы хотите, чтобы вас любили не по-своему, а по-Вашему, не как умеют – а как не умеют…» – напишет она Штейгеру 15 сентября.

Но она могла бы сказать это и самой себе!

В тот день, 15 сентября, она написала последнее письмо из Савойи. Нельзя не заметить резкой разницы в интонациях его начала и конца. Вторая часть письма начиналась пометой:

«Тогда же, после почты».

Гул пробуждающегося вулкана явственно ощутим в дальнейшем тексте.

Какое именно письмо она получила в этот день по почте – неизвестно. Но основное его содержание восстанавливается по ответу. Ясно, что Штейгер сообщал Марине Ивановне о принятом решении: он едет не в Савойю, а в Париж.

Этот вариант она и сама предлагала: сначала они встретятся в Париже, а потом поедут в Швейцарию вместе – Штейгер собирался возвращаться в санаторий. Цветаевой же, в результате

ее сложных хлопот, уже обещали устроить выступления в трех швейцарских городах.

Но что-то еще было в том письме Штейгера, что лишило Марину Ивановну душевного равновесия. С уверенностью можно реконструировать по крайней мере два момента. Во-первых, Штейгер написал нечто о монпарнасских кафе, где за десятой чашкой кофе в третьем часу утра, в компании Адамовича и прочих он надеется по-настоящему воскреснуть. И во-вторых, что он по-прежнему чувствует себя «мертвым».

После всех ее усилий! Когда все дни напролет почти два месяца она думала только о нем и так старалась помочь! Наверное, было бы справедливее обвинить саму себя: не сумела, не нашла нужных слов, не приехала… Но Цветаева услышала иное: ее помощь отвергнута, ее советы не приняты, она больше не нужна. Монпарнасские кафе – вместо «затвора»! Растрачивание души и здоровья – вместо служения призванию?..

И ответ ее звучит впервые в этой переписке в непривычно жестких тонах. «Если Вы – поэтический Монпарнас – зачем я Вам? – написала она в ответ. – От видения Вас среди – да все равно кого – я – отвращаюсь. Но и это – ничего: чем меньше нужна Вам буду – я (а я не нужна, когда нужно такое, Монпарнас меня исключает), тем меньше нужны мне будете – Вы, у меня иначе не бывает и не может быть: даже с собственными детьми: так случилось с Алей – и невозвратно. ‹…› Я – это прежде всего – уединение. Человек, от себя бегущий – от меня бежит. ‹…› Поскольку я умиляюсь и распинаюсь перед физической немощью – постольку пренебрегаю – духовной. “Нищие духом” не для меня. ‹…› На все, что в Вас немощь – нет. Руку помощи – да, созерцать вас в ничтожестве – нет…»

Кафе на бульваре Монпарнас

Еще более ужасное письмо она, слава богу, не отослала. Но и отосланное оказалось для Штейгера сильнейшим ударом. Весь этот водопад презрительных фраз имел истоком непереносимую боль, прорезавшую ее сердце. Все красноречие обличений выросло из слишком горячей ее вовлеченности – и рассыпалось бы в одно мгновение, если бы в ответ она услышала: «Вы мне нужны. Вы дороги и необходимы мне по-прежнему. Простите меня, я просто – другой».

Он не догадался. Редкий собеседник слышит не просто слова, а и то, что за ними. Для такого нужны душевные глубины. Райнер Мария Рильке был таким собеседником Марины Цветаевой. Он-то знал, откуда рождаются слишком резкие ее слова, – и откликался на ту боль, какая их вызвала…

Чувство сердечной заброшенности, с которым она так давно живет, душевной пустыни, любовной пустыни – вот где была собака зарыта. Рушилась очередная ее надежда: вырваться из этой мерзлоты, казавшейся уже вечной.

(С каким болезненным удовольствием иные из моих современников потрясают горчайшим письмом Эфрона Волошину, 1923 года! Об увлечениях Цветаевой, сменявших друг друга. О том, что на растопку жара души ей постоянно нужны были дрова.

Они хотели бы – холодные судьи чужих сердец, – чтобы, живя в браке, в котором давно уже нет горения чувств, она и себе самой не признавалась бы, что в этой пустыне она – умирает…)

Мертвой ощущал свою душу не только Штейгер. И Цветаева –

в своем варианте.

С момента разрыва с дочерью она живет в холоде отчетливого ощущения: никому не нужна. Муж практически отъединился, ушел в свою собственную жизнь – общественную и личную. Дочь разорвала сердце, не просто уйдя из дому, но пронзив мать презрительными словами, которых не хватит жизни – забыть.

Год назад бесследно развеялась иллюзия сердечной связи с Пастернаком. В Париж он приехал больным, никем и ничем не интересующимся, да еще повторяющим несусветную чушь о колхозах…

И почти что из воздуха сердце ее создало очередную иллюзию. Пронзительные строки возникли под ее пером здесь, в Савойе:

Наконец-то встретила
Надобного – мне:
У кого-то смертная
Надоба – во мне.

Что́ для ока – радуга,
Злаку – чернозем –
Человеку – надоба
Человека – в нем.
……
И за то, что – с язвою
Мне принес ладонь –
Эту руку – сразу бы
За тебя в огонь!

Семь прекрасных стихотворений написаны за месяц этой переписки. Штейгер был потрясен, получив их, но – увы! – нашел для отклика всего несколько слов: «Мне – такие стихи… Впрочем, все Ваши письма были как эти стихи…»

Сохранился его ответ как раз на последнее цветаевское письмо из Савойи. То, что было похоже чуть ли не на пощечину. Ответ Штейгера мерцает болью, прежним благоговейным уважением, но и чувством неколебимого достоинства.

«Да, Вы можете быть, если захотите – ледянее звезды, – писал Анатолий Сергеевич. – Я всегда этого боялся… ‹…› Объясняю это себе тем, что в моих письмах Вы читали лишь то, что хотели читать. Вы так сильны и богаты, что людей, которых Вы встречаете, Вы пересоздаете для себя по-своему, а когда их подлинное, настоящее все же прорывается, – Вы поражаетесь ничтожеству тех, на ком только что лежал Ваш отблеск, потому

что он больше на них не лежит…»

Подлинная причина непримиримой цветаевской вспышки наиболее проясняется из не отправленного ею письма: «Вы едете к Адамовичу и К°, к ничтожествам, в ничтожество, просто – в ничто, в богему, которая пустота большая, чем ничто: сгорать ни за что – ни во чью славу, ни для чьего даже тепла – как Вы можете, Вы, поэт!»

Вот откуда эта буря в цветаевском письме! Не просто в Париж, а к Адамовичу собрался ее новый друг, едва окрепнув. Не в Савойю или Ванв – «быть», а в те самые монпарнасские кафе – «жить», то есть встречаться с тем и теми, кто во всех своих человеческих и литературных пристрастиях был законченным антиподом Цветаевой! Тут Штейгер сам проявил по отношению к своей корреспондентке вполне медвежью деликатность: он превосходно знал, что значило для Цветаевой имя Адамовича. Получалось, что он решил «ожить» душевно в компании человека, который не уставал досаждать Цветаевой чуть не все годы ее чужбины упорным принижением всего, что она создавала…

И все-таки она слишком спешила со своим диагнозом и приговорами.

Реальную почву трагедии Анатолия Сергеевича она угадает не скоро. Ибо Штейгер – из «голубых». Как Волконский, как Иваск, как Адамович. Если бы она поняла это раньше, ее хватило бы на снисхождение – какое она обнаружила, например, спустя два года в письме к Иваску, когда догадалась о той же его «беде». Тогда, скорее всего, смягчилась бы боль в ее сердце. Ибо не просто на Монпарнас он стремился, не к прожигателям ночей за столиками кафе, а все-таки и в круг себе подобных. Там он надеялся найти настоящего друга – и опору.

В Париже они еще увидятся. Сердце Марины Ивановны не так-то легко избавляется от привязанностей. Она еще познакомит – письменно – Иваска и Штейгера, и их дружба станет радостью для обоих. Но горечь такого конца изжить ей не удастся.

Какой, однако, великолепный афоризм она создает, осмысляя крах очередной иллюзии: «Дать можно только богатому, и помочь можно только сильному»…

Не столь уж важно, насколько он был справедлив по отношению к поводу, его родившему.

Первого января 1936 года без четверти пять утра, проведя в одиночестве новогоднюю ночь, подводя итоги году прошедшему, она, среди прочего, запишет в своей тетради: «…Самочувствие? Тюремное – без бунта. Но и без величия одиночного заключения.

Равнодушие – приблизительно ко всему ‹…› Стихи? Все чувства иссякли, кроме негодования и горечи. Нет друзей, нет любви, нет перспективы…» И опять, и еще, и снова – о «невстрече» с Пастернаком…

Глава 8
Капкан

1

Термин «возвращенчество» возник в 1925 году.

Он оказался связан с именами четырех талантливых русских публицистов, выступивших осенью 1925 года с призывом «засыпать ров» между эмиграцией и Россией. То были А. В. Пешехонов, бывший редактор толстого дореволюционного журнала «Русское богатство», известная публицистка Е. Д. Кускова, ее муж экономист С. Н. Прокопович и писатель М. А. Осоргин. Свои идеи они выдвинули в связи с истекшим официальным сроком трехлетнего изгнания из СССР в 1922 году известной группы писателей, ученых и общественных деятелей. Теперь, считали «возвращенцы», настало время вернуться домой: долг русского интеллигента – разделить со своим народом все испытания.

Роман Гуль в книге «Я унес Россию» привел убедительные свидетельства того, что уже это выступление первых «возвращенцев» было искусно инициировано Дзержинским – через Екатерину Пешкову, возглавлявшую в эти годы Красный Крест, которой все доверяли и которая сама с простодушным доверием попалась на удочку. Ей и в голову не могло прийти, что все затеяно вовсе не ради возвращения высланных, а ради внесения смуты в умы и сердца эмигрантов и дробления русской эмиграции.

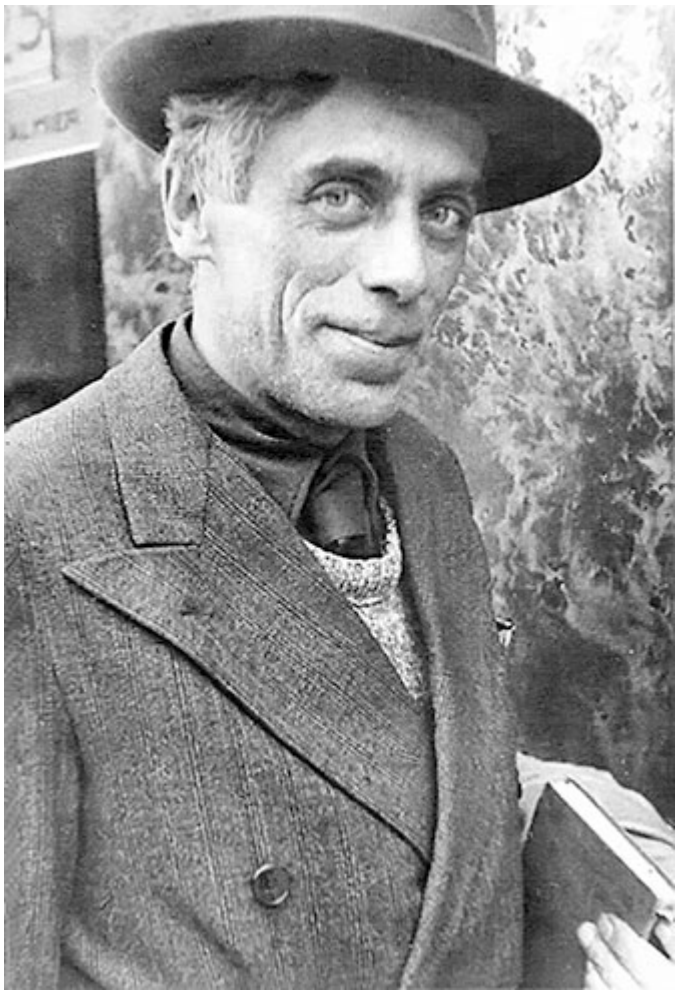
План ГПУ удался: резкие обвинения обрушились на головы злополучных публицистов с первых же их «возвращенческих» публикаций.

На этой волне и был создан «Союз возвращения». С самого начала он был связан с советскими организациями во Франции. Но только в тридцатых годах обрел заметный авторитет. К середине тридцатых деятельность его получила широкую известность в эмигрантских кругах.

С 1932-го по 1937 год председателем «Союза» был Е. В. Ларин. В 1937-м Ларина перевели на работу в Советский павильон Всемирной выставки, открывшейся в Париже, – павильон сразу же стал плацдармом активнейшей деятельности советских спецслужб. Теперь председателем «Союза» стал А. А. Тверитинов. Ларин и Тверитинов позже вернулись на

родину – и оба оказались репрессированными. Эфрон не возглавлял официально «Союз»; он был в нем весомой, может быть даже и главной, но теневой фигурой.

Иностранный отдел НКВД вербовал тонко и деликатно. Неизменно обставляя свои предложения «благороднейшими» целями. И – что очень важно! – не пугая прямой, а тем более чрезмерной оплатой людей того жертвенного и альтруистического склада, к которому принадлежал, скажем, Эфрон. Достаточно перечесть письма Цветаевой и мемуарные свидетельства тех, кто близко знал ее быт в тридцатые годы, чтобы удостовериться: бюджет семьи еще и в 1935 году оставался крайне напряженным, а временами и катастрофическим.



Сергей Эфрон. 1930-е гг.

Одно из первых предложений сотрудничества было сделано

Эфрону неким обаятельно мягким интеллектуалом из числа советских служащих в Париже, во время одного доверительного разговора.

Он вдруг предложил помощь в субсидировании какого-нибудь евразийского издания – о, конечно, без всякого вмешательства в дела редакции!..

Постепенность, неторопливость в плетении паутины, продуманный отбор «случайно» подворачивающихся собеседников – кто сочинял все эти спектакли-ловушки? Кто обучал лицедеев, кто разрабатывал режиссуру? Исторически несправедливо, что до сих пор нам неизвестны имена московских виртуозов, сумевших одурманить не только доверчивого Сергея Яковлевича, но и таких маститых волков политики, как Шульгин и Савинков…

Прекраснодушие Эфрона, соединенное с острым чувством вины перед родиной, незаметно вывело его на путь нравственного разрушения. Чем дальше, тем больше его способность к независимым суждениям сдавала свои позиции. Можно было бы сказать, что это лишь доказало невысокий уровень самостоятельности его суждений. И слишком легко управляемое нравственное чувство. Наверное, это так.

Но этим и интересен нам феномен Эфрона.

Мы размышляем, вглядываясь в его судьбу, не просто о муже знаменитой Марины Цветаевой.

Прослеживая перипетии его эволюции, мы думаем о многих и многих, позволивших уговорить свою совесть – и шаг за шагом отучавшихся трезво оценивать происходящее. Ступенька за ступенькой они спускались по лестнице оправдания зла – вплоть до соучастия в нем.

Внешне «Союз» был закамуфлирован под культурную организацию.

В нем и на самом деле велась разнообразнейшая культурная работа. В Латинском квартале Парижа, на улице Де Бюси, в нескольких комнатах второго этажа почти каждый вечер «возвращенцы» собирались то на очередной семинар, то на лекцию, то на занятия в хоровом кружке.

Воскресные собрания были посвящены современной советской культуре. В библиотеке «Союза» можно было подписаться – на льготных условиях! – чуть ли не на все советские издания. В читальном зале были представлены свежие номера советской журнальной периодики, в том числе и иллюстрированные.

Устраивались выставки русских художников, живших во

Франции. А также просмотры новых советских кинофильмов. Ленты Пудовкина, Довженко, братьев Васильевых, Герасимова, Эйзенштейна пользовались ошеломляющим успехом, их крутили по многу раз. Проходили здесь и шахматные турниры. Активнейшим образом работала театральная студия. Ставили «Свадьбу» Михаила Зощенко, «Мильон терзаний» Валентина Катаева, иногда к праздникам сами писали тексты и разыгрывали шуточные сцены. Однажды в веселом водевиле «Осьмнадцатая весна», текст которого к юбилею Октября сочинил Алексей Эйснер, Ариадна Эфрон исполнила роль девицы на выданье по имени Эмиграция Кирилловна, и вокруг нее клубились разного рода евразийцы, малороссы и прочие претенденты.

Поразительно: при своих крайне скромных доходах «возвращенцы» умудрялись подписываться на советские займы и собирали деньги на строительство советских самолетов-гигантов. Так, 1 июля 1935 года они перечислили в фонд постройки таких самолетов – на адрес редакции газеты «Правда» – три тысячи франков…

В одной из комнат «Союза» располагалась редакция журнала «Наш Союз». Редакторы время от времени сменялись. Несколько лет подряд вел журнал Эфрон. Сотрудничала в редакции и дочь Цветаевой – Ариадна.

Эфрон был завербован советскими спецслужбами в 1932 году – как легко догадаться, в ответ на просьбу о возвращении в Россию.

Логика его согласия обычно излагается упрощенно: бывшему белогвардейцу предложили делом искупить свою вину перед советским государством…

Но если знать Сергея Яковлевича несколько лучше – хотя бы ту статью «Эмиграция», которая ранее цитировалась, – тогда каких-то важных звеньев для понимания его перехода от одного к другому явно не хватает. Прыжок получается, а не переход.

Обозначим эту лакуну. Может быть, найдутся еще свидетельства и документы, которые заполнят ее не упрощенным, а реальным содержанием. Мифы нам больше не нужны, в том числе и советские мифы о «всеобщей продажности» за собственное благополучие.

Что знал он о спецслужбах, вступая на роковую первую ступеньку лестницы, ведущей вниз?

И знал ли вообще, на что именно согласился, куда именно вступил? Ибо похоже на то, что поначалу хватило просто согласия на сотрудничество. Хочешь вернуться – помогай советской власти! Здесь, за ее рубежами, у нее много врагов, дела хватит

всем. И вот совсем невинное, даже заманчивое задание: реорганизуй «Союз возвращения»! Объедини в нем тех, кто тоже хочет вернуться на родину, – и помоги им заслужить доверие.

Мне приходилось встречаться с бывшими «возвращенцами».

Они в один голос рассказывали, каким теплым домом стал для них «Союз» к середине тридцатых годов. В общении с единомышленниками здесь отогревались одинокие сердца заброшенных на чужбину людей. Тех, у кого ностальгия заглушала все трезвые и предостерегающие голоса. Тут царила такая дружелюбная, даже веселая атмосфера, что вечерами ноги сами вели эмигрантов на эту узенькую уютную улочку Они получали здесь наслаждение уже от самого звука русской речи. В этом пространстве, облученном доброжелательством и тоской, советские газеты и журналы в мощном содружестве с талантливыми фильмами (так наглядно свидетельствовавшими о торжестве самых справедливых идей на их родине) делали свое дело. «Чапаев», «Путевка в жизнь», «Семеро смелых», «Веселые ребята», «Цирк»… А еще были замечательные перелеты советских летчиков. А еще – построенные Днепрогэс и Магнитка… Статьи и фотографии о них в советских журналах. Кипучая плодотворная энергия – там, чувство хозяина жизни – там, в то время как здесь, на Западе, гниль и бесперспективность. И неизбывное ощущение «метека», чужака.

Правда, эмигрантская «Иллюстрированная Россия» публиковала фотографии вымерших от голода украинских деревень, статьи в других эмигрантских журналах приводили данные о заключенных, погибших на строительстве Беломорского канала. И из России шли сдержанно-кислые письма от ранее уехавших…

Но чары любви и веры броней закрывали от сомнений русских, истосковавшихся на чужбине.

Почти все эмигранты, которых удалось влить в свои ряды советским спецслужбам, вышли из «возвращенцев».

2

За полгода до страшной осени 1937 года Цветаева написала эссе «Пушкин и Пугачев». Посвящено оно теме как будто сторонней: речь идет здесь (поначалу, во всяком случае) о Пугачеве – герое пушкинской «Капитанской дочки». Но меня не перестает занимать вопрос, чем именно вызвана к жизни эта работа, почему из всего пушкинского наследия именно эта проблема оказалась выбрана для размышлений?

Сама Цветаева обозначила ее как тему «чары», застилающей сознание, «чары», заставляющей сквозь все злодейства видеть в предмете любви лишь «оборот добра». Так с детских лет она сама любила пушкинского Путачева-Вожатого, с его «загадкой злодеяния и чистого сердца».

Зло с добрым ликом и добро со злыми проявлениями – это сочетание, утверждает Цветаева, есть великая обольщающая сила, сопротивляться которой чрезвычайно трудно.

Ее ассоциации всегда придают наблюдениям объемную многозначность, тяготеют к размышлениям над закономерностями самого бытия. Но, поглядывая на дату написания эссе, трудно отделаться от впечатления, что в «Пушкине и Пугачеве» нашли свое отражение раздумья автора над тем, что происходило вокруг в середине тридцатых годов XX века.

Очень непросто с высоты сегодняшних наших знаний о кошмаре, исподтишка захватившем Страну Советов к середине тридцатых годов, понять горячий энтузиазм «левой» интеллигенции Запада, в массе своей подпавшей под советскую пропаганду. Успехи социалистического строительства ей представляются неопровержимыми; кроме того, СССР видится единственным в мире надежным оплотом борьбы с наглеющим день ото дня немецким фашизмом. Для нас теперь уже очевидно глубинное родство гитлеровского и сталинского режимов – но можно перечислить по пальцам тех, кто догадывался об этом тогда.

Гитлеровский режим был откровенно агрессивен, сталинский – медоточив и виртуозно лжив. Лицо и изнанка сталинского режима были столь противоположны, что человек обычной психики отказывался в это верить.

Подпитка странных нам сегодня иллюзий шла из жестокой реальности стран, пораженных многие годы подряд глубочайшим экономическим кризисом. То, что здесь все шло из рук вон безнадежно плохо, – было очевидно. А вот там… Смотрите их фильмы, читайте их газеты, их речи! Они выбрали себе путь, непохожий на наш европейский, – и может быть, именно там – правда?..

Когда в Москве начались известные политические судилища, процессуальные странности бросались в глаза. Чудовищны были публиковавшиеся в московских газетах коллективные письма-требования трудящихся «стереть с лица земли» «врагов народа». Но даже милюковские «Последние новости» писали, что обвинения против Каменева и Зиновьева при всех нелепостях

звучат убедительно!

Что же говорить о тех русских эмигрантах, которые жили мечтой о возвращении на свою землю!

«С. Я. совсем ушел в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет», – говорила Цветаева о муже.

Но таких, как Эфрон, множество: в приемные дни в советском посольстве на улице Гренель с середины тридцатых годов не протолкнуться! Число прошений о возвращении растет с каждым днем.

Андре Жид, горячий энтузиаст сближения с СССР, предпринял летом 1936 года поездку по Стране Советов. Вернувшись, он попытался отрезвить западных «левых», предостеречь их от идеализации процессов, происходящих в России. Однако его книга «Возвращение из СССР», написанная после поездки писателя, не возымела убедительного воздействия. «Клевета! Предательство! Он ничего не понял!» – так говорят в кругах французских интеллектуалов.

И так же – в кругу ближайших друзей Сергея Эфрона.

Собираясь вечерами вместе на улице Де Бюси, в «Союзе возвращения», они поют советские песни. Одна из самых популярных в эти годы – «Не спи, вставай, кудрявая; в цехах звеня, страна встает со славою навстречу дня…» – из кинофильма «Встречный», музыка Шостаковича.

С началом гражданской войны в Испании в 1936 году Сергей Яковлевич принимает активнейшее участие в формировании интернациональных бригад, отправлявшихся на помощь республиканцам.

Русским эмигрантам обещают, что участники войны получат право сразу же вернуться на родину. Эфрон сам рвется в Испанию, однако ему этого не разрешают. Разрешили Константину Родзевичу. (Который, кстати говоря, в Россию так и не вернулся.)

Был ли вообще Эфрон в Испании? Адъютант Мате Залка Алексей Эйснер решительно отрицал это. Приезжая из Испании на короткое время в Париж, Эйснер встречал там Эфрона, с которым был дружен. Они много говорили об испанских делах – но и только.

Существуют, однако, другие свидетельства. Так, сосед Эфрона по Ванву Кирилл Хенкин в своей книге «Охотник вверх ногами» приводит один очень уж конкретный факт: когда на вербовочном пункте в Париже, на улице Матюрен Моро, Хенкина отказались без рекомендации зачислить в ряды добровольцев,

уезжавших в Испанию, Сергей Яковлевич сумел ему быстро помочь. И тут же предложил заняться в Испании делом «поинтереснее, чем просто стрелять из окопов». По поручению Эфрона через несколько дней Хенкин встретился уже в Валенсии в восьмиэтажном отеле «Метрополь» с А А Орловым, руководителем оперативной группы НКВД в Испании. Группа была занята, в частности, выявлением «троцкистов» и «врагов народа» на испанской территории.

Уже сам факт такой связи: Эфрон – Орлов указывает на то, что в 1937 году Сергей Яковлевич был человеком, облеченным доверием сотрудников иностранной службы НКВД.

Имея это в виду, можно прислушаться и к другим, теперь уже не поддающимся проверке свидетельствам: знакомый Эфрона Ян Артис утверждал, например, что не раз встречал Сергея Яковлевича в Испании и что тот мог бывать там с заданиями столь секретными, что о них он не стал бы распространяться при встречах в Париже даже с самыми близкими друзьями. Это возможно.

Помощь Испании официально запрещена французским правительством. Вот почему Эфрон, продолжая заниматься отправкой интербригадовцев в республиканскую армию, делает это под некоторым покровом секретности – не слишком распространяясь на эти темы.

В том числе и дома.

Еще со времен увлечения Сергея Яковлевича «евразийством» Цветаева дистанцировалась от деятельности мужа. Она знает, конечно, о его работе в «Союзе возвращения»; мало того – изредка она и сама выступает там с чтением своих стихов. Знает – в общем и целом – и о его «испанских» делах. Но много лучше всё это знают дети – Ариадна и Мур. Дочь давно во всем на стороне отца, но и в воспитании подрастающего сына Марина Ивановна терпит полное фиаско. В дневнике шестнадцатилетнего Мура – признание: «Когда я жил в Париже, я был откровенным коммунистом. Я бывал на сотнях митингов, часто участвовал в демонстрациях ‹…› отца редко видно дома, приходит он поздно, усталый ‹…› поглощен испанскими делами, это вершина его деятельности, он проявляет чудеса изобретательности в делах. Мать об этом ничего не знает, живет своей жизнью…»

Тщетно Цветаева пытается препятствовать втягиванию детей в политические страсти. Гуманизм и фанатизм, считает Марина Ивановна, существуют на разных полюсах и никому еще не удалось их совместить. Она пишет об этом в одном из писем к Анне Тесковой. О том же, по существу, сказано и в ее очерке о Волошине: о всякой партийности как «вещи заведомо не

человеческой, не животной и не божественной, уничтожающей в человеке и человека, и животное, и божество».

Семейные связи не разорваны окончательно, но скреплены они теперь крайне слабо. Сергей Яковлевич месяцами живет вне дома.

Между тем задания, поручаемые ему, приобретают все более зловещий оттенок.

В 1936 году его «культурная миссия» по существу прекращается – Сергея Яковлевича бросают на борьбу с международным троцкизмом. Во всяком случае, есть подтверждение его участия в нашумевшей в ноябре 1936 года истории с похищением архивов Троцкого в Париже. Из парижского отделения Амстердамского международного института социальной истории исчезают несколько (по одной версии – пятнадцать, по другой – около сорока) пакетов, привезенных незадолго до того сыном Троцкого Седовым. Пакеты так и не удалось обнаружить – равно как и исполнителей акции.

А с конца того же 1936 года Эфрону поручено организовать слежку за Львом Седовым.

К тому, что подтвердили теперь материалы полицейских архивов Гуверовского института социальных проблем в Калифорнии, а также архивы нашего КГБ, присоединяется выразительный эпизод из воспоминаний Владимира Сосинского.

Давний и близкий знакомец семьи Эфрон, Сосинский работал во франко-славянской парижской типографии, находившейся на улице Менильмонтан. В типографии этой, в частности, набирался известный «Бюллетень оппозиции», редактируемый и издаваемый Троцким. В связи с чем туда нередко приезжал Седов, заправлявший в Париже всеми делами отца. И однажды Эфрон попросил разрешения у Сосинского – приехать в типографию тогда, когда там будет Седов, чтобы хоть издали взглянуть на сына знаменитого оппозиционера.

Просто из любопытства.

Сосинский сумел это организовать.

И Эфрон не только увидел Седова, но и попытался, изображая из себя журналиста, взять у него интервью. Однако потерпел фиаско – перед его носом закрыли дверь.

Можно догадаться, что по делам службы Сергею Яковлевичу необходимо было увидеть в лицо того, кого ему теперь предстояло «опекать». Это, впрочем, всего лишь предположение…

Наконец, еще одно. В воспоминаниях Дмитрия Сеземана упоминается поездка с матерью и отчимом в Норвегию, тоже в 1936 году. Поездка была очередным поручением секретных советских служб – с целью проверить, где именно живет Лев

Давидович.

Так вот: билеты для путешествия доставил им тот же Эфрон… Так, во всяком случае, утверждает Дмитрий Сеземан.

3

Первой из семьи вернулась на родину Ариадна. Можно уверенно предположить, что полученное ею от советских властей разрешение на въезд в СССР было, по сути своей, вознаграждением за безупречную службу отца – и аванс за будущую.

Но и сама Аля приложила к тому немало собственных усилий. К середине тридцатых годов она не только стала активисткой в «Союзе возвращения», но и сумела организовать при нем молодежную группу. И играла в ней видную – если не руководящую – роль.

К этому периоду относится сближение Ариадны с Верой Сувчинской, уже влившейся к тому времени в ряды сотрудниц советских спецслужб за границей. Сближение страшно огорчало Марину Ивановну, ибо Вера Александровна активно вовлекала в политику свою младшую подругу.

Аля незадолго до отъезда в СССР на берегу Сены

Отцовская увлеченность и энергия соединились в Ариадне с молодой восторженностью и безграничным идеализмом. «Туда, туда! Туда, где самая справедливая страна на свете!» – этот внутренний рефрен она слышала в себе все тридцатые годы. То был, конечно, пример отца, целиком вытеснивший в дочери прежний культ – матери. Тогда, раньше, звучало в душе скорее уж гётевская песенка Миньоны:

> Dahin, dahin,
> Wo die Zitronen bliihn![28]

Теперь с поэзией было покончено.

… Проводы на Северном вокзале Парижа 16 марта 1937 года

были радостными. Цветаева вчуже наблюдала веселое оживление провожающей молодежи, с грустью отмечая, что дочь не находит минутки проститься не только с ней, но и с отцом…

«Приданое» Ариадне собирал чуть не весь русский Париж. И еще долго в Москве она будет восхищать своих коллег по работе очаровательными, хотя и не чересчур аристократическими, французскими туалетами…

Из Москвы в Париж вскоре полетели восторженные письма. Ариадне нравилось на родине решительно все. Ее умиляли любые подробности: мало автомобилей – это замечательно, кучи талого снега на улицах – как интересно! Домики цвета пастилы в районе Арбата – удивительно красиво! Можно сесть на скамейку на улице, читать или просто так разглядывать прохожих, и никто не начнет приставать к тебе со всякими глупостями.

Вера Сувчинская

«Москва интересна безумно, невероятно», – пишет она друзьям. Любимейшее место в городе выбрано сразу – это Красная площадь и Кремль с красными флагами и звездами на башнях, – они так красиво светятся вечером. Идет юбилейный пушкинский год – столетие со дня смерти поэта только что отмечено, и неподалеку от мавзолея Ленина на той же Красной площади висит огромный портрет Пушкина. Ариадна утверждает, что «во всей Москве сейчас нет ни одного человека, который не знал бы Пушкина!».

Она бывает в театрах – и там замечательно, но самое замечательное, что ходят туда целые заводы и школы!

А простые рабочие завода «Каучук» сами ставят Шекспира. И как играют!

На Студии кинохроники она присутствует при озвучивании для заграницы фильма о советских полярниках. Тут тоже все прекрасно и удивительно: демократичность обстановки, отношений директора и рядовых служащих, веселье, царящее в процессе работы, энтузиазм, слаженность… Ни одного окрика – чувствуешь себя как в школе на перемене!

Между тем на дворе стоит весна 1937 года.

Когда через полгода приедет отец, он возьмет с собой Ариадну в Кисловодск, в санаторий, куда пошлют приехавшую из Франции группу эмигрантов – на отдых. Там для Али откроется новое поле восторгов. Какие дети! Какие нянечки и санитарки! Только вчера они были неграмотными, ничего в жизни не видели, кроме своего аула, – а теперь читают и обсуждают Маяковского и Горького и даже – тут уж совсем невероятная подробность! – могут рассказать, какие именно ошибки допустил Лион Фейхтвангер в своей книге «Москва, 1937 год»!

Все это мы находим в письмах Ариадны, адресованных в Париж близким ее друзьям – Соллогубам. Вряд ли так же она писала матери – но тех писем мы не знаем.

Маргарита Лебедева, Марина Цветаева, Ирина Лебедева, Аля Эфрон, Мур

И вот в августовском номере журнала «Наш Союз» за тот же 1937 год появляется письмо из СССР, подписанное только

именем: «Аля».

Письмо большое, но главная информация, которую оно несло, – не фактографическая, а эмоциональная. Это – ликующее письмо человека, опьяненного свершением самой сокровенной своей мечты. «Великая Москва, сердце великой страны! ‹…› Как я счастлива, что я здесь! И как великолепно сознание, что столько пройдено и что всё – впереди! В моих руках мой сегодняшний день, в моих руках – мое завтра, и еще много-много-много, бесконечно много радостных “завтра”…»

Несмотря на лаконизм подписи под публикацией, можно уверенно сказать, что строки написаны Ариадной Сергеевной Эфрон. К совпадению сроков и имени добавим еще то, о чем мы уже знаем: в редакции журнала в это время играет виднейшую роль Сергей Яковлевич. Как же не напечатать такую агитку…

Летом 1937 года Аля получит место в редакции выходящего в Москве (на французском языке) тонкого журнала «Ревю де Моску». «Время было то самое, – вспоминала об этих годах сама Ариадна Сергеевна через тридцать лет в письме к Павлу Антокольскому, – бедный журнальчик на мелованной бумаге подчинял свое врожденное убожество требованиям сталинской цензуры; лет мне было совсем немного и все меня за это любили, так что жила я радостно и на все грозное лишь дивилась, comme une vache regardant passer les trains»[29].

Напрасно стали бы мы искать имя Ариадны Эфрон на страницах «Ревю». А между тем она была способной журналисткой – и уже доказала это во Франции, печатаясь в разных периодических изданиях. Ее имени нет, но можно обнаружить несколько корреспонденций, снабженных рисунками узнаваемого стиля: «День отдыха в Москве», «Право на красоту», «День в магазинах»… Под ними – подпись: Алис Феррон. Это она, Аля Эфрон. Знающие – догадаются, другим – не нужно. Но почему Алис Феррон? Почему ей нельзя было печататься под собственным именем?

Можно предположить, что логика действовала тут та же, по которой и ее отцу дадут новую фамилию, как только он ступит на советскую землю…

В одном из первых же писем к матери Ариадне пришлось ее огорчить: она сообщила о смерти актрисы Софьи Голлидэй. То была подруга Марины Ивановны, горячо любимая и не заслоненная в памяти ни временем, ни разлукой.

Горькая весть из России «всколыхнула все глубины», признавалась Цветаева в письме к Тесковой. «А может быть, я просто спустилась в свой вечный колодец, где все всегда – живо».

И этим летом, едва вырвавшись с сыном из Парижа на юг, в Лакано-Осеан, она села за свой очередной реквием. «Повесть о Сонечке» стала последней ее прозой.

Она воскрешала весенние месяцы 1919 года – такого страшного в конце, что первые его месяцы теперь казались почти легкомысленными: тогда еще были надежды, были радости. Голод уже набирал силу, но обе дочери еще были рядом – и целых три весенних месяца были озарены нежной дружбой с маленькой, прелестной и своенравной актрисой Второй студии Художественного театра. Теперь, спустя восемнадцать лет, Марине Ивановне казалось, что она никого и никогда не любила в жизни так, как эту Сонечку, покорившую ее душевным богатством еще больше, чем актерским талантом.

И все лето в Лакано прошло под знаком той весны 1919 года; это были не воспоминания, а живая реальность, видимая, правда, ей одной. Даже вставая из-за стола, она продолжала слышать голос Сонечки, ее интонации, ее смех. Это помогало ее перу.

Илья Фондаминский

Когда настало время возвращения из Лакано, повесть была почти закончена и даже заочно «сосватана». Ее обещал взять для недавно возникшего журнала «Русские записки» один из его редакторов Бунаков-Фондаминский. Цветаева сблизилась с Ильей Исидоровичем (Набоков назвал его «человечнейшим из людей») в последние годы; изредка она посещала собиравшееся в его доме литературно-философское объединение «Круг».

4

С океана они вернулись 20 сентября.

Перешагнув порог своей квартиры в Ванве, Цветаева не могла и догадаться, как круто за этот последний месяц повернулось колесо ее судьбы.

Жизнь переломилась еще раз. Она приехала к разбитому корыту. Удар, который ждал ее, не мог присниться и в самом страшном сне.

Через два дня после ее приезда французские и эмигрантские газеты сообщили о таинственном исчезновении из Парижа генерала Миллера, возглавлявшего эмигрантский Общевоинский союз. У всех еще было живо в памяти бесследное исчезновение – в начале 1930 года – предшественника Миллера на том же посту – генерала Кутепова. Естественно, что сообщение встревожило всю русскую эмиграцию.

Но с момента исчезновения генерала французская полиция энергично занялась расследованием связи этого дела с другим трагическим событием, произошедшим незадолго до того.

Четвертого сентября в Швейцарии, в окрестностях Лозанны, было совершено убийство некоего иностранца, тело которого обнаружили на обочине дороги, ведущей в Шамбланд.

Довольно скоро полиции удалось установить несколько важных фактов. Именно: что убийство было совершено в автомобиле, нанятом за день до того в одной швейцарской прокатной фирме. Что фамилия убитого – то ли Германн Эберхардт, то ли Игнатий Рейсс, то ли Порецкий; что он проживал в течение последних двадцати лет в Голландии и Франции и был видным советским резидентом. Убийство выглядело как спланированная акция, осуществленная несколькими людьми. Сразу же после совершения преступления они пересекли франко-швейцарскую границу. При этом убийцы так спешили, что даже оставили в отеле свои вещи и бросили автомобиль со следами крови на сиденье прямо у

железнодорожного вокзала.

Швейцарской полиции не составило труда арестовать бывшую учительницу Ренату Штейнер, на чье имя была взята машина в прокатной фирме. Вскоре стали известны еще несколько имен. И криминальные службы Швейцарии обратились к своим французским коллегам с просьбой о немедленном розыске и задержании подозреваемых.

Семнадцатого сентября был арестован некто Димитрий Смиренский, русский эмигрант, проживавший во Франции. И Штейнер, и Смиренский назвали в своих показаниях еще несколько имен тех, кто вместе с ними выслеживал Рейсса перед его убийством. В результате последовал еще один арест – француза-фотографа Жан-Пьера Дюкоме. Все трое оказались, как выяснилось позже, «периферийными» участниками акции – в то время как главных уже переправили в безопасное место.

Одна деталь должна была крайне насторожить полицию: и Штейнер, и Смиренский, и Дюкоме оказались связаны с парижским «Союзом возвращения на родину».

Поначалу, однако, историей Рейсса французы не слишком обеспокоились. Но через полмесяца, когда Париж облетела весть об исчезновении Миллера, Сюрте насьональ, заподозрив, что нити обоих преступлений ведут в одно и то же место, предприняла более активные действия. И 22 октября 1937 года шестеро инспекторов полиции явились в дом № 12 на узенькой улочке Де Бюси, выходящей на бульвар Сен-Жермен. Здесь «Союз возвращения» арендовал семь комнат второго этажа. Инспекторы имели ордер на обыск. Они опросили всех, кто здесь оказался в это время, перерыли все печатные издания в библиотеке и изъяли множество бумаг.

На следующий день газеты сообщили, что из помещения «Союза» на грузовике был вывезен архив, включавший секретную переписку виднейших «возвращенцев», и что среди бумаг взят полный список членов общества.

Благодаря этому списку в ближайшие же часы были учинены обыски на квартирах председателя «Союза» и некоторых видных деятелей общества.

Ранним утром полиция явилась на улицу Жан-Батист Потэн, 65, в дом, где жили Эфроны.

И 24 октября «Последние новости» опубликовали интервью, взятое газетчиком у Марины Цветаевой.

В репортерском отчете можно было прочесть: «Дней 12 тому назад, – сообщила М. И. Цветаева, – мой муж, экстренно собравшись, покинул нашу квартиру в Ванве, сказав мне, что

уезжает в Испанию. С тех пор никаких известий о нем я не имею. Его советские симпатии известны мне, конечно, так же хорошо, как и всем, кто с мужем встречался. Его близкое участие во всем, что касалось испанских дел (как известно, “Союз возвращения на родину” отправил в Испанию немалое количество русских добровольцев), мне также было известно. Занимался ли он еще какой-либо деятельностью и какой именно – не знаю.

22 октября около 7 часов утра ко мне явились четыре инспектора полиции и произвели обыск, захватив в комнате мужа его бумаги и личную переписку. Затем я была приглашена в Сюрте насьональ, где в течение многих часов меня допрашивали. Ничего нового о муже я сообщить не могла».

Легко вообразить, с каким разнообразием чувств читала и обсуждала это интервью во всех уголках Парижа русская эмигрантская публика!..

Сразу же после появления интервью в Ванв примчался встревоженный Фондаминский. Позже он рассказывал друзьям, что Марина Ивановна в отчаянии повторяла ему одно и то же: «Этого не может быть». Она готова была поклясться, что Сергей Яковлевич ни при каких условиях не мог быть замешан в «кровавом деле»…

Итак, полиция опоздала: Эфрон исчез из Парижа за десять дней до того, как к нему пришли с ордером на обыск.

Просчет ли то был со стороны Сюрте насьональ?

Или, наоборот, просчитанное «опоздание»?

Ибо Сергей Яковлевич рассказывал потом близким людям, что в течение двух-трех недель до его побега за ним была учреждена откровенная слежка, – и шедший по пятам сыщик при всяком удобном случае отворачивал лацкан своего пиджака, демонстрируя полицейский значок.

То есть Эфрона предупреждали и подгоняли: пора уезжать! опасность!

Французская полиция явно не хотела новых арестов – она не хотела никаких осложнений с советским посольством в Париже…

Однако Сергей Яковлевич уже не распоряжался своей судьбой.

Он ждал указаний начальства.

В первых числах октября в полицейском участке Исси-ле-Мулино длительному допросу был подвергнут сподвижник Эфрона по службе в зарубежных советских органах НКВД Николай Клепинин. Полиция разыскивала, вообще-то говоря, не его самого, а его родственника – Вадима Кондратьева, «засвеченного» полицией в Швейцарии как раз в день убийства Рейсса, прямо около машины, брошенной убийцами. Тогда он

сумел как-то выкрутиться – и уехал во Францию. А там – прежде чем исчезнуть – спокойно навестил свою родню в Исси-ле-Мулино.

Но на следующий же день после допроса Клепинина семья Эфрон покинула свою квартиру в Ванве и переселилась к давним своим знакомым, супругам Сцепуржинским.

Спустя неделю все вместе на машине Сцепуржинского, работавшего таксистом, направились в Руан. По одной из версий, Сергей Яковлевич простился там с женой и сыном и отправился на машине дальше. По другой, прощание получилось более скомканным: посреди дороги, не доезжая до Гавра, Эфрон неожиданно выскочил из машины и пропал в придорожных кустах.

АМарина Ивановна и Мур вернулись в Париж.

Вернувшись, они нашли подарок, заботливо приготовленный Сережей – накануне Цветаевой исполнилось сорок пять лет, – и записку. Записка свидетельствует: супруги простились друг с другом с той сердечностью, какая соединяла их в лучшие годы.

«Мариночка, Мур зил, – писал Сергей Яковлевич. – Обнимаю вас тысячу раз. Мариночка – эти дни с вами самое значительное, что было у нас с вами. Вы мне столько дали, что и выразить невозможно. Подарок на рождение!!! Мурзил – помогай маме».

И вместо подписи – рисунок головы льва.

Сопоставим теперь некоторые даты.

Эфрон отбыл из Гавра на пароходе «Андрей Жданов» 10 октября 1937 года.

А прямо накануне, 9 октября, на улице Лас-Каз состоялось собрание, наделавшее много шума. Выступивший на нем Борис Прянишников познакомил пришедших с собранными им фактами и документами, касающимися деятельности НКВД СССР по разложению русской эмиграции. Собравшимся предстала впечатляющая и зловещая картина. Прянишников обвинил, в частности, в прямых связях с советской разведкой ряд функционеров Общевоинского союза. Были названы фамилии генералов Скоблина, Шатилова и некоторые другие.

Спустя несколько дней Прянишников выступил с тем же докладом еще в Виши, Балансе и Марселе.

Всю ближайшую неделю событие комментировали эмигрантские газеты. В очередной раз за эту осень русский Париж был ввергнут в шоковое состояние. Нетрудно себе представить настроение сотрудников советских учреждений, размещавшихся в столице Франции.

Итак, вот даты: 9 октября – доклад Прянишникова, 10-го –

спешный отъезд из Парижа группы русских эмигрантов, сотрудничавших с советской разведкой…

Случайное совпадение? Вряд ли.

Но почему же именно Эфрон попал в эту группу высылаемых за пределы Франции сотрудников НКВД? Почему его имя через некоторое время стало чуть не главной мишенью улюлюканья эмигрантской прессы?

Дело просто: именно его имя назвала в своих самых первых показаниях Рената Штейнер. Назвала как имя человека, который завербовал ее для неких особых поручений.

История Ренаты была достаточно характерной.

В 1934 году во время туристской поездки в Москву она вышла замуж за советского подданного, сотрудника НКВД Малиенко. Вернувшись в Париж, обратилась в советское посольство за помощью: она хотела теперь уехать к мужу навсегда. Посольство направило ее в «Союз возвращения на родину» – под надзор и в распоряжение Эфрона.

Рената Штейнер

Терпеливо и приветливо Сергей Яковлевич разъяснил ей то, о чем не раз писал редактируемый им журнал «Наш Союз», то есть: что СССР принимает в число своих граждан не всех, кто того захочет, принимает страна только тех, кто делом подтвердил свою преданность советскому режиму. Штейнер согласилась на эти условия. И в 1936 году, а также в начале 1937-го выполняла поручения Эфрона – занималась слежкой за некоей супружеской парой. И только позже узнала, что то был сын Льва Троцкого Лев

Седов с женой. А летом 1937 года ее включили в группу, разыскивавшую некоего сбежавшего предателя. Его имени ей, естественно, тоже не назвали. Но это и был Рейсс.

Только теперь, более чем полвека спустя, можно оценить реальные обстоятельства этого убийства. Вкратце они таковы.

После ареста Ягоды в апреле 1937 года в Советском Союзе начались массовые репрессии среди сотрудников НКВД. Ежов менял кадровый состав, уничтожая «шпионов Ягоды» в собственных рядах. Коснулось это и зарубежных сотрудников НКВД. Из Европы в Москву к лету 1937 года было отозвано около сорока таких сотрудников. Однако пятеро отказались вернуться, понимая, что вернутся на смерть или – в лучшем случае – в застенок.

Один из этих пятерых – о нем сейчас и идет речь – 14 июля 1937 года написал в Москву, в Центральный Комитет партии большевиков гневное письмо. Он заявлял в нем о своей решимости порвать с режимом Сталина, запятнавшим себя убийствами людей, преданных делу революции.

Настоящее имя автора письма было Игнас Порецкий, однако коллеги знали его под именем Рейсса или Людвига, – сотрудники секретных служб всегда жили и работали под условными именами. Польский коммунист, опытный разведчик, Рейсс как раз летом 1937 года получил в Париже свое последнее назначение: он стал резидентом НКВД во Французской республике. Но к этому времени он уже слишком много знал о том, что происходит в Москве, и не пожелал покорно являться туда на заведомую расправу.

«Я шел вместе с Вами, – писал Рейсс в письме, – ни шагу дальше. Наши дороги расходятся! Кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма… Близок день суда международного социализма над всеми преступлениями последних десяти лет. Ничто не будет прощено… Процесс этот состоится публично, со свидетелями, многими свидетелями, живыми и мертвыми; все они еще раз заговорят, но на сей раз скажут правду, всю правду. Они явятся все – невинно убиенные и оклеветанные, – и международное рабочее движение их реабилитирует, всех этих Каменевых и Мрачковских, Смирновых и Мураловых, Дробнисов и Серебряковых, Мдивани и Окуджава, Раковских и Нинов, всех этих “шпионов и диверсантов, агентов гестапо и саботажников”. ‹…› Я больше не могу. Я возвращаю себе свободу. Назад, к Ленину, его учению и делу…»

Игнас Рейсс

Однако письмо Рейсса, переданное им для отправки в Москву через своего коллегу Вальтера Кривицкого в парижское отделение НКВД, не было никуда отправлено, а вскрыто здесь же. Может быть потому, что как раз в эти месяцы в Париже находился крупный функционер ИНО НКВД С. М. Шпигельглас, приехавший для того, чтобы подготовить «чистку» в рядах зарубежных советских коллег.

Итак, письмо было вскрыто не в ЦК партии, а в Париже, – и с этого момента начала свою работу специальная оперативная группа НКВД. В нее вошли два кадровых террориста НКВД – Борис Афанасьев и Виктор Правдин; с некоторых пор их прикрывало гражданство Монако, паспорта они имели на имена Франсуа Росси и Шарля Мартинья. Кроме них в группу преследования вошли швейцарская подданная Рената Штейнер, француз Жан-Пьер Дюкоме, а также русские эмигранты, жившие во Франции, Димитрий Смиренский и Вадим Кондратьев.

Еще в декабре 1936 года Ежов образовал Управление специальных операций, подчиненное лично ему. «В его задачи, – пишет Александр Орлов в книге «Тайная история сталинских преступлений», – входило выполнение за рубежом личных поручений Сталина, которые не могли быть поручены кадровым энкаведистам. В состав управления входили подвижные группы, укомплектованные террористами и разъезжавшие по разным странам с целью убийства лидеров зарубежных троцкистских партий, а также сотрудников НКВД, отказавшихся вернуться на родину».

Борис Афанасьев

Расправа с Рейссом не была исключением: политические убийства за рубежом начались еще в 1926 году убийством Симона Петлюры в Париже. За полгода до Рейсса был убит в Булонском лесу «невозвращенец» Навашин; спустя несколько месяцев, в Бельгии, другой «невозвращенец» – Атабеков… Но в случае с Рейссом все было сработано слишком уж неаккуратно: впервые полиции удалось арестовать ряд участников убийства, и впервые на допросах были названы имена людей, сотрудничавших с советским посольством в Париже…

Этих-то людей и поспешили объявить главными во всей этой грязной истории.

Цветаевой пришлось давать показания дважды: сразу после обыска, 22 октября, и еще раз, спустя несколько недель, – 27 ноября 1937 года.

Особенно долгим был первый допрос – с утра до вечера. Однако протокол, который вел судебный следователь Бетейль, не слишком длинен. Цветаевой показывают фотографии разных лиц, спрашивают о служебной деятельности и политических взглядах ее мужа. Она называет его журналистом, регулярно печатающимся в журнале «Союза возвращения» – «Наш Союз». Муж ходил туда на работу ежедневно, утверждает она, несколько лет подряд. Его взгляды со времени участия в Белой армии сильно изменились: они начали «леветь» еще в Чехословакии. Мне кажется, добавляет Цветаева, что уже два-три года как муж «стал сторонником русского режима».

На предъявленных ей фотографиях она узнала Вадима Кондратьева, которого года два назад встречала в доме своих давних знакомых Клепининых, узнала также Познякова, гимназического товарища мужа, фотографировавшего несколько раз ее сына. Ее спрашивают о Смиренском, о Чистоганове, о Штейнер, о Дюкоме, – их она не знает.

Да, она слышала об убийстве Рейсса. И эта акция вызвала у них с мужем чувство возмущения, ибо, говорит Цветаева, «оба мы осуждаем насилие, с какой бы стороны оно ни исходило». Она подтверждает алиби Эфрона: с 12 августа по 12 сентября, говорит она, он безотлучно был с ней и сыном на юге Франции, в Лакано-Осеан, на вилле «Ку де Рули»…

На ноябрьском допросе ей снова предъявят фотографии и некие телеграммы – старые, от января 1937 года, для опознания почерка. Цветаева отвечает уклончиво: она не уверена, что это рука Эфрона. Но она предоставляет в распоряжение полиции несколько писем Сергея Яковлевича для графологической экспертизы.

Что это были за телеграммы?.. Скорее всего, полиция сличала почерк в них с тем, который был на телеграмме, посланной из Парижа в Лозанну в те самые дни, на имя Кондратьева.

Виктор Правдин

Одна была подписана именем «Михаил», и Марину Ивановну спрашивают, не знает ли она – кто это. Цветаева отвечает, что знает одного Михаила: это сын хозяев пансиона в Верхней Савойе, где их семья часто проводит лето. Его фамилия Штранге.

Момент поразительный! И он, может быть, наиболее убедительно свидетельствует о полной неосведомленности Цветаевой в делах мужа.

Как подтвердили теперь полицейские архивы тех лет, и Штейнер, и Смиренский, и Дюкоме говорили на допросах, что летом 1937 года их передали в подчинение некоему Михаилу, с которым они встречались, но фамилии которого не знали. Оттого и возник у полиции этот вопрос к Цветаевой, – ведь до лета все трое получали разные задания от Эфрона! Но все трое – независимо друг от друга – давали теперь описание «Михаила», совсем не подходившее к облику Сергея Яковлевича: «довольно крепкого телосложения, рост около 175 см, бритый (без бороды). Носил фетровую шляпу, выглядел человеком воспитанным, говорил по-французски и по-русски, но по-русски не чисто». Петер Хубер, работавший в 1990 году в полицейском архиве Гуверовского института социальных проблем (Калифорния, США), склоняется к мнению, что портрет характеризует именно Михаила Штранге. Этот человек, благополучно вернувшийся после окончания Второй мировой войны в Советский Союз (и мирно прослуживший тут до самой своей кончины в 1977 году), по мнению Хубера, мог быть «координатором» действий группы, образованной для розысков и убийства Рейсса. Но это всего лишь предположение, не больше.

Молодой Штранге не раз упоминался Мариной Ивановной в ее письмах 1936 года к Анатолию Штейгеру. Те письма писались как раз в замке д'Арсин в Верхней Савойе, в те дни, когда Цветаева часто виделась там с сыном хозяев пансиона. Он был симпатичен ей своей серьезностью, увлеченностью поэзией и проблемами истории; она называла его в письмах «своим умственным другом»… Разумеется, она не стала бы упоминать его имя каким бы то ни было властям, если бы знала что-либо его компрометирующее!..

Материалы следственного дела Эфрона, заведенного позже в Москве, подтвердили только то обстоятельство, что Сергей Яковлевич действительно завербовал Михаила Штранге в советскую разведку. Однако на фотографиях Штранге – человек явно низкорослый, а по свидетельству тех, кто знал его уже в советский период его жизни, русская речь его была абсолютно чистой – без малейшего акцента…

Заметим: в воспоминаниях Слонима приведены другие подробности допроса Цветаевой. Марк Львович знает их со слов самой Марины Ивановны. А она рассказывала друзьям больше всего о том, что в протоколах допросов не могло сохраниться.

Слоним пишет: «Во время допросов во французской полиции (Сюрте) она все твердила о честности мужа, о столкновении долга с любовью и цитировала наизусть не то Корнеля, не то Расина (она сама потом об этом рассказывала сперва М. Н. Лебедевой, а потом мне). Сперва чиновники думали, что она хитрит и притворяется, но, когда она принялась читать им французские переводы Пушкина и своих собственных стихотворений, они усомнились в ее психических способностях и явившимся на помощь матерым специалистам по эмигрантским делам рекомендовали ее: “эта полоумная русская” (cette folle Russe)».

Ариадне Берг Цветаева написала письмо 26 октября, то есть спустя две недели после побега Эфрона из Франции и четыре дня спустя после первого допроса в Сюрте насьональ.

«Сейчас больше писать не могу – читаем в этом письме, – потому что совершенно разбита событиями, которые тоже беда, а не вина. Скажу Вам, как сказала на допросе: C’est le plus loyal, le plus noble et le plus humain des hommes. – Mais sa bonne foi a pu etre abusee. – La mienne enlui – jamais».[30]

(Кажется, что Цветаева даже гордилась этой формулой, которую она нашла, защищая честь мужа от обвинений, представлявшихся ей чудовищным недоразумением. Перед лицом палача уже в другой стране, на своей родине, – в письме к Сталину, написанном через два года, в декабре 1939-го, – она повторит другими словами туже мысль: «Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его: 1911–1939 гг. – без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же скажут о нем и друзья и враги».)

Слов о благородстве мужа, сообщенных в письме к Берг, мы также не находим в протоколах, обнаруженных в архивах. Не зафиксированными, естественно, оказались в официальных текстах и «поэтические чтения» Марины Ивановны перед лицом парижских следователей.

Это, однако, вовсе не означает, что то и другое – плод фантазии поэта.

Благородство и бескорыстие – в этих чертах Сергея Яковлевича она была неколебимо уверена при всех разногласиях и конфликтах, какие между ними возникали. «В его лице я Рыцарству верна», – писала она еще совсем юной, в первых стихах, посвященных мужу. «Если бы Вы знали, – сказано и в ее письме 1914 года Василию Васильевичу Розанову, – какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша!» В годы Гражданской войны она называла его «белым лебедем» и воспела

в образе святого Георгия, спасающего людей от злого змия. Не разделяя евразийских увлечений Эфрона в двадцатые годы, она все же с гордостью писала Тесковой в 1929-м, что его называют «совестью евразийства». И нам сейчас не столь уж важно, так ли это было на самом деле.

5

В эмигрантских кругах, и прежде не баловавших Цветаеву своими симпатиями, естественно, не мог не возникнуть вопрос, насколько она была осведомлена о характере деятельности своего мужа. Пример любимицы «русского Парижа» популярнейшей певицы Надежды Плевицкой вызывал невыгодные для Цветаевой ассоциации. Дело в том, что Плевицкая – жена генерала Скоблина, сыгравшего роль пособника в похищении Миллера, на допросах в полиции упорно пыталась обеспечить своему мужу алиби. Вскоре, однако, со всей очевидностью обнаружилась ложность ее показаний. Плевицкая была арестована и в 1938 году приговорена к двадцати годам каторжных работ.

Конечно, Цветаева знала то, чего не знать было нельзя: об активной работе мужа в «Союзе возвращения», о контактах его с советским посольством, через которое шли все хлопоты об отъездах на родину. Знала о его участии в испанских делах. Но куда он уезжал, с кем встречался – это было его дело. И можно быть уверенным, что Эфрон, превосходно знавший жену, ни о чем большем с ней и не пытался откровенничать. Ему наверняка памятна была та яростная вспышка гнева, с какой обрушилась Цветаева на «правого» евразийца Н. Н. Алексеева, когда тот, еще в 1929 году, обвинил Эфрона в связях с чекистами. Он знал и о возмущенной реакции жены на похищение генерала Кутепова в 1930 году. («А у нас украли Кутепова, – сообщала она тогда в письме Ломоносовой. – По мне – убили».)

Потрясение, испытанное Цветаевой, когда она узнала об обвинениях, выдвинутых против ее мужа, отмечено всеми мемуаристами.

Марк Слоним пишет: «Все, что ей пришлось пережить этой страшной осенью, надломило М. И., что-то в ней надорвалось. Когда я встретил ее в октябре у Лебедевых, на ней лица не было, я был поражен, как она сразу постарела и ссохлась. Я обнял ее, и она вдруг заплакала, тихо и молча, я в первый раз видел ее плачущей. ‹…› Меня потрясли и ее слезы, и отсутствие жалоб на судьбу, и какая-то безнадежная уверенность, что бороться ни к чему и надо принять неизбежное. Я помню, как просто и

обыденно прозвучали ее слова: “Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура; Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна”».

Она ошибалась в этом последнем утверждении, продиктованном чувством отчаяния и покинутости.

Спустя всего два года она уже стояла в очередях к тюремному окошку, где принимали передачи для заключенных; добывала деньги для этих передач – переводами и распродажей вещей. Готовила теплую одежду на этап, писала прошение на имя Берии, составляла текст письма и телеграммы Сталину, отправляла ободряющие письма дочери в лагерь…

Между тем имя Эфрона продолжало мелькать на страницах «Последних новостей», «Возрождения», «Иллюстрированной России».

Его связь с советским посольством в Париже была широко известна в эмигрантских кругах. После отъезда дочери в СССР Сергей Яковлевич ее не скрывал Но теперь показаниями арестованных он оказался скомпрометированным настолько, что уже не представлял интереса для советских спецслужб в Париже. Он не только не мог быть теперь полезен им во Франции, но становился потенциально опасен; вызов Клепинина в префектуру явно устрашил сотрудников НКВД в парижском посольстве. Ибо и Клепинин и Эфрон знали многое и многих. Потому-то оба (а с ними и еще несколько секретных сотрудников из числа эмигрантов) и получили приказ начальства: немедленно отправляться в Гавр, сесть там на советский пароход – и навсегда покинуть Францию.

Внезапное исчезновение Эфрона встречено в эмигрантской прессе однозначно: сбежал – значит, виновен!

«Ныне есть все основания полагать, – уверенно писала газета «Возрождение» в номере от 29 октября 1937 года, – что между ним (Эфроном. – И. К.) и Скоблиным (обвинявшимся в пособничестве по делу похищения генерала Миллера. – И. К.) существовала определенная связь и что Эфрон по поручению ГПУ принимал участие в “мерах по ликвидации нежелательных элементов”».

Это были «соображения», не факты. Но неискоренимая людская любовь к немедленным ответам и немедленно найденным виновникам обеспечила результат: версия была тут же принята как неопровержимая.

«Побег» Эфрона вполне устраивал и французскую полицию. Дело, которым она и так занималась крайне неохотно, не желая портить отношения с Советским Союзом, теперь могло считаться законченным, – во всяком случае, на стадии поисков виновных.

Можно было утверждать, что убийцы обнаружены, но – вот незадача! – скрылись.

На самом деле подлинные убийцы скрылись почти сразу после совершения убийства.

Уже в 1996 году важную подробность сообщила мне дочь советского резидента в Риме (в тридцатые годы) Инна Рубина. Вместе с отцом она возвращалась в Советский Союз пароходом, уходившим из того же Гавра, – то было самое начало сентября 1937 года. Среди пассажиров она узнала и хорошо запомнила двоих людей, которых не раз встречала раньше у отца: С. М. Шпигельгласа и Гертруду Шильдбах. Участие их в убийстве Рейсса теперь уже неоднократно подтверждено. (Шильдбах находилась непосредственно в той машине, где был застрелен Рейсс.) Легко предположить, что тем же пароходом в СССР возвращались и другие непосредственные участники «лозаннской акции», «зубры» НКВД – Борис Афанасьев и Виктор Правдин. Они были вывезены из опасной зоны буквально через два-три дня после совершения убийства, – а не через месяц с лишним, как Эфрон!

Сергей Шпигельглас

Прошло не слишком много времени, и свою лепту внесла в дезинформационную кампанию вдова убитого: она написала о событиях в Лозанне так, будто уже тогда отчетливо видела все нити и пружины случившейся трагедии и знала в лицо и по именам тех, кто принимал в этом участие… В свое время Алексей

Эйснер предостерегал меня от доверия к книге Елизаветы Порецкой, теперь переведенной на русский: слишком многое там сказано категорично и безапелляционно, но – с чужих слов, по чужим предположениям!

Трое арестованных по «делу Рейсса»: Штейнер, Смиренский и Дюкоме – вовсе не держались на допросах стоически и рассказали многое, но все трое решительно отрицали участие Эфрона в «акции». Однако эти их утверждения не просочились на страницы взбудораженной прессы. Зато просочилось другое: именно то, что все трое были до лета 1937 года связаны с Эфроном и время от времени выполняли его задания.

Непричастность Эфрона к убийству в Лозанне подтвердила и вышедшая, сначала на Западе, а затем и у нас, книга воспоминаний бывшего начальника Четвертого управления НКВД Павла Судоплатова. В этой книге (Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля. М., 1996. С. 56–57) автор пишет: «Ликвидация Рейсса была выполнена двумя агентами: болгарином (нашим нелегалом) Афанасьевым и его шурином Правдиным в Швейцарии». И далее: «Слухи о том, что Сергей Эфрон, муж знаменитой русской поэтессы Марины Цветаевой, участвовал в передаче Рейсса в руки НКВД, являются чистым вымыслом. Эфрон, работавший на НКВД в Париже, не располагал никакими сведениями о местонахождении Рейсса».

Судоплатов знал прямых убийц лично. Он встретился с ними в Москве сразу же после свершения «акции». Афанасьев, по сведениям Судоплатова, прослужил в разведке до 1953 года, а Правдин был устроен в Издательство иностранной литературы, где и проработал до своей смерти в 1970 году.

Подверстаем сюда же важный документ: это «Справка», хранящаяся в архиве НКВД в следственном деле Эфрона. Она составлена в связи с запросом Ариадны Эфрон уже в конце пятидесятых годов относительно реабилитации отца и подготовлена на материале секретного архива КГБ. Среди прочего в ней говорится о том, что во Франции Эфрон «использовался как групповод и наводчик-вербовщик»; что он участвовал в евразийском движении; что он вступил в масонскую ложу «Гамаюн» – по заданию советской разведки. Скрупулезно зафиксирована здесь даже просьба Эфрона об отправке его в сражающуюся Испанию – отклоненная начальством. Особенно важно то, что «Справка» составлена для служебного пользования работников НКВД – и в ней нет ни слова, ни намека на участие Эфрона в лозаннском убийстве!..

На сегодняшний день достаточно известно, что реальное руководство «акцией» осуществлялось не мелкими

эмигрантскими «шестерками», а лицами самого высокого ранга. Главной фигурой был С. М. Шпигельглас. Судоплатов прямо называет его «куратором акции». По указаниям Шпигельгласа были приняты главные решения, а также сформирована группа преследования исчезнувшего резидента. Помог ли в этом формировании Сергей Эфрон? Только в том смысле, что в составе «вспомогательной» группы были люди, в разное время им завербованные: Кондратьев, Смиренский, Штейнер, Дюкоме. Вот это – реальный факт.

Почти в самый канун отъезда Сергей Яковлевич встретился в Париже со своей приятельницей Верой Трейл (в первом замужестве Сувчинской), и та запомнила его удрученные слова: «Меня запутали в грязное дело…» Между тем Вере Трейл Эфрон, несомненно, доверял: он давно и хорошо знал ее; кроме того, она к тому времени успела уже достаточно подтвердить свою верность советским спецслужбам.

Еще одна сторона трагических событий тех месяцев заслуживает нашего внимания.

Что знали тогда, что могли знать о самом Рейссе тот же Сергей Эфрон, Николай Клепинин, Рената Штейнер? Лишь нечто самое общее, вроде: человек, опасный для Страны Советов. Никто из них ничего не знал даже о факте существования «Письма в ЦК партии», написанного Рейссом. Тем более о содержании этого письма. Максимум, что они могли знать до 4 сентября: высокопоставленный советский разведчик оказался низким предателем; между тем в его распоряжении – секретная информация государственной важности. Она не должна попасть в руки врагов Советской страны. И значит – преступника необходимо «обезвредить».

Рената Штейнер признавалась в суде – и ей можно верить, – что она не имела ни малейшего представления о том, как будет использован тот автомобиль, который ей было поручено взять на свое имя в прокатной фирме Берна. Точно так же, как ранее она не имела сведений о господине, за которым ей было поручено следить. Ей сказали, что это – спекулянт оружием и что он снабжает этим оружием Франко. Между тем на самом деле то был сын Троцкого – Седов. Неужто и Эфрон считал Седова пособником Франко?..

Вадим Кондратьев не убил Седова в Антибе только по случайному стечению обстоятельств. Но и он, хорошо зная свою предполагаемую жертву в лицо, понятия не имел, кто это на самом деле!

Известно, что необходимость похищения генерала Миллера в сентябре 1937 года также объяснялась участникам похищения

тем, что генерал будто бы являлся главой германо-фашистской разведки во Франции…

Выданы лживые сведения, придуманы «благородные» мотивы. Задание очерчено – выполняйте! Обычная практика засекреченных организаций, где все держится на слепом доверии исполнителей к руководству. Не так же ли – соответственно принятым правилам – поступал и Эфрон с теми, кто ему доверился?

Обо всем этом закулисье обманутые расскажут спустя два года – в лубянских застенках. Расскажут тем, кто уже мало интересовался истиной и плохо себе представлял, какие правила действовали в их собственном ведомстве.

Дотошные газетчики вспомнили в те дни о старых связях Эфрона и разыскали Петра Петровича Сувчинского. Его попросили прокомментировать случившееся.

Похоже, что Сувчинский перепутался насмерть. Иначе трудно объяснить то сгущение красок, на которое он не пожалел усилий, характеризуя своего давнего коллегу по журналу «Вёрсты» и по газете «Евразия». Прежде всего Петр Петрович поспешил сообщить, что с августа 1929 года, когда вышел последний номер евразийского еженедельника, он не встречался с Эфроном и не сотрудничал с ним ни в какой сфере. Как и вообще с евразийцами – ни с правыми, ни с левыми. Ибо разочаровался в плодотворности самого движения. Об Эфроне его отзыв уничижителен до крайности. Над ним, говорит Сувчинский, всегда смеялись – из-за сочетания в нем глупости с патетикой, и называли его верблюдом, потому что он взваливал на себя все дела без разбору.

Он формулирует и еще хлёстче: Эфрон – злобный заморыш, темный делец, способный на все, отвратительное насекомое. Эфрон говорил, сообщает Петр Петрович, что с русской революцией надо сливаться – и возвращаться в СССР. Дескать, если даже в Советской России нам не все нравится, так ведь и реформы Петра I нравились не всем… Надо считаться с реальностью, с фактами. И еще он будто бы говорил о деятелях эмиграции: «Многие элементы здесь тормозят это слияние. Вот с ними надо бороться, надо устранять “зубров” с руководящих эмигрантских постов и заменять их своими людьми. Это одна из целей нашей работы…»

В этой злой характеристике – куча неувязок.

Если Петр Петрович и Сергей Яковлевич не встречались в последние восемь лет – откуда такая готовность характеризовать его сегодняшние взгляды? Еще интереснее другое: позицию

относительно Советской России, которую Сувчинский приписывает Эфрону, он сам занимал в те не столь уж отдаленные годы! Достаточно перечесть его собственные статьи в «Евразии», чтобы убедиться в этом…

Неужто попалась на глаза Цветаевой эта злосчастная страница «Возрождения»? Каково было Марине Ивановне прочесть такое? Ведь эти характеристики принадлежали человеку, некогда столь ее восхищавшему!

Но вот действительно важное, чтобы не сказать сенсационное, дополнение к характеристике Эфрона. Благодаря свидетельству Ольги Богенгардт в документальном телефильме Никиты Михалкова «Русский выбор» (2005 г.) стало известно о том, что Сергей Яковлевич сумел предотвратить предполагавшееся похищение генерала Деникина в сентябре 1937 года. Зная о том, что давний его друг В. А. Богенгардт (отец Ольги) пользуется доверием А. И. Деникина, Эфрон передал через него для бывшего главнокомандующего Белой армией важное предупреждение: ни в коем случае не садиться 21 сентября в автомобиль, кем бы он ни был ему предложен. Деникин послушался совета – и, несмотря на настойчивые уговоры своего коллеги Скоблина, отказался сесть вместе с ним в машину, которая, как утверждал Скоблин, отвезет генерала на юбилей Корниловского полка. Скоблин настаивал, Деникин был тверд. Тем самым запланированное похищение провалилось. И как раз на следующий день с помощью того же Скоблина, состоявшего тайным советским агентом, и именно в автомобиле, был похищен генерал Е. К. Миллер. Об этом сюжете, значимость которого трудно переоценить, в телефильме Михалкова рассказала сама Ольга Богенгардт, а также Марина Деникина-Грей, дочь генерала.

Глава 9
Последний Париж

1

После бегства Сергея Яковлевича из Франции у Цветаевой уже не оставалось возможности сохранять привычную для нее независимую позицию.

Прошение, которого в течение семи лет не мог добиться от жены Эфрон – о возвращении в Россию, – она подала сразу же, как только он уехал. Для этого ей не понадобилось даже посещать особняк на улице Гренель: все сделалось через доверенных лиц. И одним из них оказался человек, которого она давно знала как приятеля мужа, – то был Владислав Ипполитович Покровский, живший неподалеку – в Исси-ле-Мулино. Похоже, что в советском полпредстве (то бишь в его спецслужбах) он пользовался доверием: именно через Покровского Марина Ивановна получала отныне все важные распоряжения.

По неписаному закону притяжения беды к беде через неделю после обыска и допроса Цветаева узнала о том, что умер ее давний друг князь Волконский. Умер в далекой Америке, в городе Ричмонде, штат Вирджиния, куда судьба занесла его в середине тридцатых годов.

Волконский, с которым она подружилась еще в революционной Москве, был для нее образцом «уходящей расы», того высокого благородства, которое с каждым днем и часом исчезало из реальной жизни. Ее восхищало в нем все: от душевных движений – до легкой молодой походки и грации жестов. Но особенно – великолепное ироническое равнодушие этого князя ко всем житейским лишениям и неустройствам.

В одном из писем к Марии Цетлиной Цветаева назвала Сергея Михайловича «из близких близким, из любимых любимым». «Человек тончайшего ума и обаятельнейшего обхождения. Неизбывная творческая природа. Пленительный собеседник». И еще – там же: «Человек, которому я обязана, может быть, лучшими часами своей жизни вообще, а уж в Советской России – и говорить нечего!»

Во Франции они встречались нечасто, но каждая встреча была настоящим праздником для обоих Он приезжал навестить ее и в Мёдон, и в Кламар, и едва он перешагивал порог, все их горести

отступали куда-то в разряд несущественных.

Сергей Михайлович был редкостным собеседником. Они понимали друг друга с полуслова, и пока он в передней еще только снимал пальто и, разматывая длинный шарф, произносил первую фразу, оба будто попадали в какой-то особый, невидимый другим людям пласт реальности, где не было места пустякам.

В «русском Париже» Волконский стал известной фигурой, его театральные обозрения и рецензии регулярно печатали в газетах, две книги его воспоминаний получили в свое время хорошую прессу.

И потому 31 октября 1937 года на панихиде в католической церкви Святой Троицы собралось много русских, пришедших почтить его память.

Берберова в книге «Курсив мой» вспоминает, как одиноко и отчужденно среди других стояла Цветаева, сложив руки на груди. Ее обходили как чумную – но вряд ли она сама это замечала…

Этой осенью ее едва можно было узнать. Лицо ее потемнело – будто обуглилось, в глазах появилось холодно-отчужденное выражение, не исчезавшее даже тогда, когда она была в кругу близких друзей.

Настоящие друзья оставались с ней и грели сердце нежной заботой. Еще в середине ноября прислала свой подарок Марине Ивановне Ариадна Берг: цветущее маленькое деревце – азалию. «Откуда Вы знаете, что я больше всех цветов на свете люблю деревья: цветущее деревце?» – откликалась растроганная Цветаева.

Мучительные споры с мужем – возвращаться в Россию или нет – остались позади. И, может быть, вмешательство внешних сил, как ни парадоксально, принесло Цветаевой своего рода облегчение. Ибо не требовалось больше ее согласия или несогласия: муж фактически сдал ее на руки своим «покровителям» из советского полпредства. Выбора у нее теперь не было.

Она наивно считает – как некогда считал и Сергей Яковлевич, подав еще в 1931 году свое прошение во ВЦИК, – что в ее распоряжении остались теперь считаные месяцы до отъезда и надо спешить со сборами.

«Сборы» же, в ее глазах, – это прежде всего литературный архив: ее рукописи, беловые и черновые тетради, записные книжки, ворох оттисков… И прорва писем.

Что можно взять с собой?

Что не выдержит советского досмотра?

Где, у кого сохранить то, что придется оставить за границей?

Большой кухонный стол в ванвской квартире расчищен от всего кухонного, и именно за ним – в окружении бумаг и журнальных страниц – Марина Ивановна проводит долгие часы.

Ариадна Берг

Она не просто просматривала, но перечитывала каждую страничку. Иногда правила, редактировала, дописывала. Как перед смертью.

Собирала публикации в журналах: аккуратно надрезала ниточки, сшивавшие номер, и вынимала свой текст. Если чего-то не находила в Париже, просила друзей из Чехословакии прислать недостающее. Перечитывала – и решала, что можно взять с собой в Россию, а что нельзя. «Тяжелое это занятие, – писала она одному из своих друзей, – строка за строкой – жизнь шестнадцати лет, ибо проглядываю – всё. (Жгу – тоже пудами!)»

Когда Слоним увиделся с Мариной Ивановной в начале 1938 года, она уже владела собой. Лицо ее было по-прежнему осунувшимся, измученным, но – никаких внешних следов растерянности: она была собранна. Она снова обрела свой внутренний стержень.

Поначалу ей еще называют какие-то сроки отъезда. В ноябре 1937-го она сообщает Ариадне Берг, что останется во Франции до весны следующего года. Позже назовет как срок отъезда 1 мая. Но проходит май, проходит лето 1938 года – ясности не прибавляется.

Впрочем, дотошная работа с собственным архивом тоже никакие может завершиться, и это смягчает дискомфорт подвешенного состояния.

Ближайшие друзья не отшатываются, они остаются ее друзьями. «Хожу ко всем, и все ко мне ходят», – сообщает она не без гордости в одном из писем. Встречи теперь окрашены даже особенной теплотой, ибо идут под знаком близкой разлуки.

Но долго прощаться утомительно.

Разлука откладывается и оттягивается – и ряды выражающих преданность редеют. Остаются самые верные.

В Париже это семья Лебедевых, особенно Маргарита Николаевна, незаурядно яркая, умная, волевая женщина. Как, впрочем, почти все близкие подруги Марины Ивановны: Андреева, Извольская, Чернова-Колбасина. Из Праги приезжает в Париж поэтесса Алла Воловина, сестра Анатолия Штейгера, с которой именно теперь Марина Ивановна неожиданно сближается; из Бельгии часто пишет сердечные письма Ариадна Берг. Сцепуржинские, так преданно себя проявившие в тяжкие дни октябрьских испытаний 1937 года, тоже остаются в ближайшем окружении.

По свидетельству Елены Извольской, сердечную и деятельную заботу о Цветаевой как раз в это время проявлял Николай Александрович Бердяев. Извольская пишет: «Он относился к Марине Ивановне с глубоким состраданием, оберегал ее как больную…»

На литературных вечерах Цветаева теперь не бывает и своих вечеров уже не затевает. Но журнал «Русские записки», принявший к печати ее «Повесть о Сонечке», настолько хорошо оплатил публикацию, что Марина Ивановна сумела залатать множество дыр в своем бюджете. И даже заказала себе в Бельгии – через Ариадну Берг – сшить по мерке теплое пальто. Теплое и прочное – как она пишет в письме: «на долгие годы» в холодных краях.

Последней публикацией Цветаевой в «Современных записках» стал цикл «Стихи сироте» – в № 66 за 1938 год.

То были блистательные стихи поэта, не утратившего ни силы, ни щедрости чувств и душевного богатства. Созданные в августе-сентябре 1936 года на волне сердечной сосредоточенности на больном поэте Анатолии Штейгере, они прозвучали теперь, в 1938-м, иначе.

На льдине –
Любимый,
На мине –

Любимый,

На льдине, в Гвиане, в Геенне – любимый.
В коросте – желанный,
С погоста – желанный:

Будь гостем! – лишь зубы да кости – желанный!
Тоской подколенной
До тьмы провале́нной
Последнею схваткою чрева – жаленный.

И нет такой ямы, и нет такой бездны –
Любимый! желанный! жаленный! болезный!

Она представала напоследок эмигрантскому читателю во всем своем мастерстве, когда красноречие рождается в глубине сердца, а не в усилиях ума, когда каждый эпитет, каждый образ и сама интонация свидетельствуют: стихи не сочинены, а рождены.

В цикле воплощен апофеоз нежности, в сто первый раз воплощено кредо высокой любви: свободной – и предоставляющей свободу; забывающей о себе – и готовой к боли и жертве.

Маргарита Лебедева

В 1938 году, когда в Париже заканчивался процесс над Надеждой Плевицкой, читатель волен был воспринимать эти стихи как клятву верности Марины Цветаевой ее мужу – обвиненному во всех смертных грехах и изгнанному в край ледяной стужи, где слишком часто люди исчезали бесследно.

Никаких других публикаций она уже не пыталась устроить. Может быть, что-то редакции и взяли бы, но ей самой теперь приходилось оглядываться… Она словно предвидела: там и это будет расценено как сотрудничество с враждебными силами.

Время от времени Покровский звал Марину Ивановну к себе в гости и передавал ей деньги – зарплату мужа. И она брала, конечно. Отъезд все откладывался, и на что же им с Муром теперь было жить?

В июне 1938 года еженедельник «Новая Россия» публикует в двух номерах статью Зензинова «Мокрое дело в Лозанне». В июле появился огромный «подвал» в «Последних новостях» под названием «Агенты Ежова за границей». Имя Эфрона постоянно фигурировало в этих публикациях…

Через пять дней после выхода в свет номера журнала с окончанием статьи Зензинова Цветаева перечитывала присланный ей из Праги старый номер журнала «Воля России» за 1927 год. Она читала там свою прозу «Октябрь в вагоне», составленную из дневниковых записей осени 1917 года. События двадцатилетней давности вставали в ее памяти. Тогда она возвращалась из Крыма в Москву в мучительной тревоге за судьбу Сергея Яковлевича, участвовавшего в московских боях. Прочтя в газете, купленной на одной из южных станций, сообщение о девяти тысячах убитых в Москве, она принялась писать в свою тетрадку отчаянное письмо к мужу. Ей казалось, что, пока она говорит с ним, пишет ему, – он будет жив. Ничего не зная достоверно, она уверена была, что он не остался в стороне от событий. «Главное, главное, главное – Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь – всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что “я” для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала! Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых – я буду ходить за Вами как собака».

Отчеркнув теперь эти абзацы, Цветаева вписала рядом, на полях:

«Вот и пойду как собака! – 17.VI.1938 г.»

Помету можно прочесть по-разному. Как подтверждение верности обету, данному в страшные часы октябрьских событий в Москве. И как подневольную обреченность на гибель…

2

В середине лета 1938 года заканчивался очередной срок оплаченного терма за квартиру в Ванве. И Цветаева решила не продлевать договор. Несмотря на все проволочки, ей казалось, что не сегодня, так завтра они уедут совсем.

Ванв стал последним парижским предместьем, в котором Цветаевой довелось жить. За четыре года, которые здесь прошли, она успела полюбить тихую улочку, каштан под окнами, куст бузины во дворе. Но зимы тут были тяжелы: стены старого дома совсем не защищали от холода, топка печей доводила до отчаяния. Теперь, когда все равно уже нельзя было загадывать долгую жизнь во Франции, Марина Ивановна решилась на оставшийся срок переехать в маленькую гостиничку неподалеку – в Исси-ле-Мулино. (Это была особая гостиничка: вторая квартира Владислава Покровского, заведенная, возможно, для таких вот экстренных нужд секретной службы советского посольства в Париже.) Знала ли об этом Марина Ивановна? Да и сама ли она приняла это решение? Или ее переездами уже распоряжались другие люди? Похоже на то. Но в июле мать и сын покинули дом на улице Жан-Батист Потэн. Вещей у семьи к тому времени поубавилось: Цветаева энергично распродавала книги и мебель. И все же коробок набралось достаточно: одна семейная библиотека занимала много места.

Помог переехать молодой красавец Митрофан Айканов – сын соседей, русских эмигрантов из Таганрога, живших в том же доме этажом ниже. Он раздобыл у своего товарища старенький фордик – и переезд совершился.

С семьей Айкановых Цветаева дружила: и с восьмидесятилетней изящной среброголовой старушкой, помнящей еще Аделину Патти, и с ее дочерью, прекрасно игравшей на фортепиано, и с высоким стройным внуком. Митрофан работал грузчиком в какой-то фирме, а еще занимался ремонтом автомашин. Эти прозаические занятия не мешали ему обожать поэзию и потихоньку пописывать стихи. На Марину Ивановну он смотрел с благоговением. Иногда они совершали небольшие прогулки и тогда увлеченно говорили о стихах и поэтах. Полвека спустя Митрофан Михайлович вспомнил, как однажды он что-то сказал о поэзии Анны Ахматовой и Марина

Ивановна откликнулась: «Ахматова – все-таки поэтесса, а я – поэт…»

Его благоговение и его молодость помешали развитию их дружбы…

Айканов прожил долгую жизнь; я успела с ним встретиться в 1991 году. Он был и в старости замечательно красив, благородной, тонкой восточной красотой.

Разыскала я его не случайно. Режиссер одного из документальных фильмов о Цветаевой, снимавшегося в Париже, Дмитрий Демин незадолго перед тем рассказал мне о своей неожиданной встрече с Айкановым в Ванве. Никто и не предполагал тогда, что в этом доме еще живет кто-нибудь, кто знал Цветаеву. Демин с Айкановым разговорился, и тот упомянул, в частности, одну уж очень странную подробность.

Мне захотелось ее проверить.

В подробность верилось с трудом.

Оказавшись в Париже, я позвонила Митрофану Михайловичу. Он сразу согласился встретиться и встречу назначил в маленьком кафе напротив того самого дома, где жила Цветаева и где до сих пор жил он сам. В указанное время я приехала в Ванв, легко нашла дом и кафе, и мы встретились.

Та подробность была слишком «горячей», так что я приготовилась подойти к ней постепенно. И для начала расспрашивала своего собеседника о его биографии, о семье и отношениях с Цветаевой и Эфроном. Айканов отвечал охотно, и – как это всегда бывает – с изобильным множеством деталей, к делу не идущих. Однако опыт таких бесед уже научил меня, что лишних подробностей не бывает: они все нужны, ибо характеризуют «информатора». Надо сначала постараться понять его самого – чтобы оценить затем ту информацию, которую он может дать.

Итак, я слушала рассказ Айканова о революции и Гражданской войне на Юге России. Он был подростком тогда, но его характеристики были непрощающе резкими: он увидел и запомнил революцию как торжество злобы и алчности. Потом он рассказал, как однажды отвез Марину Ивановну на машине в кафе на площадь Одеон – и остался там, чтобы потом отвезти ее обратно. По его словам, они сидели тогда за столиком втроем – третьим был какой-то поэт, ненадолго приехавший из Москвы, очень знаменитый. Фамилия поэта начисто вылетела в этот вечер из головы Митрофана Михайловича, и он не мог вспомнить ее, как ни старался. И мне не приходили в голову возможные в этой ситуации имена.

Но на следующий день я спросила его по телефону: не был ли

это Борис Пастернак? Если это все происходило, скажем, летом 1935 года, когда в Париже проходил Антифашистский конгресс деятелей культуры. Айканов сразу схватился за это имя: да, да, конечно, я же сказал, что это был знаменитый поэт!

Но поэт Айканову не понравился: он хвалил жизнь в Советском Союзе и уговаривал Цветаеву вернуться на родину. Мало похоже на Пастернака… Не был ли это уж скорее Николай Тихонов, которому Цветаева написала летом того же 1935-го такое теплое дружеское письмо? Но знаменитым для Айканова Тихонов никак не мог быть.

Мы еще какое-то время проговорили с Митрофаном Михайловичем, как вдруг мой собеседник сам заговорил – о том самом:

– Случился однажды один странный эпизод. Я вам очень хочу о нем рассказать.

И Айканов повторил почти слово в слово то, что я уже слышала от московского режиссера.

Эпизод в самом деле странный – потому и вызывает сомнения; толкового объяснения ему я найти не могу. Но перескажу – потому что ни болтуном, ни «сочинителем» Айканов мне ни с какой стороны не показался.

Однажды, незадолго до того, как Цветаева переехала с сыном в Исси-ле-Мулино, Антонина Георгиевна, мать Митрофана, испекла пирог и, выйдя на внутреннюю лесенку дома, позвала Марину Ивановну. Они нередко приглашали друг друга на какое-нибудь лакомство – был предлог перемолвиться. Кричать громко, чтобы соседи сверху услышали, не требовалось, и Антонина Георгиевна удивилась, когда на этот раз сверху не последовало ответа, – она знала, что Марина Ивановна у себя. Позвала еще раз – снова никто не ответил. И тогда она поднялась наверх и пошла к комнате Цветаевой – комната была в конце коридора. Она почти подошла к ней вплотную, когда услышала энергичные и – как ей показалось – грубовато-требовательные голоса. Она толкнула дверь и переступила порог.

Между двух окон торцом к стене стоял письменный стол Марины Ивановны. По одну его сторону сидела она сама, а по другую – визави – двое незнакомых мужчин. Один из них говорил что-то настойчивым голосом, но что именно – Антонина Георгиевна не успела расслышать.

Ее потрясла эта неожиданная картина.

Потрясла прежде всего потому, что посреди письменного стола лежал пистолет.

Антонина Георгиевна повернулась, не сказав ни слова, вышла в коридор и спустилась к себе. Митрофан был один в кухне, и

мать рассказала сыну увиденное.

Что это могло быть? Совершенно непонятно. Быть может, то был как раз день обыска 22 октября? Никакой даты, даже примерной, Айканов назвать не мог. Было ли это, когда Эфрон уже уехал? И это неизвестно, потому что мой информатор вообще очень редко встречался с Сергеем Яковлевичем, так что у него сложилось впечатление, что муж Цветаевой подолгу здесь не жил…

Митрофан Михайлович никакого объяснения не предлагал, он только хотел, чтобы эпизод стал мне известен. Он не помнил и не хотел придумывать, говорила ли потом его мать с Мариной Ивановной о случившемся, – может быть, да, а может быть, нет; во всяком случае, он сам больше ничего об этом не знает…

Вот, собственно, и все.

Какой смысл следует вложить в эту сцену – ответить я затрудняюсь. На одном настаиваю: Айканов эпизода не выдумал. Слушала я его в тот вечер внимательно, и весь облик этого человека внушил мне безусловное доверие. Да и какая выгода была ему все это придумывать?

3

На последние месяцы последнего лета во Франции они уехали в Див-сюр-Мэр, департамент Кальвадос, на западное побережье. Здесь была суровая и прекрасная природа – дюны, скалы, ровная линия морского побережья.

На море мать и сын ходят редко: слишком много народу и веселья на пляже, а вода холодная. Зато совершают, по обыкновению, дальние прогулки по холмам. Мур катается на велосипеде, а Марина Ивановна радуется, что он здесь меньше увлечен чтением газет…

Удалось ли тут Цветаевой хотя бы на время сбросить душевный гнет или ослабить его? Запасы могучей витальности ее натуры даже теперь были далеки от оскудения. Юрию Иваску весной 1935 года она писала: «Меня хватит еще на сто пятьдесят миллионов жизней!» Ее хватило с тех пор, во всяком случае, еще на шесть с лишним лет.

И каких!

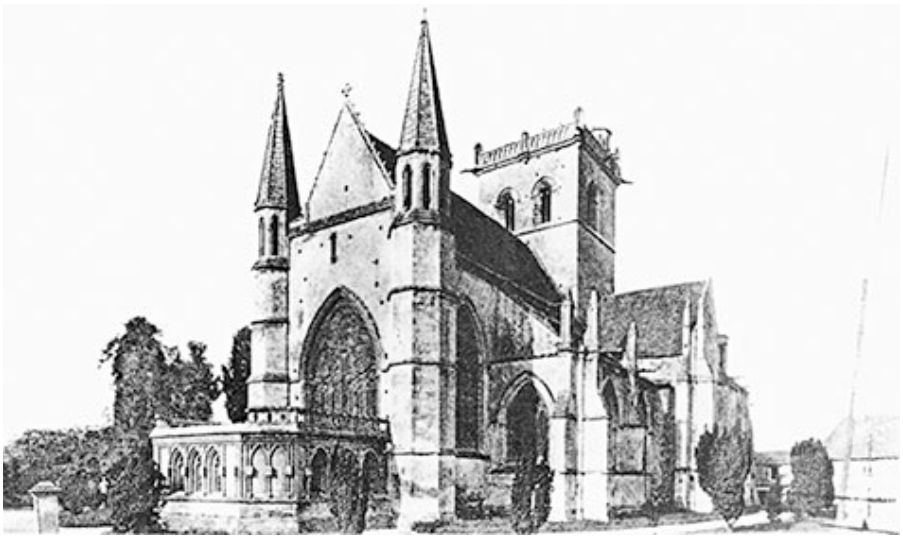
Необычайная сила духа, черпавшая обновление, кажется, просто из воздуха, упрямо выталкивала ее на поверхность жизни, как бы ни был чудовищно тяжел камень, сбрасывавший ее раз за разом на дно. В этой способности к воскрешению и самообновлению было что-то сродни умиранию и воскрешению

жизни в круговороте времен года. Эти загадочные сравнения из цветаевской лирики: «Невозвратна как время, но возвратна как вы, времена года»… «Невозвратна как вечность, но возвратна как первые дни вёсен…» – о ней!

Рок отнимал у нее год за годом – ребенка, родину, читателя, семью, веру в близкого человека, а теперь даже надежду на возможность дальнейшего поэтического творчества. Легче спросить, что он ей оставил к осени 1938 года, кроме сына…

И однако – оставил. Оставил то, что у нее можно было отнять только с ясностью ее сознания. Столп, на котором она стояла, как столпник, все свои зрелые годы, теперь, к концу ее жизни, стал прочнее прочного. «Нерукотворные ценности и недоказуемые угодья духа» – так она сама определила свои устои в эссе «Кедр».

Одно место из цветаевского письма, написанного уже в начале 1939 года, помогает сказать об этом отчетливее.



Собор в Див-сюр-Мэр

В письме Марина Ивановна поздравляла с Новым годом Анну Антоновну Тескову, разделяя вместе с ней горе всей униженной Чехословакии:

«Дай Бог – всего хорошего, чего нету, и сохрани Бог – то хорошее, что есть. А есть – всегда, – хотя бы вот моральный закон внутри нас, о котором говорил Кант. И то – звездное небо!»

Так она справляется с жизненными бедами и катастрофами – ускользая, едва ослабнут тиски обстоятельств, в просторы того мира, который она зовет «иным», но о котором однажды (в письме к Пастернаку) внятно сказала: «Он уже весь в нас». Сколько бы ни терзала ее сердце земная боль, это богатство всегда остается с

ней: просторы духа.

Не приспособленная к житейским сложностям, неумелая, а иногда и нелепая в практических делах и отношениях, здесь она чувствовала себя дома. И в этом доме, а не в тех – мёдонском или ванвском – ощущала себя полновластной и свободной хозяйкой.

Да, она не была образцом «таланта жить» в сегодняшнем мгновении. Но оборотной стороной неумелости была ее удивительная способность обновляться и воскресать – в ситуациях, которые раздавили бы насмерть человека, не имевшего ее запаса внутренней прочности.

Она легко обходилась без многого, потому что дышала тем особым кислородом, запасы которого мало зависят от внешних обстоятельств.

Прогулки в Див-сюр-Мэр восстанавливали внутреннее равновесие, вечное и прекрасное отодвигало временное и удушающее.

Море, холмы, старые деревья, старые фермы, вечно юная зелень с вечно жующими коровами… Она воспринимала все это теперь как дарованную судьбой последнюю передышку.

А все же ужас перед будущим не покидал ее и здесь ни на минуту.

В одном из писем, отправленных из Див-сюр-Мэр, она прерывает вдруг спокойную интонацию письма неожиданной скобкой: «О, Боже, Боже, Боже, что я делаю!»

Прислушаемся к этому стону, вдруг прорвавшемуся: он выдает страх, с которым живет Цветаева весь последний год, – скрывая его ото всех, включая сына…

Тем не менее она продолжает работу над приведением в порядок всего, что ею создано. Переписывает в тетрадь с твердой обложкой поэму «Перекоп», так и оставшуюся неопубликованной. И в ту же тетрадь – другую неизданную книгу: «Лебединый стан», стихи 1918–1920 годов.

Здесь же, в Див-сюр-Мэр, она перепишет аккуратно, печатными буквами, из сохранившейся тетрадки мужа главу «Декабрь», из его «Записок добровольца» – воспоминание о первых днях создания Белой армии на Дону.

И вот заканчиваются последние дни у моря.

Во второй половине сентября они поселятся в Париже уже в отеле «Иннова», неподалеку от станции метро «Пастер». Той самой, где под колесами поезда в конце 1934 года так нелепо погиб друг Марины Ивановны поэт Николай Гронский.

Новая перемена жилья – определенно не собственная инициатива Цветаевой. Она всегда ненавидела отели, а кроме того, оплата номера в самом захудалом, но расположенном в

центре Парижа отеле ей была бы не по карману. Совершенно очевидно, что во всех главных деталях ее быт предрешают теперь все те же люди, связанные с особняком на улице Гренель.

На последнем этаже отеля, в комнате № 36, Цветаевой суждено прожить до самого отъезда в Россию.

Комнаты на этом этаже расположены по обе стороны темного коридора, насквозь пропахшего невытравимым запахом жареного лука. Двери номеров – тонкие, и в коридоре хорошо слышны громкие голоса ссорящихся соседей.

Гости, навещающие Марину Ивановну, с трудом пробираются между умывальником, бютагазом, на котором варится еда, ящиками и кухонной утварью, загромоздившей номер.

Сразу видно, что для его обитателей это что-то вроде перевалочного пункта: в любой момент они готовы сняться с места.

Однако жизнь на чемоданах затянется на целых девять месяцев!

Отель «Иннова» на бульваре Пастер

«Я давно уже не живу, – признаётся Цветаева в одном из сентябрьских писем, – потому что такая жизнь – не жизнь, а бесконечная оттяжка. Приходится жить только нынешним днем – без права на завтра; без права на мечту о нем! А я всегда, с 7-ми лет, жила – “перспективой”». И далее: «Ненавижу гостиницу, в

такой жизни для меня что-то – позорное, – точно я другого не заслужила! Пусть изба (как годы было в Чехии) – но не “chambres meublees”!»[31]

Прошел год с того момента, когда почва под ее ногами, казалось, навсегда потеряла надежную твердость. Естественно было бы оглохнуть и ослепнуть к тому, по крайней мере, что происходит вокруг, во внешнем мире. Или – видя и слыша – отстраниться.

Но как раз этой осенью Цветаева снова взрывается стихами, разбивающими в прах предположение о продолжающейся депрессии.

То были «Стихи к Чехии».

4

Еще в мае 1938 года в письме к Тесковой она горячо отозвалась на известие о частичной мобилизации, которую чешское правительство вынуждено было объявить в ответ на непрекращавшиеся угрозы со стороны Германии. «Думаю о Вас непрерывно, – писала Цветаева, – и тоскую, и болею, и негодую – и надеюсь – с Вами. Я Чехию чувствую свободным духом, над которым не властны – тела. А в личном порядке я чувствую ее своей страной, родной страной, за все поступки которой – отвечаю и под которыми – заранее подписываюсь. Ужасное время».

И все-таки, несмотря на тревогу, Марина Ивановна еще надеялась, вплоть до последних чисел рокового сентября, что здоровые силы европейского общественного мнения сумеют удержать свои правительства от предательской сделки. Для нее было совершенно ясно, к чему может привести тактика частичных уступок ненасытному аппетиту фашистских режимов. К этому времени Абиссиния уже проглочена войсками Муссолини, аншлюс Австрии Гитлером сочтен почти «домашним» соглашением; генерал Франко в Испании получает все более открытую и возрастающую помощь Германии и Италии. До последнего дня Цветаева ждет, что французское правительство, все еще называющее себя правительством Народного фронта, сумеет защитить интересы Чехословакии, – разве не ясно, что последует за отторжением Судет, то есть очередным попустительством? «Ты предал – предадут и тебя, – напишет она Тесковой. – Кому предал – тот и предаст. Только жаль, что платить будут – невинные, знавшие и не могшие ничего предотвратить».

Даже в самый канун Мюнхенского соглашения ей трудно поверить, что несколько слепцов сумеют повести за собой зрячих.

Но ее проницательность явно спотыкалась в оценке настроенности французского обывателя. «Вчера, – радостно сообщала она Тесковой 24 сентября, – наше жалкое Issy[32] выслало на улицу четыре тысячи манифестантов. А нынче будет – сорок – и кончится громовым скандалом и полным переворотом».

Однако правительство Даладье, время от времени разражавшееся заверениями о готовности защитить Чехословакию от германских притязаний, имело свои представления о том, чего именно ждут от него французы.

Страх войны, пропитавший европейский воздух второй половины тридцатых годов, успешно вытравлял у рядового француза остатки зрячести, отнимал способность к элементарному предвидению.

«Какое нам дело до чехов, мир любой ценой!» – этих выкриков, звучавших повсеместно в уличной толпе, Цветаева упорно не слышала – или не хотела слышать.

Напряженность, неподдельность боли за край, ставший родиной ее сына, заставляли ее цепляться за надежду. В том же письме, написанном за пять дней до Мюнхенского соглашения: «День и ночь, день и ночь думаю о Чехии, живу в ней, с ней и ею, чувствую изнутри нее: ее лесов и сердец…»

И вот «безумие и преступление», как она это назовет, свершается. Поначалу Цветаевой еще кажется, что не все потеряно, что все еще исправимо. Чуть ли не впервые в жизни она жадно читает этой осенью и зимой газеты – и находит там строки, под которыми подписалась бы обеими руками, «изнутри лба и совести», как она говорит. Это голоса ее единомышленников, заполнивших левую прессу возмущенными протестами.

Среди них Цветаева, ликуя, выделяет имена Ирен и Фредерика Жолио-Кюри. «Лучшая Франция: толпы и лбы – думают и чувствуют, как я», – пишет она Тесковой.

Однако день идет за днем, и ей приходится убедиться в том, что «лучшая Франция» малочисленна и бессильна.

В Париже повторяют слова Леона Блюма: «Мое сердце разрывается между стыдом и чувством облегчения». Городской муниципалитет публикует постановление о переименовании одной из парижских улиц в «Улицу 30 сентября». Правые газеты объявляют подписку на подарок «миротворцу» Чемберлену.

В ноябре «миротворец» посетит столицу Франции, и Цветаева с презрением опишет в очередном письме к Анне Антоновне благодарную встречу, которую ему здесь приготовили. «Дамы в голом и мужчины в черном» лебезят перед «старым благодушным

господином, не способным и мухи обидеть…» «Волки и лисы» предали Чехию, формулирует Цветаева, «малодушие, и косность, и жир ‹…› сделали то – что сделано».

Письма к ее чешской приятельнице теперь особенно учащаются. И это не просто акт дружбы и сочувствия в тяжкий момент испытаний. Это связано еще и с тем, что чем дальше, тем меньше находит Цветаева вокруг себя людей, чья реакция на происходящее вызывала бы ее уважение. Нужна действенность в сочувствии, последовательность в оценке и поведении, а не ахи и охи, приправленные восклицаниями: «Какой ужас!»

В очередной раз Цветаева обнаруживает цельность и действенность своей натуры. Любить кого-либо или что-либо для нее всегда значило – подставить плечо, протянуть руку. «Я никогда, ни-ког-да, ни разу не жалела, что мне не двадцать лет, – пишет она теперь Тесковой. – И вот, в первый раз – за все свои не-двадцать – говорю: Я бы хотела быть чехом – и чтобы мне было двадцать лет: чтобы дольше – драться…»

Впервые она горюет о том, что у нее нет «имени», чтобы ее протест прозвучал весомо; нет какого-нибудь отличия, чтобы «швырнуть» его в лицо правительству, запятнавшему честь страны. «Чувство опозоренности за Францию», о котором она пишет в эти дни Анне Антоновне, предельно обострено ощущением почти соучастия: «точно я, живя во Франции, какой-то – соубийца».

Да, отличий, которые можно было бы «швырнуть в лицо», нет, нет «имени» – но в распоряжении Марины Цветаевой есть свое оружие. И она обращается к нему.

«Стихи к Чехии», созданные в ноябре и продолженные затем в трагическом марте 1939 года, не уступают по страстности лучшим образцам цветаевской любовной лирики. Гражданское чувство гнева и попранной справедливости слилось в них с бескрайней благодарностью щедрому краю, ставшему «родиной всех, кто без страны». Любовный гимн чешскому народу, чешским горам и долам слился с презрением к «сытости сытых», отдавших страну в руки преступников.

Только край тот назван
Братский – дождь из глаз!
Жир, аферу праздднуй!
Славно удалась.

Жир, Иуду – чествуй!
Мы ж – в ком сердце – есть:
Есть на карте место

Пусто: наша честь.

Уже 24 ноября первые три стихотворения цикла отосланы в Прагу.

Цветаева просит Тескову показать ее стихи чешским поэтам и вообще всем, кому сочтет нужным, «чтобы знали, что есть один бывший чешский гость, который добра – не забыл». Скоро она получит известие, что стихи ее переводятся на чешский язык.

Все оставшиеся до отъезда месяцы над рабочим столом Цветаевой в убогом номере убогого отеля висит увеличенная фотография ее любимого «пражского рыцаря», стерегущего Влтаву у Карлова моста в Праге. Стройный воин, воплощение благородства и мужества, он для нее теперь – символ несломленного духа Чехословакии. Цветаева собирается писать о нем поэму.

Она жадно читает чешские легенды и вообще – чешских прозаиков и поэтов. Просит Тескову прислать ей книжки по чешской истории и географии. И очень просит прислать ей ожерелье из богемского хрусталя, чтобы носить его не снимая. У случайного встречного выменивает картонную коробочку для булавок, отдавая за нее добротный кожаный кошелек, – только из-за того, что на коробочке вытеснено: «Praha».

«Все это, конечно, чепуха, – признается она Анне Антоновне, – но такою чепухой любовь – живет…»

5

Во второй половине декабря в Париж приехал на две недели из Эстонии поэт и критик Юрий Иваск.

Они увиделись с Цветаевой впервые, но переписывались уже пять лет. Иваск был автором обстоятельной статьи о Цветаевой, появившейся в 1935 году в эстонском журнале «Новь». «Романтическое в классическом, стихийное в логическом, эрос в логосе, стихия в системе» – так характеризовал критик своеобразие цветаевского поэтического творчества.

Статья Марину Ивановну в целом порадовала. «Во всяком случае, – написала она автору, – Вы первый, кто (за 25 лет печатания и добрых 30 непрерывного писания) отнесся ко мне всерьез».

Иваск намеревался расширить статью до книги и даже успел уже многое написать. Но книга так и не вышла: рукопись ее странным образом затерялась.

Переписка же оказалась необычайно содержательной. Эстонский корреспондент неутомимо задавал Цветаевой вопрос за вопросом: о ее творческой и личной биографии, литературных и личных пристрастиях, – и она охотно и терпеливо отвечала, иногда, правда, вступая в довольно резкую полемику.

Спустя пятнадцать лет после трагедии в Елабуге Юрий Иваск опубликовал письма Цветаевой – с купюрами. Ныне обнародованные пропуски внесли важные штрихи в понимание того, почему вдруг переписка оборвалась. Стало ясно, что в январском письме 1937 года Цветаева сменила милость на гнев по отношению к своему корреспонденту и высказалась с присущей ей прямотой. Так что корреспондент смог получить живое представление о вулкане, к жерлу которого он подошел слишком близко.

Юрий Иваск

Причина смены тональности была в том, что Иваск прислал Марине Ивановне еще одну свою статью. И, в отличие от предыдущей, он обнаружил здесь оценки и позиции, слишком уж схожие – в глазах Цветаевой – с «монпарнасскими». Она явственно услышала голос «интеллектуального гастронома», неспособного к непосредственному переживанию ни жизни, ни искусства.

«У Вас нет чутья на жизнь, живое, рожденное. Нет чутья на самое простое, – писала она Иваску. – Вы всё ищете – как это сделано. А ларчик просто открывался – рождением». И еще, далее: «О таком живом, как я и мое, нужно писать живому. Вы же все свое (в этой статье безысходное) умствование, весь свой мертвый груз приписали мне. Все это ведь любящему мои стихи в голову не придет (и не приходило), вообще мои стихи не от головы и не для головы ‹…› и я скорее согласна с первым встречным, стихи любящим и сразу взволнованным – чем с Вами».

Присланная статья продемонстрировала приверженность критика авторитету все того же Георгия Адамовича. Иваск не повторял его оценок, но сам подход к разговору о поэзии вдруг обнаружил нечто очень уж знакомое. Этим и была спровоцирована мощь цветаевского взрыва. Опять Адамович!

Слишком еще кровоточила рана, нанесенная Штейгером. «Мертвый груз умничанья», упоенные рассуждения о литературных приемах и теориях и, как результат, неспособность отличить в искусстве подделку от настоящего, сделанное от рожденного… Она устала наталкиваться на такое снова и снова.

Письмо ее получилось длинным, но, излив негодование, Марина Ивановна заканчивала мирно: «Ну, не сердитесь. Выбора не было, и вы правды заслуживаете. А если мне суждено этим письмом Вас потерять – то предпочитаю потерять Вас так, чем сохранить – иначе…»

И вот, спустя два года после этого взрыва, они встретились. И сразу почувствовали себя друг с другом просто и свободно, будто и не было размолвки.

Иваска поразил поначалу ее манера беседовать, глядя вбок, как бы мимо собеседника. Удивила сильная проседь в волосах и почти мертвенная бледность смуглого лица, ее странные угловатые жесты, которые он назвал «птичьими» (совершенно независимо от Иваска точно то же сравнение употребил и Харджиев, встречавшийся с Цветаевой в 1941 году).

Резким контрастом рядом выглядел розовощекий пухлый тринадцатилетний Мур.

Они виделись в заставленном вещами номере отеля и много гуляли по парижским улицам.

В декабре стояла в тот год необычная для Франции морозная погода. Собор Парижской Богоматери был окружен снежными сугробами. Замерзнув на улицах, они отогревались в парадных, сидели в маленьком кафе «Бель Эр» на авеню Дю Мэн. На Цветаевой было легкое пальто с поднятым вязаным воротником и странная шапочка: колпачок с кисточкой.

Говорилось легко, о чем придется. Марина Ивановна много

вспоминала – по своем детстве, и о свадебном путешествии 1912 года, и о последних годах в Москве. По просьбе Иваска охотно читала стихи. Возник вопрос, который Марина Ивановна в эти месяцы задавала всем: где, как сохранить ее архив? Не возьмет ли Юрий Павлович с собой один из пакетов? Но Иваск не считал надежным место, где он теперь жил – Печоры, – и посоветовал отдать книги, оттиски и рукописи на хранение Е. Э. Малер, профессору русской культуры в швейцарском городе Базель. Незадолго до встречи с Цветаевой Иваск как раз виделся с Елизаветой Эдуардовной и уже знал от нее, что с Цветаевой они знакомы с лета 1935 года, проведенного обеими в Фавьере.

(Совет Иваска оказался лучшим из всех: пропала часть архива, переданная Цветаевой в Амстердамский архив социальной истории; погибла в Париже во время войны и другая часть, переданная на хранение М. Н. Лебедевой. В Базельском университете все сохранилось в целости.)

Говорили они с Иваском и о предстоящем отъезде Цветаевой в Россию. И хотя вопрос был для Марины Ивановны уже решен, Иваску все же показалось, что она словно бы ждала, чтобы кто-нибудь энергично воспротивился – и даже увез в какую-нибудь совсем другую сторону…

В мемуарах «На берегах Сены» Ирина Одоевцева вспоминает свою последнюю встречу с Цветаевой. Одоевцева относит ее к лету 1938 года, и это может показаться ошибкой ее памяти, ибо речь там идет о прощании перед самым отъездом Марины Ивановны на родину – а уехала она только через год. Но сроки отъезда были неизвестны, как уже говорилось, самой Цветаевой – и потому оспаривать датировку Одоевцевой нет смысла.

Встреча произошла в доме четы поэтов – Гингера и Присмановой, на их очередном литературном журфиксе. Одоевцева – большая придумщица подробностей и диалогов, и потому мы отметим лишь сам факт и основной антураж встречи. Рядом с Цветаевой – другие поэты-эмигранты: Корвин-Пиотровский, Софиев, Закович. В описанном эпизоде Марина Ивановна принимает участие в сочинении письма некоему «буржую» – ради вытягивания из него помощи молодой писательнице-эмигрантке, нуждающейся в отдыхе после перенесенной болезни.

Марина Ивановна оживлена и энергична настолько, что это дает повод Одоевцевой на обратном пути от Гингеров задать вопрос:

– Вы рады, что возвращаетесь в Россию?

– Совсем нет, – отвечает Цветаева. – Вот если бы я могла вернуться в прежнюю Германию…

Новый, 1939 год, принесший миру начало Второй мировой войны, а Цветаевой новые испытания, наступал в обстановке, далекой от праздничности.

В декабре во Францию возвращались из Испании бойцы интербригад; до победного парада войск генерала Франко на улицах Мадрида оставалось немногим более двух месяцев.

Из России пришло известие о новом человеке, сменившем Ежова на его посту. Его имя было – Лаврентий Берия, и спустя год оно будет написано рукой Цветаевой – на прошении о свидании с арестованными дочерью и мужем. К концу декабря стало известно об аресте в Москве Михаила Кольцова. Сердце Марины Ивановны не могло не сжаться при этой новости: с Кольцовым был хорошо знаком Сергей Яковлевич; Кольцов возглавлял «Журнально-газетное объединение», где работала Аля Эфрон. Под самый Новый год от Али пришла поздравительная телеграмма.

Мать и сын нарядили маленькую пышную елочку, немного скрасившую неуют гостиничного номера, сделали друг другу рождественские подарки.

С кем довелось им провести эту последнюю во Франции новогоднюю ночь? Сведений об этом нет.

В литературных собраниях Цветаева больше не показывается. Ее имени нет в газетных отчетах о вечере стихов Ходасевича, состоявшемся в январе; а при дружеском расположении Марины Ивановны к поэту в эти последние годы она – в других обстоятельствах – непременно здесь бы присутствовала.

Мартовские события 1939 года потрясают ее с новой силой: торжество фашизма в Мадриде, окончательное поглощение Чехословакии фашистской Германией. «Чехия для меня не только вопрос справедливости, – пишет Цветаева в одном из писем этого времени, – но и моя живая любовь, сейчас – живая рана…» «Точно тот (Гитлер. – И. К.) по мне в нее вошел…»

И с конца марта начинается новый ливень цветаевских стихов; он прекратится всего за двадцать дней до отъезда из Франции.

Как всегда, у Цветаевой под каждым стихотворением – точная дата. Но под текстом одного из них – дата «долгая»: 15 марта – 11 мая. Почти два месяца работает Марина Ивановна над последним своим поэтическим шедевром.

Стихи еще будут, но шедевр – последний.

Его пафос далеко выходит за рамки «чешской» темы, хотя стихотворение и включено в цикл «Стихи к Чехии».

О, слезы на глазах!

Плач гнева и любви!
О, Чехия в слезах!
Испания в крови!

О, черная гора,
Затмившая весь свет!
Пора – пора – пора
Творцу вернуть билет…

Трагедийное начало впервые ворвалось в цветаевскую лирику еще в годы Первой мировой войны. Своего апогея оно достигло в этом стихотворении 1939 года.

Мироощущение человека конца тридцатых годов, не желающего ни утешать себя иллюзиями, ни отворачиваться от кошмара, разраставшегося на глазах, как моровая язва, выражено здесь с мощью последнего смертного противостояния.

Отказываюсь – быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей

Отказываюсь – выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть
Вниз – по теченью спин.

Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один – отказ.

«Безумный мир» – это мир рабски согнутых спин, все более подчиняющийся диктату «нелюдей». Нелюди! Это слово зазвучит отныне и в стихах и в письмах Цветаевой. Уже не по газетным сообщениям, а изнутри самой себя она ощущала неотвратимое наползание зловещей тени, и ужас, который охватывал ее, был сродни тому, который задолго до солнечного затмения заставляет метаться даже самого сильного зверя.

До начала Второй мировой войны оставалось меньше четырех месяцев.

23 апреля 1939 года она записывает в своей тетрадке длинный странный сон, который ей привиделся.

Сон, поражающий воображение, даже если не придавать ему пророческого смысла, – понятно, что Цветаева торопится его зафиксировать: «Иду вверх по узкой горной тропинке – ландшафт Святой Елены: слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде. Навстречу– сверху– лев. Огромный. С огромным даже для льва лицом. Крещу трижды. Лев, ложась на живот, проползает мимо со стороны пропасти. Иду дальше. Навстречу – верблюд, двугорбый. Тоже больше человеческого, верблюжьего роста, необычайной даже для верблюда высоты. Крещу трижды. Верблюд перешагивает (я под сводом: шатра: живота). Иду дальше. Навстречу – лошадь. Она – непременно собьет, ибо летит во весь опор. Крещу трижды. И – лошадь несется по воздуху – надо мной. Любуюсь изяществом воздушного бега.

И – дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу ногами вперед, голова отрывается. Подо мной города… сначала крупные подробные (бег спиралью), потом горстки бедных камешков. Горы – заливы – несусь неудержимо, с чувством страшной тоски и окончательного прощания. Точное чувство, что лечу вокруг земного шара, и страстно – и безнадежно! – за него держусь, зная, что очередной круг будет – вселенная: та полная пустота, которой так боялась в жизни: на качелях, в лифте, на море, внутри себя. Было одно утешение: что ни остановить, ни изменить: роковое…»

Два года и четыре месяца оставалось земной жизни Цветаевой, когда она увидела этот сон. Но всего четыре месяца – до ареста дочери, всего полгода – до ареста мужа… Трагедия семьи расчистила и для нее дорогу на тот свет. В апреле 1939 года «ни остановить, ни изменить» уже ничего было нельзя…

Важные для характеристики Цветаевой строки мы находим в ее письме от 15 ноября 1930 года Ломоносовой: «…о трудности Вашего выбора: либо с мужем в Америку, либо с сыном в Лондоне. Как это ужасно. В таких случаях помогает только одно: СЛУХ. (Wer ist dein nachster? – Der Dich am notwendigsten braucht[33] – толкование ближнего на протестантском уроке Закона Божьего в моем детстве. Видите – не забыла, хотя с этого уже больше двадцати лет прошло.) Я в жизни всегда выбирала так».

К лету 1939 года почти полностью сменился состав советского посольства в Париже; это не могло не настораживать. В мае в Париж приехал Ф. Ф. Раскольников, до недавнего времени советский полпред в Болгарии. Москва уже год требовала его немедленного выезда в СССР. Однако к этому времени он, как и Рейсс, отчетливо понимал, что его там ждет, и вскоре принял окончательное решение о невозвращении. В Париже Раскольников встречался, в частности, с Оренбургом. А значит, о

его настроениях, опасениях и фактах, которыми он располагал, могла узнать и Цветаева. Могла. Но вряд ли Оренбург был настолько откровенен теперь с Мариной Ивановной, как некогда. Да и встречались ли они в это время?

Наконец в самом конце мая приходит известие, которого Марина Ивановна со страхом ждала уже целый год: их отъезд назначен на начало второй декады июня, когда из Гавра в Ленинград пойдет советский теплоход.

Эзопов язык в письме к Тесковой от 31 мая понятен без специальных расшифровок: «Дорогая Анна Антоновна! Мы наверное скоро тоже уедем в деревню, далекую, и на очень долго. Пока сообщаю только Вам. ‹…› У меня сейчас много заботы и работы: не хватает ни рук ни ног, хочется моим деревенским друзьям привезти побольше, а денег в обрез, надо бегать – искать “оказионов” или распродажу – и одновременно разбирать тетради – и книги – и письма – и пришивать Муру пуговицы – и каждый день жить, т. е. готовить – и т. д. Но – я, кажется, лучше всего себя чувствую, когда вся напряжена…»

Посреди этих хлопот она выкраивает время для последних встреч с друзьями. С одними ей удается провести несколько часов вместе – как с больным полубезумным Бальмонтом, другим она пишет прощальные письма, а с Тесковой прощается в трех письмах подряд.

Смогла ли она перед отъездом навестить тяжело больного Ходасевича? Он умер через день после того, как Цветаева покинула Париж.

Из Лондона специально приезжает проститься Саломея Андроникова-Гальперн, неутомимо поддерживавшая Марину Ивановну душевно и материально на протяжении многих лет. При всех опасениях за будущее Гальперн вполне понимает решение своей приятельницы ехать к мужу и дочери. Но находятся и те, кто еще и теперь пытается отговорить.

– Подумайте, Марина Ивановна, – увещевает Цветаеву Зинаида Шаховская, – живя за границей, вы можете еще мечтать, что где-то, в России, вам будет хорошо, а приехав туда, и мечтать будет больше не о чем и не на что надеяться. Ну как вы с вашим характером, с вашей непреклонностью можете там ужиться?

– Знайте одно, – отвечала Цветаева, – что и там я буду с преследуемыми, а не с преследователями, с жертвами, а не с палачами.

Леонид Зуров вспоминал, как однажды она пригласила нескольких своих друзей в кафе на Монпарнасе. Приглашены были, кроме Зурова, поэты Алла Головина, Александр Гингер и Анна Присманова. С Мариной Ивановной был ее сын. Сама

Марина «…была весела на редкость. Нам всем было очень хорошо и весело, играла цыганская музыка. Когда мы вышли из кафе, А. Присманова попросила у Марины Цветаевой разрешение взять у нее прядь волос. ‹…› Я помню, Марина Цветаева стояла на бульваре под фонарем, как рыцарь, и Присманова отрезала ей прядь волос. Это была наша последняя встреча».

В первых числах июня она с сыном – в гостях у Марка Слонима. Их дружба испытана семнадцатилетним сроком: впервые они встретились в Берлине летом 1922 года, подружились в Праге, часто виделись в Париже. Теперь предстояла разлука и – пожизненная, ни один из них не обольщался на этот счет.

«После ужина, – пишет Слоним, – мы начали вспоминать Прагу, наши прогулки и как однажды, засидевшись у меня до полуночи, она опоздала на поезд, я повез ее в деревню Вшеноры на таксомоторе по заснеженным зимним дорогам, и она вполголоса читала свои ранние стихи.

Она задумалась и сказала, что все это было на другой планете. Мур слушал со скучающим видом и этот разговор, и последовавшее затем чтение М. И. ее последней вещи “Автобус”. Я пришел в восторг от словесного блеска этой поэмы и ее чисто цветаевского юмора и не мог прийти в себя от удивления, что в эти мучительные месяцы у нее хватило и силы и чувства комического, чтобы описать, как

Препонам наперерез
Автобус скакал, как бес.

М. И. на мой вопрос ответила, что ей сейчас хочется написать как можно больше, ведь неизвестно, что ее ждет в Москве и разрешат ли печататься. Тут зевавший Мур встрепенулся и заявил:

– Что Вы, мама. Вы всегда не верите, все будет отлично. ‹…›

Мы засиделись допоздна. Услыхав двенадцать ударов на ближней колокольне, М. И. поднялась и сказала с грустной улыбкой:

– Вот и полночь, но автомобиля не надо, тут не Вшеноры, дойдем пешком.

Мур торопил ее, она медлила. На площадке перед моей квартирой мы обнялись. Я от волнения не мог говорить ни слова и безмолвно смотрел, как М. И. с сыном вошли в кабину лифта, как он двинулся и лица их уплыли вниз – навсегда».

В начале июня в Париже стояли очень жаркие дни. Несмотря

на то что отъезд так долго откладывался, теперь не хватало времени, чтобы собрать вещи. Цветаева спала по четыре часа в сутки и почти не ела, а однажды просто заснула поперек кровати и проснулась только оттого, что ей на голову свалилась вешалка с платьем.

С героем «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» последняя встреча вышла случайной: Родзевич догнал их с Муром на какой-то парижской улице и, подхватив их под руки, пошел посредине. Случайность вышла символичной: напоследок Марина простилась с человеком, который пробудил в ее сердце самые яркие и счастливые чувства за все годы чужбины.

На следующий день они уезжали. Никто их не провожал – «не позволили», поясняет Цветаева в одном из последних писем к Ариадне Берг. «Едем без проводов: как Мур говорит – «ni fleurs ni couronnes»[34] – как собаки – как грустно (и грубо) говорю я. Не позволили, но мои близкие друзья знают – и внутренне провожают».

По просьбе Цветаевой в последнее утро пришел к ним только Митрофан Айканов – как бы под видом рабочего. Он помог с последней укладкой и увязкой вещей, их оказалось очень много. Но Марине Ивановне пришлось попросить его не выходить к автомобилю, который ждал у входа в отель. Из вестибюля Айканов наблюдал за их отъездом…

О часе отъезда знали только очень близкие друзья, они могли проводить уезжавших мысленно.

Ехать предстояло вначале поездом до Гавра, дальше – пароходом, который увозил в СССР последние партии испанских беженцев.

«До свидания! – в последний раз писала Цветаева Тесковой в Прагу, сидя в вагоне поезда. – Сейчас уже не тяжело, сейчас уже – судьба…»

Часть III
Разоблаченная морока

Глава 1
Болшево

1

От Гавра пароход «Мария Ульянова» отошел в семь пятнадцать утра.

Предстояла качка в Северном море, и потому Цветаева сразу приняла заранее приготовленное лекарство и легла в каюте. Перед самым отъездом она наткнулась в магазине на книжку которую уже давно искала, – Сент-Экзюпери, «Земля людей», и теперь, лежа на койке, читала ее. Мерный стук пароходного двигателя был похож на стук сердца.

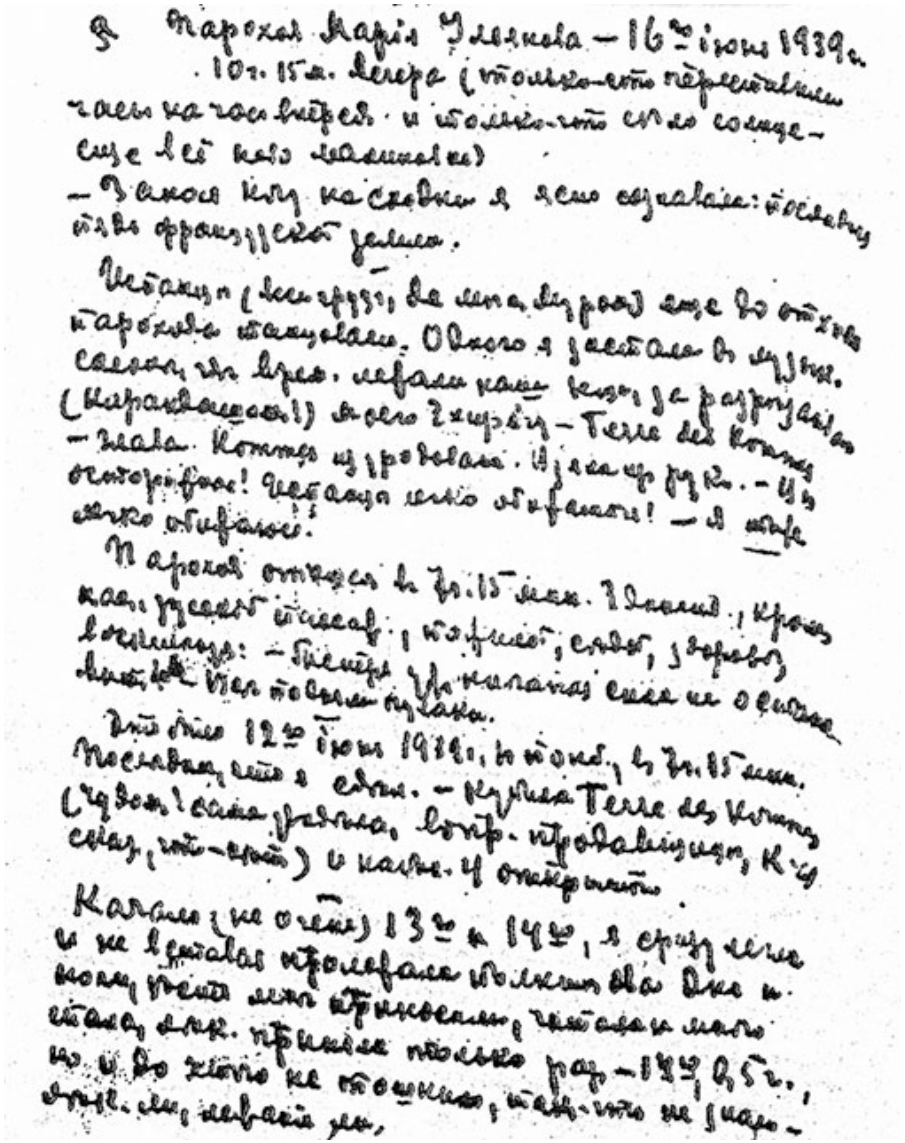
Мур весь первый день стойко не поддавался качке и все время проводил на палубе и в музыкальном салоне. На пароходе, кроме них, оказался еще только один пожилой русский – остальные были совсем юные испанцы. Еще до посадки на пароход, на берегу, они затеяли игры, веселились, пели, и это продолжалось во все время пути. Каждый вечер устраивались танцы. Одеты они были почему-то во все зеленое.

Возбужденный и радостный Мур прибегал к матери на минутку, стоял на одной ноге, говорил две-три фразы и бежал обратно.

Миновали Северное море, качка прекратилась. Теперь Марина выходила смотреть на проплывающие мимо берега.

Ее поразила Дания; просто «схватила за сердце» – так она записала в свой дневничок, вернувшись в каюту. Пароход обогнул какой-то то ли замок, то ли крепость, то ли храм – крыша была зеленой от древности. Сказочным казался и лес – что-то мягкое и серое, как дым, из дыма торчали островерхие крыши. «Дремучая Дания», – записала Марина. Она переходила с борта на борт и мысленно посылала приветы то Андерсену, то Сельме Лагерлёф – когда проплывали Швецию. Швеция была другой, чем Дания: красные крыши домов, все игрушечное и новенькое. Появились красивые парусники с выцветшими зелеными и красными парусами.

В течение двух дней в одно и то же время – с пяти до шести – над водой почему-то отчетливо слышен был колокольный звон.



Автограф дневниковой записи Марины Цветаевой

Закаты потрясали своей красотой. Пена была малиновая, небо золотистое – и на нем письмена. Марина силилась их разобрать – уверенная, что они именно ей адресованы. Но не разобрала. Море глотало опускавшееся за горизонт солнце.

– Мур, посмотри, какая красота! – говорила она сыну.

– Красиво, – подтверждал Мур, появляясь снова около матери, и тут же убегал обратно.

Балтийское море принесло холод. Оно было уже серо-синее и напомнило воды Оки осенью, те – из детства. Проплыли остров Готланд. В записях, которые ведет Марина, – настороженность и

печаль. Будет ли встречать Сережа? – задается она вопросом, когда впереди уже виден Кронштадт.

Наконец пароход пришвартовывается к пассажирскому причалу. Прибыли! Начинается изнурительно долгий досмотр багажа пассажиров.

Перетрясли до дна все цветаевские чемоданы и сумки. Таможенникам очень понравились рисунки Мура; они отбирали их себе, не спрашивая согласия. «Хорошо, что им не нравятся рукописи!» – записала позже Цветаева. Вещи обратно не влезали, между тем как нужно было торопиться на поезд. Выяснилось, что в Москву они поедут в эту же ночь – и вместе с испанцами.

Наконец досмотр окончен, пассажиры сходят на берег, их всех перевозят на автобусах в какой-то специальный поезд; он отъезжает четыре километра от города и останавливается – до 11 часов вечера.

Вместе с испанцами Мур уезжает в автобусе – осматривать город, Цветаева остается стеречь вещи.

Сергей Яковлевич их, разумеется, не встретил.

На следующее утро они уже подъезжали к московскому перрону.

Кого надеялась она увидеть здесь, пытаясь еще во Франции опередить торопящимся воображением этот день?

Мужа, дочь, сестру? Может быть, еще и Пастернака? Не могли же не известить его о таком событии!

Но на перроне их встречала только Ариадна – в сопровождении мужчины среднего роста, чуть полноватого и, как скоро выяснилось, глуховатого, с обаятельной белозубой улыбкой. Он был представлен как Самуил Гуревич, друг и коллега Ариадны. Сергей Яковлевич ждал их в Болшеве, туда надо было еще ехать электричкой.

На Ярославский вокзал, откуда шли электрички в Болшево, можно пройти «задами», даже не выходя на широкую привокзальную площадь. Но неужели так и не вышли? Не взглянули хоть мельком на кусочек некогда столь любимого Цветаевой и воспетого ею города? После стольких-то лет разлуки, стольких испытаний!

Наверное, все-таки вышли. Спустя год Мур зафиксирует в своем дневнике мельком всплывшую в его памяти сцену: он видит себя стоящим в начале улицы Горького с мороженым в руке – и впервые в жизни смотрит на Кремль. Брандмауэры многих домов украшались в те годы огромными плакатами. Плакаты тиражировали идеал социалистического общества, в котором труд был провозглашен делом чести, доблести и геройства:

здоровяк в рабочем комбинезоне и его крепкогрудая подруга в красной косынке и с пучком спелых колосьев в руке призывали сограждан незамедлительно нести деньги в сберкассу – или вступать в ряды Осоавиахима.

После семнадцати лет разлуки с родиной Марина Ивановна попала в сюрреалистический мир, где в узнаваемых декорациях текла фантастическая жизнь. В ее обыденном порядке были митинги и празднества в честь покорителей пространства: летчиков, полярников, парашютистов. Празднества сменялись обличениями и проклятиями в адрес других соотечественников, внезапно оказавшихся предателями всех святынь, бандитами, потерявшими остатки совести.

Этот мир знал только две краски – черную и белую. Точнее, черную и красную, ибо всенародные празднества одевались в знамена и транспаранты цвета пролетарской революции. Этот мир состоял из героев и злодеев – третьего не существовало. Дух истерии витал в неумеренных восторгах – как и в осатанелых проклятиях. Страсть одинакового накала, не признающая полутонов, кипела в тех и в других. Знала ли Цветаева обо всем этом, возвращаясь?

Ариадна Эфрон в Болшеве

Она многое знала. Ибо при всей ее ненависти к газетам она, конечно, читала их, не могла не читать. Ими были завалены все подоконники, когда муж, Сергей Яковлевич, был еще в Париже. После его стремительного побега из Франции страстным «глотателем газетных тонн» стал подросший сын.

Она знала, но кому не известно, с какой неотвратимостью разверзается бездна между слышанным, прочитанным – и увиденным собственными глазами. И, кроме того, вряд ли знала Марина Ивановна, что теперь она окажется узницей Болшева на целых пять месяцев. С короткими и не очень легальными выездами в столицу.

Электричка сейчас идет до Болшева около часа.

Тогда она шла много медленнее. А значит, было достаточно времени, чтобы поговорить матери с дочерью и брату с сестрой. Выяснить самые главные обстоятельства. Задать безотлагательные вопросы. Переписка их была регулярной, но шла через официальные каналы, а потому ни одна из сторон не обольщалась относительно полноты получаемой информации.

Да, Сережа по-прежнему нездоров, хотя режим не постельный. Он ходит и, может быть, даже встретит их на болшевском перроне.

А Ася? Где она? Почему ее нет с нами?

Ася арестована. Еще в 1937-м, в начале осени, в Тарусе. За полтора месяца до приезда Сергея Яковлевича.

Но почему, за что?

Этого никто не знает.

Как это – не знает? Как можно не знать? А Андрюша, сын?

Он арестован тоже и там же. Он гостил у матери, когда за ней пришли.

И Сережа не узнал, в чем дело?

Пытался, но не смог. Он надеялся помочь и Дмитрию Петровичу Святополк-Мирскому, уверен был, что сумеет его освободить. Но ничего не получилось…

(Давний друг Цветаевой и Эфрона князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский вернулся в Россию еще в 1933-м. В 1937-м его арестовали. Цветаева могла знать об этом от общей их приятельницы Веры Трейл, вернувшейся из Москвы в Париж осенью 1937-го.)

Ариадна Эфрон и Юз Гордон. Москва, 1938 г.

А Сережины сестры – Лиля и Вера?

Они в Москве. Но муж Веры тоже арестован. Год назад. Аля и Сережа еще застали его на свободе…

Легко себе представить, как приходилось Але пересиливать себя, обсуждая все эти темы. Между тем она могла бы еще многое добавить. Ведь мать знала и супругов Шухаевых, и Юза Гордона, и Наталью Столярову, и Николая Романченко из парижского «Союза возвращения на родину». Все они тоже исчезли в тюрьмах.

Но сообщать о таком в самые первые часы встречи… Если бы не отсутствие Аси на вокзале, можно было бы оттянуть на потом все эти грустные новости.

Впрочем, в пригородном поезде говорить на такие темы было вообще неудобно. Но как же было и не спросить? Аля увиливала как могла. Хотя и потом она говорила о таком крайне неохотно.

Она была так счастлива в это лето! Она любила и была любима, и все неприятное не желало задерживаться в ее сознании. Радостная приподнятость окружала ее как облаком, и

это облако двигалось и существовало вместе с ней, где бы она ни находилась.

Знала ли мать из писем, что Аля встретила наконец человека, которого она называла мужем – и суженым? Так Аля называла Гуревича и много лет спустя, уже вернувшись из лагерей и долгой мучительной ссылки… «Муж, которого Бог дает только однажды…» – говорила она о своем Мульке.

Самуил Гуревич

Они давно уже встречались ежедневно, работая в «Жургазе», созданном Михаилом Кольцовым. Она – в редакции еженедельника «Ревю де Моску», выходившего на французском языке, он – в журнале «За рубежом». Гуревич часто сопровождал Алю в ее поездках в Болшево, и тогда они вместе несли с вокзала тяжелую сумку с продуктами, снабжая Сергея Яковлевича на всю неделю. Совместная судьба их считалась решенной, хотя Гуревич был женат и с женой еще не развелся.

В биографии человека, которого полюбила дочь Цветаевой, – немало туманного. Но вряд ли когда-нибудь этот туман до конца рассеется. Нет никаких сомнений в том, что Самуил Давыдович сотрудничал в НКВД, – иначе он просто не мог бы, по правилам того времени, занять высокий пост ни в «Жургазе», ни в редакции

журнала, тем более связанного по своему профилю с делами заграничными. Позже он работал в ТАСС, был в тесном контакте с иностранными корреспондентами агентств Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. А это означало уже не просто «допуск», но и солидный энкавэдэшный чин.

Человек незаурядных способностей, Гуревич был на восемь лет старше Ариадны Эфрон. Как и она, он вырос за пределами России. Детство его прошло в Америке, куда задолго до Октября эмигрировал его отец – профессиональный революционер. Пятнадцати лет мальчика привезли в Россию. Прекрасное знание английского языка многое определило в его будущей судьбе. Говорят, он учился в школе вместе с сыном Троцкого. И совсем достоверно – он был очень близок к Кольцову. Но как ни странно, после ареста шефа положение его секретаря не пошатнулось. А ведь ко времени знакомства с Ариадной он был исключен из партии за «троцкистский уклон»! И все же свою должность он сохранил и позже, когда была арестована Ариадна и прочие обитатели болшевского дома.

Что уже наводило на раздумья тех, кто все эти обстоятельства знал и наивно верил в умопостигаемую логику действий советской карательной системы.

Самуил Давыдович казался непотопляемым.

Однако умереть в собственной постели ему все же не было суждено. В 1952 году его арестовали вместе с другими членами Еврейского антифашистского комитета – и расстреляли как «врага народа».

2

Сергей Яковлевич был нездоров. К прежним хворобам, сопровождавшим его с юных лет, то усиливавшимся, то отпускавшим, присоединилась на российской земле новая: стенокардия. Первые приступы грудной жабы, как тогда еще называли эту болезнь, были настолько сильны, что Эфрона положили в Екатерининскую больницу, и он застрял там надолго. Это случилось в конце марта 1938 года, всего через пять месяцев после возвращения на родину.

А затем сменяли друг друга санатории – в Аркадии, под Одессой, на берегу Черного моря, и в Минеральных Водах. Елизавете Яковлевне, сестре, он признался в одном из писем, что за всю жизнь не видел около своей особы такого количества врачей, как в этих санаториях. Понимал ли он, что санатории, в которые он попадал, были совсем другого разряда, чем все

прочие? Ибо его пестовали в самых привилегированных, энкавэдэшных… Не была ли его грудная жаба всего лишь нормальной реакцией организма на сильнейший стресс? Причин для этого было предостаточно. «Акция», спланированная в недрах Иностранного отдела (ИНО) НКВД и завершившаяся в сентябре 1937 года убийством в Швейцарии «невозвращенца» Игнатия Рейсса, считалась в высоком Учреждении «проваленной». Убийцы оставили слишком заметные следы, и швейцарская полиция, объединившись с французской, сумела быстро поймать троих участников операции. Правда, то были участники, так сказать, «периферийные» – непосредственные убийцы успели ускользнуть, – но все же в руках полиции обнаружился конец нити, которая достоверно вела в Москву, в тот самый ИНО. Большевистская агентура оказалась на этот раз пойманной за руку, и советским комментаторам уже затруднительнее стало говорить о «беспочвенных подозрениях», как это было в случае с похищением генерала Кутепова в 1930 году.

Но для сильнейшего стресса хватало и тех обстоятельств, какие встретили Эфрона на родине.

Сергей Эфрон

Все девятнадцать лет жизни на чужбине он страстно мечтал о возвращении.

О блик родины в его собственных глазах не раз менялся. В последние же десять лет, незаметно для самого себя, он создал образ такой страдальческой святости, в котором уже совершенно размылись реальные земные черты.

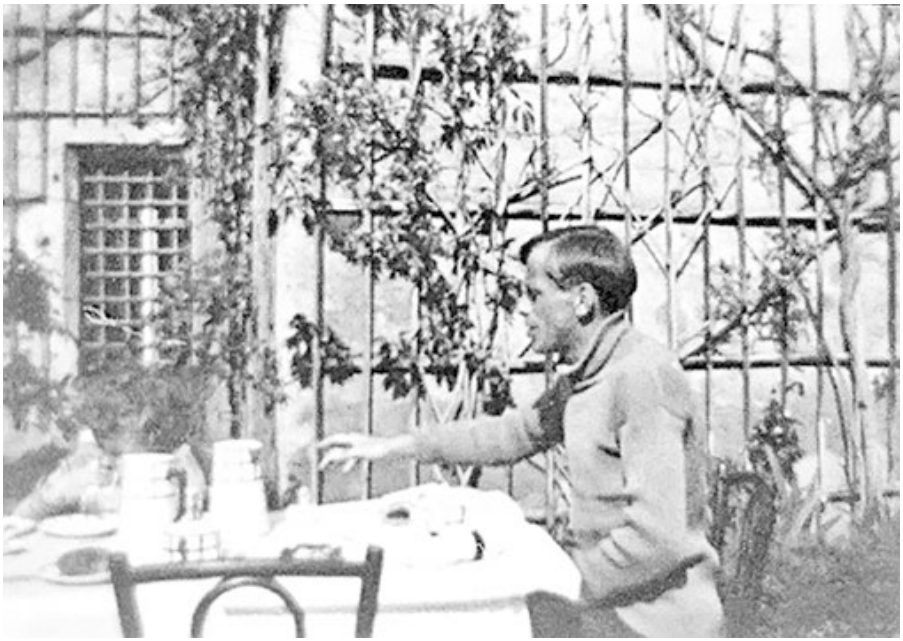
Насколько быстро развеялся теперь в его сознании этот ореол? И успел ли он вообще до конца развеяться за то недолгое время, которое еще оставалось у Эфрона на земле?

К концу 1937-го страна цепенела от страха: в городах и весях шла «великая чистка», железно проводимая недорослком-наркомом с кукольным личиком.

(Открытки с его фотопортретом продавались тогда на всех углах, и я, второклассница, однажды купила такую в газетном киоске – личико понравилось! Моя тетя, приехавшая как раз в эти дни из районного городка под Ленинградом, увидела открытку среди школьных тетрадок и на моих глазах с воплем разорвала ее в клочки. Я не очень поняла, что именно произошло, зато хорошо запомнила. Много позже мне объяснили, что тетя Шура приезжала тогда просить совета и помощи у моего отца, своего брата: только что был арестован ее муж – отец четверых детей.)

Размах арестов должен был бы, кажется, отрезвить самую романтическую голову. Но в одурманенном сознании здравая догадка не задерживается надолго. И, кроме того, именно размах репрессий и не был виден!

Это мы, потомки, знаем его в цифрах, фактах и чудовищных подробностях. А тогда оставалось просторное поле для самоутешения, которое всегда изобретательно. «Головотяпство и вредительство!» – эти слова, постоянно звучавшие из репродукторов, годились для обращения в любую сторону. Они должны были гасить все недоумения – и успешно выполняли свою роль, – во всяком случае, в представлении тех, кого еще не коснулась карающая десница.



Сергей Эфрон в санаториях НКВД. 1938–1939 гг.

Подождите, все скоро разъяснится и исправится. Посадили же Ягоду, несмотря на все его могущество, на скамью подсудимых! А XVIII съезд партии осудил уже и «крайности ежовщины»! Конечно, лес рубят – щепки летят. Но без ошибок не свершишь такое великое дело – социализм…

Весной 1938 года в Москве проходил третий и самый крупный политический процесс из тех, что ошеломили весь цивилизованный мир. На скамье подсудимых сидели теперь участники «правотроцкистского блока», и среди других – Николай Иванович Бухарин.

(Всего два года назад Эфрон видел и слышал его в Париже – энергичного, жизнерадостного. Он читал тогда свой доклад в зале Сорбонны по-французски.

Большие выдержки из доклада поместил затем журнальчик «Наш союз», выходивший в Париже под эгидой «Союза возвращения на родину». И Сергей Яковлевич посылал в отель «Лютеция», где остановился Бухарин, своего старого друга и коллегу Николая Андреевича Клепинина – для необходимых согласований…)

Заседания суда проходили в сравнительно небольшом Октябрьском зале Дома Союзов, вмещавшем около трехсот зрителей. Был ли среди них Сергей Эфрон? В принципе – мог бы: сотрудники НКВД и наполняли зал чуть не на две трети. Но если

присутствие Эфрона можно только предполагать, то достоверно известно другое: в зале находился давний друг Сергея Яковлевича Илья Эренбург. Он только недавно приехал из Испании в Москву и как корреспондент «Известий» получил доступ в Октябрьский. В какой-то момент он оказался совсем рядом с Бухариным – они были знакомы с давних времен – и не узнал его! Настолько тот изменился.

Много толков вызвал на этом процессе эпизод, когда один из подсудимых – замнаркома иностранных дел Крестинский – во всеуслышание отрекся от всех показаний, которые он давал на предварительном следствии. Это укоренило зерно сомнения у иных скептиков, давно уже подозревавших инсценированность процессов. Впечатление было сильнейшим. Но эпизод обсуждали с оглядкой – и только в самом узком кругу.

Крайне тревожно должно было прозвучать для Эфрона и его давних сподвижников по секретной службе во Франции упоминание на процессе – в опасном контексте – имени полпреда СССР в Париже Членова. Что это означало для тех, кто имел с ним дело еще совсем недавно?

Друг молодости Сергея Яковлевича, ставший мужем его сестры Веры, Михаил Фельдштейн, юрист по образованию, поначалу пытался адаптировать недавнего эмигранта к советской реальности, снять с его глаз бельма иллюзий.

– Но надо же тогда протестовать, если это правда! – восклицал прекраснодушный Сергей Яковлевич, наслушавшись всяких страстей.

Фельдштейн был арестован немногим позже полугода после приезда Сергея Яковлевича на родину, – летом 1938-го.

Страшных и непонятных фактов было предостаточно. Но тяжелейшими для Эфрона стали те, которые касались вернувшихся из Франции эмигрантов. Каждого из них он знал в лицо. И вот посыпались новости, одна другой чудовищней: арестован, арестована, и этот тоже, и та.

В иных случаях еще можно было предположить какие-нибудь промахи, болтовню, мало ли что. Но что было думать об аресте Дмитрия Петровича Святополк-Мирского, умницы, интеллектуала, сподвижника по «Вёрстам» и «евразийству»? Или Николая Тимофеевича Романченко? Его Эфрон знал еще по Праге как чистейшей души человека. Усомниться в них было то же, что усомниться в самом себе…

Но исчезали не только бывшие эмигранты.

А что было думать об аресте Мандельштама? Двадцать лет – не такое уж долгое время (когда оно позади!), и в памяти Сергея

Яковлевича был жив облик юного кудрявого Осипа, заливавшегося хохотом по любому поводу. В 1916 году, когда он приезжал из Петрограда в Москву, влюбленный в Марину, и дебоширил у них в «обормотнике» на Сивцевом Вражке, – кто мог представить себе?.. Его арестовали (уже во второй раз!) в мае того же 1938-го.

Эфрон приехал на родину тайком, тоже спецрейсом, как и Марина с Муром, и тоже на пароходе, только он носил имя «Андрей Жданов». Приехал в составе группы лиц, как считалось, замешанных в так называемом «деле Рейсса».

Четверых из этой группы (а может быть, ими состав группы и исчерпывался) теперь можно назвать поименно. То были С. Я. Эфрон, Н. А. Клепинин, Е. В. Ларин и П. И. Писарев. Отбор был достаточно случаен, чтобы не сказать странен. Ибо потом, на допросах, Клепинин будет настаивать на том, что ни он, ни Эфрон прямого отношения к «акции» с Рейссом не имели, они исполняли другие задания разведки. Но высокие чиновники из парижского отделения НКВД еще раньше отбыли в Москву. И список высылаемых из Парижа составляли люди, не слишком осведомленные в подробностях.

Так как группа привезена тайком – всем даны здесь новые фамилии. Сергей Яковлевич теперь уже не Эфрон, а Андреев, Клепинин – Львов, а Ларин – Климов.

Официально считалось, что Эфрон исчез где-то в Испании, – такова принятая версия. Резон ясен: если он (как и остальные) здесь, в Москве, то это аргумент в пользу участия Страны Советов в «акциях» и с Рейссом, и с похищением генерала Миллера. Исчезновение всех четверых из Франции совпало с моментом, когда французская полиция вышла на «советский след» в том и другом «деле».

Заводить новых знакомых вновь прибывшим не слишком рекомендуется. Да и с давними (доэмигрантскими) друзьями общаться можно лишь ограниченно. При всем том встречена была группа в Москве вполне заботливо. В декабре на месяц они отправлены в Кисловодск, в санаторий, – отдохнуть и набраться сил. А по возвращении в Москву поселены в Замоскворечье, в престижной Новомосковской гостинице, окнами выходящей на Кремль.

Привлекать их к новой работе не спешат. Правда, сразу же по приезде было сказано нечто не слишком внятное о возможности их отправки на спецслужбу… в Китай. Но чиновник, сообщивший об этом, вскоре куда-то отбыл, как говорили – в Париж. И исчез.

Только в феврале Эфрона и Клепинина вызвали к начальству на Лубянку. Неизвестно, порознь или совместно с каждым из них

шла беседа. С человеком, который теперь их принял – это С. М. Шпигельглас, заместитель начальника Иностранного отдела НКВД А. А. Слуцкого, – встречаться в Париже Эфрону и Клепинину уже приходилось, и в последний раз не так уж давно – в июле 1937-го. Но имени его они тогда не знали.

Со Шпигельгласом снова был разговор о работе в Китае. И опять какой-то неопределенный. Не потому ли, что в самом здании на Лубянке происходили как раз в те дни события непонятные и тревожные – даже для тех, кто вольготно расположился в важных креслах.

Именно в феврале 1938 года тело начальника ИНО Слуцкого было выставлено для последнего прощания в служебном зале: он скончался в кабинете другого своего «зама» – Фриновского – с подозрительной внезапностью. Внезапность мало кого из сослуживцев обманула.

Теперь Эфрон и Клепинин получили распоряжение ждать вызова к Фриновскому для решения своей участи. Две ночи подряд они провели в здании на Лубянке в тягостном ожидании (именно ночи, ибо сказано было, что их примут около двух часов, таков был тогда порядок!). И оба раза около трех часов утра прием отменяли.

Еще раз Шпигельглас вызвал Клепинина в апреле, тоже среди ночи. (Сергей Яковлевич уже был тогда тяжело болен.) И в течение двух часов пробавлялся болтовней о пустяках, время от времени прерывавшейся вопросом: способен ли он, Клепинин, выполнить задание, связанное с риском для жизни? – Где? В Китае? – Может быть, вовсе и не в Китае, для этого не обязательно выезжать за рубеж.

Разговор опять ничем конкретным не увенчался. А в июле исчез и Шпигельглас.

НКВД усердно пожирал теперь уже собственных детей.

Летом 1938 года Ежов был еще, казалось, в зените своего могущества. Однако вскоре его заместителем был назначен Лаврентий Берия. И когда в декабре «маленького наркома» окончательно отодвинут с арены, советские граждане, с жадностью хватающиеся за любую надежду, в очередной раз будут говорить друг другу: «Ну вот, зло наказано…» Тем более что Берия начинает с громовых обличений «головотяпства» в хозяйстве своего предшественника.

Дом в Болшеве

Тем, кто уцелел из ежовских кадров, трудно было ощущать себя в безопасности. Впрочем, чей «кадр» был Сергей Эфрон? Ответить на вопрос трудно. Завербовывали его скорее все же люди Яна Берзина, а не Ягоды или Ежова.

Именно Берзин возглавлял в тридцатые годы Разведывательное управление; Эфрон и его сотоварищи всегда называли себя «разведчиками».

Но и Берзин был расстрелян летом 1938-го.

В том же году Эфрону было предоставлено жилье в подмосковном местечке Болшево.

Здесь ему отвели половину одноэтажного бревенчатого дома с двумя террасами, с камином в гостиной и паркетными полами. Паркет настлан, но воду надо носить из колодца; канализации, естественно, тоже нет. И туалет, по российскому обычаю, – во дворе.

Дом стоит прямо в сосновой роще. Вокруг него обширный участок с невырубленными деревьями – просто кусок леса – обнесен забором. Поблизости есть еще два таких же дома, но обитателей их не видно. Клепинины въехали на свою половину первыми, Сергей Яковлевич появился позднее, в октябре, вернувшись из очередного санатория, – загорелый, поздоровевший. Вместе с ним поселилась Ариадна. Ей было

крайне неудобно ездить из Болшева в свою редакцию на электричке, но нежная любовь к отцу все перекрывала, и до приезда матери с братом Аля только изредка оставалась ночевать в Москве, у тетки в Мерзляковском.

Три уединенные дачи были выстроены в Болшеве в начале тридцатых годов для высокопоставленных сотрудников «Экспортлеса».

Та, в которой поселили Клепининых и Эфронов, предназначалась для директора «Экспортлеса» Бориса Израилевича Крайского. Он успел пожить тут почти четыре года – в 1937-м его арестовали. И с этого времени дача считалась уже собственностью НКВД. В ней поселили начальника Седьмого управления НКВД Пассова. После странной смерти Слуцкого Пассова посадили в его кресло. Но прошло немного времени – и Пассова увезли из Болшева на родную Лубянку. Только уже не в собственный кабинет, а во внутреннюю тюрьму.

Нина Клепинина с Билькой

«Дом предварительного заключения» – так назвала болшевское убежище язвительная Нина Николаевна Клепинина.

До приезда Цветаевой именно ей принадлежала роль лидера в распорядке жизни обитателей болшевского дома.

К июню 1939 года их тут уже девять человек.

Одних Клепининых, то бишь теперь Львовых, – семеро: Николай Андреевич, Нина Николаевна, старший сын Алексей с женой и новорожденным малышом, другой сын Дмитрий и двенадцатилетняя дочь Софа. Николай Андреевич и Алексей работают в ВОКСе (Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей). Нина Николаевна только недавно, летом 1939 года, сумела устроиться на службу в контору «Интурист» и время от времени уезжала на дежурства в какой-то гостинице.

Незадолго до прибытия Цветаевой с Муром все младшие в

доме получили от Клепининой строжайшее внушение: в комнаты Эфронов не входить, к Марине Ивановне не приставать, в гостиной и на террасах не шуметь. «Цветаева – великий поэт, – сказала детям Нина Николаевна, большая поклонница поэзии вообще и цветаевской в частности (знакомы с Цветаевой они были еще со времен Берлина), – а поэты не такие, как обычные люди. Покой Марины Ивановны должен быть священным».

Николай Клепинин

Мите и Софе, а также молодым супругам – Алексею и Ирине – отныне строжайше запрещалось лишний раз дергать и Сергея Яковлевича. Предупреждение это было не лишним, потому что Эфрон уже успел приучить младших к полному панибратству. Когда здоровье позволяло, он охотно с ними возился, откликался на любое предложение игры, сам затевал всякие розыгрыши.

Всегда приветливый, улыбающийся, он не давал никому повода догадываться о том, что было у него на душе, – даже своей дочери.

Правда, Дмитрий Сеземан (сыновья Нины Николаевны были от первого ее брака и носили эту фамилию) вспоминал, что слышал однажды через стенку громкие, в голос, рыдания Сергея Яковлевича. Но Сеземан слишком часто недостоверен.

3

«Там была чудная атмосфера» – так вспоминала болшевское время Ариадна Эфрон спустя двенадцать лет, в одном из писем Борису Пастернаку.

Можно не сомневаться в искренности ее признания. Но верится ему с трудом.

Пожалуй, даже и вовсе не верится. «Чудной» атмосфера в Болшеве могла быть разве что для самой Али, в ту пору счастливо влюбленной. Впрочем, и Нина Гордон, близкая подруга Ариадны, не однажды приезжавшая с ней в Болшево, тоже вспоминает «легкий, веселый день», проведенный здесь.

В ее воспоминаниях есть совершенно идиллический эпизод:

«…Зимний морозный вечер тридцать девятого года.

Муля и я в Болшеве у Али, – еще до приезда Марины Ивановны. Ужинаем вчетвером – Аля, Сергей Яковлевич, Муля и я – в Алиной комнатке. Топится печка, неяркий свет лампы под потолком, на столе клетчатая скатерочка, окна занавешены, на стене свежая еловая ветка, и от нее пахнет Рождеством; вкусный ужин, тихий, какой-то радостный разговор, надежда на скорый приезд Марины и Мура, Алины шуточки, громкий ее смех, добрая, с мягкой иронией улыбка отца. Какие-то все радостные, оживленные. Уют, покой…

Кто мог подумать тогда, как зыбок и ненадежен этот покой, как жестоко и безжалостно будет уничтожена эта семья…»

Но Сергей Яковлевич не мог не ощущать зыбкости болшевского покоя!

Уже были арестованы многие его друзья и соратники. Он пытался и ничего не смог сделать для них. Неудачные попытки защиты уже могли бы прояснить ему, что здесь он ни для кого ничего не значил, что его заступничество – не более чем писк в мышеловке. Догадывался ли он об этом? Или уже понимал?

Строго говоря, все происходящее вокруг не должно было бы оказаться для него совсем уж неожиданным.

Меньше чем за месяц до стремительного отъезда из Франции

Эфрон мог многое узнать от своей давней приятельницы Веры Трейл, в сентябре 1937 года вернувшейся из Москвы. Вера пробыла в Советской России достаточно долго. Она обучалась в подмосковной школе разведчиков НКВД и привезла тогда в Париж известия о множестве арестов, которые коснулись людей, знакомых им обоим. Двадцатого сентября Вера Александровна родила дочь. Она лежала в одной из парижских клиник, и Сергей Яковлевич много дней подряд навещал ее там – так что времени у них было предостаточно. (Я знаю об этом непосредственно от В. А. Трейл, с которой успела обменяться несколькими письмами в конце 1979 года.) Известия она привезла ужасающие. Но Веру Сергей никак не мог заподозрить в преувеличениях или плохой информированности.

В Болшево нередко наезжали репатрианты. В основном это были сподвижники Эфрона по службе в советской разведке за рубежом. Они приезжали с пугающими новостями, вопросами, – а иные с растерянностью и надеждой на поддержку.

В 1938–1939 годах здесь побывали Тверитинов, Афанасов, Смиренский, Балтер, Яновский, Кондратьев. Тот самый Вадим Кондратьев, которого в 1937-м разыскивала французская и швейцарская полиция как участника «акции» под Лозанной в сентябре того же года. Тогда его портреты были помещены – для опознания – во множестве французских и бельгийских газет. Кондратьев был в родстве и дружбе с Клепиниными, и потому Нину Николаевну вызывали в те дни во французскую полицию и настойчиво допрашивали, что она о нем знает (Николая Клепинина к тому времени в Париже уже не было). Кондратьев был раньше других переправлен в СССР, а здесь вскоре отправлен на юг – в санаторий. В Болшеве он объявился в конце 1938-го и как гость Клепининых прожил там некоторое время.

Заслуженным кадрам Учреждения нередко давали тепленькие местечки – и свою работу они продолжали в новых условиях. Так, приехавшего из Бельгии Писарева назначили директором столичного кафе «Националь», облюбованного московской художественной элитой и сотрудниками НКВД. Другой репатриант – с теми же заслугами – Перфильев – стал директором известного столичного ресторана «Арагви». И в директорских комнатах «Националя» и «Арагви» устраивались свидания сугубо секретного свойства…

Но все же приехавшие не чувствовали себя защищенными.

Кондратьев избежал ареста на родине, скорее всего, потому, что из-за туберкулеза почти сразу уехал на Кавказ. Там лечился, а затем ему предложили остаться на юге и служить. Родные Кондратьева рассказывали мне, что, приехав в Грузию, Вадим

Филиппович пытался уговорить свою жену бежать морем в Турцию; она не решилась. Умер он своей смертью, в Москве, от туберкулеза, но на его могиле родным не разрешено было даже обозначить имя покойного.

В 1939 году летом в Болшеве (там уже жила Цветаева) объявился Василий Васильевич Яновский. Он приехал из Испании и с возмущением рассказывал о практике работы советских агентов НКВД в рядах Республиканской армии. Нина Николаевна Клепинина взялась помочь ему в составлении рапорта в органы НКВД. Симптоматичная подробность! Обитателям Болшева расправы с «троцкистскими агентами» в Испании еще представляются возмутительным извращением правильной партийной линии!

«Чудная атмосфера»?

Но не только Ариадна была так безмятежна – притом что шли последние месяцы ее свободы. И Дмитрий Сеземан называет в воспоминаниях то время если не чудным, то «спокойным» и даже «приятным». Ему тогда исполнилось семнадцать. Мать была с ним нежнее, чем с двумя другими своими детьми, чему имелось уважительное объяснение: у Мити был туберкулез. Болезнь то затихала, то обострялась уже не первый год, и в лучах непрерывной обеспокоенной заботы матери мальчик рос себялюбивым баловнем.

Никаких тревожных подробностей не сохранилось и в памяти жены старшего сына Ирины. Естественно, впрочем, что все ее радости и огорчения были целиком сосредоточены на маленьком сыне – да еще на муже, изобретательно уклонявшемся от помощи своей молодой жене. Легко предположить еще и то, что в присутствии невестки в доме не вели никаких серьезных и опасных разговоров. Помимо ее юного возраста, она была «пришлая», не своя.

Ирину удивлял, правда, странный распорядок в доме, когда свекор и свекровь, а иногда вместе с ними и Сергей Яковлевич вдруг отправлялись «на работу», в Москву, совсем поздним вечером на приезжавшей за ними машине. Возвращались утром – посеревшие, усталые, молчаливые. Может быть, это и были ночные вызовы к Шпигельгласу или Фриновскому?

Но она хорошо запомнила случай, когда старшие увезли с собой на целую ночь ее мужа.

Нина Николаевна вошла тогда в их комнату – было поздно, они уже легли – и сказала сыну голосом, не допускавшим ни вопросов, ни обсуждения:

– Поедешь с нами.

Алексей Сеземан

И Алексей поехал. Это вызвало у Ирины разные чувства. Но не страх. Рассказывал ли муж, вернувшись, зачем его возили? Во всяком случае, Ирине это не запомнилось. Значит, не так уж поразило, не напугало. До сих пор Ирине Павловне кажется, несмотря на эти подробности, что предощущения катастрофы, вскоре здесь разразившейся, – не было.

И только Софья Николаевна Клепинина-Львова настаивает: было.

В ее памяти тревога висела в воздухе болшевского дома.

Взрослые прекрасно понимали, пишет Софья Николаевна в своих воспоминаниях, что, скорее всего, им придется разделить судьбу множества ни в чем не повинных людей, которых арестовывали вокруг. Деловитостью, занятостью старшие пытались замаскировать от младших непроходящий страх. Днем делали вид, что все идет как надо, – и каждую ночь ждали ареста…

Спустя полвека после той осени Софье Николаевне довелось прочесть чудовищные документы: протоколы допросов матери и отца в застенках Лубянки…

Порог этого дома и перешагнула вернувшаяся в Россию Марина Цветаева.

Из столицы Франции – шумной, беспечной, сверкающей блеском всегда свежевымытых окон кафе и витрин магазинов – в русскую деревню.

«Деревней» Цветаева называла Болшево в письмах, которые она писала еще в Париже, своей пражской приятельнице Анне Тесковой. Но здесь с первых же минут стало ясно, что муж ее живет не в деревне. И не в селе, и не в городе. Где-то между.

Софья Клепинина

Этот дом, вполне основательный на первый взгляд, стоял таким особняком, отдаленным от всего и всех, что в его стенах, казалось, прочно поселилась настораживающая неприкаянность. В другое время – радоваться бы. Отъединенность от суеты. Приволье для прогулок. Сухая песчаная земля, высокие стройные сосны. Благословенная тишина; только изредка прошумит

проходящий мимо поезд.

19 июня 1939 года стоял жаркий летний день. Уже несколько недель подряд небо было безоблачным. Легкий запах нагретой хвои, неправдоподобная тишина. Даже пес не залаял, выбежав им навстречу: низкорослый белый французский бульдог Билька с розовыми смешными ресницами, привезенный Клепиниными из Парижа, был глухонемым.

Невестка Клепининой, юная Ирина, с нетерпеливым любопытством ожидавшая приезда «парижанки», была разочарована. Парижанка оказалась совсем не эффектной – усталое лицо, стриженые, с сильной проседью волосы, и в тон им – серое платье. Короткие рукава и широкий пояс, охватывающий тонкую талию. Едва поздоровавшись, она прошла на эфроновскую половину – и надолго там исчезла.

Марина Цветаева

Потом, конечно, они познакомились и подолгу стояли друг подле друга на общей кухне, хлопоча над керосинками. Но близкого контакта так и не получилось. Марина Ивановна оставалась замкнутой, молчаливой, неулыбчивой, будто ушедшей глубоко в себя.

Нет ничего, впрочем, странного в том, что все казались ей лишними в эти первые дни свидания с мужем. Слишком долгой была разлука. Слишком многое произошло за эти восемнадцать месяцев, которые они провели по разные стороны нескольких государственных границ.

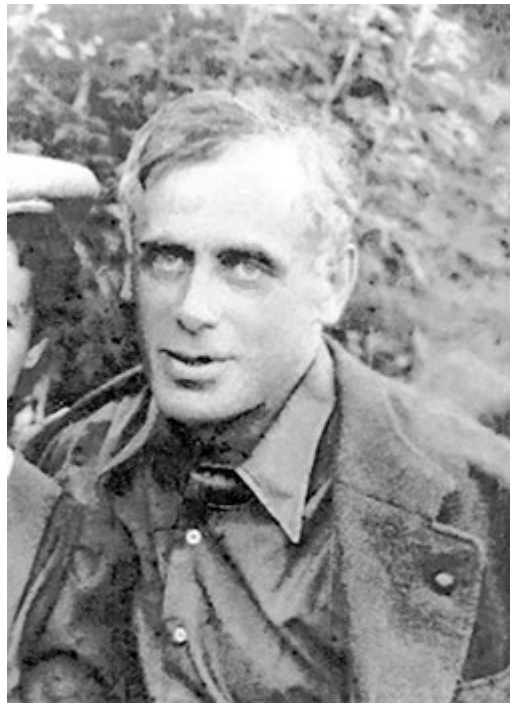
Арест Аси и Андрюши не укладывался в сознании. Но, кроме всего прочего, легко предположить, что Марина Ивановна испытала острейшее чувство дискомфорта, оказавшись вдруг в условиях коммунальной квартиры. Не только «места пользования» (замечательный термин советского общежития) были общими, общей была и гостиная, так что нельзя было выйти из комнат без свидетелей.

Трагические события, навсегда отметившие это место, поделят срок болшевского заточения Цветаевой почти пополам. Лишь первые девять недель пройдут в относительном спокойствии. И потому придется решительно оспорить утверждение Виктории Швейцер в ее книге, будто Болшево было «самым спокойным и счастливым временем: все были живы и вместе».

Какое там! Никаких следов душевного благополучия, да даже и относительного спокойствия мы не найдем ни в сохранившихся записях самой Марины Ивановны, ни в рассказах уцелевших современников.

Трудно представить себе их встречу.

За долгие месяцы разлуки Цветаева прошла Голгофу общеэмигрантского осуждения и отторжения. Муж скомпрометировал ее в глазах всего русского Парижа скоропалительным исчезновением в октябре 1937-го. Несколько недель подряд его имя не сходило тогда со страниц парижских газет. И хотя конкретная роль Эфрона в «акции» была совершенно не ясна, газеты не церемонились с обвинениями.



Сергей Эфрон

Все эти месяцы разлуки сердце ее жгла прежде всего боль жестокой несправедливости по отношению к чистейшему в ее глазах Сергею Яковлевичу. Если она и допускала в самом деле, что доверие его могло быть обмануто и против воли он оказался втянут во что-то сомнительное, то только обманом и только против воли – не иначе.

В чистоту помыслов и намерений мужа она верила тверже, чем в непогрешимость папы римского. Но сколько у нее должно было возникнуть вопросов в те тяжкие месяцы! И тогда, когда в полиции предъявили ей странную телеграмму от января 1937 года – для опознания почерка, и когда множество уличающих подробностей запестрели на страницах эмигрантских газет…

И вот после всего пережитого – встреча.

Что они рассказали друг другу? О чем спросили? В чем признались? Мы уже никогда об этом не узнаем.

Сохранились лишь некоторые осколки достоверного. Но именно осколки. Ибо это почти закодированные записи Цветаевой в ее дневнике. Они сделаны год спустя.

Стоит прекрасное цветущее лето. На участке сооружен примитивный душ – можно и облиться холодной водой, если станет невмоготу от зноя. Настоящее купание далеко, и обитатели дома ленятся туда ходить.

Сергей Яковлевич вбил между двух сосен железный прут и подвесил на нем физкультурные кольца. Их использовали редко, хотя с приездом Мура – чаще: Эфрон считал, что мальчик для своих четырнадцати лет полноват и ему надо заниматься спортом. И кроме того, спорт, физкультура высоко котировались в советском обществе тридцатых годов.

(Эти кольца!.. Мы о них еще вспомним…)

Семья наконец-то собралась вместе. Правда, две эфроновские комнатки очень малы, просторна только гостиная, общая с семьей Клепининых. Мебель – самая примитивная, нет даже платяного шкафа. Одежда, стыдливо прикрытая простыней, висит прямо на гвозде, вбитом в стену.

Но к этому Марине Ивановне не привыкать: почти всегда в эмигрантские годы они так и жили.

В доме – сносный достаток; Сергей Яковлевич получает жалованье, хотя в эти летние месяцы он редко ездит в город – болезни его не оставляют.

Кухня – увы! – общая. И потому труднее махнуть рукой на гору невымытой посуды, отложить до другого часа. А мытье посуды – целое событие, то есть долгое отнятое время, когда в доме нет водопровода.

В будние дни семьи порознь готовят еду и порознь обедают.

Объединяются по воскресеньям. Тогда накрывают стол на одной из террас, и тут хватает места не только для постоянных обитателей, но и для гостей.

Гости не часто, но бывают. Чаще всего это родня Клепининых и Эфронов. Приезжает Лиля, Елизавета Яковлевна, сестра Сергея, – теперь это седая красивая женщина с огромными лучистыми глазами; приезжает восемнадцатилетний Константин, сын Веры Яковлевны. Приезжает Ариадна. После того как здесь поселились мать и брат, она уже не живет в Болшеве постоянно, но, когда появляется, привычно берет на себя хозяйственные хлопоты: стирает, готовит обед, моет посуду. Она весела и улыбчива, однако Цветаева запишет потом странную фразу о ней в своем дневнике: «Энигматическая (то есть загадочная. – И. К.) Аля. Ее накладное веселье…»

Тем, кто знал Марину Ивановну в болшевский период ее жизни, больше всего запомнились тяжелая замкнутость, хмурая молчаливость – и неожиданные вспышки раздражения.

К общему столу она выходила из своей комнаты отстраненно вежливая, с потухшим взглядом. Казалось, ей нужно было усилие, чтобы включиться в общую беседу или ответить на вопрос, к ней обращенный. «Женщиной с неоттаявшим сердцем» называла

Цветаеву Ирина Горошевская, юная жена Алексея Сеземана.

С. И. Клепинина-Львова отмечает другую подробность, которой с трудом веришь, настолько она расходится с тем, что мы знаем о Марине Ивановне по другим свидетельствам.

Цветаева, настаивает Клепинина, была крайне неласкова и даже сурова, жестка с сыном! Двенадцатилетняя Софа, воспитанная строгой, но неизменно выдержанной матерью, буквально остолбенела, оказавшись однажды свидетельницей пощечины, доставшейся Муру от Марины Ивановны. И повод-то к тому был, как ей помнится, пустячный.

Мур плакал тогда, спрятавшись ото всех, а однажды – так вспоминает Софья Николаевна – «чуть было не убежал под электричку»…

Внешне холодная, глубоко ушедшая в себя Цветаева теперь нередко взрывалась. Доставалось обычно тому же сыну. Но Горошевская запомнила и другой случай. Когда с безумным криком Марина Ивановна выбежала из своей комнаты, услышав, как Ирина выронила из рук кастрюльку с детской кашей у самой двери Эфронов.

Эта глухая замкнутость, эта перемена в отношении к сыну и болезненная резкость реакций дают основания предположить, что в Болшеве, едва вернувшись на родину, Цветаева переживает какое-то сильнейшее потрясение, к которому она оказалась абсолютно не готова.

Нечто, от чего она не может прийти в себя.

Естественно в таком состоянии жаждать уединения. Но в болшевском доме она не может остаться наедине с собой. Каждый ее шаг – на глазах других. И это усугубляет внутреннее напряжение. Мешают все, мешает даже обожаемый сын, временами невыносимо упрямый и капризный. На нем, как на совсем своем (в этом случае всегда хуже срабатывают тормоза), Марина Ивановна срывается особенно часто.

Но в чем же дело, что означает это напряжение? Ведь даже спустя полгода, в Голицыне, в писательском доме, ее видели уже иной. Гораздо более спокойной и контактной. Там, за общим табльдотом, она временами даже блистала – так что все вокруг затихали, прислушиваясь к ее рассказам о Чехии и о Франции или к рассуждениям на литературные темы…

Что потрясло ее в Болшеве, вскоре (или даже сразу) по приезде? Кажется, тут и гадать нечего: достаточно ареста любимой сестры и ее сына. А еще ареста Миши Фельдштейна, которого она знала еще со времен давнего счастливого Коктебеля. И ареста Мандельштама. Скорее всего, она узнала и об аресте Святополк-Мирского, дружба с которым родилась во Франции;

как раз в этом июне он уже умер в лагере. Чего она наверняка не знала, так это того, что совсем неподалеку от Болшева, в Калуге, в это время жил вернувшийся из лагеря Никодим Плуцер-Сарна. Все это были люди из ее жизни, их судьбы были тесно сплетены с ее собственной судьбой.

Так. И все-таки… Нельзя ли предположить и еще одну причину? Именно ту, что здесь, в Болшеве, Марина Ивановна осознает, с кем же связал себя ее муж. Во Франции это называлось «Союз возвращения на родину». И еще: «советское полпредство». А после 1936 года – «Испания». Однако в их браке давно уже не было открытой доверительности, каждый жил своей жизнью до конца.

Но перед возвращением в СССР люди из «полпредства» должны были разъяснить ей, что ее муж – советский разведчик и потому ей придется по возвращении на родину соблюдать некие правила и запреты. Я делаю это допущение по аналогии: Ариадна Эфрон в письме, посланном из Туруханска на имя министра внутренних дел Круглова с просьбой о реабилитации (от 22 сентября 1954 года), рассказала о том, что в Париже, в советском полпредстве, перед самым ее возвращением на родину, с ней провели подобную беседу. Цель беседы была инструктивная (и, по-видимому, запугивающая): «Поскольку Ваш отец – советский разведчик…» Впрочем, ничего конкретного в случае с Цветаевой не известно.

Однако слово «разведчик» все-таки еще окрашено оттенками жертвенности и самоотречения, хотя щепетильный слух нашего современника и тут различит сомнительный привкус жертвы не только собственной. Далекой от политики Марине Ивановне неоткуда было знать, что уже в мае 1937 года Разведуправление Красной армии было объединено с НКВД. И что с этого момента Эфрон принадлежал к ведомству, связанному самой прямой преемственной связью с ГПУ и Чека. Никакие оговорки не могли отменить того, что служил он теперь в том самом Учреждении, которое поглотило и Асю, и ее сына Андрюшу, и всех остальных. Очутившись в Болшеве, Цветаева впервые осознала эту чудовищную истину.

За четыре месяца, которые она провела здесь с мужем почти безвыездно – с 19 июня до 10 октября, – можно было успеть переговорить обо всем на свете. Что же сказал ей теперь Сергей Яковлевич? Что понял он сам, вернувшись на родину? Ведь еще в Париже, за две-три недели до его высылки, в эмигрантской и французской прессе появились отрывки из письма Рейсса в Центральный Комитет партии большевиков. Уже тогда они могли стать первыми толчками прозрения. Да еще устрашающие

сведения, которые привезла из Москвы Вера Трейл. Какой же болью, физически разрывавшей сердце, отозвались в нем догадки об истине! Может быть, те рыдания, о которых упоминает в своих мемуарах Сеземан, не стоит целиком относить на счет причуд памяти Дмитрия Васильевича?.. Трудно сказать, был ли Сергей Яковлевич теперь до конца откровенен с женой. Хотя многого ей и не нужно было знать, чтобы понять главное.

«Его доверие могло быть обмануто – мое к нему останется неизменным». Так сказала она о муже на допросе во французской полиции. Доверие Сергея Яковлевича действительно оказалось жестоко обманутым. Не эта ли догадка составила самое тяжкое потрясение для Цветаевой в первые же недели ее пребывания на родной земле?

5

Существуют два достоверных свидетельства, принадлежащие перу самой Цветаевой, которые помогают до некоторой степени ответить на этот вопрос. К сожалению, именно до некоторой степени – и сейчас мы это увидим.

Только год спустя, после долгой волокиты, Цветаева получит с таможни свой багаж и достанет из кожаного кофра записную книжку, в которой она сделала последние парижские заметки. Первые строки, появившиеся на родной земле, написаны 5 сентября 1940 года. Цветаева коротко записывает события годовой давности:

«18-го июня приезд в Россию, 19-го в Болшево. На дачу, свидание с больным С. Неуют. За керосином. С. покупает яблоки. Постепенное щемление сердца. Мытарства по телефонам. Энигматическая Аля, ее накладное веселье. Живу без бумаг, никому не показываясь…»

Прервем запись, чтобы отметить ее необычную стилистику: это почти что шифр! События, факты фиксируются сухо, пунктирно. Тем весомее отдельные формулировки. То, что С., это Сергей Яковлевич – понятно. Но главное скрыто между строк, за строками, за словами. Чуть дальше Цветаева пояснит: «Все это – для моей памяти и больше ничьей: Мур, если и прочтет, не узнает. Да и не прочтет, ибо бежит такого».

Пояснение, далекое от исчерпанности.

Ибо на стилистику явственно влияет знание, приобретенное Мариной Ивановной после обысков и арестов в Париже. Спустя год она уже хорошо представляет себе опасность письменного слова.

Эмилия Литауэр

Продолжим цитирование:

«Торты, ананасы – от этого не легче. Прогулки с Милей. Мое одиночество. Посудная вода и слезы…»

Упомянута Миля – это Эмилия Литауэр. Давняя близкая приятельница Клепининых и Эфрона.

(Тогда ей тридцать пять. Из России ее подростком увез отец, она училась в Марбургском университете в Германии, потом окончила Сорбонну, лиценциат философии. Участвовала в евразийском движении, сотрудничала в газете «Евразия», публиковала в ней статьи на историко-философские темы – о Гуссерле, о Хайдеггере, о персонализме. Вступила во Французскую компартию. Из Франции приехала почти пять лет назад. И с тех пор как в Болшеве поселились Клепинины, она здесь – почти ежедневная гостья. Самый близкий ей человек в болшевском доме – Клепинина. Те, кто еще теперь жив, не сговариваясь, запомнили Эмилию стоящей за стулом Нины Николаевны и как бы вторящей всему, что та говорила.)

Но вернемся к дневнику Цветаевой. Чуть далее:

«Болезнь С. Страх его сердечного страха. Обрывки его жизни без меня, – не успеваю слушать: полны руки дела, слушаю на пружине. Погреб: 100 раз в день».

И еще, через несколько фраз: «Начинаю понимать, что С. бессилен, совсем, во всем…» И – рядом: «Обертон – унтертон всего – жуть».

Нота бене! Ведь это уже воспоминания; это спустя год Цветаева оставляет зарубки для своей памяти о первых днях и неделях болшевской жизни.

О самых первых! До ареста дочери! О дне ареста будет сказано позже. И именно тут – признание: «обертон – унтертон всего – жуть».

Тут можно домыслить многое…

Но почему, среди другого, в этой записи сказано: «мое одиночество»? Это звучит странно: ведь в Болшеве семья наконец-то снова собралась вместе, ее теперь не разделяют государственные границы, непреодолимые расстояния. Не переносит ли Цветаева из 1940 года в 1939-й свое ощущение сиротства? В сентябре 1940-го действительно около нее уже нет ни мужа, ни дочери…

Однако сохранилось еще одно свидетельство, на этот раз прямо из тех дней.

Это запись в так называемой «Болшевской тетради».

Цветаева завела тетрадь через месяц после приезда. Педантично отметила в ней дату: 21 июля 1939 года. На первом листке написаны два слова: «природа помощь», причем трудно сказать, цветаевский ли это почерк. Слова вполне могли бы принадлежать Марине Ивановне. Но почему они здесь – неясно. Напоминание самой себе – в минуты сердечной тяжести?

Тетрадь предназначена для работы над переводами стихотворений Лермонтова на французский язык. Приближался юбилей поэта – 125 лет со дня рождения. Марина Ивановна решила перевести несколько лермонтовских стихотворений, чтобы затем предложить их в «Ревю де Моску» – еженедельник, где работала Ариадна. Можно уверенно сказать, что в эти дни она берется за перевод не ради заработка, а потому, что без творческой работы, без нескольких утренних часов уединения за столом с пером в руке, она страдает, ей невмоготу Это всегда так было – и почему бы измениться теперь?..

И вот на обороте странички, запечатлевшей перевод стихотворения «В полдневный жар, в долине Дагестана…», – прозаический текст, почерком Цветаевой, на французском языке. Неясно, почему на французском? Ведь в болшевском доме все, кроме Ирины, этот язык знали. Не из-за нее же…

Текст в переводе на русский звучит так:

«Я ощущаю здесь собственную бедность, которая кормится объедками (любовей и дружб всех остальных). Судомойка – на целый день (19 июня – 23 июля), 34 длинных дня, с 7 ч. утра до 1 ч. ночи. “Ничего, это ненадолго!” Но все-таки это 34 дня моей

жизни, моей головы, моих мыслей. Только я, я одна, выливаю грязную воду из-под посуды в сад, чтобы таз под раковиной, переполняясь через край, не пачкал пол. Одна, без всякой помощи. Да и просто – одна.

Все вокруг здесь поглощены общественными проблемами (или кажутся поглощенными): идеи, идеалы и т. д. – слов полон рот, но никто не видит несправедливости в том, что у меня облезает кожа на руках, – натруженных от работы, которую никто не ценит».

На обороте страницы – дата: 22 июля 1939 г.

Далее в тетради идет текст «Казачьей колыбельной».

Усталость, раздражение, жалоба – все слилось в этой записи, сделанной, по-видимому, наспех. Это не попытка осмысления пережитого за месяц, это только мимолетный отвод горечи, не более. И хотя запись сделана на «секретном» (от неведомых чужих глаз) французском языке, в ней – ни полслова о том, что же происходит за пределами болшевского дома. Доминирующая нота – отчужденность от всех внутри домашних стен.

И похоже, что посуда и грязная вода в тазу – только повод, чтобы признаться самой себе: опять среди чужих…

Когда два десятилетия спустя «Болшевскую тетрадь» впервые раскрыла вернувшаяся из ссылки Аля, ее рассердила эта запись. В ее памяти все было не так! Это она, Аля, вела хозяйство, мыла посуду – не мать! Такое «опровержение» и записала, со слов Ариадны Сергеевны, в свою книгу «Марина Цветаева в жизни» Вероника Лосская. Но бессмысленно подвергать сомнению искренность Цветаевой перед собой. В Ариадне Сергеевне (я сама тому свидетель) временами прорывалась застарелая раздраженность по отношению к матери. Ей самой все бытовое давалось легко и никогда не составляло страдания. Для Марины Ивановны – составляло. Настолько, что засилье «бытового» она вообще отказывалась называть «прозой жизни», настаивая: это не проза, это трагедия! Потому что быт обирает живых людей, не давая им осуществить себя…

Я не нашла места во всем моем повествовании, чтобы сказать о том, как отношения матери и дочери сложатся в будущем. Здесь, пожалуй, не слишком уместно это делать, но я все же не хочу, чтобы читатель совсем об этом не узнал.

Цветаева не угадала: Ариадна – уже через десятилетия после гибели Марины Ивановны – проявила себя преданной дочерью, прекрасно осознающей ценность материнского наследия. Неутомимо и ревностно она собирала ее рукописи, формировала и комментировала материнский архив, собирала воспоминания о ней и принимала самое интенсивное участие в первых советских

публикациях и изданиях цветаевского наследия.

И другого мать не угадала. В дочери обнаружился яркий талант: уже после всех перенесенных арестов и лагерей Ариадна Эфрон стала блистательной переводчицей французских поэтов – и получила признание самых больших специалистов.

Однако болшевская запись об одиночестве вобрала в себя и некий новый оттенок.

Очевидно, что на коммунальной площади загородного дома Цветаева оказалась в теснейшем ежедневном контакте с людьми совсем иного, чем она сама, душевного замеса и склада. И дело в данном случае вовсе не в поэтическом даре.

В самом деле, все те личные друзья Марины Ивановны, которых она сама выбирала: Волконский, Бальмонт, Сонечка Голлидэй, Анна Ильинична Андреева, Ариадна Берг – были явно «из другого теста». Даже Марк Слоним, даже Елена Извольская – люди, вовсе не лишенные общественного темперамента, – и они были иной внутренней породы, чем Клепинины, Эмилия, даже и Сергей Яковлевич. Не высшей, не низшей – иной. Это трудно обозначить в рациональных понятиях. Что же, как не разница породы, уберегло этих выбранных самой Цветаевой друзей и от «Союза возвращения», и – тем более – от связей с какими бы то ни было «секретными службами»? У них была другая генеалогия – и в ней не было ни Желябовых, ни Клеточниковых. Марк Слоним или Анна Ильинична Андреева тосковали об утрате родины не менее горячо и сильно, чем «возвращенцы». Но вернуться в теперешнюю Москву они просто не могли. И причины были внутренние, а не внешние. Они сделали единственный возможный для себя выбор. У Цветаевой он был отнят ее семьей.

Но вернемся к «Болшевской тетради».

Знаменательна в записи почти презрительная обмолвка о поглощенности обитателей дома политическими проблемами.

«Идеи», «идеалы», «слов полон рот», – пишет Цветаева. И мы слышим голос автора поэтического цикла «Гамлет», обличавшего «героев» высокой фразы; слышим и отголосок пафоса «Читателей газет»…

Не сами идеи и идеалы ее всегда раздражали, но их опасная двухмерность, бескровность, книжность. Этот тип интеллигента она разглядела уже давно: легкого на клятвы, болеющего всегда не меньше чем за все человечество – и не замечающего в упор ничего, что рядом.

Бесконечные разговоры об «идеалах» в ее глазах – симптом. Опознавательный знак, мета. За которой чаще всего –

структурные дефекты личности или, скажем осторожнее, – ее особенности. И эти «особенности» мы еще – увы! – увидим…

Итак, в записи сказано и об этом – об ощущении себя, так сказать, инородным телом среди прочих болшевцев.

Между тем никакой иной среды здесь у Марины Ивановны нет.

Ибо по существу она живет под домашним арестом.

Мария Белкина приводит в своей книге фразу, сказанную уже в ноябре Пастернаком Анатолию Тарасенкову (последний занес ее в свой дневник): о том, что Цветаева вернулась на родину и живет здесь инкогнито. Но почему же инкогнито?

Вразумительного ответа ждать пока не от кого, хотя похоже, что причина – та же, какая вынудила ее мужа носить фамилию Андреев. Ибо если Эфрона нет в СССР, значит, и жены его здесь не должно быть. Дабы и вопросов не возникало. Потому-то ее выезды из Болшева если не запрещены, то «не рекомендованы». Что для советских граждан было равносильно строжайшему запрету.

За все время с середины июня по 10 ноября 1939 года достоверно известен единственный выезд Цветаевой в Москву. В дневниковой записи 1940 года дата этой поездки означена отсчетом от дня ареста Ариадны: «Последнее счастливое видение ее, – дня за 4 – на Сельскохоз. выставке “колхозницей” в красном чешском платке – моем подарке. Сияла».

Значит, это было в двадцатых числах августа. Цветаева получила паспорт 21 августа, скорее всего – в Москве. Не оттого ли и стало возможным посещение выставки?

Но все это означает, что Марина Ивановна оказалась обреченной на ежедневное общение с людьми, которых она в друзья себе не выбирала. Может быть, это тоже объясняет нам остроту ее жалобы в «Болшевской тетради»?..

6

При всем том чета Клепининых по-своему замечательна. Одна из наиболее ярких ее черт состояла в теснейшем сплетении глубокой и деятельной религиозности – с сильнейшей потребностью в общественной активности.

Нина (по документам она Антонина) Николаевна, урожденная Насонова, дочь известного ученого-биолога, еще до революции получившего звание академика, училась на Бестужевских курсах, потом занималась живописью у Петрова-Водкина. Была секретарем Городской продовольственной управы

в период Февральской революции. Позже – уже во Франции – примкнула к евразийскому движению. В тридцатые годы была одним из инициаторов основания Патриаршего прихода в Париже на улице Петель, подчинявшегося российскому патриарху.

Николай Андреевич Клепинин во время Гражданской войны – поручик деникинской армии, «сиделец» в Константинополе, а в 1926 году – участник Первого зарубежного монархического съезда. Через короткое время – он уже член ЦК «евразийской организации». Затем поездка в Америку и учеба в университете Бостона. По возвращении – недолгое время – сотрудник издательства «ИМКА-Пресс», секретарь Русского Богословского института в Париже. Журналист, сотрудник еженедельника «Завтра», автор нескольких статей в философском журнале «Путь» и двух книг. Родной брат священника Дмитрия Клепинина, получившего известность прежде всего благодаря тому, что в годы Второй мировой войны он был сподвижником матери Марии, спасавшей евреев от фашистов.

Знакомство Клепининых с Эфронами произошло давно. Сын Клепининой Алексей Васильевич утверждал даже, что его мать знала Марину Ивановну еще со времен учебы на Бестужевских курсах – уже тогда они бывали в общих компаниях. Потом встречались в Берлине. И уж затем – во Франции, где жили неподалеку друг от друга. А в 1933 году супруги Клепинины завербованы Сергеем Яковлевичем в советские спецслужбы. Нина Николаевна возглавит вскоре бельгийскую группу эмигрантских секретных сотрудников. В феврале 1936 года – знаменательный эпизод. Исполняя поручение советской разведки, она поедет с семьей в Норвегию, дабы подтвердить место проживания Троцкого. Она даже беседует со знаменитым человеком минут пять-семь, о чем впоследствии ей придется писать – уже арестованной! – «объяснительную записку» в стенах Лубянки.

Дмитрий Журавлев. Москва, 1940 г.

Клепинины любят поэзию, неплохо ее знают, при случае и сами способны написать стихи. А Нина Николаевна временами что-то переводит с русского на французский, и кажется, именно поэзию.

Супруги Клепинины с уважением, заботой и почтением относятся к Марине Ивановне. Это проявится и на допросах. Ибо там их будут спрашивать и о Цветаевой…

В это лето по выходным дням в болшевском доме устраивали иногда нечто вроде литературных вечеров. Как чтец тут блистал молодой и талантливейший Дмитрий Николаевич Журавлев. Он приезжал в Болшево вместе с Лилей Эфрон, которая была его режиссером. И превосходно читал стихи и прозу. Тут были его любимые слушатели и, кроме того, замечательная площадка для «прокатывания» новых программ.

Читает свои стихи и Марина Ивановна. В такие вечера ее видят оживленной и приподнятой. Она преображается.

Что же именно она здесь читает? Ни двенадцатилетняя Софа, ни юная жена Алексея Сеземана совсем не знали тогда цветаевской поэзии. Ирине Павловне запомнилось неопределенное: «Что-то о белых лебедях…»

Неужто она здесь читает свой «Лебединый стан»? В стране победившего воронья? Но какие еще могут быть лебеди, кроме тех, обреченных, среди которых был тогда ее Сережа? «Лебединый стан», стихи о Белой армии, созданные в трагическое трехлетие 1918–1920.

– Где лебеди? – А лебеди ушли.

– А вороны? – А вороны – остались.

Елизавета Яковлевна Эфрон

В памяти Дмитрия Сеземана сохранилось и другое: чтение Цветаевой стихотворений Пушкина, переведенных ею на французский язык.

А однажды после чтения Журавлевым глав из «Войны и мира» в один из таких вечеров возник спор. Прослушав эпизод первого бала Наташи Ростовой, Цветаева задумчиво сказала: «Толстой умудрился влезть в шкуру портнихи. Вероятно, это хорошо». Это «вероятно» вызвало тогда оживленную полемику…

Крайне недоброжелательный по отношению к Цветаевой Д. Сеземан, человек категоричных суждений, слишком

часто основанных на субъективных пристрастиях и антипатиях, все же отдает должное Марине Ивановне, вспоминая ее чтение на этих домашних вечерах. В такие часы, пишет Сеземан, «наступали моменты, когда даже не чрезмерно чуткому мальчишке открывалось в Марине Ивановне такое, что решительно отличало ее от каждого из нас. ‹…› Она сидела на краю тахты так прямо, как только умели сидеть бывшие воспитанницы пансионов и институтов благородных девиц. Вся она была как бы выполнена в серых тонах: коротко стриженные волосы, лицо, папиросный дым, платье и даже тяжелые серебряные запястья – все было серым. Сами стихи меня смущали, слишком они были не похожи на те, которые мне нравились и которые мне так часто читала моя мать. А в верности своего поэтического вкуса я нисколько не сомневался. Но то, как она читала, с каким-то вызовом или даже отчаянием, производило на меня прямо магическое, завораживающее действие, никогда с тех пор мной не испытанное. Всем своим видом, ни на кого не глядя, она как бы утверждала, что за каждый стих она готова ответить жизнью, потому что каждый стих – во всяком случае в эти мгновения – был единственным оправданием ее жизни. Цветаева читала, как на плахе, хоть это и не идеальная позиция для чтения стихов».

Анастасия Цветаева с сыном Андреем

Однако был, оказывается, один выезд Цветаевой из Болшева летом 1939 года – тайный.

В Тарусу. Точное время поездки неизвестно, но, скорее всего, то был еще разгар лета. Марина Ивановна одна отправилась в любимые места своего детства не за воспоминаниями. Она непременно хотела узнать хоть что-то конкретное об обстоятельствах ареста Аси, сестры. Ибо Анастасия Цветаева с сыном были увезены на Лубянку именно из Тарусы. Марина разыскала там подругу сестры, Зою Михайловну Цветкову – в ее доме и «взяли» Асю и Андрюшу. Услышала ее тяжкий рассказ. И провела два дня в тех местах, где когда-то ей было по сердцу каждое деревце, каждый поворот дороги…

Софья Клепинина вспоминала, что особое напряжение сгустилось над болшевским домом как раз незадолго до приезда Марины Ивановны и Мура.

И это очень правдоподобно.

Ибо в начале лета тревога не могла не охватить всех, кто

имел какое-либо отношение к ВОКСу. Организацию «трясло» уже давно – с того момента, как был снят со своего поста и вскоре посажен на скамью подсудимых нарком внешней торговли СССР Аркадий Розенгольц. Арестован был и председатель ВОКСа писатель Александр Аросев, совсем недавно ездивший вместе с Бухариным в Париж.

Разнообразная деятельность общества включала обслуживание иностранных гостей, приезжавших в СССР, – делегаций и «индивидуалов». Тут часто устраивались приемы, на которых рядом с иностранцами и советскими деятелями разных сфер и рангов всегда толклись журналисты. Переводчики – как, разумеется, и сотрудники НКВД – были здесь постоянными посетителями.

БОКС был прибежищем многих вернувшихся с чужбины русских: где, как не здесь, они могли использовать свое чуть ли не единственное преимущество перед другими: хорошее знание французского языка.

Теперь, в июне 1939-го, арестовали Нину Мосину – редактора информационного бюллетеня ВОКСа. Она была из бывших эмигрантов, из числа тех, кому помог вернуться на родину Эфрон!

С Мосиной были знакомы и Ариадна, и старший Клепинин, числившийся референтом Восточного отдела ВОКСа, и пасынок Клепинина Алексей Сеземан.

Но обитатели болшевского дома еще не догадываются, насколько опасно для них обвинение, предъявленное арестованной. Ибо обвиняют ее в привлечении на работу в ВОКСе «троцкистских кадров». Понятно, что любой бывший эмигрант наилучшим образом годился под аттестацию такого типа.

Журнал, в котором сотрудничала Ариадна – «Ревю де Моску», – имел с Мосиной самые прямые контакты. А в последние месяцы Ариадна и старший Клепинин как раз усиленно хлопотали об устройстве на работу в редакцию еще одного «кадра»: их приятельницы – Эмилии Литауэр. Она все еще не имела постоянной службы…

Цветаева уже жила в Болшеве, когда стала известна другая новость: 27 июля арестовали еще одного сотрудника ВОКСа – Павла Николаевича Толстого. Он тоже был из числа вернувшихся эмигрантов, тех, с кем во Франции был хорошо знаком Эфрон. Теперь же с ним поддерживали контакт и Ариадна, и Эмилия Литауэр, и Алексей Сеземан – последним двум он давал время от времени переводы для заработка.

Скрыли ли это от Марины Ивановны, оберегая ее от лишних переживаний? Трудно сказать. Хотя знать это было бы важно:

насколько с ней теперь были откровенны и муж и друзья мужа?

Бесспорно другое: все эти новости должны были восприниматься Клепиниными и Эфроном не иначе как приближающиеся шаги Командора.

7

Как оценивали на болшевской даче происходящее вокруг?

Насколько расстались с иллюзиями, вывезенными из эмигрантского далека, – о стране социализма и о великом эксперименте? Насколько обольщались еще надеждами? Теперь об этом уже можно сказать с достаточной уверенностью. Свидетельствуют страшные документы эпохи: протоколы допросов. Ибо шестеро из тех, кого видела и слышала Марина Ивановна этим летом под соснами просторного дачного участка, или на террасе дома, или у камина в гостиной, спустя всего три-четыре месяца будут давать показания в кабинетах следователей НКВД.

Приходится, конечно, постоянно иметь в виду принужденность их признаний, возможность выдумок – того, что нельзя даже назвать клеветой, памятуя об условиях, в какие попадали узники советских тюрем. Но все же. Сравнивая показания шестерых, их совпадения и расхождения, соотнося с тем, что из письменных и устных воспоминаний узнаёшь о личности этих людей, все-таки можно отделить сочиненное от реального. И потому теперь уже есть какая-никакая возможность ответить на вопросы, которые еще совсем недавно оставались без ответа.

Помогают в этом и изданные в 2004 году дневники сына Цветаевой. Вчитываясь в них, уже можно видеть, что процесс осознания реальности у обитателей и гостей болшевского дома шел разными темпами. Наиболее энергично освобождались от заблуждений супруги Клепинины. Нина Николаевна и Николай Андреевич не стесняются говорить о том, что эксплуатация человека вовсе не исчезла, а сталинская конституция – фикция, с которой никто не считается. Они говорят и о низком уровне жизни в стране, о нищенской зарплате за адский труд, о безграмотности и бескультурье советских редакторов журналов и газет, о нелепостях цензурных установок. И о разгуле репрессий. О том, что все друг друга теперь боятся, не на кого опереться и ни в ком нельзя быть уверенным. И что в НКВД все пересажали друг друга…

Сергей Яковлевич и Ариадна не разделяют столь резкой

позиции своих недавних сподвижников. Пыльца с крылышек надежд у них еще не облетела. Они спорят с Клепиниными и гораздо более цепко держатся за иллюзии, вывезенные из Франции. Они отказываются верить в неправдоподобное зло, уже открыто правившее великой державой. Поверить и в самом деле было трудно. Изощренность и глобальный размах сталинской дьяволиады очевиден нам, потомкам. И только этим можно объяснить упорное непонимание советского кошмара журналистами, писателями, учеными Запада, приезжавшими в СССР или издали следившими за развитием событий.

Младшие – Мур и Митя – помалкивают, но вслушиваются в эти перебранки. И спустя год будут ссориться друг с другом, отыскивая виновных в том, что вскоре случилось в Болшеве.

Николай Андреевич все чаще выпивает. И теперь ему уже хватает одной рюмки, чтобы потерять контроль над собой. И вот, когда контроль потерян, этот мягкий умница и душевно тонкий человек позволяет себе самые безоглядные высказывания.

Он попросту зло матерится по адресу высших властей и порядков в стране.

Вспоминала ли теперь Нина Николаевна разговор со своими родителями в середине тридцатых годов, когда те приезжали из СССР в Париж на короткое время? Как ужаснулись они, услышав о намерении дочери вернуться с семьей на родину! Как пытались предупредить ее относительно нараставшей в стране волны арестов – и как в ответ весело и упрямо дочь, Нина Николаевна, отвергала все предостережения.

– Детей хоть пожалейте! – услышала она тогда от матери. Но отмахнулась и от этого.

Вернувшись и довольно скоро поняв промашку, Нина Николаевна осталась верна себе: она и на родине – до поры до времени – пыталась жить не по чужой указке.

Как и другим сотрудникам зарубежных советских спецслужб, ей нельзя было выезжать из Москвы без позволения высокого начальства. Но она ездила – и, кажется, не однажды – в Ленинград: повидаться с родней и друзьями. Не полагалось переписываться с заграницей – она делала это, используя любую оказию. Запрещено было говорить непосвященным о своих связях с НКВД (это называлось «расшифровать себя») – Клепинины и с этим запретом мало считались.

Вся их молодость прошла в свободной стране – чужой и неблагополучной, но свободной Франции, – и им была абсолютно непонятна психология тех, кто здесь, в родных краях, уже двадцать с лишним лет подряд, год за годом, в страхе за себя и

своих ближних, отвыкал от свободы, внешней и внутренней.

И уж у себя-то дома, в своем кругу, Клепинины тем более не оглядываются, не осторожничают. Они говорят все, что им приходит в голову. В те годы можно было еще не бояться «ушей» в стенах и потолках, жучков-микрофончиков, которые загнали – спустя четверть века – советского интеллигента на кухню или в ванную. Туда, где беседа надежно заглушалась шумом радио или льющейся потоком воды.

На болшевской даче говорили друг с другом без всяких помех.

Как вскоре выяснилось, и это было неблагоразумно.

Ибо есть устрашающая подробность в показаниях арестованных.

8

Всякий, кто приезжал в Болшево из Москвы, вез с собой ворох свежих газет и журналов. Читали их здесь с въедливой пристальностью, хотя трудно представить себе что-нибудь менее похожее на реальную жизнь, чем советские газеты конца тридцатых годов. Если же все-таки вообразить себе, что некий отдаленный потомок попробует довериться этим страницам, первым его простодушным выводом будет тот, что Страна Советов в лето 1939 года жила постоянным ожиданием очередного небывалого праздника. Или небывалого свершения.

Поддержание в своих читателях перманентно приподнятого градуса существования, похоже, представлялось задачей номер один редакторам всех без исключения советских газет.

Они писали о великих стройках или – в крайнем случае – о великих замыслах. Кружили головы сообщениями о сверхдальних полетах летчиков, о завершении строительства Большого Ферганского канала. Подробнейшим образом обсуждали поправки к проекту Дворца Советов. Грандиозное сооружение предполагалось увенчать стометровой статуей Владимира Ильича. Президент Академии архитектуры Веснин произносил по этому поводу патриотические речи. Архитектор Иофан рассуждал о создании особого «советского стиля» в архитектуре.

Двадцатого июля состоялся помпезный, как всегда, физкультурный парад, и даже генеральная его репетиция подробно освещалась прессой. В этот год репетиция началась на Красной площади 16 июля в три часа утра – с оркестром и со всей роскошью оформления! Среди прочих выдумок на этот раз был футбольный мяч высотой с двухэтажный дом. Он катился по

Красной площади, а на его маковке непонятным образом держалась живописная пирамида спортсменов, преданно вперившихся в трибуны.

В восторженный отклик «Известий» неожиданно вторглись воинственно-агрессивные ноты. «Окрыленные счастьем дочери и сыновья великого советского народа, – надрывно вещал корреспондент, – напоминают, что они умеют не только работать и отдыхать, но готовы сокрушить любого врага, который вздумает посягнуть на нашу любимую родину…»

Чуть позже, в августе, в День авиации, в Тушине был разыгран другой мощный спектакль – и далеко не все поняли, что то была инсценировка: бомбардировщик бросал бомбы на некий дальний объект, где вспыхивало всамделишное пламя, черными тучами дыма закрывавшее горизонт.

Приближалось долгожданное открытие грандиозной Сельскохозяйственной выставки. Из номера в номер «Правда» и «Известия» помещали фоторепортажи о павильонах разных республик. На фотографии узбекского павильона сельскохозяйственные экспонаты затмевала монументальная скульптура: Ленин и Сталин сердечно беседуют, сидя рядышком на скамейке.

Праздник торжественного открытия Выставки был назначен на 1 августа. Этот день стал неким ликующим центром лета.

Бывшая Сухаревка, где двадцать лет назад бурлила знаменитая толкучка и молодая Цветаева выменивала шило на швайку, чтобы прокормить двух своих девочек, – была переименована в Колхозную площадь. Здесь и состоялся всенародный праздник.

Около двухсот флагов развевались над главным павильоном Выставки, где были установлены трибуны. Берия и Вышинский вместе с другими вождями взирали на организованно пришедшие массы.

Открытие состоялось, начались будни. Но газеты ежедневно заполнялись радостными сообщениями о прибытии на выставку многочисленных делегаций со всех краев и областей огромной страны. Август стоял на дворе – самая страда уборки урожая. И все же тысячи посланцев из сельских районов страны продолжали высаживаться из вагонов на столичных вокзалах – и газеты приглашали своих читателей радоваться по этому замечательному поводу.

На первой странице августовских «Известий» Алексей Толстой с художественным присвистом пел свой дифирамб советской отчизне, скромно озаглавив его «Фундамент счастья»: «Некогда нищая Россия вынеслась далеко вперед самых

передовых стран… За плугом, глубоко вспахивающим исторические целины коммунизма, шел товарищ Сталин, партия и правительство СССР, опираясь на разум и творческие силы народов одиннадцати советских республик. И одушевленные построением изобильного, счастливого нового мира, они построили его».

Так утверждал писатель, заслуги которого перед отечественной литературой были вознаграждены открытием особого личного счета в Государственном банке. Он продолжал, пьянея от собственного энтузиазма: «На этой выставке колхозник и колхозница, подбоченясь, смело могут сказать: “Ну, как вы там – за рубежом, а вы чем за эти годы похвастаетесь?” Хвастаться за рубежом как будто и нечем…»

И вот 24 августа на первых полосах всех газет появились крупные фотографии: довольные лица Сталина и Молотова рядом с Риббентропом и Гауссом. Пресса и радио принесли известие о событии, которое, как сказали бы еще вчера, потрясло все прогрессивное человечество.

Страна, на которую только что не молились антифашисты всех континентов как на несокрушимый заслон германской агрессии, заключила с Гитлером Пакт о ненападении.

Через два дня, прервав переговоры, Москву покинули военные миссии Англии и Франции.

Еще через день внеочередная сессия Верховного Совета ратифицировала Пакт и – одновременно – приняла закон о всеобщей воинской повинности. В зале, как сообщали газеты, «аплодисменты достигают стихийной вихревой силы при появлении товарища Сталина»…

Ровно через неделю станет известно о начале массированного наступления немецких войск в Польше. Информация в советской печати теперь будет подаваться с явным сочувствием к агрессору. Читателю предлагалось поверить в то, что поляки виноваты сами: не идут ни на какие уступки, вынуждая гитлеровцев на военные действия!

Еще было не до конца очевидно то, в чем пришлось убедиться в самом ближайшем будущем: началась Вторая мировая война.

Война, о возможности которой Марина Цветаева с каким-то вещим ужасом напряженно думала еще в последние месяцы своей жизни в Париже…

Как отнеслись к заключению Пакта обитатели болшевского дома? Догадаться несложно. Ибо если политической дальновидностью похвастаться они не могли, то уж ненависть к фашизму разделяли со всей «левой» европейской

интеллигенцией. Им трудно было – до поры до времени – придумать не только оправдание, но даже прагматическое объяснение этому шагу советского правительства. И только некоторое время спустя, когда вдруг возникла острая жизненная необходимость «освободить» Западную Украину и Западную Белоруссию от гнета польских панов и прочих поработителей, смысл происшедшего стал яснее.

Но это произойдет позже.

Косвенным свидетельством отношения болшевцев к «замирению» с гитлеровским режимом окажутся рисунки, которыми – через месяц-другой – будет восхищать своих одноклассников Георгий Эфрон. То были яркие и злые антифашистские шаржи. Мур рисовал их без устали, дома и в школе, раздавая всем, кто ни попросит.

Глава 2
Аресты

1

Итак, 23 августа заключен Пакт с гитлеровской Германией.

А 27 августа рано утром в Болшеве была арестована Ариадна. Ждали чего угодно, но не этого.

Аля приехала накануне вместе с Гуревичем. И он остался ночевать, как уже не раз бывало. Год спустя Цветаева кратко записала в своей тетрадке события того страшного утра.

Еще не кончилась ночь, когда с улицы настойчиво постучали: милиция! проверка паспортов! Открыла дверь Марина Ивановна. Трое в штатском в сопровождении коменданта спросили Ариадну. Цветаева проводила непрошеных гостей в комнату дочери. Аля, проснувшись, протянула паспорт. И, после его осмотра: «А теперь мы будем делать обыск!» «Постепенно понимаю, – записывала Цветаева. – Аля – веселая, держится браво. Отшучивается ‹….› – Где ваш альбом? – Какой альбом? – Ас фотокарточками. – У меня нет альбома… – У каждой барышни должен быть альбом!»

Искали что-то под кроватью, за чемоданами, отовсюду торчали подошвы ботинок. Бегло просматривали книги, вырывая первые страницы с надписями. Проснувшийся Мур, одевшись, молча наблюдал за происходящим. Наконец произнесено: «Вы арестованы». Клепинина принесла чай, потом одеяло – вместо шали. Наспех собрала теплую одежду и Цветаева. «Аля уходит, не прощаясь! Я – Что ж ты, Аля, так, ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо – отмахивается. Комендант (старик, с добротой) – Так – лучше. Долгие проводы – лишние слезы…»

Не было еще и девяти утра, когда гости уехали, увозя с собой Ариадну.

В те дни в болшевском доме привычно гостила Миля Литауэр. Сотрудники Лубянки, проводившие обыск, спросили документы у гостей – Гуревича и Литауэр. Записали в протокол имена, данные прописки, место службы. Для Эмилии это оказалось роковым. Несколькими часами позже снова подъехала энкавэдэшная машина со срочно изготовленным ордером на арест, – увезли и Литауэр. Ариадна еще увидит свободу – для Эмилии это утро оказалось последним на воле.

Когда вечером этого страшного дня в Болшево примчалась

Нина Гордон (ей сообщил о происшедшем вернувшийся в Москву Гуревич), она застала на эфроновской половине дома мертвую тишину.

«Терраса была пуста. Марина Ивановна и Сергей Яковлевич сидели в комнате. Внешне и она, и он были спокойны, только плотно сжатые губы да глаза выдавали запрятанную боль. Я долго пробыла там. Говорили мало. Обедали. Потом Марина Ивановна собралась гладить. Я сказала: “Дайте я поглажу, я люблю гладить”. Она посмотрела долгим отсутствующим взглядом, потом сказала: “Спасибо, погладьте” и, помолчав, добавила: “Аля тоже любила гладить”.

Я стояла и гладила, молча и тихо глотая все время подступавший к горлу комок, а Сергей Яковлевич все сидел и сидел на постели и неотрывно глядел на стол. Его глаза, огромные, застывшие, забыть невозможно…»

В ближайшие же дни больной Эфрон уехал хлопотать в Москву. Вряд ли ему удалось попасть на прием к кому-нибудь достаточно ответственному. У него не было здесь «важных связей». Все отмахивались от таких просьб и вопросов – их были сотни. По свидетельству Клепинина, Сергей Яковлевич пребывал в эти дни в состоянии глубокого отчаяния. Теперь он уверен был и в собственном аресте.

И все-таки написал письмо на имя наркома внутренних дел. Он ручался за политическую благонадежность дочери и Эмилии Литауэр. Как и следовало ожидать, никакого действия письмо не возымело. Вряд ли вообще был какой-нибудь ответ. Но письмо дошло до адресата – Эфрону припомнят потом его текст, когда он сам уже будет в застенках Лубянки.

С некоторым запозданием Мур начал в сентябре ходить в болшевскую школу Он сразу обратил на себя внимание, так что потом его легко вспоминали соученики, когда почти через полвека в Болшеве стали разыскивать все возможные сведения о Цветаевой и ее семье. Мальчик был красив, высок и доброжелателен. Но прежде всего его выделяла среди других необычная одежда. Он ходил в странных коротких брюках, застегивающихся на пуговички под коленками, в ботинках на толстой подошве, курточке, снабженной молниями где только можно. Внешняя необычность соединялась в нем с общительностью, раскованностью.

Мур вовсе не кичился своей непохожестью на остальных, не грешил высокомерием, он был открыт и разговорчив. А еще его выделял среди других отличный немецкий язык. И талант рисовальщика!

Атака старого дьявола. Рисунок Мура. 1939 г.

Есть одна странная подробность в рассказах его однокашников: они говорят, что Мур охотно рассказывал об Испании, так что у многих создалось впечатление, что он сам там побывал. Фантазии? Или осознанное участие мальчика в версии, придуманной для отца «органами»? Но может быть, отец и в самом деле однажды взял сына с собой в тайную «деловую» поездку?

Ходить в школу надо было через лес, и совместная эта дорога – туда и обратно – успела расположить к Муру попутчиков. Хотя он проучился-то там всего два месяца. Разумеется, никто тогда не имел ни малейшего понятия, кто его

мать и кто отец.

Но на их участке однокашники никогда не появлялись.

Младшие обитатели дачи имели строжайшее указание Нины Николаевны: в гости никого не водить и самим ни к кому не ходить тоже. Они это легко, без лишних вопросов, усвоили, – им даже, пожалуй, нравилось, что они особые, не такие, как все. Поселковые дети тоже это поняли и не совались к «заграничным».

Только однажды мальчик из ближней, «энкавэдэшной» же дачи, скучая, попробовал было заговорить с Муром и Митей, болтавшими по-французски на какой-то ближней опушке. Мальчик сам был из таких же и французский знал. Но не тут-то было! Надменные мальчишки проигнорировали чужака. А он, Леонид Шапиро, много лет спустя вспомнил этот эпизод. Тем более что потом он увидел – так случилось – их дачу опустевшей, со следами поспешного бегства.

Об Але долго не было никаких сведений. Не удавалось переслать ей даже передач: первую приняли от Марины Ивановны только в декабре.

В болшевском доме поселилась особая пустынная тишина.

Подолгу жил теперь в Москве Николай Андреевич Клепинин – в гостинице «Балчуг» у него был постоянный номер. Часто ездила в столицу Нина Николаевна, навещавшая сына в больнице.

Холодало. Все чаще шли дожди и дули осенние ветра. Между тем теплая одежда Марины Ивановны и Мура лежала в их багаже, прибывшем из Парижа еще в начале августа. Багаж застрял на таможне. Сначала из-за отсутствия у Цветаевой советского паспорта, затем препятствием стало то, что адресован был багаж на имя Али.

Гости уже не приезжали на прокаженную дачу.

Некого стало ждать из Москвы в конце рабочей шестидневки.

Видимо, к этому времени относится зрительно четкое воспоминание-зарисовка С. Н. Клепининой-Львовой: «Гостиная с окнами на железную дорогу; у одного из окон стоит Марина Ивановна в характерной для нее позе: сложив руки на груди (с папиросой в правой) и даже чуть обхватив себя за плечи руками, словно поеживаясь; в доме тишина, видимо, никого, кроме нас двоих, нет (это случалось нередко, ибо я не помню, чтобы Марина Ивановна уезжала из дому, в отличие от остальных взрослых). Итак, тишина, сумерки, свет в комнате еще не зажжен, камин тоже не горит: Марина Ивановна стоит у окна вполоборота – я на фоне стекла вижу ее профиль, – но смотрит она в окно. Что-то очень сиротливое, холодное, неуютное. Профиль ее ‹…› был

прекрасен: тонкий, одухотворенный, какой-то летящий…»

Восемнадцатого сентября радио передало речь наркома иностранных дел Молотова. Население Советского Союза оповещалось о переходе войсками Красной армии польской границы, чтобы «взять под защиту жизнь и имущество» братьев-славян в Западной Украине и Белоруссии. Началась эпопея «освобождения».

И уже через день газеты и радио сообщали о ликовании освобождаемых. Без ликования – или проклятий! – жизнь советского гражданина представлялась власть предержащим неполноценной.

«Чудесные перемены», «Жизнь забила ключом», «Львов ликует», – сообщали газетные заголовки.

Как было заведено, активно подключались к очередной кампании деятели искусства.

В Западную Украину отправился знаменитый танцевальный ансамбль Моисеева. На газетных страницах публиковали стихотворные приветствия происходящему Максим Рыльский, Перец Маркиш, Елена Рывина. Стихи были полны пафоса, звона – и такого мертвящего холода, что ни одно из них теперь просто невозможно дочитать до конца.

Тем временем разгоралась война в Европе.

Карта военных действий перекочевала в газетах с четвертой полосы на вторую. Масштаб карты все более укрупнялся. Четвертого октября в одной из центральных советских газет Цветаева могла прочесть леденящее душу сообщение: шедевры Лувра упаковывались для эвакуации из Парижа…

И вот наступило 10 октября. Третий арест на болшевской даче: теперь после обыска увезли на Лубянку Сергея Яковлевича.

На протоколе обыска поставила свою подпись Марина Цветаева.

И снова все произошло на глазах четырнадцатилетнего Георгия. Его состояние было ужасным – об этом рассказывала все та же Софья Николаевна.

Незачем пытаться воссоздать чувства Цветаевой. Можно себе представить только, что ее отчаяние во сто крат усугублялось отъединенностью от тех, кого она могла бы назвать близкими сердцу друзьями…

2

Но где же все это время Борис Леонидович Пастернак?

Неужели давняя нежность и дружба бесследно исчезли к 1939 году и возвращение Цветаевой не пробудило желания немедленно увидеться?

Об этом мало что известно. Но среди гостей болшевской дачи ни в чьих воспоминаниях Пастернак не назван.

О приезде Марины Ивановны он не мог не узнать сразу. Ибо еще со времени своего пребывания в Париже на Антифашистском конгрессе Борис Леонидович поддерживал теплые отношения с Ариадной Эфрон. Мягкой опекой двадцатидвухлетняя Аля старалась помочь тогда ему справиться с тяжелейшей депрессией, которую Пастернак привез с собой из России и мучительно пытался преодолеть.

Борис Пастернак с сыном Леней

С тех пор как весной 1937 года Ариадна приехала в Москву они виделись не слишком часто. Но как раз в июне 1939-го – то было незадолго до ареста Мейерхольда – Пастернак пришел к Але в редакцию журнала. И они отправились на скамейку бульвара, чтобы поговорить вдали от чужих ушей.

(Соотнесенность с датой ареста Мейерхольда я хорошо помню из моего разговора с Ариадной Сергеевной в начале семидесятых годов. Это важно потому, что означает:

Борис Леонидович узнал сразу о приезде Марины Ивановны. Как и о том, что она будет жить в Болшеве.)

Весь июнь Пастернак провел в Москве. Он прервал работу над переводом «Гамлета», чтобы срочно перевести (видимо, то был конкретный заказ) несколько стихотворений венгерского поэта Петефи. В Переделкине его ждала жена с детьми, среди которых был полуторагодовалый Ленечка. Пастернак приедет к ним в самом начале июля.

Переделкино и Болшево – это совсем разные направления от Москвы, так что в июле и августе связь между поэтами была бы затруднительна.

Когда же все-таки они увиделись впервые? Точные сведения об этом отсутствуют.

Критику Тарасенкову Пастернак скажет о приезде Цветаевой в начале ноября 1939 года, и этот человек, постоянно вращавшийся в литературных кругах, выслушает сообщение с изумлением. Спустя пять месяцев с момента приезда Цветаевой на родину об этом никто не знает! В книге Белкиной «Скрещение судеб. Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка времени, людей, обстоятельств» приведена дневниковая запись Тарасенкова, где, среди прочего, – фраза Пастернака: «Она и у меня была всего раз…»

Это может означать, что Цветаева сама приезжала к Борису Леонидовичу. Когда же? В тарасенковской записи – ни намека, ни слова об арестованной дочери или арестованном муже. Может быть, они увиделись еще в июне, до отъезда Пастернака из Москвы в Переделкино?

Однако в других, вызывающих доверие, воспоминаниях (Е. Б. Тагера) отражены колебания Бориса Леонидовича: ехать или не ехать к Цветаевой. И как бы речь идет о том, чтобы увидеться впервые. А вместе с тем Тагер ссылается при этом на черновик осеннего письма своей жены.

Из текста этого черновика следует, что Пастернаку кое-кто из писательской братии ехать к Марине Ивановне не советовал: опасно! слишком опасно!

Что ж, действительно, это было небезопасно. Но ездил же в Болшево Дмитрий Журавлев, ничей здесь не родственник? Бывала и подруга Ариадны Нина Гордон, у которой уже был арестован муж. А давняя подруга Клепининой Лидия Максимовна Сегаль-Бродская гостила здесь с мужем постоянно.

Шли на риск. И знали, что ни от чего не застрахованы.

Можно, впрочем, предположить нечто романтически конспиративное. Борису Леонидовичу, пока он жил в Москве, не столь уж сложно было приехать в Болшево. Они могли бы с Мариной Ивановной предварительно сговориться, скажем, по телефону или через посредничество Ариадны, постоянно курсировавшей между Болшевом и Москвой. Встретиться на пригородном перроне и, никому из обитателей болшевского дома не докладываясь, хоть целый день прогулять по окрестным лесным дорожкам.

Реально. Но, увы, у нас нет этому никаких документальных подтверждений.

Надо еще иметь в виду, что вокруг Пастернака в последние месяцы – сплошные аресты. Вблизи и вдали. Летом 1937 года кончает самоубийством в Грузии – предвосхищая арест – друг Бориса Леонидовича поэт Паоло Яшвили. В октябре того же года в Тбилиси репрессирован другой его близкий друг – Тициан Табидзе. К лету 1939-го в одном только подмосковном поселке Переделкино арестовано более двадцати писателей. Среди них – Борис Пильняк, с которым Цветаева успела подружиться во время его наездов в Париж в начале тридцатых годов, Исаак Бабель, с которым она тоже была знакома по Франции. В мае 1938-го уже во второй раз арестован Осип Мандельштам. Между тем еще за три года до того Пастернак пытался вступиться за него через Бухарина – к тому времени и относится известный телефонный звонок Сталина в пастернаковскую квартиру. В 1935-м Борис Леонидович помогал Ахматовой составить письмо на имя Сталина в защиту ее мужа и сына. И сам отнес тогда это письмо к кремлевским воротам, в специальный – для таких посланий – ящик.

Поведение Пастернака во всех этих ситуациях – безукоризненно. Так что остаются два объяснения: либо он долгое время не знает об арестах на болшевской даче – либо просто мы не знаем (ибо не осталось свидетельств) о его встречах с Цветаевой до начала ноября.

И все-таки очень похоже на то, что в страшные осенние месяцы 1939 года – после ареста Сергея Яковлевича – рядом с Мариной Ивановной не оказалось ни одного по-настоящему близкого ей человека.

3

Тем временем в кабинетах следователей НКВД все более

отчетливо формируются контуры очередного «дела», участниками которого должны стать обитатели и гости болшевского дома.

Отметим в протоколах допросов один неожиданный аспект. Тот, который был ранее назван «устрашающей подробностью».

Арестованных настойчиво спрашивали, в частности, друг о друге и о темах разговоров на даче в Болшеве. Естественно, что все идет под грубейшим и – скорее всего – физическим нажимом. Следствию требуются рассказы отнюдь не про болезни или погоду. Нужны «антисоветские высказывания».

Первой «раскалывают» Ариадну, которая первой была и арестована. Она начинает «признаваться» через месяц после начала допросов. И, как это обычно бывает в таких случаях, чем больше она говорит, тем большего от нее требуют. Добившись мало-мальских конкретностей, ими шантажируют других, вынуждая что-либо добавлять и уточнять.

Веревочка вьется дальше и обрастает понемногу гроздью «признаний», становящихся в конце концов весомой и грозной уликой для обвинения в «антисоветских сборищах».

И когда это преподносят допрашиваемому, тот пытается защититься.

Но как!

Тут-то и возникает шок у читающего протоколы допросов. Шок, от которого нелегко оправиться.

«Самая антисоветских разговоров не вела, – записано в показаниях Ариадны Эфрон, – и ставила о них в известность сотрудников НКВД, с которыми поддерживала связь».

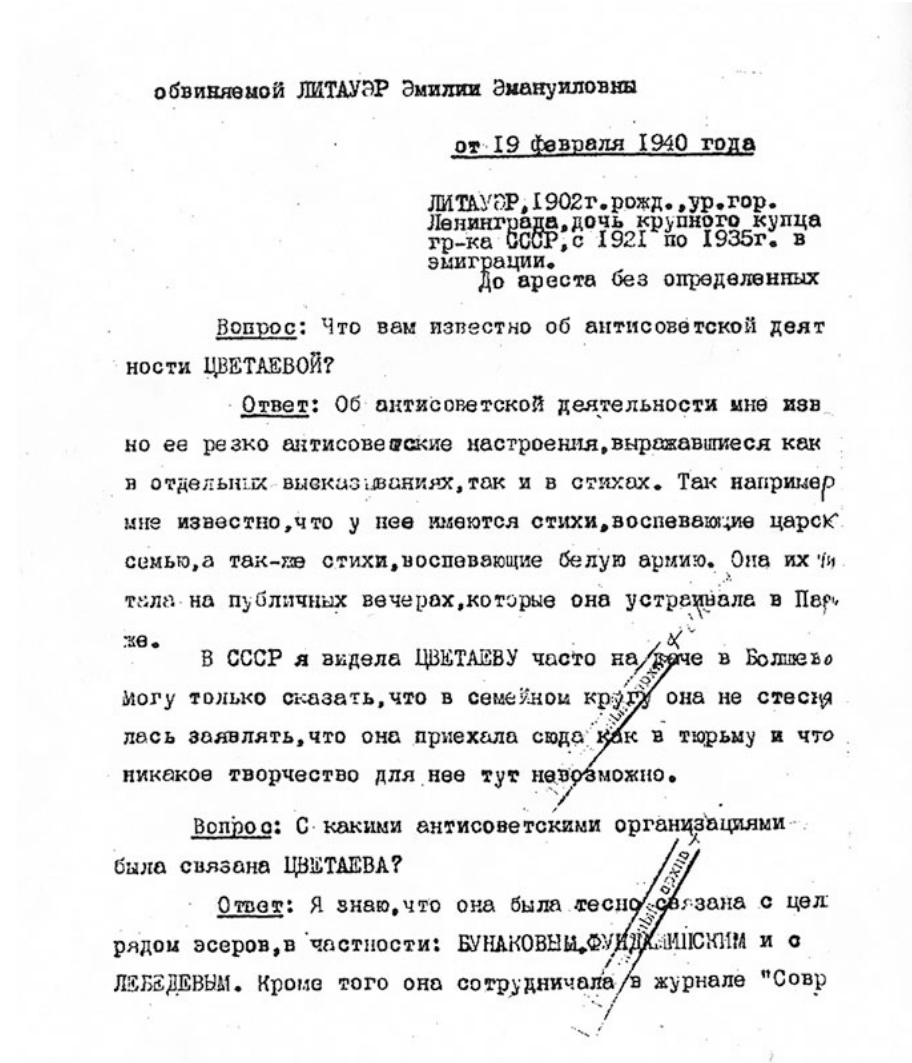
Ставила в известность? То есть как же это? Может быть, тут всего лишь самооговор, попытка защититься в невыносимых условиях?

Но сопоставим эту фразу с тем, что Ариадна Сергеевна рассказывает следователю: перед отъездом из Парижа ей, руководившей молодежной секцией в парижском «Союзе возвращения на родину», было предписано советским полпредством встречаться с некоей сотрудницей НКВД Зинаидой Степановой. И Аля с этой Степановой регулярно встречалась! Она рассказывает теперь, что обычно это происходило в кафе «Националь». И что же: во время этих встреч дочь Цветаевой «информирует» («отчитывается», «сообщает» – кто знает, как это называлось!), в том числе и о том, кто, что и как говорил в ее ближайшем окружении?.. В конце 1937-го Степанова была «отстранена от работы» (видимо, арестована). Ее тут же заменили неким «Иваном Ивановичем», а затем «Николаем Кузьмичом»… Правда, Клепинин на допросах утверждал, что люди эти предназначались для разрешения прежде всего бытовых

вопросов… Тогда почему же Ариадна просила вызвать к ней Зинаиду Степанову на очную ставку?

Но вот и Сергея Яковлевича на одном из допросов уличают в неискренности и укрывательстве преступных высказываний. Ему приводят показания Павла Николаевича Толстого, а потом и дочери, а еще позже и остальных – и требуют подтвердить, дополнить, пояснить.

Что же говорит в свое оправдание Эфрон, сдержаннее и мужественнее многих и многих державшийся на допросах? «Я сообщал об этом устно, – отвечает он. – Я предупреждал, что не доверяю Клепининым». Вот так.



обвиняемой ЛИТАУЭР Эмилии Эмануиловны

от 19 февраля 1940 года

ЛИТАУЭР, 1902г.рожд., ур.гор. Ленинграда, дочь крупного купца гр-ка СССР, с 1921 по 1935г. в эмиграции.
До ареста без определенных

Вопрос: Что вам известно об антисоветской деят ности ЦВЕТАЕВОЙ?

Ответ: Об антисоветской деятельности мне изв но ее резко антисоветские настроения, выражавшиеся как в отдельных высказываниях, так и в стихах. Так например мне известно, что у нее имеются стихи, воспевающие царск семью, а так-же стихи, воспевающие белую армию. Она их ч тала на публичных вечерах, которые она устраивала в Пар же.

В СССР я видела ЦВЕТАЕВУ часто на даче в Болшев могу только сказать, что в семейном кругу она не стесня лась заявлять, что она приехала сюда как в тюрьму и что никакое творчество для нее тут невозможно.

Вопрос: С какими антисоветскими организациями была связана ЦВЕТАЕВА?

Ответ: Я знаю, что она была тесно связана с цел рядом эсеров, в частности: БУНАКОВЫМ-ФУНДАМИНСКИМ и с ЛЕБЕДЕВЫМ. Кроме того она сотрудничала в журнале "Совр

Страница протокола допроса Эмилии Литауэр

А что говорит арестованный Алексей Сеземан?

В ответ на обвинения в подозрительных связях с финским посольством он сообщит, что уже писал в свое время «рапорт» об этом в НКВД.

Тогда случился у него некий разговор с финским чиновником – совершенно невинный! – и законопослушный бывший эмигрант сам на себя строчит докладную. Это Чехов еще мог смеяться, сочиняя веселый образчик «сверхбдительности»: самого себя отвести в участок.

В советское время это уже не смешно.

А Эмилия Литауэр расскажет на допросах о том, как она впервые познакомилась с известным графом Игнатьевым еще во Франции, где тот служил в советском торгпредстве. Затем они встречались уже в СССР. И Эмилия бывала в доме Игнатьева на правах старой знакомой. Там, по ее словам, она молчала, слушала и ужасалась суждениям графа-комбрига о том, что происходит в стране. В частности, суждениям о «деле» Тухачевского и других «красных командиров», расстрелянных в 1937-м. Игнатьев решительно не одобрял этих арестов, ослаблявших, по его словам, Советскую армию. «Но я писала об этом рапорт!» – оправдывается Литауэр перед следователем.

А Клепинин помогал Эмилии эти «рапорты» составлять! И отвозил их – «куда надо»!

Что же это такое? Как это возможно?

Упаси бог бросать запоздалый камень благородного негодования в несчастных узников Лубянки! Совсем не в том дело. Но как все-таки такое оказалось возможным – еще на воле?..

Никакими особенными монстрами обитатели болшевского дома не были. В том-то и дело, в том-то и горе, в том-то и загадка – нравственная, психологическая, – что то были люди не просто бескорыстные, самоотверженные и искренне обеспокоенные всеобщим благом, но еще и глубоко религиозные и – в собственных глазах, как и в глазах окружающих – щепетильно честные.

Понять, что же с ними происходило, значило бы многое понять в нашей отечественной истории тридцатых годов.

Это совершенно невозможно вне исторического контекста.

Между тем именно так подходит к заблуждениям своих родителей мемуарист Дмитрий Сеземан. И потому его оценки предельно просты: «платные агенты» – вот весь его короткий приговор, даром что в числе категорически заклейменных собственная мать. Однако торопливая готовность к осуждению только закрывает путь к различению корней добра и зла, к уяснению причин и следствий. А без этого не поставишь

диагноза. И значит, не излечишь болезнь – в любой момент она вспыхнет с новой силой.

Эпидемия доносительства широко разлилась в Стране Советов во второй половине тридцатых годов. И часто она носит внешне вполне пристойные формы: кто же сам назовет это доносом! Не донос, всего лишь «информация»!

Та же эпидемия, как известно, бушевала и в другой стране – Германии. Здесь и там созданы были условия, в которых вирус этой заразы размножался в благоприятнейшей питательной среде. Понятно, кому это было выгодно, незачем об этом долго распространяться.

Загадочнее другая сторона вопроса: каковы те особенности личности, при которых вирус беспрепятственно проникает в человека, неузнаваемо искажая взращенные годами нравственные ценности? И почему у других даже не возникает искушения пойти той же дорогой? Чем защищены эти последние от общей заразы? Где, в чем иммунитет?

Двадцать лет назад, в один из вечеров 1919 года, в революционной Москве, склонившись над дневником, двадцатисемилетняя Марина с пером в руке неторопливо размышляла на тему, которая иному показалась бы не заслуживающей слишком серьезного внимания. Перебирая оттенки, записывая всякий едва мелькнувший вариант контекста, она снова и снова вслушивалась в смысл самых простых, самых обиходных слов: «хочу» и «могу», «не хочу» и «не могу».

Она будто чувствовала, что наткнулась на что-то совсем не пустячное, на нечто, соприкасающееся с самой природой человека, с самыми глубинами этой природы, а может быть, – вопрос термина! – с самыми высотами духовного его мира.

«Мое “не могу” – некий природный предел, не только мое, всякое… “Не могу” священнее “не хочу”. “Не могу” – это все переборотые «не хочу», все исправленные попытки хотеть, – это последний итог. Мое “не могу” – это меньше всего немощь. Больше того: это моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям (над собой насилиям!) все-таки не хочет…

Корни “не могу” глубже, чем можно учесть. ‹…› Я говорю об исконном не могу, о смертном не могу, о том не могу, ради которого даешь себя на части рвать, о кротком не могу.

Утверждаю: “не могу”, а не “не-хочу” создает героев!»

Настоящие истоки нашего выбора – в глубинах крови и духа, считала молодая Цветаева. Состав крови определен от рождения; одному человеку нечего и перебарывать – голос природы ему всегда внятно слышен, – у другого этой подсказки нет.

Но пространство духа формирует сам человек. «Я не могу этого сделать, даже если весь мир вокруг делает так и это никому не кажется зазорным». Чтобы так чувствовать, нужна порода, которую исказить невозможно.

И еще. Случайно ли, что нравственная ржа так часто поражала людей из породы «борцов за социальную справедливость»? Не потому ли, что они принимали на веру утверждение о примате общественного интереса над личным?

Но как часто доносителями становились и те, кто пекся как раз о своем сугубо личном благе…

4

В самом начале ноября наступили школьные каникулы, и Нина Николаевна вместе с дочерью уехала в Москву. На Пятницкой, 12 жила ее мать.

Клепинин же – наоборот – появляется в эти дни в болшевском доме. Скорее всего, сострадая Цветаевой, супруги стараются не оставлять ее совсем одну. Запасного жилищного варианта у Марины Ивановны не было: в крошечных комнатках сестры мужа в Мерзляковском переулке жить казалось невозможным.

И вот, в ночь с 6 на 7 ноября, в канун революционного праздника, арестовывают еще троих «болшевцев».

Клепинину подымают с постели на Пятницкой, ее сына Алексея увозят с Садово-Кудринской, из квартиры его жены.

И третий арест в туже ночь – снова на болшевской даче.

Тут ордер предъявляют Николаю Андреевичу Клепинину.

Мерзляковский переулок, 16. Здесь в квартире 27 Цветаева жила у Е. Я. Эфрон в 1939 г.

Из воспоминаний Нины Павловны Гордон: «Марина глухим голосом рассказывала мне, как приехали его арестовывать, как было страшно на него смотреть, особенно страшно из-за его одиночества. Он был совсем-совсем один, и только собака (помнишь этого боксера с человечьими глазами?) все время ластилась к нему и все прыгала на колени. А он все прижимался к ней, к единственному живому существу, оставшемуся около него, видимо, только в ней одной чувствуя человеческое тепло и любовь…»

Жена Алексея, оставив ребенка у подруги, мчится ранним утром на электричке в Болшево. Она не знает, что Нины Николаевны там нет, и тем более не знает о ее аресте.

Под дождем и снегом, под пронизывающим ветром она добирается до знакомого дома. На участке – пусто. И в ее сегодняшней памяти – странное смещение: ей помнится, будто она увидела голые – без хвои – деревья.

Дом казался вымершим.

Только странный лязгающий звук все повторялся, будто отстукивал, как метроном, последние минуты. Уже позже, возвращаясь, она поняла: это стучали друг о друга раскачиваемые ветром физкультурные кольца, подвешенные между сосен Сергеем Яковлевичем.

Ирина без толку стучала в дверь клепининской террасы. Но дверь отворилась с другой стороны дома – и на пороге появилась Цветаева.

Ветер растрепал ее полуседые волосы, на плечах едва держалось накинутое пальто.

– Ночью арестовали Алешу, – сказала Ирина.

Марина Ивановна перекрестила ее несколько раз, на ней не было лица. Смотреть на нее было страшно.

– Уезжай, деточка, уезжай отсюда скорее. Бог с тобой. От нас рано утром увезли Николая Андреевича.

Комната Елизаветы Эфрон, где жила Марина Цветаева с сыном

Она напомнила Ирине безумного пушкинского мельника.

Еще через два дня Цветаева с сыном бежали из Болшева в Москву.

В один из ближайших дней соседский мальчик – тот самый, с которым летом не захотели разговаривать Мур и Митя, – забрел на дачу, удивившись, что давно не слышит здесь никаких голосов. Дверь на террасу была полуоткрыта. Мальчик толкнул ее и вошел внутрь. В комнатах царил беспорядок, на полу валялись книги. Он поднял несколько. Книги были на французском языке. Он не утерпел и унес с собой томики Боккаччо и Вольтера.

Глава 3
Лубянка

1

Ранним воскресным утром 27 августа 1939 года Ариадна Эфрон в последний раз спускается с крыльца болшевского дома. Больше никогда она не увидит ни отца, ни мать, ни брата.

Много лет спустя об этом дне вспоминала и сама Ариадна Сергеевна: «…27 августа ‹…› я в последний раз видела своих близких; на заре того дня мы расстались навсегда; утро было такое ясное и солнечное – два приятных молодых человека в одинаковых “кустюмах” и с одинаково голубыми жандармскими глазами увозили меня в сугубо гражданского вида “эмке” из Болшева в Москву; все мои стояли на пороге дачи и махали мне; у всех были бледные от бессонной ночи лица. Я была уверена, что вернусь дня через три, не позже, что все моментально выяснится, а вместе с тем не могла не плакать, видя в заднее окно машины, как маленькая группа людей, теснившаяся на крылечке дачи, неотвратимо отплывает назад – поворот машины и – все…»

Точно то же происходит через полтора месяца – 10 октября: также, посреди ночи: шум подъезжающей машины, свет фар, прорезающих тьму. На этот раз увезут после обыска и составления протокола Сергея Яковлевича Эфрона. Маршрут прежний: в Москву, на Лубянку. Весной 1941 года Цветаева еще успеет получить от дочери несколько писем – из лагеря в Коми АССР; от мужа – уже никогда, ни строчки.

И вот спустя более чем полвека, благодаря горбачевской перестройке и ходатайству Анастасии Ивановны Цветаевой, я получила возможность прочесть следственные дела Ариадны Сергеевны и Сергея Яковлевича.

И стены страшного здания на Лубянке постепенно начали терять свою непроницаемость. До прозрачности, разумеется, далеко; не только протоколы допросов, но и воспоминания уцелевших никогда не восстановят во всей достоверности того, что там происходило.

И все-таки.

Вот постановление об аресте литературного работника журнала «Revue de Moscou» Ариадны Сергеевны Эфрон – и черная подпись на нем Лаврентия Берии. Черная в самом прямом смысле, ибо сделана жирным черным карандашом. Вот анкета

арестованной, заполненная ее собственной рукой. И вот протокол первого допроса, состоявшегося в самый день ареста – 27 августа.

Первый протокол краток – всего несколько строк.

Памятник Дзержинскому у здания Штаб-квартиры КГБ на Лубянской площади

Арестованной предложено рассказать о своей антисоветской деятельности и о сотрудничестве с иностранными разведками. Записан ответ: арестованная ничего подобного за собой не знает. Вопрос повторен в другом варианте– ответ тот же. Протокол оформлен в строгом соответствии с правилами: на нем обозначено время начала и время конца допроса, фамилия следователя, на каждой странице – подпись допрашиваемой.

В 14 часов «диалог» начат, в 17 часов закончен. Три часа. Но чем же они были заполнены? Что осталось за пределами зафиксированных нескольких фраз на бланке протокола? Насколько отражает он реальность?

Мой собственный опыт мне теперь пригодился. Опыт конца пятидесятых годов, когда раз за разом в течение двух месяцев черная «Волга» с несколькими нулями на номерном знаке увозила меня с работы в ленинградский Большой дом на допросы. Этот

опыт при всей несравнимости все же помогал мне нынче читать «протокольную» партитуру. Я хорошо помнила, как далеки от идентичности реальные диалоги, звучавшие в комнате следователя, и те, которые фиксировались на бумаге; как часто протокол составлялся уже по окончании «собеседования», вбирая едва ли десятую часть сказанного – и то в формулировках следователя. (Их, вообще говоря, можно исправить, но не всякий это знает и не всякий, даже зная, воспользуется.) В протокол не попадают оскорбительные, а то и издевательские интонации следователя, его провокационное вранье, угрозы, помойные сплетни, выливаемые по адресу твоих друзей и знакомых. И еще – часы и часы, когда допрашиваемого оставляют «подумать хорошенько», не раз и не два уходя пообедать, перекурить, просто заняться другими делами. И вождение по кабинетам разных начальников, если упрямишься, и присоединение к допросу каких-то новых лиц… Ничего этого в правильно оформленных протоколах не будет. И все это в наши, как выражалась Анна Ахматова, «вегетарианские времена».

Что именно оставалось за кадром, то бишь за протоколом, в конце тридцатых – довообразить трудно, но можно. Рассказы уцелевших и вернувшихся, мемуары бывших репрессированных достаточно подробно воссоздают обстановку, и уже нет, кажется, человека, который считал бы, что там беседуют за чашкой кофе. И все-таки слишком часто эти протокольные листы, то отпечатанные на машинке, то заполненные следователем от руки, казались мне теперь иероглифами, смысл которых могли бы расшифровать только участники «диалога».

Где правда? Насколько это правда? Вся ли правда? Что это – чистосердечная исповедь или продуманная версия? А если вот здесь выдумка, то почему так гладко, почти виртуозно? И почему же вчера – «нет», а послезавтра – «да»? А вот на этой очной ставке – какими они увидели друг друга? Насколько правомерно за каждой возведенной на себя или на других напраслиной видеть «методы физического воздействия»? А может быть, это вовсе и не напраслина?..

Между первым допросом Ариадны Эфрон и вторым проходят две недели. Первый допрос проводил старший следователь лейтенант госбезопасности Николай Михайлович Кузьминов – спустя полтора месяца именно он займется «делом» Сергея Яковлевича Эфрона. Второй допрос и несколько последующих проведет другой следователь – младший лейтенант Алексей Иванович Иванов.

Теперь Ариадну спрашивают о конкретностях: о круге ее знакомых в Париже, о тех, с кем она встречалась по возвращении

на родину. Сотрудничала ли она в эмигрантских белогвардейских организациях? С какой целью приехала в СССР? Подтекст последнего вопроса открыто разъяснен: «… нам известно, что вы приехали по заданию иностранных разведок, на службе которых вы состояли…»

– Ни с какой иностранной разведкой я не была связана и приехала только по собственному желанию, – записан ответ в протоколе.

Второй допрос – ночной, он длится уже восемь часов подряд! Начавшись в девять вечера, он завершится в пять утра. Третий начинается на следующий же день, после бессонной ночи, и опять затягивается далеко за полночь. Четвертый – днем следующего же дня. Это – 7, 8, 9 сентября. День перерыва, и далее снова: 11,13,14-го.

Пятнадцать лет спустя, в мае 1954 года, после XX съезда партии и осуждения «культа личности Сталина», А. С. Эфрон посылает уже из Туруханска, где она отбывает ссылку так называемых «повторников», заявление на имя Генерального прокурора СССР Руденко с просьбой о пересмотре дела и об отмене приговора. В заявлении она, в частности, напишет: «Меня избивали резиновыми “Дамскими вопросниками” (то есть резиновыми дубинками. – И. К.), в течение 20 суток лишали сна, вели круглосуточные “конвейерные” допросы, держали в холодном карцере, раздетую, стоя навытяжку, проводили инсценировки расстрела…» И далее: «Я была вынуждена оговорить себя…» И еще: «Из меня выколотили показания против моего отца…»

Это произойдет ровно через месяц после ареста, 27 сентября того же 1939 года. В этот день Ариадна соглашается подписать «признание».

Иные, гораздо более закаленные, сдавались и быстрее. Из материалов специальных комиссий, созданных у нас в конце восьмидесятых годов для изучения подлинной истории «показательных» политических процессов конца тридцатых годов, известно, например, что маршал Тухачевский «признался» в своих связях с иностранными разведками уже через неделю допросов и пыток; через 33 дня после ареста начал подписывать абсурдные «признания» Г. Л. Пятаков; два месяца и 18 дней понадобилось, чтобы сломить Карла Радека…

Под протоколом допроса от 27 сентября стоят подписи Кузьминова и Иванова – двух следователей, которые этот допрос провели. Но еще в одном заявлении, посланном из того же Туруханска 9 марта 1954 года, на этот раз на имя министра внутренних дел СССР Круглова, А. С. Эфрон указывала, что на ее

допросах присутствовал – и, видимо, не однажды – один из заместителей Берии. Она узнала его, потому что видела раньше, «на воле», сопровождая больного отца на свидание с этим человеком в одну из московских гостиниц. Его фамилия была то ли грузинской, то ли армянской. На следствии, по словам Ариадны, он постоянно требовал от нее показаний против отца. Однако в протоколах допросов никак не отражено присутствие этого человека. Так же, впрочем, как и участие в них сына Я. М. Свердлова, ставшего следователем НКВД. Между тем, об этом участии Ариадна рассказывала и своей подруге А. А. Шкодиной-Федерольф, с которой вместе отбывала ссылку в Туруханске, и Марии Белкиной, автору книги «Скрещение судеб».

Это обстоятельство должно в очередной раз предостеречь нас от иллюзий идентичности протокольных документов реальной обстановке допросов тех уже давних лет…

Итак, через месяц после ареста Ариадна Эфрон «признается»: она была завербована французской разведкой и заслана в Советский Союз со шпионским заданием.

В основу самооговора положены факты, которые уже фигурировали в ее прежних допросах: их сообщила сама Ариадна. Но теперь она истолковывает их так, как этого хочет следствие.

Она рассказывает о своем знакомстве в Париже в конце 1936 года с неким Полем Мерлем, редактором журнала «Франция – СССР». Мерль предложил молодой журналистке (Ариадна работала тогда в редакции журнала «Наш Союз», выходившего под эгидой парижского «Союза возвращения на родину») написать очерк о жизни в Советском Союзе, по материалам советской печати. Очерк был написан – и привел Мерля в восторг качеством выполненной работы. Последовали новые заказы того же характера. Ариадна писала статьи; они всякий раз принимались с тем же горячим одобрением и щедро оплачивались. Незадолго до отъезда Ариадны в Советский Союз Мерль пригласил ее к себе домой на прощальный ужин.

Он был очень радушен в этот вечер. Разговор касался самых разных тем. Например: знакома ли Ариадна с советским послом Сурицем? А с Виктором Сержем? Что она думает по поводу странных признаний подсудимых на московском процессе, проходившем в начале 1937 года?

«Так мне стало известно, что Мерль связан с троцкистами», – записано в показаниях Ариадны от 27 сентября.

И здесь и в более поздних записях ее ответов возникает временами страннейшее впечатление чуть ли не насмешки подследственной над допрашивающим – когда на абсурдные вопросы она отвечает откровенным вздором.

Ариадна разыгрывает теперь готовность помогать в «изобличении» других – тех, о ком ее спрашивают. Правда, следователя злят ее слишком общие характеристики, ему нужны конкретные факты «шпионской деятельности». Но понимала ли Аля, что и общих характеристик было достаточно, чтобы переломить хребет судьбы тех, о ком ее спрашивали? Возможно, что до конца не понимала – как не понимала того, что реально грозило ей самой. По свидетельству ее сокамерницы Дины Канель, приведенному в книге Белкиной, обе они, несмотря на весь кошмар происходящего, долго сохраняли легкомысленную надежду на то, что наказание будет достаточно условным: «Так ясна была абсурдность того, что им инкриминировалось, и так они не чувствовали за собой никакой вины, что были уверены: ну максимум, что им могут дать, – это ссылку года на три!»

Психология подследственного человека изучена в Учреждении хорошо – надо отдать должное. Мне приходилось спрашивать своих «подельников», спустя много лет, по поводу некоторых их признаний на допросах. Каким принуждением они были вызваны? Речь шла о признаниях, явно опасных для тех, кто еще оставался на свободе. Ответы меня поразили. «Да ведь мне было ясно, что они и так все знают… Чего же туман напускать? Кроме того, не таких уж серьезных вещей это касалось, и я думал: ничего не случится, если я подтвержу…»

«Несерьезные вещи» не так уж редко оборачивались сломанными судьбами. Это уже в наши годы. А в те – физическими страданиями и чаще всего – гибелью.

Еще долго собственный арест представлялся Ариадне нелепой ошибкой, результатом «вредительства», угнездившегося в органах НКВД. Даже в камере и даже в лагере она еще верила, что главные основы справедливейшего строя не затронуты. Уже из «зоны» она будет писать Самуилу Гуревичу о том, что с ней произошло, как о «глупой случайности». «Я не настолько глупа и мелка, чтобы смешивать общее с частным. То, что произошло со мной, – частность, а великое великим и останется…»

Иронизировать тут неуместно, но не поучителен ли по-своему этот пример «несгибаемости духа», которым мы традиционно привыкли восхищаться? Стойкость, замешенная на слепоте веры… Сплав этих качеств губителен даже для людей, которым трудно отказать и в уме, и в самоотверженном благородстве.

Но вернемся к «признанию», сделанному 27 сентября 1939 года.

На прощальном ужине Поль Мерль предложил Ариадне не прерывать сотрудничество с его журналом и продолжить его из Москвы. А для ускорения пересылки материалов он дал адреса

двух французских журналистов, которые в то время находились в Москве.

И об этом Ариадна уже сообщала раньше следствию, но теперь она делает важные добавления. Во-первых, Мерль, оказывается, просил ее писать об антисоветских настроениях среди московской интеллигенции! Во-вторых, адреса журналистов уже названы «явками». Ариадна утверждает, что еще тогда ей стало ясно: предлагалось не что иное, как прямое сотрудничество с французской разведкой. Однако она настаивает: ни одного материала она из Москвы Мерлю так и не отправила ни прямо, ни через его «агентов». И все же в ее приговоре позже будет фигурировать как доказанное: «являлась агентом французской разведки».

Сюжет с Мерлем имеет под собой совершенно реальную основу.

И журнал такой существовал, и Поль Мерль вместе с ним. Да и характер материалов в журнале был таков, что естественно возникает предположение о Мерле как о совсем нашем человеке. Вполне возможно, что и темы прощального разговора названы здесь верно. И лишь отражено все в нарочито искривленном зеркале.

Следствию брошена кость: хотите играть вот так – пожалуйста.

Но от подследственной не отстают и после ее «признания». Теперь от нее требуют изобличения отца – как требовали и раньше.

И вот в протоколе появляется давно жданная ее мучителями фраза: «Не желая ничего скрывать от следствия, я должна сообщить, что мой отец является агентом французской разведки…»

2

Пять дней спустя следователь Кузьминов составит постановление об избрании меры пресечения (то есть об аресте) С. Я. Эфрона.

И тем же жирным черным карандашом, какой мы видели на аналогичном постановлении, касавшемся дочери, поставлена подпись Берии.

Ариадна Сергеевна утверждала позже, что ее собственный арест нужен был прежде всего для выколачивания сведений, которые скомпрометировали бы ее отца. Возможно. Но то был отнюдь не единственный оговор Эфрона. Еще 7 августа того же

1939 года показания о его «антисоветской и шпионской» деятельности дал Павел Николаевич Толстой. Скорее всего, в распоряжении НКВД и это были не первые «уличающие» показания. Еще раньше Эфрона мог назвать Святополк-Мирский, арестованный в 1937 году, – видный деятель евразийского движения и личный друг Цветаевой и Эфрона; могли назвать его и другие вернувшиеся из Франции и попавшие в застенок НКВД эмигранты. Проследить всю «историю вопроса» по архивам КГБ пока нет возможности.

Бессмысленно искать твердой логики в вакханалии репрессий тех лет. Загадочно другое: упорство, с которым следствие выбивает из тех, кто уже попал в его сети, «обоснования» для своих загодя составленных обвинительных заключений.

Зачем нужно было столь педантично блюсти внешнюю форму судопроизводства, добиваясь подписей арестованных под их «признаниями» в протоколах допросов? Из каких истоков проистекала эта озабоченность соблюдением «правил», вроде того, например, которое требует подписи участников очной ставки около каждой их реплики, зафиксированной в протоколе? Для кого разыгрывался этот спектакль – без зрителей, без свидетелей и с такой жестокостью по отношению к жертвам?!

Вернемся снова к злополучному допросу 27 сентября.

Ариадне приходится аргументировать сказанное о связи отца с французской разведкой. И она ссылается на их задушевные беседы в тридцатые годы. Наиболее «художественно» изложен разговор, который можно отнести по его содержанию (ибо речь идет в нем, в частности, о предстоящем отъезде Ариадны в СССР) к середине тридцатых годов.

«Отец в тот день был болен, – повествует Ариадна, – мы были в доме одни. Он подозвал меня и попросил присесть к нему на кровать. Он сказал, что непоправимо погубил жизнь мне и маме. Я подумала, что он говорит о тяжелой материальной стороне нашей жизни, и стала его утешать. Но он остановил меня. Он сказал (далее я цитирую по протоколу дословно. – И. К.): “Ты еще молода, ничего не знаешь и не можешь понять меня. Ты ведь не знаешь и не можешь знать, как мне тяжело. Я запутался, как муха в паутине… Ты можешь уехать в СССР и прекрасно устроить свою жизнь. Мое же положение безвыходно тем, что я лично вернуться в СССР никогда не смогу”». «Зная о том, что отец связан с советской разведкой, – продолжает Ариадна, – я спросила: неужели он своей работой на СССР не искупил своего прошлого?»

«Не только на СССР», – якобы ответил дочери Эфрон.

«Мне было ясно, что речь шла о французской разведке», – добавляет Ариадна.

С той же, заметим, логикой – вернее, алогичностью, – как и в изложении сюжета с Полем Мерлем.

Если все это – выдумка от начала до конца, то сочинена она почти вдохновенно. Впрочем, литературный талант Али Эфрон известен, как известна с ранних лет и ее одаренность в фантазиях, отмеченная еще в письмах молодой Цветаевой.

Но как завораживающе похож на правду диалог отца с дочерью! Насчет французской разведки, естественно, глупость, но в остальном! А что, если и в самом деле отец Ариадны еще во Франции ощутили свою вину перед женой, и то, что он попался, как муха в паутину, в грязную историю, из которой ему уже не выбраться подобру-поздорову? Он вполне мог об этом догадаться, когда год за годом – начиная с 1931-го – в полпредстве оттягивали и оттягивали возможность его возврата на родину…

Протокол одного этого допроса занимает в следственном деле А. С. Эфрон двадцать шесть страниц!

Зато теперь ее почти на месяц оставят в покое. Если верить свидетельству той же сокамерницы, то поначалу Ариадна не осознала важности случившегося; она пришла в тот раз с допроса усталая, но даже «довольная» и сказала, что наконец «созналась». Правда, между подругами, в изложении Белкиной, идет разговор только о «вине» самой Ариадны. Но почему же все-таки «довольная»?

Скорее всего, версия, предложенная следствию, созрела не на допросе, а в мучительные часы пребывания в ледяном карцере или в передышках между «конвейерными» допросами. И теперь Ариадна надеялась, что самое тяжкое уже позади…

Облегчение, однако, длилось недолго. Вскоре Ариадна стала требовать свидания с прокурором, дабы отречься от сказанного об отце. Видимо, ей отказывали, потому что встреча с прокурором Антоновым зафиксирована в протоколах только в марте.

К этому времени С. Я. Эфрон уже пять месяцев находился в заключении.

3

Любопытно, что ордер на арест Сергея Яковлевича составлен следователем 2 октября, а «утверждающая» подпись Берии появилась только 9-го. Не означает ли это, что «заслуги» Эфрона требовали согласований на еще более высоком уровне?..

Так или иначе, Эфрону подарена лишняя неделя свободы. Он смог в последний раз провести с женой и сыном свой день рождения и день рождения Марины Ивановны. Цветаевой

исполнилось сорок семь лет…

Доставленный на Лубянку Эфрон заполняет анкету. Фамилию он называет двойную: «Андреев-Эфрон». В графе «профессия» записывает: «литератор», в графе «последнее место службы»: «был на учете НКВД». Жена: «Марина Ивановна Цветаева. Литератор и поэт». Далее – сведения о детях и сестрах. Паспорт выдан в Москве 16 октября 1937 года.

Первый допрос начнется в тот же день – 10 октября 1939 года в 11 часов утра. Он продолжается три с половиной часа – немногим дольше, чем первый допрос Ариадны.

Тем очевиднее разница. Если там протокол зафиксировал всего несколько строк «диалога», то показания Эфрона обширны и информативны.

Отвечая на вопросы, Сергей Яковлевич сообщает о себе подробные биографические сведения. Упоминает о службе санитаром в годы Первой мировой войны, о недолгой актерской деятельности в Камерном театре. Отношение к Февральской революции? «Как у большинства офицеров», – не слишком внятно отвечает Эфрон (ибо отвечать по существу пришлось бы длинно, он вовсе не был в восторге тогда от происходившего). Далее – об отношении к большевикам, об участии в Белой армии, об эвакуации в Турцию вместе с уцелевшими частями белых. О Галлиполийском лагере. Это название следователь явно слышит первый раз в жизни, потому что записывает «Гампорижский», на слух, и Эфрон, подписывая эту страницу, педантично исправляет ошибку.

– Чем вы там занимались? – допытывается следователь.

– Я там голодал и жил зиму в неотапливаемой палатке, – отвечает Эфрон.

– Что же вас так плохо встретили ваши хозяева, в угоду которым вы вели борьбу с оружием в руках? – иронизирует следователь.

(Тональность и направленность следовательских вопросов подчинена задаче «уличить преступника», выжать из любого сообщаемого им факта криминал – это естественно. Но сквозь «Гампорижский лагерь» просвечивает не просто дремучее невежество. Протоколы следственных дел – и только ли тридцатых годов? – уникальный материал для психиатра, настолько очевидна свихнутость мозгов советского следователя. Извилины тут как бы соединены по особой схеме; вместо логики работают внедренные в сознание клише советского катехизиса: «не черное – значит, белое», «не наше – значит, от акул империализма», «против нас – значит, в угоду и за мзду»… Таков следователь НКВД, без колебаний запечатлевающий в протоколах

алогизмы собственных больных умозаключений. В конце пятидесятых и шестидесятых годов арестованных уже не били (по крайней мере, в Москве и Ленинграде), но тип следователя оставался тем же. И пусть верит кто может, будто с 21 августа 1991 года в стенах того же Учреждения все разом изменилось. В механизм робота можно, наверное, вставить другую программу, но в искалеченную органику человека – вряд ли…)

Итак, следователь энергично подталкивает Эфрона к нужным формулировкам. «Значит, Октябрьскую революцию вы встретили враждебно?.. Ваша связь с белым движением отражала общность ваших взглядов в борьбе против большевиков?»

Подследственный не уклоняется: «Совершенно верно». «Именно так». И тут проступает черта, характерная и для всех остальных показаний Эфрона. Он не пытается сгладить крутые повороты своей биографии, уклониться от рассказа об эпизодах, невыгодных в его теперешнем положении. В этих последних случаях он, правда, немногословен и остается в рамках того, что следствие уже знает от других арестованных. Но временами он все же оспаривает трактовку этих эпизодов, когда они слишком безудержно выходят в пространство целенаправленных фантазий. Протоколы всех восемнадцати допросов Эфрона воссоздают отчетливую картину его твердости, соединенной с готовностью отвечать за реальные прегрешения перед советским правосудием.

Он подробно рассказывает о своих эмигрантских годах.

О том, что в Праге он был организатором Демократического союза русских студентов; возглавляемая им тогда группа придерживалась ориентации антисоветской – и одновременно антибелогвардейской. Она не имела, говорит Эфрон, своей политической программы. Но пыталась выработать собственные позиции, отличные от тех, на которых держалось Белое движение: в нем Эфрон и его единомышленники – бывшие белогвардейцы – к тому времени уже глубоко разочаровались. Чтобы выработать новые позиции, они считали необходимым пристальнее вглядываться в реальные процессы, происходившие в современной России, не терять с ней связь.

Если бы неблагодарный слушатель, которому Сергей Яковлевич так подробно рассказывал теперь свою жизнь, мог взять в руки студенческий журнал «Своими путями» – он увидел бы, что арестованный правдив до мелочей. Все годы эмиграции прошли для Сергея Яковлевича, в сущности, в упорных попытках найти «третью опору» в непримиримой вражде белых и красных. Ни те ни другие не вызывают его полного доверия, но у тех и у других он ищет и находит осколки «своей» правды.

Впрочем, до поры до времени. Время делало свое дело. То,

что оказалось перед глазами, вблизи, слишком часто отталкивало: эмигрантские свары, слепая злоба по отношению ко всему, что осталось в России, безудержное восхваление Белого движения…

Куда легче идеализировать то, что вдали, – и к концу двадцатых годов поиски «третьей позиции» заканчиваются у Эфрона выбором в пользу «советской правды».

Переходя к парижскому периоду своей биографии, Эфрон дает подробные показания о евразийском движении, захватившем в середине двадцатых годов широкие слои русской эмиграции. Он излагает программные установки евразийцев, подробно характеризует разностороннюю практическую деятельность организации, ее финансовые источники. Называет имена руководителей парижской группы, к которой он тогда принадлежал. Почти все они остались во Франции: Н. С. Трубецкой, П. П. Сувчинский, П. Н. Малевский-Малевич, Н. Н. Алексеев. Двое евразийцев – П. С. Арапов и Д. П. Святополк-Мирский – вернулись в СССР в начале тридцатых годов и были арестованы.

Игнорируя тон следовательских вопросов, «уличающие», «подлавливающие» их формулировки, Сергей Яковлевич упорно пытается идти по пути достоверных фактов и обстоятельств. Временами даже кажется, что он движим чуть ли не простодушной надеждой пробить глухоту своего «собеседника», разъяснить его, а не свои собственные «заблуждения», и совершенно не замечает полнейшей незаинтересованности в истине допрашивающей стороны.

«Евразийцы» (слева направо): Н. А. Клепинин, Л. П. Карсавин, два неизвестных лица, Н. Н. Клепинина, А. В. Эйснер

Между тем его постоянно перебивают вопросами, бесцеремонно напоминающими, где именно и когда происходит это выяснение исторических обстоятельств.

– Какую практическую антисоветскую деятельность вели евразийцы?

– С какими иностранными разведками они были связаны?

– Какие шпионские задания они – и вы лично – выполняли?

Эфрон готов назвать позицию евразийцев антисоветской – хотя бы на том основании, что один из евразийских лозунгов второй половины двадцатых годов формулировался как «Советы без коммунистов». Но он решительно отвергает завербованность иностранными разведками. И, кроме того, настойчиво подчеркивает: уже в 1928–1929 годах и он сам, и многие евразийцы, пересмотрев прежние взгляды, прочно «встали на советскую платформу».

– Расскажите о вашей антисоветской деятельности после 1929 года, – упорствует следователь.

– Мне нечего рассказывать, – читаем в ответе Эфрона. – После 1929 года ее не было.

– Следствие вам не верит…

Не забыт в этом допросе и еще один важнейший аспект разработанного априори обвинения. Без него не обходится в эти годы ни один политический процесс: связь с троцкистами.

Вожделенную зацепку еще 7 августа этого года дал П. Н. Толстой. Он сообщил следствию факт, о котором слышал в начале тридцатых годов во Франции от самого Эфрона. Этот факт – встреча евразийцев с Г. Л. Пятаковым в бытность того в Париже на посту советского торгпреда. В интерпретации Толстого встреча названа «совмещенным совещанием», в результате которого евразийцы стали заграничным филиалом троцкистского центра, сформированного в Советском Союзе.

К этому времени, напомним, Пятаков уже расстрелян. Он был обвинен на январском процессе 1937 года – совместно с Сокольниковым, Радеком и другими – в создании так называемого «параллельного антисоветского троцкистского центра», якобы ставившего своей задачей свержение советской власти и восстановление капитализма.

Эфрон не мог не понять всей опасности всплывшего эпизода.

И в этом месте его показаний, как они зафиксированы в протоколе, – лаконичность, нехарактерная для других ответов. Он признаёт, что такая встреча имела место. Но участвовал в ней только Петр Петрович Сувчинский, и подробностей состоявшегося разговора он, Эфрон, не знает.

Забегая вперед, скажу, что удержаться на этом лаконизме ему не дадут. Ибо о злополучной встрече с пристрастием допрашивают не только Эфрона и Толстого, но и Клепининых-Львовых, и Эмилию Литауэр. Добытые следствием подробности постепенно заставляют Сергея Яковлевича заговорить менее односложно.

Тогда он сообщит, что инициатива встречи исходила от самого Пятакова. К евразийцам будто бы пришел от его имени в январе 1929 года Борис Неандер, редактор газеты «Русский вестник», выходившей в Париже; он сказал об интересе Пятакова к программным установкам евразийцев. Состоявшаяся встреча носила характер полуофициальный – не как с лидером оппозиции, а как с советским торгпредом. Такова интерпретация Эфрона.

Как раз в это время возникли трудности с субсидированием газеты «Евразия». По словам Эфрона, Сувчинский предложил использовать страницы газеты для пропаганды успехов советского общества – не в обмен на финансирование, а в связи с искренним желанием «левых» евразийцев быть полезными строительству социализма в России.

Однако, утверждал Эфрон, встреча не имела последствий, прочный контакт так и не был установлен.

(Дата этой встречи остается неясной. Торгпредом Г. Л. Пятаков был в Париже в 1927 году. На допросах же называют

то 1928-й, то 1929 год. Однако газета «Евразия» начала издаваться только в ноябре 1928 года, а в сентябре 1929-го она уже прекратила свое существование – и именно из-за отсутствия средств.)

4

Трагические парадоксы жизни… Обвинение в сотрудничестве с троцкистами предъявляют Эфрону, а затем предъявят и его сподвижникам – Клепининым, Афанасову и Литауэр, – им, столь энергично вовлеченным в середине тридцатых годов в борьбу с троцкизмом за рубежом – по заданию энкавэдэшников из парижского посольства. Им, предпринявшим в 1936 году тайную поездку в Норвегию, дабы удостоверить реальный адрес Троцкого; им, изобретательно организовавшим слежку за сыном Троцкого Львом Седовым; им, участвовавшим в целой серии антитроцкистских акций, о подробностях которых еще предстоит узнать… Что чувствовали они теперь, попав под обвинение в сотрудничестве с теми, кого сами считали закоренелыми врагами отечества?

Вспоминали ли, как еще два с лишним года назад, собираясь вместе в Париже, передавали друг другу ошеломляющие новости о том или ином превосходном человеке, который вдруг оказывался тайным сподвижником лидера оппозиции, изгнанного из СССР? Догадались ли хоть теперь, о чем свидетельствовали «признания» подсудимых на московских процессах?

Но мы ничего не поймем о тех, чью личную судьбу сейчас пытаемся проследить, пока не увидим их в ряду событий безумной эпохи.

Нет ничего проще в наши дни (когда многое уже разжевано и положено в рот усилиями воцарившейся гласности), чем презрительно толковать о тех, кого ностальгические комплексы лишали трезвого взгляда на вещи. В грехе такого презрения повинен Дмитрий Сеземан в мемуарах «Париж – ГУЛАГ – Париж». Но он был совсем юн в те годы. А вот куда подверстать простодушие множества европейских журналистов? Ведь они упорно повторяли, к примеру, в 1937 году, бред о «троцкистских фашистах», якобы угнездившихся в Испании, в каталонской партии ПОУМ? Миф был сочинен в тех же кабинетах, где готовились и известные «процессы», но подхватили его уже не ностальгирующие русские эмигранты, а газеты Валенсии и Парижа, Лондона и Нью-Йорка…

И это отнюдь не единственный пример загадочного

помрачения умов «прогрессивной» интеллигенции мира во второй половине тридцатых годов.

Все, что Эфрон рассказывал о евразийском движении, – следователем пропущено мимо ушей. Но несколько реальных подробностей в неузнаваемо препарированном виде будет вставлено в фантастическую версию обвинения.

На этом же допросе в первый и последний раз Эфрона спрашивают о Марине Цветаевой.

– Какую антисоветскую работу проводила ваша жена?

– Никакой антисоветской работы моя жена не вела, – записан ответ Эфрона. – Она всю свою жизнь писала стихи и прозу. Хотя в некоторых своих произведениях высказывала взгляды несоветские…

Несогласие следователя, как легко предположить, выплескивается нецензурным окриком, если не зуботычиной, но в протоколе изысканная деликатность:

– Не совсем это так, как вы изображаете. Известно, что ваша жена проживала с вами совместно в Праге и принимала активное участие в издаваемых эсерами газетах и журналах. Ведь это факт?

Сведения о том, где жила и где печаталась Цветаева, сообщены следователю Ариадной. Материалы ее допроса цитируются (а может быть, частично и предъявляются) в этот день Эфрону. Копия протокола от 27 сентября подшита в папку дела отца.

– Да, это факт, – подтверждает Сергей Яковлевич. – Она была эмигранткой и писала в эти газеты, но антисоветской деятельностью не занималась.

– Непонятно, – записывает далее собственную реплику следователь. – С неопровержимостью доказано, что белоэмигрантские организации на страницах издаваемых ими изданий излагали тактические установки борьбы против СССР…

(Диалог о Цветаевой я только цитирую, ничего не опуская и не пересказывая. Поясняю это потому, что скачки следовательской логики могут вызвать подозрения в пропусках. Но в протоколе все именно так!)

– Я не отрицаю того факта, – читаем ответ Эфрона, – что моя жена печаталась на страницах белоэмигрантской прессы, однако она никакой антисоветской политической работы не вела.

И все это, напомню читателю, первый допрос!

За протоколом первого допроса в следственном деле Эфрона идет медицинская справка. Из нее становится ясно, что в награду за все попытки терпеливо разъяснить следствию историю своих прегрешений арестованный был сразу же отправлен в Лефортово.

Марии Белкиной удалось разыскать сокамерниц Ариадны Эфрон и поговорить с ними. Увы, обстоятельства пребывания Сергея Яковлевича в тюремных застенках остаются совершенно неизвестными.

Зато известна репутация страшной Лефортовской тюрьмы. Известно уже и многое о практиковавшейся системе допросов. Сам М. П. Фриновский в 1938 году свидетельствовал о том, что «лица, проводившие следствие… начинали допросы, как правило, с применения физических мер воздействия, которые продолжались до тех пор, пока подследственные не давали согласия на дачу навязывавшихся им показаний. До признания арестованными своей вины протоколы допросов и очных ставок часто не составлялись. Практиковалось оформление одним протоколом многих допросов, а также составление протоколов в отсутствие допрашиваемых».

Медицинская справка подписана начальником санчасти Лефортово военврачом 3-го ранга Яншиным. Он констатирует, что Эфрон страдает частыми приступами грудной жабы, на современном языке – стенокардией («сердце расширено во все стороны, глухие тоны»), а также неврастенией в тяжелой форме. В связи с этим для следственных органов даются практические рекомендации: проводить «занятия» (sic!) в дневное время, не больше двух-трех часов в сутки – и в помещении с хорошей вентиляцией, при повседневном врачебном наблюдении.

Справка датирована 19 октября, но запрос сделан следственной частью еще раньше – 15-го. Что означает, по-видимому, резкое ухудшение состояния подследственного вскоре (или сразу!) после первого допроса.

26 октября следователь Кузьминов знакомит Эфрона с «Постановлением о предъявленном обвинении». В нем сказано, что арестованный «достаточно изобличается в том, что являлся одним из руководителей белогвардейской “евразийской” организации ‹…› которая вела активную подрывную деятельность против СССР. Одновременно являлся агентом одной из иностранных разведок, по заданию которой направлен в СССР для ведения шпионской подрывной работы. Являлся секретным сотрудником НКВД и скрывал от органов свою шпионскую связь с иностранными разведками…»

Эфрон категорически отрицает обвинение в «изменнической деятельности». Разговор со следователем на этот раз, если верить записи в протоколе, занял всего двадцать минут.

Следующий допрос тот же Кузьминов проведет 1 ноября. Биографические сведения больше не нужны. Главные темы

теперь: евразийцы и иностранная разведка, евразийцы и их связь с троцкистами.

Отметим здесь одно важное место в показаниях Эфрона. Еще на первом допросе он назвал имя Петра Семеновича Арапова как руководителя секретной работы евразийцев. И вот теперь, 1 ноября, уступая настояниям следователя, Эфрон признаёт: Арапов был действительно связан с польской, немецкой, а может быть, и с английской разведкой.

Но он делал это по поручению ГПУ! Такое пояснение, говорит Эфрон, он слышал из собственных уст Петра Семеновича.

Свидетельство это, безусловно, могло бы вызвать недоверие, встреться оно в показаниях других. Но Эфрон, судя по всему, не сочиняет версий. И потому запомним его слова – они, скорее всего, соответствуют действительности.

К концу этого допроса появится еще одна тема, по всей видимости, крайне тяжелая для Сергея Яковлевича. Она касается соседей Эфрона по болшевской даче, его давних друзей – Клепининых-Львовых. Следствие явно готовится к их аресту, но пока они еще на свободе.

Легко домыслить, что, вынуждая Эфрона к «уличающим» Клепининых показаниям, его опять провоцируют сведениями, которые предоставила на очередном допросе его собственная дочь. Она наговорила множество конкретных подробностей – из области, которая ей самой, возможно, казалась не слишком криминальной: «антисоветские разговоры».

Может быть даже, теперь на Ариадну и не ссылаются. Но когда узнаваемые конкретности, известные до тех пор только узкому кругу лиц, предъявляются на допросе, их психологическое воздействие носит шоковый характер.

У Эфрона могло создаться ощущение, что на болшевской даче арестованы уже все – или будут вот-вот арестованы.

Вторая справка «медосвидетельствования» в деле Эфрона датирована 20 ноября.

Ее содержание страшно.

В справке указывается, что уже с 24 октября (то есть через две недели после ареста!) Эфрон наблюдался психиатром. А 7 ноября он был помещен в психиатрическое отделение больницы Бутырской тюрьмы. (Это означает, в частности, что допрос, состоявшийся 1 ноября, проходил в период ремиссии, сменившейся затем новым резким ухудшением состояния пациента.)

Кадр из французского фильма «La Madone des sleepings» (1927). С. Эфрон в роли заключенного, которого сейчас поведут на расстрел

Справка свидетельствует о том, что Эфрон сделал попытку покончить с собой. Скорее всего, именно это и заставляет поместить его в больницу – дабы держать под усиленным наблюдением.

Можно предположить, что попытка самоубийства предпринята Сергеем Яковлевичем вскоре после допроса 1 ноября: именно тогда он мог особенно остро ощутить ловушку, в которую попал сам и втянул других.

Его принуждали теперь к показаниям против людей, за судьбу которых он ощущал свою ответственность!

Не могли не придавить невыносимой тяжестью и сведения о разговорах на болшевской даче, данные явно изнутри. Он-то хорошо понимал, что эти сведения представляли угрозу для всех обитателей дома – включая жену и сына! А если Эфрону сказали прямо, что показания эти дала его любимая дочь, им самим втянутая в страшный переплет…

Легко представить себе его реакцию.

Приведу более полно текст второй медицинской справки. Здесь можно прочесть о том, что Эфрон «с 7 ноября находится в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы по поводу острого реактивного галлюциноза и попытки на самоубийство. В настоящее время обнаруживает слуховые галлюцинации, ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и жене, и т. д. Тревожен, мысли о самоубийстве, подавлен, ощущает чувство невероятного страха и ожидания чего-то ужасного. По своему состоянию (острое душевное расстройство) нуждается в лечении в психиатрическом

отделении больницы Бутырской тюрьмы с последующим проведением через психиатрическую комиссию».

Акт о состоянии пациента подписан 20 ноября 1939 года целым сонмом специалистов: врач-психиатр Довбия, консультант-психиатр санотделения АХУ НКВД Бергер, начальник санчасти Ларин, председатель комиссии – военврач 2-го ранга Смольцов.

Острое душевное расстройство… Подписавшие справку врачи считают, что для лечения Эфрона необходимы 30–40 дней.

Но Кузьминов, проводивший этой осенью почти все допросы Эфрона, игнорирует эти рекомендации. Уже 8 декабря подследственный снова доставлен в кабинет следователя – на этот раз для очной ставки с Толстым.

5

Павел Николаевич Толстой в группе обвиняемых, которые предстанут затем перед Военной коллегией Верховного суда СССР 6 июля 1941 года, – фигура почти случайная. Правда, он со всеми знаком еще по Парижу, где жил с шестилетнего возраста и имел широчайшие связи с самыми разными кругами русской эмиграции. Легкий нрав и общительный характер приводили его то к евразийцам, то к младороссам, он был вхож и в «Союз возвращения на родину», и в правобелогвардейские крути. Везде у него находились приятели – и родственные связи. Бывал не раз и в доме Эфрона; и особенно зачастил перед своим отъездом в СССР, в 1933 году.

Дальний родственник Алексея Толстого, он, вернувшись, около года жил в доме писателя в Детском Селе под Ленинградом. Позже переселился в Москву. Еще в 1934 году принял предложение «органов» о сотрудничестве и следил, в частности, за приехавшей из Франции дочерью Е. Ю. Скобцовой (матери Марии) – Гаяной, исчезнувшей вскоре в лагерях ГУЛАГа. [35]2

Арестован был в конце июля 1939 года – и уже через неделю начал давать все требуемые показания, и в самом нужном для следствия направлении. Поэтому его охотно вызывают на очные ставки со всеми, кто упрямится. И он «изобличает» недавних друзей и знакомых, в чем требуется, – в шпионаже, террористических замыслах, контактах с троцкистами, антисоветской деятельности.

Он сочинял уверенно, округло, спокойно глядя в глаза своей жертве, порой снисходительно-барски ее увещевая: «Чего уж скрытничать, за грехи свои надо отвечать…» Я не решилась бы это утверждать, если бы не живое свидетельство Тамары

Владимировны Сланской. Она рассказывала мне (и не только мне), как однажды, не выдержав главным образом именно тона и позы, она запустила в барственного «изобличителя» чернильницей, схватив ее со следовательского стола.

Теперь на очной ставке с Эфроном Толстой утверждает, что тот вовлек его в шпионскую деятельность в пользу французской разведки; что накануне отъезда Толстого на родину Сергей Яковлевич дал ему задание вступить в контакт с троцкистскими организациями в СССР; и он же дал «явки» в Москве и Ленинграде для связей со своими единомышленниками. Из Ленинграда Толстой, якобы как раз через Сланскую, переправлял Эфрону в Париж добытые шпионские сведения.

Записанная в протоколе реакция Эфрона весьма энергична: «Я абсолютно отрицаю все то, что сейчас сказал Толстой». И в другом месте: «Если я до сего времени полагал, что Толстому изменила память, то сейчас я должен сказать, что то, что он говорит, – просто ложь».

Лжесвидетельство, как и слишком хорошая память, не спасут Толстого. В мае 1940 года он делает попытку отказаться от своих показаний. Но, вызванный для пояснений, тут же заберет отказ назад и подтвердит все, сказанное прежде. Его «подверстают», формируя «группу Эфрона», к тем, кого он помог «изобличить». Он будет шестым и явно «шестым лишним», инородным членом среди «подельников».

Наиболее драматичным эпизодом во всем следственном деле Эфрона оказалась другая очная ставка. Она состоялась 30 декабря, в самый канун 1940 года.

В этот день (вернее, вечер и ночь) сломить сопротивление Сергея Яковлевича призваны были его ближайшие друзья и товарищи – Николай Клепинин и Эмилия Литауэр.

Но допрос начинается пока еще без свидетелей. Формулировки следователя стандартны:

– Вас полностью изобличил на очной ставке Толстой. Намерены ли вы теперь прекратить запирательство?

Ответ Эфрона, записанный в протоколе:

– Я не считаю себя изобличенным, и изобличение Толстого считаю ложным. Я твердо настаиваю на том, что никакой шпионской деятельностью в пользу иностранных разведок я не занимался.

Вариации того же вопроса будут повторены несколько раз. Но не меняется и смысл ответов Эфрона. Тогда в кабинет следователя вводят Николая Андреевича Клепинина. С момента его ареста прошло уже более полутора месяцев. Супруги

Клепинины были арестованы в тот самый день, когда Эфрона поместили в психиатрическое отделение тюремной больницы: 7 ноября, в день очередной Октябрьской годовщины.

Опускаю ритуал «узнавания» и полагающиеся вопросы к обеим сторонам об отношениях друг к другу. И вот Клепинин повторяет показания, к которым его уже сумели принудить: да, он является агентом нескольких иностранных разведок и вместе с Эфроном вел активную шпионскую работу.

– Вы подтверждаете эти показания? – обращается следователь к Эфрону.

– Отрицаю их, – отвечает Эфрон.

Направляемый вопросами Кузьминова, Клепинин говорит о газете «Евразия», в выпуске которой виднейшую роль играл Эфрон. О том, что газета предназначалась для распространения на территории СССР и была ориентирована на то, чтобы «нащупать оппозиционные элементы внутри Советского Союза».

(Это соответствовало исторической правде только по отношению к замыслу издания, в практическом же его осуществлении редакция резко ушла влево, в сторону сближения с Советами.)

– Все это, однако, вовсе не говорит о шпионской деятельности, – записана реплика Эфрона.

Тогда Клепинин вводит тему связи Эфрона с русскими масонами в Париже. В частности, с графом Бобринским, который, по утверждению Клепинина, был в прямом контакте с французской разведкой. Масоны были заинтересованы, говорит Клепинин, в проникновении на территорию Советского Союза и считали, что Эфрон может быть им полезен как человек, имеющий тесные связи с советским полпредством в Париже, и как деятель «Союза возвращения на родину».

– Что вы скажете теперь? – Вопрос следователя обращен к Эфрону.

– Я позволю себе утверждать, – записан ответ, – что у Николая Андреевича также никакой шпионской деятельности не было.

Ответ явно не по существу вопроса. И как ни сложно по протоколам строить предположения о мотивах поведения, все же складывается впечатление, что во время этой встречи Эфрон пытается образумить своего недавнего друга. Он хочет помочь ему не поддаться нажиму следствия, сосредоточить его на отрицании главного обвинения, к которому их обоих подводят.

Клепинин, однако, снова напоминает конкретную деталь: одну из встреч в 1935 году в кафе у Эколь Милитер. Тогда Эфрон при Клепинине писал письмо Петру Бобринскому, и они говорили

о масонах. Снова Эфрон уходит от прямой реакции на сказанное.

– Был такой факт? – обращается следователь к Эфрону.

– Я ничего не понимаю… – записано в ответе. – Я знаю только, что никакой антисоветской деятельностью после 1931 года я не занимался…[3]

– Сережа, – обращается наконец Клепинин к своему давнему другу (и эту запись я снова привожу дословно), – еще раз к тебе обращаюсь. Дальше запираться бесполезно. Есть определенные вещи, против которых бороться невозможно, так как это бесполезно и преступно… Рано или поздно ты все равно признаешься и будешь говорить…

На очных ставках запись ведет обычно стенографистка, а не следователь. После расшифровки своих записей она перепечатывает их на машинке. Вот почему в записях очных ставок мы несравненно лучше «слышим» голоса подследственных, чем в протоколах других допросов. Их интонации естественнее, противоречия не замазаны… Протоколы очных ставок фиксируют и возмущенные реплики «обличаемого», и уговаривающий тон другой стороны. Именно эти протоколы рассеивают сомнения, возникающие у сегодняшнего читателя следственных дел тех времен.

Клепинина уводят. Его место занимает Эмилия Литауэр.

Арестованная в один день с Ариадной, Эмилия сдалась тоже не сразу. Спустя две недели после ареста, на очной ставке с тем же Толстым 10 сентября 1939 года, она еще упорно сопротивлялась нелепым обвинениям. Но теперь позади были уже четыре месяца испытаний! И в их числе – лефортовские застенки.

На вопрос следователя к Эфрону, узнает ли он Эмилию, Сергей Яковлевич отвечает: «Да, это мой товарищ и друг».

– Ваш друг, – говорит Кузьминов, – также изобличает вас своими показаниями в шпионской деятельности.

– Я бы хотел, – так записана реплика Эфрона, – поточнее услышать, что именно показала Эмилия Литауэр.

И теперь он слышит уже из ее уст – о том же: о совместной шпионской работе, начавшейся в 1927 году, когда Эмилия вступила в парижскую евразийскую организацию, о распределении сфер деятельности между евразийцами после их «раскола» в конце двадцатых годов. «Мне было велено вступить во Французскую компартию, – говорит Литауэр, – а Эфрон взял на себя шпионскую работу в “Союзе возвращения” и в советской разведке…»

Эфрон явно подавлен. У него вырывается:

– Если все мои товарищи считают меня шпионом, в том числе и Литауэр, и Клепинин, и моя дочь, то, следовательно, я шпион и

под их показаниями подписуюсь…

Он просит прервать допрос. Его состояние отражает неправдоподобно корректная запись в протоколе: «Сейчас я ничего не могу говорить, я очень утомлен».

Литауэр уведена.

Но конца допросу не видно! Его машинописный протокол занимает тридцать семь страниц! Начатый, если верить проставленному времени, без четверти десять вечера, допрос закончится только в половине третьего ночи.

Похоже на то, что эта двойная очная ставка – последняя надежда следствия сломить арестованного. Цель кажется им теперь близкой к достижению. Депрессивное состояние Эфрона не оставляет сомнений.

– Прошу отложить показания, – повторяет он не однажды.

И получает записанный в протоколе ответ:

– Ваша просьба будет удовлетворена, только скажите, на какие разведки вы работали.

Тогда Эфрон просит дать ему возможность задать еще некоторые вопросы Клепинину. И того снова возвращают в следовательский кабинет.

– В чем ты меня обвиняешь, – обращается к нему Эфрон, – скажи мне прямо?

– В том, что ты был членом евразийской организации. А она имела план проникновения в Советский Союз с помощью иностранных разведок. Святополк-Мирский, – поясняет далее Клепинин, – приехал в СССР, чтобы занять командные высоты в советской печати. Он должен был организовать травлю Фадеева по заданию Бруно Ясенского и его группы…

– От кого я мог знать об этом плане?

– От Мирского, от Малевского-Малевича, от Сполдинга…

– На какие разведки я работал?

– На несколько, в том числе на французскую… – отвечает Клепинин.

– Теперь вам ясно? – обращается к Эфрону следователь.

– Мне ясно, – записана усталая реплика Эфрона. Похоже, что теперь он уже все понял: правда здесь никому не нужна, Клепинин наметил общую линию вранья. Вранья – как он думает – на выживание.

– Так на какие же разведки вы работали? – не отстает следователь.

– Я ничего не могу сейчас рассказывать, – повторяет Эфрон.

Снова уводят Клепинина. Снова введена в кабинет Эмилия Литауэр.

Деморализованный и, видимо, мучающийся физическим

недомоганием, Эфрон вдруг соглашается на компромисс. Хорошо, с разведками он был, хоть и опосредованно, связан, но шпионом во всяком случае не был.

Однако теперь уже Литауэр не дает Сергею Яковлевичу остановиться на полдороге. Она излагает версию, к которой тому предлагается присоединиться. Согласно ей, Эфрон еще перед отъездом Эмилии из Франции дал ей задание: проникнуть, используя профессию очеркиста, на советские военные заводы и собрать там шпионские сведения. Она «напоминает» также, что, уже приехав в СССР, Эфрон продолжал ее здесь инструктировать. Он предлагал, в частности, использовать плохое знание французского языка редакторами французских изданий, выходивших в СССР, и протаскивать на страницы этих изданий антисоветскую пропаганду. Например, говорит она, Сергей Яковлевич считал, что надо вести борьбу с «официальным оптимизмом».

Оценить эту последнюю подробность, всерьез зафиксированную в протоколе, мог, видимо, только Эфрон. Ведь похоже, что Эмилия, как и Ариадна, предлагает смесь выдумки с правдой. Но на минуту вспыхивает подозрение: а что, если и в самом деле бывшие евразийцы не отошли полностью от своих прежних идей? Ибо в их установках середины двадцатых годов занимала важнейшее место как раз эта задача: преобразовать на евразийский лад существующие советские организации. Правда, шпионские сведения о военных заводах для этого, кажется, все же не требовались.

Следователь требует от Эфрона подтверждения сказанному. Тот отвечает:

– Повторяю, я ничего рассказывать не могу.

– Когда же вам верить? – спрашивает следователь, имея в виду, что Эфрон уже как бы признался в сотрудничестве с разведками.

– Пусть меня изобличают мои друзья, – записан ответ Эфрона. – Сам я ничего сказать не могу.

И тут Литауэр повторяет почти то же самое, что несколькими часами ранее сказал своему другу Клепинин.

– Я хочу дать настойчивый совет Сергею Яковлевичу, – говорит она, – рассказывать всю правду, не скрывая ничего ни о себе, ни о других. Я говорю это как товарищ и друг.

Очная ставка прервана в середине ночи. И почти с нулевым для следствия результатом. Но Эфрону она, несомненно, многое прояснила. Он воочию убедился, что его друзья приняли как неизбежность версию, состряпанную следствием. И эта версия была ему теперь внятно изложена.

Но убедилось и следствие: оговаривать себя и других Эфрон по-прежнему не собирался. А очные ставки с ним могли только поколебать сподвижников, демонстрируя стойкость человека, который был для них авторитетом.

И в дальнейшем к очным ставкам с Эфроном следствие уже не прибегает.

6

Клепинин вел себя на допросах иначе, чем Эфрон. На первый взгляд может показаться (так и показалось впервые читавшей протоколы дочери Клепининых Софье Николаевне, слишком потрясенной, чтобы их анализировать), что Николай Андреевич просто не выдержал испытаний, сломался. Но нет, это больше похоже на другое: на продуманную и лишенную прекраснодушных иллюзий линию поведения, в основе которой лежала трезвая оценка безнадежной ситуации, в которой они все оказались.

В отличие от Эфрона, Ариадны и Эмилии, Николая Андреевича вызвали на первый допрос не сразу, в день ареста, а только через неделю – 15 ноября. За это время он, видимо, имел возможность понаблюдать и послушать сокамерников, прийти в себя, подумать. И у него не оставалось уже надежд, какие, как кажется, сохранял поначалу Эфрон: что, если он будет рассказывать правду, его услышат.

После возвращения на родину Клепинин возобновил свое сотрудничество с НКВД с начала 1939 года (и только после этого получил работу в ВОКСе!). Он завязал кое-какие связи и успел уже наглядеться на то, что делалось в отечественном Учреждении.

И с каким же наслаждением, при каждом удобном случае, он топил теперь на допросах своих коллег! Правда, он топит тех, о ком он достоверно знает, что они арестованы и навредить ему уже не могут. Он говорил, например, о Шпигельгласе, в кабинете которого весной 1939-го он вел такие странные переговоры, что тот нарочно провалил лозаннскую «акцию», давая глупейшие инструкции участникам и не предусмотрев элементарных мер конспирации (а подробности убийства Рейсса Клепинин и Эфрон теперь-то уже хорошо знают из уст приезжавших в Болшево Кондратьева и Смиренского). С удовольствием, которое легко угадывается, подследственный рассказывал и о поведении сотрудников НКВД, наезжавших в тридцатые годы во Францию в служебные командировки: как транжирили они там, вдали от

начальственных глаз, казенные средства, поселяясь в самых дорогих отелях, посещая самые фешенебельные парижские рестораны и разъезжая на такси по делам вовсе не служебным…

Он явно ни на грош не верил своим следователям. Но и переиграть их не пытался. Он вел себя так, словно, ни на какое спасение уже не надеясь, старался лишь уберечь от лишних мучений себя и своих товарищей.

(Он их, разумеется, не избежал. Кто-то из сокамерников Клепининой сообщил позднее ее сыну, что она слышала во время допроса из-за стены стоны ее истязаемого мужа.)

Нина Клепинина

На очных ставках Николай Андреевич уговорит сначала Эмилию, а потом и долго сопротивлявшуюся Нину Николаевну принять его линию поведения.

Он говорил им то же, что и Эфрону: есть ситуации, когда сопротивление бесполезно. Никто все равно не верит нашему отрицанию. Рано или поздно все равно придется «признаваться»… Он почти что проинструктировал их на очных ставках – как и о чем следует говорить, чтобы не мучиться, плутая в тенетах полной лжи. Его рецепт был прост: зарубежных сотрудников советской разведки надо всякий раз называть агентами разведок иностранных!

Только и всего.

И все довольны.

Он находил формулировки, пригодные для ушей следователя, так, что в конце концов свои его понимали. И жена, и Эмилия на последующих допросах вели себя именно по этому рецепту. Теперь подробности, которых без конца требовали от них на допросах, могли быть умножены сколько угодно. Особенно когда речь шла о тех, кто остался во Франции…

Но Эфрон оказался неумолим перед доводами Николая Андреевича.

К двум разным источникам восходит слух о том, что Эфрона приводили в кабинет Берии. И будто бы «беседа» их прошла крайне бурно.

Алексей Эйснер слышал, отбывая свой срок в лагере, что Сергей Яковлевич вел себя при этом свидании столь непокорно, что якобы был тут же, в кабинете, застрелен охраной наркома.

Автор другой версии – Ариадна Сергеевна. Она утверждала, что, когда ей вручали в Военной прокуратуре документ о реабилитации отца, прокурор сказал ей: «Ваш отец – мужественный человек. Он осмелился перед самим Берией оспаривать предъявленные ему обвинения. И поплатился за это расстрелом в стенах Лубянки».

Но Эфрон был расстрелян только 16 октября 1941 года. Хотя бы это мы знаем теперь достоверно.

И все же, видимо, нет дыма без огня. В кабинет Берии Эфрона, скорее всего, приводили: упорство арестованного в сочетании с надеждами, которые на него возлагались (об этом чуть ниже), делают вполне реальным такое предположение. И так как нет достоверных свидетельств о том, как могла пройти такая встреча, кажется уместным привести соответствующий эпизод из воспоминаний Евгения Гнедина.

Гнедин возглавлял отдел печати Наркоминдела. Он был арестован почти в то же время, что и Эфрон (в мае 1939-го), также прошел через Лефортово – и через еще более страшную Сухановскую тюрьму, а приговоры тому и другому были вынесены с промежутком всего в сутки.

У Гнедина выбивали лживые показания против Литвинова; Эфрона заставляли принять версию шпионажа и связей с троцкистскими террористами для большой группы репатриантов. Можно уверенно утверждать, что, если бы Эфрон уступил, это сказалось бы самым скверным образом на судьбах множества вернувшихся из эмиграции: «преступные цели» их приезда в СССР уже не нуждались бы ни в каком обосновании.

Гнедин, однако, выжил и написал мемуары. Перечитывая их, с особенной силой понимаешь искаженность сведений, зафиксированных в протоколах допросов. Тут протоколы существенно дополнены жуткими подробностями. Опухшие от многочасового стояния ноги, яркая ослепляющая лампа, направленная прямо в глаза, оплеухи и зуботычины, унижающая брань, страшные вопли за стеной, которые не может заглушить даже аэродинамическая труба, день и ночь ревущая во дворе Лефортовской тюрьмы…

Воспоминания Евгения Гнедина «Себя не потерять» помогают представить кабинет всесильного «нелюдя», к сердцу которого будет взывать в своем письме Марина Цветаева.

Гнедину пришлось побывать в кабинете Берии трижды. В присутствии наркома, и даже по его особым указаниям, двое подручных (одним из них был начальник следственного отдела Кобулов) принялись избивать арестованного, сначала ударами по голове, потом резиновыми дубинками по пяткам, едва он попробовал повторить перед Берией слова о своей невиновности. Не добившись желаемого, палачи бросили заключенного в холодный карцер с каменным полом. А через некоторое время уже снова тащили его в тот же кабинет. «Когда меня вторично отправили в холодную, я потерял представление о времени, – пишет Гнедин. – Ни непосредственно после окончания серии пыток, ни позднее, спокойно размышляя, я не мог определить, как долго длилась эта первая серия: трое, четверо, пятеро суток? Я помню, что, впервые возвращенный ненадолго в камеру, я удивился, узнав, что миновали сутки. Кажется, был утренний туалет заключенных. Бывший полковник, оглядев меня (а программа еще далеко не была завершена), сказал: “Я бы и половины не выдержал!” Боюсь, что знакомство с моим опытом подорвало его стойкость».

Глава 4
В Бедламе нелюдей

1

Уехав из Болшева в Москву после ареста Николая Андреевича Клепинина, Цветаева поселилась с сыном в крошечной проходной комнатке у Елизаветы Яковлевны. Но уже в декабре, благодаря хлопотам Пастернака, они переехали в Голицыно, что под Москвой, в Дом отдыха писателей.

После болшевского затвора и пятимесячного одиночества с не-своими Марина явно переводит дух в голицынском доме. Впрочем, в самом писательском особнячке Цветаева не живет, им сняли комнату в доме неподалеку. Но столуются они вместе со всеми обитателями дома, за общим обеденным столом. Марина Ивановна чувствует себя тут в центре внимания, контингент здесь все же литературный, и многие помнят ее ранние стихи. Свободно и раскованно она поддерживает за столом возникающие литературные темы, охотно рассказывает о Праге и Париже, о французской литературе – и подчас бывает даже весела. Порывисто откликается на малейшие проявления сердечности и быстро завязывает первую дружбу – с самобытной и норовистой, со всеми перессорившейся сорокалетней Людмилой Веприцкой, – та напоминает Марине Анну Ильиничну Андрееву. Веприцкая вскоре уедет, но в голицынском доме все время кто-то уезжает и кто-то приезжает, это уже не изолированное от всего мира Болшево. Появляются новые собеседники – литературовед Евгений Тагер, еврейский писатель Ноях Лурье, сатирик Виктор Ардов; прочная дружба, греющая сердце Цветаевой, завяжется с четой Н. Я. Москвина и Тани Кваниной. Есть, впрочем, и те, кто ее с опаской обходит («белоэмигрантка»! муж и дочь арестованы!), и такие будут всегда, это особая порода робких людей.

Цветаева проживет здесь почти полгода, – в Москве ей жить негде. Настойчивые попытки найти хоть какую-нибудь комнату в столице ни к чему не приводят, хотя Самуил Гуревич активно старается помочь в поисках. Мур учится в шестом классе голицынской школы, и беспрерывно болеет: то грипп, то воспаление легких, то свинка. Между тем Марине Ивановне надо дважды в месяц ездить в Москву: она возит в тюрьму передачи – Сергею Яковлевичу и Але, каждому по две в месяц. Кроме всего прочего, только в момент передачи можно было удостовериться:

живы.

Зимняя темнота, ледяной ад промерзших вагонов, вечная путаница с трамваями, замирание сердца в тюремных очередях к роковому окошку… Когда сын здоров, он сопровождает мать в этих поездках.

23 декабря 1939 года – эта дата стоит на письме, которое Цветаева отправила на имя наркома внутренних дел Берии. Очень возможно, что аналогичное письмо было отправлено и на имя Сталина.

Сохранившиеся в архиве варианты выдают мучительную работу над составлением текста.

Абзацы и фразы то вписываются, то вычеркиваются. Марина Ивановна пытается спасти мужа и заслугами своего отца Ивана Владимировича Цветаева перед русской культурой, и революционной биографией Елизаветы Дурново-Эфрон, матери мужа, и личным свидетельством о святой и жаркой вере Сергея Яковлевича в правильность пути Советского государства. В письме подчеркнуты врожденно высокие качества личности Эфрона: благородство, бескорыстие, неспособность к двоедушию… «Утверждаю как свидетель, – пишет Цветаева, – этот человек Советский Союз и идею коммунизма любил больше жизни…»

Тон интимной доверительности неизменно присущ цветаевским письмам, кому бы они ни были адресованы, – это характернейшая их черта. И даже письмо палачу – не нарушает этой традиции! (Текст письма публикуется в Приложении 2)

Какая же бездна иллюзий и надежд должна была еще сохраниться в ее отчаявшемся сердце, чтобы – после всех черновиков и вариантов – остановиться на такой попытке защиты, на такой тональности!

Злой издалека чует злого, мерзавец убежден «от живота», что мир состоит из мерзавцев, только притворяющихся добродетельными; вор уверен, что воруют все и люди делятся лишь на пойманных и поймавших.

Марина Цветаева, автор поэмы «Молодец» и статьи о Пугачеве, наперекор всем очевидным фактам верит, что у самого закоренелого злодея сердце не омертвело до конца. Ей еще не приходит, по-видимому, в голову, что ее адресат – из нечеловеков, о которых она же знала, что они есть! Знала, раз создала еще весной 1939 года эти строки, полные последней горечи:

В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.

Но писать о нелюдях и столкнуться с ними лицом к лицу – это разное. Когда они вдруг вторгаются в твою собственную жизнь – в это почти невозможно поверить; так сознание отказывается верить во внезапную личную катастрофу. Во всяком случае, Марина Ивановна еще надеется, когда пишет эти письма, что ее мужа оговорили – и лжи поверили. Тональность ее письма заставляет думать, что она рассчитывает на самую крохотную долю живого сердца упыря, – может быть, оно еще способно откликнуться на доверительный голос!

Она еще надеется вывести Минотавра из убежища зла – «по ниточке добра», хотя бы ненадолго. Хотя бы ради одного-единственного доброго дела…

Все еще верит – в декабре страшного для нее 1939 года.

Не потому ли еще теплится в ней эта безумная вера, что к моменту написания она не могла не знать от Пастернака, что несколько лет назад аналогичное письмо Ахматовой Сталину – помогло! Муж и сын Анны Андреевны были освобождены тогда почти сразу. Правда, впоследствии их снова арестовали – но это уже другой вопрос.

(Почему миновала Цветаеву судьба «жены врага народа»? Кто может дать ответ![4] Советская практика говорит только о том, что правила в этом – как и во многом другом – не существовало. Спасли ли ее от ареста причуды чьей-то «высокой» милости? – или простого недосмотра? обычной российской неразберихи? Из самого ближайшего круга Эфрона были уже арестованы жены Афанасова и Шухаева… Марина Ивановна могла знать об этом. С 1937 года в Мордовии, в Потьме, уже существовало специальное отделение в лагере: для «членов семьи» репрессированных «врагов народа». На высоком уровне считалось, что все они – потенциальные мстители за родных!)

Позже она будет вспоминать, какой страх она испытывала в Голицыне чуть ли не каждую ночь. То было ожидание ареста, почти полная уверенность в том, что рано или поздно это случится. Ибо из всех обитателей болшевского дома уцелели только она и Мур.

В январе 1940 года каждого из арестованных обитателей болшевского дома непременно спрашивают о Цветаевой.

Седьмого января 1940 года на очередной допрос вызван Клепинин. И в этот день его допрашивают только о Марине Ивановне. Обычно арестованным задавали вопросы о нескольких лицах – требовался материал для новых арестов или для нажима на уже арестованных.

Но в этот день ни о ком больше Николая Андреевича не спрашивали.

Очень похоже на то, что допрос этот – реакция на полученное в недрах Учреждения письмо Марины Ивановны в защиту мужа. Прошло как раз две недели с момента написания послания. Самое время заинтересоваться автором!

Да, отвечает Клепинин, он знает Цветаеву с начала 1927 года. Но сблизились они позже, в середине тридцатых годов, когда Клепинин стал постоянно бывать на квартире Эфронов, а Эфрон и Цветаева бывали у Клепининых.

(Николай Андреевич изо всех сил лавирует между Сциллой и Харибдой: он явно хотел бы и Цветаеву защитить, и удержать доверие следователя к собственному полному раскаянию.)

– Цветаева, – записано в протоколе, – человек очень своеобразный. Все ее интересы сосредоточены на литературе. Кроме того, она резко выраженный индивидуалист и человек несоциальный по природе. Она часто говорила, что хотела бы жить лет сто или двести тому назад, потому что все современное ей чуждо и неприятно…

Ее политические убеждения? На этот вопрос очень трудно ответить. Обычно она противоречит тому человеку, с которым в данный момент говорит. Говоря с белоэмигрантами, она неоднократно высказывала просоветские взгляды, а говоря с советскими людьми, защищала белоэмигрантов.

Весь строй СССР и коммунизм ей чужды. Она говорила, что приехала из Франции только потому, что здесь находятся ее дочь и муж, что СССР ей враждебен, что она никогда не сумеет войти в советскую жизнь. Подобные разговоры она вела очень часто. Смысл их заключается не в том, что она критиковала какую-то сторону жизни СССР, но в том, что весь строй СССР, его идеология, его дух для нее неприемлемы и она никогда не сможет принять их. Хотя при этом она никогда не указывала на тот политический и социальный строй, который она бы предпочитала.

Да, в связи с арестом сначала сестры, а потом дочери и мужа ее недовольство приняло более конкретный характер. Она говорила, что эти аресты несправедливы. Насколько я знаю, она была совсем не в курсе шпионской и антисоветской деятельности своего мужа, и он, опять-таки насколько я знаю с его слов, не посвящал ее в это…

– С кем она была знакома до приезда в СССР?

– Ее связи во Франции были чрезвычайно обширны, так что я даже затрудняюсь их перечислить…

То есть на всякий случай он уходит от конкретных имен.

Клепинина будут еще дважды спрашивать о Цветаевой: на допросе 19 февраля и 4 июля 1940 года.[5] В том и другом случае настойчиво ставится вопрос о круге общения Марины Ивановны – во Франции и по возвращении. Ответы Клепинина надо признать крайне аккуратными. Отвечая, он обычно оперирует психологическими характеристиками, и это позволяет ему провести свою линию. По существу, это все-таки линия защиты.

Очень кстати Николай Андреевич сообщает следователю о неуживчивом характере Цветаевой, из-за которого она давным-давно поссорилась, например, со Святополк-Мирским (он к этому времени уже арестован). Подчеркивает, что круг друзей Сергея Эфрона был совсем не тот, что у его жены. Общались они, говорит Клепинин, совершенно с разными слоями русской эмиграции. Он убежден, что жена не была осведомлена, чем на самом деле занимался ее муж…

Из советских писателей, приезжавших в Париж и встречавшихся с Цветаевой, названы только Маяковский, Пастернак и Алексей Толстой. Хотя могли быть названы Бабель и Пильняк – уже арестованные теперь. Среди друзей Марины Ивановны во Франции упомянуты политически нейтральные имена Ходасевича, Ремизовых, Бальмонта, Волконского, Головиной, Анны Ильиничны Андреевой и ее сыновей – их можно спокойно называть, ибо никого из них нет в Советской России.

Впрочем, не только по отношению к Цветаевой Николай Андреевич держится той же линии. Отвечая на вопрос, чем именно занималась по возвращении его жена Нина Николаевна, Клепинин утверждает, что в НКВД ей не поручали ничего интересного и от этого она испытывала явное чувство обиды. Чтобы не травмировать ее самолюбие, Николай Андреевич давно перестал задавать ей вопросы. Потому он и не в курсе ее реальных дел… Если же его спрашивают о конкретных занятиях Эфрона, Клепинин жалуется на «манию конспирации» у Сергея Яковлевича. Тот постоянно играл в секреты, записано в протоколе допроса, это было просто смешно…

Однако защитить Эфрона всерьез Клепинин не может.

Ибо капитулянтская версия, на которую он согласился на первом же допросе, без фигуры руководителя не проходит.

Версия создана следствием с очевидной помощью П. Н. Толстого. Но кто знает, в чьих устах она прозвучала впервые? Может быть, на допросах Святополк-Мирского, или Романченко, или еще кого-нибудь – из тех, кого арестовали раньше…

Клепинин, во всяком случае, не сопротивляется тому, что ему навязывают. Он согласился признать себя французским шпионом уже при первой встрече со следователем. К концу второго допроса он согласен, что был агентом еще английской и бельгийской разведок. Евразийцы, выступающие в союзе с троцкистами и как агенты зарубежных разведок, – эту галиматью Клепинин со временем даже начинает обставлять множеством подробностей.

Эфрону, который играл одну из руководящих ролей в евразийстве, отмечает Клепинин на допросе 19 февраля 1940 года, удалось собрать вокруг себя значительную группу лиц: Толстой, Смиренский, Ларин, Балтер, Тверитинов, Позняков, Струве, Палеолог, Эйснер, – более двадцати человек. И в тридцатые годы началась усиленная переброска кадров в СССР.

Их первая задача по приезде состояла в сближении с журналистскими кругами, писательскими и военными. Но этот план, утверждает Клепинин, лопнул по вине недальновидного руководства НКВД. Оно пересажало тех, за кем гораздо лучше было бы следить… Неглуп был Николай Андреевич, царствие ему небесное. То руководство НКВД, которое он сейчас обличает, уже сидит в это время в соседних с ним камерах.

2

В самом конце января 1940 года арестован последний участник группы, которая предстанет перед Военной коллегией Верховного суда, объединенная общим обвинением и общим приговором. Этим последним стал Николай Ванифатьевич Афанасов, вернувшийся в СССР в 1936 году.

Он жил и работал теперь в Калуге; 29 января 1940 года был увезен в машине НКВД прямо с работы, так что родные узнали о его местонахождении лишь спустя долгий срок.

Афанасов также из числа давних друзей Эфрона. Мальчишкой он убежал на Гражданскую войну, примкнул к Добровольческому движению; после поражения белых жил в Болгарии, работал шахтером и лесорубом, потом переехал во Францию. Когда выходила газета «Евразия», он ведал экспедицией, помогал распространять тираж и жил некоторое время прямо в редакционном помещении в предместье Парижа – Кламаре.

Николай Афанасов

Как Эфрон и Клепинины, Афанасов стал секретным сотрудником советской разведки в Париже. В середине тридцатых годов с каким-то особым заданием он ездил в Германию под конспиративным именем «Клаус». Этого оказалось достаточно, чтобы теперь ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу германской разведки. Где-то он пересекся с известным русским писателем-эмигрантом Романом Гулем – и это уже квалифицировано как передача неких секретных сведений в распоряжение гестапо. Его имя всплыло в показаниях Литауэр и Клепинина, в контексте явно компрометирующем. Позже, на заседании Военной коллегии Верховного суда, Афанасов будет пытаться опровергнуть эти показания.

Эфрона спрашивают об Афанасове в марте. Как и в других случаях, Сергей Яковлевич дает сухую фактографическую справку, особенно подчеркивая «рабочие» профессии Николая Ванифатьевича.

– С какой целью он приехал в Советский Союз? – задает свой вопрос следователь.

– С целью работать на родине, – отвечает Эфрон.

Мне не пришлось, к сожалению, ознакомиться со следственным делом Афанасова. Однако на суде он виновным

себя не признал и, видимо, сломить его, как и Эфрона, не удалось.

Пройдет целых полтора месяца после очной ставки с Клепининым и Литауэр, прежде чем Эфрона снова вызовут на допрос.

Чем было заполнено это время? Болезнь? Новая порция пыток? Или попросту следствие занято другими? Ответа мы не узнаем. Но в протоколе допроса от 15 февраля подпись Эфрона ужасна, почти неузнаваема.

Кажется, что она сделана пером, едва удерживаемым в руках. Но показания те же.

– Может быть, вы начнете давать показания? Ваши сообщники уже полностью вас изобличили…

Ответ Эфрона:

– Начиная с 1931 года никакой антисоветской деятельностью я не занимался. В своей работе я был связан с советскими учреждениями, и моя работа носила строго конспиративный характер.

– Характер вашей конспиративной работы, связанной с советскими учреждениями, – записано в протоколе, – следствие не интересует. Расскажите о той, которую вы скрывали от советских учреждений.

– Таковой не было. Как секретный сотрудник я был постоянно под контролем соответствующих лиц, руководивших секретной работой за границей.

Последняя фраза арестованного на этом допросе снова фиксирует его физическое недомогание:

– Прошу прервать допрос, так как я не совсем хорошо себя чувствую…

«Не совсем хорошо»… Стали бы в стенах Лубянки обращать внимание на это «не совсем»…

3

Отметим очевидный факт: следствие явно уклоняется от рассказа Эфрона о его реальной деятельности в советских спецслужбах во Франции. Ничего неожиданного здесь нет: интерес к истине у сотрудников Берии не больше, чем был во времена Ежова и Ягоды.

И все же трудно не испытать разочарования: так ценна была бы возможность узнать, что называется, из первых рук о конкретностях секретной работы и об истории убийства Игнатия

Рейсса. Ибо, как было уже отмечено, Сергей Яковлевич достаточно откровенен в том, во всяком случае, что касается его собственных действий. Он не создает версий, не подтасовывает факты, может разве что уклониться от подробностей.

В протоколах показаний Эфрона эпизод с убийством Рейсса всплывает только однажды – 29 марта 1940 года (это одиннадцатый допрос). Подследственного спрашивают о Дмитрии Смиренском. И Эфрон говорит о нем, среди прочего, как о человеке, который участвовал в предварительной подготовке «дела Рейсса», но не в самом акте убийства.

– Откуда вам это известно? – спрашивает следователь.

– От лиц, которые были прямо или косвенно замешаны в это дело, – отвечает Эфрон, – от Клепининых, Кондратьева, от самого Смиренского…

Уточняющих вопросов больше не задают – или они не зафиксированы в протоколе. Эфрон же верен себе: он отвечает в таких случаях без подробностей.

Крайне интересны для прояснения вопроса показания Клепинина.

Он, который чуть ли не с первого допроса охотно говорит о своей «предательской шпионской работе», о вероломстве, двурушничестве и всем прочем – в том наборе, который ему стандартно предлагается следователем, – касаясь «дела Рейсса», упорно повторяет одно: ни он, ни Эфрон прямого отношения к лозаннской «акции» не имели! Между тем, в его теперешней ситуации явно героичнее и выгоднее было бы приписать себе перед НКВД как раз активную роль: ведь в Швейцарии был убит «невозвращенец», «предатель»!

Но Клепинин рассказывает иное. Еще за полгода до того Эфрон «получил другое задание», сам же Клепинин, по его словам, узнал об убийстве Рейсса в Лионе из газет. Подвел его Вадим Кондратьев, действительно входивший в группу преследования. Он заявился в их дом в Исси-ле-Мулино спустя несколько дней после «акции» – перед тем как исчезнуть из Франции. Тем самым была брошена тень на Клепининых, бывших с Кондратьевым в родстве. Потому его и его жену вызвали тогда в полицию для допроса. Что же касается Эфрона, то его связи с советским полпредством были уже широко известны.

Так они оба и оказались на виду у полиции и прессы.

Через месяц с небольшим после убийства тот и другой получили от своего «секретного» начальства приказ немедленно отправиться в Гавр, сесть на пароход «Андрей Жданов» и навсегда покинуть Францию. Приказ был передан им через посредника и не подлежал обсуждению. Но, как утверждает Клепинин, сама

поспешность их «эвакуации» была ошибкой и глупостью – тем самым советские спецслужбы расписались в своей причастности и к убийству Рейсса, и к похищению генерала Миллера. С другой стороны, их бегством, получившим широкую огласку, охотно воспользовалась французская полиция. Она могла теперь громко уверять публику, что сделала все от нее зависевшее: подлинные убийцы обнаружены, но – увы! – только что скрылись. Дело отныне могло быть закрыто, – по крайней мере, на стадии поисков виновных. Так говорит на допросах Клепинин.

Эти показания, мне кажется, очень важны для тех, кто действительно хотел бы наконец разобраться, кто есть кто. К чему бы Клепинину в этом вопросе сочинять? Между тем в этих признаниях, не один раз повторенных в протоколах его допросов, – разгадка репутации, какая закрепилась за Эфроном (и Клепининым) больше чем на полстолетия. Не только французской полиции, но и советским спецслужбам было выгодно выставить Эфрона чуть не главным виновником швейцарского убийства: одни объявляли таким образом об успешном завершении своих расследований, другие укрывали подлинных организаторов и исполнителей преступления.

Направленность дознания органов НКВД во второй половине тридцатых годов определена жестким стандартом, совершенно не зависящим от реальных обстоятельств арестованного. Предъявляемые обвинения не имеют, как правило, почти никакого отношения к действительным причинам, по которым тот содержится в заключении. Характер обвинения продиктован всякий раз соображениями «государственными», почти полностью игнорирующими конкретную личность и ее биографию. Мы знаем об этом уже достаточно; но живое знакомство со следственными делами еще раз подтверждает известное.

«Государственный» же – на уровне Берии и Сталина – замысел в отношении Эфрона и его товарищей, весьма похоже, заключался в возможности организовать еще один шумный политический процесс – в развитие предыдущих.

Как известно, Рыкова и Бухарина НКВД уже попытался обвинить в преступных связях с русской эмиграцией в Париже; Пятакову инкриминировалась связь с Троцким и зарубежными троцкистами.

Как соблазнительно было теперь продолжить начатую тему! В глазах Сталина и Берии бывшие эмигранты, приехавшие в Советский Союз, замаранные участием в «евразийском движении», да еще с таким козырем, как встреча одного или нескольких руководителей движения с самим Пятаковым, – это

была добыча и удача!

Упустить их было нелогично. Они даже слишком годились для очередного публичного разбирательства.

Естественно, что в этом случае возглавить «преступную группу» эмигрантов («засланных в СССР иностранными разведками и действовавших здесь в тесном сотрудничестве с недобитыми троцкистами») должен был бы именно Эфрон. Его организаторская роль, в том числе и в получении от советского посольства в Париже разрешений на въезд в Союз, достаточно обрисовалась в процессе всех допросов.

Испытанными средствами следствие расширяет на Сергея Яковлевича «изобличительный» материал. Так, с помощью П. Н. Толстого оно сочиняет связи Эфрона с кругом ленинградской интеллигенции, недовольной сталинским режимом и якобы замышлявшей террористический акт против вождя. У троих ленинградцев, арестованных по оговору Толстого (А. В. Введенского, Я. И. и А. Я. Стрелковых), выжимают «признания», подтверждающие эти преступные замыслы. Но, кроме замыслов, речь тут идет и о шпионских сведениях, якобы переправлявшихся из Ленинграда в Париж через сотрудницу Ленинградского морского порта Сланскую. Сланская, как уже говорилось, на допросах обвинение это характеризовала как чистую фантазию Толстого.

Характер допросов Эфрона после февраля изменился. Кажется, что следствие к этому времени уже потеряло надежду получить желанный самооговор. Сценарий нового «показательного» процесса срывался, – во всяком случае, Эфрон явно не годился на роль чистосердечно кающегося главаря «банды эмигрантских шпионов и троцкистов».

Теперь Сергея Яковлевича спрашивают в основном о конкретных лицах. И называют одно за другим имена вернувшихся в СССР эмигрантов, требуя сведений об их антисоветских взглядах и действиях. Большинство уже арестованы, другие ждут той же участи.

Показания, которые дает Эфрон, максимально осторожны и неизменно доброжелательны. Это сугубо фактологические сведения: история знакомства, известные ему биографические данные. И при каждом удобном случае он подчеркивает просоветские настроения и самые чистые цели возвращения, тем более что это было святой правдой.

Второго апреля ему предлагают перечислить всех, кого он лично завербовал для секретной работы в советских спецслужбах за рубежом. В ответе Эфрона приведен целый список – двадцать

четыре фамилии, с конкретными датами привлечения их к сотрудничеству. Среди тех, кто оказался им привлечен в первую очередь, имена Константина Родзевича и его жены Марии Сергеевны, супругов Клепининых, Веры Сувчинской (будущей Трейл)[6] – все это в прошлом евразийцы и личные друзья Эфрона. Большинство из завербованных, указывает он, поддерживали связь с представителями советских органов через него, Эфрона, и только некоторые выходили на связь сами.

Названы в этом допросе и имена тех сотрудников НКВД в Париже, в чьем непосредственном подчинении находился он сам: это прежде всего Кислов, кроме того – Жданов, Азарьян, Г. И. Смирнов. Реальные ли то были фамилии – сказать трудно.

– Сообщите, кого вы завербовали во французскую разведку, – спрашивает Эфрона лейтенант Копылов.

– Я никого и никогда ни в какую иностранную разведку не вербовал, – отвечает подследственный.

– Вы лжете. Следствие располагает достаточными материалами, опровергающими ваше утверждение…

Фиксированная часть допроса на этом обрывается.

В «деле» Эфрона, как уже говорилось, – восемнадцать протоколов допросов.

Но можно быть уверенным, что на самом деле допросов было больше. Известно из сложившейся тогда практики, что протоколы составлялись далеко не всегда. Еще раз повторю и другое: что самый добросовестный пересказ протоколов – даже и полная их публикация! – реальной картины происходившего в застенках советских тюрем того времени не только не передаст, но можно уверенно сказать, что прямо ее исказит.

Ибо слишком важное и страшное остается за кадром. Соблюдена видимость прямой трансляции, но изображение отсутствует, звук приглушен, и в протоколах допросов мы слышим словно бы механический голос, читающий убогую выжимку реально сказанного там, по ту сторону экрана…

Последний, восемнадцатый, протокол имеет дату 5 июля 1940 года.

А 13-м июля того же 1940 года помечено обвинительное заключение, утвержденное заместителем военного прокурора СССР Афанасьевым.

Трудно найти ответ на вопрос: почему же еще целый год после этого откладывалось вынесение приговора? Ибо он будет вынесен только 6 июля 1941 года, спустя три с лишним недели после начала Отечественной войны.

Работа на Лубянке, естественно, кипела и в 1940-1941-м, хотя и сбавила обороты.

Не искали ли замену Эфрону на роль лидера?

А если отказались от этого замысла – почему продолжали держать в Москве?

Из показаний Ариадны Эфрон несравненно труднее, чем из показаний Сергея Яковлевича, вычленить элементы правды.[7] Ибо после злополучного допроса 27 сентября она принимает (как многие и многие, напомним, оказавшиеся в застенках всемогущего ведомства в тридцатые годы!) предложенный следствием путь «версии на выживание». И это вынуждает ее – как и других – густо смешивать реальность с фантазией, не только применительно к собственной биографии, но и в характеристиках тех лиц, о которых ее спрашивают. Не нам, умудренным всем, что мы теперь знаем, осуждать за это двадцатисемилетнюю молодую женщину. И все же скажу о впечатлении, которое складывается при внимательном чтении дела Ариадны.

Это впечатление можно свести к тому, что иллюзии, с которыми дочь Эфрона и Цветаевой так сжилась в свои юные годы и которые заставили ее вернуться в Советскую Россию еще весной 1937 года – раньше всех других членов семьи, – эти иллюзии не утратили над ней своей силы даже тогда, когда сама она оказалась в жерновах беспощадной машины следствия. Чара «великого эксперимента», по которому якобы шла ее родина на путях создания самого справедливого общества в мире, так долго созревала в ней вдали от предмета обожания, что освободиться от нее было нелегко.

Пример отца сыграл в этом, скорее всего, решающую роль. С младенческих лет он в ее глазах – образец рыцарства, мужества, благородства, почти отождествленный еще в годы его участия в Белом движении с образом святого Георгия, вышедшего на борьбу со злым змием. Образ этот возрос на культе отца, который царил в их доме, – и на поэтических строфах матери времен Гражданской войны. Он сохранил свою силу и в эмиграции.

Дочь не могла не верить в то, во что верил ее отец; он был для нее большим, чем авторитет истины, то был авторитет чистого сердца. Аля была свидетелем его горения и бескорыстия, она воспитывалась на них – и явно считала себя сподвижницей отца.

Ариадна Эфрон после лагерей

Его секретное сотрудничество с советским представительством в Париже не было для нее тайной. На каком-то этапе отец посвятил Алю в свою особую миссию при парижском «Союзе возвращения». И помог ей «войти в дело»: объединить при «Союзе» подрастающее поколение русских эмигрантов. Это составляло предмет гордости дочери – чувство, стойко удержавшееся до конца ее жизни. Сотрудничество отца было секретным – значит, опасным, а участие в опасном – если оно освящено высокой идеей – благородно. В величии же идеи, которой был движим отец, ей никогда не пришло в голову усомниться!

Вот почему то, что происходило теперь, осенью 1939-го и весной 1940-го, представлялось ей ужасной, но частной ошибкой. «Я не могла понять, кому и для чего это нужно, – писала А. С. Эфрон в заявлении, посланном из Туруханска 15 лет спустя на имя министра внутренних дел Круглова. – Только разоблачение Берии дало мне на это ответ…»

(Увы, в этих строках слышен голос вполне рядового человека тридцатых годов, так охотно хватавшегося за версии «вредительства». Хотя можно, пожалуй, предположить и вполне

сознательную спекуляцию «зэка» на разоблачении очередного врага.)

О разрушительном воздействии на мораль и психику современников культивируемого помешательства на «вредителях» говорят не часто. Между тем оно проросло болезненной подозрительностью, разъедающей человеческие связи. Я вспоминаю об этом потому, что в иных текстах Ариадны и в моих с ней беседах проступало то смещение ценностей, которое последовательно (и успешно!) внедрял в сознание и психику людей сталинизм.

Обращу снова внимание на одну существенную деталь, мимо которой может пройти читатель. С презрением, не требующим пояснений, мы произносим сегодня слова «агент ГПУ», «агент НКВД». Для нас они означают причастность к кровавым преступлениям зловещей организации – внутри страны и за рубежом. Но в устах и Ариадны, и ее отца, в устах Афанасова, Клепининых и Эмилии Литауэр неизменно звучало другое слово: разведчик. И если пытаться понять трагедию эмигрантов, втянутых в сети «сотрудничества», нельзя это сбрасывать со счетов. Дабы не смешать воедино как подлых, так и обманутых. Извлечь какие-то уроки из истории можно, только отказавшись от черно-белого восприятия мира и скоропалительных обличений. Ибо они тоже – наследие большевизма.

Дело Ариадны Эфрон было выделено в особое производство (после встречи подследственной 14 марта 1940 года с прокурором Антоновым). Из текста постановления, составленного следствием, получается, что сделано это за неустановленностью шпионских связей А. С. Эфрон. Однако в обвинительном заключении повторено как ни в чем не бывало: «…являлась шпионкой французской разведки и присутствовала на антисоветских сборищах группы лиц… Считая доказанным, направить Прокурору СССР для передачи по подсудности». Дата обвинительного заключения – 16 мая 1940 года.

Особое Совещание, на котором обвиняемые никогда не присутствовали, решило судьбу Ариадны 2 июля 1940 года: «…за шпионскую деятельность заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет…» Однако Ариадну продержат во внутренней тюрьме до начала следующего года. Ей дадут ознакомиться с приговором только 24 декабря! Через полгода после его вынесения. Было ли это распространенной практикой тогда – я не знаю.

С арестом дочери и мужа Марина Ивановна оказалась без всяких средств к существованию. Но теперь ей надо было зарабатывать еще и на передачи в тюрьму. И зима и весна 1940 года проходят под двойным знаком: страха и напряженной работы над переводами.

Пастернак помог получить заказ на переводы национальных поэтов по подстрочникам. Цветаева начинает переводить болгарских поэтов и английские баллады о Робин Гуде, затем надолго погружается в тексты трех поэм грузинского классика Важа Пшавела: «Гоготур и Апшина», «Раненый Барс» и, наконец, огромная «Этери». Марине Ивановне не нравится эта растянутая поэма, смущают и незнакомые реалии грузинского быта, и особенности фонетической транскрипции, ритмического строя языка. Но халтурить она органически не может, и потому темп ее работы – черепаший. Пастернак пытается умерить ее добросовестность – «такие заработаешь!». Тщетно.

Голицыно Цветаева с сыном покидают 11 июня. Почти три месяца они живут в университетском доме на улице Герцена. Здесь в их распоряжении квартира, любезно предоставленная профессором Габричевским, уехавшим с семьей на лето в Коктебель. Это тоже помощь Пастернака, хотя и опосредованная.

В конце лета таможня разрешила наконец Цветаевой получить ее багаж, вывезенный из Парижа. Это тюки с одеждой, кофры и ящики с огромной библиотекой. Поиски своего жилья все еще не дали никаких результатов, и нервное состояние Марины Ивановны к концу августа предельно обострено. Перебраться со всеми вещами теперь совсем некуда – крошечные комнатки в коммунальной квартире Елизаветы Яковлевны Эфрон в Мерзляковском переулке для этого никак не годятся. Кроме того, Цветаева панически боится жить без прописки – это строго запрещено. Отчаяние достигает предела в самом конце августа и первых числах сентября. Пастернак, Эренбург, Асеев, с которым она теперь уже знакома и который, как кажется, благоговеет перед ней как поэтом, – все уверяют, что бессильны помочь. Подтверждением глубочайшей депрессии выступает первая запись Марины Ивановны, помеченная 5-м сентября 1940 года в тетради, пришедшей с грузом из Франции. Пятое сентября – это день рождения Ариадны, и поначалу Цветаева отрывочными фразами описывает утро первого ареста в Болшеве. И далее пишет: «Меня все считают – мужественной. Я не знаю человека робче себя. Боюсь – всего. Глаз, ‹нрзб.›, шага, а больше всего – себя, своей головы, если это голова – так преданно мне служившая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не

видит, не знает, что я год уже приблизительно ищу глазами крюк…» Она перебирает варианты самоубийства: глотать? прыгнуть с моста? Но нигде нет никаких «люстр» (то есть крюков) … плюс к тому – «исконная отвратительность воды»… «Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна… Но, Господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать – дожевывать. Горькую полынь. Сколько строк миновавших! Ничего не записываю. С этим кончено».

Важный момент: предшествовало этой записи посещение Цветаевой ЦК партии.

В ЦК ее пригласили прийти в ответ на отчаянную телеграмму, посланную за несколько дней до того на имя Сталина. (Ох, пора бы уже составить книгу из писем талантливейших российских литераторов к вождю всех народов! Булгаков, Ахматова, Цветаева…)

Второй раз Цветаева обращалась к вождю. На первое письмо ответа не последовало. Теперь речь шла уже не о судьбе мужа, а о ней самой и сыне.

К этому времени Марина Ивановна использовала все каналы, которые сама могла придумать и какие подсказывали ей друзья, чтобы разрешить жилищную проблему. Объявления в газетах ни к чему не привели, авантюристка-маклерша долго водила за нос, пока не исчезла вместе с огромным задатком. Письма в Союз писателей Фадееву и Павленко тоже не дали результатов. В Белокаменной, некогда воспетой в ее стихах, не находилось места, куда она могла бы поставить свои чемоданы.

27 августа 1940 года Мур записал в дневнике, что у матери состояние самоубийственное. В этот день и была послана телеграмма в Кремль. От полной безнадежности. «Помогите мне, в отчаянном положении. Писательница Цветаева» – таков был текст телеграммы. И 31-го ее вызвали. Разумеется, не к Иосифу Виссарионовичу. С Цветаевой весьма предупредительно беседуют в одном из отделов ЦК. Прямо при ней звонят в Союз писателей – с предложением помочь найти жилье «писательнице Цветаевой».

Неподалеку от Кремля, в садике, Марину Ивановну терпеливо ждут Мур и Николай Вильмонт. Моросит осенний дождь.

Когда она выходит, все трое счастливы уже одним тем, что они снова вместе.

И меньше чем через месяц проблема с жильем в самом деле разрешилась: сотрудник Литфонда А. Д. Ротницкий отыскал комнату. Ее сдавал Марине Ивановне сроком на два года инженер Шукст, уезжавший работать на Север. Трудно сказать, было ли это результатом звонка из ЦК. Ибо, во-первых, Ротницкий пытался помочь Цветаевой и раньше; во-вторых, огромную сумму,

требовавшуюся в уплату за комнату на год вперед, Марине Ивановне все равно пришлось собирать самой. (Львиную долю суммы дал Пастернак, остальное помогала собирать жена поэта Зинаида Николаевна.) Так что указующий звонок из ЦК в Союз писателей был, скорее всего, отработанной инсценировкой. Привычным враньем, ненадолго снявшим остроту стресса.

В дневнике Мура запись: в тот вечер на радостях они пили кахетинское сначала у Вильмонтов, а потом еще и у Тарасенковых.

В тот же день (утром? или поздним вечером?), 31 августа 1940 года, Марина Ивановна писала горькое письмо поэтессе Вере Меркурьевой.

О том, что Москва ее не вмещает. И что она, Марина, не может вытравить из себя оскорбленного чувства права. Ибо, писала она, Цветаевы «Москву – задарили»: усилиями отца воздвигнут Музей изящных искусств, в бывшем Румянцевском музее – «три наши библиотеки: деда Александра Даниловича Мейна, матери Марии Александровны Цветаевой и отца Ивана Владимировича Цветаева». Тут же Марина Ивановна напомнит и другое свое право: уроженца города. И еще право русского поэта. И еще право автора «Стихов о Москве».

Унижение провоцирует в ней мощный всплеск уязвленной гордости. Сказано все это, однако, совсем не по адресу. Но где тот адрес, тот имярек, кто измучил ее и ее близких, отнял возможность самого скромного существования? Кому еще можно было бы высказать все эти доводы, клокотавшие в сердце?

Очень возможно, что письмо это было написано 31-го утром, еще в преддверии разговора с властями, может быть, в ожидании назначенного часа. Цветаева с пером в руках выговаривала аргументы, которые – она понимала! – ей не придется высказать властям…

С конца сентября Марина Ивановна с сыном живут уже на Покровском бульваре в трехкомнатной квартире, только что превращенной в коммунальную. Комната Цветаевой невелика, метров пятнадцать, она вся заполнена распакованными и нераспакованными кофрами, тюками, сундуками так, что только посредине остался узкий проход к столу Стол стоит вдоль окна; он обеденный и он же письменный. В средней комнате живет старшеклассница Ида Шукст, дочь хозяина квартиры, уехавшего на Север, в третьей – супружеская пара, постоянно скандалящая по поводу использования общей кухни. Соседи разговаривают с Мариной Ивановной так грубо, что, уйдя к себе, она навзрыд плачет и долго не может успокоиться. Муру ее пронзительно жалко: мать такого не заслуживает, записывает он в своем

дневнике.

Покровский бульвар, 14/5. Дом, где в квартире 62 Цветаева жила с осени 1940 г. до отъезда в эвакуацию

Сам Мур поступил в очередную школу, уже пятую после приезда в СССР, он горюет, что с этими переездами не успевает обзавестись друзьями. А они ему остро необходимы в этом возрасте. У него, правда, есть друг, еще парижский, – Митя Сеземан, сын Клепининой, они жили вместе в болшевском заточении. Митя старше Мура чуть ли не на три года, он предельно прагматичен, но, как и Мур, он заядлый книгочей; оба они много читают на русском и французском и постоянно обмениваются книгами. Они охотно посещают книжные магазины и мороженицы, впрочем, любят еще и музыку, и театр. Денег у Дмитрия никогда нет, он живет со строгой бабушкой и потому позволяет своему другу платить за двоих, – Муру мать, видимо, щедро дает на карманные расходы.

Мур страстно хочет вписаться в советскую жизнь. Он всерьез

озабочен тем, что своей парижской обувью, крагами, молниями на курточке он выделяется из московской толпы. Арест сестры и отца не поколебал его коммунистических взглядов. Друзья обсуждают причины арестов близких, и тут между ними нет согласия. Сын Цветаевой убежден, что произошла просто нелепая ошибка и Алю и отца вот-вот оправдают. Он склонен думать, что Клепинины, высказывавшиеся в Болшеве так враждебно по отношению к происходящему в стране, оклеветали Эфронов, приписав им собственные суждения. Со своей стороны Митя убежден, что это Аля «продала всех». Друзья ссорятся и всё же крепко держатся друг за друга.

Десять месяцев, которые прожила Цветаева на Покровском бульваре, в центре Москвы, позволили ей резко расширить дружеские связи, что было для нее органически необходимо. Душа ее иссохла без близких людей рядом, ей так не хватает сердечного тепла. Она радостно откликается на всякое приглашение прийти в гости, – бывает у Тагеров, встречается с Танечкой Кваниной, навещает дочь Бальмонта Нину Константиновну, видится с такой близкой ей четой Звягинцевой и ее мужа, посещает дореволюционных друзей – Софью Юркевич, Ольгу Мочалову, Веру Меркурьеву, Елизавету Тараховскую. Встречаясь с Алексеем Крученых, она видится в его доме и со множеством других литераторов – Константином Липскеровым, например. Пастернак сводит Марину Ивановну со своими друзьями: среди них – Н. Н. Асеев, Г. Г. Нейгауз, чета Асмусов, Вильям-Вильмонтов. Чета Тарасенковых также входит в круг общения Цветаевой. Время от времени ее зовут прочесть что-нибудь в разных домах, она читает «Попытку комнаты», поэму «Молодец», «Повесть о Сонечке», отдельные стихи. Доброжелатели готовят прием Цветаевой в группком переводчиков при Союзе писателей, и весной 1941 года Марина в этот группком вступает. Она сближается и с теми переводчиками, которых Нина Яковлева, возглавлявшая группком, регулярно собирает у себя дома. Здесь, в частности, происходит знакомство Марины Ивановны с Арсением Тарковским, Элизбаром Ананиашвили, Вильгельмом Левиком. Есть, правда, немало людей, которые пугливо сторонятся «белоэмигрантки», у которой к тому же арестованы дочь и муж. Понимая это, Цветаева не проявляет активности в знакомствах, она и сама побаивается людей малознакомых.

Но, случайно встретив у Звягинцевой молодого поэта Семена Липкина, она приглашает его на прогулку вдвоем по городу. Липкин не из пугливых, он польщен, они встречаются на следующее же утро и проводят чуть не весь день вместе. Позже

поэт живо описал эту прогулку Обычно Цветаева водит своих друзей по старым знакомым местам: по Замоскворечью, Трехпрудному переулку, посещает вместе с ними музей, созданный волей и усилиями ее отца.

В воспоминаниях Липкина об этом дне два момента особенно значимы – полный неинтерес Марины Ивановны к посещению «шикарных» мест, и еще одно: эпизод с литераторами, случившийся в ресторане «Националь», куда они все-таки зашли. Цветаева оказывается тут свидетельницей ссоры литераторов и, может быть, впервые слышит слово, рожденное в сталинской России: «стукач»… Спустя всего несколько месяцев, в Елабуге, у нее будет случай столкнуться с этой реальностью, которая существовала тогда в стране отнюдь не виртуально.

Во всяком случае, достоверным фактом можно считать то обстоятельство, что теперь уже в литературных кругах Москвы возвращение Марины Цветаевой вышло из тени и воспринималось как заметное событие.

В конце года она энергично принялась за составление своего поэтического сборника. Некий человек из Гослитиздата уверил ее, что выпуск такого сборника возможен. Она слабо верит в это, даже и совсем не верит. Но все же принимается за дело с присущим ей рвением. Ведь, кроме желания дать читателю себя-поэта, играла немалую роль и надежда на гонорар – они тогда были весьма солидными. Под этот гонорар она еще прошлой осенью одалживала деньги на квартиру, то есть какое-то время все же верила в реальность предприятия! И она доводит-таки дело до конца, представив уже в 1940 году в редакцию издательства машинописный экземпляр книги, включив в нее избранные стихи из сборников «Ремесло» и «После России». Она расположила стихи в хронологическом порядке, как это было в большинстве ее прежних поэтических сборников. Но – с важнейшим отступлением! Открывался сборник стихотворением «Писала я на аспидной доске…», посвященным «С. Э.», то есть мужу. В обновленной редакции стихотворение звучало так:

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблёклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по́ льду и кольцом на стеклах, –

И на стволах, которым сотни зим…
И, наконец, – чтоб было всем известно! –
Что ты любим! любим! любим! любим! –

Расписывалась – радугой небесной.

Как я хотела, чтобы каждый цвел
В веках со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечеркивала имя…

Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! внутри кольца!
Ты – уцелеешь на скрижалях.

Да, вот так – именно теперь, когда злая беда сомкнула свои волны над головой дорогого человека. Любила, люблю и буду любить, что бы ни происходило в этом мире. Прежде это стихотворение, написанное еще 5 мая 1920 года, она никогда не публиковала. Поступок чисто цветаевский, – его питают бесстрашие и благородство.

Сборник был беспощадно зарублен в недрах издательства. Палачом-рецензентом оказался критик Корнелий Зелинский, один из знакомцев Цветаевой по Голицыну. Текст его шестистраничного омерзительного отзыва ныне известен. Там есть всё: сведения об авторе, который жил в окружении врагов советской власти и печатался в белоэмигрантских изданиях, обвинение в формализме, пустоте, бессодержательности стихов, тезис о коренной чуждости советской поэзии. И прочее в том же духе. Кажется, более всего задело Цветаеву обвинение в формализме; в записи на отзыве она назвала это обвинение «просто бессовестным». И добавила, подчеркнув: «Это я говорю – из будущего. М. Ц.» (Зелинский был плодовит, печатался много, но в историю литературы войдет именно и только этим – бессовестным отзывом на стихи великой Цветаевой. Справедливость судьбы.)

В начале декабря 1940 года она закончила перевод стихотворения Шарля Бодлера «Плаванье». Эта работа стала для нее наслаждением. Широкое дыхание, гордость и счастье творца – будто сама она создала этот текст, близкий ей всем своим пафосом… «Спасибо», – записывает она в тетради по окончании работы. Не себе «спасибо», конечно. Но тут же в рабочей тетради – жалоба: «Пока я буду переводить других, – кто будет писать мое? Меня?..» И через пару страниц: «Когда меня спрашивают: Почему вы не пишете стихи? Как Вы можете не писать? – я задыхаюсь – от негодования. – Какие стихи? Я всю

жизнь писала от избытка чувств. Сейчас у меня избыток каких чувств? Обиды. Горечи. – Одиночества. Страха. В какую тетрадь – писать такие стихи?? ‹…› Как я сейчас могу, когда мои… Если бы я этой книгой могла спасти тех… ‹…› Слава? Она мне не нужна. Деньги? Пойдут кредиторам. А главное, что все это случилось со мной – веселой, живой, любящей (все и всякого), доверчивой (даже сейчас…). За что? И – к чему? Ни умнее, ни лучше я от этого не стала, только писать перестала – и быть перестала. Разве я – живу? Разве это я – живу?»

Писать перестала – и быть перестала…

Отложи на время книгу, читатель. Наступает 1941 год.

5

За полмесяца до начала войны судьба подарила Цветаевой встречу с Анной Андреевной Ахматовой.

Они увиделись на Большой Ордынке, 17, в квартире писателя Виктора Ардова, знакомого Цветаевой по Голицыну, и его жены актрисы Нины Ольшевской. Супруги давно дружили с Ахматовой, часто останавливавшейся у них во время своих наездов в Москву. Цветаева пришла по приглашению Ардова и провела на Ордынке – по одним сведениям, два-три часа, по другим – все шесть. Разговаривали Ахматова и Цветаева наедине, сначала в столовой (она же гостиная), а затем в крошечной комнатке, отведенной здесь Анне Андреевне, – там можно было поставить всего один стул.

В этот день они увиделись впервые, хотя еще с десятых годов знали друг о друге. Марина посылала в Петроград с оказией свои стихи, посвященные Анне Андреевне, а в тяжком 1921-м, когда до Москвы дошло известие о расстреле Гумилева, – письма и подарки. В ответ Ахматова прислала тогда свой сборник «Белая стая» и короткую записочку.

Молодая Цветаева, мы помним, была горячей поклонницей ахматовской поэзии. В 1916 году она посвятила своей современнице (Ахматова старше Марины на три года) цикл стихотворений. Позже еще дописала цикл.

Летом 1940 года вышел в свет, после многолетнего перерыва, сборник Ахматовой «Из шести книг». В дневнике Георгия Эфрона отмечено, что очередь в книжный магазин, где была объявлена продажа книги, занимали с четырех часов утра. Книгу они, тем не менее, достали. И, перечитывая теперь некогда столь любимые строфы, Цветаева неожиданно испытывает разочарование. Запись

в ее тетради: «Вчера прочла, перечла – почти всю книгу Ахматовой и – старо, слабо. Часто (плохая и верная примета) совсем слабые концы, сходящие (и сводящие) на нет…» И дальше: «Но что она делала с 1917 по 1940 г.? Внутри себя. Эта книга и есть непоправимо-белая страница… Жаль».

Всего год назад вернувшейся на родину Цветаевой не приходит в голову авторская несвобода в составлении собственной книги. В вышедшем ахматовском сборнике не были представлены – и не могли быть представлены! – ни ее «Реквием», ни другие прекрасные ее трагические стихи 1939–1940 годов. Теперь, в маленькой комнатке Ардовых, Ахматова читает Марине Ивановне отрывки из «Поэмы без героя». Отзыв Цветаевой нам известен в передаче самой Анны Андреевны: «Она довольно язвительно сказала: “Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об Арлекинах, Коломбинах и Пьеро…”» Опять Цветаевой не хватило догадки, что ее собеседница, даже при встрече на квартире у своих давних друзей, не доверяла стенам и не решилась прочесть что-то другое. Анна Андреевна отчетливо почувствовала холодок. Недоразумение, естественно, не способствовало сближению. А между тем за год до этой встречи было создано первое и последнее ахматовское стихотворение, целиком обращенное к Цветаевой: «Невидимка, двойник, пересмешник…» В нем явственно звучало чувство сестринского сострадания – и соединенности в общей страшной беде, бросившей в застенок их самых близких людей. Обе знали, конечно, об арестах – сына и мужа Ахматовой, дочери и мужа Цветаевой.

В тот же вечер, вернувшись к себе на Покровский бульвар, Марина Ивановна позвонила к Ардовым и предложила встретиться еще раз, на следующий день. Выяснилось, однако, что Ахматова уже сговорилась на этот день о встрече со своим другом литературоведом Н. И. Харджиевым у него дома в Марьиной Роще. Впрочем, если Цветаева тоже придет туда, ей будут рады.

Марина Ивановна нашла себе провожатого (им оказался переводчик Т. С. Гриц) и пришла в Марьину Рощу, принеся с собой переписанную от руки за ночь «Поэму Воздуха». Ей наверняка хотелось показать, как далеко она ушла от своей молодой поэзии, которую все только и знали. Об этой второй встрече мы знаем немного больше, чем о первой, ибо в ней было больше участников (кроме хозяина, еще и И. А. Ольшевская, Э. Г. Герштейн, Т. С. Гриц).

Марина Ивановна была на подъеме, говорила, со слов Харджиева, почти беспрерывно, часто вставала со стула и умудрялась легко и свободно ходить по восьмиметровой

комнатенке. Говорила Цветаева о Бальмонте, о Хлебникове, о Питере Брейгеле и недавно вышедшей «Книге о художниках» Кареля ван Мандера, о киноактере Петере Лорре – и снова о Хлебникове… «Говорила она стремительно, и в монологе ее был полет. Слова не успевали за мыслями, она не заканчивала фразу и перескакивала на другую; думая, должно быть, что высказала уже все до конца, она перебивала самое себя, торопилась, зачастую бросая только намек, рассчитывая, что ты и так, с полуслова, с полунамека все поймешь, что ты уже всецело в ее власти, подчинен ее логике и успеваешь, не можешь, не смеешь не успевать за ней в ее вихревом полете. Это поистине был вихрь, водоворот мыслей, чувств, фантазий, ассоциаций». Так вспоминает о Цветаевой Мария Белкина.

Она настолько прекрасно «держала беседу», что, когда в конце встречи она вышла из комнаты, Анна Андреевна произнесла: «Ну, я в сравнении с ней просто телка…» Душевного сближения поэтов и на этот раз не произошло. Прочитав позже «Поэму Воздуха», Ахматова ничего в ней не поняла и высказывалась вполне категорично: «Марина ушла в заумь…» Она признавалась потом, что не решилась прочесть вслух свое стихотворение к Цветаевой из-за строк о трагической судьбе цветаевской семьи.

Есть своя закономерность в холодности этих встреч. Обе они были слишком разными, чтобы сойтись ближе, – и это ярчайшим образом выявляет поэзия той и другой. Уравновешенно-сдержанная, неизменно «воспитанная» поэзия Ахматовой и экстатически безудержная – Цветаевой; «закрытая» при всей внешней интимности Ахматова – и безоглядная в исповедальных признаниях Цветаева; певец земных радостей и печалей гармоничная Ахматова – и всегда бунтующая, непримиримая, трагедийная Цветаева, рвущаяся из земных оков. Ахматова, сохраняющая верность традиционному русскому стихосложению – и Цветаева, взрывавшая эту традиционность… Классическая Ахматова – и романтическая Цветаева, «аполлонический» художник – и «дионисийский»…

6

Только 6 июля 1941 года выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР на закрытом судебном заседании рассмотрит дело по обвинению Эфрона, Клепинина, Клепининой, Литауэр, Афанасова и Толстого. Председательствует военный юрист 1-го ранга Буканов.

Обвинение «считает установленным», что обвиняемые участвовали в белогвардейской организации «Евразия», которая ставила своей задачей объединить вокруг себя все антисоветские элементы, находившиеся за границей и в СССР, и свергнуть в Советском Союзе существующий строй, что «Евразия» сотрудничала с разведками других иностранных государств, чтобы получить от них помощь для засылки в Советский Союз контрреволюционной литературы и эмиссаров, что в 1929 году через Пятакова и Сокольникова «Евразия» установила связь с троцкистским подпольем и вкупе с троцкистами вела преступную деятельность.

Наконец, что члены организации вошли с преступной целью в доверие к органам НКВД, находившимся в Париже, дабы с их помощью проникнуть в СССР и вести там шпионскую и террористическую работу.

Только Клепинин и Литауэр признают свою вину в судебном заседании. Эфрон и Клепинина признают участие в «евразийской организации» и категорически отрицают обвинение в связях с иностранными разведками и шпионаже в их пользу. Толстой не признаёт за собой никакой вины и отказывается от всех показаний, данных на предварительном следствии. Отрицает все предъявленные обвинения и Афанасов.

Последнее слово Сергея Эфрона записано в протоколе судебного заседания следующим образом: «Я не был шпионом. Я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно, что начиная с 1931 года вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза…»

Приговор одинаков для всех шестерых обвиняемых – высшая мера наказания. С добавлением: «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

В следственном деле Эфрона под протоколом судебного заседания есть карандашная пометка. Из нее следует, что приговор приведен в исполнение: в отношении Афанасова – 27 июля, супругов Клепининых, Эмилии Литауэр и Толстого – 27 августа 1941 года.

Эфрон здесь не упомянут. Он был расстрелян позже всех других – 16 октября 1941 года. Эта дата внесена в дело Эфрона только 8 августа 1989 года; справка, подтверждающая дату, подписана начальником Центрального архива КГБ И. М. Денисенко.

И последнее. Поведение Эфрона в застенках НКВД позволяет нам в полной мере оценить отношение Марины Цветаевой к своему мужу, проявленное ею на допросах во французской полиции в октябре и ноябре 1937 года. Это неколебимая и

высокая преданность жены самому близкому человеку в тяжкий час испытаний – поверх всех политических расхождений. Этой преданностью будут спекулировать любители скорых обличений, имя же им – легион. «Всё знала и покрывала!» При этом – не только никаких фактов, но и никакого представления ни о личности самого Эфрона, боготворившего и оберегавшего свою семью, ни о нормах конспиративности в среде сотрудников Учреждения – просто «соображения», с явственно ощутимой сладострастной примесью наговоров («не могла не знать»). На всякий роток не накинешь платок…

Мужество и нравственная безукоризненность поведения Эфрона в застенках НКВД неоспоримы. Он не только никого не оговорил, но не позволил и себе самому уклониться от долга и правды, как он их понимал. Последовательно отвергая ложь, он не согласился участвовать в грязном спектакле, который ему предлагали. Уже эта стойкость не позволяет ставить его на одну доску с теми его «коллегами» по Учреждению, которые совершали преступления с холодным цинизмом людей, отлично знавших, кому и чему они на самом деле служат.

Другое дело, что высоких душевных качеств оказалось недостаточно, чтобы в иезуитских испытаниях, которые уготовили своему современнику тридцатые годы XX века, избежать сетей изощренной лжи и ее растлевающего влияния.

Ядовитые софизмы о «пользе отечества» обманули не одного Эфрона. Они были отработаны незаурядными «ловцами душ» с площади Дзержинского в Москве, отработаны как раз в расчете на людей, готовых к самопожертвованию во имя высокой альтруистической идеи.

Увы, расчет оправдался. И число его жертв нам еще предстоит узнать…

Глава 5
Елабуга

1

Любое самоубийство – тайна, замешенная на непереносимой боли.

И редки случаи – если они вообще существуют, – когда предсмертные записки или письма объясняют подлинные причины, толкнувшие на непоправимый шаг. В лучшем случае известен конкретный внешний толчок, сыгравший роль спускового механизма. Но ключ к тайне мы не найдем в одних только внешних событиях. Он всегда на дне сердца, остановленного усилием собственной воли. Внешнему давлению можно сопротивляться – и поддаться ему, на всякое событие можно отреагировать так – или иначе; запасы сопротивляющегося духа могут быть истощены, а могут еще и собраться в решающем усилии. Душевное состояние самоубийцы в роковой момент – вот главное. Но увидеть изнутри человека в этой предельной ситуации – задача почти невозможная. Тем более когда это касается личности столь незаурядной, как личность Марины Цветаевой.

Все это так. Оговорки необходимы. А все же наш долг перед памятью великого поэта – собрать воедино все подробности и обстоятельства, дабы полнее представить картину трагедии, последний акт которой разыгрался 31 августа 1941 года в маленьком городе Елабуге. Ибо есть в этой картине совсем непрописанные места. Оттого и распространилось так много версий гибели Цветаевой: каждая есть, по существу, попытка утолить беспокойство, которое возникает вокруг всякой тайны. Что бы ни утверждали иные знатоки, пытающиеся поставить тут точку, всякий раз получается лишь запятая – или многоточие.

Загадка Елабуги остается; быть может, она останется навсегда.

Так не будем и делать вид, что тут все уже ясно. Хотя бы потому что есть подозрение: если объявить елабужский период в биографии поэта проясненным, это может оказаться на руку тем, кто знает о нем больше, чем мы с вами.

Вот почему я вижу смысл в том, чтобы пристальнее вглядеться в последние дни Цветаевой. И обозначить неясности, сформулировать вопросы, на которые сегодня еще нет ответов.

Тогда со временем они могут обнаружиться. Расчистим же для них место.

Все, кто встречался с Мариной Ивановной в те полтора месяца, которые отделили день ее отъезда с сыном в эвакуацию от начала войны, сходятся в утверждении, что состояние ее духа было крайне напряженным и подавленным.

Причин для этого было достаточно и до 22 июня. И все же нападение Германии и стремительное продвижение гитлеровских войск в глубь страны Цветаева, по свидетельству многих, восприняла как глобальную катастрофу почти с предрешенным исходом. Незажившими ранами сердца оставались для нее судьба Чехословакии и быстрое падение Франции. В Праге и Париже жили близкие ей люди. Зримо стояли перед глазами места, где она радовалась и тосковала, мучилась над недающейся строкой и версту за верстой вышагивала по всем тропинкам и улочкам. Теперь все они: и знакомые лица, и холмистые предместья Праги, и уютные кривые переулки Мёдона – утонули в тени безумного фюрера.

Марина Цветаева, Лидия Либединская, Алексей Крученых, Мур. Июнь 1941 г.

Ей могло иногда казаться, – с ее-то отношением к мифу как к закономерности бытия, проступающей сквозь быт! – что это ее саму неумолимо настигает цокот копыт того коня со Всадником, от которого некогда тщетно убегал бедный Евгений. Теперь этот цокот был слышен уже в Москве…

В середине июля 1941 года Цветаева проведет двенадцать дней за городом, вблизи Коломны, на даче у своих литературных друзей.

Но с 24 июля она снова в Москве.

Уже начались налеты немецких бомбардировщиков на

столицу, ежедневно ревут сирены воздушной тревоги; в домоуправлениях формируют отряды, дежурящие на крышах домов во время налетов, чтобы гасить зажигательные бомбы. Город преобразился; окна домов перекрещены полосками из газетной бумаги, чтобы не вылетали стекла от воздушной волны при взрывах бомб. На многих перекрестках висят рупоры громкоговорителей, по вечерам в небо поднимаются громоздкие туши аэростатов.

В эти дни Цветаеву часто встречают в скверике перед «домом Ростовых» на улице Воровского (бывшей Поварской), где теперь – после старорежимных дворянских семей, после Чека, после Наркомата по делам национальностей и после Дворца искусств – разместилось правление Союза советских писателей. Тут некогда молодая Марина слушала странные и вдохновенные речи Андрея Белого, выступавшего перед «ничевоками». Ныне здесь толкутся московские литераторы, жадно узнавая друг от друга новости – фронтовые и городские.

И настойчивым рефреном то в одной группе, то в другой звучит слово «эвакуация».

Первый эшелон московских литераторов и их семей отбыл из Москвы 6 июля. То есть в тот самый день, когда Военная коллегия Верховного суда вынесла смертный приговор Сергею Эфрону.

Теперь составлялись списки тех, кто поедет следующим эшелоном. Ближайший уходил 27-го.

Цветаева спрашивает совета чуть ли не у каждого, с кем она хоть мало-мальски знакома: уезжать или оставаться?

А если уезжать, то куда? И с кем?

Ей был необходим спутник-поводырь даже в те далекие тихие дни, когда она приезжала из чешской деревни в Прагу по делам. Как же было не искать теперь кого-нибудь, с кем можно решиться на то страшное-неведомое, что называлось словом «эвакуация». Слишком хорошо она знала свою непригодность ко всем сферам практической жизни, где надо «устраиваться», хлопотать и добиваться.

Между тем в эти дни испытаний около нее нет человека, кто бы за нее мог решить и сделать, что нужно. «У меня нет друзей, а без них – гибель», – записывала Марина Ивановна в рабочую тетрадь еще в мае 1940 года. За год ситуация не изменилась.

Пастернак, похоже, уже и не вспоминал о ней. В начале июля он проводил в эвакуацию жену с двумя сыновьями, – они уехали с эшелоном писательских детей; потом одиноко жил в Переделкине, но был очень занят: проходил военное обучение, писал статьи, переводил патриотическую лирику народов СССР, ездил в Москву по издательским делам, выбивал гонорары… А

кроме того, – огород и хлопоты о двух пустых квартирах… – дел всегда невпроворот. А все-таки то было предательство дружбы.

Знакомых много. Но «многие» в таких ситуациях – синоним «никого». Ибо нужен один – надежный, любящий, сильный – совсем рядом.

Муру, правда, уже шестнадцать лет, он умен, начитан, самостоятелен, но меньше всего пригоден к тому, чтобы стать опорой матери. И в этом она виновата сама. Она не дает ему выйти из детства: опекает, как несмышленыша, запрещает, разрешает. И совершенно теряется, когда он своевольничает. А теперь еще он влюблен и потому слышать не хочет об отъезде. Вечерами он гуляет со своей знакомой девятиклассницей, а во время налетов иногда дежурит на крыше.

Эти дежурства – чуть ли не главное, что заставляет Цветаеву торопиться с отъездом: она страшно боится за сына.

Да как же и не бояться? Боялась бы, даже если бы и вся семья была рядом.

Но теперь он остался у нее один.

Пастернак почти все время жил в Переделкине. Танечка Кванина, преданная, добрая, милая (Цветаева с ней сблизилась год назад в Голицыне), не появлялась уже больше месяца; ей нельзя даже и позвонить: у нее нет телефона. Николай Вильмонт ушел в ополчение, Тарасенков на фронте с первых дней войны. Авторитет же новых знакомых в тех проблемах, какие теперь надо решать, для Цветаевой неубедителен. Она не слишком доверяет даже Ярополку Семенову – искренне преданному ей молодому поэту: слишком случайно и внезапно он появился на ее горизонте. «Почему он ко мне так хорошо относится? – спрашивает она у Алиной подруги Нины Гордон. – А может быть, он из НКВД?»

Нине Гордон, как и Самуилу Гуревичу, Цветаева несомненно доверяет. Наряду с сестрой мужа Елизаветой Яковлевной это самые близкие ей люди. Но у них у всех свои беды, хлопоты, службы. Да еще и телефоны не работают как раз тогда, когда надо принимать быстрое решение.

Каждая бомбардировка заставляет ее испытывать настоящий ужас. «Я думала, что я храбрая, – говорит однажды Марина Ивановна Шур-Гельфанд, живущей в одной квартире с Лилей Эфрон, – а оказывается, я страшная трусиха, панически боюсь налетов…»

Соседка Цветаевой по квартире на Покровском бульваре – не та, которая враждовала с Мариной Ивановной, другая – Ида Шукст, тогда еще ученица десятого класса, вспоминала, как однажды во время воздушной тревоги она оказалась в

бомбоубежище своего дома.

Рядом сидела Марина Ивановна – закаменевшая, как изваяние, прямая, с руками, словно приклеенными к коленям, с немигающим взглядом, устремленным перед собой. Ида совершенно не могла на нее смотреть, так было это тяжело, и постаралась больше не ходить в убежище вместе.

Нина Гордон

Но постоянное внутреннее напряжение было заметно в Цветаевой и в относительно спокойные дни. Она была как перетянутая струна, вспоминала И. Б. Шукст; опасно было любое неосторожное прикосновение. «Видно было, что она все время сдерживалась, нервное истощение ее было на пределе». И не было никакой разрядки этого напряжения.

К ней приходили, но не часто. Во всяком случае, Ида не запомнила ни одной женщины. А значит, не с кем было хотя бы на время расслабиться, сбросить душевную тяжесть: «…все было в себе, все за внутренней решеткой, и оттого нервный срыв был всегда рядом…»

Цветаева с сыном уедут из Москвы 8 августа.

В самый канун отъезда она посетила Эренбурга, вернувшегося из Франции год назад. Достоверных сведений о том, как именно прошла последняя встреча этих людей, некогда связанных сердечной дружбой, у нас нет.

Есть не слишком достоверные.

О свидании рассказывает со слов Мура в своей книге «Париж – ГУЛАГ – Париж» Дмитрий Сеземан. Других источников нет, и остается только надеяться, что хотя бы общая тональность этой встречи не искажена слишком сильно.

Сеземан пишет: «Марина стала Эренбурга горько упрекать: “Вы мне объясняли, что мое место, моя родина, мои читатели здесь, вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств, на улице, и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает. Как мне прикажете быть?” Что же ей отвечал Эренбург? Мур мне это рассказывал, – пишет Сеземан, – на перроне ташкентского вокзала, где часами стоял эшелон эвакуированного Московского университета. Рассказывал своим обычным ироническим, даже саркастическим тоном, далеким от какой бы то ни было моральной оценки… Так вот, Эренбург ответил Цветаевой так: “Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, которые от нас с вами сокрыты и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего…” Он бы еще долго продолжал свою проповедь, но Марина прервала его. “Вы негодяй”, – сказала она и ушла, хлопнув дверью».

Всегда трудно верить в точность диалогов, которые воспроизводятся по памяти, да еще спустя несколько десятков лет, да еще через третье-четвертое лицо.

Илья Эренбург

Встреча Эренбурга с Цветаевой уж наверное не исчерпывалась диалогом такого рода. Ибо если иметь в виду дату встречи, то ясно, что Марина Ивановна приходила уже не для упреков, а, скорее всего, с главным своим вопросом тех дней: эвакуироваться ли? И куда, с кем? Очень вероятно, что она попыталась задействовать Илью Григорьевича в прояснении судьбы мужа. Ведь для Цветаевой оставалось неясным, где же он теперь – в Москве или в лагере, как решилась его судьба. Решилась ли? Раз она уезжала из Москвы, было непонятно, как дальше можно будет узнавать о Сергее Яковлевиче.

О судебном заседании, вынесшем 6 июля смертный приговор Эфрону, семье ничего не было сообщено.

Канун отъезда из Москвы описан в воспоминаниях Нины Гордон. Решение уезжать именно 8 августа, с очередным писательским эшелоном, выглядит в этих воспоминаниях внезапным, принятым впопыхах, в состоянии крайнего нервного возбуждения: «И вся она была как пружина – нервная, резкая, быстрая… Очень помню ее глаза в этот день (7 августа, в канун отъезда. – И. К.) – блестящие, бегающие, отсутствующие. Она как будто слушала вас и даже отвечала впопад, но тем не менее было

ясно, что мысли ее заняты чем-то своим, другим».

Из этого описания очевидно скорее другое: принимая решение покинуть Москву именно 8 августа, Цветаева не советовалась ни с Ниной, ни с мужем Али, несмотря на полное к ним доверие! Оба, придя к Марине Ивановне в этот канунный вечер, пытаются уговорить ее остаться, не спешить, хорошенько приготовиться и собраться, уехать она еще успеет. Цветаева как будто соглашается…

Но наутро все же уезжает.

А на пристань ее приходят проводить Борис Пастернак, Лидия Либединская, Лев Бруни, Виктор Боков. Пришел проститься с Цветаевой и Илья Эренбург. Значит, Марина Ивановна нашла время и возможность известить их? То есть ее отъезд не был таким уж внезапным, решенным прямо в ночь на 8-е. Известно, что ранним утром к дому на Покровском бульваре подъехал грузовик Литфонда, забиравший вещи отъезжавших. А запись на этот грузовик велась заранее…

Все это лишний раз дает почувствовать страшнейшее одиночество Цветаевой в час пиковых испытаний.

2

Итак, 8 августа – отплытие из Москвы, с речного вокзала, на пароходе «Александр Пирогов». В Горьком – пересадка на другой пароход, который пойдет по Каме. Уже в Елабуге Цветаева опустит в почтовый ящик открыточку, адресованную в Союз писателей Татарии. В открытке – просьба помочь перебраться в Казань из Елабуги; Союз писателей Татарии мог бы использовать ее как переводчицу. При этом Марина Ивановна упоминает, что у нее есть рекомендательное письмо директора Гослитиздата П. И. Чагина. Даже два его письма – и в Союз писателей, и в татарское издательство!

Эта деталь тоже не согласуется с версией о панически внезапном отъезде Цветаевой. Значит, и маршрут следования парохода она хорошо знала, и с Чагиным советовалась, и даже заручилась его поддержкой.

«Нервная, резкая, быстрая…» – пишет Гордон. Но на то были совершенно естественные причины: сборы, канун отъезда! Да и грубых слов сына было бы для этого достаточно, ведь Мур сопротивлялся отъезду до последнего момента…

Дорога в Елабугу заняла десять дней.

Долгий срок, если жизненное пространство ограничено

территорией парохода. За это время Цветаева перезнакомилась со многими писательскими женами. Некоторые из тех, с кем она успела сблизиться за время пути, сошли в Чистополе – городке, ставшем одним из центров эвакуации писательских семейств. Однако он был уже переполнен, и теперь московский Литфонд отправлял новые эшелоны дальше, в Елабугу. В Чистополе имели право сойти только те, у кого здесь уже жили родственники.

Обратим внимание всего на один эпизод дальнейшего пути Цветаевой.

На пароходе появилась новая пассажирка – о ней запишет в своем дневнике Мур. Это Флора Лейтес. Она уже несколько недель прожила в Чистополе и теперь едет в местечко Берсут, что по дороге в Елабугу, дабы забрать оттуда писательских детей, отдыхавших в пионерлагере, и привезти их в тот же Чистополь. И вот почти всю, правда недолгую, дорогу до Берсута Флора проведет в беседе с Мариной Ивановной.

Беседа оказалась настолько сердечной и доверительной, что, расставаясь, Флора дала Цветаевой свой чистопольский адрес и обещала помощь, если Марина Ивановна решит добиваться перевода из Елабуги.

В Берсуте Флора сошла.

А у Цветаевой оставался отрезок пути до Елабуги, чтобы обдумать услышанное.

Флора решительно поддерживала мысль не оставаться в Елабуге. Ее информация о Чистополе была уже, что называется, из первых рук. Наверняка она рассказала о том, что в городе действует Общественный совет эвакуированных при Союзе писателей, что он помогает приезжим в устройстве; что там живет не только поэт Николай Асеев, с которым Цветаева была чуть ли не дружна, но и семьи Пастернака, Сельвинского, Федина, Леонова, Тренева. Что в этой писательской среде Марине Ивановне все же будет легче, чем там, где она всем чужая…

Этот дорожный эпизод достаточно объясняет тот странный на первый взгляд факт, что уже на следующий день после прибытия в Елабугу Цветаева отправляет телеграмму Флоре с просьбой начать хлопоты. Решение, похоже, было принято еще на подходе к Елабуге.

Мария Белкина в своей книге предлагает другое объяснение – она считает, что Цветаеву испугал сам вид маленького захолустного городка: «сраженная Елабугой», пишет Белкина, Марина Ивановна поспешила дать телеграмму. (И сам факт знакомства с Флорой Лейтес на пароходе, и дата телеграммы, посланной ей из Елабуги, – результат уникальных разысканий М. Белкиной; моя роль в данном случае – лишь в попытке выявить

внутреннюю логику событий.)

Впрочем, одно не исключает другого, скорее дополняет.

Но ничто не мешает нам предложить и еще одно объяснение этой поспешности.

«Чертово городнище» вблизи Елабуги

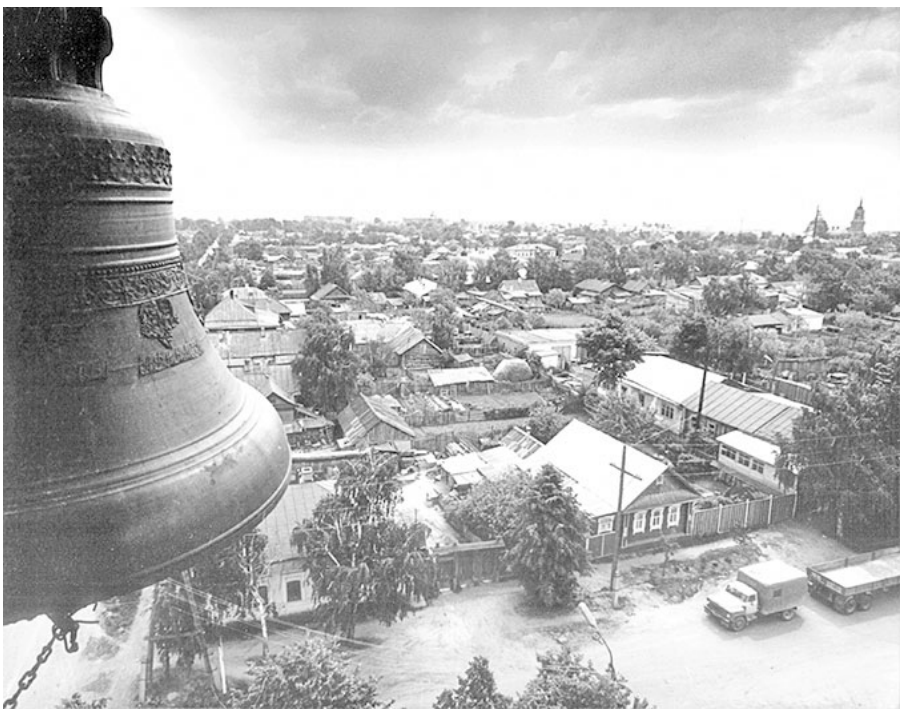
Мистическое. Настаивать на нем я не буду. Но для меня вполне реально предположить, что в состоянии того крайнего внутреннего напряжения, которое не оставляло Цветаеву уже несколько недель подряд, она могла ощутить, едва ступив на елабужскую землю, толчок в сердце. Необъяснимый толчок страха. Может быть, и больше – ужаса. Ибо она ступила на землю, в которой, спустя всего две недели, тело ее будет погребено.

Итак, 17 августа пароход подошел к пристани «Елабуга». А 8-го отправлена телеграмма Флоре Лейтес.

Я впервые увидела Елабугу спустя более чем полвека после той трагической осени. С тех пор город сильно разросся: в его окрестностях были обнаружены нефтяные месторождения. В восточной части Елабуги появился совсем новый район, застроенный стандартными домами. Но старый город сохранил свой облик; старый, но, конечно, не старинный – с поправками на неизбежные вкрапления градостроительных и архитектурных новшеств советских лет. Их, слава богу, не так уж много. На центральной площади до сих пор возвышается скромный монумент Ильичу; продолжают носить советские наименования улицы Ленина и Коммунистическая. Но центральная улица теперь

уже обрела старое название – Казанская; только на дальнем ее конце я тогда успела еще застать старые вывески: долгие годы подряд это была улица Карла Маркса.

Центр города можно не спеша обойти за час-другой. Все дома, которые я здесь искала, оказывались рядом: здание Библиотечного училища, где поначалу разместили москвичей, приехавших вместе с Цветаевой; здание бывшего горсовета, где эвакуированным помогали найти жилье и работу; здание детской библиотеки, куда, как я узнала, Марина Ивановна приходила два или три раза…



Елабуга. Фотография А. Полозова

На трех-четырех центральных улицах старого города можно увидеть уютные двухэтажные каменные особнячки, любовно и со вкусом выстроенные в прошлом веке елабужскими купцами и заводчиками. Но сделайте два шага от старого центра – и вот уже царство одноэтажных бревенчатых домов, иногда обшитых ярко выкрашенной вагонкой, иногда украшенных резными наличниками на окнах и причудливой резьбой на воротах. Повсюду за заборами – отяжелевшие ветви яблонь: я приехала как раз в августе – только что отошел второй «яблочный спас». Хозяйки торговали яблоками чуть ли не у каждого магазина, расположившись совсем по-домашнему на лавочках и

приступочках.

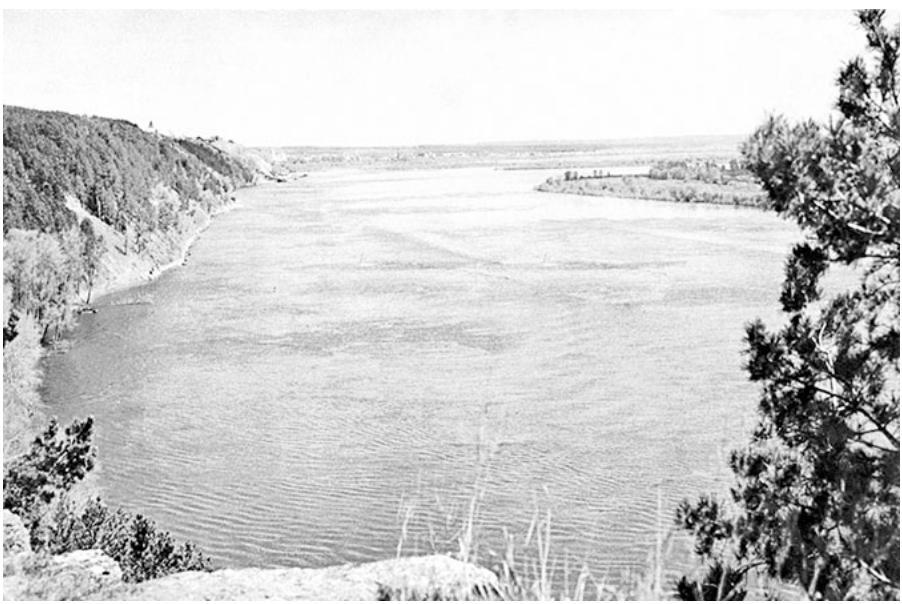
Впрочем, в ту осень, когда сюда приехала Цветаева, урожая яблок, вспоминают старики, совсем не было – чуть ли не все яблони в предыдущую («финскую») зиму повымерзли.

Не было тогда и асфальта на улицах. В осеннюю непогоду туфли вязли в грязи и ходить можно было только в сапогах…

Улочка, на которой стоит дом с мемориальной доской, напоминающей, что именно здесь жила в августе 1941 года Марина Цветаева, тоже обрела старое имя. Теперь она уже не Ворошилова, как тогда, в годы войны, и не Жданова, как это было позднее, – она называется Малой Покровской.

С Покровского бульвара в Москве – на Малую Покровскую в Елабуге!

Но не прошло, видно, бесследно переименование. Не укрыл, не охранил Покров Божьей Матери. И не так уж случайно, наверное, что и на этой улочке, как раз в той ее части, которая примыкает к восстановленному теперь Покровскому храму, я еще увидела тогда крепкие, будто недавно подновленные таблички: «улица Жданова».



Кама около Елабуги

Прошлое, как репейник, цепляется за прежние опоры. Между тем у Елабуги есть своя славная и древняя история, ни в каких названиях теперь уже не отраженная, – ее любовно записал в 1870 году отец знаменитого русского живописца Иван Васильевич Шишкин, дважды избиравшийся елабужским городским головой.

Тут бывал еще до нашей эры персидский царь Дарий I, а в X веке расцвело на три столетия Булгарское государство. В начале XIV века разрушительно прошлись по здешним местам войска Тамерлана. Позже, уже в конце XVIII столетия, побывали здесь и Пугачев со своими дружинами, и Радищев, возвращавшийся из сибирской ссылки в Петербург. А в прошлом веке жила знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова. В ее честь в городе воздвигнут памятник и создан музей, как и в честь Шишкина-живописца. Елабуга, пожалуй, равно гордится обоими Шишкиными – отцом и сыном, как и своими просвещенными талантливыми купцами, имевшими торговые связи аж с далеким заморьем.

Теперь чтут здесь и память Марины Цветаевой. Совсем неподалеку от дома, где она недолго жила в 1941-м, установлен ее бюст, и я видела, как елабужские молодожены приезжали сюда прямо из ЗАГСа как к святому месту, зажигали свечи у памятника. На кладбище или в одном из восстановленных соборов 31 августа служат панихиду, потом читают стихи. Ежегодно в конце августа в городе проходят «цветаевские чтения».

Однако от простых елабужан доводилось мне слышать и не слишком доброжелательные слова: «опозорила город…», «другие приезжие жили, и ничего, а тут Елабуга виновата – не помогли…». Обычно это голоса стариков, обиженных, что нынче все знают Елабугу прежде всего как место трагической кончины великого поэта.

3

На сегодняшний день существуют три главные версии самоубийства Марины Цветаевой.

Первая выдвинута Анастасией Цветаевой – и растиражирована в многократных переизданиях ее «Воспоминаний». Согласно этой версии, Марина Цветаева ушла из жизни, спасая или, по крайней мере, облегчая жизнь своего сына. Убедившись, что сама уже не может ему помочь, более того – мешает прилипшей к ней репутацией «белогвардейки», она принимает роковое решение, лелея надежду, что Муру без нее скорее помогут.

Особенно если она уйдет так.

Дом в Елабуге, где Цветаева провела последние дни жизни

Напомню, что сестра Марины Ивановны в 1941 году все еще отбывает ссылку; узнала она о кончине сестры спустя много времени и собирала сведения о последних ее днях через вторые-третьи руки.

Другая версия наиболее аргументирована Марией Белкиной. С одной стороны, считает она, к уходу из жизни Цветаева была внутренне давно готова, о чем свидетельствуют множество ее стихотворений и дневниковые записи. Но Белкина вносит еще один мотив; он не назван прямо – и все же проведен с достаточным нажимом. Это мотив душевного нездоровья Цветаевой, обострившегося с начала войны. Белкина опирается при этом на личные свои впечатления, личные встречи – и в этом есть как плюсы, так и минусы ее свидетельства. «Она там уже, в Москве, потеряла волю, – читаем мы в книге «Скрещение судеб», – не могла ни на что решиться, поддавалась влиянию любого, она не была уже самоуправляема… И внешне она уже изменилась там, в Москве, когда я ее увидела в дни бомбежек; она осунулась, постарела, была, как я уже говорила, крайне растерянной, и глаза блуждали, и папироса в руке подрагивала…»

В этом свете последний шаг Цветаевой предстает как закономерный, неотвратимый шаг больного человека…

Наконец в последние годы появилась третья версия гибели поэта.

В ней роковая роль отводится елабужским органам НКВД.

Автор версии – Кирилл Хенкин, высказавший ее на страницах своей книги «Охотник вверх ногами», изданной первоначально во Франкфурте-на-Майне в 1980 году, а в 1991 году и у нас.

В Москве эта книга, написанная на автобиографическом

материале, появилась в восьмидесятых годах. Я узнала о ней, но долгое время не могла прочесть. Как и другая продукция «тамиздата», она ходила в кругах диссидентских и околодиссидентских, и мне, наезжавшей в столицу из Ленинграда всегда на короткое время, заполучить ее в руки долго не удавалось. Однако эпизод из книги, касающийся последних дней Цветаевой, пересказал мне мой московский друг Лев Левицкий. В его пересказе эпизод показался малоправдоподобным. В частности, потому что слишком уж он вписывался в модное поветрие: искать везде и всюду руку НКВД. Тем более что аргументации, насколько я поняла, не было никакой. Сведения покоились на авторитете некоего Маклярского. Его имя мне тогда ни о чем не говорило. Как и имя самого Кирилла Хенкина.

В спецхранах ленинградских и московских библиотек «Охотника…» не оказалось. И прошло немалое время, пока я смогла сама прочесть книгу.

Сюжет, который мне пересказывал мой друг, занял там всего шесть небольших страничек; я прочла их, и они снова показались мне довольно легковесными.

Сама авторская стилистика разрушала возможность чрезмерного доверия. Ибо Хенкин избрал манеру полубеллетристическую: он постоянно домысливал мотивацию поступков – за чекиста, за Цветаеву за Пастернака, за Асеева. И что ни фраза – мимо! Либо очевидное упрощение, оглупление – как личности, так и обстоятельств, – либо натяжка, либо незнание фактов. Процитирую наиболее значимый отрывок:

«Но я еще тогда (зимой 1941 года, в Москве. – И. К.) узнал, что не за деньгами ездила Марина Ивановна в Чистополь, а за сочувствием и помощью. Историю эту я слышал от Маклярского. ‹…› Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу вызвал ее к себе местный уполномоченный НКВД и предложил “помогать”.

Провинциальный чекист рассудил, вероятно, так: женщина приехала из Парижа – значит, в Елабуге ей плохо. Раз плохо, к ней будут льнуть недовольные. Начнутся разговоры, которые позволят всегда “выявить врагов”, то есть состряпать дело. А может быть, пришло в Елабугу “дело” семьи Эфрон с указанием на увязанность ее с “органами”. Не знаю. ‹…›

Ей предложили доносительство.

Она ждала, что (в Чистополе. – И. К.) Асеев и Фадеев вместе с ней возмутятся, оградят от гнусных предложений. ‹…› Боясь за себя, боясь, что, сославшись на них, Марина их погубит, Асеев с Фадеевым сказали (или кто-то один из них сказал, – может быть, и Асеев – боясь Фадеева) самое невинное, что могли в таких обстоятельствах сказать люди их положения. А именно: что

каждый сам должен решать – сотрудничать ему или не сотрудничать с “органами”, что это ‹…› дело политической зрелости и патриотизма».

Что и говорить, такой вариант никому до тех пор не приходил в голову.

Однако, как выяснилось, Фадеева тогда в Чистополе не было; соображение, кто кого боялся и «что могли сказать», звучало по крайней мере неубедительно. Что именно подумал Асеев и что именно он сказал Цветаевой, и был ли вообще такой разговор – этого никакой Маклярский не мог бы весомо утверждать… А когда достоверное столь растворено в домысле, делать с ним нечего. Таким свидетельством, в сущности, можно было бы и вообще пренебречь. Но слишком важного момента оно касается.

Так или иначе, перед нами – третья версия, перед которой прежние тускнеют и отступают на задний план.

Версия поначалу представлялась мне шаткой.

Как можно было, думала я, зимой 1941 года в Москве узнать о том, что произошло в далекой Елабуге в сильно засекреченном ведомстве за семью замками? И кто это в то время так уж интересовался в столице судьбой Марины Цветаевой? Репутацию великого поэта она обрела только сорок лет спустя!

Однако со временем конкретнее обрисовался облик обоих участников того зимнего разговора. И сомнения мои стали терять прочность. Появившиеся мемуары и документы подтвердили близость Хенкина к семье Цветаевой еще во Франции. Кирилл и Ариадна (почти сверстники), оказывается, дружили и даже переписывались, когда Аля уже уехала в Москву. И в дневнике Мура зафиксировано известие о приезде Хенкиных в СССР (запись 28 февраля 1941 года). Мало того. В одном из писем Ариадны Эфрон обнаружилась характеристика Е. А. Нелидовой-Хенкиной (матери автора книги) как человека, хорошо знакомого с подробностями тайной работы Сергея Эфрона в советской разведке. А из того же «Охотника…» теперь известно, что и сам автор книги как раз «с подачи» Эфрона в конце концов влился в ряды сотрудников НКВД.

Вскоре после приезда из Франции, зимой того же 1941 года, Кирилл Хенкин служил в Четвертом управлении НКВД – и Михаил Борисович Маклярский был его непосредственным начальником! Между тем крут специфических интересов полковника госбезопасности Маклярского включал именно деятелей советской литературы и искусства – в предвоенные и военные годы. (Позже, когда война закончилась, на первый план выступила другая сторона талантов полковника. В миру он стал сценаристом. Фильмы по сценариям с его участием широко

известны: «Подвиг разведчика» (1947), «Секретная миссия» (1950), «Заговор послов» (1966) и другие – той же направленности. В 1960 году он возглавил Высшие сценарные курсы. И теперь еще многие москвичи из кругов кинолитературных хорошо помнят Михаила Борисовича. И утверждают, что прямые его связи с НКВД-КГБ были широко известны.)

Но если таков был род занятий Маклярского, то разговор о Цветаевой обретает вполне доброкачественную основательность. Маклярский не мог не знать о недавно вернувшейся из эмиграции поэтессе, у которой к тому же были арестованы к началу войны и сестра, и муж, и дочь. Совершенно ясно, что он должен был следить за ее судьбой – она была одной из его подопечных! И известие о ее трагической кончине не могло не дойти до него по вполне естественным каналам. Все это уже не оставляет возможностей биографу поэта игнорировать версию Хенкина.

Однако до сих пор она никем из исследователей всерьез не рассмотрена. Не потому ли, что проверить, подтвердить ее каким-то документом затруднительно?

Поиски досье на Цветаеву упираются в глухую стену. Елабужский НКВД отвечает, что архивы военного времени надо искать в Казани. Официальная Казань отрицает: у них ничего нет. Москва ссылается на Казань, – ответы, впрочем, туманные. Отчаявшись найти концы, я пытаюсь узнать у сотрудников архива КГБ: если бы все же досье нашлось, можно ли быть уверенным, что в нем сохранились следы вербовки, то бишь «приглашения к сотрудничеству»? Оказывается, совсем необязательно. Особенно если согласие вербуемого не было получено. Зачем оставлять следы своей плохой работы?

По существу же своему версия более чем правдоподобна. В органах НКВД существовал свой «производственный план» по вербовке сексотов среди населения; это называлось «профилактической работой». И чтобы «беседовать» с Цветаевой в означенном духе, елабужским чекистам не нужно было даже ждать прибытия ведомственной почты с личными досье. Всё необходимое пересылалось отделом кадров Союза писателей и в Чистополь, и в Елабугу прямо с кем-то из приехавших.

Представим.

В Елабужском НКВД царит тоска и провинциальная плесень. И вдруг – удача: прибывает бывшая белоэмигрантка (именно этот термин бытовал в те годы), у которой «сидит» вся семья. И муж воевал в Белой армии. И имеется сын – единственный из семьи, оставшийся рядом. Такая уязвимость – просто находка. Широчайший простор для увещеваний и шантажа.

Мне приходилось, правда, слышать возражения: да зачем она была им нужна? Что могла сообщить полезного? Но Учреждение, о котором идет речь, никогда не вписывалось в рамки разумности. А значит, ответов может быть множество. И «производственный план». И любопытство. И желание припугнуть, лишний раз получая удовольствие от сознания вседозволенности. И просто: почему бы нет? Биография уж очень подходящая.

Английская исследовательница Катриона Келли, ознакомившаяся с изложенной выше версией в английском издании моей книги «Гибель Марины Цветаевой», усомнилась: да зачем Цветаева нужна была советским спецслужбам, чем она была опасна для государства? Вот так до сих пор представляют себе ситуацию в Советской России конца тридцатых – начала сороковых годов наивные люди за рубежом. Они все еще думают, что НКВД в самом деле интересовался именно врагами советской власти, только их и преследовал. Что ж, блажен, кто верует, тепло ему на свете!..

Врагов режима советская власть сажала в тюрьмы и расстреливала и до 1937 года. Но в 1937-м процесс был поставлен на поток аналогично сбору яровых и выплавке стали. На места спускалась разнарядка: сколько врагов народа следует убить, сколько посадить и сослать. Так, за четыре месяца 1937-го планировалось репрессировать более четверти миллиона «врагов народа», не считая членов их семей. В документе, подписанном 30 июля 1937 года Н. И. Ежовым («Оперативный Приказ Народного Комиссара ВД № 00447»), было отдано распоряжение незамедлительно начать операцию по репрессированию во всех республиках, краях и областях. Самое страшное в этом приказе – заранее определенное количество людей, подлежащих немедленному расстрелу или заключению в тюрьмы и лагеря, расписанное по республикам, краям и областям. Так, в Мордовской АССР репрессировать следовало 1800 человек, в Киевской области – 5500 человек, в Татарской АССР – 2000 человек, в Карагандинской области – 1000 человек и т. д., список необъятен.

Отсутствие достоверных документальных доказательств прискорбно. Но биографу просто необходимо иметь в виду реальную возможность этой версии. И соотносить с ней уже известные факты – как и новые свидетельства.

Это я и попробую сделать.

В хронике последних дней жизни Марины Цветаевой (от высадки на пристани «Елабуга» до трагического дня 31 августа) далеко не все прояснено. Даже в превосходной книге Белкиной, опирающейся на множество собранных свидетельств, остаются еще противоречия и недосказанности. Некоторые Белкина отмечает сама; правда, слишком вскользь. И вот лишь один пример.

На что жить, когда кончатся вывезенные из Москвы съестные припасы и будут проедены взятые с собой вещи? Где и как зарабатывать? Это, кажется, одна из главнейших точек беспокойства Цветаевой, мучившего ее уже на пароходе, до прибытия в Елабугу.

Однако по приезде, если верить письму-воспоминанию Т. С. Сикорской (приведенному Белкиной), Марина Цветаева идти в горсовет искать работу отказывалась: «Не умею работать. Если поступлю – сейчас же все перепутаю. Ничего не понимаю в канцелярии, все перепутаю со страху». «Ее особенно пугала, – продолжает Сикорская, – мысль об анкетах, которые придется заполнять на службе…»

Но этому утверждению противоречат сведения, которыми мы располагаем сегодня.

Цветаева искала работу в Елабуге, и весьма энергично! Энергично искал работу и ее сын.

По свидетельству хозяйки дома А. И. Бродельщиковой, Марины Ивановны почти никогда не было дома. Вместе с тем известно, что она не один раз заходила в районный отдел народного образования. Предлагала свои услуги в Педагогическом училище. Два или три раза была в Елабужской детской библиотеке на Тойминской улице. Но книг там не брала, сына с собой не приводила и всякий раз уединялась с заведующей библиотекой в ее кабинете – не для того ли, чтобы узнать о возможности устроиться на работу?

Конечно, ей приходилось постоянно подавлять страх, едва дело доходило до предъявления паспорта и заполнения анкет. Кое-где, видимо, до этого дело дошло. Иначе почему же в городке знали о том, что она приехала из-за границы? И что муж ее был в Белой армии? Уж конечно, сама она об этом без необходимости не распространялась…

В одном месте ей сразу отказывали, в другом она отказывалась сама, узнав условия, характер работы и понимая, что не справится. Свою непригодность к «чистой» канцелярской работе она знала еще со времен Гражданской войны, когда в 1919 году ей пришлось несколько месяцев прослужить в Комитете по делам национальностей; она рассказала об этом в мемуарном

очерке «Мои службы». И еще она знала, что совершенно неспособна быть, скажем, воспитательницей в детском саду. Это тоже не требует пояснений – достаточно вспомнить стрессовое состояние Марины Ивановны в эти недели. Но вот противоречие в чистом виде.

Сикорская пишет: «Все уговоры пойти в горсовет не помогли…» Между тем в дневнике Мура есть запись о том, что Цветаева в горсовете была. Может быть, это означает только то, что Цветаева не пошла туда вместе с Сикорской, пошла одна, без нее?

Это возможно. Но почему? В прежние времена она всегда кого-нибудь просила, чтобы ее сопровождали, тем более в незнакомом городе.

И это еще не все.

Запись Мура в книге Белкиной не приведена полностью. А ведь запись странная и важная. Одна деталь там крайне настораживает. В записи сказано, что в этот день (а это, запомним, 20 августа!) Марина Ивановна была в горсовете и работы там для нее нет, кроме места переводчицы с немецкого в НКВД.

Нота бене!

В первый и в последний раз аббревиатура НКВД появилась в елабужском дневнике Мура! Мельком, без пояснений.

Место переводчицы – да ведь это предел мечтаний Цветаевой. Решение всех проблем! Чего тогда еще искать! Зачем?

Но вот в чем странность: в горсовете не могли предлагать работу в НКВД! Это исключено абсолютно. Подбор кадров для себя это серьезное Учреждение никому и никогда не доверяло. В сегодняшней Елабуге мне удалось найти женщину, которая как раз в годы войны такую работу получила: она была переводчицей с немецкого в елабужском лагере для военнопленных. Лагерь возник в начале 1942 года, и осенью 1941-го к его открытию уже наверняка готовились, подбирали штат. Но Тамару Михайловну Гребенщикову, с которой я беседовала, направили на эту работу специальным распоряжением НКВД Татарии! Она это помнит отчетливо. И подтверждает: горсовет не имел никакого отношения к подбору сотрудников такого рода… Но Мур делает запись в тот же день! Это не воспоминание, отделенное от упоминаемых событий большим или меньшим временем, когда что-то может сместиться в памяти.

Не была ли Цветаева утром этого дня в другом месте? Вовсе не в горсовете, а в елабужском НКВД? Не потому ли и пошла она туда без сопровождающих? Но зачем? По вызову? Так быстро сработавшему? Ведь группа из московского Литфонда прибыла в

Елабугу всего два дня назад! Они еще даже не расселены по квартирам и живут пока все вместе в помещении Библиотечного училища. Такая оперативность кажется маловероятной: не по-советски. Хотя и не исключено.

А не могла ли Цветаева пойти в Учреждение по собственной инициативе, без всякого вызова? Ведь она уже несколько недель ничего не знала о судьбе мужа. В мае из НКВД затребовали для него вещи; и естественно было предположить, что Сергея Яковлевича готовят, наконец, к отправке по этапу. Но где он теперь? Если отправлен – необходимо узнать его адрес для писем и посылок и сообщить свой собственный адрес – новый, елабужский.

С другой стороны, идти добровольно в то самое Учреждение, когда ее полтора года не отпускал страх собственного ареста… Да, но ведь ходила она в Москве в тюрьмы – с передачами и за справками, да по несколько раз в месяц!

Но есть и еще одно вполне вероятное объяснение этой записи Мура.

В те не столь уж давние годы существовала широко распространенная практика: сотрудники Учреждения под невинным предлогом вызывали нужного человека в отделение милиции, например, в райсовет или горсовет, а то и просто в жилищную контору. По поводу прописки, скажем. Или предоставления жилья. Но ждал там пришедшего отнюдь не сотрудник горсовета, ЖЭКа или милиционер. Ждал профессионал-энкавэдэшник. И, уединившись в особой комнате, заводил свои путающие разговоры.

И, может быть, Цветаева действительно была в Елабужском горсовете, но беседовал там с ней самый настоящий «хам-чекист».

Сказала ли Цветаева сыну всю правду об этом разговоре? Вряд ли. И особенно, если там предложили «сотрудничество», то есть доносительство, – в обмен, скажем, за помощь в устройстве на работу. «Обмен» такого рода был в те времена самой обычной вещью. И сопровождался он, как правило, угрозами и запугиванием.

Эта запись в дневнике Мура крайне важна; она неожиданно и сильно подкрепляет версию Хенкина.

Подкрепляет ее и еще одно обстоятельство. В Чистополе ныне существует музей Б. Л. Пастернака. Его сотрудники были настойчивы в розыске материалов, связанных с пребыванием в городе во время войны эвакуированных писателей. Музейщики успели вовремя (в начале девяностых годов некоторые кагэбисты еще помогали таким розыскам). Наградой усилиям была возможность самолично прочесть доносы, которые строчили иные

из этих писателей на Бориса Леонидовича. И вряд ли доносы были добровольными, скорее всего сочинялись под нажимом «органов». То есть и в Чистополе шла активная вербовка в сексоты. Ситуация в Елабуге была ничуть не более либеральной.

5

Моя первая поездка в Елабугу осенью 1993 года превратила осторожные предположения почти в полную уверенность.

Начну с того, что в разговоре со мной тогдашний начальник елабужского КГБ Баталов и старший оперуполномоченный капитан Тунгусков, когда я напрямую задала им свои вопросы, высказались однозначно: «беседа» такого рода с Цветаевой в том далеком августе представляется им более чем реальной.

Нет, документальных подтверждений в их распоряжении нет.

Но практика того времени такому предположению совершенно не противоречит.

А разве, спросила я, анкетные данные Цветаевой не исключают ее из числа возможных «сотрудников», пусть даже и секретных? Ведь естественнее, кажется, за ней самой наблюдать, а не поручать ей, чтобы она следила за другими?

Насколько я поняла из ответа, то и другое вполне совместимо.

Еще более весомыми оказались воспоминания старых елабужан. Правда, и они чаще всего говорили об общей практике тех лет, о царившей в городе атмосфере, а не о случае с Цветаевой. Но когда Анна Николаевна Заморева, бывшая учительница математики, работавшая в одной из известных школ города, рассказывала мне о том, как елабужский НКВД пытался вербовать ее в сексоты, я слушала ее историю отнюдь не как сторонний материал.

Замореву настоятельно призывали последить за другим учителем, приехавшим в начале войны из Бологого, – Германом Францевичем Диком. Рекомендовали записывать, с кем он общается, что именно говорит… Рассказала мне Анна Николаевна и о том, как умели «органы» мстить за отказ сотрудничать.

Нет сомнения, что то был не единичный случай в Елабуге. Провинциальный городок был нашпигован стукачами не хуже городов столичных. Шквал арестов сильнее всего прошелся здесь в те же 1937–1938 годы. Лучшие люди Елабуги один за другим исчезали тогда в лагерях ГУЛАГа. Немногие вернувшиеся шепотом рассказывали – и только самым близким – о том, что они увидели и пережили.

Но нашлись и те, кому довелось-таки видеть и запомнить саму Марину Ивановну и ее сына.

Таких, правда, оказалось уже немного, и рассказы их были отрывочны и лаконичны.

Больше всего меня поразил один повтор, тем более достоверный, что слышала я его от людей, не знавших друг друга.

Тамара Петровна Головастикова, тогда совсем молоденькая, увидела Цветаеву посреди базара. Что это именно она, поняла только много лет спустя, когда ей в руки попалась книга с портретом Марины Ивановны: «Чувство было совершенно отчетливое: это ее я тогда видела!»

А запомнила она эту необычную женщину потому, что нельзя было не обратить на нее внимания: стоя посреди уличного базара в каком-то жакетике, из-под которого виден был фартук, она сердито разговаривала с красивым подростком-сыном по-французски. Тамара Петровна знает немного немецкий, но говорит, что французский она легко отличает от других языков. Женщина курила, и жест, каким она сбрасывала пепел, тоже запомнился – он показался Тамаре Петровне странно красивым. А у нее был глаз на такие подробности: она готовилась тогда в артистки. Сын отвечал женщине тоже сердито, на том же языке; потом побежал куда-то, видимо, по просьбе матери. Пара была ни на кого не похожа. Потому надолго и запомнилась.

А еще необычным было лицо этой женщины: будто вырезанное из кости – и предельно измученное. Такое, будто у нее только что случилось большое горе.

Вот где этот повтор: лицо измученное!

Будто сговорились.

Вспоминали разные подробности: одежду ее, суровость, с какой проходила она мимо молоденькой библиотекарши в кабинет заведующей, и всякий раз неукоснительно: «Лицо у нее такое было… будто сожженное… измученное».

Еще более неожиданны в облике Цветаевой – волосы, совсем убранные со лба и спрятанные под берет, а то и под платок, повязанный как у монашенки. И еще – очки! Сначала эти подробности заставляли меня думать: это не о ней. Перепутали с кем-то. Но и в другом рассказе они повторились, и в третьем, тогда уж точно – о ней. Очки упоминались и в записях тех, кто беседовал с Бродельщиковыми. Платок – в рассказе юной тогда библиотекарши, которая знала имя посетительницы…

Другой елабужский старожил засвидетельствовал свое знакомство – уже не с Мариной Цветаевой, а с инструкцией, ее непосредственно касавшейся.

То был еще один мой собеседник – Николай Владимирович Леонтьев; он хорошо помнил содержание инструкции, в которой давалась характеристика Цветаевой, а также жесткие указания, какие меры следует предпринимать, дабы оберечь граждан города от вредоносного влияния самой памяти о пребывании Цветаевой в городе Елабуге. Знал эту инструкцию Леонтьев по долгу службы, ибо в Елабужском горкоме партии был вторым секретарем, то есть возглавлял идеологический отдел – пропаганды и агитации; кажется, так это тогда называлось… Не во время войны, а вскоре после ее окончания. Война уже окончилась, но инструкция сохраняла дух, нисколько не изменившийся с того времени, как 17 августа 1941 года в Елабугу прибыла великая русская поэтесса.

– Кем был составлен этот циркуляр, – задаю я наивный вопрос Николаю Владимировичу, – елабужскими властями или казанскими?

Реакция в ответ почти сожалеющая: настолько ничего не понимать!

Но когда мой собеседник начинает излагать суть инструкции, наивность моя испаряется: такого елабужским властям было просто не придумать.

Характеристику, без сомнения, составляли в самых высших компетентных органах, то бишь в московском НКВД. Она представляла Цветаеву как «матерого врага советской власти» (именно эти слова!). Как человека не только настроенного против советского строя, но и активно боровшегося с этим строем еще там, «за кордоном». Печаталась в белогвардейских журналах и газетах. Входила в белогвардейские организации… И так далее в том же духе.

Короче, человек не только чуждый социалистическому обществу, но и очень опасный.

Леонтьев не хотел ничего прибавлять из того, о чем он узнал уже позже. Так, он решительно утверждал, что в том циркуляре ничего не было сказано о муже Цветаевой. Видимо, для «захолустной» Елабуги излишние сведения были не нужны: ведь сам Эфрон здесь появиться не мог…

Через руки моего собеседника прошло множество циркуляров тех лет: он помнит списки книг, подлежавших уничтожению во всех библиотеках города, включая самые маленькие; помнит инструкции о портретах членов Политбюро – какие следовало, а какие не следовало нести на первомайской демонстрации. Его свидетельства дорогого стоят…

К моим встречам и беседам добавила достоверные факты

публикация, появившаяся в начале девяностых годов в журнале «Родина».

Ее автору, казанскому историку А. Л. Литвину, удалось-таки познакомиться в архиве НКВД с досье другого гостя Елабуги – С. Я. Лемешева. Прославленный певец появился в городе спустя несколько месяцев после гибели Цветаевой. Он провел здесь почти два месяца – с конца мая по июль 1942 года. Документы, обнародованные Литвиным, доказательно опровергали представление о российской глубинке как о месте, где легко было схорониться от настойчивых преследований Учреждения. Выяснилось, что прямо вслед за Лемешевым и его женой из Москвы в Казань, а из Казани в Елабугу на имя старшего лейтенанта Козунова, начальника елабужского отделения НКВД, последовал циркуляр. Он предписывал установить неусыпный контроль за каждым шагом знаменитого тенора и его жены, ибо они «разрабатывались» (так принято выражаться на языке НКВД) как предполагаемые шпионы.

Описание содержимого досье производит сильное впечатление. Оно заполнено сведениями о вербовке соседей Лемешева, знакомых его знакомых, а также усердными донесениями тех и других. Лемешеву заботливо поставляют партнеров для преферанса, егерей и напарников для любимой охоты, – а он и не подозревает, что все они старательно запоминают каждое его слово, чтобы сообщить затем куда надо.

Михаил Николаевич Бродельщиков

Какой же проступок повлек за собой столь энергичные

действия «органов»? Оказывается, всего-навсего – немецкая фамилия жены певца!

Сведения, связанные с именем Цветаевой, должны были насторожить куда сильнее…

Но вернемся к хронологии дальнейших дней в Елабуге.

На следующий же день после визита в «горсовет» Марина Ивановна и Мур поселяются в доме Бродельщиковых на улице Ворошилова. Это одноэтажный бревенчатый дом, каких множество в Елабуге.

За помощь «свыше» принять это никак нельзя, настолько жалка крошечная комнатка, в которой поселяются мать и сын. В комнатке всего метров шесть; перегородка, отделяющая ее от хозяйской горницы, не доходит до потолка, вместо двери – занавеска. Согласиться на это убожество можно было разве что от невыносимой усталости – или при уверенности, что жить здесь придется совсем недолго.

Еще день спустя, то есть 22 августа, в том же дневнике Мура запись: решено, что Цветаева поедет в Чистополь.

Одна, без сына.

Анастасия Ивановна Бродельщикова

Цель поездки обозначена коротко: так как ответа от Флоры Лейтес все еще нет, то необходимо разузнать, можно ли туда, в Чистополь, переехать.

Мотивы понятные. Единственная странность – спешка. Прошло всего три дня после отправления телеграммы! Идет всего лишь пятый день пребывания в Елабуге! Почему не подождать

ответа еще немного?

Но 24-го Цветаева уже отплывает на пароходе в Чистополь.

Задержимся, однако, в Елабуге еще на некоторое время.

Спустя полвека после гибели Цветаевой на вечере, посвященном ее памяти, в 1991 году, неожиданно обнаружился новый очевидец тех давних лет – Алексей Иванович Сизов. В начале войны молодым пареньком он преподавал физкультуру и военное дело в Елабужском педагогическом училище. И однажды, в конце лета 1941 года – занятия еще не начались, – встретил во дворе училища женщину с усталым, измученным лицом. Она спросила его, местный ли он, и, услышав утвердительный ответ, попросила помочь найти комнату – для нее и ее сына. Сизов понял, что перед ним эвакуированная, и посоветовал обратиться в горсовет – там занимались расселением приехавших. Но женщина ответила: «У нас уже есть комната, но я бы хотела переехать. С хозяйкой мы не поладили…»

Узнав, где именно поселилась приезжая и кто ее хозяйка, Сизов подумал про себя, что с Анастасией Ивановной Бродельщиковой и в самом деле поладить непросто – характер у нее жесткий.

Алексей Иванович это знал, потому что не раз рыбачил с ее мужем и в дом к ним был вхож.

Алексей Иванович Сизов

Из дальнейшего разговора выяснилось, что женщина – писательница.

И тут Сизов вспомнил, что уже слышал о ней.

Она приходила в училище устраиваться на работу. Только биография у нее была неподходящая: из белоэмигрантов. «Чуждый элемент» – так тогда говорили. И ее не взяли, хотя места были.

Алексей Иванович стал расспрашивать женщину, не она ли была за границей и с кем она там встречалась из писателей, наших и французских. Они поговорили немного. Сизов – даром что военрук – с молодых лет был пожирателем книг, запойным книгочеем. Я побывала у него дома и видела его большую библиотеку. Перед литературой и литераторами он благоговел… В конце разговора с эвакуированной Сизов обещал поискать жилье.

– Откуда вы узнали, – спросила я у Алексея Ивановича, встретившись с ним в августе 1993 года, – что она из-за границы

приехала? Не сама же она об этом говорила?

– Конечно, нет. Но я слышал, как о ней судачили в нашей канцелярии после ее прихода.

Бродельщикова при встрече подтвердила Сизову, что и она хотела бы других постояльцев, не этих. «Пайка у них нет, – объяснила она Алексею Ивановичу, – да еще приходят, когда ее нет, эти, с Набережной (то есть из НКВД. В Елабуге Управление НКВД-КГБ-ФСБ и сейчас расположено на улице, которая так называется: «Набережная», хотя до реки отсюда еще далеко. – И. К.). Бумаги ее смотрят и меня спрашивают, кто ходит к ней да о чем говорят… Одно беспокойство… Я и сказала, чтобы они другую комнату искали».

Эта подробность в воспоминаниях Сизова мне показалась сначала сомнительной: не придумана ли такая прыткость чинов «с Набережной» – по модным выкройкам времени?

Однако после встреч со старожилами Елабуги и их воспоминаний я уже не отметала рассказ Алексея Ивановича с порога. Чего проще, в самом деле, самих хозяев дома сделать осведомителями, даже и не прибегая к такому неудобному термину!

Через день-другой Сизов нашел для Марины Ивановны комнату на улице Ленина, около татарского кладбища, – там жило одно знакомое ему семейство.

И он даже отвел туда Цветаеву, оставил для переговоров, а сам ушел. Дела были, рассказывал Сизов, стоял август, он на молотилке в эти дни работал на окраине Елабуги.

Еще прошло дня два-три.

(Эти сроки: «день-другой», «дня два-три», конечно, хуже всего помнятся спустя полвека; между тем дней-то у Цветаевой в Елабуге было считаное число! Да еще посредине поездка в Чистополь. Когда же начался этот сюжет с Сизовым? Если он был, – а по-видимому, все же был, – то возникнуть должен был еще до поездки. И продолжиться по возвращении Цветаевой из Чистополя.)

Спустя некоторое время вахтер училища передал Алексею Ивановичу записку. Там было написано крупным почерком: «Алексей Иванович, хозяйка, у которой мы были, мне отказала». Сизов отправился на улицу Ленина – и застал там въехавших других постояльцев. Объяснение хозяев было простое: «У твоей ни пайка, ни дров. Да она еще и белогвардейка. А эти мне печь переложить взялись…»

«Белогвардейка», «чуждый элемент», «из-за границы приехала» – это была, кстати говоря, та мета, по которой сразу вспоминали Цветаеву, не путая с другими, и елабужцы и

эвакуированные (жившие здесь еще до прибытия писательской группы). Она одна была здесь такая – «меченая».

Молодого любопытного и простоватого Сизова это притягивало, людей постарше сильно отпугивало. Она была «другая», непохожая, «не наша». Причина для провинции вполне достаточная, чтобы вызвать недружелюбное чувство.

– Да что за дело хозяйкам-то, – спрашиваю я Сизова, – как будут перебиваться жильцы – с пайком или без, не все ли им равно?

Оказалось, совсем не все равно. По заведенному порядку принято было, чтобы постояльцы приглашали хозяев к ежевечернему чаю, угощали. То есть, говорит мне Сизов, приезжие должны были, по сути дела, делиться пайком.

А кроме того, у кого был паек, тому горсовет и дрова давал. А ведь зима уже была не за горами…

Но почему же тогда Цветаева оказалась без пайка? Просто не успели еще оформить – или обошли? Узнать твердо мне это не удалось. Однако есть догадка: в сохранившейся страничке из домовой книги прописанным оказался только Мур! Может быть, Цветаева медлила с пропиской в надежде уехать? А паек, возможно, был напрямую связан с пропиской.

Я еще вернусь к рассказу Сизова, пока отмечу лишь, что, во всяком случае, он вносит поправки в воспоминания тех, кто еще застал в Елабуге Бродельщиковых и поговорил с ними о Марине Цветаевой.

В этих воспоминаниях хозяева дома, где Марина Цветаева прожила последние дни своей жизни, выглядят очень благообразно. Симпатичные, милые, добрые, «с врожденно благородной нелюбовью к сплетне, копанию в чужих делах»…

Правда, в иных зафиксированных в воспоминаниях интонациях хозяйки можно все-таки расслышать затаенную обиду: уж очень была приезжая молчалива, о себе ничего не рассказывала.

А это для российского простого человека – «гордыня».

«Только курит и молчит» – даже сидя рядом с хозяйкой на крылечке дома.

Одну фразу, впрочем, как раз на крылечке-то и произнесенную, Бродельщикова запомнила – для нас очень важную. Мимо дома по вечерам маршировали красноармейцы, проходившие в городе военную подготовку И с губ Цветаевой однажды срывается:

«Такие победные песни поют, а он все идет и идет…»

В день отъезда Марины Цветаевой в Чистополь Мур записывает о матери в свою тетрадь: «Настроение у нее отвратительное, самое пессимистическое».

В версии Кирилла Хенкина эта поездка выступает важным звеном. Хенкин убежден, что Цветаева поехала в Чистополь прежде всего «за сочувствием и помощью», напутанная елабужскими чекистами. Отметим, кстати, что если и в самом деле «горсовет» – это как бы эвфемизм НКВД, то дата «собеседования» – 20 августа – вполне согласуется с тем, что Хенкину говорил Маклярский: «Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу вызвал ее к себе местный уполномоченный НКВД…»

Георгий Эфрон. Сентябрь 1941 г.

Тогда выстраивается следующая цепочка событий: 17 августа – приезд в Елабугу, 20-го – «беседа» с оперативником в «горсовете», 22-го – запись Мура о решении матери ехать в Чистополь, 24-го – отъезд. Психологически в этом варианте стремительный отъезд из Елабуги более чем закономерен. В этой ситуации оказаться одному, особенно для человека нервно измученного так, как уже была измучена Цветаева, – катастрофа. Необходим кто-нибудь свой, близкий, не из новых знакомых, как

бы симпатичны они ни были, а из давних, прежних, надежных, знающих все особенности твоей ситуации без объяснений. И для Цветаевой естественно было подумать прежде всего о Николае Николаевиче Асееве.

Он – в Чистополе, и он – не рядовой и бесправный, не мелкая сошка, а знаменитый поэт, один из самых весомых членов правления писательского союза. У него есть и авторитет, и связи, с ним не могут не считаться.

Я не думаю, что Цветаева действительно надеялась (как иронически пишет Хенкин) на активную «защиту». Вряд ли настолько она была наивна. Ей нужны были поддержка, совет. Что делать? Как себя дальше вести? Ибо если предположить встречу с «уполномоченным», то известно, в каком тоне они разговаривали; обещания помощи быстро сменялись угрозами – в случае отказа или даже колебаний. Согласитесь сотрудничать с нами – и с жильем поможем, и вот вам работа переводчика, о которой вы мечтаете. Нет? Ну тогда вас никуда не возьмут. «И значит, вы не хотите подумать о судьбе сына?»

Практика известная, стандартная, и если уж допускать возможность такого сюжета, надо просмотреть его до конца.

Самое простое (хотя и действительно наивное), что в этом случае могло прийти в голову, – это быстро уехать из Елабуги. Оказаться поблизости от Асеева, от писательских организаций – в том кругу, где она не чувствовала бы себя иголкой, затерянной в стоге сена.

Всю свою жизнь сторонившаяся объединений и группировок, всегда стоявшая вне, она теперь вынуждена искать спасения в принадлежности хоть к какому-то братству…

Между тем в ее отношениях с Асеевым не было особенной теплоты. Но как раз весной 1941 года возникло какое-то подобие дружбы, и Марина Ивановна бывала у Асеевых в гостях вместе с сыном.

Дружба не стала слишком близкой – хотя бы потому, что Цветаеву активно невзлюбила жена Асеева. Мне пришлось с ней однажды разговаривать, и она предупредила сразу, что ничего хорошего о Марине Ивановне сказать не сможет.

Да, Цветаева бывала у них в Москве, и не однажды. «И проходила мимо меня, как мимо мебели, едва кивнув. Она хотела говорить только с Асеевым, остальные ее не интересовали…» Никакой скидки на трагичность жизненных обстоятельств Цветаевой в то время и на ее душевное состояние, вызванное этими обстоятельствами, Ксения Асеева делать не умела и не хотела. Даже наоборот: эти обстоятельства должны были еще больше усилить ее неприязнь.

Ибо она принадлежала к тому кругу «сливок» советского общества, где удерживались только те, кто умел отворачиваться от несчастий остального мира.

Сын Цветаевой скрытых подтекстов, по-видимому, не улавливал.

Третьего июня 1941 года он так писал своей сестре: «В последние два-три месяца мы сдружились с Асеевым, который получил Сталинскую премию за поэму “Маяковский начинается”. Он – простой и симпатичный человек. Мы довольно часто у него бываем – он очень ценит и уважает маму».

Цветаева пробыла в Чистополе два дня – 25 и 26 августа. Но 27-го утром она уже снова на чистопольской пристани и ближайшим рейсом вернулась в Елабугу.

Наверняка к Асееву она отправилась сразу же, едва узнав его адрес.

Но вот об этой-то чуть ли не самой главной чистопольской встрече мы почти ничего и не знаем!

Знаем ряд обстоятельств вокруг – но не больше.

Николай Асеев и Борис Пастернак. 1942 г.

Известно другое: дня за два-три до приезда Марины Ивановны вопрос о возможности ее переезда из Елабуги в Чистополь уже обсуждался на заседании Совета эвакуированных. Наверняка это произошло по инициативе той самой Флоры Лейтес, телеграммы от которой Цветаева так ждала. Флора побывала у Николая Николаевича Асеева и, стараясь уговорить его, обещала, что поселит Цветаеву с сыном у себя. Так что ей не

придется даже искать жилье.

И Асеев согласился вынести вопрос на заседание.

Но на заседании Совета резко недоброжелательную позицию занял драматург Константин Тренев. Год назад он передал для Цветаевой то ли 50, то ли 100 рублей, по случаю, вместе с Маршаком, и теперь запальчиво говорил об «иждивенческих настроениях» недавней белоэмигрантки. (Пьеса Тренева «Любовь Яровая» шла в это время во многих театрах страны, неплохо подкармливая своего автора.) Асеев же не стал активно защищать интересы Цветаевой. Может быть, побоялся спорить с треневской аргументацией («муж – белогвардеец, сама – белоэмигрантка, а Чистополь и без того переполнен…»).

Может быть, берег свое спокойствие: окажись Цветаева совсем рядом, труднее было бы увильнуть от дальнейших забот и хлопот о ней…

Расстроенная Флора совсем было уж собралась телеграммой сообщить неутешительный результат Марине Цветаевой, но прямо на почтамте ее отговорила от этого случайно оказавшаяся рядом Лидия Чуковская.

– Такую телеграмму отправлять нельзя, – сказала она Флоре. – Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в дурном состоянии.

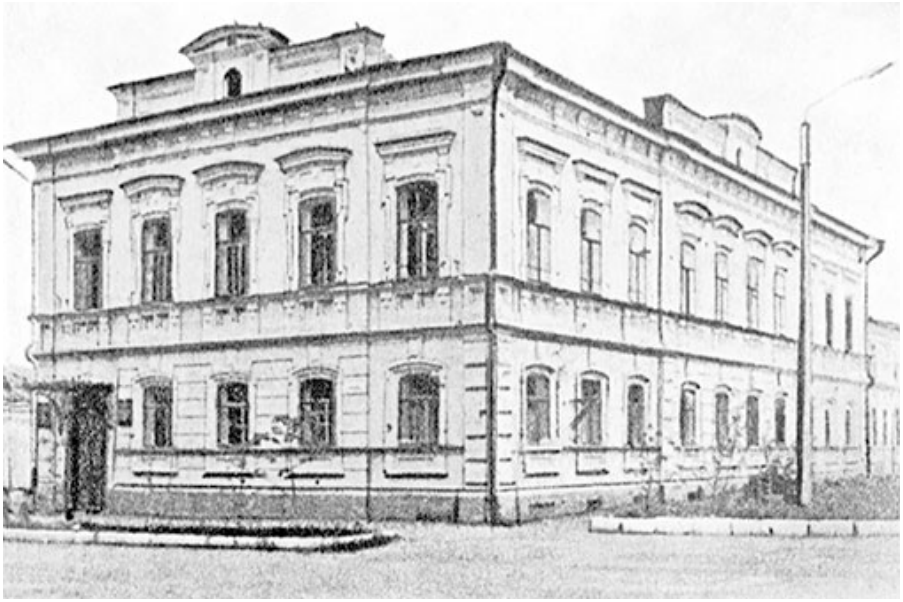
– Так что же, по-вашему, делать? – спросила Флора.

– Настаивать! Хлопотать! Что за разница Союзу писателей, где именно будет Цветаева жить? Была же она прописана в Москве или в Московской области, почему же ее не прописывают здесь? (Пересказываю по тексту воспоминаний Л. К. Чуковской «Предсмертие».)

О вынесенном решении Цветаева узнала, уже приехав в Чистополь. От самого ли Асеева или от Флоры? Неизвестно. Да это и не имеет значения.

Во всяком случае, у Асеева она побывала.

И тут, глядя в глаза Марине Ивановне, поэт устыдился.



Чистополь, улица Ленина, 75. Дом, в котором жил Николай Асеев

Сам он не пошел в Совет – у него было обострение туберкулеза, но, видимо, именно его хлопотами уже на следующий день после приезда Марины Ивановны в Чистополь правление опять рассматривало тот же вопрос. Асеев переслал от себя письмо – теперь оно поддерживало просьбу Цветаевой.

(Жена Асеева утверждала спустя много лет, что Николай Николаевич просто процитировал в своем «послании» текст из известного рассказа Льва Толстого «Люцерн» – о том, что художника надо уметь ценить еще при жизни. Если так, то это мог быть следующий текст: «Вот она, странная судьба поэзии. ‹…› Все любят, ищут ее, одну ее желают и ищут в жизни, и никто не признает ее силы, никто не ценит этого лучшего блага мира, не ценит и не благодарит тех, которые дают его людям…»)

Была ли Марина Ивановна у Асеева только однажды?

Какой именно оказалась эта встреча?

Какие темы обсуждались помимо разрешения на прописку?

И – что особенно важно! – оставались ли они наедине, без Ксении Михайловны, дабы можно было обсудить темы щепетильные?

Ничего достоверного об этом мы не знаем. Уверенно можно сказать немногое. То, что заряда бодрости Асеев Цветаевой, во всяком случае, не прибавил. Серьезной помощи ни в чем не обещал и чистопольскую ситуацию обрисовал мрачно.

А похоже, что и запутал – невозможностью найти

литературную работу. Это было в общем-то неправдой: литераторы, осевшие в Чистополе, и с лекциями выступали на заводах и в клубах перед рабоче-крестьянской аудиторией, и литературные вечера устраивали, и в газетах местных и дальних стихи печатали, и в редакции местного радиовещания подрабатывали. Но и то верно, что все это было не для Цветаевой. Невозможно представить ее разъезжающей с лекциями или приносящей злободневные стихи в редакцию чистопольской газеты!

Только в ноябре появится в Чистополе Константин Федин в роли уполномоченного правления Союза советских писателей. Эвакуированные получат с этих пор несколько более защищенный статус…

Цветаева же могла в эти дни убедиться, что письмо в адрес правления – это асеевский максимум. И только на него он был способен.

Но, с другой стороны, можно быть уверенными в том, что ни упреков, ни претензий Цветаева при встрече не выразила. Иначе стало бы невозможным ее предсмертное письмо, «завещавшее» Асееву сына.

Чистопольские ночи Цветаева проводит в здании Педагогического училища, превращенного в общежитие эвакуированных.

С 25-го на 26-е ночует в комнате Валерии Навашиной (тогда она была женой Константина Паустовского). С 26-го на 27-е – в комнате, где жила Жанна Гаузнер, дочь поэтессы Веры Инбер. Марина Ивановна немного знала ее по Парижу.

Тут все друг друга знали – и, значит, знали опыт всех вокруг. За два дня было достаточно возможностей собрать информацию о Чистополе. Пугали ли Цветаеву трудностями – или же, наоборот, ободряли, обещали помочь, вселяли надежду? Чужой опыт все равно примеряется на себя с трудом; сколько людей – столько оценок и мнений.

Но похоже на то, что минусов здесь Марина Ивановна увидела гораздо больше, чем ожидала.

Мертвенную застылость отмечают в облике чистопольской Цветаевой почти все. В воспоминаниях Флоры Лейтес, приведенных в книге Белкиной, сказано, что Марине Ивановне трудно было смотреть в глаза – такой безысходностью был полон ее взгляд. Почти слово в слово то же повторяла в устном рассказе и Татьяна Алексеевна Евтеева-Шнейдер.

С Лидией Корнеевной Чуковской Цветаеву знакомят на улице; Марина Ивановна произносит при этом приветливые

слова. Но они, как пишет Чуковская в своем мемуарном очерке, «не сопровождались, однако, приветливой улыбкой. Вообще никакой улыбкой – ни глаз, ни губ. Ни искусственно светской, ни искренне радующейся. Произнесла она свое любезное приветствие голосом без звука, фразами без интонаций». И другой литератор, Петр Семынин (в том же очерке Чуковской), называет безжизненно «механическим» голос Цветаевой, повторявшей как бы заранее заученные фразы.

На второй день пребывания Марины Ивановны в Чистополе, 26 августа, Чуковская встречает ее в коридоре горсовета, напротив комнаты с табличкой «Парткабинет».

«Прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая, – Марина Ивановна.

– Вы?! – так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. – Не уходите! Побудьте со мной!»

За ведомственной дверью как раз в эти минуты повторно обсуждался вопрос о возможности переезда Цветаевой в Чистополь.

Саму Марину Ивановну там уже выслушали, теперь она удалена в коридор и ждет решения.

«Сейчас решается моя судьба, – проговорила она. – Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Брошусь в Каму».

Отметим: эти минуты перед дверью парткабинета в глазах самой Цветаевой – роковые. Решение, которое будет вынесено, определит – ни больше ни меньше – вопрос, оставаться ли ей дольше на этом свете.

– Тут, в Чистополе, люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там – сплошь деревня.

«Я напомнила ей, – продолжает Чуковская, – что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе. Без водопровода. Без электричества. Совсем как в Елабуге.

– Но тут есть люди, – непонятно и раздраженно повторила она. – А в Елабуге я боюсь».

Не удается достоверно выяснить, присутствовал ли на заседании Совета К. Г. Паустовский. В Чистополь он приехал еще 20 августа, известно, что он пробыл здесь всего недели две, затем уехал в Алма-Ату с Навашиной и Шнейдерами. Но, по свидетельству Смирновой, он не только присутствовал, но и горячо выступал в защиту Цветаевой.

Вскоре выйдет из дверей парткабинета Вера Васильевна Смирнова и сообщит, что дело решилось благоприятно. Цветаева может хоть сейчас идти подыскивать себе жилье – это не слишком

сложно, и, как только его найдет, все будет окончательно подписано, она может переезжать.

Смирнова возвращается в парткабинет, Чуковская с Цветаевой выходят из здания горсовета на площадь.

«И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке.

– А стоит ли искать? Все равно не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу.

– Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно.

– Все равно. Если и найду комнату, мне не дадут работать. Мне не на что будет жить».

Отметим еще одно: «мне не дадут работать». Она могла бы сказать: «я не найду», но говорит: «не дадут работать».

А ведь только что решилось то, что она сама назвала судьбой! И решилось наилучшим образом: можно не откладывая переезжать в Чистополь, где ее знают и вот ведь – поддерживают! – где есть Асеев и какая-никакая защита организованного братства эвакуированных.

Но Чуковская замечает: в ее спутнице – ни проблеска радости.

Едва исчезло препятствие, казавшееся непреодолимым, как на его месте вырастает – и разрастается – другое, тут же гасящее облегчение.

Чувство безысходности не рассеялось.

Вместо того чтобы уже свершиться, казнь продлена.

И значит, нужны новые усилия.

Чуковская соглашается вместе идти искать жилье, так как Марина Ивановна совсем не ориентируется в незнакомых местах.

По дороге возникает разговор, чрезвычайно важный для уяснения душевного состояния Цветаевой.

(Напомню здесь читателю, что «Предсмертие» написано на материале личного дневника, который Чуковская вела многие годы своей жизни, в том числе и в Чистополе. Присоединим к этому еще и особый авторитет этого автора, щепетильно и педантично приверженного правде, никогда не разукрашенной придуманными подробностями.

Все это придает в наших глазах неоценимую важность именно ее свидетельству о встрече с Цветаевой за несколько дней до трагического события.)

«– Скажите, пожалуйста, – тут она приостановилась, остановив и меня, – скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?

– Стоит – не стоит – об этом я давно уже не рассуждаю. У меня в тридцать седьмом арестовали, а в тридцать восьмом

расстреляли мужа. Мне жить, безусловно, не стоит, и уж, во всяком случае, все равно – как и где. Но у меня дочка.

– Да разве вы не понимаете, что все кончено? И для вас, и для вашей дочери, и вообще.

Мы свернули в мою улицу.

– Что – все? – спросила я.

– Вообще – все! – Она описала в воздухе широкий круг своим странным на руку надетым мешочком. – Ну, например, Россия!

– Немцы?

– Да, и немцы».

Остановимся еще раз, чтобы расслышать это: «и немцы».

Я переспрашивала Лидию Корнеевну об этих фразах. Да, так они ей помнятся, так записаны тогда, так звучали в ушах: «Да, и немцы», «Ну, например, Россия». Из чего достаточно ясно, что не в одних только немцах и даже не только в России дело.

Рискну досказать.

В глазах Цветаевой происходящая вокруг катастрофа превышает кошмар войны. Надвигается, поглощая и Россию, бедствие глобального масштаба. Темные силы мира воплотились в «нелюдей», в их руках – абсолютная власть и сила, безжалостная к человеку. Туча гитлеровской армии, поглощающая русские земли, – только один из ликов торжествующего зла…

Мне кажется, именно об этом – не о меньшем! – говорит Марина Ивановна 26 августа 1941 года, за четыре дня до своей гибели.

Говорит единственному человеку, встреченному после отъезда из Москвы, в котором она угадывает сразу ту редкую породу людей, к которой принадлежит сама. Она говорит наконец собственным голосом, без оглядки.

Потому что это ее масштаб оценок, всегда присущий ей взгляд на происходящее – «с крыши мира», как назвала она это в одном из стихотворений.

Еще в те дни, когда чуть ли не в одночасье фашистские войска поглотили Чехословакию, Цветаева выразила трагедийное мироощущение современника в поэтическом слове. «Стихи к Чехии» потрясают редкостной мощью личного чувства, соединенного с даром укрупненного видения вещей и событий:

Отказываюсь – быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей

Отказываюсь – выть.

С акулами равнин
Отказываюсь плыть –
Вниз – по теченью спин.

Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один – отказ.

А ведь то была всего лишь весна 1939 года!

Правда, уже пробили удары колокола в судьбе самой Цветаевой.

К тому времени прошел год с тех пор, как уехала из Франции ее дочь; полгода назад уехал туда же муж. Когда мужа и дочь арестовали, Цветаева воспринимала собственную свободу скорее как ошибку и странный недосмотр. Так же как и свободу тех, с кем она еще встречалась.

Трагедийное напряжение эпохи властно вошло внутрь ее собственного дома еще в начале тридцатых годов, когда Эфрон подал прошение о возврате на родину.

Между тем Марина Ивановна начисто лишена спасительного свойства обыкновенных людей – приспособляться к непереносимому: хлопотать, обустраиваться, выживать – хотя бы и у подножия вулкана.

Она пыталась что-то делать и даже иногда проявляла неожиданную предусмотрительность (вроде писем Чагина, например, вывезенных из Москвы). Но она не могла стать другой, если бы и захотела. Не могла перестать слышать то, что слышала. И переживать всё с разрывающей сердце остротой – так, как ощущала и переживала всё всю свою жизнь.

«В Вас ударяют все молнии, а Вы должны жить», – писала она Борису Пастернаку семнадцать лет назад, почти что в другой жизни. Так, во всяком случае, было с ней самой.

Мир стремительно поглощала черная тень побеждающего морока, захватившего весь горизонт.

Пепел погибших стучал в ее сердце, равно как и страдания тех, кто еще только был обречен, приуготовлен на муку и смерть.

7

Чуковская приводит Марину Ивановну к своим новым друзьям Шнейдерам. Лидия Корнеевна и сама познакомилась с

ними недавно, по дороге в Чистополь.

Нежданную гостью встречают с теплым радушием. Выясняется, что в этом доме знают и любят ее стихи и искренне рады ей самой.

После чая и разговоров Цветаева читает «Тоску по родине».

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!

Звучит и предпоследняя строфа:

Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей – поперек!
Родимого пятна не сыщет!

Однако до конца стихотворение она не дочитывает. «Но если на дороге – куст / Встает, особенно – рябина…» – этого смягчения горечи теперь нет. Звучит лишь отречение, сплошная боль оставленности – без намека на нежность к родной земле.

Ее просят прочесть «Стихи к Блоку». Она отмахивается: «Старье!» Она хочет читать только то, что сегодня звучит в ее душе.

Ни Шнейдеры, ни Чуковская не знают ее таланта в расцвете, их восхищение обращено к той, молодой, почти что начинающей, от которой она так давно и далеко ушла.

И Марина Ивановна обещает попозже, этим же вечером, непременно прочесть «Поэму Воздуха».

Кажется, она немного отстранилась от ужаса, который носит в себе. Попав в живую атмосферу милого дома, она распрямляется. Чуковская пишет: «Марина Ивановна менялась на глазах. Серые щеки обретали цвет. Глаза из желтых превращались в зеленые. Напившись чаю, она пересела на колченогий диван и закурила. Сидя очень прямо, с интересом вглядывалась в новые лица. ‹…› С каждой минутой она становилась моложе…»

Четыре дня отделили это чаепитие у Шнейдеров от рокового дня в Елабуге.

Я спрашивала у Лидии Корнеевны: как она относится к версии о психическом надломе, почти что душевной болезни? В ответ Чуковская энергично протестует. Подавленность, бесконечная усталость, с трудом заглушаемое отчаяние – да, это было. Но когда она говорила, от нее исходила энергия как бы даже вопреки смыслу произносимых ею слов. Конечно, у нее были

на исходе силы, душевные и физические, – но это совсем другой вопрос.

Итак, после благоприятного решения чистопольского Совета Марина Ивановна проводит несколько часов в баюкающей дружеской обстановке. Ее выслушивают с неподдельным интересом, о чем бы она ни заговорила. Ей предлагают конкретную помощь: обед и ночлег сегодня, а завтра – совместные поиски жилья. И Цветаева, конечно, чувствует, что этим людям можно довериться, хотя еще несколько часов назад она их не знала…

Но потом она спохватилась.

Оказывается, у нее назначена встреча.

С кем? Где?

По воспоминаниям Чуковской, Марина Ивановна сказала Шнейдерам (сама Лидия Корнеевна в это время ненадолго ушла), что ее ждут в гостинице. Но в устном рассказе Татьяны Алексеевны, спустя несколько десятилетий, звучал иной вариант: Цветаева будто бы сказала, что пойдет к Асееву. И вернется обратно к восьми часам.

Но не вернулась.

Слово «гостиница» может насторожить. В те давние времена свидания в гостиницах любили назначать чиновники из «органов».

В данном случае, однако, в это не верится.

Скорее всего, гостиницей Марина Ивановна назвала то самое общежитие, где она ночевала.

И там она действительно появилась, но уже поздним вечером, усталая, измученная. Еще подробность (разысканная Белкиной): у нее сильно болели ноги. Согрели воду, и в комнате, где жили Жанна Гаузнер и семья Натальи Соколовой, Марина Ивановна сидела на скамеечке, опустив ноги в таз и низко склонив голову…

Где она была перед тем? Почему так устала? Отчего не вернулась к Шнейдерам?

В последнем, впрочем, нет ничего особенно странного: не для того она покинула в Елабуге сына (с которым впервые в России была в разлуке), чтобы читать стихи и вести общие разговоры в милом интеллигентном семействе.

Существует и другая версия той же встречи на квартире Шнейдеров. Ее записал в 1965 году со слов Татьяны Алексеевны Л. А. Левицкий. В этом рассказе есть некоторые новые оттенки – и я перескажу запись в главных чертах.

Услышав фамилию женщины, которую привела Чуковская,

Татьяна Алексеевна от неожиданности не сразу поняла, что перед ней та самая Цветаева, стихи которой она давно знала и любила. Одежда гостьи показалась ей убогой: выцветшая кофта, старая юбка. Говорила она поначалу путано, мысль ее скакала. Потом пришел Михаил Яковлевич Шнейдер и неожиданно заговорил с Мариной Ивановной сухим, жестким, чуть ли не глумливым тоном. Цветаева съежилась, Татьяна Алексеевна прикрикнула на мужа, и потом тот говорил уже мягче.

Но беседа не клеилась. Сели обедать. Понемногу Марина Ивановна оттаивала. После обеда она настояла на том, чтобы помочь хозяйке дома вымыть посуду. Выражение ее глаз поразило Татьяну Алексеевну – это были мертвые глаза, глаза человека, о котором говорят: «он не жилец на этом свете»…

Подробности этого воспоминания позволяют объяснить, почему к концу того дня Цветаева предпочла переночевать не в относительно благополучном доме Шнейдеров, а в литфондовском общежитии.

8

Возможно, и в самом деле Марина Ивановна еще раз зашла к Асееву.

Это выглядело бы естественно: прийти, чтобы поблагодарить и сообщить о результативности его, асеевского, заступничества. И теперь, когда главное препятствие уже устранено, поговорить, скажем, о возможностях заработка в Чистополе.

Или – о том, другом. Об угрозах. Если существовал предмет этого другого.

Может быть, накануне такой разговор не получился и она надеялась, что теперь обстоятельства будут более благоприятными?

И не потому ли еще оставалась в ней безысходность, что та тень продолжала висеть?

Но этого мы не знаем и не узнаем, по-видимому, уже никогда. Доподлинно известно другое: дочь Цветаевой, Ариадна Сергеевна Эфрон, до конца своей жизни белела при упоминании имени Асеева. В ее письме к Пастернаку от 1 октября 1956 года мы находим беспощадные строки. «Эти имена, – пишет она о Цветаевой и Асееве, – соединимы только, как имена Каина и Авеля, Моцарта и Сальери. ‹…› Для меня Асеев – не поэт, не человек, не враг, не предатель – он убийца, а это убийство – похуже Дантесова».

Резкость суждений и категоричность оценок – черта,

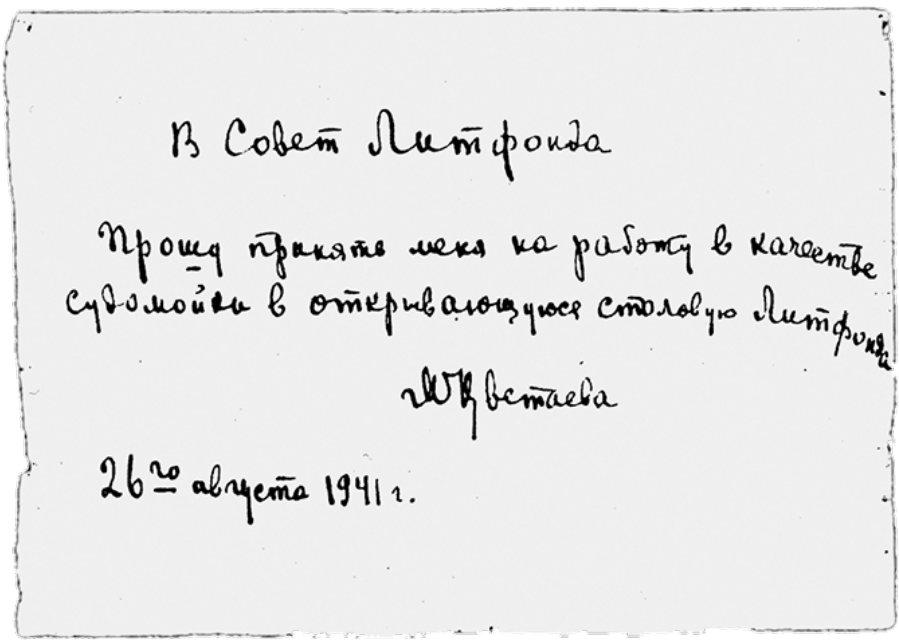
характерная для дочери Цветаевой. Но занять объективную позицию в таком вопросе, как самоубийство матери, – нелегко.

Дочь знала подробности последних дней Марины Ивановны из дневника брата (с которым она так больше и не увиделась: к моменту ее освобождения из лагерей он был убит на войне). С другой стороны, Ариадна Сергеевна сообщала в письме к В. Н. Орлову двадцать четыре года спустя после гибели матери (31 августа 1965 года): «В короткий перерыв между лагерями и ссылкой я успела связаться с людьми, бывшими в то время в Елабуге, и записала с их слов то, что они тогда – всего 6 лет спустя – хорошо помнили». Но в рассказах, которые записала дочь Цветаевой, присутствуют многие огрехи памяти вспоминавших.

Что касается роли Асеева в те дни, то после известия о гибели Цветаевой молва винила именно его в равнодушии и черствости.

Не помог, не ободрил, не уговорил…

Но ведь помог? По крайней мере, с получением права на переезд?..


В Совет Литфонда

Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда

Цветаева

26го августа 1941 г.

Записка Цветаевой в Совет Литфонда

Однако память москвичей, живших в то время в Чистополе, удержала в облике лауреата Сталинской премии черты сибаритства и скаредности. Возможно, супруга поэта способствовала такой репутации, но Асееву не прощали многого. Того, например, что приехавшего отца он поселил отдельно от

себя, в какой-то захудалой комнатушке, и кормился тот в плохой литфондовской столовой. А сын нес жирных гусей с базара. И Ксения Михайловна закупала там же мед – да не стаканчиками, как те, кому он нужен был для больных, а огромными банками, которые не удавалось спрятать в кошелке. «Наши Гусеевы отоварились», – ехидно шутили им вдогонку всегда полуголодные москвички.

Известно теперь и другое: Николай Николаевич сам в глубине собственного сердца не прощал себе вины перед Мариной Ивановной.

Знать бы, какой именно…

Он не был закоренелым злодеем, он был только равнодушен в те дни и труслив. И он очень не любил раздражать свою властную, лишенную всяких сантиментов жену Рассказ Надежды Павлович подтверждает, что у Асеева совесть была перед Мариной Ивановной нечиста.

Павлович случайно встретилась с Николаем Николаевичем (незадолго до его смерти) в латышском местечке Дзинтари. Она увидела его в маленькой церквушке неподалеку от писательского Дома творчества. Он молился и плакал, стоя на коленях. А потом сам признался Павлович в том, что его так мучает: он очень виноват перед Мариной, очень во многом виноват… Так, без всяких иных подробностей, передала смысл его покаяния Павлович в 1979 году, стоя уже сама на пороге смерти. Но в признании Асеева, скорее всего, подробностей и не было.

Итак, последний ночлег Цветаевой в Чистополе – в том же общежитии. Утром 27 августа она уже снова на пристани.

Пристани Камы в годы войны… То было страшное место. На пароходах везли с фронта раненых – в госпитали Сарапула и Перми. Стоянки непредсказуемо затягивались, и тогда тяжелораненых выносили на плащ-палатках на берег. Те, кто мог держаться на ногах, выбирались сами, часто покинув койки в одном нижнем белье, – они пытались купить на берегу водку и папиросы.

Надеясь отыскать своих, ушедших воевать, к пристани сбегались местные женщины – и их вопли и рыдания долгим эхом отзывались в сердце. Строем шли к пристани новобранцы – чтобы уплыть в обратную сторону, – и провожал их тот же раздирающий душу бабий неумолчный стон.

На пристани в ожидании парохода, идущего в Елабугу, Цветаева успевает поговорить немного с Елизаветой Лойтер. Та едет в Казань. И вот еще один штрих для размышлений: Лойтер вспоминала впоследствии, что Марину Ивановну как будто не радовала перспектива переезда в Чистополь. Она была расстроена

и удручена. Но чем же?..

9

Цветаева вернулась в Елабугу – в дневнике Мура об этом сообщается в записи от 28 августа. Фраза из письма Сикорской Ариадне Сергеевне: «Она вернулась такая окрыленная и обнадеженная» – не может иметь для нас веса, ибо не основана на личной памяти автора. Сикорской в эти дни в Елабуге не было. В рассказе же хозяйки елабужского дома Бродельщиковой, записанном в 1964 году Р. А. Мустафиным (самая ранняя из елабужских записей!), сказано иначе: приехала Марина Ивановна подавленная, поникшая. И это больше согласуется с остальными подробностями.

Но на следующий день после возвращения матери в дневнике Мура появляется запись: решение принято – завтра, то есть 30-го, они переезжают в Чистополь!

Решение кажется слишком уж стремительным. Но легко догадаться, что сам Мур страстно хотел уехать из Елабуги как можно скорее. Какие бы отрезвляющие подробности ни рассказала ему о Чистополе Марина Ивановна, сын уверен был, что хуже елабужской дыры ничего быть не может. Впрочем, хотел он больше всего вернуться в Москву, а не ехать в какой-то другой город. (И Мур, и его новые приятели: Вадим Сикорский, Саша Соколовский – они подружились за те десять дней, что вместе плыли на пароходе из Москвы, – буквально изводили своих родных требованием ехать обратно. Саша Соколовский даже пригрозил матери самоубийством – и он сделал такую попытку! Это произошло уже в сентябре…)

Но и еще одно обстоятельство заставляло, не откладывая, принимать решение об отъезде: сентябрь подступил вплотную. Муру пора было определяться в школу…

Слух о том, что постояльцы Бродельщиковых собираются куда-то переезжать, распространился, скорее всего, в те дни, когда Цветаева ездила в Чистополь. Но возможно, и еще раньше: вспомним свидетельство А. И. Сизова.

И вот в доме на улице Ворошилова появляется юная Нина Броведовская.

Она только что приехала из Чистополя. Возможно даже, что плыли они с Цветаевой на одном и том же пароходе. Нина была из Пскова, в Чистополе они с матерью оказались случайно, и им там очень не понравилось. Самостоятельная и энергичная, Нина отправилась в недалекую Елабугу – оглядеться и поискать жилье,

если там покажется лучше. Сразу по приезде ей назвали адрес Бродельщиковых. Там, сказали ей, еще живет какая-то эвакуированная учительница, но собирается оттуда съезжать, что-то ее не устраивает. Фамилию хозяев Нина запомнила (правда, неточно – как Бродельниковых) из-за того, что она перекликалась немного с ее собственной – Броведовская. Запомнила она и дату своего приезда в Елабугу – 28 августа. Это был день рождения ее двоюродного брата, и Нина уже из Елабуги отправила письмо матери, напоминая ей, как ровно год назад брат приезжал к ним в Псков и они его поздравляли.

В доме Бродельщиковых Нина застала только «учительницу», больше никого не было.

Судя по ряду деталей, можно высчитать, что это было 29 или 30 августа.

Беседу с Ниной Георгиевной Молчанюк, урожденной Броведовской, записывали в разное время Алена Трубицына из Набережных Челнов, много лет занимающаяся сбором материалов о последних днях Цветаевой, Лилит Козлова из Ульяновска, автор нескольких книг, посвященных Цветаевой; известно также, что беседовала Молчанюк и с Анастасией Ивановной Цветаевой, и с сотрудниками Музея изобразительных искусств в Москве. Существует собственноручное письмо Молчанюк, адресованное сотруднице музея А. А. Демской, с подробным рассказом о той давней встрече.

Разночтений в записях почти нет, и, чтобы не упустить важных подробностей, я изложу сводный вариант.

Итак, когда Нина пришла в указанный дом, ее встретила как раз та квартирантка, которую назвали почему-то учительницей. Имени ее Нина, естественно, не спросила. Одета «учительница» была странно: на ней было что-то вроде фланелевого халата, а ноги укутаны в какие-то толстые обмотки.

Эти укутанные ноги наталкивают на мысль, что горячую ножную ванну принимала Цветаева в канун отъезда из Чистополя не от простой усталости. Боли в ногах, видимо, продолжались. И, кстати, в записи Мустафина Анастасия Ивановна Бродельщикова также вспоминает, что Марина Ивановна в самые последние дни (видимо, после возвращения из Чистополя) болела, лежала, потому и на расчистку аэродрома в роковой день 31 августа вместе со всеми пойти не могла. А ведь все должны были идти в тот день: и местные, и эвакуированные.

Отвечая на вопрос неожиданно появившейся девушки, «учительница» подтвердила, что они с сыном действительно собираются отсюда уезжать. Назван был Чистополь – город, где у них есть друзья: «они помогут нам устроиться».

И тут-то выяснилось, что сама Нина только что из Чистополя.

Она рассказала, что им с матерью не удалось там найти ни жилья, ни работы, что для Нины главное – устроить мать, потому что сама она непременно уйдет на фронт: она уже успела окончить фельдшерские курсы.

Цветаева пытается отговорить свою юную собеседницу от этих планов.

В Елабуге, по ее словам, жить невозможно, здесь «ужасные люди», да и во всех отношениях здесь гораздо хуже, труднее, чем в Чистополе.

И фронт – это не для девочки. Война – это грязь и ужас, это настоящий ад, и смерть на фронте – совсем не самое страшное из того, что там может случиться.

– Тем более, – добавила она, – что у вас есть мама. У меня – сын, он тоже все время куда-нибудь рвется. Он вот хочет вернуться в Москву, это мой родной город, но сейчас я его ненавижу… Вы счастливая, у вас есть мама. Берегите ее. А я одна…

– Но как же, ведь у вас сын? – возразила Нина с недоумением.

– Это совсем другое, – был ответ. – Важно, чтобы рядом был кто-то старше вас – или тот, с кем вы вместе росли, с кем связывают общие воспоминания. Когда теряешь таких людей, уже некому сказать: «А помнишь?..» Это все равно что утратить свое прошлое – еще страшнее, чем умереть.

Слова эти поразили Нину, как поразил ее и язык, речь женщины, так не вязавшиеся с ее затрапезной одеждой.

Отметим, что в беседе Цветаева уравновешенна, даже, пожалуй, рассудительна. Но тема войны и беспредельного одиночества обнаруживает кровоточащую рану.

Долгое время спустя после этой встречи Нина не раз вспоминала услышанное, настолько оно показалось ей важным; женщина вызвала и симпатию и сочувствие. Запомнить же недавний разговор во всех его подробностях заставили произошедшие вскоре трагические события.

Нина была еще в Елабуге, когда по городу разнеслась весть о самоубийстве одной из эвакуированных. Волей случая оказалась она и на елабужском кладбище в самый день похорон Цветаевой. И здесь только поняла, что самоубийца – ее недавняя собеседница.

Позже она узнала ее имя – Марина Цветаева.

Поразительное совпадение! Нина с детских лет слышала эту фамилию у себя в доме: Цветаев. Именно Цветаев, не Цветаева.

А все дело в том, что с Иваном Владимировичем, отцом Марины, состоял в интенсивной переписке дед Нины –

преподаватель рисования в псковской гимназии; Цветаев даже послал ему то ли альбом, то ли какую-то книгу с дарственной надписью. Однако о Марине Цветаевой, поэте, Нина ничего не знала.

Она услышала о ней только теперь, вернувшись в Чистополь. Выяснилось, что мать Нины в юности увлекалась цветаевскими стихами. Она даже слышала, как читала их сама Марина вместе со своей сестрой Асей, – видела сестер в Крыму на литературных вечерах.

Естественно, что все подробности встречи с «учительницей» были пересказаны теперь матери и заново пережиты Ниной вместе с ней. Потрясение надолго сохранило их в памяти.

У меня нет сомнений в подлинности свидетельства Н. Г. Молчанюк.

Странным образом ощущение достоверности сразу возникло по отношению не только к внешним обстоятельствам встречи, но и к диалогу, хотя, кажется, труднее всего верить воспроизведению прямой речи, звучавшей более сорока лет назад (первые записи воспоминаний Молчанюк относятся к 1984 году). Но доверие появилось сразу: да, это цветаевские слова! Именно Цветаева могла сказать так и об этом.

Свидетельство Молчанюк соответствует решительно всему: характеру Марины Цветаевой, особенностям ее мироощущения и особенностям той ситуации, в которой она тогда оказалась…

(Подтверждение рассказу я нашла и в письмах Ариадны Сергеевны Эфрон. В двух письмах, адресованных в разное время разным людям, дочь Цветаевой повторяет знакомую нам мысль теми же словами: «9-го апреля похоронила последнего, кажется, человека, которому здесь, в России, могла говорить: “а помнишь?” – мужа моей давней приятельницы Нины Гордон; не знаю, знаешь ли ты ее. Мы с ним дружили еще во Франции, а с ней с первых дней моего приезда в СССР…» И еще в письме от 28 августа 1974 года примерно то же: «…какое счастье, когда каждое горе – пополам. А мне уже давно некому сказать: “а помнишь?” – хотя бы это сказать!»

Это неожиданное эхо – важный опознавательный знак. Очевидно, что в Елабуге Цветаева повторила незнакомой девушке то, что не раз говорилось в их доме и что безотчетно, как губка, впитала в себя Аля, выросшая под мощным излучением материнской личности…)

Эпизод этот в очередной раз опровергает версию о самоубийстве в Елабуге как акте, совершенном в состоянии разрушенной психики. Нет, и свидетельство Чуковской, и свидетельство Молчанюк, становясь в ряд с тремя предсмертными

письмами, написанными обдуманно и трезво, – исключают возможность такой трактовки.

Добавим еще, что и бесхитростный Сизов, говоря о впечатлении, какое на него произвела Цветаева, подчеркивал: не похоже было, чтобы она готовилась тогда к чему-то страшному. Он чувствовал в ней, наоборот, желание вырваться из беды, что-то сделать для этого. «Устремленность в ней была», – настаивал Алексей Иванович…

Почему же не осуществился план отъезда в Чистополь 30 августа?

Может быть, по очень простой причине: просто потому, что ни в тот день, ни в ближайшие не оказалось пароходного рейса на Чистополь. Рейсы были тогда, по словам той же Молчанюк, весьма нерегулярными. Ведь именно поэтому – из-за отсутствия парохода – и сама Нина застряла тогда в Елабуге, хотя она получила от матери телеграмму и торопилась вернуться обратно.

Но вот еще одна запись в дневнике Мура: 30 августа упомянуты две «литературные дамы» – Ржановская и Саконская, из бывших попутчиц по пароходу. Они обсуждают с Цветаевой вопрос о переезде в Чистополь.

Именно они, пишет Мур, отговаривают Марину Ивановну уезжать! Они считали, что раз там, в Чистополе, нет ничего определенного, то и в Елабуге можно отыскать работу.

И Цветаева находит силы сделать последнюю попытку вытащить себя и сына из болота безнадежности.

Она идет – на больных ногах! – в пригород Елабуги, в овощной совхоз: там, сказали ей, можно договориться о заработке. Идет – и предлагает председателю совхоза свои услуги: вести переписку, оформлять какие-нибудь бумаги.

– У нас все грамотные! – отрезал председатель.

Через несколько дней с тем же председателем случилось разговаривать одной молодой женщине, врачу. Слух о самоубийстве уже дошел тогда до совхоза. И председатель уже понял, что приходила к нему именно та усталая немолодая женщина, которая на следующий же день покончила с собой. «Я дал ей тогда пятьдесят рублей, просто чтобы не отпускать ни с чем, – рассказывал председатель. – Но она ушла, оставив деньги на моем столе. А больше я ничего не мог…» Эту подробность спустя много лет сообщила женщина-врач в письме к И. Г. Эренбургу…

Милостыня, поданная в тяжкие дни великому поэту, – не сыграла ли и она свою роль?

Кто отважится на попытку воссоздать мысли и чувства

Цветаевой, возвращавшейся ни с чем долгой дорогой – обратно, на улицу Ворошилова?

Вспоминала ли она, как в Голицыне в предновогоднюю ночь она зашла в комнату Веприцкой, с которой успела подружиться. Та держала в это время в руках раскрытый томик Тютчева. Марина Ивановна попросила показать ей заложенное место и прочла строфу:

Дни сочтены – утрат не перечесть…
Живая жизнь давно уж позади –
Передового нет – и я как есть
На роковой стою очереди.

– Это про меня, – сказала тогда Марина Ивановна, – ведь я постучала к Вам, и Вы сказали, чтобы я вошла. Поэтому эта строфа непременно относится ко мне.

И есть еще свидетельство, теперь уже не поддающееся проверке, – о прогулке, имевшей место незадолго до рокового дня.

Александр Соколовский (тогда еще совсем юный приятель Мура, обожавший поэзию) рассказывал, что Цветаева предложила ему однажды погулять вместе по Елабуге. Они сделали не один крут; Марина Ивановна все время говорила на одну тему: о самоубийстве Маяковского. Что именно говорила, мы не знаем – Соколовский уже ушел из жизни.

Когда ее жалели друзья, Цветаеву тут же отпускало напряжение, помогавшее ей оставаться в форме, – слезы выступали на глазах, она не могла их удержать. Чужая доброта делала ее слабой, выставляла на яркий свет всю ее незащищенность.

И еще эпизод тех дней.

Десятилетний мальчик, тоже из эвакуированных, в один из теплых августовских дней забрел, гуляя, в пустующее здание церкви Покрова Божьей Матери, полуразрушенные купола которой видны были из окон дома, где жила Цветаева. Он заходил сюда уже много раз, подолгу разглядывал фрески, частично еще сохранившиеся на стенах. В тот день он увидел женщину с коротко стриженными полуседыми волосами. Щурясь, она вглядывалась в росписи стен, и мальчик заметил, что разглядывала она фреску со знакомым ему сюжетом. На ней святой Николай Мирликийский удерживал руку палача, который занес над о сужденными свой меч.

– Он спасет их, – сказал мальчик женщине. – Ведь они ни в

чем не виноваты.

– Я это знаю, – ответила женщина, поворачиваясь к мальчику.

И они разговорились. Он удивился ее лицу – оно было какое-то очень необычное.

– Где вы живете? – спросил мальчик.

– Тут, рядом, у фонтала, знаешь? – сказала женщина и улыбнулась ему. Фонтал – это звучит совсем как фонтан. Но мальчик знал, о чем говорила женщина: то была елабужская портомойня, где женщины полоскали белье. Обычная водопроводная труба торчала там из земли, из нее, журча, вытекала вода.

Мальчик и сам жил неподалеку, на той же улице Ворошилова.

Они вместе вышли из церкви и еще немножко друг с другом поговорили.

А через день-другой мальчик увидел на их улице запряженную повозку и на ней – открытый гроб. Мальчик уже слышал об удавленнице, он подошел поближе к гробу и, заглянув в него, увидел знакомое странное смуглое лицо с тонким носом. Он узнал ее сразу – и убежал, потрясенный. Это была первая смерть, с которой он столкнулся в своей маленькой жизни.

Станислав Романовский позже жил в Москве. И он сказал мне, что мог бы еще многое добавить, относящееся к обстоятельствам трагического конца великого поэта. Но зачем? Пусть, говорит он, вершится Божий суд, а не людской… И только о той встрече в церкви он и рассказал – потому что тут уж никакие кривотолки ничего не могут исказить…

Что же стало последней каплей?..

Анастасия Ивановна Цветаева считала, что роль эту сыграла ссора с сыном 30 августа вечером.

Но не в первый раз мать с сыном говорили на повышенных тонах. По сохранившимся дневникам и письмам Георгия Эфрона легко сделать заключение о том, что к августу 1941 года характер его вполне сложился – ему шел уже семнадцатый год. Стремление к самостоятельности проявилось в нем еще во Франции, и теперь матери с каждым днем становилось труднее руководить сыном. Но, как и в случае с Ариадной, Цветаева не умела с этим примириться.

Покровская церковь в Елабуге

Мне повезло встретиться с одним из елабужских краткосрочных друзей Мура, – от него я и услышала: мать сыну постоянно что-то разрешала и запрещала: читать ли ту или другую книгу, дружить ли с тем мальчиком, а не с этим; другу и сверстнику Мура это казалось странным.

Естественно, что ссоры в их маленькой семье возникали постоянно… Но, ссорясь, мать и сын всегда говорили между собой по-французски, и смысла их ссор хозяева понять не могли. По сравнению с тем, что приходилось переживать Цветаевой прежде, неудачи самых последних дней – комариные укусы. Но что они означали?

А то, что завтра, и послезавтра, и еще много дней (а может быть, и месяцев!) подряд ей придется продолжать, превозмогая себя, делать все новые и новые усилия.

В Елабуге или в Чистополе.

Искать жилье и работу. Получать унизительные отказы. Искать снова – и снова получать отказы.

Советы двух доброжелательниц, поколебавшие Марину Ивановну в решении немедленно уехать, пришлись на момент, когда пробовать новые варианты у нее не оставалось никаких сил.

10

Но где же сюжет с НКВД?

Кажется, что ему нет места в эти последние дни. По крайней мере, внешне.

Ибо, вернувшись из Чистополя, Цветаева – это теперь очевидно! – колеблется: стоит ли уезжать из Елабуги? Она увидела вблизи пределы преданности своего литературного друга; может быть, даже простодушно поверила, что он, Асеев, совсем ничего для нее сделать не может, кроме письма-ходатайства перед правлением. Увидела грязный, не слишком отличающийся от Елабуги город; поверила, что литературной работы там не найдет. С этим последним заключением она все-таки поторопилась, потому что, может быть, не сразу, но позже, с приездом Федина и Пастернака что-нибудь и для нее нашлось бы. Но Марина Ивановна спешила обратно к сыну и слишком была подавлена, чтобы разузнать обо всем подробнее. А если еще и Асеев сказал ей, к примеру, что на литературный заработок рассчитывать ей не придется, она поверила бы ему сразу и окончательно.

«А больше я ничего не умею…» – повторяла она много раз самым разным людям.

И в самом деле не умела.

И не могла – можем мы добавить. По той же веской причине не могла, по какой прачка не может станцевать партию Одетты в «Лебедином озере», даже в случае самой крайней необходимости.

Кстати говоря, тот же Сизов сообщил, между прочим, что Цветаева попробовала-таки себя в роли судомойки в Елабуге! Об этой попытке Сизову вскоре после нашумевшей истории с «удавленницей» рассказала официантка елабужского ресторанчика, что на улице Карла Маркса, в здании суда. Она услышала разговор знакомых клиентов за столиком и вмешалась:

– А я ее видела, эту вашу эвакуированную. Она ведь у нас

судомойкой приходила работать. Да только полдня и проработала. Тяжело ей стало, ушла. Больше и не появилась…

Рассказ этот вернее отнести уже к фольклору; знающие люди утверждали, что не так-то просто было устроиться в те дни и на такую работу. Но если и в Чистополе ей светила только роль судомойки, пусть даже в столовой для писательских детей и жен, стоило ли переезжать?

(Скажу кстати, что распространенная версия «ее не взяли даже в судомойки» – чистый домысел. «Заявление» написано было спонтанно, в Чистополе – просто после уличного разговора с какой-то «доброжелательницей», рассказавшей Цветаевой о предстоящем открытии детского интерната; интернат и, соответственно, столовая при нем появились несколькими неделями позже. Цветаевское заявление никому и не пришлось рассматривать…)

В 1970 г. Союз писателей Татарии поставил памятник на могиле поэта. Однако до сих пор нет уверенности, что Цветаева похоронена именно здесь. Фотография А. Ханакова

Предположим все-таки, что главным импульсом поездки в Чистополь был страх. И жажда совета и поддержки. Тогда понятнее мрачное состояние Цветаевой, не исчезнувшее и после благополучного исхода заседания писательского правления. Если эту поддержку искала Цветаева в Чистополе, то очевидно, что ее она не нашла.

Скорее всего, она не нашла даже случая обсудить такую тему с кем-либо. Новые знакомые у нее были и в Елабуге. А давние?.. Не с Жанной же Гаузнер, человеком другого поколения, было ей

советоваться!

И еще: она могла понять за время поездки, что от всевидящего ока Учреждения все равно не убежишь. Там ли, здесь ли…

Согласиться на доносительство – такого вопроса перед ней не стояло. Но чего можно опасаться в случае отказа? Место переводчицы ей, во всяком случае, не дали. Приятель М. Н. Бродельщикова Евгений Иванович Несмелов, рассказывавший мне в Елабуге о хозяевах дома, где жила Цветаева, передал их слова: «В переводчицы ее не взяли по анкете». Но ведь предлагали, уже зная обо всех особенностях ее биографии! Не было ли это первым ответом «органов» на отказ сотрудничать? Чего можно было ждать от них еще? Для себя и для сына?

Вот где в самом деле встает призрак того тупика, о котором напишет Марина Ивановна в предсмертном письме сыну. «Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик». Последние слова подчеркнуты Цветаевой.

Другого тупика, если оценивать ситуацию спокойно, в этот момент не было.

И ведь ясно, что поездка в Чистополь увенчалась успехом – если целью был переезд. Разрешение-то было получено! Найти жилье – все говорили – проблема решаемая; хорошие люди обещали помочь и в поисках работы… В этих известных нам обстоятельствах сторонний взгляд не находит туника.

Остаются неизвестные.

И еще остается наше знание о полной утрате Мариной Ивановной внутреннего спокойствия.

Влево от новых ворот кладбища – маленькая ограда; это еще одна предполагаемая могила Марины Цветаевой. Фотография А. Полозова

Спустя два года Мур признался в письме к Гуревичу, что незадолго до трагической гибели мать «совсем потеряла голову», а он только злился за ее «внезапное превращение». Приведу без сокращений эти три важные фразы из письма, написанного Муром 8 января 1943 года:

«Я вспоминаю М. И. в дни эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии.

Она совсем потеряла голову, потеряла волю.

Она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и

злился за ее внезапное превращение».

Отметим: для сына, который был рядом с матерью все эти месяцы, ее состояние незадолго до гибели выглядело как «внезапное превращение».

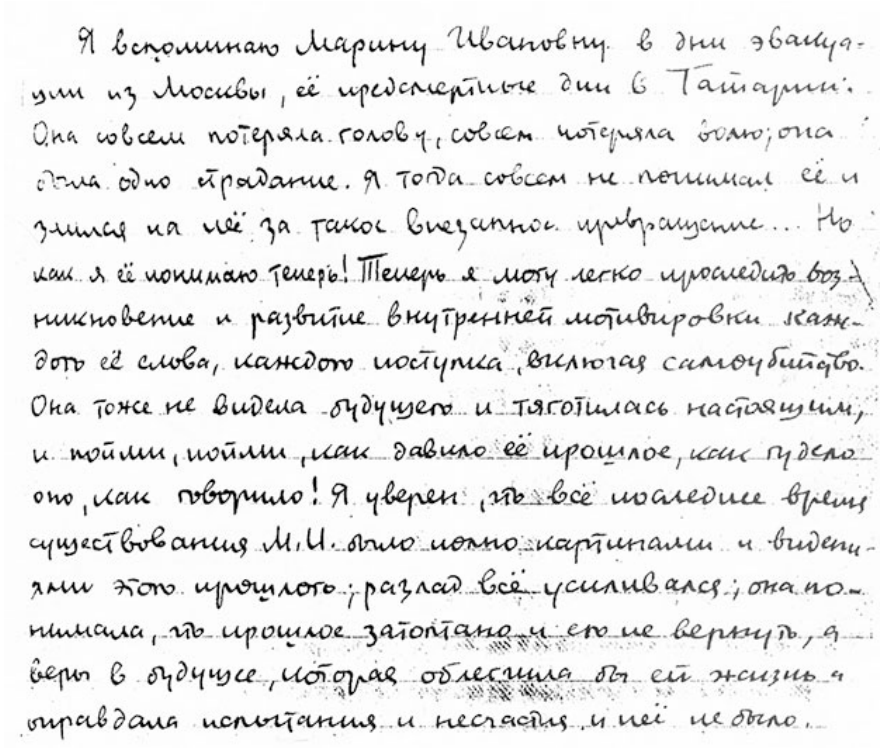
Однако осознает это Мур позже.

В Елабуге же в последние дни августа, когда силы матери на исходе, а ее душевное напряжение усугубляется физическим недомоганием, шестнадцатилетний подросток, крайне раздосадованный новой отсрочкой отъезда, не находит в себе ни единой капли сочувствия.

Он зол и жесток.

В его дневнике 30 августа появляется запись:

> «Мать как вертушка совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Ч. Она пробует добиться от меня “решающего слова”, но я отказываюсь это “решающее слово” произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. ‹…› Пусть покажет на деле, насколько она понимает, что мне больше всего нужно. Во всех романах и историях, во всех автобиографиях родители из кожи вон лезут, чтобы обеспечить образование своих rejetons[36]‹…› Мать совершенно не знает, чего хотеть. Я, несмотря на “мрачные окраины”, склонен ехать в Чистополь, потому что там много народа, но я там не был, не могу судить, матери – видней. ‹…› Мое пребывание в Елабуге кажется мне настоящим кошмаром. Главное, это все время меняющиеся решения матери, это ужасно».


Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, её предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она ждала одно предательство. Я тогда совсем не понимал её и злился на неё за такое внезапное превращение... Но как я её понимаю теперь! Теперь я могу легко проследить возникновение и развитие внутренней мотивировки каждого её слова, каждого поступка, включая самоубийство. Она тоже не видела будущего и тяготилась настоящим, и тонула, тонула, как давило её прошлое, как гудело оно, как говорило! Я уверен, что всё последнее время существования М.И. было полно картинами и видениями этого прошлого; разлад всё усиливался; она понимала, что прошлое затоптано и его не вернуть, а веры в будущее, которая облегчила бы ей жизнь и оправдала испытания и несчастья, у неё не было.

Фрагмент письма Г. Эфрона С. Д. Гуревичу от 25 мая 1942 г.

Что из записанного в тот день сын произнес вслух?..

Неожиданным дополнением к этой дневниковой записи оказался мой разговор с елабужским другом Мура Дмитрием Саконским. Я разыскала его уже в восьмидесятые годы в редакции журнала «Новый мир», он работал там в отделе критики. Елабужские дни уже отошли в далекое прошлое, рассказ Саконского был лаконичен, но некоторые его подробности показались мне очень значимыми. Друг Мура вспомнил, в частности, как тот жаловался ему на деспотический характер матери; она настойчиво пыталась руководить им – что читать, с кем дружить и гулять. А ведь Муру еще в феврале исполнилось шестнадцать, и самостоятельный характер его явственно сформировался. Увы, повторялась история середины тридцатых годов с повзрослевшей Ариадной. Но тогда новую подсветку получает и непримиримая жесткость дневниковой записи сына 30 августа.

Не пройдет и суток после этой записи до того момента, как ноги подкосятся у юнца, пытавшегося рассуждать об ответственности.

Он сядет прямо в дорожную пыль, услышав от хозяйки дома о том, что матери уже нет в живых…

31 августа 1941 года.

А Яркий солнечный день. Все ушли из дома, кроме нее, и она знала, что ушли надолго. Три записки, оставленные на столе, лаконичны, но каждое слово в них – выверено.

Она уходит из жизни в последний день лета. Уходит в конечном счете потому, что видит себя на грани – взнуздания теми силами, подчиниться которым ее дух не может.

Это была ее особенность в отношении к смерти. В зрелые свои годы она постоянно думает и пишет о смерти добровольной.

Смерть как протест – если уже не осталось надежды иначе одолеть принуждение. Смерть, если нельзя быть – то есть жить по собственным высшим законам.

Не возьмешь мою душу живу!
Так, на полном скаку погонь –
Пригибающийся – и жилу
Перекусывающий конь

Аравийский.

Так горделиво писала она еще в 1924-м. И это победоносное чувство пронесла через всю жизнь.

Ее жизнь, как она была задумана Богом, черпала силы из двух источников: сердцем принятого на себя долга заботы о близких – и роскоши творчества.

И нужно-то было теперь, в сущности, немногое. Минимальный заработок, чтобы прокормить сына и чтобы отсылать время от времени посылки дочери и мужу в лагерь. И возможность несколько часов в день склоняться над листками бумаги с пером в руке.

(Когда она записала свою последнюю поэтическую строку? Или – на худой конец – последнюю фразу в дневнике? «Писать перестала – и быть перестала» – эту формулу, звучащую как приговор, она занесла в свою рабочую тетрадь еще в 1940 году.)

Она всегда называла себя семижильной. И у нее хватило бы сил сопротивляться всем оперуполномоченным мира, как и прочим бедам, – если бы не были уже перекрыты оба источника, обе опоры ее существования. Что оставалось ей теперь?..

31 августа она делает шаг в пространство свободы.

Когда во Франции она спорила с мужем и дочерью о том, что именно происходит в Советской России, ей казалось, что они ослеплены и одурачены, а она, в отличие от них, трезва в своих оценках.

Но как же далеко было ей до трезвости! Какие залежи иллюзий должны были разорваться в ней со звоном и грохотом, едва она ступила на землю отечества!

Она была готова ко многому, но не к такому.

Открытие мемориальной доски на доме в Елабуге

Чего она опасалась? Что ее не будут печатать, что Муру забьют голову пионерской чушью, что жить придется в атмосфере физкультурных парадов и уличных громкоговорителей… Вот кошмары, на съедение к которым она ехала. Хотя не забудем самого существенного: выбора у нее не оставалось – выбор за нее сделала ее семья.

Она пыталась и не могла представить себя в Советской России – со своим свободолюбием и бесстрашием, которое называла «первым и последним словом» своей сущности. С этим-то бесстрашием – подписывать приветственные адреса «великому

Сталину»? А ведь даже подпись Пастернака она с ужасом обнаружила однажды в невероятном контексте на странице советской газеты.

Но ей и во сне не могло присниться, что на самом деле ждало ее в отечестве.

Не приветственные адреса ей пришлось здесь подписывать, а челобитные и мольбы о помощи. Тому, кто вдохновлял и вершил беззаконие, кто ставил ее дочь раздетой в узкий ледяной карцер, где нельзя ни сесть, ни прислониться к стенам, а мужа доводил истязаниями до галлюцинаций.

Бесстрашие… Оно становится картонным словом из лексикона рыцарских романов, когда на карте оказывается не собственное спасение, а жизнь твоих близких.

Оно сменяется обратным чувством: неисчезающим страхом. За родных. Но и за себя, потому что тебя стремятся превратить в крест для распятия самых дорогих тебе людей.

«Вчера, 10-го, – записывала Цветаева в январе 1941 года в черновой тетради, не договаривая, проглатывая куски фраз, – у меня зубы стучали уже в трамвае – задолго. Так, сами. И от их стука (который я, наконец, осознала, а может быть, услышала) я поняла, что я боюсь. Как я боюсь. Когда, в окошке, приняли – дали жетон – (№ 24) – слезы покатились, точно только того и ждали. Если бы не приняли – я бы не плакала…»

Ясен ли перевод на общечеловеческий? Она едет в тюрьму с передачей для мужа, о котором полтора года не знает ничего. Единственный способ узнать, жив ли он, – передача: приняли – значит, жив. Не за себя она в эти минуты боится, боится страшного известия. А вдруг на этот раз не примут?

Короткая запись в другом месте тетради: «Что мне осталось, кроме страха за Мура (здоровье, будущность, близящиеся 16 лет, со своим паспортом и всей ответственностью)?»

И еще запись, вбирающая все частности: «Страх. Всего».

Оба слова подчеркнуты. Это записи в рабочей тетради Цветаевой 1940–1941 годов.

Зимой и весной 1940 года ее мучили ночи в Голицыне: звуки проезжающих мимо машин, шарящий свет их фар. И Татьяне Кваниной она говорит как бы невзначай: «Если за мной придут – я повешусь…»

В ее письмах 1939–1941 годов – россыпь признаний, в которых отчетливо прочитывается этот страх собственного ареста. И может быть, ареста Мура. Разве не арестовали уже Андрея Трухачева – сына сестры Аси? И сына Клепининых Алексея?

Перед самым отъездом в эвакуацию ей необходимо было взять из жилищной конторы справку. Но она боится идти за ней

сама и просит сделать это Нину Гордон: если она сама придет за справкой, ее тут же заберут. Она боится своего паспорта – он «меченый». Боится паспорта Мура. Боится, по воспоминаниям Сикорской, заполнять анкеты; там что ни вопрос – подножка: где сестра, где дочь, где муж, откуда приехали.

Соседка по квартире на Покровском бульваре (тогда еще десятиклассница) Ида Шукст вспоминает, что Цветаева боялась сама подходить к телефону и сначала узнавала через нее, кто спрашивает.

Однажды – уже началась война – в квартиру без предупреждения пришел управдом. «Марина Ивановна встала у стены, раскинув руки, как бы решившаяся на все, напряженная до предела. Управдом ушел, а она все стояла так». Оказалось, он приходил, просто чтобы проверить затемнение. Но Цветаева слишком хорошо помнила появление коменданта на даче в Болшеве осенью 1939-го: всякий раз ему сопутствовал очередной обыск – и арест.

Цветаева в Голицыне. Дом отдыха писателей. 1940 г.

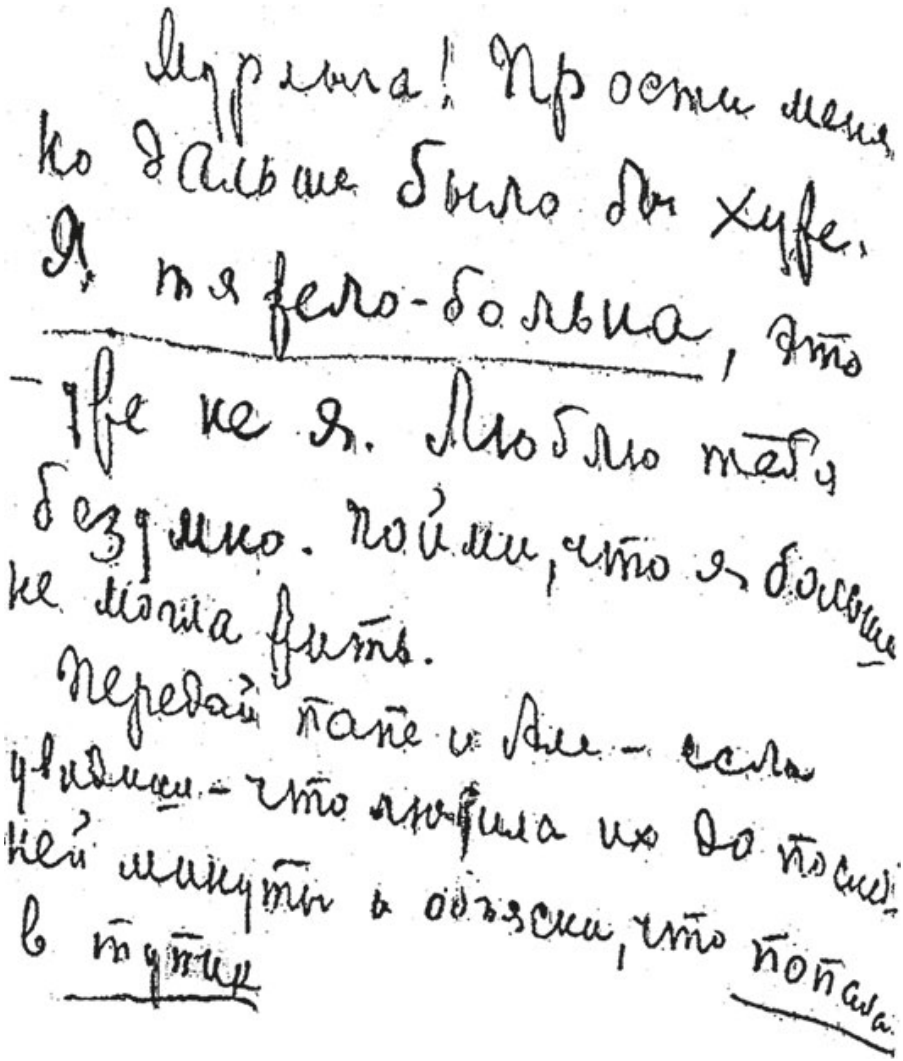
Она боится довериться новым знакомым. Сикорская пишет об этом довольно резко: «Ей все казались врагами – это было похоже на манию преследования».

Преувеличены ли были все эти страхи? Нисколько.

И об Ахматовой говорили, что она преувеличивает внимание Учреждения к своей особе. Но теперь-то уже точно известно: ничуть не преувеличивала! Досье на Ахматову, обнаруженное в недрах бывшего НКВД, заведено было в 1939 году и составило три тома!

Отметим, однако, важное различие в трагическом самоощущении двух русских поэтов. Ахматова прожила на родной земле всю свою жизнь; само по себе это не подвиг и не заслуга, но это постепенное привыкание к урезаемой свободе. Цветаева очутилась в России после семнадцати с лишним лет разлуки. И о таком чудовищном разгуле беззакония и лицемерия, пронизавших страну снизу доверху, она, конечно, не догадывалась. Вот почему то, что обрушилось тут на ее семью, вызвало у нее такой шок.

Мир пошатнулся бы не так сильно в ее глазах, если бы ордер на арест предъявили ей самой. Но увели Алю и мужа! Тех, кто так рвался в СССР, у кого все тридцатые годы с уст не сходили слова преданности Стране Советов!


Мурлыга! Прости меня
ко дальше было бы хуже.
Я тяжело-больна, это
— не ке я. Люблю тебя
безумно. Пойми, что я больше
не могла жить.
Передай папе и Але — если
увидишь — что любила их до после
ней минуты и объясни, что попала
в тупик

Предсмертная записка Муру

«Во мне уязвлена, окровавлена самая сильная моя страсть: справедливость», – записывала Марина Ивановна в своей тетради. Она все еще не догадывалась (запись относится к началу 1941 года), что принимать так близко к сердцу попрание справедливости в ее отечестве равнозначно скорби об отсутствии снега в Сахаре.

Но таков ее сердечный ожог. Повторю в очередной раз: безмерная острота реакций – отличительная черта ее природного склада.

Поначалу она, видимо, хотела сделать это в маленькой пристройке рядом с сенями и даже занавесила там тряпкой

окошко. Но потом передумала, потому (так считала Бродельщикова), что в пристройке обычно спали дед с внуком. И выбрала сени. В перекладину там был вбит толстый гвоздь с крупной шляпкой…

Она закрутила изнутри веревкой дверь, подставила стул…

В их комнатке на столе оставлены три письма.
Сыну:

> «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я *тяжело-больна*, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты и объясни, что *попала в тупик*».

Эвакуированным москвичам:

> «Дорогие товарищи!
>
> Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом – сложить и довезти в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей.
>
> Я хочу чтобы Мур жил и учился. *Со мною он пропадет*. Адр. Асеева на конверте.
>
> Не похороните живой! Хорошенько проверьте».

Асееву:

> «Дорогой Николай Николаевич!
>
> Дорогие сестры Синяковы![37]
>
> Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь – *просто взять его в сыновья* – и чтобы он *учился*. Я для него больше ничего не могу и только его гублю.
>
> У меня в сумке 150 р. и если постараться распродать все мои вещи…
>
> В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы.
>
> Поручаю их Вам, берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына – *заслуживает*.
>
> А меня простите – *не вынесла*.
>
> *М. Ц.*

Не оставляйте его *никогда*. Была бы без ума счастлива, если бы он жил у вас.

Уедете – увезите с собой.

Не бросайте».

Георгий Эфрон. Сентябрь 1941 г.

И теперь можно уже сказать, что все три версии гибели Цветаевой, о которых говорилось в начале этой главы, имеют под собой серьезные основания. Особенно убедительными они представляются в сочетании. В самом деле: предельно напряженные отношения Марины Ивановны с сыном, рвавшимся скорее уехать из Елабуги, подтверждены нынче записями в его дневнике августа 1941 года. Мать чувствовала, что ее отношения с горячо любимым сыном в Елабуге натянулись до последнего предела. Она уже понимала, что мешает Муру – не в силах ему помочь. Увы, повторялась тяжкая история расхождения Марины Ивановны с выросшей Ариадной в середине тридцатых годов. Мать приходила в отчаяние, переживая потерю прежней

душевной связи с детьми, как только они входили в возраст бурно развивающегося самосознания…

Почти сорок лет спустя после гибели Цветаевой мне довелось встретиться с Вадимом Саконским, елабужским приятелем Мура. Он рассказал мне, как страдал его друг от настойчивой опеки матери, предписывавшей шестнадцатилетнему подростку не только выбор друзей, но даже книг и кинофильмов, которые шли в ближайшем кинотеатре. Бурные ссоры между матерью и сыном, о которых свидетельствовали в своих рассказах и хозяева дома, вызваны были, очевидно, еще и этим обстоятельством. И у Марины Ивановны к болезненно-напряженному внутреннему состоянию, обострившемуся с арестом дочери и мужа, и особенно с началом войны, в Елабуге присоединилось еще и чувство вины перед сыном, которому она не только не умела помочь, но даже, как она понимала, становилась в тяжесть.

Не потому ли еще она и решилась поехать в Чистополь, что жажда сбросить с себя жизненное ярмо к этому времени уже переросла в ней в бесповоротное решение?.. Оставалось только сделать все, от нее зависевшее, чтобы «подстелить» жизнь Муру, когда ее уже не будет на свете. В частности, встречей с Асеевым, могущественным, как казалось Цветаевой, человеком – лауреатом Сталинской премии…

Это предположение, кстати говоря, объясняет нам ту безрадостность Марины Ивановны, которую с недоумением отметила в своих воспоминаниях Лидия Чуковская – при вынесении благоприятного решения в парткоме Чистопольского горсовета. И тот застывший лик обреченности, какой увидела в ней Елизавета Лойтер на берегу Камы перед самым отъездом обратно в Елабугу.

Марина Ивановна сделала, что могла, – впереди оставался последний шаг…

Августовский дневник Мура фиксирует мятущееся нервное напряжение матери, истерзанной необходимостью принимать все решения без совета и помощи, перед лицом разверзающейся в ее сознании бездны.

Однако чрезмерным кривотолкам о психологическом состоянии Цветаевой противостоит запись, сделанная Муром 5 сентября того же 1941 года – уже в Чистополе, после трагического события: «Она была в полном здоровий (так в дневнике! – И. К.) к моменту самоубийства». Наконец, и версия Кирилла Хенкина о грубом запугивании Цветаевой со стороны оперативника НКВД приобретает дополнительную достоверность. В частности, еще и потому, что, как уже говорилось, сотрудники Музея Пастернака в

Чистополе обнаружили-таки в казанском архиве НКВД доносы писателей из окружения Бориса Леонидовича. То есть их вызывали и «обрабатывали» – угрозами и посулами.

Бесспорно, и без «бумажных» доказательств мы назовем НКВД прямым пособником самоубийства Марины Цветаевой.

Черное его дело началось не в Елабуге. И даже не осенью 1939 года, когда арестовали Алю и Сергея Яковлевича. И не осенью 1937-го, когда был убит подЛозанной Рейсс, Эфрон был убран из Франции, а Цветаеву дважды допрашивали во французской полиции. Может быть, в июне 1931-го, когда Сергей Яковлевич отнес в советское консульство в Париже прошение о возврате на родину? Или же еще раньше: в двадцатые годы? Именно тогда в ряды русских эмигрантов были засланы первые люди в штатском, получившие задание в кабинетах ГПУ.

Но, в конце концов, не столь уж и важно, в какой именно момент паутина лжи и шантажа, затянувшая в свои сети Сергея и Ариадну Эфрон, стала смертельно опасной уже для жизни Цветаевой. Несомненным можно считать другое: нити той паутины накрепко вплетены в роковую елабужскую петлю.

Расстрелянный Гумилев, сгинувшие в лагерях Клюев и Мандельштам, поставленные к стенке Мейерхольд и Бабель…

Гордая, независимая, блистательная Марина Цветаева – в их сонме. Сонме жертв «великой октябрьской социалистической».

Приложения

1. Протоколы допросов М. Цветаевой в префектуре Парижа (1937 год)

Допросы М. И. Цветаевой осенью 1937 года в префектуре Парижа связаны с полицейским расследованием убийства, совершенного в Швейцарии (в окрестностях Лозанны) 4 сентября того же года.

22 октября 1937 года состоялся первый допрос.

Цветаева вместе с сыном провела в парижской префектуре, по ее словам, целый день, с утра до вечера. Второй допрос состоялся 27 ноября того же года. Естественно, что протоколы допросов не отражают и малой доли произнесенного в тот день в стенах солидного учреждения. Тем не менее документы представляют для нас безусловный интерес.

Текст допросов дается (в переводе на русский язык) по публикации Петера Хубера и Даниэля Кунци «Paris dans les annees 30. Sur Serge Efron et quelques agents du NKVD» в сборнике: «Cahiers du Monde russe et sovietique», XXXII/2/, avril-juin 1991, p. 285–310.

* * *

‹Текст на бланке:
Министерство внутренних дел
Главное управление Национальной безопасности
Главный надзор службы криминальной полиции›

Дело Дюкоме Пьера[38] и других, обвиняемых в убийстве и сообщничестве.

Свидетельские показания г-жи Эфрон, урожденной Цветаевой Марины, 43 лет, проживающей по адресу:

65, ул. Ж.-Б. Потэн в Ванве (Сена).

22 октября 1937 года

Мы, Папэн Робер, Комиссар дорожной полиции при Главном надзоре службы криминальной полиции (Главное управление Национальной безопасности) в Париже, офицер судебной полиции, по поручению помощника Прокурора Республики слушаем г-жу Эфрон, урожденную Цветаеву, родившуюся 31 июля 1894 года в Москве от ныне покойных Ивана и Марии Бернских[39], литератора, проживающую в Ванве, в доме № 65 по

улице Ж.-Б. Потэн, которая, приняв предварительно присягу, заявила:

Я зарабатываю на жизнь своей профессией, сотрудничаю в журналах «Русские записки» и «Современные записки», зарабатываю от шестисот до восьмисот франков в месяц. Мой муж, журналист, печатает статьи в журнале «Наш Союз», который издается «Союзом возвращения»[40] и имеет помещение на улице Де Бюси в Париже.

Насколько я знаю, муж ходил туда на работу ежедневно с самого основания Союза. Моя дочь Ариадна[41], рожденная 5 сентября 1913 года в Москве, также работала там[42] художницей. В апреле этого года она оставила эту должность и вернулась в Россию. В настоящее время она находится в Москве и работает в редакции французского еженедельника, выходящего в этом городе, – «Revue de Moscou».

«Союз возвращения», как на это указывает само название, имеет целью помочь нашим соотечественникам, нашедшим убежище во Франции русским эмигрантам, вернуться в Россию. Никого из руководителей этой организации я не знаю, однако год или два назад я познакомилась с неким г-ном Афанасовым[43], членом этой организации, уехавшим в Россию чуть больше года назад. Я его знала потому, что он не раз приходил к нам домой повидаться с мужем. Мой муж был офицером Белой армии, но со времени нашего приезда во Францию, в 1926 году, его взгляды изменились. Он был редактором газеты «Евразия»[44], выходившей в Париже и издававшейся, кажется, в Кламаре или поблизости. Могу сказать, что эта газета больше не выходит. Лично я не занимаюсь политикой, но, мне кажется, уже два-три года мой муж является сторонником нынешнего русского режима.

С начала испанской революции мой муж стал пламенным поборником республиканцев, и это чувство обострилось в сентябре этого года, когда мы отдыхали в Лакано-Осеан, в Жиронде, где мы присутствовали при массовом прибытии беженцев из Сантадера[45]. С этих пор он стал выражать желание отправиться в Испанию и сражаться на стороне республиканцев. Он уехал из Ванва 11–12 октября этого года, и с тех пор я не имею о нем известий. Так что не могу вам сказать, где он находится сейчас, и не знаю, один ли он уехал или с кем-нибудь.

Я не знаю никого из знакомых мужа по имени «Боб», не знаю также Смиренского или Роллэна Марселя[46].

В конце лета 1936 года, в августе или сентябре, я поехала на отдых с сыном Георгием (родившимся 1 февраля 1925 года в Праге) к моим соотечественникам, семье Штранге[47], которые

живут в замке Арсин в Сен-Пьер-де-Рюмийи (Верхняя Савойя).

Супруги Штранге держат по указанному адресу семейный пансион. У них есть сын Мишель 25–30 лет, который занимается литературным трудом. Он живет обычно не в Париже, а у родителей. Не знаю, часто ли он бывает здесь, и не знаю, продолжает ли он поддерживать отношения с моим мужем.

Муж почти никого не принимал дома, и не все его знакомства мне известны.

Среди многих фотографий, которые вы мне предъявляете, я узнаю только Кондратьева[48], которого встречала у общих друзей, супругов Клепининых, которые жили в Исси-ле-Мулино, на улице Мадлен Моро, д. 8 или 10. Я встречала его года два назад, когда Кондратьев имел намерение жениться на Анне Сувчинской, работавшей гувернанткой у г-жи Клепининой[49].

Мы с мужем были удивлены, узнав из прессы о бегстве Кондратьева в связи с делом Рейсса.

На одной из фотографий я узнаю также г-на Познякова[50]. Этот господин, по профессии фотограф, увеличил для меня несколько фотографий. Он также знаком с моим мужем, но я ничего не знаю о его политических убеждениях и что он делает сейчас.

Дело Рейсса не вызвало у нас с мужем ничего, кроме возмущения. Мы оба осуждаем любое насилие, откуда бы оно ни исходило.

Итак, как я вам сказала, я знаю только тех знакомых моего мужа, которые бывали у нас дома, и не могу вам сказать, был ли знаком Позняков с мадемуазель Штейнер[51] – или с кем-нибудь из тех, чьи фотографии мне были показаны.

Я не могу дать никаких сведений о тех людях, которые вас интересуют.

17 июля 1937 года я с сыном уехала из Парижа в Лакано-Осеан. Мы вернулись в столицу 20 сентября. Муж приехал к нам числа 12 августа и вернулся в Париж 12 сентября 1937 года[52].

В Лакано мы занимали виллу «Ку де Рули» на улице братьев Эстрад. Этот дом принадлежит супругам Кошен.

На отдыхе муж все время был со мной, никуда не отлучался.

Вообще же мой муж время от времени уезжал на несколько дней, но никогда мне не говорил, куда и зачем он едет. Со своей стороны, я не требовала у него объяснений, вернее, когда я спрашивала, он просто отвечал, что едет по делам. Поэтому я не могу сказать вам, где он бывал.

По прочтении подтверждено и подписано
Комиссар дорожной полиции /подпись/

М. Цветаева-Эфрон /подпись/

‹На бланке, аналогичном предыдущему:›

Протокол от 1937 года 27 ноября

Дело Штейнер Рене, Шильдбах[53], Росси[54] и других. Свидетельские показания г-жи Марины Эфрон, урожденной Цветаевой, 43 лет, проживающей по адресу: 65, улица Жан-Батист Потэн в Ванве.

Мы, Борель Робер, Главный инспектор дорожной полиции при Главном надзоре службы криминальной полиции (Главное управление Национальной безопасности), офицер судебной полиции, помощник Прокурора Республики, согласно прилагаемому ниже поручению, исходящему от г-на М. Сюбилла, судебного следователя Верховного суда Лозанны, от 16 сентября 1937 года, переданному нам для исполнения 6 числа ноября месяца старейшиной судебных следователей департамента Сена и касающемуся следствия по делу Штейнер Рене, Росси и других, обвиняемых в убийстве и сообщничестве, вызвали для допроса свидетельницу, которая, предварительно заявив, что она не состоит в родственных или дружеских отношениях с обвиняемыми и не работает на них, и присягнув говорить всю правду и ничего, кроме правды, показала следующее:

Меня уже допрашивал 22 октября этого года по поручению следственной комиссии судебный следователь из Парижа г-н Бетейль по поводу политической деятельности моего мужа. Мне нечего добавить к моим первоначальным показаниям.

Муж уехал в Испанию, чтобы служить в рядах республиканцев[55], 11–12 октября этого года. С тех пор я не имею от него известий.

Я знаю, что перед своим отъездом в Испанию он помогал уехать туда своим соотечественникам, выразившим желание служить в рядах испанских республиканцев. Не знаю, сколько их было. Могу назвать двоих: это Хенкин Кирилл[56] и Лева[57].

Подтверждаю, что не знала о том, что муж в 1936 году и начале 1937-го года организовал наблюдение за русскими или другими лицами, при содействии некоей Штейнер Рене, а также Смиренского Димитрия, Чистоганова[58] и Дюкоме Пьера. Мне также не известно, состоял ли муж в переписке с этими людьми.

Не берусь определить, действительно ли текст телеграммы от 22 января 1937 года, фотокопию которой вы мне предъявляете, написан рукой моего мужа.

По вашей просьбе передаю вам 9 документов (письма в конвертах и одну почтовую карточку), написанных рукой моего мужа.

Прочитано, подтверждено и подписано

Главный инспектор дорожной полиции, офицер судебной полиции /подпись/

М. Цветаева-Эфрон /подпись/

2. Марина Цветаева ‹Письмо И. В. Сталину›

Текст, публикуемый ниже, предлагался вниманию читателя – в вариантах, несколько отличающихся друг от друга. Первой была публикация Льва Мнухина в парижской газете «Русская мысль» (№ 3942 от 21 августа 1992 года) под названием «Письмо Марины Цветаевой И. В. Сталину». Во второй публикации («Литературная газета», № 36/ 5413 от 2 сентября 1992 года) представлен был почти тот же текст, однако теперь он был атрибутирован как письмо к Лаврентию Берии. М. Фейнберг и Ю. Клюкин извлекли его из архива Министерства безопасности России. В печати завязался спор между публикаторами. Уязвимым обстоятельством первой публикации было то, что в тексте, которым располагал Л. Мнухин (источник – некий частный архив), обращение отсутствовало, оно реконструировалось лишь на основании устного свидетельства дочери Цветаевой.

Третья публикация «письма» была предложена читателю в моей книге «Гибель Марины Цветаевой» (М., 1995).

Источник данного текста – архив секретаря Союза писателей СССР К. В. Воронкова, в котором было обнаружено письмо Ариадны Сергеевны Эфрон. К письму прилагался перепечатанный на машинке текст другого письма, автором которого была Марина Цветаева. Сама А. С. Эфрон обозначила адресата письма матери уверенно: «И. В. Сталин».

Сравнение данного текста с уже опубликованными свидетельствует прежде всего о том, как долго и мучительно писала и переписывала Цветаева свое послание, колеблясь, с кем-то, возможно, советуясь: кому же лучше его адресовать. Ибо и в прилагаемом тексте обращение тоже не поставлено.

На машинописи письма – два автографа Ариадны Эфрон: подпись в конце письма к К. В. Воронкову и надпись на первом листе «Письма Сталину».

Итак, дочь Цветаевой была уверена именно в таком адресате, хотя мы не знаем точно, на чем основывалась ее уверенность. Вполне реальным кажется предположение, высказанное Л. Мнухиным: Цветаева могла отправить не одно, а два почти идентичных письма, двум адресатам.

Но не спор об адресате главное в публикациях этого текста.

Бесконечно дорога нам сама возможность услышать голос Марины Цветаевой – ее колебания и сомнения, поиск интонации и аргументов – в трагический час, когда она ищет слов, способных умолить палача, остановить его руку, занесенную над головами ее родных.

Скорее всего, публикуемый ниже вариант письма – первый вариант, который затем, при переписывании, Марина Цветаева обильно дополняет, а кое-что и выбрасывает. Дополнения особенно показательны: они усиливают такие моменты, как перечисление заслуг отца, Ивана Владимировича Цветаева, перед русской культурой, а в характеристике Эфрона – черты его безукоризненной честности, бескорыстия и преданности идее коммунизма. Но заслуживают внимания и те фразы, от которых затем, при переписывании, Цветаева отказывается.

В нашей публикации отмечены все наиболее значимые поправки. И читатель, таким образом, сам может оценить смысл и направленность переработки, – в специальных комментариях она, на наш взгляд, не нуждается.

* * *

Обращаюсь к Вам по делу арестованных – моего мужа Сергея Яковлевича Эфрона и моей дочери – Ариадны Сергеевны Эфрон.

Но прежде чем говорить о них, должна сказать Вам несколько слов о себе.

Я – писательница. В 1922 г. я выехала заграницу с советским паспортом и пробыла заграницей – в Чехии и Франции – по июнь 1939 г., т. е. 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно, – жила семьей и литера тур ной работой. Сотрудничала главным образом в журналах «Воля России» и «Современные записки», одно время печаталась в газете «Последние новости», но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского в газете «Евразия». Вообще – в эмиграции была одиночкой.[59]

Причины моего возвращения на родину – страстное устремление туда всей моей семьи: мужа, Сергея Яковлевича Эфрона, дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон (уехала первая в марте 1937 г.) и моего сына, родившегося заграницей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать сыну родину и будущность. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня в последние годы уже не связывало ничто.

Мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось.

В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. получила разрешение вернуться в Советский Союз, что и осуществила – вместе с 14-летним сыном Георгием – 18 июня 1939 г.

Если нужно сказать о происхождении – я дочь заслуженного профессора Московского Университета Ивана Владимировича Цветаева, европейски-известного филолога, долголетнего директора быв. Румянцевского музея, основателя и собирателя Музея изящных Искусств – ныне Музея Изобразительных искусств им. Пушкина – 14 лет *безвозмездного любовного труда*.[60]

Моя мать – Мария Александровна Цветаева, урожденная Мейн, была выдающаяся музыкантша. Неутомимая помощница отца по делам музея, она рано умерла.

Вот – обо мне.

Теперь о моем муже, Сергее Яковлевиче Эфроне.

Сергей Яковлевич *Эфрон* – сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново (*Лизы Дурново*) и народовольца Якова Константиновича *Эфрона*. О Лизе Дурново при мне с любовью вспоминал вернувшийся в 1917 г. П. А. Кропоткин, и поныне помнит Н. Морозов. Есть о ней и в книге Степняка «Подпольная Россия». Портрет ее находится в Кропоткинском музее.

Детство моего мужа прошло в революционном доме, среди обысков и арестов. Все члены семьи сидели: мать – в Шлиссельбуржской крепости, отец – в Вильне, старшие дети – Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон – по разным тюрьмам. В 1905 г. Сергею Эфрону, моему будущему мужу, тогда 12-летнему, уже доверяются матерью ответственные революционные поручения. В 1908 г. Елизавета Петровна Дурново[61] эмигрирует. В 1909 г. кончает с собой в Париже, потрясенная гибелью 14-летнего сына.

В 1911 г. я знакомлюсь с Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю *никогда, что бы ни было* с ним не расставаться и в январе 1912 г. выхожу за него замуж.

В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в московский Университет, на филологический факультет. Но начинается война и он едет братом милосердия на фронт. В Октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в рядах белых. За все добровольчество – непрерывно в строю, *никогда* не в штабе. Дважды ранен – в плечо и колено.

Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет.[62]

Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара – у него на глазах: – лицо, с которым этот комиссар встретил смерть. – В эту минуту я понял, что наше дело – не народное.

Но каким образом сын народоволки Лизы Дурново оказывается в рядах белой армии, а не красной? Сергей

Яковлевич Эфрон это в своей жизни считал – роковой ошибкой. – Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, но многие и многие сложившиеся люди. В «Добровольчестве» он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился – он из него ушел, весь, целиком – и никогда уже не оглянулся в ту сторону.

По окончании добровольчества – голод в Галлиполи и в Константинополе – и в 1922 г. – переезд в Чехию, в Прагу, где поступает в Университет, кончать историко-филологический факультет.

В 1923–1924 г. затевает студенческий журнал «Своими Путями», первый во всей эмиграции печатающий советскую прозу, и основывает Студенческий демократический союз – в отличие от имеющихся монархических.[63] Переехав в 1925 г. в Париж, присоединяется к группе «евразийцев» и является одним из редакторов журнала «Вёрсты», от которого вся эмиграция отшатывается. За «Вёрстами» – газета «Евразия» (в ней-то я и приветствовала Маяковского, тогда бывшего в Париже) – про которую эмигранты говорят, что это – откровенная большевистская пропаганда. Евразийцы раскалываются. Правые – и левые. Левые вскоре перестают существовать, т. к. сливаются в Союз Возвращения на родину. (Евразийцем никогда не была, как никем не была, но была свидетелем и начала, и раскола.)[64]

Когда в точности Сергей Эфрон окончательно перешел на советскую платформу и стал заниматься активной советской работой не знаю, но это должно быть известно из его предыдущей анкеты. Думаю – около 1930 г.

В свою политическую жизнь он меня не посвящал. Я только знала, что он связан с Союзом Возвращения, а потом – с Испанией.[65] Но что я достоверно знала и знаю – это о его страстном и неизменном служении Советскому Союзу. Не зная подробностей его дел, знаю жизнь души его день за днем, все это совершалось у меня на глазах, утверждаю как свидетель: этот человек Советский Союз и идею коммунизма *любил больше жизни*.

(О качестве же и количестве его деятельности могу привести возглас французского следователя, меня после его отъезда в Советский Союз допрашивавшего:

– M. Efron menait une activite sovietique foudroyante!

(Г-н Эфрон развил потрясающую советскую деятельность).[66]

10-го октября 1937 г. Сергей Эфрон спешно уехал в Советский Союз. А 22-го ко мне явились с обыском и увезли меня и 12-летнего сына в Префектуру, где нас продержали целый день. Следователю я говорила все, что знала – а именно: что это самый

бескорыстный и благородный человек на свете, что он страстно любит свою родину, что работать для республиканской Испании – не преступление, что знаю я его – 1911–1937 – двадцать шесть лет – и что больше не знаю ничего.

Началась газетная травля (русских эмигрантских газет). О нем писали, что он чекист, что он замешан в деле Рейсса, что его отъезд – бегство и т. д. Через некоторое время последовал второй вызов в префектуру. Мне предъявили копии телеграмм, в которых я не узнала его почерка. – «Да не бойтесь, сказал следователь, это вовсе не по делу Рейсса, это по делу S.» – и действительно показал мне папку с надписью. Я опять сказала, что я никакого «S.», ни Рейсса не знаю – и меня отпустили и больше не трогали. [67]

С октября 1937 по июнь 1939 я переписывалась с Сергеем Эфроном дипломатической «оказией». Письма его из Советского Союза были совершенно счастливые. Жаль, что они не сохранились, но я должна была уничтожать их тотчас по прочтении; – ему недоставало только одного – меня и сына.

Когда я, 19-го июня 1939 г. после почти двух лет разлуки, вошла на дачу в Болшево и его увидела – я увидела тяжело больного человека. Тяжелая сердечная болезнь, обнаружившаяся через полгода по приезде и вегетативный невроз. Я узнала, что все эти два года он почти сплошь проболел – пролежал. Но с нашим приездом он ожил, припадки стали реже, он мечтал о работе, без которой изныл. Он стал уже сговариваться с кем-то из своего начальства о работе, стал ездить в город…

И – 27 августа – арест дочери.

Теперь о дочери. Дочь моя Ариадна Сергеевна Эфрон первая из всех нас поехала в Советский Союз, а именно –15 марта 1937 г. До этого год была в Союзе Возвращения. Она очень талантливая художница и писательница. И – абсолютно лояльный человек. (Мы все – лояльные, это наша – двух семей – Цветаевых и Эфронов – отличительная семейная черта).[68] В Москве она работала во французском журнале Ревю де Моску, ее работой были очень довольны. Писала и иллюстрировала. Советский Союз полюбила от всей души и никогда ни на какие бытовые невзгоды не жаловалась.

А после дочери арестовали – 10-го октября 1939 г. и моего мужа; совершенно больного и изведенного ее бедой.

7-го ноября были арестованы на той же даче семейство Львовых, наших сожителей, и мы с сыном оказались совсем одни, в опечатанной даче, без дров, в страшной тоске.

Первую передачу от меня приняли: дочери – 7-го декабря, т. е. 3 месяца с лишним после ее ареста, мужу – 8-го декабря, 2

мес. спустя.

Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его: 1911–1939 г. – без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нем скажут и друзья и враги. Даже в эмиграции никто не обвинял его в подкупности.[69]

Кончаю призывом о справедливости. Человек, не щадя своего живота, служил своей родине и идее коммунизма. Арестовывают его ближайшего помощника – дочь – и потом – его. Арестовывают – безвинно.[70]

Это – тяжелый больной, не знаю, сколько осталось ему века. Ужасно будет, если он умрет не оправданный.[71]

3. На полях этой книги

Работа в архиве КГБ предоставила автору настоящей книги сюжеты и сведения, которые не уложились в рамки повествования. Иные из них мне показались интересными лишь для людей дотошного склада, другие – для специалистов-историков. И при саморедактуре текста я поначалу хотела совсем исключить все то, что читатель найдет ниже. А потом решила: из основного текста исключу, а «на любителя» оставлю. Ибо почти каждое из помещенных далее дополнений основано на фактах, явно не общедоступных. Они могут пригодиться.

1) Когда Сергей Яковлевич в 1931 году подал через советское полпредство в Париже заявление во ВЦИК с просьбой разрешить ему возвращение на родину, у этого шага не было никакой скрытой подоплеки. Эфрон, как и многие из его ближайшего окружения, постепенно пришел к полной переоценке случившегося в России. Он стал искренним энтузиастом «социалистического строительства» и желал участвовать в нем непосредственно, а не издали. Его способность загораться очередной идеей и служить ей столь же бескорыстно, сколь и слепо, была в полной мере использована особыми чиновниками советского полпредства, которые распоряжались судьбами русских эмигрантов с несравненно большей властью, чем ВЦИК.

Просьба о советском гражданстве вовсе не была резким поворотом на сто восемьдесят градусов, как любят порой утверждать малоосведомленные авторы. То была как раз постепенная и даже чуть ли не естественная эволюция людей, которые не родились ни политическими мыслителями, ни даже политическими борцами. Просто совестливые и неравнодушные люди в 1917–1918 годах не могли примириться с гибельным в их глазах развитием событий на родине – и потому оказались в рядах Белой армии, сражавшейся с большевиками. Но позже эволюция их взглядов прошла через угасший ореол Добровольчества, разъеденного корыстью и злобой. (О чем Эфрон писал в статье «О Добровольчестве», опубликованной в 1924 году журналом «Современные записки» – Париж, № 21.) Далее эволюция прошла через пересмотр верований «отцов» (старой революционно настроенной интеллигенции), через поиски своего пути к реформированию общества.

Существеннейшим этапом на этом пути стало изменение оценки событий 1917 года: слепое неприятие этих событий сменилось отношением к революции как к социальной стихии, с

которой необходимо считаться как с реальностью. Дальше – больше: терпимость к лозунгам Октября, наивное доверие к заявленным планам хозяйственных преобразований, обольщение нэпом… Тут-то и подоспели льстивые ловкие люди, прикрытые невинной службой в парижском торгпредстве и полпредстве…

Нет, не крутой и неоправданный поворот, а скорее мощно затягивающая воронка «чары», как назвала бы это Цветаева. Обольщение «ликом добра» – по цветаевскому определению, опаснейшим из обольщений – вот на что это похоже…

2) О слежке П. Н. Толстого за Гаяной сообщили прочитанные мной протоколы допросов; вряд ли это было известно ранее.

Но еще в 1935 году кто-то из советских писателей, приехавших в Париж на Антифашистский конгресс деятелей культуры, рассказал Эфрону другую новость. А именно: что П. Н. Толстой настрочил донос и на собственного знаменитого родственника, гостеприимством которого он пользовался. Он не рассчитал, однако, что у Алексея Николаевича Толстого оказались преданные ему люди в ленинградском НКВД. Они не только не дали хода бумаге, но тут же сообщили самому писателю о ретивости его постояльца.

Вернувшись на родину, Сергей Яковлевич решительно избегал встреч с П. Н. Толстым и предупреждал других, общавшихся с Павлом Николаевичем, о необходимости соблюдать с ним сугубую осторожность.

3) Тема связи с масонскими организациями (при этом следователь неизменно пишет «массоны») мельком возникала еще на первом допросе Эфрона. Он высказался тогда вполне определенно: да, такая связь у него была – по прямому указанию органов НКВД в Париже, «ибо я был их секретным сотрудником». Это признание соседствовало с другим, уже упоминавшимся: П. С. Арапов вступил в контакт с иностранными разведками также по заданию ГПУ Однако Клепинин на этой очной ставке дает следствию новый ход: связь с русскими масонами в Париже как раз и означала прямую службу Эфрона во французской разведке! Утверждение сочинено, несомненно, по подсказке самих следователей; не мытьем, так катаньем им необходимо обвинить Эфрона в шпионаже.

В протоколах допросов Клепинина содержатся и другие, на этот раз достоверные, сведения о контактах Эфрона с одной из масонских лож. Сергей Яковлевич, утверждает Клепинин, прочел там доклад (или даже доклады) и в конце концов был «посвящен в высшую ступень». Официальная справка в следственном деле

Эфрона назвала конкретную масонскую ложу, в которую вошел Сергей Яковлевич, – «Гамаюн».

4) Отметим, что Нине Клепининой разрешили приехать в Россию с сыновьями почти сразу вслед за мужем, а Цветаеву не выпускали из Франции еще полтора года. До опубликования переписки Цветаевой с Ариадной Берг[72] еще не было так очевидно, что вовсе не сама Марина Ивановна решала в эти месяцы – возвращаться ли ей с сыном в Россию – и когда именно возвращаться. Из переписки же стало ясно: судьба Цветаевой с момента побега мужа ей самой уже не принадлежала. Документы на выезд она подала в конце 1937 года, спустя примерно месяц после исчезновения Сергея Яковлевича. И с лета 1938 года стала ждать отъезда буквально со дня на день. Однако ее почему-то держали во Франции. Потому ли, что просто забыли о ней – или выжидали «нужного» часа?

В самом деле, удобнее было держать ее с сыном во Франции как бы в качестве заложницы, – для уверенности в поведении Эфрона на родине. Оступится – не разрешим приехать жене и сыну. И еще что-нибудь с ней, семьей, может случиться. Эфрону ли об этом не знать…

Однако к лету 1939 года арест самого Сергея Яковлевича был уже предрешен. И Цветаева с сыном понадобились уже в Москве – для той же цели. Дабы их арестом можно было шантажировать Эфрона на допросах, – известно, что это нередко применялось в тогдашней практике НКВД.

Впрочем, зная российские особенности, можно объяснить длительную отсрочку выезда Цветаевой из Франции и попроще. Так, как предлагает это объяснить в своей книге Мария Белкина. Подсунули, дескать, в начале лета 1939 года забытую бумажку некоему делопроизводителю – тот отнес кому надо… И возвращение великого поэта на родину разрешено. Что ж, и такое возможно…

5) Эмилию Литауэр допрашивают о Цветаевой 19 февраля 1940 года – и тоже других тем в этот день не возникает. Следователь спрашивает:

– С какими антисоветскими организациями была связана Цветаева во Франции? С кем из лиц, враждебно настроенных к СССР, она встречалась?

Литауэр называет в ответ журнал «Современные записки», газету «Евразия», эсеров Бунакова-Фондаминского и Лебедева, «агентов иностранных разведок» Святополк-Мирского, Трейл, Клепининых. Антисоветские настроения Цветаевой, говорит

Эмилия, выразились в ее стихах о Белой армии и царской семье. По приезде в Болшево, записывает следователь, «в своем кругу она не стеснялась заявлять, что приехала сюда, как в тюрьму, и что никакое творчество для нее тут невозможно».

6) Дочь бывшего военного министра Временного правительства А. И. Гучкова, она рано вышла замуж за П. П. Сувчинского, одного из виднейших в русской эмиграции двадцатых годов «евразийцев». К концу 1925 года или к самому началу 1926-го относится знакомство супругов Сувчинских с Цветаевой. В письме от 24 ноября 1979 года к автору этой книги Вера Александровна (во втором браке – Трейл) так вспоминала об этом знакомстве: «Познакомились мы – да, почти сразу после их (Цветаевой и Эфрона. – И. К.) приезда в Париж. ‹…› Виделись часто. Мне было лет 19–20. Стихи ее я открыла, сама для себя, раньше и была потрясена. Потом прочла у Мирского – “распущенная москвичка” – и когда он приехал из Лондона (он проводил каникулы во Франции), я устроила скандал: “Ах ты, великий критик! Ты ровно ничего не понимаешь! Она гениальный поэт”. Он покорно перечел и сказал, что, пожалуй, я права. А когда она появилась в Meudon (раньше она жила у каких-то Черновых, не помню где) – мы все отправились знакомиться – Петр (мой муж), Дим (Мирский) и я».

«Писала она мне редко, – вспоминает Трейл в том же письме, – мы слишком часто виделись – эти 3–4 письма у меня… сгорели. Помню фразу (лестное запоминается!) – “Большому кораблю большое плаванье”. Т. е. она считала меня очень умной. А я знала, что она необычайный поэт… Не вижу, чем она меньше, чем, например, Пастернак…»

В одном из уцелевших от пожара писем Цветаевой к В. А. – щедрое признание несомненных, в глазах Марины Ивановны, достоинств молодой Сувчинской: ума, гордости и даже «душевного целомудрия», Однако спустя несколько лет отношение Цветаевой к В. А. решительно изменится: среди причин главной была та, что В. А. втягивала Ариадну Эфрон в политические страсти, способствуя тем самым углублявшемуся отчуждению матери и дочери.

Уже после развода В. А. с Сувчинским Эфрон вовлекает ее в работу советской разведки, с которой он сам себя связал с начала тридцатых годов. В этой деятельности В. А. находит выход присущей ей активности, энергии и авантюризму, унаследованным от отца. А также способности очаровывать людей самого разного круга.

Летом 1936 года она оказывается в Москве, в гостинице

«Москва» и постоянно встречается в кафе «Националь» с переехавшими из Парижа прежними своими друзьями и единомышленниками: с Ариадной Эфрон, Эмилией Литауэр, Николаем Афанасовым. Она успела встретиться и с Д. П. Святополк-Мирским (приехавшим в СССР раньше многих других) – до его ареста. Из протоколов допросов Эмилии Литауэр явственно вырисовывается властная, как бы руководящая, позиция Веры Александровны; ее советам, более похожим на распоряжения, беспрекословно следует, видимо, не только Эмилия.

«Зачем она приезжала в Москву?» – спросят на одном из допросов Ариадну Эфрон. «По вызову начальства, для выяснения ее дальнейшей работы в Иностранном отделе НКВД», – записан ответ Ариадны. Последняя охотно проявляет в таких вопросах осведомленность, предъявляя ее как бы в виде своего рода «охранной грамоты». Грамота, однако, не срабатывала, ибо допрашивали Ариадну уже осенью 1939 года, через два года после отъезда В. А. обратно в Париж. А это значит, что Ариадна имела дело со следователями бериевского, а не ежовского набора. Для них Ежов, покровительствовавший, сколько можно судить, В. А. и другим «кадрам», завербованным в среде русской эмиграции, к этому времени уже «враг народа».

Вера Трейл

Из допросов выясняется история второго замужества В. А.: на совместном совещании в Москве Мирского, Литауэр и В. А. было решено (и это решение поддержал из Парижа Эфрон), что для служебных задач В. А. целесообразно выйти замуж за Роберта Трейла – английского журналиста, шотландца по происхождению, который в это время работал в Москве. Замысел был осуществлен, и с этого момента паспорт иностранной подданной облегчал В. А. роль связной между Москвой и Францией.

Московское начальство собиралось отправить В. А. – после ее нового замужества – на дальнейшую работу в Великобританию. Но неожиданно натолкнулось на энергичное сопротивление норовистой подчиненной. Добившись приема у Ежова, В. А. сумела доказать, что ее работа во Франции принесет НКВД несравненно больше пользы, так как там у нее прекрасно налажены многочисленные связи.

В СССР В. А. прожила несколько больше года (с лета 1936-го по сентябрь 1937 года), хотя нельзя сказать с уверенностью, не выезжала ли она за пределы страны в этот период. Но за пределы Москвы она достоверно выезжала, ибо регулярно посещала подмосковную школу разведчиков НКВД. В книге «Охотник вверх ногами» Кирилл Хенкин утверждает, что в этой знаменитой школе В. А. не училась (как я думала поначалу, прочитав об этом впервые в протоколе одного из допросов), а… преподавала.

О Сергее Яковлевиче Эфроне Трейл писала мне в 1979 году следующее: «Я не знаю, знаете ли Вы и хотите ли знать о “Деле Рейсса”. Считается, что С. был в этом замешан, а я уверена, что нет. – Марина, конечно, ничего не знала и политикой вообще не интересовалась.

Я вернулась из Москвы около 15-го – м. б. 10 сент. 1937. Сережа приходил почти каждый день. Сказал, что он влюблен в барышню 24-25-ти лет и не знает, что делать. Я сказала: “Я знаю, что делать”, но он, вздохнув, ответил: “Нет. Я не могу бросить Марину”.

20 сентября родилась моя дочь. И дня через 3–4 появился в больнице С.: “Меня запутали в грязное дело, я ни причем, но должен уехать”».

Обратим внимание, что в данном письме подтверждено: во Францию Трейл приезжает «около 15 сентября», в действительности же, как мы увидим ниже, дней на десять раньше.

Протоколы допросов Сергея и Ариадны Эфрон, Клепининых, Литауэр и Афанасова недвусмысленно проясняют характер деятельности Веры Александровны. И теперь, когда мы многое

уже об этом знаем, иначе, чем раньше, читаются личные письма В. А., обнаруживающиеся у разных ее корреспондентов.

В книге «Агенты Москвы», изобилующей – увы! – огромным количеством фактических ошибок (Brossat A. Agents de Moscou. Le Stalinisme etson ombre. Paris: Gallimard, 1989), французский журналист Аллен Бросса рассказал, в частности, о содержимом чемодана, обнаруженного в вещах русского эмигранта К. Б. Родзевича, умершего в одном из парижских «старческих домов». Среди прочего там оказалась пачка писем его давней возлюбленной и сподвижницы – В. А. Трейл. Естественно, что друг с другом они вполне откровенны, – и можно только пожалеть, что им нет нужды пересказывать друг другу известные обоим обстоятельства. Тем не менее эпистолярные тексты, приведенные в книге Аллена Бросса, внятно указывают на участие того и другой в работе советской разведки.

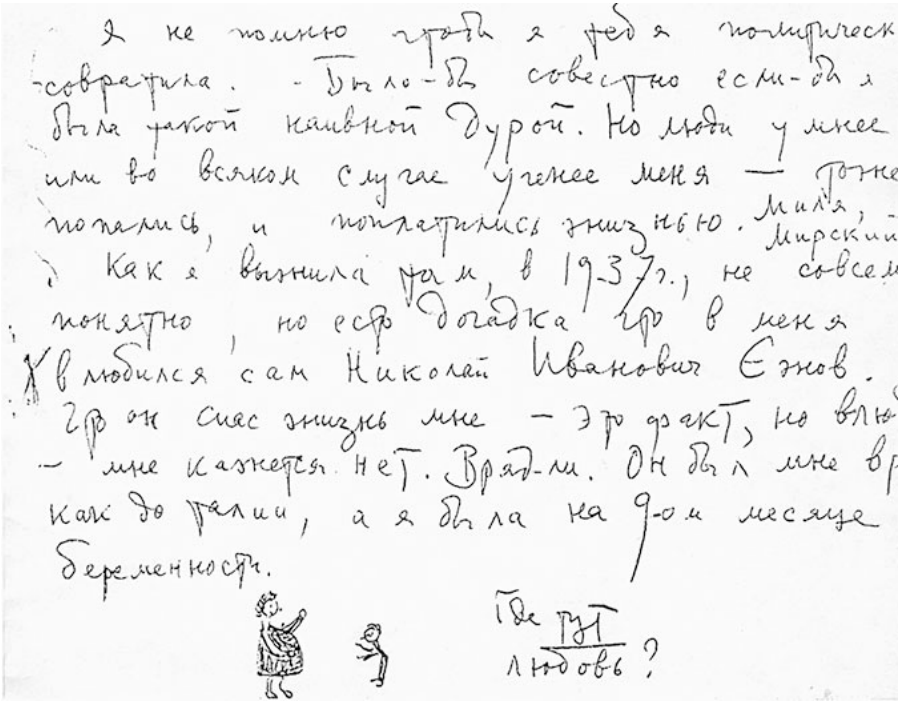
Но вот свежая находка. Это письма В. А. Трейл к брату Эмилии Литауэр Александру (он умер в Париже в конце 1990-х годов). С ним в тридцатые годы В. А. была близка и дружна. Приведу два отрывка из ее письма от 27 сентября 1984 года:

«…Ах да! Почему я считаю, что Ежов спас мне жизнь.

Потому что я провела с ним 4 часа – от полуночи до 4-х утра – пошла уговаривать прекратить террор – и вручила ему список своих арестованных друзей – 20 человек. Он сказал, что потребует их досье и чтобы я вернулась дня через 3–4 их с ним обсудить. Но 4 дня я не прождала.

На следующую же полночь (чекисты тогда только просыпались) – телефон: “Говорит Кремль. Поручение от тов. комиссара: – “Уезжайте немедленно”. Я на секунду испугалась – (т. е. сердце успело чуть-чуть упасть – что за “немедленно”?), но быстро спохватилась и рассердилась: “Я не могу уехать посреди ночи”. Дядя – глубокий бас – ответил раздраженно: “Не посреди ночи, а с первым поездом. Кажется в 9.30.

А если не попадете – есть вечерний”.



Автограф письма

Я продолжала сердиться и торговаться: “Но он же обещал показать мне… ммм… некоторые бумаги”. – “Да, – басит чекист, – Вы не дали мне договорить. Бумаги будут в нашем парижском консульстве. После родов – желаем Вам всего наилучшего – Вы туда зайдите”. Уехала я не на следующий день, а кажется через следующий. Маша родилась…» (В письме не сохранилась последняя страница.)

Еще один отрывок, из письма тому же адресату:

«Я не помню, чтобы я тебя политически совратила. Было бы совестно, если бы я была такой наивной дурой. Но люди умнее или во всяком случае ученее меня – тоже попались и поплатились жизнью. Миля (Эмилия Литауэр. – И. К.) – Мирский.

Как я выжила там в 1937 г., не совсем понятно, но была догадка, что в меня влюбился сам Николай Иванович Ежов. Что он спас жизнь мне – это факт, но влюбился – мне кажется нет. Вряд ли. Он был мне вроде как до талии, а я была на 9-м месяце беременности. Где тут любовь?» Последняя фраза письма написана под рисунком, на котором В. А. изобразила рядом себя и Ежова.

Александр Литауэр – я с ним неоднократно встречалась в Париже и в Петербурге, продолжал до последних дней верить версии о влюбленном Ежове. Что до меня, то я истолковала бы

эпизод, рассказанный в письме, иначе. Мне кажется, что народный комиссар НКВД нашел хитрый способ избежать ответа строптивой В. А. на ее требовательный «запрос» об арестованных друзьях. Конечно, естественнее было бы просто отдать распоряжение об аресте самой Трейл, и с этой точки зрения Николай Иванович выглядит благодетелем. Но даже такое «благодеяние» сомнительно. Ибо, скорее всего, В. А. пришла в тот раз к Ежову не ради своих друзей, а по вызову. Ежов, очевидно, готовил Трейл как эмиссара, дабы срочно передать в Париж деньги и распоряжения. И в связи с ее настоятельной и крайне неудобной просьбой, касающейся арестованных друзей, разве что ускорил ее отъезд.

В самом деле: сопоставим числа. Разговор Трейл и Ежова состоялся, скорее всего, в самом начале сентября. Я делаю это предположение, исходя из сообщения швейцарского историка П. Хубера, работавшего в архивах Гуверовского института. Опираясь на документы полицейских архивов, он рассказал и о некоторых обстоятельствах возвращения Трейл во Францию. В частности, о том, что вскоре после ее приезда в Париж к ней на квартиру явилась полиция с обыском и неожиданно застала там К. Б. Родзевича, который спешно жег какие-то бумаги. В полицейских документах считается установленным, что В. А. привезла из Москвы чек на большую сумму для передачи матери Виктора Правдина (он же Франсуа Росси, один из убийц Игнатия Рейсса).

На допросе во французской полиции Трейл убедительно доказала собственное алиби по отношению к данному убийству. Она предъявила паспорт, где таможенная служба зафиксировала, что в день, когда Рейсс был убит под Лозанной, – то есть 4 сентября – Трейл пересекала территорию Польши.

Но если 4 сентября В. А. проезжает Польшу, то из Москвы она выехала 2–3 сентября. А в эти дни Ежов уже знает, что специальная опергруппа, полтора месяца разыскивавшая «невозвращенца» Рейсса, обнаружила его в Швейцарии.

До убийства оставались считаные дни. Можно было не дожидаться окончательного сообщения и отправить подготовленного эмиссара несколько раньше. В частности, и для того, чтобы не разочаровать его неутешительными известиями о друзьях…

К концу жизни Трейл утратила иллюзии относительно социалистической родины и считала себя, как мы прочли в одном из приведенных выше писем, одной из жертв, «попавшихся на обман». Тем не менее в воспоминаниях, надиктованных ею на магнитофон в последние годы жизни и расшифрованных проф.

Дж. Смитом (Оксфорд, Великобритания), упоминаний о службе в НКВД не имеется.

В. А. Трейл умерла в апреле 1987 года в возрасте восьмидесяти лет в Кембридже (Великобритания).

Мне удалось с ней однажды недолго побеседовать во время ее приезда в Москву, – кажется, это было в 1980 году. Встретиться помог А. В. Эйснер, некогда близкий друг Веры Александровны. Трейл была энергична, иронична и жизнерадостна, несмотря на возраст и недавно сломанную ногу. Увы, я знала тогда слишком мало, чтобы задать нужные вопросы. Но вряд ли она стала бы со мной откровенничать. Хотя внешне держалась вполне доброжелательно.

Основные даты жизни и творчества Марины Цветаевой

1892, 26 сентября (8 окт. нов. ст.)

В семье профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева и его жены Марии Александровны (урожденной Мейн) родилась дочь Марина.

1902, осень

Отъезд с отцом, матерью и сестрами в Италию (Нерви под Генуей).

1903, весна – 1904, лето

Марина и Ася Цветаевы во французском пансионе сестер Лаказ в Лозанне (Швейцария).

1904, осень – 1905, лето

Сестры Цветаевы в немецком пансионе сестер Бринк во Фрейбурге (Шварцвальд, Германия).

1905, осень

И. В. Цветаев перевозит жену и дочерей на осенне-зимний сезон в Ялту.

1906

Июнь – приезд семьи в Тарусу.
5 июля – смерть матери.

1908

Знакомство Марины с поэтом и переводчиком Л. Л. Кобылинским (Эллисом).

1909

Посещает лекции и собрания символистского издательства Э. К. Метнера «Мусагет». Знакомство с В. О. Нилендером.

1910

Лето вместе с сестрой проводит под Дрезденом (Вайсер Хирш) в семье пастора.

Осень – посещает собрания кружка «Молодой Мусагет» (руководят Эллис и К. Ф. Крахт), участвуют Андрей Белый, Борис Пастернак, Владислав Ходасевич, Николай Асеев, Владимир Нилендер и др. Ноябрь – выход первой книги стихов «Вечерний альбом» (в типографии Тов-ва Мамонтова).

Декабрь – знакомство с М. А. Волошиным. В газете «Утро Москвы» (№ 323.11 декабря) помещена статья Волошина «Женская поэзия», в которой – первый отзыв о «Вечернем альбоме».

1911

Апрель – отъезд Цветаевой в Гурзуф.

Май – встреча с С. Я. Эфроном в Коктебеле.

7 июля – отъезд Цветаевой вместе с С. Я. Эфроном из Коктебеля в Москву, затем в Уфимскую губернию на лечение.

2 октября – переезд вместе с Эфроном и его сестрами в квартиру на ул. Сивцев Вражек, дом 19.

3 ноября – первое публичное выступление Цветаевой вместе с сестрой Анастасией в «Обществе свободной эстетики» (Москва).

1912

29 января – венчание Марины Цветаевой и Сергея Эфрона в Москве в храме Рождества Христова в Большом Палашевском пер.

Февраль – выход второй книги Цветаевой – «Волшебный фонарь» (М.: Книгоиздательство «Оле-Лукойе»).

29 февраля – отъезд с мужем в свадебное путешествие по

Франции, Италии и Германии.

31 мая – Цветаева с мужем в Москве на торжественном открытии Музея изящных искусств имени императора Александра III.

5(18) сентября – рождение дочери Ариадны.

1913

Февраль – выход третьей книги Цветаевой – «Из двух книг».

25 апреля – приезд с мужем и дочерью в Коктебель.

13 мая создано стихотворение «Моим стихам, написанным так рано…».

30 августа – смерть И. В. Цветаева.

1913, осень – 1914, лето

Семья Цветаевой-Эфрон живет в Феодосии.

1913–1915

Написаны «Юношеские стихи» (остались неизданными).

1914

7 марта – начало переписки с В. В. Розановым.

Июль – начало войны с Германией. Переезд в Москву.

Сентябрь – семья поселяется в доме № 6 по Борисоглебскому пер. Октябрь – знакомство Цветаевой с С. Я. Парнок.

1 декабря – стихотворение «Германии».

1915–1916

Два стихотворения Цветаевой помещены в журнале «Северные записки».

Март-июль – С. Я. Эфрон служит братом милосердия в санитарном поезде № 187 на Западном фронте.

Ноябрь – Эфрон поступает в Московский Камерный театр, играет в спектакле «Сирано де Бержерак».

Зима – поездка Цветаевой и Парнок в Петербург. Знакомство с М. Кузминым, С. Есениным, Л. Каннегисером.

1916

Созданы стихи, составившие позднее книгу «Вёрсты» (М.: Гос. изд-во, 1922).

Январь-февраль – частые приезды в Москву О. Э. Мандельштама. Май – знакомство с Н. А. Плуцер-Сарна.

1917

13 апреля – рождение второй дочери, Ирины.

Октябрь – участие Эфрона в боях с большевиками за Кремль.

Декабрь – Эфрон в Добровольческой армии.

1918, ноябрь – 1919, апрель

Служба Марины Цветаевой в Народном комиссариате по делам национальностей.

Сближение с московскими театральными студиями. Написаны шесть пьес.

1920

Февраль – смерть младшей дочери Ирины в кунцевском приюте.

Май – Цветаева присутствует на двух выступлениях Александра Блока в Москве.

Весна– составляет книгу «Юношеские стихи» из стихов 1913–1915 гг. (при жизни Цветаевой не была издана).

В Париже вышел первый номер журнала «Современные записки», в нем помещены четыре стихотворения Цветаевой.

1921

Весна – дружба с князем С. М. Волконским.

Июль – известие от мужа, пересланное Эренбургом.

Хлопоты о разрешении на выезд из России.

1922

Февраль – вышел в свет сборник стихов Цветаевой «Вёрсты» (М.: Костры, 1921). Исправленное издание повторено после отъезда Цветаевой из России – в июле.

11 мая – отъезд Цветаевой с дочерью Ариадной из России.

15 мая – прибытие в Берлин.

Встречи с Ильей Эренбургом, Андреем Белым, А. Вишняком, М. Слонимом, Р. Гулем.

Первое письмо от Бориса Пастернака.

1 июня – встреча с мужем в Берлине.

Написано эссе «Световой ливень» о поэзии Пастернака.

31 июля – отъезд из Берлина в Чехословакию.

1922, осень – 1923, осень

Семья живет в предместьях Праги – Дольних и Горних Мокропсах. Завершена поэма «Молодец».

Готовится к изданию книга прозы «Земные приметы» (издание не состоялось).

В Берлине вышли из печати поэтические книги Цветаевой «Разлука», «Стихи к Блоку», «Психея: Романтика», «Ремесло: Книга стихов», поэма «Царь-девица».

1923

Лето – переписка с критиком А. Бахрахом.

Осень – переезд семьи в Прагу. Роман с К. Б. Родзевичем.

1924

Создание «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца».

1925

1 февраля – рождение сына Георгия.

Создание поэмы «Крысолов».

Май – выход из печати поэмы «Молодец» (Прага).

Дружба с А. И. Андреевой.

1 ноября – Цветаева приезжает в Париж с сыном и дочерью.

1926

6 февраля – триумфальный поэтический вечер Цветаевой в Париже. Знакомство с П. П. и В. А. Сувчинскими, Д. П. Святополк-Мирским и С. Н. Андрониковой.

Поездка в Лондон.

Написаны статьи «Поэт о критике» и статья о книге О. Мандельштама «Шум времени».

Лето – Цветаева в Вандее (Сен-Жиль). Переписка с Б. Л. Пастернаком и Р. М. Рильке.

Написаны поэмы «С моря» и «Попытка комнаты».

1927

Создание прозы «Твоя смерть», поэм «Новогоднее» и «Поэмы Воздуха», трагедии «Федра».

Сентябрь – Анастасия Цветаева в гостях у сестры.

1927–1937

Семья живет в предместьях Парижа: Бельвю, Мёдоне, Кламаре, Ванве.

1928

Март – выход из печати последней поэтической книги Цветаевой «После России», 1922–1925 (Париж: Типография Union, 1928). Начало работы над «Поэмой о царской семье».

Активная «евразийская» деятельность Эфрона.

Дружба с поэтом Николаем Гронским.

Ноябрь – газета «Евразия» опубликовала «Приветствие Марины Цветаевой Владимиру Маяковскому».

1929

Октябрь – поездка в Бельгию.

Написан очерк «Наталья Гончарова».

1930

«Поэма воздуха» опубликована в журнале «Воля России» № 1. Ноябрь – начало переписки с Юрием Иваском.

1931

Март – переезд в Кламар.
Дружба с Еленой Извольской.
Эфрон подает прошение о возвращении на родину.
Написаны статьи «О новой русской детской книге», «Поэт и время», «История одного посвящения».
Создание прозы «Дом у Старого Пимена».

1933

Написана статья «Эпос и лирика современной России: Борис Пастернак и Владимир Маяковский».

1934

Создание прозы «Живое о живом».
Переезд в Ванв.
Резкое ухудшение семейных отношений.
Май – написано стихотворение «Тоска по родине».

1935

Июнь – встреча в Париже с Борисом Пастернаком, приехавшим на Международный антифашистский конгресс деятелей культуры. Лето – Фавьер (Лазурный Берег). Знакомство с Е. Э. Малер, Б. Г. Унбегауном.

1936

Май – поездка в Бельгию. Знакомство с З. А. Шаховской.
Окончена «Поэма о царской семье». Создана поэма «Автобус».
Лето – Савойя. Переписка с поэтом А. С. Штейгером.
Осень – работа над прозой «Мой Пушкин».

1937

Март – отъезд Ариадны Эфрон в СССР.
Июнь – создано эссе «Пушкин и Пугачев».

Июль-август – написана первая часть «Повести о Сонечке».

27 сентября «Повесть о Сонечке» завершена.

10 октября – отъезд Эфрона из Франции в СССР в связи с «делом Рейсса».

Октябрь-ноябрь – допросы Цветаевой в парижской префектуре. Конец года – Цветаева подает прошение о возвращении на родину.

1938

Лето – Цветаева с сыном проводят на побережье океана в Див-сюр-Мэр (департамент Кальвадос).

Сентябрь – переезд в отель «Иннова» на бульваре Пастер.

12 ноября 1938 – 21 мая 1939 – созданы «Стихи к Чехии».

1939

16 июня – отъезд из Франции.

18 июня – возвращение в СССР.

Цветаева живет с семьей под Москвой в Болшеве.

27 августа – арест Ариадны Эфрон.

10 октября – арест С. Я. Эфрона.

Ноябрь – Цветаева с сыном уезжают из Болшева в Москву.

1940

Декабрь 1939 – 11 июня 1940 – Цветаева с сыном живет в доме отдыха писателей в Голицыно.

Работа над переводами поэм грузинского классика Важа Пшавела.

Сентябрь – Цветаева с сыном поселяются в коммунальной квартире на Покровском бульваре, д. 14/5.

Составлен сборник стихов для Гослитиздата. Отвергнут после резко отрицательного, политически окрашенного отзыва критика К. Л. Зелинского.

1941

Начало июня – две встречи Цветаевой с А. А. Ахматовой: на квартирах у В. Е. Ардова и у Н. И. Харджиева.

Знакомство с Арс. Тарковским, С. И. Липкиным, четой Тарасенковых, Г. Г. Нейгаузом, В. В. Левиком и др.

8 августа – отъезд в эвакуацию.

18 августа – прибытие в Елабугу.

25-26 августа – поездка Цветаевой в Чистополь.

31 августа – Цветаева покончила жизнь самоубийством.

Послесловие

Со времени первого издания этой книги (прежнее название «Путь комет», 2002 г.) прошло уже много лет, за это время появились новые материалы, касающиеся прямо или косвенно биографии Марины Цветаевой. В 2002 году Российский государственный архив литературы и искусства открыл доступ исследователям к архиву поэта, что позволило не только выверять тексты цветаевских произведений, но и познакомиться с ее записями дневникового характера. На основе материалов архива был выпущен ряд ценнейших изданий – тома переписки Цветаевой с Б. Л. Пастернаком, Н. П. Гронским, В. В. Рудневым, Н. С. Гончаровой и А. А. Тесковой (без купюр). В 2004 году архив издал и два тома дневников сына Цветаевой Г. С. Эфрона.

Появились и серьезные работы, по-новому освещающие многие моменты биографии поэта (Г. Ванечковой, Е. И. Лубянниковой, А. И. Поповой), а также работы Е. Б. Сосниной об И. В. Цветаеве, Р. Б. Вальбе, посвященные Ариадне Эфрон, В. Н. Дядичева о С. Я. Эфроне и ряд других. Это дало возможность ввести новые акценты в повествование о жизни великого поэта.

Не считаю нужным вступать в полемику с многочисленными другими авторами статей и книг, вышедших в последнее время, – из тех, что демонстрируют легкость домыслов и свободный полет авторской фантазии, сочетающийся обычно с элементарной неосведомленностью и грубым искажением психологического облика поэта.

Подытоживая многолетнюю работу, обращу внимание читателя на одно существенное обстоятельство. Изучение русской литературы XX века, и особенно писательских биографий, имеет свою специфику.

Политическая обстановка в Советской России резко сократила информационное поле исследователя. Частная переписка утратила свою свободу; личные дневники, столь распространенные в дореволюционной России, стали редкостью, – их почти задушила (во всяком случае оскопила) вынужденная самоцензура авторов. К счастью, Цветаева почти восемнадцать лет жила вдали от родины и сохранила ценнейший (хотя и далеко не полный) массив своего архива. Но в воспоминаниях о поэте, которые мне довелось прочесть и услышать, обнаружилось такое количество разночтений, противоречий, что очень скоро стала ясна необходимость проверять и перепроверять эти

воспоминания, дабы вычленить реальность, освобождая ее от личных пристрастий и особенностей вспоминающего. Проблема эта, впрочем, существовала испокон веков. Она усугубилась, однако, тем, что в семидесятые годы прошлого века, когда я начала свой обход тех, кто встречался с Цветаевой и помнил ее, были живы уже немногие из действительно близких поэту людей. Но перестройка открыла двери за рубеж – для поездок и свободной переписки, и это позволило существенно расширить крут моих собеседников.

Главный источник исследователя, занимающегося литературой XVIII и XIX веков, – архивы оказались совершенно недостаточными для воссоздания реалий, касающихся художника XX столетия. Тем не менее и обойтись без них невозможно. Материалы, связанные с биографией и творчеством Цветаевой, сосредоточены главным образом в Российском государственном архиве литературы и искусства (Москва, фонды 1190, 2962, 2080 и др.); в Рукописном отделе Института русской литературы АН (Петербург, фонд М. В. Волошина), в Архиве университета Париж-X (Нантер) (фонд К. Б. Родзевича); в Литературном архиве национальной письменности (Прага, фонды А. А. Бема, В. Е. Ляцкого и др.); наконец, в Центральном архиве НКВД-КГБ (Москва, следственные дела С. Я. Эфрона, А. С. Эфрон, Н. Д. Клепинина, Э. Л. Литауэр, П. Н. Толстого).

С чувством глубочайшей благодарности перечислю здесь имена тех, с кем мне довелось беседовать (или переписываться), собирая материалы о Марине Цветаевой.

В России: А. И. Цветаева, А. С. Эфрон, К. М. Эфрон, Ю. В. Цветаев, А. Я. Трупчинская, З. М. Ширкевич, С. Н. Клепинина, А. В. Сеземан, Д. В. Сеземан, И. В. Горошевская, Н. В. Афанасова; а также – Э. Г. Ананиашвили, В. Л. Андреев, П. Г. Антокольский, Г. А. Арбузова, К. М. Асеева, Н. К. Бальмонт, М. И. Белкина, Л. Ю. Брик, Л. М. Бродская, А. К. Гладков, Н. Д. Журавлева, Вяч. Вс. Иванов, Т. Н. Кванина, К. Н. Кист-Рейтлингер, Г. Н. Козловская, А. А. Кутепов, В. В. Левик, Л. Б. Либединская, С. И. Липеровская, С. И. Липкин, Т. П. Милютина, Э. Л. Миндлин, И. Музафаров, И. В. Одоевцева, Е. Б. Пастернак, М. С. Петровых, Н. А. Раевский, Р. Я. Райт, Ю. Н. Рейтлингер, Н. А. Северцова, А. И. Сизов, В. В. Сикорский, Т. В. Сланская, А. В. Сосинская, В. В. Сосинский, В. А. Сувчинская (Трейл), Е. Е. и Е. Б. Тагер, Е. А. Таратута, А. М. Тверитинова, Л. И. Толстая, Н. Н. Харджиев, З. М. Цветкова, В. Е. Чирикова, Л. К. Чуковская, А. В. Эйснер, И. И. Оренбург.

Во Франции: М. М. Айканов, А. А. Гучков, Д. Десанти, А. Доминик, М. Л. Карсавина-Сувчинская, А. Л. Литауэр, Н. Б. Сологуб, З. Н. Шаховская, Н. Л. Шестова-Баранова.

В Великобритании: проф. Дж. Смит (Оксфорд), К. Стидварти (Кембридж).

В США: проф. Симон Карлинский.

В Израиле: Инна Рубина.

Через переписку: С. Н. Андроникова-Гальперн, М. С. Булгакова-Сцепуржинская, А. С. Головина, Е. И. Еленева, Ю. П. Иваск, П. П. Сувчинский, Т. М. Сухотина-Толстая, А. А. Реформатский, К. Б. Родзевич.

Только по телефону: Кирилл Хенкин (Германия) и сын Вадима Кондратьева (США).

Стихи цитируются по «Книге стихов» М. Цветаевой (сост., коммент., ст. Т. А. Горьковой. – М., 2004).

notes

Сноски

1

Der Teufel – черт (нем.).

Ascenseur – лифтер.).

3

«La double maitresse» – «Двойная любовница» (фр.).

Vaterland– отечество (нем.).

5

Impeccable – безукоризненный (фр.).

6

Aus dem Spiel – вышла из игры (нем.).

Declassee – деклассированная (вне сословия) (фр.).

8

«Dichtung und Wahrheit» – «Поэзия и правда» (нем.).

9

Grande camaraderie – большая дружба (фр.).

10

Declamatoire – демонстративно (фр.).

11

En presence de quelqu’un – чьего-то присутствия (фр.).

12

«L’Estomac» – «Желудок» (фр.).

13

Plus fort que moi – Это сильнее меня (фр.).

14

Coup de foudre – любовь с первого взгляда (фр.).

15

Grand amour – великая любовь (фр.).

16

«Песнь о Нибелунгах» – средневековый германский эпос. Цветаева не раз упоминает о нем в своих письмах и произведениях.

17

Cette petite ville en Savoie – этот городок в Савойе (фр.).

См. об этом подробнее в Приложении 3.

19

Grands efforts – большие усилия (фр.).

20

Lame slave – славянская душа (фр.).

21

«A la poursuite du soleil» – «Вслед за солнцем» (фр.), название книги Алена Жербо.

«Ici-haut» – «Там, в вышине» (фр.).

23

Vous n’avez pas de gueules cassees? – У вас есть билеты лотереи? (фр.) «Gueules cassees» – в буквальном переводе «битые морды». Так называли тогда во Франции билеты национальной лотереи, которыми торговали и в кафе.

24

Et se prete a toutes les formes – и способна принять любую форму (фр.).

25

Aus dem Spiel… aus jedem – выбыла из игры… изо всякой (нем.).

26

Auf der Hohe… in der Hohle – на высоте… в пещере (нем.).

27

Plongeons – погружения (фр.).

28

Dahin, dahin, wo die Zitronen bltihn! – Туда, туда, где цветут лимонные рощи! (нем.)

29

Comme une vache regardant passer les trains – как глазеет корова на проносящиеся мимо поезда (фр.).

30

C’est le plus loyal, le plus noble et le plus humain des hommes. – Mais sa bonne foi a pu etre abusee. – La mienne en lui – jamais. – Это самый преданный, самый благородный, самый человечный из людей. – Но его доверие могло быть обмануто. – Мое к нему останется неизменным (фр.).

31

Chambres meublees – меблированные комнаты (фр.).

32

Парижские предместья, опоясывая Париж, переходят одно в другое. Противоположная сторона улицы, на которой Цветаева жила в Ванве, относится уже к Исси-ле-Мулино.

33

Wer ist dein nachster? – Der Dich am notwendigsten braucht. – Кто твой ближний? – Тот, кто больше всего в тебе нуждается (нем.).

34

Ni fleurs ni couronnes – ни цветов, ни венков (фр.).

35

Далее номера ссылок соответствуют номерам дополнительных материалов в Приложении 3 «На полях этой книги».

Rejetons – отпрысков (фр.).

Жена Асеева Ксения Михайловна – урожденная Синякова. Две ее сестры также жили тогда в Чистополе.

38

Дюкоме Жан-Пьер (1902–1961) – французский фотограф. Завербован Н. Позняковым в 1936 году в советскую разведку. Участник оперативной группы, созданной летом 1937 года во Франции для преследования и убийства Рейсса. Был арестован французской полицией и провел 13 месяцев в тюрьме. Дал обширные показания. Освобожден из тюрьмы в связи с тем, что не были задержаны главные организаторы убийства. Партийная кличка – «Боб».

39

Сведения ошибочны. Цветаева родилась 26 сентября (по ст. стилю) 1892 года, ее родители И. В. и М. А. Цветаевы.

40

«Союз возвращения» возник в Париже в 1925 году, но в начале тридцатых был радикально преобразован и оказался в полной идеологической и материальной зависимости от советского полпредства во Франции. В первой половине тридцатых годов секретарем «Союза» был Е. В. Ларин, с 1937 года (в связи с переходом Ларина на работу в Советский павильон Всемирной выставки в Париже) его сменил А. А. Тверитинов. Оба вернулись в СССР и были репрессированы.

41

Ариадна Эфрон родилась 5 сентября (по ст. стилю) 1912 года.

«Работала там» – то есть в редакции журнала «Наш Союз».

43

Афанасов Николай Ванифатьевич (1902–1941) – русский эмигрант, друг С. Я. Эфрона с 1918 года. Во время Гражданской войны – участник Белого движения. В Болгарии работал шахтером и лесорубом. Переселившись во Францию, жил в основном в Гренобле, время от времени работал таксистом, долгие периоды оставался без работы. Завербован в советскую разведку в 1934 году. В свою очередь завербовал Марка Зборовского, ставшего впоследствии личным секретарем сына Л. Д. Троцкого Льва Седова. Вернулся в Советский Союз осенью 1936 года. Жил в Калуге. Поддерживал связи с В. А. Гучковой-Трейл, Э. Э. Литауэр и С. Я. Эфроном. Арестован в Москве в начале 1940 года. Расстрелян 28 июля 1941 года.

44

Газета «Евразия» издавалась в Париже «левыми» евразийцами с ноября 1928 года по сентябрь 1929 года.

45

Об эпизоде прибытия беженцев Цветаева упоминала в письме к Анне Тесковой: «…прибытие к нам испанского республиканского корабля – беженцев из Сантадера, и день, проведенный с испанцем, ни слова не знавшим по-французски, как я – по-испански, – в оживленной беседе, в которую вошло решительно все».

46

Смиренский Димитрий Михайлович (1897-?) – он же Марсель Роллэн. Русский эмигрант, участник Белого движения. Во Франции с 1922 года, работал на заводе Рено, член Французской компартии, член парижского «Союза возвращения». Завербован Эфроном в советскую разведку. Входил сначала в оперативную группу, выслеживавшую Седова, а затем в ту, которая преследовала Рейсса. Был арестован и год провел в парижской тюрьме. Выпущен за недостатком улик. Вернулся в СССР весной 1939 года. Арестован в 1940 году. Дальнейшая судьба неизвестна.

47

Штранге Мишель (Михаил Михайлович, 1907–1968) – сын русских эмигрантов, владельцев русского пансиона-санатория в Верхней Савойе. Эфрон и Цветаева с детьми провели здесь лето 1930 и 1936 годов, Эфрон неоднократно приезжал сюда один в середине тридцатых годов. М. М. Штранге изучал историю и литературу в Сорбонне, сам занимался литературным трудом. Его имя многократно с симпатией упоминается Цветаевой в ее письмах к поэту Штейгеру. Завербован Эфроном в советскую разведку. Во время Второй мировой войны – участник Французского сопротивления. Член советской военной миссии во Франции в конце войны. Вернулся в СССР в 1947 году. Автор монографий «Русское общество и французская революция 1789–1794 гг.» и «Демократическая интеллигенция России в XVIII веке», изданных в Москве.

48

Кондратьев Вадим (1903–1939) – в годы Гражданской войны сражался в Белой армии, затем эмигрант, работал во Франции шофером такси, часто был безработным. Завербован в советскую разведку Н. А. Клепининым в середине тридцатых годов. Участник оперативной группы, преследовавшей Рейсса. Ранее других скрылся из Парижа после убийства Рейсса. Умер от туберкулеза в Москве.

49

Клепинины – Николай Андреевич (1897–1941) и Антонина Николаевна (1892–1941).

50

Позняков Николай Сергеевич (?). Учился вместе с С. Я. Эфроном в гимназии, во время Первой мировой войны сотрудничал в Красном Кресте. В годы Гражданской войны – в Белом движении. В Париже имел фотоателье. Вместе с К. Б. Родзевичем и В. В. Яновским «работал по связи с троцкистами ПОУМ» в период гражданской войны в Испании, что позволяет предположить какое-то участие и в расправе над руководством ПОУМ в 1936 году. К. Хенкин, знавший Познякова, в своей книге «Охотник вверх ногами» отзывается о нем крайне негативно. По возвращении в Москву (1939 год) вел работу среди бывших республиканских бойцов Испании. Умер в СССР в шестидесятых годах, избежав ареста.

51

Штейнер Рене (Рената, 1908–1986) – швейцарская учительница, завербованная советской разведкой в середине тридцатых годов. Исполняла ряд поручений Эфрона, после ареста во Франции дала обширные показания. В частности, о том, что по заданию Эфрона она вместе со Смиренским принимала участие в слежке за Седовым. Осенью 1937 года (по чьему распоряжению – не ясно) взяла на свое имя в прокатной фирме Женевы автомобиль, использованный убийцами Рейсса. Несколько месяцев провела в тюрьме. Освобождена в связи с исчезновением организаторов и исполнителей убийства. На допросах настаивала (как Дюкоме и Смиренский) на том, что Эфрон к «акции Рейсса» не имел никакого отношения.

52

Убийство Рейсса произошло 4 сентября 1937 года, похищение генерала Е. К. Миллера – 22 сентября того же года.

53

Шильдбах (урожденная Нейгебауэр) Гертруда (1894-?) – давняя приятельница Рейсса-Порецкого, немецкая коммунистка, сотрудница советских спецслужб, работавшая в Италии. Согласилась помочь оперативной группе, выслеживавшей Рейсса. Находилась в автомобиле во время убийства. По данным П. Хубера жила затем в СССР, в 1938 году была арестована и сослана в Казахстан.

54

Росси Франсуа (он же Р.-Ж. Аббиат, он же Правдин Виктор (1905–1970) – на момент участия в «лозаннской акции» был гражданином Монако. Работал на НКВД с 1929 года. Вошел в оперативную группу, преследовавшую Рейсса. Он и другой подданный Монако Шарль Мартинья (он же Борис Афанасьев, 1900-?) с самого начала полицейского расследования в Швейцарии были определены как непосредственные убийцы Рейсса. Приехал в Москву в середине сентября 1937 г. Во время Второй мировой войны – корреспондент ТАСС в Нью-Йорке. Жил в Индии, Великобритании, Мексике, США.

Версия отъезда Эфрона в Испанию устойчиво поддерживалась в семье Цветаевой – Эфрона и была, несомненно, придумана в советских спецслужбах.

56

Хенкин Кирилл Викторович (1916–2008) – из России вывезен родителями в 1923 году. Участник гражданской войны в Испании. Завербован в советские спецслужбы. Вернулся на родину в 1941 году. Служил в одном из управлений НКВД, затем на московском радиовещании для заграницы, позже – в редакции журнала «Проблемы мира и социализма». Покинул СССР в начале семидесятых годов. Работал на радиостанции «Свобода». Автор нескольких книг, написанных на автобиографическом материале. Жил в Мюнхене.

57

Лева – Лев Борисович Савинков (1912–1987) – сын Б. В. Савинкова, известного деятеля партии эсеров и писателя. Жил во Франции. Сражался в Испании на стороне республиканской армии. Завербован Эфроном в 1937 году. Дружил с Ариадной Эфрон. Уже уехав в СССР, А. С. Эфрон еще некоторое время с ним переписывалась.

58

Чистоганов Анатолий (1910-194?) – русский эмигрант, участник Белого движения. Член «Союза возвращения на родину». Завербован в советские спецслужбы. Участвовал в слежке за сыном Троцкого Седовым.

59

В том варианте данного письма, который теперь известен как «Письмо к Л. П. Берии» (в дальнейшем мы будем называть его ПБ), после этих слов появилась большая вставка: «(“Почему она не едет в Советскую Россию?”) В 1936 г. я всю зиму переводила для французского революционного хора (Chorale Revolutionnaire) русские революционные песни, старые и новые, между ними – Похоронный марш (“Вы жертвою пали в борьбе роковой”), а из советских – песню из “Веселых ребят” “Полюшко – широко поле” и многие другие. Мои песни – пелись».

60

Вставка в ПБ: «Замысел Музея – его замысел, и весь труд по созданию Музея: изысканию средств, собиранию оригинальных коллекций (между ними – одна из лучших в мире коллекций египетской живописи, добытая отцом у коллекционера Мосолова), выбору и заказу слепков и всему музейному оборудованию – труд моего отца, безвозмездный и любовный труд 14-ти последних лет его жизни. Одно из ранних моих воспоминаний: отец с матерью едут на Урал выбирать мрамор для Музея. Помню привезенные ими мраморные образцы. От казенной квартиры, полагавшейся после открытия Музея отцу как директору, он отказался и сделал из нее 4 квартиры для мелких служащих. Хоронила его вся Москва – все бесчисленные его слушатели и слушательницы по Университету, Высшим Женским Курсам и Консерватории, и служащие его обоих Музеев (он 25 лет был директором Румянцевского Музея)».

61

В ПБ здесь вставлено: «которой грозит пожизненная крепость».

62

В ПБ здесь добавлено: «а вот что, может быть, не известно: он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех кого мог, – забирал в свою пулеметную команду».

63

В ПБ вставка: «В своем журнале первый во всей эмиграции перепечатывает советскую прозу (1924 г.). С этого часа его “полевение” идет неуклонно».

Последнюю фразу из ПБ Цветаева убирает.

65

Данный абзац из ПБ убран. Последующий абзац переписан целиком. Новая его редакция очень информативна: «Но что я достоверно знала и знаю – это о его страстной и неизменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался, читая в газетах об очередном советском достижении, от малейшего экономического успеха – как сиял! (“Теперь у нас есть то-то… Скоро у нас будет то-то и то-то…”) Есть у меня важный свидетель – сын, росший под такие возгласы и с пяти лет другого не слыхавший. Больной человек (туберкулез, болезнь печени), он уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Человек – на глазах – горел. Бытовые условия – холод, неустроенность квартиры – для него не существовали. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробности его дел, знаю жизнь его души день за днем, все это совершилось у меня на глазах, – целое перерождение человека».

66

Далее в ПБ: «Следователь говорил над папкой его дела и знал эти дела лучше, чем я (я знала только о Союзе Возвращения и об Испании). Но что я знала и знаю – это о беззаветности его преданности. Не целиком этот человек, по своей природе, отдаться не мог».

67

Весь этот абзац в ПБ Цветаевой выпущен. Можно предположить, что «Дело S.», папку с которым показывают Цветаевой на допросе, было связано с преследованием сына Троцкого Седова и пропажей его архива в Париже в 1936 году.

Эта фраза из ПБ Цветаевой исключена.

69

В ПБ фраза продолжена: «…и коммунизм его объясняли “слепым энтузиазмом” Даже сыщики, производившие у нас обыск, изумленные бедностью нашего жилища и жесткостью его кровати. “Как, на этой кровати спал г-н Эфрон?” – говорили о нем с каким-то почтением, а следователь – так тот просто сказал мне: “Г-н Эфрон был энтузиаст, но ведь энтузиасты тоже могут ошибаться…”

А ошибаться здесь, в Советском Союзе, он не мог, потому что все 2 года своего пребывания болел и нигде не бывал».

Последние две фразы в ПБ убраны.

71

В ПБ далее дописана другая концовка: «Если это донос, т. е. недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы – проверьте доносчика. Если же это ошибка – умоляю, исправьте пока не поздно».

Письма Марины Цветаевой к Ариадне Берг (1934–1939). Paris: YMKA-Press, 1990.